



П.А. Сорокин в 1917 году

Питирим Сорокин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Редакционная коллегия:

А.К. Конюхов, П.П. Кротов, В.П. Марков, В.В. Сапов

ЦЕНТР «НАСЛЕДИЕ» ИМЕНИ ПИТИРИМА СОРОКИНА

PITIRIM A. SOROKIN FOUNDATION

ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ РАН

Питирим Сорокин

ПРАЧЕЧНАЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ

Художественные произведения
1907–1923

*Издано при поддержке
Правительства Республики Коми*

Сорокин П. А.

Прачечная человеческих душ: Художественные произведения. 1907–1923 / Сост., подг. текста, вступ. ст. и коммент. В.В. Сапова и М.В. Ломоносовой.

(Питирим Сорокин. Собрание сочинений)

В очередной том собрания сочинений всемирно известного социолога П.А. Сорокина (1889–1968) вошли произведения, написанные в жанре художественной прозы. В первом разделе помещены статьи, очерки и фельетоны 1907–1923 гг., отражающие этапы его становления как человека и учёного, некоторые из которых носят автобиографический характер; во втором – научно-фантастический роман «Прачечная человеческих душ» (впервые в полном объёме). Третий раздел составляют стихотворения П.А. Сорокина, написанные в основном в духе русского символизма начала XX в. В четвёртом – дополнительном – разделе помещены произведения учёного, созданные в американский период его жизни.

Издание адресовано всем, кто интересуется жизнью и творчеством П.А. Сорокина, а также любителям научной фантастики и русской поэзии начала прошлого века.

ПИТИРИМ СОРОКИН: ПИСАТЕЛЬ, ПОЭТ, САДОВОД

Муравей знает формулу своего муравейника, пчела тоже своего улья, но человек не знает своей формулы. Откуда же, коли так, взяться идеалу гражданского устройства в обществе человеческом?

Ф.М. Достоевский

В 1963 г. в Дареме (штат Северная Каролина) вышла книга «Pitirim A. Sorokin in Review»¹. Несмотря на то, что этот 500-страничный том, в написании которого приняло участие полтора десятка крупных ученых из разных стран (в том числе А. Тойнби, Р. Мертон, Н. Тимашев, К. Джини и др.), издан почти полвека назад, он по сей день остается незаменимым пособием для любого исследователя научного наследия П.А. Сорокина (правда, исключительно «американского периода»). Но в данном случае он интересен для нас в другом отношении. В конце тома имеется список публикаций Питирима Сорокина, составленный им самим и насчитывающий 35 книг и 90 статей². В числе книг указаны десять, написанных на русском языке. Девять из них хорошо известны, и поиски их в любой крупной библиотеке не составят ни малейшего труда. Но есть среди них одна, над загадкой которой тщетно билось, наверное, не одно поколение исследователей. Вот ее название (в транслитерации и переводе самого автора): Pracheshnaia Tchelovecheskikh dush (Laundry of Human Souls, science fiction). St. Petersburg: Eјemesiachnyi Journal, 1917. Но напрасно любопытствующий читатель стал бы листать «Ежемесячный журнал» за 1917 год: он нашел бы в нем три статьи и одну рецензию П. Сорокина, но никакой «Прачечной»³ человеческих душ нет в нем и в помине. Быть может, автора подвела память? Ведь с 1917 г. прошло уже 40 с лишним лет. Указал не тот год, не тот журнал? Пишущий эти строки в свое время потратил немало времени и усилий, просматривая все жур-

¹ На русский язык это название можно перевести как «Пересматривая (или перечитывая) Питирима Сорокина».

² Полной библиографии сочинений П.А. Сорокина пока еще нет, но можно смело утверждать, что она будет включать в себя по крайней мере в пять раз больше наименований, причем без учета переизданий.

³ П.А. Сорокин писал «прачешная» (то же и в английской транслитерации: pracheshnaia).

Publications of Pitirim A. Sorokin

(Listed Chronologically)

I. Books

1. *Prestuplenie i kara, podvig i nagrada* (Crime and Punishment, Service and Reward). St. Petersburg: isdatelstvo Dolbysheva, 1913.
2. *L. N. Tolstoi, kak filosof* (Leo Tolstoi as a Philosopher). Moscow: isdatelstvo Posrednik, 1915.
3. *Problema socialnago ravenstva* (The Problem of Social Equality). St. Petersburg: isdatelstvo Revoluzionnaia Mysl, 1917.
4. *Pracheshnaia Tchelovecheskikh dush* (Laundry of Human Souls, science fiction). St. Petersburg: Ejemesiachnyi Journal, 1917.
5. *Uchebnik obschey teorii prava* (General Theory of Law). Iaroslavl: isdatelstvo Iaroslavskago Soyuza Kooperativov: 1919.
6. *Obschedostupnuy uchebnik soziologii* (Elements of Sociology). Iaroslavl: isdatelstvo Iaroslavskago Soyuza Kooperativov, 1920.
7. *Sistema soziologii*, 2 vols. (A System of Sociology). St. Petersburg: isdatelstvo Kolos, 1920.
8. *Golod kak factor* (Hunger as a Factor). St. Petersburg: isdatelstvo Kolos, 1921 (destroyed by the Soviet government).
9. *Sovremennoie sostoianie Rossii* (Contemporary Situation of Russia). Praga: Kooperativnoie isdatelstvo, 1922.
10. *Popularnuye ocherki socialnoi pedagogiki i politiki* (Popular Essays in Social Pedagogics and Politics). Ujgorod: isdanie Komiteta delovodchikov i narodnoprosvetitel'nykh rad Podkarpatskoi Rusi, 1923.
11. *Leaves from a Russian Diary*. New York: E. P. Dutton & Co., 1924; Boston: Beacon Press, 1950.

налы, в которых П.А. Сорокин печатался начиная с 1913–1914 гг. Нигде и ничего, никакой «Прачечной».

Тайна была раскрыта усилиями архангельского исследователя Ю.В. Дойкова, много лет работавшего над составлением научной биографии П.А. Сорокина. В начале 90-х гг., работая в Рукописном отделе Пушкинского Дома, он обнаружил в фонде Питирима Сорокина рукопись научно-фантастического романа «Предтеча», под которым стояла подпись Н. Чаадаев. Тем самым тайна была раскрыта⁴. Особо следует подчеркнуть то обстоятельство, что тайну этого сорокинского псевдонима не удалось раскрыть даже вездесущей ЧК. В «Списке антисоветской интеллигенции г. Петрограда», составленном в июле 1922 г. с целью ареста и последующей высылки за границу, под № 1 фигурирует Питирим Александрович Сорокин (далее указано: «арестован, высылается»), а под № 14 – Чаадаев (указано: «не разыскан»)⁵.

Почему П.А. Сорокин так тщательно оберегал тайну именно этого своего псевдонима – не совсем понятно. Во всяком случае, не из конспиративных соображений. Никакой политической крамолы в «Предтече» нет. Но есть крамола высшего, если так можно выразиться, порядка – научная. Главный герой романа, в котором совершенно отчетливо просматриваются черты самого автора, вместе со своим другом совершил открытие, которое, если его удастся реализовать на практике, в буквальном смысле слова перевернет весь мир. Изменится жизнь всего человечества. Если в настоящее время люди живут в условиях, напоминающих скорее ад, то изобретение двух молодых ученых обещает вернуть им в скором времени потерянный рай. Поскольку это изобретение имеет непосредственное отношение к «Системе социологии», позволю себе кратко пересказать содержание «Предтечи».

Роман начинается с того, что в кабинет банкира-миллионера Сергея Николаевича Шахматова приходят с визитом два академика – Михаил Михайлович Каракозов и Иван Павлович Пастухов. По мере чтения становится очевидным, что прототипом первого из них послужил М.М. Ковалевский, а второго – И.П. Павлов. Цель их визита – принять экзамен у сына банкира Бори и его приятеля Вити. Боре от роду 10 лет, а Вите и того меньше – всего 6. Год назад банкир заключил с двумя молодыми учеными – Никуличевым (он же Питирим Сорокин) и Колыбиным (биологом – в остальном факты его биографии совпадают с биографией Н.Д. Кондратьева) – неформальный договор: в течение года они обязуются перевоспитать избалованного банкирского сына и изложить ему знания в объеме университетского курса. В случае успеха С.Н. Шахматов обязался выплатить им 2 миллиона рублей для постройки особой лаборатории.

⁴ См.: Дойков Ю.В. Материалы Питирима Сорокина в Пушкинском Доме // Отечественные архивы. 1995, № 6, с. 60–68.

⁵ История России. 1917–1940. Хрестоматия. Екатеринбург, 1993.

Начинается экзамен. Борю, поскольку он специалист по общественным наукам, экзаменует Каракозов, а биолога Витю – академик Пастухов. Каракозов задает Боре такой вопрос: «Ну-те-ка, молодой коллега, что вы знаете по истории монархии?..» Десятилетний «коллега» поначалу, естественно, волнуется. «Но мало-помалу волнение прошло... Голос окреп и зазвучал чисто, отчетливо... Мальчик овладел темой и спокойно описывал быт и право восточных деспотий... В его речи начали мелькать цитаты из египетских папирусов, ассиро-вавилонских памятников и индусских сводов. Фразы методически спаивались друг с другом, сплетались в гирлянды и застывали в форме связной, продуманной цепи суждений...» Потрясенный академик, вскочив с места, обращается к «репетиторам» со словами: «Знаете что! Вы либо дурачите нас, либо... либо похитили новую тайну с высот Олимпа...» Не меньше потрясен и отец экзаменуемого. «Боря! – говорит он ему. – Да ты ли это?! Не подменили ли тебя?». И – Никуличеву: «Дмитрий Николаевич! Вы либо колдун, либо действительно новый Прометей...»

Затем наступает очередь Вити. «Вопрос за вопросом ставил ученый. Только два раза шестилетний мальчик не ответил». «Позволь, милый мальчик, расцеловать тебя, – сказал наконец экзаменатор. – А вас, господа, поздравить от души: я не знаю, какие новые законы открыли вы, но я знаю, что вы открыли что-то великое...»⁶

Сущность открытия, сделанного Никуличевым и Колыбиным, раскрывается в романе не сразу. Но уже в первой главе совершенно отчетливо главным героем формулируется его социальный смысл. Вот что говорит Никуличев в разговоре с Иваном Павловичем Пастуховым: «Не вам напоминать, что в каждом атоме заключена бесконечная энергия. В молекуле же человеческого мозга этой энергии достаточно, чтобы расколоть пополам земной шар. Нужно только уметь ею пользоваться. Нам удалось раскрыть здесь кой-какие секреты. И вот теперь в нашем распоряжении кнут, которым мы можем подгонять стихийную жизнь. Вы сами отлично знаете, что машина социальной жизни работает скверно. Жертв слишком много. Пора ввести силы жизни в определенное русло и направить их к одной цели. Человек, покоривший неорганические силы природы, должен управлять и самим собой... Был здесь и другой мотив... Неравенство должно и может быть заменено равенством. Если все люди будут обладать одинаковым уровнем знания и будут держаться одних принципов поведения, будет равенство. Если этого не будет, – пусть разделят социалисты сегодня все богатства или пусть сделают их общественной собственностью, завтра же снова будут бедные и богатые, угнетаемые и угнетатели. Переменятся только названия. Вместо банкира появится “общественный директор”, такой же толстый и жирный, но более хитрый. Вместо старых лозунгов будут вывесками “liberté, fraternité, égalité”, но только вывесками. Тюрьмы переименуют в “дома правосудия”,

⁶ Ежемесячный журнал. 1917, № 2–3, с. 70–72.

но от этого не будет легче тем, кто в них будет обитать. Вот добавочный мотив. Наши работы, надеюсь, кое-что дадут и в этом направлении. Забегая вперед, скажу: в недалеком будущем должны исчезнуть современные школы. Исчезнут тюрьмы и преступники. Исчезнет суд в современной форме. Они будут лишними. Уменьшена будет и та пропасть, которая отделяет теперь один класс от другого. Таковы ближайшие результаты нашей работы. Что же касается ее существа, то, пока она не закончена, она должна быть тайной»⁷.

Такой же тайной остается и изобретение особых пилюль – «уморода», – сделанное Колыбиным. Без этих пилюль (воспитанники принимают их каждые 4 часа) педагогическая система Никуличева, требовавшая чрезвычайного нервного напряжения, привела бы к переутомлению мозга и «краху организма». Впрочем, «умород» требует доработки и усовершенствования, поскольку у Вити появились признаки малокровия и переутомления. Перед гениальным биологом встает новая задача – создать «сверхумород». Для этого нужна специальная лаборатория. Но теперь эта проблема решается просто: у молодых изобретателей в наличии не «воображаемые талеры», а реальные 2 миллиона...

Заглянем в эту лабораторию и попытаемся понять хотя бы в общих чертах в чем суть, в чем «тайна» педагогической системы, разработанной Никуличевым.

«Центр лаборатории составляли две залы. Одна из них носила название “интеллектуализирующей”, другая – “морализирующей”.

Каждая зала имела стены, абсолютно не пропускавшие шума. Всякий вошедший в нее попадал в царство молчания.

По стенам, по потолку и в середине первой залы тянулись какие-то странные машины, огромные собирательные и разборательные стекла, приборы для производства различных шумов и ударов – труба, шедшая неведомо куда, электрические провода, проведенные к креслам, громадное полотно и кинематограф.

В центре залы, на возвышении, стояла “логическая машина”, сконструированная по плану самого Никуличева. Она была лишь отдаленным подобием машины Джевонса. Ее характерной чертой было то, что она механически позволяла проверить правильность любого суждения, сразу переводила его в письменную форму и эту письменную форму отображала на громадном полотне.

Задача этой комнаты заключалась в развитии быстрого и в то же время прочного усвоения сообщаемого – с одной стороны, с другой – в развитии логической способности мышления.

Вторая основная зала была “залой морализирования”, или, как шутя называл ее Колыбин, “чистилищем и прачешной человеческих душ”. Главную ее особенность составлял своеобразный, какой-то усыпляющий полусумрак, скорее даже сумрак, наступавший одновременно с монотонно-ритмичным шумом, похожим на удары дождя об крышу. В сумраке таяли все предметы, выделялась

⁷ Там же, с. 73–75.

только светящаяся зеленовато-желтая точка, таинственно, наподобие светляка, мерцавшая где-то в углу и невольно приковывавшая к себе внимание. Временами, во время сеансов, распространялось здесь какое-то благовоние, от которого хотелось дремать, терялась воля, усыплялось сознание и человек становился безвольным, мягким, как воск, из которого можно лепить что угодно. Множество странных приборов и сложных механизмов бросалось в глаза и в этой зале. Целая система кнопок цветными точками пестрела на стене. Стоило случайно нажать одну из них, и на эстраде залы появлялись люди, изображавшие сцены убийства, насилия, краж и целый ряд преступлений и ряд бескорыстнейших подвигов. Стоило нажать другую – и в зале воцарялся хаос: пол и стены начинали колебаться, раздавался оглушительный шум, ослепительный свет начинал чередоваться с абсолютной темнотой...

Нажимали третью – и пациент видел перед собой основные моменты своей жизни, видел себя самого таким, каким он был в действительности, и рядом с этим таким, каким должен был быть.

Ряд приспособлений лаборатории предназначен был для того, чтобы вытравить из исправляемого ненужные инстинкты, другой ряд – для того, чтобы внедрить в него желательные привычки...»⁸

В журнальном варианте роман заканчивается описанием объединенного заседания социально-философского и медицинского отделов Академии наук, на котором Никуличев делает доклад о своем изобретении. Присутствуют академики и все специалисты по данному вопросу. Обращаясь к ним, Никуличев говорит следующее: «Милостивые государыни и милостивые государи! Человеческий ум со времени своего появления направил свое внимание на познание закономерности окружающих его явлений... Медленно, с ошибками и заблуждениями, но эта задача постепенно выполнялась им. Мир из нестройного и непонятого хаоса событий превращался мало-помалу в один связный и стройный механизм, подчиненный великому Року. Весь умственный прогресс с этой точки зрения есть постепенная замена случая и чуда – необходимостью и механизмом. К нашему времени расшифрована механика физических и химических событий, проведены ясные линии в сложном узоре явлений жизни. Остался лишь один человек. Несмотря на ряд попыток, до сих пор не удавалось разложить его поведение на составные части и дать формулу, определяющую его механизм... Нужно фактическое разложение человеческого механизма на части, изучение сил, толкающих его на те или иные поступки, словом, нужно неоспоримое и несомненное доказательство, что человек та же машина. И вот я утверждаю:

Человек – машина, но машина, снабженная несколько отличным двигателем, чем вещи неорганического и вещи биологического мира. Этот двигатель –

⁸ Там же, № 7–9, с. 78–79.

мотор психический. Понять человека – значит изучить закономерность самой психики и ее форм.

...Нашими исследованиями установлено, что человеческое поведение подчиняется следующей формуле.

Тут Никуличев медленно вывел на доске сложнейшую формулу и принялся за ее объяснение... Раскрывая свою формулу, он писал ряд новых, и, когда кончил изложение сил и факторов, управляющих поведением человека, он продолжал:

– Теперь соедините все эти частные формулы в одну и вы получите указанную формулу всего человека, определяющую весь механизм его поведения.

Поставьте теперь на место каждого значка то, что он выражает, и вы поймете всю сложную машину, называемую человеком, весь механизм общественной жизни и всю историю. Нет в ней ни тайн, ни чудес, ни случайности, ни провидения, а царит одна великая необходимость, властная и всемогущая»⁹.

В качестве итогов своей многолетней работы Никуличев снова представляет своих старых учеников: 13-летнего Борю, 9-летнего Витю, но теперь их знания оцениваются не на уровне выпускников университета, а на уровне молодых доцентов (что они с блеском и подтверждают). К ним присоединяется еще и 11-летний Коля, мальчик из неблагополучной семьи, к тому же отягощенный дурной наследственностью: отец у него алкоголик, а мать – проститутка. Все они с блеском выдерживают и этот экзамен. Кроме того, сообщается о группе закоренелых преступников, «переделанных» в лаборатории Никуличева.

Заканчивая свое блистательное выступление, создатель «прачечной человеческих душ» говорит: «Свой доклад я позволю закончить пожеланием: для блага человека, народа и человечества государство должно уничтожить школы и ввести новые, устроенные по нашей системе, обучение в них должно быть бесплатным и доступным для всех; тюрьмы должны быть уничтожены, уголовные законы сожжены и заменены новыми, преступники выпущены на свободу. Отныне не должно быть наказаний. Должен быть выработан список запрещенных деяний, и их совершители должны вместо наказаний отсылаться в лаборатории для исправления. Человеческий ум разрешил свою последнюю задачу, и отныне человек-машина владеет мировой машиной и самим собой»¹⁰.

Таково содержание этого необычного произведения молодого Питирима Сорокина. Конечно, его можно отнести к жанру *science fiction*. Однако есть основания предполагать, что сам автор в период написания и опубликования своего произведения расценивал его несколько иначе. В 1915–1916 гг. П.А. Сорокин обнародовал, по крайней мере, три статьи на тему социальной педагогики. Первая из них появилась в самом начале 1915 г., подписана одним из его псевдони-

⁹ Там же, № 11–12, с. 12–14.

¹⁰ Там же, с. 19.

мов и называется «Проблема новой социальной педагогики (Нечто утопическое, но могущее быть реальным, может быть, бесполезное, но наводящее на размышление)»¹¹. Содержание статьи почти полностью, иногда дословно, совпадает с речами главного героя «Предтечи». Нельзя ли, задается вопросом Римус, упростить современную систему образования и обучения и сделать так, «чтобы то, что знает теперь человек после 20-летней выучки, знал мальчик 10–12 лет?». То, что это в принципе возможно, не вызывает у него никаких сомнений, равно как и то, что «более или менее равномерное распределение знания и образования во всех слоях общества есть условие, без которого невозможна эгалитарная [...] система общества»¹². Правда, автор откровенно признается, что он не знает, в чем конкретно заключается или должна заключаться эта «быстродействующая педагогика», но настаивает на том, что «социологи и психологи должны изобрести “психический насос”, который бы в сотни раз скорее и сильнее интеллектуализировал мозг и “вкачивал” в него психическую атмосферу. Именно в изобретении такого “насоса”, т.е. в выделении определенной и надлежащей комбинации интеллектуализирующих факторов среды, и заключается первая и очевидная задача тех, кто будет трудиться на этом поприще создания новой науки обучения народных масс»¹³.

Ровно через год П.А. Сорокин опубликовал еще две статьи на волнующую его тему: «Социальная необходимость новой педагогики» и «Возможна ли более интенсивная педагогика?»¹⁴. Обе статьи приурочены «к 3-му всероссийскому съезду экспериментальной педагогики», который проходил 2–3 января 1916 г., т.е. к моменту их публикации уже закончил свою работу. Съезд принял резолюцию из 7 пунктов, которые с точки зрения дерзновенных мечтаний молодого Сорокина затрагивали лишь частные проявления проблемы, но не решали ее радикально, в духе «Предтечи». Правда, и сам Сорокин в своих статьях, опубликованных в уважаемой буржуазной газете, постарался упрятать концы своей социально-педагогической утопии так глубоко, что только тот читатель мог бы узнать в них Римуса и Н. Чаадаева, которому заранее были бы известны умонастроения начинающего социолога. В них тоже выражается уверенность в том, что «15–16-летний период обучения для получения знаний кончающего студента можно было бы сократить до 8–10 лет», а перед наукой и педагогикой

¹¹ Северный гусяр. Пг., 1915, № 1, 15 января, с. 17–26; № 2, 28 января, с. 9–16 (подписана: Римус). См. также: *Сорокин П.* Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М., 1994, с. 248–255.

¹² *Сорокин П.* Общедоступный учебник социологии, с. 249. Отточиями в квадратных скобках обозначена цензорская правка.

¹³ Там же, с. 253.

¹⁴ Биржевые ведомости. 1916, № 15306, 5 января, утренний выпуск, с. 2; № 15308, 6 января, утренний выпуск, с. 3.

ставится задача довести интенсификацию умственного развития «до предельного давления», утроить, удесятерить ее; как физики сумели доводить давление одной атмосферы до нескольких сот атмосфер, так же и педагоги должны изобрести пути, чтобы давление одной интеллектуальной атмосферы довести до давления нескольких атмосфер»¹⁵. Для доказательства возможности такого «утроения» и «удесятерения» Сорокин ссылается на исторический опыт человечества. В частности, он отмечает: «То, что знает теперь 10-летний мальчик, 3–4 поколения тому назад было почти недоступно взрослому человеку. Таблица умножения, легко усваиваемая теперь 7–8-летним ребенком, была недоступна древнему человеку...»¹⁶ Далее идут ссылки на этнографические исследования Леви-Брюля и Ковалевского, приводятся примеры «вундеркиндов» вроде «Дж. Ст. Милль, в 4 года писавшего стихи на латинском и греческом языках, а в 10–12 лет знавшего больше рядового студента». «Немало подтверждений той же возможности интенсификации обучения, – пишет он далее, – дают и самоучки из “низов”... Литературным типом их может служить Мартин Иден Дж. Лондона. Таких Иденов немало даже и в нашей рабочей среде». Наконец, следует отсылка «к одной очень серьезной работе румынского социолога Драгическо (*Du rôle de l'individu dans le déterminisme sociale*)¹⁷, где не без основания доказывается возможность методического и научного создания гения».

Ссылка на Драгическо очень характерна для П.А. Сорокина. В России этого румынского социолога, кажется, никто никогда и не знал – кроме Сорокина, который довольно часто ссылался на его работы. Не Драгическо ли и заразил своего молодого русского коллегу идеей «возможности методического и научного создания гения»? Дело в том, что указанную работу Драгическо Сорокин частично перевел на русский язык и издал еще в 1913 г.¹⁸ Видимо, в этом году и зародилась в сознании Сорокина идея его «социально-педагогической утопии».

В первоначальном своем варианте эта идея приняла вид утопии «политико-правовой». Напомним, что первая книга, опубликованная П.А. Сорокиным, заканчивается выражением автором уверенности в том, что «пределом», к которому ведут установленные им тенденции, «будет полное уничтожение кар и наград»¹⁹. А это значит, сказал бы наш друг Никуличев, «тюрьмы должны быть уничтожены, уголовные законы сожжены и заменены новыми, преступники выпущены на свободу. Отныне не должно быть наказаний». Да и кого наказывать? За

¹⁵ Биржевые ведомости. 1916, № 15308, 6 января, с. 3.

¹⁶ Там же.

¹⁷ В газете досадная опечатка: вместо *Du rôle – Parole*, что обесмысливает название этой «очень серьезной работы».

¹⁸ См.: *Драгическо*. Роль индивида в социальном детерминизме // Новые идеи в социологии. СПб., 1913, № 2.

¹⁹ *Сорокин П.А.* Преступление и кара, подвиг и награда. М., 2006, с. 490.

что? «Сверхчеловек (не ницшевский, конечно, но все равно *Übermensch*. – В.С.), стоящий выше современного добра и зла, права и нравственности, не знающий извне навязываемого “долга” и полный действенной любви к сочеловекам, – вот предел, к которому ведет история человечества»²⁰.

Ждать, когда этот человек появится сам собой, очень долго: нельзя ли предпринять какие-то меры по его ускоренному «выведению»? Мы уже знаем ответ Сорокина: разумеется, можно. И даже должно. И поможет в этом метод ускоренного воспитания и образования, разработанный Никуличевым, «умород», созданный Колыбиным, и совместно построенная ими лаборатория («прачечная человеческих душ»). Но прежде чем все это начнет работать и приносить пользу, необходимо сделать еще одно чрезвычайно важное открытие – на сей раз в области социологии, – и совершить его предстоит уже не Никуличеву, а его живому прототипу – самому Питириму Сорокину. *Предстоит открыть, точнее говоря, вывести «формулу человеческого поведения».*

Ведь «социология, – по словам Сорокина, – и ставит своей главной и конечной целью объяснить жизнь, поведение и судьбу отдельных людей и целых народов»²¹. Но и этого мало. Указанная «конечная цель» является таковой лишь для теоретической социологии. А есть еще социология практическая, она же социальная политика, она же «социология как искусство», которая «должна быть осуществлением афоризма О. Конта “*Savoir pour prévoir, prévoir – pour pouvoir*” (Знать – чтобы предвидеть, предвидеть – чтобы мочь)». Эта «ветвь» социологии должна быть прикладной дисциплиной, которая, «опираясь на законы, сформулированные социологией теоретической, давала бы человечеству возможность управлять социальными силами, утилизировать их сообразно поставленным целям»²². Составной частью социальной политики как раз и является социальная педагогика. Впрочем, если исходить из понимания этой последней в духе Никуличева, то можно сказать, что социальная педагогика поглощает социальную политику или что социальная политика сводится к педагогике.

В том же 1913 г. П.А. Сорокин начинает публиковать статьи, которые впоследствии войдут в состав первых двух томов «Системы социологии». Таких статей немного, но они все-таки есть²³, и это дает нам основания утверждать, что сразу же или вскоре после выхода в свет «Преступления и кары» он приступает к реализации обоих своих замыслов, т.е. к работе и над «Социальной педагогикой» и над «Системой социологии». Рискну высказать предположение,

²⁰ Там же, с. 493.

²¹ Там же, с. 8.

²² *Сорокин П.А.* Система социологии. М., 2008, с. 61.

²³ К числу этих статей можно отнести следующие: Границы и предмет социологии // Новые идеи в социологии. СПб., 1913; Символы в общественной жизни. Рига, 1913; Знание как фактор поведения // Ежемесячный журнал. 1916, № 7–8, № 9–10.

что первоначально это был единый замысел или, точнее говоря, единый научный проект: многотомная «Система социологии», увенчать которую предстояло «Социальной политикой». Правда, «Система социологии» написана в этом отношении столь искусно, что ни в каком утопизме автора заподозрить нельзя и уж тем более невозможно найти никаких генетических связей между идеями, развиваемыми в этом исследовании, и идеями, высказанными в «Предтече» и в «социально-педагогических статьях». Лишь после знакомства с этими произведениями их родство с «Системой социологии» становится очевидным.

Кроме того, к концу 1918-го, и уж тем более к 1920 г., когда вышли два тома «Системы социологии», Сорокин был уже не тем, что в 1913–1914 гг. Впоследствии в автобиографии, рассказывая о своем мировоззрении в 1914 г., он напишет: «В целом это было оптимистическое мировоззрение, весьма схожее со взглядами большинства русских и западных мыслителей предреволюционного времени. Я и не предполагал, что мое “научное, позитивистское и прогрессивно оптимистическое” мировоззрение вскоре подвергнется жестокому испытанию историческими событиями и, претерпев второй кризис, будет во второй раз пересмотрено и заново интегрировано. Этот второй кризис еще скрыт в потемках будущего»²⁴.

Пережив это «жестокое испытание», Сорокин вынужден был отказаться от большинства утопических идей, высказанных им в «Предтече»²⁵.

Во-первых, он понял, что всеобщее равенство, к которому он так стремился в молодости, не просто утопия, а утопия чрезвычайно вредная и опасная. Полное равенство возможно лишь среди рабов. Они действительно обладают равными правами, поскольку не обладают никакими. Хотите сделать всех людей равными – превратите их в рабов.

Во-вторых, «формула человеческого поведения», которую якобы открыл Никуличев, невозможна хотя бы уже потому, что человек – не машина (даже с той оговоркой, что это машина, снабженная «психическим мотором»).

В-третьих, в конце концов Сорокину пришлось отказаться и от бихевиоризма (в русском варианте – от коллективной рефлексологии) как основного методологического принципа. В самом упрощенном варианте бихевиоризм все поведение животных и людей сводит к однозначной и жесткой схеме «стимул – реакция». Руководствуясь этой схемой, можно дрессировать животных, можно дрессировать и людей, но именно дрессировать, а не воспитывать. Чем, собственно говоря, и занялось большевистское правительство по окончании гражданской войны. И каких успехов оно добилось в рекордно короткие сроки – об этом можно было

²⁴ Сорокин П.А. Дальняя дорога. Автобиография. М., 1992, с. 57.

²⁵ Не останавливаясь на соответствующих фактах биографии П.А. Сорокина, полагая, что они общеизвестны.

бы написать целый трактат²⁶. Другое дело, что вместо «гармонично развитой личности» получился homo soveticus, но для того, чтобы скрыть этот печальный факт, существует искусство социальной мимики и социального иллюзионизма, прекрасно описанное самим П. Сорокиным.

В Америке, куда Сорокин перебрался из Европы в 1923 г., «классический бихевиоризм» себя к тому времени практически уже исчерпал, но вскоре появится необихевиоризм и расцветет таким пышным цветом, что это приведет в США к тому, что социальные и психологические науки будут переименованы в науки «поведенческие». Так что если бы Сорокин перевел на английский уже написанные им три тома «Системы социологии» и дописал остальные пять томов (что при его колоссальной работоспособности он мог сделать к 1930 г.), он вполне вписался бы в главное направление американской социологии того времени, а может быть, и возглавил его. Но Сорокин к тому времени от бихевиоризма и рефлексологии уже отказался, и «с конца 30-х годов, вплоть до последних дней... многие высказывания современных бихевиористов и неопозитивистов, близкие по духу его ранним утверждениям, высмеивал и подвергал резкой критике с позиций “понимающей” социологии». Более того, «буквально по всем основным теоретическим и методологическим принципам старой бихевиористской конструкции Сорокин производит ревизию и смену установок на прямо противоположные»²⁷.

В этом, на мой взгляд, и заключается основная причина, в силу которой «Система социологии» осталась незаконченной. Это не значит, конечно, что «Систему социологии» следует отнести к разряду «отреченных книг». Сам Сорокин в автобиографии пишет по этому поводу следующее: «С момента опубликования “Системы социологии” прошло почти 44 года. Я редко без настоящей необходимости перечитываю свои книги после того, как они изданы. За эти 44 года такая необходимость возникала несколько раз во время работы над “Социальной и культурной динамикой” (1937–1941), “Социальной мобильностью” (1927), “Современными социологическими теориями” (1928) и “Обществом, культурой и личностью” (1947). В результате я обнаружил, что, несмотря на отдельные недостатки, “Система социологии” дает, как мне кажется, первую логически систематизированную и эмпирически детализированную теорию социальных структур... Если в этих более поздних работах я и повторял в краткой форме

²⁶ Поэтому ограничусь одним, но, по-моему, очень характерным, может быть, самым характерным примером. Главный теоретик социальной дрессуры академик И.П. Павлов, оставаясь в СССР, очень долгое время был яростным противником нового режима и почти не скрывал своего отношения к советскому строю и его вождям. Но в конце концов большевики выдрессировали и самого дрессировщика: незадолго до смерти Павлов все-таки «рвкнул» советской власти за ее отношение к науке и ученым.

²⁷ *Голосенко И.А.* Социология Питирима Сорокина (русский период деятельности). Самара, 1992, с. 95, 96.

теоретические положения, разработанные в “Системе социологии”, то только по той причине, что в мировой литературе по социологии и социальным наукам не находил другую теорию, которая была бы более научна, логически последовательна и лучше объясняла эмпирические данные, чем моя собственная теория»²⁸.

Не попадает в разряд «отреченных книг» и «Предтеча». Иначе зачем этот свой роман, пусть и под другим названием, Сорокин включил бы в свою библиографию? Кто и когда узнал бы, что этот под псевдонимом опубликованный роман написан именно Сорокиным? О том, что на родине хранятся его архивы и что когда-нибудь они станут доступны исследователям, он, конечно, знать не мог. Поэтому он и сделал эту «подсказку» «будущему биографу», ясно давая понять, что и на склоне лет он не отрекается от своего юношеского утопического проекта, почему и вносит его в список своих основных сочинений наряду с сугубо научными работами. Ведь в конечном итоге вся научная деятельность Сорокина увенчалась системой «социальной педагогики», хотя и не в том утопическом варианте, какой грезился Никуличеву. Как известно, в поздний период своей жизни и деятельности Сорокин посвятил себя работе в созданном им Гарвардском центре по изучению творческого альтруизма. Наконец-то он нашел тот, если можно так выразиться, «рычаг», с помощью которого можно осуществить предсказанный им «интегральный строй», и рычаг этот – любовь. К тому времени многие американские коллеги Сорокина считали, что его творчество давным-давно уже носит характер «ненаучный». На самом деле, как убедительно показал Л. Николс, проанализировавший «ненаучные» публицистические статьи Сорокина, опубликованные в 1917 г. в газете «Воля народа» («Предтеча», разумеется, осталась за пределами его анализа), Сорокин всю жизнь «стремился согласовать решение» научных и ненаучных проблем, так что самая ранняя стадия его деятельности «скорее прообраз, а не диаметрально противоположность зрелой стадии»²⁹. Роман «Предтеча» – еще одно доказательство этой истины. Несмотря на то, что взгляды и научные интересы П.А. Сорокина на протяжении его долгой жизни менялись, он, в сущности, всю свою жизнь посвятил созданию «Системы социологии», которую увенчала бы «Социальная педагогика». И в основе всего его творчества лежит «нечто утопическое, но могущее быть реальным», – мечта открыть «формулу человеческого поведения» и на ее основе изменить людей и жизнь к лучшему. Из этой мечты родилась и «Система социологии», и «Социальная мобильность»... Впрочем, не стоит перечислять всю библиографию Сорокина. Способы ее реализации менялись, но сама она оставалась. И разве иной должна быть самая высокая Мечта ученого-социолога?

²⁸ Сорокин П.А. Дальняя дорога, с. 71.

²⁹ Николс Л.Т. Наука, политика и моральный активизм: новый подход к интегрализму П.А. Сорокина // Возвращение Питирима Сорокина. М., 2000, с. 203.

Произведения, составившие настоящий том, условно можно отнести к разряду художественных. Условно, поскольку не все они безоговорочно обладают характеристиками «художественности». Сочинения первого раздела – это в основном фельетоны, путевые и этнографические очерки, которые при иных принципах составления собрания сочинений П.А. Сорокина, можно было бы – и тоже с некоторой долей условности – отнести к жанру научной или научно-популярной публицистики. Если когда-нибудь будет подготовлен к печати сборник литературно-критических статей ученого, то его самая первая статья «Кое-что из современной беллетристики», безусловно, займет в нем свое место. При этом следует особо отметить, что эта статья меняет сложившееся представление о литературном дебюте Сорокина, который теперь надо относить не к 1910, а к 1907 г. (автору, напомним, в это время было 18 лет), и не исключена возможность, что со временем будут найдены и другие неизвестные до сих пор статьи Сорокина, написанные им в промежутки между 1907 и 1910 гг.

Здесь же уместно будет расстаться с одной досадной библиографической ошибкой: в ряде библиографий П.А. Сорокина фигурируют два детских рассказа, подписанные якобы его псевдонимом Вьюгов (на самом деле рассказы подписаны настоящей фамилией писателя – С. Вьюгов, тогда как Сорокин подписывался псевдонимом В. Вьюгов или просто Вьюгов): «В новую жизнь» и «Звонарь Мирошка». Эти рассказы написаны *не* Питиримом Сорокиным, хотя так и хочется написать «к сожалению, не...», поскольку их содержание, особенно содержание «Звонаря Мирошки», очень напоминает эпизод из жизни социолога. В «Дальней дороге» он рассказывает о том, что как-то раз зимой в начавшуюся метель «решился идти в Римью <из Жешарта> на ночь глядя, несмотря на непогоду». Он заблудился, упал и был занесен снегом. И, уже теряя сознание, услышал звон церковных колоколов. «Эти удары колокола, – пишет Сорокин, – спасли мне жизнь и не дали замерзнуть. Они указали направление на Жешарт, куда я сразу же побрел с вновь ожившей надеждой. Ведомый колоколами, я добрался до села...»³⁰

В рассказе «Звонарь Мирошка» описана примерно такая же ситуация. Группа детей идет из одного села в другое на праздник и в пути оказывается застигнутой бурей. Звонарь Мирошка, которого друзья уговаривают бросить звонить в колокол и присоединиться к их празднику, решает позвонить еще раз и тем самым спасает от верной смерти заблудившихся детей. Мораль этого трогательного рассказа проста: надо исполнять свой долг до конца.

Рассказ этот до сих пор интересен юным читателям и находит горячий отклик в их сердцах (да и их родителей тоже). Недавно (в 2014 г.) издательство «Смирение» выпустило подготовленный Ольгой Стацевич альманах «Чудесный

³⁰ Сорокин П.А. Дальняя дорога, с. 31.

подарок», в который был включен и рассказ С. Вьюгова (наряду с рассказами других детских дореволюционных писателей, печатавшихся в журналах «Светлячок», «Путеводный огонек», «Задушевное слово» и других). Восторженные отзывы читателей не замедлили появиться. Вот один из них, наугад взятый из Интернета: «Нам книга очень понравилась. Качественное издание: хорошая бумага, твердый переплет, иллюстрации в большинстве черно-белые, но очень красивые и не умаляют достоинств книги. Выполнено все со вкусом. Авторы Вьюгов (рассказ “Звонарь Мирошка” любимый у наших детей), Федоров-Давыдов и др. Произведения очень хорошие, есть в них и смирение, и Божественная любовь, и принятие любых ситуаций...» И хотя, повторим еще раз, рассказ, *к сожалению*, написан не П. Сорокиным, при переиздании «Чудесного подарка», может быть, стоило бы рассказать в примечании, что такой же безвестный звонарь Мирошка спас в свое время жизнь будущего великого социолога...

Во второй раздел тома вошли обе редакции научно-фантастического романа П.А. Сорокина, который в журнальной публикации озаглавлен как «Предтеча», а в архивном варианте никакого названия фактически не имеет и в архивной описи фигурирует под названием первой части. Озаглавив его «Прачечная человеческих душ», составители фактически реализовали последнюю волю автора, заявленную им публично. Следует отметить, что в настоящем издании роман впервые печатается с указанием всех рукописных вставок, зачеркиваний и нескольких довольно крупных фрагментов текста, ранее не издававшихся.

В третий раздел тома вошли стихотворения Питирима Сорокина – и те, что были им опубликованы (6 стихотворений³¹), и те, что долгое время хранились в его архиве в двух тетрадах (16 и 4 лл.) под названием «Рифмованная ерунда». Уже само название этих тетрадей свидетельствует о том, что к своему поэтическому творчеству автор относился, мягко говоря, не очень серьезно, хотя, судя по некоторым стихотворениям, поэтический талант у него, безусловно, был, и кто знает, до какой степени он бы развился, если бы Сорокин относился к нему не как к «ерунде». Но, надеемся, все поклонники и читатели *социолога* Питирима Сорокина (если они даже не станут поклонниками Питирима Сорокина-поэта) будут рады узнать, что любимый ими автор в молодости тоже грешил стишками и отдал дань той стороне человеческой жизни, которая посвящена Бахусу и Венере, т.е. относился не к той категории ученых и интеллигентов, которые в суровое сталинское время получили презрительную кличку Укропы Помидорычи (и ко-

³¹ Ради точности следует назвать еще одно опубликованное стихотворение П.А. Сорокина: в 1917 г. на страницах газеты «Воля народа» (№ 130, 27 сентября) появилось его стихотворение «Монолог современного министра (по Пушкину)» (напечатано под псевдонимом Н. Чаадаев). В нем Сорокин пародирует монолог царя Бориса из трагедии «Борис Годунов» (см.: *Сорокин П.А. Заметки социолога. Социологическая публицистика.* СПб., 2000, с.144–145). Впоследствии такой же прием использует В.В. Маяковский, который в поэме «Хорошо!» («Не спится, няня...») спародирует ночной разговор пушкинской Татьяны с няней.

торых в России, конечно, уважают, но не любят), а к той, о представителях коей можно сказать словами Гамлета: «Он человек был в полном смысле слова». Или словами Пушкина: «Блажен, кто смолоду был молод...»

Наконец, в четвертый раздел вошли произведения, написанные Сорокиным в американский период жизни (за исключением «Дневника путешествия на Удору») и хронологически далеко выходящие за рамки настоящего тома. Тем не менее мы сочли возможным и даже необходимым включить их в состав именно этого тома, поскольку они символически завершают и художественные, и научные поиски П. Сорокина. Социолог, в молодости мечтавший найти «формулу человеческого поведения» и с ее помощью, а также с помощью чудодейственных пилюль превратить человека-машину в ангела, который не будет ни воровать, ни пить, ни буяннить, т.е. станет следовать призыву, в дореволюционной России украшавшему стены ночлежек: «Водки не пить, песен не петь, вести себя тихо» – а такой человек, по идее, не будет, конечно, ни устраивать революций, ни участвовать в войнах, ни «ведать ваших искушений – самоубийство и любовь» (вопрос только в том, будет ли такой человек человеком), – так вот, этот социолог, достойно прожив свою многотрудную жизнь, в конце концов пришел к выводу, что не надо никаких формул, никаких чудо-пилюль, а нужна только действенная любовь и самоотверженная работа в своем саду.

Этому же почти за 300 лет до Сорокина учил другой мудрец (и в этом, по крайней мере, он был абсолютно прав): «Faut cultiver son jardin» – Надо возделывать свой сад.

Последуем и мы совету фернейского затворника и нашего соотечественника, великого американского (нет, все-таки русско-американского) социолога: с любовью, терпением и трудолюбием будем возделывать свой сад. Быть может, что-нибудь и взойдет...

В.В. Сапов

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПИТИРИМ СОРОКИН: ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА

В 2014 г. исполнилось 125 лет со дня рождения крупнейшего социолога XX в. – Питирима Александровича Сорокина (1889–1968). Эта дата была отмечена важным событием – 22 августа состоялось торжественное открытие памятника Питириму Сорокину в Сыктывкаре в рамках Международной научной конференции «Питирим Сорокин и парадигмы глобального развития XXI века» (21–22 августа, 2014). Тем не менее, несмотря на триумфальное «возвращение на Родину» основных научных трудов мыслителя ушедшего века, известное библейское выражение «Нет пророка в своем отечестве» как нельзя лучше относится к многогранному научному творчеству П. Сорокина, во многие аспекты которого не вошли в корпус отечественных гуманитарных наук.

П.А. Сорокин стоял у истоков современных социологических теорий и отраслевых социологических дисциплин, являясь русским классиком западной социологии. Ему следует отвести особое место в плеяде мыслителей, чьи труды оказали фундаментальное влияние на развитие социологии как научной дисциплины в теоретико-методологических вопросах и институциональных аспектах. Идеи П.А. Сорокина принесли свои плоды не только в профессиональной социологической среде, они во многом легли в мировоззренческий фундамент современной культуры и общества в целом. Сегодня вряд ли можно найти ещё одного классика социологической мысли, чьи работы, имея более чем столетнюю историю выхода в свет первых работ, регулярно переиздаются и находят свою читательскую аудиторию. Развитие социологии как научной дисциплины в XX в. с очевидностью показало, что П.А. Сорокин являлся и является самым продуктивным и наиболее переводимым социологом в истории науки. Его работы, посвященные современному обществу, поражают глубиной интуиции и научного анализа. Нельзя не отметить и ещё одну их весьма яркую и характерную черту – попытку создать «нравственную историю XX века».

В чем же загадка исключительной актуальности и высокого эвристического потенциала научного наследия П.А. Сорокина? Почему его личность привлекает к себе внимание философов, историков, политологов и социологов? При анализе творчества ученого обычно обращаются к его заслугам в выбранной области знания. Но творчество П. Сорокина является в данном случае исключени-

ем из правил. Поэтому для ответа на поставленные вопросы стоит погрузиться в российский период жизни будущего корифея американской социологии, открывающий новые – литературные – грани его творчества.

Творчество П.А. Сорокина поразительно многогранно, из-под его пера выходили фундаментальные научные исследования, публицистические статьи, рецензии, очерки и заметки. На протяжении всей жизни он много писал – писал о людях, окружающих его, и о событиях, происходивших в обществе и его личной жизни, вел активную переписку с друзьями и коллегами. И если ученым хорошо знакома автобиография «Долгий путь», вышедшая в свет в 1963 г. в США, в которой П. Сорокин анализирует трансформацию своего мировоззрения и рассматривает историю своей жизни в контексте наиболее значимых исторических событий века, то некоторые его художественные произведения так и не стали доступны широкому кругу читателей и исследователей, о чем ярко свидетельствуют рукописи, сохранившиеся в архиве Института русской литературы РАН (Пушкинском Доме). И этот факт ещё раз подтверждает то, что сегодня исследование в рамках истории социологии, проведенное без привлечения архивных материалов, может оказаться недостаточно объективным.

Документы, составившие основу «Архива П.А. Сорокина», поступили в рукописный отдел Пушкинского Дома 7 мая 1928 г. как дар от литературоведа, журналиста и издательского работника Ферапонта Ивановича Седенко (литературный псевдоним – П. Витязев). Сорокин был хорошо знаком с ним ещё со времени обучения в университете, а в 20-е гг. Витязев возглавил Петроградский союз кооперативных издательств и книгоиздательское товарищество «Колос», выпускавшее книги по социологии и истории, мемуарную и библиографическую литературу. П.А. Сорокин активно сотрудничал с этим издательством, а его известная работа «Голод как фактор» (1920) готовилась к печати именно в «Колосе». Отношения П.А. Сорокина и Ф.И. Седенко не ограничивались только деловыми контактами, поэтому, когда осенью 1922 г. Сорокина выслали из страны, большую часть рукописей и книг он, вероятнее всего, передал на хранение Ф.И. Седенко. Быть может, П.А. Сорокин надеялся на то, что в будущем сможет забрать свои документы, но уже к концу 1920-х гг. стало очевидно, что это невозможно, поэтому в 1928 г. Ф.И. Седенко передал их в ИРЛИ. Особую ценность «Архиву П.А. Сорокина» в Пушкинском Доме придает сохранившаяся в нем рукопись романа «Предтеча». Интересно, что в своих многочисленных статьях, воспоминаниях и интервью П.А. Сорокин не упоминал о существовании этого произведения, о причинах его «молчания» можно только догадываться, тем более что большая часть романа была опубликована. Это произошло в феврале 1917 г., когда на страницах «Ежемесячного журнала литературы, науки и общественной жизни» увидели свет первые главы романа «Предтеча», автором которого был некий Н. Чаадаев. Исследователям творчества П.А. Сорокина

хорошо знаком этот псевдоним, которым он подписывал публицистические статьи революционного периода, но читатели журнала в 1917 г. вряд ли догадывались о том, что этот псевдоним скрывает имя известного ученого и политического деятеля. П.А. Сорокин планировал полностью издать свой роман в «Ежемесячном журнале литературы, науки и общественной жизни» в 1917 г., но из-за революционных потрясений деятельность журнала была приостановлена в июне 1918 года – вышел в свет последний шестой номер. Пока остается загадкой, почему в 1918 году читатели так и не увидели на страницах «Ежемесячного журнала» продолжения «Предтечи». Или цензурные ограничения не позволили опубликовать дальше или попросту Питирим Сорокин, активно вовлеченный революционной стихией в водоворот политики, не успел завершить свой роман, и на эти вопросы еще предстоит найти ответы. Под заголовком было написано: «Посвящается Е.П. Баратынской». И это посвящение, несмотря на то, что автор скрывался под псевдонимом Н. Чаадаев, указывает на П.А. Сорокина, так как именно в это время он сделал предложение Елене Петровне Баратынской, выпускнице Высших женских Бестужевских курсов, а в мае 1917 г. состоялась их свадьба.

Роман «Предтеча» представляет собой, с одной стороны, социальную утопию, включающую в себя и элементы антиутопии, с другой стороны – носит явно автобиографический характер. Первые главы романа перекликаются с текстом автобиографии «Долгий путь», а в тех эпизодах, где П.А. Сорокин описывает детские годы и смерть матери, совпадения настолько велики, что складывается впечатление, что когда П.А. Сорокин писал «Долгий путь», то просто взял и добавил фрагмент, написанный им ещё в России. В главном герое романа – Дмитрие Никуличеве – запечатлен сам Питирим Сорокин, а другом Никуличева является Иван Колыбин, прототипом которого выступил лучший друг Сорокина Николай Дмитриевич Кондратьев. В образе Михаила Михайловича Каракозова – наставника Никуличева и Колыбина, конечно же, можно узнать учителя П. Сорокина и Н. Кондратьева, известного историка, социолога и политического деятеля Максима Максимовича Ковалевского. Описывая М.М. Каракозова, он наделяет его внешним сходством со своим учителем и прямо указывает на научные труды М.М. Ковалевского: «Промышленное развитие Европы» и 10 томов «Происхождения нового режима».

Прототипом Ивана Павловича Пастухова выступил Иван Петрович Павлов – российский физиолог, создатель материалистического учения о высшей нервной деятельности, крупнейшей физиологической школы современности. Результаты исследований И.П. Павлова легли в основу разрабатываемого в начале XX века В.М. Бехтеревым нового научного направления – коллективной рефлексологии. Именно рефлексология В.М. Бехтерева и в меньшей степени ее американский вариант бихевиоризм стали основными теориями, на которые изначально опи-

рался П.А. Сорокин в своих исследованиях. Указанием на то, что прототипом Пастухова выступил именно И.П. Павлов, служат следующие строки романа: «В лице, в жестах и в голосе Пастухова чувствовалась какая-то целомудренность. Не обычная фарисейская скромность. Нет, именно целомудренность <...> он невольно вызывал уважение и представление о нем как о человеке науки <...> знаменитый психофизиолог, академик Пастухов, недавно получивший за свои работы Нобелевскую премию»¹.

Не менее интересны и другие исторические личности, ставшие прототипами других персонажей романа. Каллистрату Жакову, профессору Психоневрологического Института, земляку П.А. Сорокина, оказавшему ему значительную помощь и поддержку на первых этапах жизни и учебы в Санкт-Петербурге, отводятся отдельные эпизоды романа. В образе «знаменитого историка Востока Календарева» запечатлен Борис Александрович Тураев – русский историк, создатель отечественной школы истории Древнего Востока.

Но не только коллеги из академической научной среды выступили в качестве прототипов героев романа. Самая известная балерина того времени Матильда Феликсовна Кшесинская является прототипом Марии Николаевны Кирсановой. Вот как описывает ее П. Сорокин в своем романе: «Знаменитая балерина и прославленная красавица была женщина экстравагантная и неглупая <...> она была одной из тех женщин, которые остаются в истории, подобно Клеопатре или Помпадур». Рядом с ней запечатлен некий «граф Шелапутин, блестящий гвардейский офицер, владелец громадных поместий и древней сановитой фамилии». Фамилия Шелапутин, возможно, указывает читателям романа на Феликса Юсупова – главного участника организации убийства Григория Распутина 16 декабря 1916 г. По приказу А.Ф. Керенского после Февральской революции захоронение Распутина было найдено, а его останки ночью 11 марта 1917 г. сожжены. Стоит отметить, что в «Предтече» Сорокин использует много фактического материала, отражающего события, свидетелем и участником которых он был. Причем 1917 г. – год первой публикации романа на страницах «Ежемесячного журнала литературы, науки и общественной жизни» – был очень сложным в жизни П. Сорокина, что не могло не повлиять на содержание романа, насыщенного актуальной социально-политической проблематикой, а также на то, что в 1918 г. журнальная публикация «Предтечи» так и не была завершена. Так, в июле 1917 г. министр-председатель Временного правительства А.Ф. Керенский предложил Сорокину стать его секретарем, и он принял это предложение, а осенью того же года был избран членом Совета Комитета народной борьбы с контрреволюцией и членом Временного Совета Российской республики² и принял участие в разра-

¹ Наст. изд., с. 221, 209.

² Совещательный орган при Временном правительстве.

ботке Политической программы Временного правительства. После октябрьских событий 1917 г. П.А. Сорокин, как член партии эсеров, оказался в оппозиции к власти большевиков. Как депутат Учредительного собрания («самого короткого парламента» в истории человечества – его заседания продолжались всего 12 часов, причем партия эсеров получила на выборах более 40% голосов) от Вологодского губернского округа П.А. Сорокин – лидер правых эсеров, в ноябре-декабре 1917 г. работал в Союзе защиты Учредительного собрания. Открытый конфликт с большевиками привел к его аресту. Он был арестован 2 января 1918 г. и освобожден 23 февраля 1918 г., о чём свидетельствует Список заключенных Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. После освобождения политик переехал в Москву для работы в Союзе возрождения России и Союзе защиты родины и свободы, готовил в Великом Устюге, Вологде и Архангельске восстания по свержению коммунистической власти. Лето 1918 г. он провел в Яренском уезде, занимаясь агитацией против большевиков среди местного населения, а осень 1918 г. стала завершающим этапом в деятельности Сорокина-политика. Захват большевиками Вологодской губернии вынудил его снова перейти на нелегальное положение, завершившееся очередным арестом. Находясь в камере смертников Великоустюжской тюрьмы, он написал открытое письмо, в котором отказался от членства в партии эсеров и сообщил о своём решении отойти от политической деятельности. Возможно, на появление этого письма повлиял и тот факт, что в революционной катастрофе погибли близкие люди, учителя и ученики, друзья и коллеги. Письмо было опубликовано в газете «Правда» 20 ноября 1918 г. и получило высокую оценку лидера большевиков В.И. Ленина. В статье «Ценные признания Питирима Сорокина» Ленин называет это письмо «чрезвычайно интересным “человеческим документом”», который в то же время «является крупным политическим актом». После появления этой статьи, П.А. Сорокин был освобожден по «личному указанию товарища Ленина», как значится в архивах тюремной канцелярии. Сам Сорокин очень кратко описал этот эпизод в автобиографии, как, впрочем, и тот факт, что этим письмом и статьей В.И. Ленина его политической репутации был нанесен смертельный удар. Завершение политической карьеры позволило П.А. Сорокину возобновить деятельность на научном поприще. В конце 1918 г. он приехал в Петроград и восстановился преподавателем юридического факультета университета.

Эта биографическая справка во многом объясняет причины «молчания» Сорокина о своем романе: по-видимому, он не хотел привлекать внимание власти большевиков к своим убеждениям, открыто высказанным на страницах «Предтечи».

Во-первых, на страницах романа он описывает эволюцию своих социалистических воззрений. Отправной точкой служит 1905 г., когда П.А. Сорокин

вступил в партию эсеров. В «Предтече» партия социалистов-революционеров выступает как кружок «друзей народа». «Тогда ещё не было во мне скептицизма к догматам социализма, к способам его достижения и к отдельным вожакам революции... Нет... Все это я тогда принимал с энтузиазмом, веря во все, как в непреложную истину, и умел заставить верить других»³. Финальная точка – 1917 г. «В тюрьме же познакомился я и с множеством других революционеров. Немало довелось перевидать их и потом. И, увы, как мало среди этого множества званых подлинно избранных. Сколько канатных плясунов и актеров революции приходится и здесь на одного подлинного бунтаря по духу и делу. Как быстро стираются дивные жемчужины мысли и духа в руках этих имитаторов, горланящих больше других, нахохленных, как дерущиеся петухи, и с быстротой молнии переменяющих костюм бунта на бляху и мундир пронырливого карьериста. Чувство неприязни, зародившееся тогда, позже выросло во мне в подлинное отвращение к этим маленьким инквизиторам – манекенам революции, наиболее беспощадным, бессердечным и... громче всех вопиющим о том, что они-то и есть настоящие революционеры, что ими-то и охраняются устои социализма и что они-то “по праву и справедливости” уполномочены подавлять всякую ересь и всякое инакомыслие в доктрине социализма и революции. Не люблю я этих безголовых, реакционнейших из всех реакционеров шарлатанов. Бунтари духа и дела! Берегитесь этих бряцающих кимвалов! Сторонитесь их и боритесь, прежде всего, с ними. Они плодовиты, как клопы, и как клопы загрязняют все, к чему прикасаются. Срывайте с них маски. Они – горькая полынь в саду чистых лилий грядущего»⁴. Далее Соркин пишет ещё жестче: «Когда же я узнал, как согласовали они теорию с практикой, слова с делами, то был окончательно подавлен. Один пользовался общественной казной для того, чтобы покупать подарки любовнице, другой имел 10-тысячную ренту, третьи из социализма сделали дойную корову, извлекая и откладывая в свои карманы доходы с социалистического журнала, четвертые модничали им, как франты галстуком, пятые сколачивали на нем популярность, шестые – приобретали кресло и т.д., и т.д. Социализм для многих из них стал выгодной рентой. “И это все противники собственности? Защитники обобществления? Какая горькая ирония”, – думал я. В них едва ли не сильнее, чем в других, живо все прошлое. Поэтому-то они и любили “организацию”, “входящие и исходящие”, “президиумы и комитеты”, “порядок и дисциплину” и прочие атрибуты государственных чиновников вплоть до своих орденов и флагов. Потому-то часто с такой легкостью и перевоплощались они в карьеристов-чиновников, делались самыми злобными и безжалостными угнетателями народа. “Какую же картину будет представлять социалистическое об-

³ Наст. изд., с. 150.

⁴ Наст. изд., с. 151–152.

щество, если оно будет состоять из таких членов? Самую нетерпимую, самую безобразную»⁵.

Во-вторых, в романе «Предтеча» П.А. Сорокин открыто рассуждает о лозунге и одновременно идеале, вокруг которого велись, начиная с времен Великой французской революции, наиболее непримиримые дискуссии – «свободы, равенства и братства». В качестве антитезы марксистам в целом и большевикам в частности П. Сорокин пишет следующее: «Вы под равенством понимаете, прежде всего, материальное равенство и за него исключительно боретесь. Я не верю в успех этой борьбы и считаю, что пока нет равенства психического, т.е. умственного и нравственного, до тех пор всякая попытка установления материального равенства будет безуспешной. Достижение первого – задача бесконечно более трудная, но только она может привести и к материальному равенству. Короче, что вы считаете главным, я считаю второстепенным, что вы считаете причиной, я считаю следствием, и обратно <...> Ваше понимание будущего социалистического строя я нахожу плоским, поскольку под ним разумеется только уничтожение частной собственности и обобществление орудий производства. Это без ряда условий недостижимо и едва ли стоило и стоит той массы жертв, которая принесена во имя социализма и еще будет принесена... Я же под социализмом понимаю такой строй, где люди свободно и без принуждения будут богами друг для друга, т.е. будут исполнять избранные ими социальные функции и не из страха кнута или Бога, как во времена рабства, и не во имя личных интересов и не интересов семьи, как делается теперь, а во имя общего блага, во имя чистого альтруизма <...> не верю я и в тот спасительный рычаг бессознательной и всевластной экономики, на которую вы возлагаете все ваши упования, называя их “научными” в отличие от утопизма мыслителей XVIII века. Ваша вера – одна из утопий, которой тешил себя Маркс и утешаете себя вы. Это та же фигура “Спасительного Провидения”, только под иным соусом. Пора смелее взглянуть в глаза реальности и сорвать пышные одежды и с этого идола. Вот кратко мои основные разногласия»⁶.

И здесь как раз уместно перейти к анализу «Предтечи» с другой стороны и показать, что в ней нашли отражение научные аспекты творчества П.А. Сорокина, поскольку эволюция его воззрений на социализм на страницах романа полностью совпадает с его социологическим анализом революции в цикле публицистических статей революционного периода «Заметки социолога», а также в его известной работе «Социология революции».

Изначально П.А. Сорокин был сторонником концепции революции, сложившейся в рамках философии Просвещения. В статье «Великое освобождение»,

⁵ Наст. изд., с. 157.

⁶ Наст. изд., с. 228–229.

опубликованной в газете «Дело народа» в марте 1917 г. он писал, что с принятием Временным правительством декрета об отмене сословных, национальных и религиозных ограничений был сделан важный шаг в проведении в жизнь идеала равенства и освобождения личности от различного рода порабощения. Проводя параллель с Французской революцией 1789 г., он считал, что средством для достижения этого идеала выступает именно революция, в процессе которой личность отстаивает свои права, причем с каждым моментом истории увеличивается объем прав и свобод отдельной личности. «Затопанная в грязь в прошлом, униженная в своём достоинстве, бессильная вначале, прикованная цепями к узким клеткам каст и сословий, в течение истории она (личность) шаг за шагом срывала эти путы, страдала, гибла, распиналась на кресте, сжигалась на кострах, душилась в казематах и ...все же боролась и все же побеждала...»⁷ Спустя всего несколько месяцев, П.А. Сорокин поменял свое идеалистическое восприятие революции. В статье «Логичные вопросы и нелогичные ответы» (Воля народа. 11 июля 1917 г.) он выдвигает единственную и единую цель для правительства и его членов – спасение страны, страны не как названия, а страны как символа 170 миллионов *живых человеческих личностей*, и эта цель должна быть выше частных интересов. Ради достижения этой цели Временное правительство обязано, с точки зрения П.А. Сорокина, всеми мерами противиться акту Финляндии о независимости, имеет право ограничить конституционные гарантии для большевиков, может ввести какие угодно налоги на капиталы, имеет право не допустить сокращения числа рабочих часов и т.д. Если в мае 1917 г. П.А. Сорокин высказывал только предположения по поводу вероятности наступления реакции, то два месяца спустя он констатирует свершение этого, видя в реакции «трагедию революции» в России, и это он связывает прежде всего не с объективными характеристиками протекания данного процесса, а с тем, что значительная часть общества оказалась неподготовленной к предоставленной революцией свободе и злоупотребила ею, установив вместо «порядка свободы» «беспорядок анархии», кроме этого он обращает внимание на роль политической пропаганды как средства влияния на сознание индивидов, групп, общества для достижения определенного результата. Будучи сторонником позитивизма, он считал, что развитие общества, его прогресс зависит от уровня общественного сознания, которое во многом определяется образованием. И здесь снова можно обратиться к «Предтече», поскольку именно в нем эта точка зрения нашла свое яркое отражение в программном заявлении, красной нитью проходящем через роман.

«Моя программа исчерпывается одним лозунгом – знание. Знание раскрывает законы необходимости, раскрывая их, оно дает в руки средства управлять мировыми силами и человеком. Только равенство интеллектуальное повлечет

⁷ Сорокин П.А. Заметки социолога. Социологическая публицистика. СПб., 2000, с. 14.

остальные виды равенства, только знание – может переделать человека-эгоиста в альтруиста, только оно же приведет нас к новой эпохе и к новым людям – сильным, действенным, здоровым и любящим друг друга. А все остальное – либо простое следствие, либо идола уставшего и ленивого ума, создавшего себе утопии»⁸.

Интересным для читателей и исследователей творчества П.А. Сорокина может быть тот факт, что практически вся его научная деятельность того времени нашла отражение на страницах романа «Предтеча». Основная сюжетная линия произведения сводится к интеллектуальной эволюции главного героя Дмитрия Никуличива и научному открытию, которое он совершил с коллегой – Иваном Колыбиным. Как уже отмечалось, роман изобилует автобиографическими материалами и описаниями, охватывающими детские и юношеские годы Сорокина. Достоверность многих фактов и событий не подлежит сомнению, так как десятилетия спустя они были отражены в автобиографии «Долгий путь», разница лишь в том, что в «Предтече» они предстают перед читателем во всей субъективной полноте чувств и переживаний, а автобиография – это ретроспективный анализ прожитого и пережитого. Но наибольший интерес представляют в «Предтече» не биографические подробности жизни автора, а тот факт, что роман Сорокина проливает свет на философские вопросы, которые ставит перед собой любая утопия: вопросы цели и средств ее достижения, природы человека, добра и зла, свободы и счастья. Молодые ученые, вдохновленные достижениями в области естественных наук и исследованиями известного психофизиолога академика И.П. Пастухова, создают новую систему воспитания и обучения, а также разрабатывают методы «перевоспитания» преступников, выступая за радикальную реформу системы уголовного права. Колыбину, исследовавшему «способы восстановления нервной энергии» и создавшему в лаборатории химический препарат «умород», который улучшает память, внимание и другие функциональные характеристики головного мозга, отводится второстепенная роль в романе. Основное же внимание сосредоточено на открытии самого Никуличива (Сорокина) в области «механики человеческого поведения». По сюжету романа ученому удалось изучить основные законы человеческого сознания и поведения, а также провести ряд удачных экспериментов по интенсивному обучению и исправлению девиантного поведения. Причем характерно, что в своих теоретических выкладках Никуличив «цитирует» исследования П.А. Сорокина, так, например, в романе можно встретить выдержки из работы «Преступление и кара, подвиг и награда» (1913), отголоски многих статей и рецензий. После того, как молодые ученые представили результаты своих исследований научному сообществу, их имена стали знаменитыми, а они получили возможность проверить свою систе-

⁸ Наст. изд., с. 229.

му обучения и воспитания на практике: по всей стране стали открываться новые школы (доступные всем слоям населения) и «лаборатории по исправлению преступников». Но общество столкнулось с проблемой, порожденной научным открытием Никуличева и Колыбина: преступная организация, завладев новой методикой, стала формировать противоправное поведение у ранее законопослушных граждан. Поэтому в финале романа П.А. Сорокин пытается решить важные нравственные проблемы: ответственности ученого перед обществом и использования результатов научных открытий. Действие романа завершается тем, что ученые начинают активную работу уже по преодолению проблем, порожденных использованием результатов научного открытия в преступных целях. Таким образом, изначальная вера в интеллектуальный прогресс и моральную реконструкцию человечества ставится под сомнение. Тем не менее интересен тот факт, что некоторые проблемные поля исследований, только лишь пунктирно обозначенные в романе, нашли свое воплощение в фундаментальных исследованиях П.А. Сорокина американского периода творчества. Так, например, в качестве источника, подтверждающего возможность «исправления» преступников методами, отличными от методов, зафиксированных в системе уголовного права, в романе выступают Четьи-Минеи (сборник житий святых православной церкви), на которые ссылается Никуличев. А позднее, более чем 30 лет спустя, в рамках Гарвардского исследовательского центра по изучению творческого альтруизма (Harvard Research Center in Creative Altruism), организованного П.А. Сорокиным в 1949 г., появляется серия работ, посвященных альтруизму и нравственной реконструкции общества. При этом в качестве материала для исследований выступают Жития святых и биографии известных личностей, внесших значительный вклад в формирование системы высших нравственных норм и ценностей. Подобных параллелей в романе достаточно много, что ещё раз подтверждает целостность творчества П.А. Сорокина и делает роман интересным не только с литературной, но и с научной точки зрения. Если абстрагироваться от того, что роман написан П.А. Сорокиным, а воспринимать его как произведение некоего Н. Чаадаева, то можно выделить ещё одну сюжетную линию – романтическую любовь Дмитрия Никуличева и ее влияние на становление его личности. Кроме того, роман изобилует эмоциональными, красочными описаниями природы, отдельных эпизодов жизни людей, их чувств и переживаний.

Литературные опыты П.А. Сорокина не ограничивались только прозой – так же, как в своей профессии ему было тесно работать в рамках одной методологии или одного проблемного поля исследований, так и в своих литературных пробах пера он смело шагнул в область поэзии. В архиве П.А. Сорокина в Пушкинском Доме сохранились две тетради его стихотворений, которые, могут заинтересовать литературоведов.

Интерес П.А. Сорокина к литературному творчеству и литературе как объекту социологического анализа стал зарождаться на самых ранних этапах его научной деятельности, о чем свидетельствуют его многочисленные отзывы и рецензии на художественные произведения, а также статьи о творчестве писателей. Начать их обзор следует с неизвестной и поэтому не вошедшей ни в одну библиографию статьи «Кое-что о современной беллетристике», опубликованной в 1907 г. в журнале «Огоньки», издаваемом Санкт-Петербургскими общеобразовательными курсами. Ранее все исследователи начало публицистической деятельности Сорокина связывали с 1910 г., но в результате историко-архивных исследований автора этих строк была обнаружена вышеназванная статья юного П. Сорокина. Эта находка вселила оптимизм в интересующихся личностью П. Сорокина и открыла перспективу для дальнейших исследований: так как зная о том, что первая (из обнаруженных на данный момент) статья Сорокина вышла в свет в 1907 г., можно предположить, что есть и другие неизвестные его работы, и это значительно расширяет хронологические рамки будущих историко-социологических исследований. Данная находка проливает свет не только на ранние этапы становления научного таланта П. Сорокина, но и на забытые страницы истории российской дореволюционной педагогики, на личность Александра Сергеевича Черняева (1873–1916) – педагога, учредителя Санкт-Петербургских общеобразовательных курсов и реального училища.

Факты из биографии П. Сорокина свидетельствуют о той важной роли, которую сыграли в его становлении Санкт-Петербургские общеобразовательные курсы. В автобиографическом романе «Долгий путь» он отмечал, что, не имея средств, чтобы оплатить обучение в вечерней школе, решил «использовать возможность бесплатно поступить на Черняевские курсы, одну из лучших школ такого типа»⁹. К.Ф. Жаков, близкий друг А.С. Черняева, посодействовал поступлению. К преподаванию на курсах привлекались профессора петербургских вузов, их лекции не очень сильно отличались от лекций для студентов первых двух курсов университета. На курсах Черняева работали такие известные ученые, как В.М. Бехтерев, С.А. Венгеров, Н.Е. Введенский, К.Ф. Жаков, П.Л. Маштаков и др. Курсы представляли собой среднее учебное заведение для взрослых совершенно нового типа: 4-годичный курс обучения соединял в себе основные принципы классической и реальной школы. Окончив обучение на курсах за два года, Сорокин подготовился к экзаменам за гимназический курс и вошел в научное сообщество. В разное время на Черняевских курсах обучались Н.Д. Кондратьев, М.И. Лопухин, Я. Купала, И.И. Садофьев, П.И. Баранов, М.И. Артамонов и многие другие в будущем известные политические деятели, люди науки и искусства.

⁹ Сорокин П.А. Долгий путь. Автобиографический роман. Сыктывкар: СЖ Коми ССР, МП «Шыпас», 1991. С.46.

Высочайший профессионализм преподавателей, а с другой стороны – сопровождение образовательного процесса наглядными пособиями, специальным оборудованием и литературой обеспечили курсам признание специалистов и популярность среди молодёжи, стремившейся к знаниям. Кроме этого, Черняев активно поддерживал творческие инициативы обучающихся и способствовал изданию студенческих журналов «Огоньки» и «Единение».

Пройдет всего несколько лет, и П. Сорокин, успешно сдав экзамены, в 1909 г. станет студентом Психоневрологического института, а год спустя продолжит получение образования на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Черняевские курсы останутся в его биографии «отправной точкой» российского периода творчества.

Не переиздававшаяся с момента своего выхода в свет в 1907 г. статья «Кое-что о современной беллетристике» поражает не только эрудицией молодого человека (которому было всего 18 лет), но прежде всего смелостью суждений и критики. Её название перекликается с названием статьи видного народника Н. Михайловского «Литература и жизнь. Кое-что о современной беллетристике», опубликованной в журнале «Русское богатство»¹⁰ (1899). И это совпадение не случайно: в юности П. Сорокин зачитывался трудами Михайловского, чья социологическая концепция и идеалы гуманизма оказали влияние на формирование мировоззрения будущего социолога. Леонид Андреев, Максим Горький, Антон Чехов, Николай Гоголь и Федор Достоевский – вот те авторы, чьи произведения привлекли внимание молодого П. Сорокина и нашли отражение в его первой статье.

Позже, в 1910 г. Сорокин опубликовал рецензии на художественные произведения своего земляка К.Ф. Жакова (1866–1826) – первого коми профессора, математика, философа, писателя, поэта, этнографа, лингвиста¹¹. В 1911 г. Сорокин, будучи студентом первого курса юридического факультета Санкт-Петербургского университета, опубликовал статью, посвященную властителям умов – норвежцу Кнуту Гамсуну и бельгийцу Эмилю Верхарну. За ней следуют как отдельные исследования творчества У. Уитмена, Ф. Достоевского, Л. Толстого, так и небольшие эссе о произведениях М. Горького, Андрея Белого и других современных Сорокину писателей.

И все-таки вполне П. Сорокин обрел себя в социологической публицистике – жанре, сочетающем литературный дар с научным энтузиазмом. Именно

¹⁰ Михайловский Н.К. Литература и жизнь. Кое-что о современной беллетристике // Русское богатство. Ежемесячный литературный и научный журнал. 1899, № 1, с. 76–99; № 2, с. 83–100.

¹¹ См. Сорокин П.А. Грезы Севера // Сорокин П.А. Ранние сочинения: 1910–1914 годы. СПб.: Изд. дом «Мирь», 2014, с. 59–64.

в этом жанре созданы его наиболее известные произведения революционного периода – «Заметки социолога»¹² и «Идеология аграризма»¹³.

На страницах своих публицистических статей ученый-социолог анализирует революцию как социальное явление, пытается отыскать объективные причины и закономерности происходящих в обществе процессов, хотя его публицистика не лишена субъективного, личного отношения, что обусловлено принадлежностью Сорокина к партии эсеров и непосредственным участием в политических событиях 1917 г.

В газетах «Воля народа» и «Дело народа», печатных органах партии социалистов-революционеров и правых эсеров, а также отдельными брошюрами за 1917 – начало 1918 г. Сорокиным было опубликовано около 100 статей, подписанных как настоящей фамилией, так и псевдонимами В. Вьюгов, В.В., П.С. Римус, Н. Чадаев. Поскольку он являлся редактором этих газет, то значительное число редакционных статей также принадлежало его перу. Многие труды американского периода творчества пронизаны духом публицистики. Ярким подтверждением этому служит книга «Власть и нравственность. Кто должен сторожить стражей?» (1959), вышедшая в разгар «холодной войны» в США и практически сразу переведенная и изданная в Японии, Индии и Франции, но к сожалению, на русском языке пока не опубликованная, несмотря на ее актуальность для современного российского общества. В публицистическом стиле написана также книга «Американская сексуальная революция» (1956), в которой показаны «опасность сексуальной распущенности и анархии, их разрушительное влияние на физическое, психическое, нравственное и социальное здоровье отдельных индивидов, групп и целых наций»¹⁴.

Кроме этого, П.А. Сорокин был не только «посторонним наблюдателем» и свидетелем, но и активным участником ключевых событий отечественной литературной жизни как до революции, так и после неё. Вот лишь несколько ярких примеров.

Значимым событием, повлиявшим на революционно настроенную молодежь и интеллигенцию, был уход Л.Н. Толстого из Ясной Поляны и его смерть в доме начальника железнодорожной станции Астапово 7 ноября 1910 г. Это драматичное событие нашло отклик и среди студентов Психоневрологического института. 6 ноября 1911 г. в здании института состоялся вечер памяти Л.Н. Толстого, переросший в демонстрацию на Казанской площади против смертной казни. П.А. Сорокин не только принимал участие в вечере, но и на-

¹² Сорокин П.А. Заметки социолога. Социологическая публицистика. СПб.: Алетейя, 2000.

¹³ Сорокин П.А. Идеология аграризма // Наследие. Научный журнал. Сыктывкар, 2014, № 2 (5), с. 169–181.

¹⁴ Ломоносова М.В. Вопросы семьи и брака в научном наследии П.А. Сорокина // Наследие. Научный журнал. Сыктывкар. № 1, 2011, с. 128.

писал статьи о социально-философских взглядах Л.Н. Толстого, объединив их потом в отдельную брошюру «Л.Н. Толстой как философ». Как отмечал исследователь научного творчества Сорокина И.А. Голосенко, «Сорокин усвоил многие ценностные аксиомы Л. Толстого на всю жизнь и особенно настойчиво пропагандировал их последнее десятилетие жизни, прежде всего в деятельности возглавляемого им Гарвардского центра творческого альтруизма и любви»¹⁵.

Когда в 1919 г. была организована Вольная философская ассоциация (Вольфила), П.А. Сорокин вступил в нее и был ее активным членом вплоть до высылки из России. Так, например, в октябре-ноябре 1921 г. в Вольфиле состоялся цикл заседаний, посвященных творчеству Достоевского, и на одном из них П.А. Сорокин выступил с докладом «Достоевский как социолог».

В 1922 г. в Чехословакии на общем собрании русских писателей и журналистов было принято решение образовать Союз русских писателей и журналистов. П. Сорокин не только вошел в избранное Правление, но и стал Председателем Союза (после его отъезда в Америку Председателем стал В.Ф. Булгаков).

В американский период творчества интерес П.А. Сорокина к литературе нашел отражение в его фундаментальном исследовании «Социальная и культурная динамика» (1937–1939), ставшем классикой мировой социологии. Спустя почти три десятилетия после выхода в свет этого труда в автобиографическом романе «Долгий путь», П.А. Сорокин писал: «Вряд ли какая-нибудь другая социологическая работа в области социальных и культурных систем, их колебаний и изменений может сравниться с моей, которая, в чем я уверен, останется непревзойденной»¹⁶. Эти слова не бахвальство выдающегося социолога ушедшего века, а его адекватная оценка масштаба проделанной им и его коллегами эмпирической и теоретико-методологической работы. Этот фундаментальный труд П.А. Сорокина хвалили и критиковали с одинаковым энтузиазмом, но очевидно, что он ещё не оценен по достоинству. К работе над «Социальной и культурной динамикой» он привлек известных российских ученых, оказавшихся в изгнании, поэтому не случайно департамент социологии в Гарварде в то время в шутку называли «белогвардейским». Исследовательская группа, в которую входили Н.О. Лосский, И.И. Лапшин, Н.Н. Головин, С.Г. Пушкарев, П.Б. Струве, П.Н. Савицкий, Н.С. Тимашев, А.А. Зайцов, Н.Л. Окунев и другие известные российские ученые, занималась подбором необходимого эмпирического материала, статистическим сбором и сравнением исторических данных по составленным П.А. Сорокиным исследовательским программам. Целью этого фундаментального научного труда являлось – построение обобщающей социологии социокультурных изменений западной цивилизации за 25 веков ее истории. Безусловно, эта цель была до-

¹⁵ Голосенко И.А. Социологическая ретроспектива дореволюционной России. СПб., 2002, с. 129.

¹⁶ Сорокин П.А. Долгий путь. Сыктывкар, 1991, с. 196.

стигнута благодаря творческим усилиям всего исследовательского коллектива, а также опыту П.А. Сорокина по организации научно-исследовательских проектов. Во многом «Социальная и культурная динамика» интегрировала в себе теоретико-методологические установки и традиции российской социологии, не позволив им исчезнуть в силу идеологических причин. В середине прошлого века в Советском Союзе социология официально не существовала, была объявлена «буржуазной лженаукой», тем не менее ученые и целые исследовательские коллективы, работавшие за его пределами, обогатили мировую науку российскими исследовательскими традициями и опытом.

Целый раздел «Социальной и культурной динамики» посвящен литературе и литературной критике. П.А. Сорокин считал, что искусство, в том числе и художественная литература, артикулирует ценности той или иной исторической эпохи, поэтому любую культурную ментальность можно изучать через призму доминирующих в искусстве стилей. Опираясь на детальный анализ художественных произведений различных эпох, П.А. Сорокин делает вывод о том, что история развития греко-римской и западноевропейской литературы подтверждает наличие долгосрочных флуктуаций, или чередований, чувственной и идеациональной культуры, а литература в данном случае отражает эти тенденции, выступая специальным объектом социологического анализа. В результате анализа флуктуаций форм литературы П.А. Сорокин пришел к выводу о том, что эти изменения происходят строго параллельно тем изменениям, которые наблюдаются в живописи и скульптуре, а также, хотя и в меньшей степени, в других сферах искусства.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что литературное творчество и интерес к литературе выделяют фигуру П.А. Сорокина среди других классиков социологической мысли. Безусловно, он обладал талантом писателя, и это позволяло ему не только облекать результаты своих многочисленных исследований в научных формах статей и монографий, доступных для понимания профессионалов, но и доносить свои идеи до современников посредством научно-популярных работ и социологической публицистики. При этом социологическая публицистика – как жанр научного творчества – занимала в профессиональной деятельности П.А. Сорокина важное место. Это прежде всего его знаменитая российская публицистика революционного периода – «Заметки социолога»¹⁷, а также многие труды американского периода, ярким подтверждением чего служит его книга «Власть и нравственность. Кто должен сторожить стражей?» (1959), которая вышла в разгар «холодной войны» в США и практически сразу была переведена и издана в Японии, Индии и Франции, но к сожалению, на русском языке пока не опубликованная, несмотря на ее актуальность в современном российском обществе.

¹⁷ Сорокин П.А. Заметки социолога. Социологическая публицистика. СПб., 2000.

Можно и дальше продолжать разговор о роли литературы в творчестве П.А. Сорокина и его бытии в пространстве литературы. Однако стоит остановиться, завершив статью ключевым выводом о том, Пителир Сорокин, будучи ярким представителем и наследником традиций русской культуры и науки, обогатил ими мировую социологию. Точно так же, как русские историки, оказавшиеся в США, именовали себя не иначе, как «ученые русско-американского мира», подчеркивая значимость культуры и академических традиций, унаследованных еще в дореволюционной России, Пителир Сорокин вошел в историю науки как «российско-американский» социолог.

М.В. Ломоносова

I

**РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ
ФЕЛЬЕТОНЫ**

№ 3.

НОЯБРЬ

1907.

ОГОНЬКИ



С.-Петербургскіе Общеобразовательные курсы.

Содержаніе.

1. Стихотвореніе. *А. А. Стадлина.*
2. Анатомъ. Стихотвореніе *Елю-жес.*
3. Дарья Родіонова. Разсказъ *К. О. Жакова.*
4. Безработный. Разсказъ *П. Пальгова.*
5. Пѣвцы. Разсказъ *И. Проходимца* (псевд.)
6. Кое-что о современной беллетристикѣ. *П. А. Сорокинъ*

ЦѢНА №—10 коп.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія „Т-ва Андерсона и Лойцянскаго Вознесенскій пр., 53.
1907.

Титульный лист журнала «Огоньки»,
в котором была опубликована первая статья П. Сорокина

КОЕ-ЧТО ИЗ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКИ

Перед нами великая жизненная сцена... Самые разнообразные декорации. Действующие лица – представители всех общественных классов России...

Юг... Морской порт... Горячее солнце ярко сияет на чистом голубом небе. Сотни людей суетятся, бегают... Крик, брань, шум носятся в воздухе. Из среды людей резко выделяется могучая фигура Челкаша^{1*}. Гордо и величественно выступает он, зорко глядят его острые, черные глаза, высматривая добычу.

Вот перед нами «тронутый, не включенный жизнью в число ее действительных членов» босяк Коновалов^{2*}. Недоумевающе смотрят его грустные голубые глаза, ища смысл жизни...

За ними тянутся бесконечной вереницей грязные, оборванные, крепкие и чахлые, здоровые и больные представители «дна»: Артисты, Сатины, Сашеньки, Василисы^{3*} и др.

Сырые подвалы, ночлежки, бесконечная степь, широкое море, солнечный день, серая осень, город и деревня являются местом их действия. Они, как ветер, носятся по Руси, колеся ее вдоль и поперек, от края до края.

Вот виднеется бедная «серая» деревня. Жалкие покосившиеся дома, в которых в одном помещении живут люди и скотина... Забитость, беднота, болезни и невежество со всех сторон окружают «мужиков»... И живут себе они «по привычке», не зная, зачем, почему?... Живут, как улитки, до тех пор, пока можно жить, пока есть хлеб... Когда его нет, то бабы ходят «за реку» добывать его продажей своего тела... Так и идет день за днем, пока жадная смерть не возьмет их к себе!

Дальше виднеются приличные комнаты священников, студентов, докторов, артистов, профессоров и др[угих] представителей интеллигенции.

Несмотря на отсутствие нужды и приличную обстановку, тяжело, тоскливо и здесь... Каждое из действующих лиц живет своей жизнью, делает какое-то свое дело, говорит, мыслит, чувствует по-своему, но все они имеют одну общую черту – это сознание бесцельности и бессмысленности своей жизни.

Вопрос цели и смысла жизни – это главный вопрос и главная причина всех жизненных трагедий. «Зачем зрение, мозг, самочувствие, гений, если всему этому суждено погибнуть и в конце концов охладеть вместе с землей и потом миллионы лет без смысла и без цели носиться вокруг солнца?... Для того, чтобы охладеть и носиться, совсем не нужно было извлекать из небытия человека

с его высоким, божеским умом и потом, словно в насмешку, превращать его в глину; только трус может утешать себя тем, что тело его будет жить в траве, жабе, лягушке... Зачем страдания, мучения жизни, ее нелепости?» – жадно спрашивает доктор Рагин от лица всех героев, фигурирующих на великой сцене жизни – в современной беллетристике^{4*}.

Здесь важно отметить саму причину появления подобного вопроса... Причинами всюду и везде являются противоречия «случайности» жизни и отсутствие веры в целесообразность и полезность своего дела. Пока все идет хорошо, пока внимание человека отвлечено от этого страшного вопроса интересующим его делом, семейным счастьем и др. – до тех пор этот вопрос для него не существует... Но достаточно одного, двух «неделикатных» толчков жизни, и вопрос, как некоторое чудовище, встает во всей своей страшной привлекательности. Он манит и приковывает к себе человека навсегда и навечно...

Тихо и плавно текла жизнь Василия Фивейского^{5*}. Но вдруг утонул у него сын, с горя начала пить его жена, родился другой сын, глухой, немой, страшный, сгорел дом, и счастья и гармонии жизни как не бывало. «Почему это случилось? Зачем? Кому нужны мои страдания?» – думает о. Василий. Ведь есть же какая-нибудь цель всех этих несчастий? Долго думает он, и наконец его осеняет мысль, что через эти несчастия Бог готовит его для великой миссии – миссии пророка... Появляется, таким образом, смысл и цель в этих страданиях. Он всем сердцем верует в свое призвание. Жизнь получает смысл, и он с усердием готовится к своему призванию, но еще один толчок (похороны погибшего благодаря «глупой случайности» работника), и Василий Фивейский погибает, не имея сил примириться с безобразием жизни, с ее несправедливостью...

В сером уездном городишке мирной, обывательской жизнью живет Иван Дмитрич («Палата № 6»). В один из серых осенних дней он увидит на улице арестантов в сопровождении солдат. В голове его встает вопрос: куда и почему ведут этих преступников против их желаний? И преступники ли эти арестанты? Почему виноваты они, а не другие? Ведь многие из его знакомых те же преступники и только по случайности не попали на скамью подсудимых, да он как судебный пристав и сам знает, что преступниками в большинстве случаев являются люди совершенно невинные. Следовательно, в жизни нет ни справедливости, ни целесообразности, всюду и везде царит «глупый случай». Завязка трагедии налицо: раз царит случайность, то, благодаря этой нелепости, его в любое время могут взять как преступника и сделать с ним что угодно. Вопрос – зачем жить, раз нет целесообразности? – появился, мысль начинает работать, и результат ее работы – «сумасшествие». По той же причине погиб и Рагин... И перед представителями «дна» стоит тот же вопрос. Глядя вдаль мечтательными глазами, тихо говорит Коновалов: «Зачем я живу на земле и кому я нужен? Зачем? Зачем?» – страстно

спрашивает он, но ответа нет^{6*}. И ходит он по Руси, ищет «своей точки», старается заглушить водкой, оргиями свою тоску и в конце концов погибает.

Умный и талантливый профессор («Скучная история»^{7*}) при наступлении старости подводит итог сделанному им в жизни и в результате получает нуль. Он что-то делал, говорил всю жизнь, но все это не нужно и бесполезно.

К этому же выводу приходят и офицеры («Поединок», подпоручик Ромашов^{8*}), и студенты («Гимназисты и студентки»^{9*}), и почти все герои беллетристики 80-х – 90-х годов и начала XX столетия.

Как на причину подобного вывода я указал на отсутствие веры в целесообразность своего дела. Действительно, большинство героев являются людьми не верующими в Бога. От берега религии они оттолкнулись и пустились в темную ночь в широкое море, страстно желая найти новую, неведомую землю счастья... То тут, то там видят они признаки этой счастливой земли, плывут туда и ничего не находят... Опять нужно плыть. Силы в конце концов истощаются, и они или гибнут, или за счастливую землю принимают какой-нибудь жалкий коралловый остров и остаются жить там... Как на пример такого бесцельного плавания без руля и парусов укажу на героев повести Чехова «Моя жизнь». Там герои постоянно мечтают, одно дело заменяют другим, но не могут найти «точку», и в конце концов жалобы, стоны и «прозябание». Они не могут найти неведомой земли, а, оставаясь на острове, не имеют силы поверить в то, что этот остров есть искомая счастливая земля. Отсюда тоска и ужас их жизни. Пытаются они отогнать эту тоску разными делами, заводят «шуры-муры» «скуки ради», но успокоения нет, тоска не отходит, а становится все более и более жгучей. Сознание своего бессилия на неодолимую «стену» жизни, злоба на нее ищут выхода и изливаются на них же самих. «И вдруг у них вспыхивала злоба, пробуждалось ожесточение людей, загнанных, измученных суровой судьбой, или ощущалась близость неумолимого и непобедимого врага, который всю жизнь их превратил в одну жестокую нелепость, и так как враг неуловим, то они начинали бить друг друга жестоко, зверски!» – говорит Горький про «Бывших людей»^{10*}.

«Не потому ты, Яков, так жестоко бьешь жену, что характер ее не по тебе, а потому, что тебе нельзя бить стену голыми кулаками, когда становится невтерпез, а так как она под рукой, то и приходится ей расплачиваться за грехи жизни», – говорит учитель Якову («Бывшие люди»)^{11*}. И все они кричат, что «жизнь – безумие, ужас и горе, горе, горе!».

«Новые времена – новые люди, и несут они новые песни». Время «чахотки» общественной жизни прошло. Наступили 900-е годы... В воздухе подул свежим ветерком... Пульс общественной жизни забился быстрее... Появились «новые»

люди – знающие пути к обетованной земле и, главное – твердо верующие в свое знание их... а раз есть вера во что угодно, хотя в слизняка, жизнь уже делается осмысленной. «Рассудок – это хорошо, но видишь ли... чтобы человеку жилось не скучно и не тяжело, он должен фантазировать и верить в свою фантазию», – говорит Цветаева неверующей Татьяне^{12*}. Для первой жизнь – хорошая штука, а для второй, не умеющей фантазировать, – мучение. «Мы заставим жизнь делать так, как нам хочется!» «Мы не богатыри, а просто честные труженики и все-таки говорим: “Ничего! Наша возьмет!”» (Нил в «Мещанах»)^{13*}. Чем дальше, тем больше и больше становится таких верующих людей... У Чехова слабый признак «верующего», появляется в «Вишневом саде» (студент), Горький, начиная с туманных образов «Дачников», «Варваров», все яснее и яснее рисует нам этот тип («Мать»^{14*}). Андреев же все более и более катится по наклонной пессимизма. Он потерял веру и отчаянно кричит, что «Стена» и «Некто в сером»^{15*} непобедимы. Дальше катиться некуда. Остаются два пути: или вера в прогресс, или религиозный фанатизм, который охватил Гоголя и Достоевского. «Искарриот»^{16*} является симптомом поворота в сторону религии, но определенно утверждать еще нельзя. Дальнейшее увидим в будущем.

«ВСЕ ОБСТОИТ БЛАГОПОЛУЧНО...»

(Нескладное сказание)

Когда-то (а может, и теперь) жил-был один философствующий мечтатель... С тех пор, как научился он бегать на двух ногах вместо того, чтобы ползать на четвереньках, вспылала в нем великая жажда к истине. Как голодный пес, бросился он на книги и с жадностью поглощал одну за другою, забыв о жизни, о ее гордые узлах и стремлениях. Одна волна страдания и горя проходила за другою, один ужас вставал за другим, а он сидел в своей башне и ничего не видел, погруженный в исследование тайн жизни и созерцание тонко сплетенных метафизических тканей истины. Года проходили за годами, события за другими, а он сидел и читал, размышляя о многом. И решил он, наконец, что весь мир – разумно устроенное существо, где каждая вещь на своем месте, где все целесообразно, где есть только одна правда, а кривде и места не оставлено... Все в мире свято и праведно, а что кажется несправедным, то это только одна видимость. Так думал он. И уже волосы его побелели от старости, а эта вера в нем не поколебалась. Ясными глазами смотрел он через окна своей башни на синее небо и воссылал хвалы творцу мира. Морщины не прорезывали его лба, дикие страсти и злоба не терзали его грудь, спокойная кротость царила в его душе.

Но однажды (я не знаю, как и когда) один юноша ворвался в его келью, наполненную толстыми фолиантами, принес ему номер «Русского Слова» за 13 июня 1910 г., и воскликнул: «Мудрец! Я слышал, стоя у подножия твоей башни, твои слова о разумности мира, я слышал твои гимны о царстве правды на Земле, и вот я тебе принес листок, фотографирующий всю однодневную жизнь маленькой пылинки Земли. Возьми его и прочти!» Положил листок и ушел.

Удивленный старец взял лист, раскрыл его и начал читать. В этом листке не было того спокойствия, тех тонких искусных ходов человеческого разума, которые он привык видеть в толстых фолиантах. Здесь чувствовались тревога, злоба, недовольство, зависть и другие человеческие страсти. И увидел он на 3-й странице жирными буквами напечатанные слова: «Смертные казни в 1909 г.»^{1*}. Он не знал того, что людей продолжают вешать и убивать так же, как вешали и убивали сотни тысяч лет назад. Он думал, что в мире всякая тварь живет в согласии с другой тварью. Причем удивился. «Всего в Российской империи в течение истекшего 1909 г. казнено 530 человек – 25 воинских чинов и 505 гражданских лиц».

Читал он раньше о Российской империи, читал он о мистицизме и гуманизме этого народа, но о смертной казни что-то не помнил. Значит, он ошибался, значит, в мире не все обстоит так благополучно, или же это одна видимость, а на самом деле и это разумно. Долго думал он, долго рылся в пыльных страницах толстых томов, стараясь найти разрешение своего сомнения, и решил, наконец, что это одна «видимость».

«Должно быть, тесно на земле, нигде уже этим 530 человекам места нет, ну а раз места нет, то не погибать же всем, пусть уж лучше эти 530 человек погибнут». Так решил он, успокоился и начал читать дальше. И прочел он многое, прочел про борьбу с клерикализмом в Испании^{2*}, про холеру, свирепствующую в России и ежедневно уносящую сотни людей^{3*}, про то, как Ник. Репин убил отца^{4*}, как многие другие Ник. Репины и Клавдии Запевало^{5*} ежедневно кидаются в воду, стреляются и многими другими путями отказываются от жизни и ее «гармонии», и многое другое еще прочел он.

И чем дальше читал, тем резче прорезались морщины на его челе и беспокойнее становился его взгляд.

Раскрывшаяся перед ним картина одного дня жизни Земли совсем ничего не говорила о гармонии и о разумности жизни, а наоборот, ясно показывала, что везде одни жрут других и другие третьих.

«Зачем холере нужно убивать ни в чем не виноватых людей, для какой правды Ник. Репин убил своего отца, для какой высшей цели весь Красноборск выгорел^{6*} и оставил без крова и хлеба тысячи людей, в Самарканде одни люди стреляли <в> других^{7*}, в Ростове-на-Дону пароход пошел ко дну^{8*}? Зачем все это? Для какой правды это нужно?..

И не мог он долго дать ответ. Опять рылся в томах, нервно ходил по своей келье и думал. Неужели же он, столько лет живший и столько книг изрывший, заблуждался?.. Нет! Не может быть этого!

Тут какая-нибудь ошибка вышла. Неужели же могло бы так ярко светить солнце и так невинно и безмятежно покоиться лазурь неба, если бы все это было правдой? И снова раскрыл он фолианты и нашел, что все это нужно для какой-то высшей цели, которая есть, но которая недоступна человеческому уму. Нашел и успокоился. И снова кротко глядел в голубую даль неба и пел гимны разумности и правде, которые царствуют в мире...

Но однажды вышел он из своей башни и пошел в лес, окружавший его жилище... Голодный волк выскочил из чащи, набросился на него и пообедал телом мудреца, певшего гимны целесообразности мира.

«И это было нужно для высшей правды, которой молился он сам», – сказал юноша, принесший ему листок, узнав о его смерти, сказал, повесил голову и пошел своей дорогой.

НА ПЛОТАХ

(Картинка)

Вечер... Солнце, уходя на ночь, горячо целует зеркальную грудь красавицы реки, а она вся рдеет, румянится, застыдившись, и блещет тысячами золотых переливов...

Ветер, прилетающий порой, любовно и нежно обнимает прибрежные кусты и траву, пестреющую цветами, и шепчет им прекрасную, волшебную сказку, а они стоят неподвижные, очарованные, забывшиеся в сладких грезах. Порой проснутся, вздрогнут и снова успокоятся...

Темный, зеленеющий лес стоит неподвижный, погруженный в какую-то глубокую думу; лишь изредка качнет косматой головой, удивляясь проделкам молодежи...

Тихо... Временами донесется откуда-то обрывок голосов, лай собаки, аккорд гармоника и смолкнет... Снова тихо...

«Греби направо!» – проносится по реке...

Слышится плеск... другой... третий, и плывут по реке круги, покрывая рябью ее гладкую поверхность...

Медленно плывет плот по реке...

Близ шалаша горит огонь... Черным пятном выделяется над очагом чайник, повешенный на тагане, и в сером сумраке вырисовываются несколько фигур, поднимающих и опускающих весла...

«Шаб-а-а-ш!» – раздается в воздухе... «а-а-аш», – повторяет эхо...

Поднимаются и вздергиваются весла, и фигуры собираются около огня, располагаясь вокруг приветливого чайника. Тихо вспыхивает огонь, кидая золотые снопы лучей на сидящие фигуры... Едва-едва заметно поднимается пар из чайника. Кругом слышится пискливая музыка комаров...

«Куку! куку!» – доносится из лесу...

Все небо задернуто сероватым покрывалом, только с краешка яркая заря манит к себе и купается в ароматной и теплой воде реки...

«Печаль-тоска, несносна-ая, – застонала песня. – Эх, куда бежать, тоску дева-а-ать!» Тихо и красиво поют девушки... Звуки, полные жалобы и тяжелого горя, рождаются, летят и исчезают где-то далеко за косматыми вершинами лесных великанов...

Степан снимает чайник с тагана и, налив чашку, начинает медленно пить горячую воду, пристально всматриваясь в берег.

Пойду с горя
В чисто-о-о по-ол-е-е, –

тоскует песня.

– Что, Феклуша, аль опять тоскуешь по Мите-то? – тихо спрашивает Петыр, обращаясь к девушке, сидящей на бревне, в стороне от шалаша.

Во-чис-т-о-о-м поле
Трава ро-о-сте-ет! –

льются слова.

– Не хочешь, да и вспомняешь Михалку, – продолжает Петыр, не получив никакого ответа от Феклуши. – Такого друга мне больше не видать. Петь ли, играть ли – лучше парня не было, и работа ключом кипела в его руках. Да, должно быть, не в добрый час ему ворон дорогу пересек, не благословясь пошел на работу!..

– А давно он умер-то? – спрашивает старик Микол, бывший из другой деревни.

– Да месяца полтора. Постом-то, вишь, мы плотили бревна на речке. Вода была холодная, а он парень горячий... С жары ли он залез туда или долго в ней пробыл, или уж так на роду было написано, Бог весть! – только в страстную среду пришел он в лесную баньку, да и говорит: «Что-то мне нездоровится...» Затопил я каменку, сварил кашу, даю ему. Не хочу, говорит, а самого-то дрожь так и пробирает, инда посинел весь. Прикрыл я его, чем нашлось, и маялся бедняга всю ночь: то его в жар бросит, то в холод, а к утру и неладное заговорил... Только вечером как будто бы опомнился и говорит: «Видно, Петыр, конец пришел, помоги мне взглянуть еще раз на Божий мир – не видать ведь больше». Вышли мы с ним из баньки. Кругом лес, под избушкой-то река течет... Везде это тихо, даже жутко... Как увидела его собака, задрожала вся, бросилась к нему и давай лизать его, а сама жалобно-жалобно воет. У меня на сердце тоже беспокойно, словно скребет там кто-то. Посмотрел Миша кругом да тихо и начал было прощаться со всем. Но, видно, силенки-то не хватило, пошатнулся и повис у меня на руках. А сам не то плачет, не то смеется и все говорит что-то неладное... Понес его я в баньку. Собака не отходит, все воет... Так и не опомнился – в ту же ночь и умер... Долго он мучился, вертелся, подпрыгивал на нарах и все бормотал и бормотал что-то про себя... Глаза-то какие-то страшные стали, острые, колючие. Как взглянет, так словно и проколет тебя.

Лес гулко шумел вокруг баньки... Ну и жутко же было! Кое-как дождался утра, и утром уж с другими товарищами снесли его домой...

Горя было много... Один ведь сын он был у родителей, одна надежда. Ну и убивались они... Да что родители, вон девка-то, да и та все еще не может забыть, – закончил он, взглянув на девушку...

Феклуша неподвижно сидела, опустив голову на руки, и на темном плаще ночи резко выделялся ее белый платок...

«Сорвем цветок, сошьем венок, милу другу на головушку», – тихо-тихо пела она и в дрожании ее голоса чувствовались лютая тоска и сожаление о былом...

– Да что и говорить, нелегкая, брат, работа лесная, – вздохнув, говорит старик Микол... – Много уж, много народу даром сгинуло, да и сам-то сегодня – жив, завтра – Бог весть...

– Что уж правда, так правда, – перебивает Степан. – Вот мы сейчас едем и разговариваем, а через час, может быть, тебя судьба-то уж ждет...

Так же вот тут мы сидели с Егором Корсункиным в прошлом году, ничего не думали, ан, оказалось, рок-то его уж ждал...

– Тут што-ли Егора-то убило? – раздается голос.

– Чутьочку пониже, вон за тем поворотом, – отвечает Степан, указывая рукой на берег, темной массой возвышающийся над рекой...

– Как же это он не уберется?

– Попробовал бы ты! Один Бог знает, как я-то жив остался! Видишь – тут быстерь-то какая, а тогда вдобавок еще ветер дул по течению.

Вот на такой-то быстрине так и пришлось «хвататься»¹... Вышли это мы с Егором, да еще Митюха Гурьевский с «приколом». И начали «хвататься».

Всадили прикол в землю, а он только ее режет, ровно плуг какой... Ну, резал, резал, да потом и сломался... Лопнул пополам и полетел по воздуху... Ж-ж... ж... жужжит, словно шмель. Чует сердце, что будет что-то неладное... и недаром! Начали «хвататься» вторым приколом, и он лопнул... Тут уж мы и сами остервенели... Подумай сам, бьемся, бьемся, а толку нет...

Взяли мы тут новый прикол, всадили что есть мочи в землю и держим...

А сами чувствуем, что стали, и тут лопнет, не миновать беды... Так и вышло...

Прикол тихо-тихо начал бороздить землю да вдруг как лопнет со стоном! Чувствую я, что словно кто-то дернул и ударил меня по поджилкам, так и упал тут...

Очнулся, смотрю – Егор сажени за три отлетел, лежит плашмя, и голова в крови... Вскочил, а он, сердешный, уж кончился... Только и было...

И Митюхе тоже руку сломало... Доплыли вон до того села да там и оставили его, беднягу... Не повезешь ведь домой...

Вот оно, житье-то наше, – заключает Степан, зорко всматриваясь в берег.

¹ Причаливать к берегу плот¹*

В сером сумраке неясно рисуется берег, крутой и обрывистый. Плавно и незаметно плывет он назад...

– Вот, должно быть, место-то, – говорит Степан и, вставши, крестится и отвешивает три земных поклона.

– И креста-то тут нет, поставить што-ли, – продолжает он. – Постой-ка, братцы, и впрямь, поеду я и поставлю крест, потом догоню вас...

– Иди с Богом! – отвечают голоса...

– Давай уж и я с тобой, – говорит Петыр, – скорее сделаем...

– Ладно...

Два силуэта встают, идут к краю парома и отплывают к берегу...

– Да, сколько тут нашего брата лежит по берегам!.. Сгинули они без вести, без слуху... Нет над ними не то што креста, а и камня-то не положено.

– Вот оно – жизнь-то наша, – вздыхает Микол. – А все нужда, все беднота гонит... Из-за нее народ гинет.

– Один Господь знает, сколько народу задавило деревьями, сколько умерло от простуды, сколько утонуло, сколько приколом убило... Охо-хо... Господи, помилуй...

Слова улетают и тают в воздухе.

Так же тихо горит огонь, то вспыхивая, то замирая, порой шипит, порой начинает жалобно выть, словно попавшая в капкан собака.

Река, огорченная ли разлукой с солнцем или, может быть, прислушивавшаяся к пролетавшим словам, загрустила и покрылась серым, туманным трауром...

«Куку! куку!» – доносилось из леса...

Было тихо и темно. Только на берегу в сумраке возились две фигуры, обрубая и обтесывая зачем-то жерди и бревна...

ДЕПУТАТ НА ПОКОЕ

(С натуры)

Утро... Солнце, словно с цепи сорвавшись, печет вовсю. Духота страшенная. Курицы и те убрались под навес, а собака, высунув язык, лежит и дышит не хуже паровоза...

– М[ать] т[вою] т[ак]! Проклятые... Чтоб вас все черти побрали! – мычит депутат на широкой пуховой постели, отмахиваясь от надоедливых мух, и укутывается с головой в одеяло. Но душно... Высовывает голову... Муха, увидав высунувшийся кончик депутатского носа, великолепно усаживается на нем...

– Да перестанешь ли ты, окаянная! – бормочет народный трибун, хочет схватить муху, но вместо мухи дает хорошую пощечину собственному носу...

– Закон, что ли, издать насчет мух? – раздумывает он, возбуждая свои законодательные способности... – Чтобы, примерно, всех мух в 24 часа уничтожить! Неплохая была бы ведь штука и в самом деле... А то с дуру только спать не дают да еще всякие там болезни разносят, – продолжает он. – И уничтожить ведь нетрудно. Плевое дело! Перво-наперво – обязать всех граждан иметь мухоморную бумагу, затем запретить коровам, лошадям и всякой твари иметь с мухами дело, а в конце концов можно какому-нибудь там химику, что ли, предложить изобре-сти радикальное средство от этих окаянных. Дал ему тысячу в зубы – и дело в шляпе!

Муха снова посещает депутатский нос.

«Видно, вставать надо, – решает он. – Все равно не заснешь... Фу ты, духота страшенная! Эй, мамочка, – кричит он своей благоверной, – дай-ка кваску, што ли... Тут сдохнешь с этой духоты...»

А благоверная уже давно беспокоится о нем: «Слышь, Арина, видно, барин-то опять не спит... Слышь, бормочет – сессия, законопроект и др[угие] мудрости.. Вон, кричит. Неси-ко квасу-то скорее...» Арина уже у депутата...

– Пей, батюшка, пей на здоровье! Все ведь дела у тебя! И спать-то некогда!

Через час депутат уже за чайным столом... Речь идет о покупках. Решает ехать в город. Заодно накупит все, да кстати отдаст визит исправнику и другим предержажим...

«Ты, мамонька, приготовь-ка там визитные карточки да открытые письма с моим портретом, оно важнее выходит с карточкой-то: Народный представитель, член Государственной Думы – это не то что купец или миссионер Тяпушкин...»

Через час пара лошадей мчит депутата в город.

– Смотри-ка, думчий-то, видно, в город поехал, – говорит жница, приставив руку ко лбу и всматриваясь в едущую бричку.

– А што ж ему делать-то! Небось, таперича жать не надо! – недовольно отвечает муж. – Надо же ведь куда-нибудь жир-то деть! – добавляет он и продолжает жать...

Депутат долго глядит на свой новенький чемодан, на свой сюртучок и, досыта налюбовавшись, обращает свои взоры на хлебá...

– Не больно важен урожай-то! Да што ж поделать, – философствует он... – Ну да сами виноваты... Вырезали бы себе земли... В середине, примерно, построили бы дом, амбары, гумно, кругом бы насадили сад: яблони, вишни, малину, развели бы огород, капусту, огурцы и другой овощ – то ли бы было? Живи себе пан-паном... Фрукты можно было бы продавать, а также молочные продукты и прочее – так нет-таки, твердят «мір» да «мір», «без общества нельзя», ну и черт с вами, – решает он и делится своими думами с ямщиком... Ямщик слушает...

– Эх, Клементий Николаевич, все это добро, да вот землицы-то нетути, не на чем разводить-то, вишь, полосы-то не шире аршина. Какой уж тут сад да молочное хозяйство! – заключает он и бьет лошадей, вымещая на них свое недовольство...

А депутат уже наслаждается видами – лесом, рекой, синим небом... В его уме постепенно встают образы... 2–3 года тому назад он был, так сказать, человек не видный, просто никчемный. Купец Тяпушкин. Мало ли купцов-то тут... Да и купец-то был он второй гильдии. А теперь – депутат... Везде почет и уважение. Раньше того и гляди, что исправник выдерет за бороду, а теперь... Пусть-ка осмелится! Теперь он юлит сам перед ним. Да и бороды нет. Подбородок – выбрит чисто-начисто. Снежной белизны рубашка изящно охватывает его шею... Это, значит, культура... Да, теперь он – птица, кое-что значит...

Разыгралась депутатская фантазия и яркими штрихами рисует будущее...

– Теперь всем ход дан... Вон Гучков. Что такое он? Простой купец. А теперь председатель. С самим Государем речи ведет... Захочет – будет главным министром... Получит «графа, барона».. Вот и смотри. Вон Столыпин в графы, говорят, возведен... Теперь ход всем дан... А хорошо бы сделаться министром али там председателем Думы. Почету – куда больше... Приезжаешь сюда... Тихонько... И вдруг – где тут исправник, становой, подать их сюда!. Тяпушкин – министр... Все – во фронт... Парад. Батюшка приказывает звонить, выходит с иконами и крестом навстречу... Народу видимо-невидимо. Подносят на серебряном блюде хлеб-соль... А ты стоишь важно. За тобой целый наряд полиции.

Для пущей важности наденешь золотой мундир... Народ-то в ноги... А все эти молокососы тогда подохнут со страху...

Теперь, вишь, остряты, говорят, что наш думчий больше насчет женки да кармана думает, а тогда... в 24 часа вон! Снять штанишки и выпороть!! Хоть бы мундир, што ли, завели, – продолжает он. – А то только в своем селе тебя и знают: вон мужик едет и шапки не снимает... Не знает того, что депутат едет!.. Надо, надо форму, с эполетами, с медалями и шпагой... Осенью нужно будет законопроект внести.. Да... надо больше говорить, делать, писать, составлять законопроекты... Тогда и в министры дорога открыта... Но о чем? Как?

И голова депутата наполняется обрывками мыслей... О мухах, о форме, еще о чем-то... А вон деревья стоят неостриженные. Нет порядка. Засмеют в Европе. Надо, чтобы они были ровные, тогда, значит, и лесное хозяйство будет настоящим... Да, да! И еще проносятся один за другим ряд законопроектов.

– Тпру, окаянные! – кричит ямщик, и Тяпушкин чувствует, как летит из брички на землю...

– Болван, остолоп, я тебе покажу! – кричит он, вставши на ноги.

– Да, вишь, дорога-то больно не тает... Подправь бы ее!.. – смиренно говорит болван...

– Я тебе покажу не тает, где у тебя глаза-то! – ругается Тяпушкин, недовольный тем, что нарушили его блестящие мечты...

Слова застревают и исчезают среди пыли и духоты, а Тяпушкин едет дальше...

РЫТ ПУКАЛОМ¹

Зима. Вечер. Холодно. Слышно издали, как скрипят полозья и хрустит под ногами снег. Небо светло-голубое. Тысячи звезд переливаются всеми цветами радуги. Месяц застыл от холода, бесшумно и безучастно озирает землю... Снег, снег и снег... Черной лентой на границе неба и земли вырисовывается лес... Темным пятном на искрящемся снеге выделяется забытая Богом деревушка...

Тихо... Изредка залает собака, десятки голосов подхватят лай, нарушат пелену молчания и смолкнут... Снова тихо...

В избе ярко горит лучина... Разноцветными пятнами вырисовываются лица и платья мужиков, баб и молодежи в тумане дыма лучины и махорки. Бабы и девки прядут и шьют. Парни дурят с девицами либо дуются в карты. Мужики степенно лежат на полотах или толкуют о своем житье-бытье. Песня, гармоника, споры, разговоры, дым, возня – все сливается в жизнерадостный концерт... Весело... Загорелась куделя у Лав-Маши... Забегали, засуетились... Загасили... Смех... У Макся-Анны пропало веретено... Нет, да и только. Ищет, просит отдать... Все хочочут... Оно оказывается за поясом...

«Бубен туз!» – кричит Дорош-Паш, прихлопывая картой карту своего партнера...

Эх, ты, жизнь моя!
Ясно солнышко.
Светлый ясный день.
Темна ноченька! –

распекает северный Чайбайбос^{1*} Сашка Вась, подыгрывая на тальянке.

«Кукурекку!» – неожиданно раздается в избе... Это Онь-Як выворотил шубу наизнанку, засунул ноги в рукава, накрылся ей, приделал с помощью каюки и изображает Шантеклера^{2*}...

Снова смех...

А маленький Степ-Педь, ухватившись за края полатей, выделяет всевозможные гимнастические фокусы...

Ах, о чем же ты, красна девица,
Востосковалася, разрыдалася?
И о чем ты льешь слезы чистые,
Ясны глазоньки утираючи? –

¹ Рыт пукалом – посиделки.

поют девушки. Аккорды, тягучие, как снежная равнина, грустные, как завывание вьюги, и гармоничные, как шелест сосен, всколыхивают дым, наполняют избу и уносятся в чистую морозную даль.

Злато, серебро, платья цветные
Уж давно тебе приготовлены...
Так о чем же ты, ясно солнышко,
Пригорюнилось, разрыдалось?.. –

подхватывают новые голоса.

Звуки льются мелодичные, грустные и участливо вопрошающие.

Что мне золото, платья цветные,
Не дадут они счастья, радости...
После месяца, на неделюшке,
Меня выдадут за немилого, –

жалуется тоскующая, любящая душа...

Вот об этом-то и тоскую я,
День и ночь не сплю, горемычная...
Не видать уж мне ясна солнышка,
Улетело прочь счастье милое, –

объясняет свое горе коллективная душа несчастных, принужденных любить не-любимых.

Песня заморозила всех... Шум смолк. Степ-Педь и тот перестал кувыркать-ся на краю полатей, а спокойно лежит на полу, подперши голову руками.

– Ай да девицы, молодцом! Хорошо поете! – нарушает молчание Лав-Вась, лучший охотник и лучший сказочник в деревне. – Если бы я был Майбыром², то сделал бы вас всех царевнами, ходили бы вы по садику чудесному да ели бы яблочки наливные, попивали бы винцо венгерское, заедали бы пряниками заморскими. Да не Майбыр я, нет у меня яблочков, да отродясь и не едал их. Попросите вон у тетки Онисьи ломоть хлеба, оно не хуже пряников-то заморских будет, а потом сходите к ушату и перемочите горло холодненькой водичкой. Винцо хорошее, и пей вволю! – добродушно шутит он с девицами. Шум и смех слышатся в ответ.

– Дядь Вась, а дядь Вась, расскажи что-нибудь, – пристают девицы и парни.

– Стар я, миляги, стар стал. Грамоте не обучался, откуда же мне знать. А что и знал, то из ума вышло, – скромничает Вась.

Девицы и парни продолжают приставать...

– Ишь, все бы вам сказки да сказки, все бы царевичей да королевичей подавай либо лесных да водяных, – шутит он с девицами. – Больно прытки! Не хотите ли Мишку хорошенького... А расскажи вам – сами же домой побоитесь уходить, небось с пареньком в сторонку от страха убежите... Ну, да ладно! Так и быть, побалакаю вам кой про что. Чур! Сидеть и слушать!..

² Счастливец^{3*}.

Начинает литься речь, плавная и спокойная, полная образов и вещей, представляющих соединение бытия с небытием.

– Удивительная штука раз со мной, миляги, приключилась. Шел я домой со свадьбы брата. Дело было ночью... Иду себе и попеваю, потому что был навеселе. Дошел благополучно до Большой Сосны. Хоть и пьян был, а все же подумываю, не привиделось бы что... Сами знаете, больно уж лешие-то любят это место. Думал, думал, а потом вдруг и вспомнил, что на свадьбе шибко я поспорил с Сюзь-Мишем. Хвастался он: «Я, дескать, первый охотник, всех, дескать, за пояс заткну!» Вспомнил я это и начал ругаться. «Пять раз я выходил один на один с медведем. Каждую тропу в лесу знаю, все заговоры на птиц и зверей могу сказать... А ты кто, молокосос! Далеко тебе еще до Лав-Васи. Не только ты, сам леший не потягается со мной!» Иду это я так, чертыхаюсь. Вдруг как налетит на меня что-то, как подхватит меня за шиворот, и закружилось, миляги, у меня в голове, и в глазах зарябило. И сосны, и дорога, и огороды – все заплясали и запрыгали, как белка на ели... Очухался это я, смотрю, что за диво! Как настоящий коршун лечу в воздухе. Да еще как лечу-то! Ни одна галка, ни один ворон не мог бы поспеть за мной... Словно жерди частокола мелькают деревни и села... Боязно к тому же, голова кружится... Ну, носился, носился, долго ли, коротко ли, кто его знает. Только вдруг это просветлело у меня в голове. «А, да это ведь леший меня таскает. погоди же, брат, сделаю я тебе штуку, живо отпустишь меня». Сунул руку в карман, вынул кисет, сгреб пригоршню махры, да как дуну ему в рожу, слышу, завыл и меня отпустил. Как камень лечу это я вниз. Ну, думаю, конец пришел, расшибусь вдребезги и шабаш. Хвать – ничего. Летел, летел, да и бухнулся в Вычегду. Смотрю, кой черт! Лежу я в канаве около Большой Сосны, весь мокрый и грязный, словно поросенок... Вот, миляги, какие чудеса бывали с Лав-Васем!

– Ну, брат, ты это больше во сне летал, лежа в канаве, – скептически замечает Микит-Вань.

– Как бы не так... А куда ж бы тогда кисет делся? Чай, он не воробей, один не улетел из кармана, – оправдывается рассказчик.

Дым колышется в избе. Лучина то ярко вспыхнет, то снова гаснет...

– А то, миляги, раз случилась со мной еще вот такая штука, – продолжает рассказчик. – Пришел я на охоту³. Расставил силки, капканы – все как следует... Выхожу раз это из баньки, пошел обходом, не попал ли рябчик в силок али зверь какой в капкан, смотрю, одного капкана нет... По следам видно, что попал в него волк. Погнался я за ним что есть мочи... Час бегу, другой бегу – нет зверя, да и только! А след кружит и кружит. Целый день гонялся – ни одного черта не нагнал. Плюнул, выругался и пошел ночевать в баньку. Сварил «пызя рок»⁴, поужинал

³ Зыряне ходят на охоту верст за сорок-пятьдесят от дома.

⁴ Мучная каша.

и лег спать. Только это стал засыпать, чую, собака моя лает... Кой черт, думаю, тут бродит. Только это подумал, слышу, подошел кто-то к избушке, приставил лыжи к стене и стучится... Вышел в сени и говорю: «Кто, крещеный?» «Это я», – говорит за дверью. «Кто ты?» – «Аль не узнаешь, твой знакомый. Отопри, друг, скорее, а то иззяб я...» А слышал я, что часто приходит лесной к охотникам и не говорит имени. Нет, думаю, стой, отпирать нельзя.

– Да чего ж ты не отпираешь, не узнал, что ли, своего зятя? – сердится он.

Слышу, голос как будто и зятя. Но сумление меня взяло большое...

– Скажи, – говорю, – Господи Иисусе Христе, помилуй нас! – А сам крещу двери и себя...

Молчит... Стоял, стоял, ничего не говорит. Тут-то уж я и понял, что это за зять, и давай крестить все углы, отдушину и оконце... Окрестил все и лег. Испугался я, миляги... Да и как не испугаться, черт-то ведь не зять. Кто знает, что у него на уме-то. Может, хочет он из твоей спины ремни вырезать для подпояски своим лешачатам. Слышу, шуршит он за стенами. Подошел к углу, к отдушине, к окошку и что-то шуркает... Шуркал, шуркал, да как треснет, инда пот прошибло... Завыл это как-то чудно и ушел, видно... А собака заливается так, словно ее десять волков давят. Вышел это я утром, смотрю, нет никаких следов, только словно волчьи лапы наследили по снегу... Пошел по следам, и впрямь волк-то с моим капканом недалеко от избенки лежит. Это его, должно быть, лешак-то и подослал. Ну, а мне-то что, кто бы ни подослал – все равно, взял да и убил... Так-то вот и натянул я нос лешаку-то!..

Народ хохочет.

– А и хитер же ты, Лав-Вась! – умиляется Сень-Вань...

Вошел Лав-Вась в азарт...

– Постой-ко, миляги, расскажу я вам быль стародавнюю, не веселую быль, а страшную; приключилась она уж давным-давно, – плавно и мерно начинает он снова. – Не было тогда еще церковей и часовен... Верили наши прадеды еще по-старинному. Поклонялись они тогда многим богам, приносили им жертвы в кумирницах. А стояла кумирница в Шойна-ты⁵, посреди лесов густых да большущих... Приносил те жертвы их священник – Пам^{5*}... Вот нашло раз на деревню несчастье – нет ни белок, ни зверья в лесу... не родится трава на зеленых лугах, а хлеба-то все морозом заморозило. Стали деды наши беспокоиться... как избыть беду великую... И сказал им Пам – слуга богов: «Рассердились боги все на вас на всех и послали вам несчастье. А избыть его вы можете: принесите жертву Ену^{6*} превеликому, не простую жертву, не обычную, а девицу чистую, невинную»...

Испужались тут наши прадеды, не послушались сначала слов жреца богов... Но беда все лютей да страшнее становилась... И решили жертву принести они... Настрогали палочек одной длины по числу девиц деревни своей, а одну длиннее

⁵ Шой – «труп», ты – «озеро»^{4*}.

изготовили, кто ее возьмет, той и жертвой быть... Собирали всех к Шойна-ты, вынимали тут девицы все по палочке. И попала палочка несчастная молодой девице Югьд Шонди-ныв... Разрыдалась девица несчастная, востосковалась горемычная, жаль ей было с жизнью расставаться, света белого не видети...

Не хотелось ей расставаться навек со своим любимым Варышем... Но схватили тут ее за белы руки и связали ее крепко-накрепко, положили на сосновый стол... Во кумирнице огонь горит... Шепчет Пам молитвы-заклинания. Вот поднял он руки к небу синему, заплясал вдруг неистово, зазвенели бубенцы на нем, закружился он волчком лихим, сам кричит чудное и страшное... И схватил он вдруг большущий нож, поднял быстро и всадил его прямо в сердце Югьд Шонди-ныв. Как выуженная рыба язь, задрожала Югьд Шонди-ныв, забилась, как голубь раненый, и застыла вдруг недвижимо... Отрубил Пам ей голову, вынул сердце ее, легкие, бросил их он тут в огонь святой, что горел в кумирне Шойна-ты... Не стерпело сердце Варыша, как варыш¹ на птичку, бросился он на старого на Пама тут... Как ударит топором его, так и насмерть Пама уложил совсем. Тут все деды приужаснулись, как пошел он всех богов рубить... Взял он головню с костра того, поджег он шкурки жертвы им, запылала тут кумирня та... Но опомнились тут прадеды, все набросились на Варыша и убили его сразу же... Тело бросили в горяч огонь, и сгорело оно вместе со кумирницей... А потом собрали кости и все сбросали их во Шойна-ты; оттого до сих пор это озеро и зовется трупным озером... Вот что было уж давным-давно, во старинку в стародавнюю! – так же мерно кончает рассказчик.

Тихо... Воображение всех еще занято рассказом. Только лучина тихо шипит, да жужжат веретена... Через мгновение снова шум наполняет избу...

Снова льются песни, шутки и аккорды гармоники... Потом снова идет сказка...

А на улице синее небо обнимает землю и недвижно лежит снежная пелена...

Откуда-то несется лай собаки...

Жизнь – сказка!

¹ *Варыш* – ястреб.

НА СЕБЕРЕ

(Немножко о взяточничестве и хищничестве)

Николаевский вокзал¹*... Давка... В поезд с билетом в кармане трудно попасть. Особенно в третий класс, в котором волею судеб приходится ехать...

– Три рубля мне да рубль кондуктору, – спокойно заявляет носильщик.

Недурно! Первый шаг... и начало взяток. Приходится подчиняться: ехать надо...

В вагоне давка. Люди набиты буквально как сельди в бочке. Духота. Грязь... Короче – все, что бывает в таких случаях...

Доро́гой убеждаюсь, что взяточничество «с Божьей помощью» стало нормой. Время от времени выходя на площадку вагона на протяжении дороги от Петрограда до Вологды, я своими глазами видел восемь случаев взяточничества. Садится пассажир. Конечно, без билета... И спокойно, не стесняясь, вручает кондуктору мзду за свой проезд. Тот так же спокойно берет ее... Рядом со мной студент. Обмениваемся с ним взглядами. Улыбаемся. Что же скажешь?

– На то есть начальство...

Убеждаюсь и в другом. На станции Череповец стоит товарно-пассажирский поезд с вагонами IV класса.

– «Максим Горький», – спокойно замечает какой-то железнодорожный служащий.

– Где Максим Горький?

– Да вот стоит. – Указывает он на поезд.

Оказывается, Максим Горький стал популярен и в железнодорожном ведомстве. Именем великого писателя называют поезд с вагонами четвертого класса...

– Так и зовутся, – поясняет мне мой собеседник.

– Так и рапортуем: «Ваше благородие! Идет “Максим Горький”!»

– Даже и в бумагах?

– В бумагах не знаю точно. А устно все так зовут. Так называет и начальство, и все...

– А чего ради? – любопытно спрашиваю я.

– Не знаю. Вишь, писатель, говорят, такой есть. Про золотую роту²* все пишет. Вот и прозвали потому.

Да, в наше время известность распространяется не только портретами на конфетных и папиросных коробках, но и совсем неожиданными путями. Жизнь сложнее и изобретательнее фантазии.

Наконец – Вологда. Старая Вологда, только более суетная и живая. Сажусь на пароход. Тихий вечер. Дивная вечерняя заря купается в реке и нежным золотом горит на горизонте.

Еду в Устюг. Оттуда в Яренский уезд.

И в Устюге, и на пароходе, и в зырянах – всюду одно и то же печальное явление – взяточничество и хищничество...

Члены продовольственной комиссии г. Устюга в один голос жалуются на странное распределение вагонов: частные лица получают вагоны, и они более или менее исправно доставляют им то, что нужно. Город же получает их с трудом, и почему-то где-то их задерживают.

– Толкачу смазки не даем, – объясняют собеседники. Называют точно имена, которые виновны в этом, называют ряд фактов взяточничества данных лиц.

– На днях еду в Вологду, – решительно заявляет один из членов. – Если ничего не выйдет – в Питер, к Наумову^{3*}. Выложу ему все начисто. Мне ведь что. Терять нечего. На службе не состою, меня не прогонишь.

Хороший пример... И этот член действительно съездил в Вологду, а через несколько дней город получил и муку, и сахар. Это явление защиты своих прав, столь редкое у нас, нельзя не отметить. У нас многого не хватает, но больше всего настойчивости. Мы – романтики. Любим красивые слова, громкие, левые из левых. В теории мы – величайшие революционеры и с презрением относимся ко всякому компромиссу, умеренности, «поссибилизму»^{4*}. У нас имеется даже своего рода состязание и игра в крайние принципы. Все это было бы неплохо, если бы мы были такими же радикалами и на деле. Но, увы! Эта «крайность» нисколько не мешает нам подчиняться любому непропорциональному требованию, терпеть вопиющие беззакония, короче – допускать систематическое нарушение права. Без права арестуют нас – мы миримся. Берут взятки – терпим. Нарушают основные законы – молчим. И при этом сохраняем все тот же гордый вид и те же радикальнейшие воззрения! Вот где не мешало бы поучиться у англичан. Неплохо было бы взять их за пример защиты своих прав. Англичанин на слова скуп, в требованиях – довольно умерен. Он требует только то, что осуществимо в данный момент. Но зато уж, потребовав, он добьется желаемого. И раз получив – он не позволит его обратно отнять. Не даст нарушить и умалить ни одно из завоеванных прав. Такими фактами полна их история. Благодаря такому методу и выработался современный тип британца с его стальной волей и непобедимой энергией. У нас не то. Мы все еще романтики. На словах – отчаяннейшие революционеры, на практике – просто обыватели, какие-то «вареные души».

Пора бы расстаться с этой привычкой. Как было бы хорошо, если бы у нас было поменьше слов и побольше дела, пусть маленького, скромного, небольшого, но только бы дела!

К счастью, как будто кое-что начинается в этом роде. Сбросив гордый вид, мы начинаем организовывать комиссии – продовольственные, санитарные, беженские, открываем культурные общества вроде «Просвещения», заводим библиотечки, чтения для детей и взрослых, организуем экскурсии, в Вологде и Тотьме прекрасно работает «Вологодское общество изучения Северного края», успели организовать уже грандиозные кооперативные дела и т.д. ... С виду как будто скромная работа. Фактически – куда более полезная, чем гордое «ничего-неделание» «непримиримого» обывателя. Дай-то Бог, чтобы и впредь так пошло!

Я заговорил о взяточничестве и сбился в сторону. Возвращаюсь снова к нему.

Те же «тени» витали и во время поездки в зырянский край. На пароходе разговорились с одним молодым человеком. Не без самодовольства и хвастовства рассказывал этот собеседник, как ловко он проделывает эти операции: «Теперь я мастер на этот счет. Раньше, бывало, не знаешь, кому сколько дать: одному дашь лишнее, другому – недодашь. И получается временами “конфуз”». Теперь не то. Теперь уж знаешь таксу: кому 10, кому 50, а кому и сотенную купюру недурно! Такса на предметы потребления никак не может установиться. Она все прыгает. Объявят таксу – нет товара. Приходишь в магазин и слышишь: «Нет, не торгуем». Отменят таксу – всего сколько угодно, только за тройную цену. Иначе, по-видимому, обстоит с таксой взятки. Она прочна и тверда.

Как тут не посмеяться хоть и не очень веселым смехом!

То же и в деревне. Бесконечные жалобы на взяточничество старшин и попечителей. Оказывается – кто подмажет, тому выписывают они паек, хотя бы он и не имел на него права. Не подмажет – сиди без пайка. И солдатка с кучей малых ребят бьется как рыба об лед, чтобы не умереть с голоду.

– Вот в селе Х. так там избил бабы старшину. Выдерем всю бороду и мы нашему рыжему черту, – в один голос заявили солдатки. – Больше ничего с ним не поделаешь.

Невесело. Казалось бы, не должно быть хищничества в такие времена. Нет-таки! «Человеческая натура» дает себя знать. Каждый рвет где может и с кого может! И рвут разно.

В селе Х. при мне в избу принесли пачку солдатских писем, случайно найденных разорванными и брошенными в сарае. Оказывается, эту операцию проделывают в волостном правлении. Чего ради? – спросит читатель. Ответ солдаток – из содержания писем. А там значилось, что бедный солдат, желая хоть чем-нибудь обрадовать семью, вкладывал в каждое письмо по 15- и 20-копеечной марке. Господа разносчики и правленская администрация узнали об этом и,

«ничтоже сумняшеся», вскрывали письма, брали марки себе, а письма уничтожали. Только случайно данная пачка оказалась плохо уничтоженной и потому найдена была мальчиками, игравшими в сарае.

– Так вот почему не было так долго писем, – догадалась старушка-мать одного солдата. – А я-то ночи не спала, все думала и думала, жив ли уж он? Не убит ли? А дело-то вон какое!

Поистине, проста причина сложного явления. И хватает же совести у этих мерзавцев проделывать такие вещи. Даже из солдатских писем сделали доходную статью! Матери, жены и дети! Запомните этот случай. Быть может, и вы временами не получаете долго письма по такой же причине.

АККОРДЫ ЖИЗНИ

(Записки одного ненормального человека)

1

Ну-с, господин Мыслитель, подведемте итог вашей жизни. Когда-то, много лет тому назад, вы имели дерзость предъявить госпоже Жизни очень обширный и грандиозный счет. Вы прекрасно знали, что юридически он не вполне обоснован, но вы смело говорили: «Предъявим счет как можно более богатый и постараемся, чтобы жизнь уплатила вполне по этому счету, а там посмотрим, что из этого выйдет!» И вы не колеблясь вписывали в счет и гениальность, и славу, и богатство, и другие подобные деликатесы.

Ну, что ж, пора и проверить. Пора! Пора! Ведь скоро уже явится счет и от Смерти, а эта скряга, как известно, церемониться не любит... Ну-с, так приступим к делу, господин Мыслитель!.. Вот строка относительно гениальности, посмотрите, пожалуйста, что выплачено? – Ничего, за исключением сумасшествия. – Хорошо, не смущайтесь, господин философ, сумасшествие, говорят, родственно с гениальностью^{1*}.

Как дело обстоит со Славой? – Нарисован в графе горшок, на дне которого виднеется черная обугленная головня... Ну, а что имеется насчет богатства? – ... Минус.

Ха! Ха! Ха! Так, так, господин философ. Что же вы заплакали? Или вашу мозоль ущемили? Или ваш прогнивший зуб заныл? Или кого-нибудь стало жалко? {Жалко мне одной жизни, прокоптившей в мире дымной головней! Жалко чистой и прекрасной розы, завянувшей, как осенний лист, и, как осенний лист, растоптанной ногами прохожих и сгнивающей на ветру под осенним дождем.

Жалко мне ясных глаз, ослепших от гноя! Жалко безумной отваги, замерзшей от холода жизни, и крепких мускулов, надорванных непосильно взваленным грузом Жизни! Рисуется мне безумец, дерзко предъявляющий Жизни страшно дорогой счет, и слышатся его дерзкие слова: «Все должно быть выплачено, все вырвем!»}

Ха! Ха! Ха! Ну не плачьте же, господин философ! Вы не ребенок. Мужества больше! Вспомните великого Эпикура! И великих стоиков!

Да! Да! Не нужно плакать. К делу, к делу скорей.

Итог, итог точный и ясный!!

«По предъявленному счету госпожою Жизнью уплачено и передано господину философу следующее:

– 35 лет дыхания воздухом. Куча бессистемных и бессвязных мыслей, на которых он думал подняться в высь неба, но остался на земле. Полуголый череп с седыми волосами. Веер глубоких морщин, украшающих его чело, надорванное болезнью тело и, в качестве приложения, сумасшествие в легкой форме».

Ну-с, что скажете, господин мыслитель? Что же вы не философствуете над этим феноменом?..

Плачь! Плачь, разбитая драгоценная ваза, черепками которой забавляются дети да прокаженные счищают гной своих язв!

Плачь, бабочка, прилетевшая случайно на огонь жизни и обжегшая свои крылья!

Плачь, благородная антилопа, взобравшаяся на вершину утеса и сорвавшаяся в бездонную пропасть!

Оплакивай, мыслитель, свое случайное и незваное рождение на пир жизни!

Рыдай над тем, *что* ты искал в жизни и *что* нашел!

Отслужи погребальную мессу своей жизни и сыграй ей трагическую симфонию! Громче звени, колокол, громче пой, орган, – это заупокойная месса моей жизни!

Плачь и рыдай!..

2

Устал я, устал... Тяжело... Как жук, ползаю по земле... но не дано мне спокойствие жука...

Глаза видят лазурь, я хочу лететь туда, вдаль, загрохотать громом, ослепительно сверкнуть молнией, закружиться диким вихрем, заблестеть радугой и разлиться каскадами все очищающего дождя в пустыне Вселенной...

Жалкие потуги жука! Лопнули струны туго натянутой арфы. Теперь она только дребезжит и кашляет старческим кашлем...

Теперь я червь, которому остается доживать свои дни. Глупая и обычная сутолока иссосала меня.

Шабаш! *Finita est comedia mea!*^{2*}

Даже то, что выполняют все животные, я не выполнил...

Бесплодным ветром явился я в жизнь и бесплодным ветром ухожу... Из бездны небытия вышла моя дорога и туда же возвратилась...

Радуйся, мыслитель!

Не завидуешь ли ты этому бескрылому жуку?

3

Итак, счета подведены и итог ясен... Что же будем делать, актер? Ткать зайчишье кружево мысли и строить лазурные замки не приходится. Кружиться безумно в водовороте людской суеты, учить детей, чтобы они сумели потом раздобыть более жирный кусок Жизни или бесплодно томились по лазури, куда они не могут взлететь, раздражать напрасно и без того расстроенные нервы и странствовать по клиникам от психиатра к психиатру – все это бесплодно и бессмысленно.

Довольно! Покружился в кукольной трагедии – пора снимать грим и лоскутья! *Finita est comedia tea!*^{3*} Ищи себе иного конца... здесь тебе нечем дышать и нечем жить. Иди туда, где было твое первое движение, и живи прошлым, которое только и осталось у тебя! Там, среди бесконечной пелены снега, среди вековых сосен и безмятежной тишины, кончай свое дыхание воздухом. Это, пожалуй, будет лучшее и разумнейшее из того, что ты сделал в жизни. Может быть, снова прилетят к тебе образы, дышащие ароматом жизни, мысли, поднимающие хоть не к хребту неба, а на аршин от земли, и, наконец, пройдут без боли и страдания твои дни бытия в мире явлений...

Так, так, аршинный философ, снова есть смысл, и снова есть цель... твое «я» снова узнается в терпении и разумности.

Радуйся, низложенный с пышного трона властелин, есть керосиновый фонарь во мраке твоего пути!!!...

4

Вот и снова дома, бедный скиталец! Как себя чувствуешь? Смотри, как ярко сияет солнце сквозь кружево ветвей! Прямые, стройные сосны тысячами колонн высятся на мраморной белизне ягеля. Под твоим жилищем, как малое дитя, резвится речка и без умолку болтает о том, что она проходила и что видела. Кусты малины наклонились над ней и слушают ее лепет, а рыбки грациозно скользят в ее прозрачных струях... Жарко... Вот ты и на печке земли можешь лежать и греться после холода жизни. Хорошо тебе тут. Светла и чиста твоя печка. Лес шепчет тебе свои тайны, ветер рассказывает тебе чудные, волшебные сказки, а звери и птицы хором убаюкивают тебя.

- Бай, бай! Засни, бедный странник! – поют они.
 - Спою тебе панихиду! – грохочет буря.
 - Усыплю тебя искристыми алмазами снега! – воеет выюга.
 - Буду твоим могильным венком! – гудит лес.
 - А я буду твоим могильным склепом! – шепчет синее небо.
- Грейся, Старик!!

Ну что, старина? Как будто твои крылья начинают крепнуть... на пол-аршина ты уже взлетаешь ввысь, ты был вчера там, среди людей своей родины.

У той березы, которую ты посадил когда-то около своей избы, разросся целый лес. Весело перешептывались молодые березки, шаловливо трепали ветвями друг друга и ярко зеленели на синеве неба. Твоя же береза, могучая и крепкая, стояла среди них и добродушно смотрела на их шалости.

Да, старина! Она оказалась счастливее тебя. Она еще крепка и могуча и спокойно глядит в лицо солнцу... Она оставит поток жизни, а ты... согнулся, и река твоей жизни безвестно пропадет в песках пустыни...

С удивлением глядели на тебя лесные люди, наивные и простые. И ты с удивлением глядишь на них... Сколько новых, незнакомых лиц!

Сколько новых вещей глядело на тебя из колесницы прошлого!

Неутомимый конь – Время – медленно, но беспрерывно тащит ее вперед, выкидывает одно и кладет другое... {Как березовые побеги, выросли новые люди, пока ты скитался по земле. А знакомые лица, как они изменились! Вон твой сотоварищ по играм. Ты думал его увидеть таким же веселым мальчиком, каким он и был некогда... Теперь перед тобой стоял здоровый и коренастый охотник, и ты его не узнал...}

А отчего вдруг забилось твое сердце? Чьи это глаза заставили вспыхнуть твои поблекшие очи? Да, да, старина. Узнал ты ее, свою первую и чистую любовь! В голове твоей быстро промелькнули образы, внутри тебя задрожало что-то...

Зима... Утро... Мороз... Ты бежишь в школу. Маленький и живой. Сквозь прорванные дыры твоей одежки тебя пробирает холод...

– Куда ты? – спрашивает тебя Гулю^{4*}.

Какие у нее красивые синие глаза! Ярким румянцем горят ее белые щечки, а непокорный локон волос так красиво обрамляет белизну ее лица...

– В школу, – отвечаешь ты. – А ты разве не пойдешь?

– Вот спрошу у батьки.

– Там весело! Картинки, книжки, – расписываешь ты... тебе так весело болтать с ней.

– Если пустят, и я пойду...

Ей хочется в школу...

– Беги, беги, а то замерзнешь, – весело смеется она и заходит в избу.

Ай! И впрямь ведь холодно, ты и забыл [про] мороз...

Беги скорее! И ты бежишь...

Помнишь, как ты рассказывал ей сказки? Ты считаешь себя Иваном Царевичем, а ее – прекрасной королевной. Вы оба забывали все и переносились в царство серых волков, жар-птиц, злых ведьм и добрых тунов^{5*}. Сидя где-нибудь в уголке или на полу, вы грезили, что летите на ковче-самолете...

– Какой ты красивый! – как-то раз на празднике сказала она. – Ты, говорят, умный и много знаешь?

Помнишь ли, как забилося твое сердце и вспыхнул румянец на твоих щеках в ответ на эти слова, но ты смутился и ничего не сказал...

Как-то раз у тебя не было хлеба и ты хотел есть.

Она узнала об этом и принесла тебе хлеба и кусок мяса... Но ты не взял его – ты был гордым, рассердился на нее... Она заплакала, и ты взял ее приношение, чтобы утешить ее... {Вспомнил ли ты, как однажды бросился на собаку, которая хотела искушать ее. «Беги!», – крикнул ты ей, а сам стал бить собаку. Только раз она укусила тебя, и ты был рад, что она укусила, и готов был броситься на сотню других собак, лишь бы охранить ее.}

Как хорошо и ласково она смотрела на тебя и как прекрасна была тогда твоя маленькая и стройная Гулю!

И долго вы любовались друг другом, пока ты не ушел в далекие страны...

Вот теперь она стоит перед тобою. Дородная и крепкая. Кожа огрубела, но глаза остались те же, что и прежде. Ты здороваешься с ней, жадно смотришь в ее глаза – не дрогнет ли там что, не зажжется ли какой огонек... Ты ждешь, что вот перед тобой снова явится прежняя Гулю...

– Как вы изменились! – говорит она, и голос ее груб и криклив. – Совсем стариком стали! Поди, высокий чин заслужили и разбогатели.

В глазах видно что-то заискивающее и завистливое...

– Нет! Вот нажил только старость и больше ничего. А как вы?

– Я живу хорошо... Муж торгует, у нас лавка со всяким товаром, дом новый двухэтажный, земли много...

Лицо ее стало тупым и надменным. В словах чувствовалась насмешка: «Смотри, у тебя ничего нет, ты стар, а я богата и дородна», – говорили они.

Эх, старина! На старости лет и то ты не набрался мудрости, снова впал в ребячество. Ну кто же, кроме детей, мог бы подумать, что в этой дородной бабе осталась прежняя Гулю с синими, как лазурь весны, глазами, с волнистыми, как зеленеющая озимь, волосами и с тонким и стройным, как стебель одуванчика, станом!..

Ничего, не тоскуй, старина! Ведь ты примирился уже с пощечинами жизни, сто́ит ли волноваться из-за ее щелчков; ты стерпел крушение твоих великих замков, не волнуешься же из-за крушения картонного домика!

Смотри, как приветливо тебя приглашают твои бывшие товарищи. Они будут тебя угощать от души всем, что у них найдется лучшего, и слушать с напряженным вниманием твои рассказы о далеких землях, о неведомых жителях и о тоске бытия. Расскажут тебе чудные сказки, нарисуют тебе полный призраков мир, и ты забудешь нерасплетающиеся узлы жизни и стоны исковерканных душ...

Вези же, Время, свою телегу, и будь веселым, старина!..

[В лесу. Гроза]

Снова ожили сны! Снова появились краски на старой доске жизни! Чу, как гудит лес и грохочет гром! Слушай, старина! Ты слышишь и знаешь то, что никто не знает! Ты знаешь язык, которого ни один лингвист не слышал. Разве это лес гудит?.. О, ушколюбые сектанты! Лес – Майя^{6*}, скрывающая от ваших заткнутых ватой ушей и подслеповатых глаз тайны мира. Слышите?..

– Я – тот, который носит в себе весь мир и, вмещая его в себе, считает мир своей утварью, а потому *бесконечно презирает* его! – грохочет кто-то гордый и могучий вверху...

– Я – тот, который изначала был великим духом *свободы*. Блестящей молнией, сверкающей блеском гнева, я вечно разрушаю неуклюжих и необтесанных идолов деспотизма! – слышится стальной голос блестящей молнии.

– Я видел трупы и моря крови; из них я создал тесто и сковал этим тестом огненно-эфирную землю. Выросли горы, и раскинулись долины. Я бесконечно наслаждаюсь судорогами и корчами всех ее бывших, настоящих и будущих обитателей! Их стоны и вопли сплетаются в стройные аккорды и непомерно веселят мое сердце... Ха! Ха! Ха! – разносится хохочущий треск по волнам эфира...

– Я был *Страданием*, из страдания создал *Блаженство* и сею теперь семена *Счастья* в волнах Вселенной. Я выращиваю благоухающие, прекрасные цветы, и горе тому, кто их вырвет! – звенит дивный голос в неумолчном шуме.

– Я отзвук всех звуков! Ела!^{7*}

– Кто раз видел мое лицо, кто ощущал благоухание моего тела, кто слышал музыку моего голоса, тот навсегда останется моим рабом и будет вечно стремиться ко мне... Я вечно юная могучая Красота!

– Я – тот, который извлекает в Мире вечную жизнь и дает ей формы!

– Я – то, что превращает видимое в невидимое, ощущаемое в несуществующее; форму – в ничто. Я перевозчица из области Являющегося в область Таинственно-Незримого!

– Я – вечный конь, тянущий колесницу мира в Небывшее.

– Я – раб, помнящий себя владыкой на Земле.

– Я – владыка, помнящий себя твоим рабом.

– Я – филин, поставленный великим Разрушителем и стерегущий добычу.

– Я – воин Вечно-Творящего.

– Ящерицей ползала я по земле, и дали мне теперь одежду гриба.

Миллионы духов носились в волнах Бесконечного и собирались на великую битву... Разнообразнейшие образы, отвратительные и прекрасные, реяли всюду...

Но вот Всепрезирающий взмахнул своими крыльями и покрыл складками своего плаща лазурь неба. Могучий грохот вторил его великому полету.

Бешеным вихрем взвился Бесконечно-могучий дух Свободы и сверкнул молнией своего меча, разрушая деспотизм Всепрезирающего.

Творец страдания и создатель счастья, Вечно-Созидающий и Вечно-Разрушающий, Жизнь и Смерть и бесконечное множество других существ завертелось, заплясало и закружилось в дикой схватке.

Красное, черное, белое, синее, стоны, вопли, грохот, скрежет, свист, набат – все смешалось и свернулось в один бесконечно огромный извивающийся клубок. Из недр его родился и воцарился *Великий Хаос*...

Черное крыло Всепрезирающего покрыло и обняло все. Воцарился великий мрак. Раздается победный грохот грома, и торжественный хохот несется по пустыне мира...

Но вот блеснул меч Вечной Свободы, пронзил крылья мрачного духа и разрезал его плащ на клочья.

Снова крылья Всепрезирающего распростерлись и окутали мраком все, и снова Меч Свободы разрубил их, и снова лазурь глядела из этих разрезов.

Диким ураганом летало Зло, вырывало цветы Счастья и обливало их ядом своего жала. Бесконечно быстрой стрелой летало Добро и обильно сеяло семена Счастья из своего бесконечного мешка.

Это была одна из несчетных схваток Света с Тьмою, Жизни и Смерти, Добра и Зла...

Весь мир дрожал от шума, и все слои эфира колебались от ударов...

И долго шла эта битва. Мои глаза ослепли от Света и Тьмы, и уши заглохли от страшного шума...

Но вот сверкнул меч Свободы, зажег весь мир и вдохнул силу в своих соратников.

Запылали гневом лица их, и звуки возмущения потрясли Вселенную.

– Я – не твоя утварь, а равный тебе!

– Я не хочу быть рабом!

– Пусть цветут цветы Жизни и Счастья, и горе их врагам!

– Бесконечно могуч мой меч, и он разрежет крылья Всепрезирающего!

Голоса разрастались, крепили и зазвучали могучими аккордами.

Великое пламя гнева вспыхнуло, за клубилось и взвилось ввысь. {Таяли в пламени гнева черные крылья, стихал ураган Зла и бледнело лицо Смерти.}

Тысячами языков лизало оно своих врагов, гибкой змеей извивалось вокруг складок темного плаща и тысячами искр плевало в лицо Всепрезирающему.

И таяли в нем черные крылья его, все меньше и меньше становились лоскутья его, стихал ураган Зла и бледнело лицо Смерти...

Раздался победный клич мира, и Свет запел свой победный гимн.

Великая красота смотрела лазурными небесами, а Вечно-Созидающий сеял свои семена счастья.

Veritas et justitia humani^{8*}

Не рано ли, старина, вытребовал ты счет от жизни?

Не рано ли поставил нуль на бывшем и «ничто» на будущем? Не мессой ли нового рождения была твоя заупокойная месса?

Ты теперь поднимаешься высоко, и твои крылья начинают носить тебя по волнам мира.

То, что ты видел, стоит жизни.

То, что ты знаешь, в тысячу раз больше всех истин, заключающихся в толстых и тонких фолиантах, свежих и изъеденных молью, снабженных примечаниями и лишенных их.

Не кажется ли тебе теперь истина и справедливость людей маленькими блохами, прыгающими на теле великана? Как блохи, они юрки и малы, как блохи – жадны и как блохи – нечисты...

Смелее, старина! Долго люди над тобой смеялись, посмейся и ты! Теперь твой черед. Сделай смотр истины и справедливости человеческой. Выстрой ее носителей в одну шеренгу, скомандуй им, и пусть они ответят тебе.

– Смирно!.. Что такое справедливость, господа носители правды?

– Посылать протестантов и недовольных на виселицу и расстреливать их – вот веление Справедливости.

– Выкинуть на улицу и предать в руки Голода и Смерти тех, кто просит прибавки хлеба за работу.

– Убить всех деспотов, угнетающих нас, повалить их трон и самим стать на место их – вот требование великой Справедливости.

– Отнять все богатство у тех, кто ворует плоды трудов наших...

– Тащить и не пущать^{9*}...

– Не есть в среду и пятницу молоко и мясо...

– Дать нищему грош от моих тысяч...

– Если я украду у другого жену – это Справедливость. Если же он украдет у меня – это безнравственно.

Так, так, ничтожные знатоки и ревнители справедливости. Теперь скажите мне, что Вы называете Истиною?

– Дважды два – четыре...

– Дерево легче воды...

– Букашка, которую я открыл и на изучение ног которой я потратил всю мою долголетнюю жизнь, имеет шесть пар ног и две пары придатков – это истина.

– Нерон кончил свою жизнь самоубийством.

– Истина непознаваема.

– Истина есть некоторое мистическое X, скрытое от нас.

– Истин много. Нет абсолютной истины, а есть тысячи относительных истин.

О, маленькие дети, ставшие на стулья и воображающие себя на ковре-самолете! О, обворованные кроты земли! В вашей узости и в вашей тяжести – ваше спасение. Ваши ответы достойны вас, ибо это не вы говорите, а тот навоз, который вы выбрасываете из себя и который Вечно-Созидающим претворяется в хлеба... Вы только трубы, передающие голос того навоза...

Смейся, смейся, старик! Если не можешь хохотать звучным и полным смехом, то шамкай старым, беззубым ртом. Хе! Хе! Хе!..

8

Amor^{10*}

Мой сад начинает цвести пышными, неведомыми цветами. Ступени моей лестницы поднимаются ввысь и ведут меня в чудные земли. Я – великий строитель, не признанный людьми и в этом непризнании нашедший свое счастье и свою силу. Великое страдание бросило на мою тропинку семена, и вырос прекрасный сад счастья.

Я снова молод и снова силен. Вихрем взвиваюсь я ввысь и бурей ношусь в синеве мира.

Я знаю тайну Небытия, я видел Красоту и познал сладость Любви.

В сиянии солнца и в благоухании весны явилась ко мне Любовь. Она была *многоликая и многообразная*...

– Я видела твои страдания и видела твою тоску, и вот я явилась к тебе, – сказала она мне.

Божественным аккордом прозвенели ее слова и всколыхнули во мне что-то невидимое и незримое. Что-то задрожало во мне, и я не знал, плакать ли мне или безумно хохотать.

Свежим ландышем, сотканным из лучей чистоты и кристальной невинности, вышла она ко мне и застенчиво и нежно гладила мне волосы.

Тихо сияли ее синие, как василек, глаза. Они были яркие, как солнце, и глубокие, как небо. Нежная алость играла на ее губах и слабо просвечивала на белизне ее лица.

Золотистые волны волос опутывали ее тонкую шею и покрывали ее плечи. Снежно-белая туника прекрасными складками ниспадала с ее плеч и нежно окутывала ее тело.

Я взглянул на нее и не мог оторвать своих глаз от ее очей. Мне чудились недоступные вершины стройных утесов, мраморные белые колонны таинственных храмов, увитые ало-нежными листьями шиповника и обвиваемые воздушными нимфами, сотканными из лучей луны и эфира... Я видел глубокую лазурь неба и

блеск моря в ее глазах. Кругом звенели грустно-грозящие звуки сладкой мечты и говорили о сладости чистой любви и о красоте ее невинных цветов. Было невыразимо хорошо, и Счастье тихо обвивало меня своими крыльями...

И снова посетила меня Любовь. Страстной вакханкой^{11*} стояла она предо мною. Черные волнистые волосы, украшенные ярко-красными розами и гроздьями винограда, рассыпались по всему пышному телу и прихотливо обвивали его. На нежной белизне ее лица осеннею ночью блестели черные глаза, полные знойной страсти и могучего порыва. Красные, как мак, губы неотразимо влекли и звали к жгучим поцелуям и знойной ласке. Гибкая, как змея, и упругая, как натянутый лук, она впилась своими губами в мои губы, обняла меня своими прекрасными руками и вдохнула великий огонь пряной мечты и страсти Диониса. Тысячами искр переливались алмазы на ее диадеме, высокой струей било из фонтанов вино и опьяняло все мое существо...

Раскидались волны волос на белоснежном ложе, алой струей лилась страсть из дышавших зноем губ, и, как два удава, сплелись наши тела в нерасплетающийся узел.

Бешеным водопадом бились два существа в потоке жизни и срывали на своем пути все камни смерти... Дико и шумно плескали волны пурпурного вина, ревела буря, грохотал гром, и сонм сатиров и нимф острым свистом прорезал пелену молчания...

И снова явилась ко мне Любовь... Одетая в траурный хитон, со смертельно бледным исстрадавшимся лицом, на котором грустно блестели прекрасные очи, она нежно перевязывала мое исцарапанное кустами и колючками тело. Передо мной развернулись стогны городов, и там, на кучах навоза, лежали прокаженные. Отвратительно выделялись их гнойные раны, а она ходила от одного к другому, целовала их язвы и благодарила их за побои и поношения, которыми они награждали ее...

– Не ведают ибо, что творят^{12*}, – тихо шептали ее губы, и светлое сияние исходило от ее лица...

Со сверкающим от гнева лицом, с пылавшими от негодования глазами, преисполненная великой ненавистью, снова явилась она ко мне, блестя отточенным клинком своего меча.

Могучим тигром бросилась она на отвратительного осьминога, сосавшего свою загубленную жертву, и меч сверкал, разрубая его страшные щупальца.

Тихо подкрадывались крабы, ползли гигантские спруты, и приближались отвратительные пауки и мечехвосты... Как воры, оглядывали они пришельца и, как воры, подползали все ближе и ближе... Осторожно вытянули свои чудовищные клешни и отвратительные щупальца, тысячами сжимов сжали и обвилились вокруг бесстрашного мстителя.

– Я погибла, но в этой гибели моя победа! – воскликнула Любовь и с улыбкой счастья умерла...

Тысячами искр блещет фонтан моего цветения, и аромат великий обвеивает мою осень... Великая и многоликая Любовь поцеловала меня и показала свое лицо! Слабым свечением светляка кажется мне теперь любовь человеческая! Да будет же благословен исток моей жизни, текущий в струях Космоса!

9

Pulchritudo humana^{13*}

Я видел Красоту, и опять мне хочется смеяться...

О, милые дети земли! Знаю, знаю, вы любите безумно красоту и страстно ее ищете. Вы идете в большие пыльные балаганы, там созерцаете кривляния шутов и разряженных кукол. Блестят картонные мечи, звенит гром железного листа, и вы довольны...

– Как прекрасно! Как красиво! – восхищаетесь вы.

С великим наслаждением смотрите вы, как на тех же подмостках вывертывает свои оголенные ноги какая-нибудь марионетка, и чем сильнее коверкает она свое тело, тем ярче блестит в ваших глазах сладострастие, и вы снова шепчете: «Как прекрасно!» – и в опьянении хлопаете своими руками...

Вы настроили громадные сараи, навесили там лоскуты и тряпки и ходите туда, чтобы видеть красоту на этих лоскутьях.

– Прекрасно! Чудно! – восхищаетесь вы, разглядывая размалеванный кусок холста...

{Когда вы с великим наслаждением слушаете визг оголенной и разруганной куклы и рычание, похожее на рев быков, и снова хлопаете руками в порыве наслаждения...}

Любите вы, чтобы селедка, подаваемая к вашему столу, была окружена кругами огурцов и лука, и вы, довольные, говорите: «Какой прекрасный гарнир!» Находите вы красоту и в поросенке, лежащем на вашем столе, во рту которого торчит кусок петрушки или другой травы...

Приготавливают вам Красоту особые повара, называемые поэтами. Все они любят преподнести вам это блюдо вместе с Любовью. Рецепт, по которому приготавливают вам Красоту пополам с любовью, прост и однообразен. Вот он:

«Взять квашню и положить туда полфунта описаний природы и людей; прибавить два стакана случайной встречи и внезапно зажегшихся взглядов; затем влить 10 стаканов горячих, задушевных речей, бросить сюда 1000 золотников “люблю”, столько же поцелуев и нежных объятий, посыпанных перчиком соловьиной трели или аккордов рояля, – и все это развести и взболтать в бочке страстных объятий и жгучих ласк»...

Наслаждайтесь же, бескрылые улитки земли, стройте свои сараи и воскрешайте дымный фимиам своей пресной Красоте, а я, одинокий странник, буду весело смеяться и хохотать!.. Эхо вторит моему смеху и далеко уносит его на своих воздушных крыльях! Ха! Ха! Ха!

10

Beatitus^{14*}

Лейтесь, звуки, из моей груди! Взмахните своими воздушными крыльями и летите по миру... Вы, быстролетные ветры, подхватите их и разнесите по волнам Космоса!

Великий гимн Счастья пою я! Громче играй, музыкант! Громче лейтесь, звуки, и усладите души всех страдающих! Пусть свежим дождем падут они на засохшую от зноя ниву! Пусть ярким солнцем блеснут они среди мрака туч! Пусть ароматным цветком дохнут они среди великого смрада!

Я стою на вышке жизни...

Я стою на грани Смерти и Бессмертия...

Я – великий властелин, царство которого бесконечно и сила которого безгранична...

Я знаю мощь...

Я знаю истину...

Я видел Красоту и зрел лицо Правды...

Я испытал сладость Любви!...

Я – тот, который был при *начале Времени* и который будет при его конце!..

Тысячи образов имел я в прошлом и сотни тысяч других буду иметь в будущем...

Скоро, скоро я сброшу с себя маску и одежду земли и перейду в мир инобытия...

Да будет так!!!

11

Какой странный сон я видел... Мне чудилась широкая равнина... Везде чернели мрачные неуклюжие здания, и не было нигде ласкающей взгляд зелени... Высокие прямые трубы черным смядом дышали в лицо солнцу. Облака дыма вместе с ядовитым туманом болот застилали синеву лазури и блеск солнца. Было мрачно... Страшный треск и невообразимый шум неумолчно летали над долиной. А люди постоянно бегали и несказанно тосковали о чем-то, поднимая взоры ввысь и поглядывая на великий крутой утес, возвышавшийся среди долины. Все они бежали к этому утесу, давили на своем пути друг друга и, поглядев с секунду на раздавленный труп и пятна крови, устремлялись дальше.

Тысячи и миллионы людей карабкались на этот утес. Но круты были его склоны, и чем выше, тем круче становились они.

Одни из них, поднявшись немного, теряли надежду взобраться выше и садились на каком-нибудь выступе... Другие, более сильные, лезли выше... Они хотели добраться до вершины утеса, которая исчезала за пеленою облаков и дыма...

Но круты и гладки были его склоны, обнажалось до костей мясо исцарапанных рук и ног, уставали мускулы, и смельчаки срывались, падая в глубокую бездну... И видел я себя карабкающимся на вершину утеса... Высоко поднялся я, и трудно подниматься выше...

Голова кружится от страшной высоты, руки и ноги скользят по гладкой стене утеса, и каждую минуту я готов сорваться и полететь в бездну...

Но, подталкиваемый каким-то страшным желанием, я хочу лезть выше, чтобы увидеть и узнать что-то дивно-прекрасное, находящееся на вершине утеса...

Вот уже бледнеет полоса туч. Скоро... скоро блеснет солнце, раскроется лазурь, и я буду там, на вышке Счастья...

Но как трудно! Из рук и ног сочится кровь, судорожно цепляюсь зубами за осколки камней и чувствую, что частичка жизни улетает от меня с каждой каплей крови...

Но вот и вершина. Голубая ширь охватила меня, ветер ласково обвеял свежим дыханием, и я вижу слово «Счастье», сияющее над вершиной утеса и сотканное из алмазных звезд...

Вот уже берусь рукой за край вершины... Вдруг...

– Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! – захохотал кто-то страшным, громовым хохотом, и я сорвался. Быстрее молнии полетел я в бездну и... проснулся...

Что это – сон или реальность? Где граница между тем и другим?

Мне холодно...

12

Как холодно!.. Тускло горит огонь в очаге моей лачуги...
А там лес, лес и без конца лес... снежная пелена раскинулась белым саваном и покрыла землю...
Как тихо!
Чу! Кому это поют панихиду?.. Звонит колокол... Бум... Бум...
Что я тут делаю? Зачем сюда пришел?.. Мне помнятся какие-то смутные обрывки странных видений... помнится, что было что-то хорошее...
Где и когда это было? Не во сне ли я это видел?
Как холодно! ... Собака и та жметя к очагу. Коченеют руки и ноги... Жизнь улетает из тела...
Постой... Что-то я слышу?.. Что-то я вспомнил?
Да! Да... Как будто шел я по какой-то мрачной долине... шел долго и не знал, куда иду... Как собаку, били меня палками и обливали помоями...
Наконец подали счет... да, счет... Жизнь... Смерть... Утес... Я карабкался туда ... ввысь...
Что-то хорошее я там видел... Да, я видел Любовь... Истину... Как ярко горели звезды Счастья. А тут... Чу! Кто это хохочет?
Ха! Ха! Ха!
Чей это адский хохот? Мне страшно... Я падаю... Спасите!.. Спасите! ... Душно... Холодно...
Слышите? Ужасный хохот!.. Из очага глядит рожа и хохочет, показывая на меня своими клешнями... Собака раскрыла рот и смеется, подмигивая мне своими старыми глазами...
Кругом рожи... Хохочут!.. Страшно...
Где я ?.. Перестаньте вы!.. Я – бедный странник, долго ходивший зачем-то по земле... Свистят... Воют...
Холодно...

13

Кто эти неведомые люди?.. Зачем они пришли?
Какие на них смешные шапки... Погоди... Где-то я видел эти азямы^{15*}, лапти...
– На, друг, поешь... отощал ты...
– Кто ты?
– Али забыл старого товарища?
Какой он смешной... Куда это они меня ведут?
– Пойдем к нам в гости... А потом поедем в город – давно ты не видал людей...

Как холодно... Что это за шум?... Опять, опять хохот!

Все он же... Разноцветные рожи выглядывают из-за сосен и показывают язык...

– Сумасшедший! – хохочут эти неведомые люди.

– Сумасшедший! – лает собака.

– Сумасшедший! – скрипят сосны.

Холодно...

14

В сумасшедшем доме

Облачили меня в белую мантию. Рукава ее широки, как рукава великого первосвященника. Опоясали мои чресла поясом страдания и возложили на мою грудь панагию^{16*} ужаса...

Я – великий первосвященник! В этом храме, огражденном от нечистых рук золотыми ремешками, приношу я жертвы за грехи мира и выращиваю цветы счастья, посеянные великим сеятелем... Это святое святых, и никто сюда не входит, кроме меня...

– Дымись, дымись, жертва! Иди туда, ввысь, к великому создателю... Ты видишь, Вечно-Творящий! Вот я на коленях и простираю к небу руки... Внемли моему гласу... Пусть вырастут цветы счастья и покроют бесплодную пустыню страданий. Вижу! Вижу, ты протер свои длани, и вот распускается высший сад жизни...

– А ты зачем пришел сюда, раб? Как смеешь ты своими нечистыми ногами осквернять храм Вечно-Творящего! Прочь! Или гнев его поразит тебя!!! Ты украл ключи от его жилища и дерзко бряцаешь ими, о несчастный сын блудницы и убийцы! Оплакивай день, когда ты увидел свет...

Как страшно блестят глаза этого неведомого Духа... Как злорадно исказились черты его лица!.. Он хохочет! Раскрыл свои крылья и хохочет!! О, Вечно-Творящий!

Мне страшно! Я боюсь его!! Помоги!!

– Как ты смеешь касаться меня своими руками, раб?

Ты хочешь связать рукава моей мантии... Прочь...

Я – великий первосвященник, принесший жертву за мир!!!

„Трахи жизни“.

Сказка.
(О. Г. Е.).

«Теори, обновляй,
Иль пади и умри!
Открой или руки о двери сломай».
Верхарнъ.

I.

Безконечное море недвижно лежало, молчаливо безстрастное и ждущее. Не пѣнились гребни бушующихъ волнъ, не ревѣла могучая буря и не слышались зовы гибнущихъ. Море тихо лежало и смотрѣло въ голубое небо, а небо молча купалось въ безбрежныхъ струяхъ моря...

Начиналось утро жизни. Волны свѣта безшумно подкрались къ землѣ, разлились золотыми струйками по лицу моря и брызнули каскадомъ лучей на весь мѣръ. Зазвучала симфонія жизни.

Одиноко стоялъ среди моря утесъ, крутой, холодный и молчаливый. Онъ былъ мертвъ и безстрастенъ. По его склону, залитому солнцемъ, быстро карабкался юноша, а по другому, покрытому тѣнью, тихо плелась черная фигура монаха. Выше и выше поднималось солнце, ближе и ближе подходили къ вершинѣ фигуры и, наконецъ, встрѣтились.

Медленно приближались они другъ къ другу и жадно смотрѣли одинъ другому въ глаза. Румянцемъ силъ и желаній горѣло лицо юноши, тихо колыхались его прекрасныя кудри, а синіе, какъ небо, глаза спрашивали о тайнѣ жизни. Бѣлымъ пятномъ на черномъ капюшонѣ выдѣлялось лицо старца и въ его безстрастныхъ глазахъ свѣтилась мудрость Бога.

Долго они молчали, долго тѣни ихъ недвижно лежали на глади моря и, наконецъ, старецъ сказалъ:

„Въ твоихъ чистыхъ очахъ я вижу великій вопросъ. Ты явился сюда узнать великія грани жизни и я тебѣ покажу

ихъ. Сейчасъ великое время развернетъ передъ тобой лики жизни и ты выберешь то, что тебѣ нужно... Смотри же!“..

Медленно поднялъ руку старецъ и медленно провелъ рукой по воздуху.

Исчезло море... исчезъ утесъ... исчезло солнце и тихо стала развертываться первая грань жизни...

II.

Это былъ прекрасный садъ, окруженный дыханіемъ синяго неба. Невдвижно стояли зеленыя пальмы, глядѣли въ высь темныя кипарисы... и молчали стройныя сосны... Они мечтали и мечта ихъ причудливымъ кружевомъ ложилась на зелень луговъ. Лишь изрѣдка пролеталъ вѣтеръ, заигрывалъ ласково съ деревьями и исчезалъ въ пространствахъ міра.

Нѣжно вздрагивали чистыя ландыши, беззаботно болтала о чемъ то рѣчка, а въ воздухѣ звучала нѣжная музыка блѣдно-голубыхъ колокольчиковъ.

Въ глубинѣ сада бѣлѣли стройныя колонны, нѣжно алыя цвѣты шиповника легкими гирляндами обвивали ихъ и терялись внизу среди моря ландышей.

Взявши другъ друга за руки стояли среди колоннъ юноша и дѣвушка. Сотканные изъ лучей эфира и невинности, они застѣнчиво глядѣли другъ другу въ глаза и гармонично звучала музыка ихъ словъ. Тихо повторяли ей колокольчики, безшумно рѣвали легкія нимфы. И счастье чистой любви благословляло, прекрасные образы влюбленныхъ...

А грань жизни развертывалась дальше и дальше... Высокій гротъ былъ залитъ разноцвѣтными огнями. Тысячами искръ переливались его огненно-красныя стѣны, высокой струей било пурпурное

ГРАНИ ЖИЗНИ

(Сказка)

(О. Е. Г.)

Твори, обновляй
Иль пади и умри!
Открой или руки о двери сломай.
Верхарн^{1}*

I

Бесконечное море недвижно лежало, молчаливо бесстрастное и ждущее. Не пенились гребни бушующих волн, не ревела могучая буря и не слышались зовы гибнущих. Море тихо лежало и смотрело в голубое небо, а небо молча купалось в безбрежных струях моря...

Начиналось утро жизни. Волны света бесшумно подкрались к земле, разлились золотыми струйками по лицу моря и брызнули каскадом лучей на весь мир. Зазвучала симфония жизни.

Одиноко стоял среди моря утес, крутой, холодный и молчаливый. Он был мертв и бесстрастен. По его склону, залитому солнцем, быстро карабкался юноша, а по другому, покрытому тенью, тихо плелась черная фигура монаха. Выше и выше поднималось солнце, ближе и ближе подходили к вершине фигуры и наконец встретились.

Медленно приближались они друг к другу и жадно смотрели один другому в глаза. Румянцем сил и желаний горело лицо юноши, тихо колыхались его прекрасные кудри, а синие, как небо, глаза спрашивали о тайне жизни. Белым пятном на черном капюшоне выделялось лицо старца, и в его бесстрастных глазах светилась мудрость Бога.

Долго они молчали, долго тени их недвижно лежали на глади моря, и наконец старец сказал:

– В твоих чистых очах я вижу великий вопрос. Ты явился сюда узнать великие грани жизни, и я тебе покажу их. Сейчас великое время развернет перед тобой лики жизни, и ты выберешь то, что тебе нужно... Смотри же!

Медленно поднял руку старец и медленно провел рукой по воздуху. Исчезло море... исчез утес... исчезло солнце, и тихо стала разворачиваться первая грань жизни...

II

Это был прекрасный сад, окруженный дыханием синего неба. Недвижно стояли зеленые пальмы, глядели ввысь темные кипарисы... и молчали стройные сосны... Они мечтали, и мечта их причудливым кружевом ложилась на зелень лугов. Лишь изредка пролетал ветер, заигрывал ласково с деревьями и исчезал в пространстве мира.

Нежно вздрагивали чистые ландыши, беззаботно болтала о чем-то речка, а в воздухе звучала нежная музыка бледно-голубых колокольчиков.

В глубине сада белели стройные колонны. Нежно-алые цветы шиповника легкими гирляндами обвивали их и терялись внизу среди моря ландышей. Взявши друг друга за руки, стояли среди колонн юноша и девушка. Сотканые из лучей эфира и невинности, они застенчиво глядели друг другу в глаза, и гармонично звучала музыка их слов. Тихо повторяли ее колокольчики, бесшумно реяли легкие нимфы. И счастье чистой любви благословляло прекрасные образы влюбленных...

А грань жизни разворачивалась дальше и дальше... Высокий грот был залит разноцветными огнями. Тысячами искр переливались его огненно-красные стены, высокой струей било пурпурное вино, а кругом бушевал дикий ураган.

Где-то шумно плескались волны, тревожный свист разносился в темноте ночи, и грохотал гром. На белоснежном ложе в водовороте страсти бились два существа. Черные волнистые волосы вакханки, украшенные ярко-красными розами и гроздьями винограда, рассыпались по всему пышному телу и прихотливо обвивали его... На ее смуглом лице осеннею ночью блестели черные глаза, полные знойной страсти и могучего порыва... Гибкая, как змея, и упругая, как натянутый лук, она держала в своих объятиях мускулистое тело прекрасного юноши. Могучими руками сжимал он ее, и, как два удава, сплелись их тела в нерасплетающийся узел. Алой струей лилась страсть из дышавших зноем губ. Бешено плескали волны пурпурного вина... Ревела буря. Сонм сатиров и нимф острым свистом прорезал дикий ураган страсти Диониса.

А грань жизни разворачивалась дальше и дальше...

Появились стогны городов с кучами отвратительных отбросов... Невыразимый смрад наполнял всю окрестность. Нигде не было зелени, дерева, цветка.

На кучах навоза лежали прокаженные и больные. Безволосые, с провалившимися носами, покрытые отвратительными струпами, они что-то невнятно гнусавили и корчились в невыносимых муках.

Грустный образ, одетый в траурный хитон, с бледным лицом, на котором скорбно сияли прекрасные очи, ходил от одного прокаженного к другому, нежно перевязывал их раны и целовал их струпья... Прокаженные плевали в его лицо, грозили остатками своих рук, а образ тихо шептал:

– Не ведают бо, что творят...^{2*}

А грань жизни развертывалась дальше и дальше...

В глубине подводной пещеры отвратительный осьминог протягивал свои щупальца к маленькой рыбке, не видевшей страшного чудовища. Как змеи извивались они, холодные, слизкие, все ближе и ближе подкрадывались к рыбке и готовились схватить ее.

Но вдруг блеснул меч, и... щупальца осьминога поплыли, уносимые морем.

Послышался дикий рев боли. Дрогнула пещера, и в страшных муках закорчилось чудовище. А меч поднимался и снова отсекал щупальца осьминога.

Яркой молнией гнева горели глаза Любви-мстителя, и огнем негодования пылало ее лицо.

Неслышно выползали гигантские спруты, тихо ползли крабы, и приближались отвратительные мечехвосты. Все ближе и ближе подползали они к бесстрашному мстителю... и, наконец, тысячами сжимов сжали и обвилились вокруг бесстрашного мстителя.

– Я погибла, но в этой гибели моя победа, – воскликнула Любовь и с улыбкой счастья умерла...

Картина исчезла...

Снова было море. Снова сияло солнце, и снова стояли старец и юноша на вершине утеса.

– Ты видел одну грань жизни, – сказал старец, – грань, которую люди зовут любовью и красотой. Хочешь ли ты ее?..

Юноша задумчиво смотрел куда-то вдаль и молчал.

– Я хочу видеть другие грани жизни, – сказал он тихо.

Снова поднял свою руку мудрый старец, снова исчезло море и снова стала развертываться новая грань жизни...

III

Неясно шумел старый лес. Мрачно качали своими ветвями косматые великаны и шептали друг другу какую-то тайну.

Густо переплелись мохнатые ели ветвями, нависли ветви до самой земли, да так и застыли. Разве только медведь изредка прорвет эти сети, да длинноухий заяц проскользнет между рамами сучьев.

На целые тысячи верст тянулся лес, и на тысячи верст раскинулись под ним болота.

Жутко было в этом лесу. Только лешие да звери жили в нем, человеку же не было в нем места.

Однако человек жил здесь. На высокой горе, в самой середине леса, было его жилище.

Каждое утро выходил он из дому, набирал дров и исчезал на весь день... Только вечером снова показывался он и снова исчезал на всю ночь.

Тихо шел он теперь по горе. Глаза его смотрели в одну точку, невидимую для других, но ясную для него. Быстро повернулся он к жилищу и быстро вошел к себе в комнату. Громадная бревенчатая комната сплошь была завалена ретортами, колбами и лампочками. На столе и на полу валялись листы бумаги, испещренные тысячами букв и знаков. Быстро сел он за стол, зажег какую-то лампочку, всыпал порошки в пробирку и поставил ее на огонь.

– Теперь или никогда, – шептали его губы.

Зачернела странная смесь, столбом поднялся зеленый дым, и через минуту на дне пробирки лежал кусочек черно-зеленого цвета...

Осторожно взял он его в руки, отрезал маленькую часть и вышел...

– Попробуем, – прозвучало среди леса...

– Попробуем, – ответило эхо...

Человек подошел к лесу, наклонился и... быстро поднялся обратно на вершину горы. Показался голубой свет. Дальше и дальше ширился он, и через минуту на месте леса была одна выжженная равнина. На сотни верст тянулась она, и одиноко стояло жилище среди этой равнины.

– Цель достигнута, – шептал человек. – Недаром брошено 20 лет, недаром прожито 20 лет жизнью зверей, недаром пережиты великие страдания. В моих руках теперь вся сила электронов, и я один совершу ту великую революцию, о которой так давно мечтает человечество. Великая справедливость отныне будет царствовать на земле...

Огнем воли сияли его глаза, и пустыня слушала его речь.

А лик жизни разворачивался дальше и дальше.

Громадный город замер. Не двигались толпы по его тротуарам, не звенели звонки трамваев, и не гудели свистки фабрик.

Везде было тихо и пустынно. Только в концах его главной улицы стояли два стана. Это были лагеря угнетателей и угнетаемых. Гордость виднелась на лицах угнетателей, негодование – на лицах угнетаемых.

Два громадных знамени развевались над городом, и эти знамена говорили: «За право», – знамя угнетателей. «За правду», – знамя угнетаемых.

Встало солнце, дошло до середины неба и спустилось под землю, а они все стояли и ждали. Наступила полночь. Среди молчания внезапно родился острый свист, пролетел и разрезал назревшую опухоль жизни. Торжественно и тихо зазвучали два гимна, вспугнули молчание и разбудили небо. Ближе и ближе под-

ходили лагеря друг к другу, громче и громче звучала музыка борьбы, раздался удар грома, и началась битва. Задымилась громадная здания, заиграли лоскутья пожара, и воцарился хаос. Падали люди, падали дома, и почернели знамена.

Долго шла эта битва. Быстро падали угнетаемые, слабее и слабее звучал их клич «За правду», и все сильнее становился клич «За право».

Но вдруг появился новый человек. Быстро ринулся он в пламя битвы, ветер разведал его огненный плащ, и далеко разнесся его призыв: «Да здравствует Правда!..»

Быстро протянул он руку. Бросил что-то в стан угнетателей. Раздался треск, и угнетающие пали, пораженные новым пришельцем. Раздался великий клич угнетаемых, и пало знамя угнетателей.

Гордо развевалось над городом знамя, гласившее: «За правду».

Но мало-помалу оно выцвело и заменилось новым. «За право», – гласило оно...

Однажды близ знамени играл маленький мальчик. На лоскутке бумаги рисовал он стоявшее знамя, выводил на нем «За право» и рвал его на куски, а старая нянька, сидевшая тут же, пела:

Богов разрушая
И вновь созидая...
Смеясь и рыдая...
Как бабочка мая
Идешь ты, идешь – неизвестно куда.
Так было, так есть и так будет всегда!

Мальчик вырезал себе новое знамя, нарисовал на нем звезды и написал: «За правду», а сам думал: «Когда я буду большой, я буду болотиться за правду».

Вдали вырисовывалось его будущее. Тюрьма. Голод. Страдания. Изгнание. Великое одиночество в пустыне и великое творчество Правды... Картина исчезла...

Снова вопрошал старец, и снова юноша просил показать новые лики жизни.

V

Развернулась новая грань жизни...

На вершине высокой горы стояла башня. Это была удивительная башня! В ней не было ни одной кривой линии, ни одного рационального изгиба, а вся она со всеми своими частями была создана из идеально чистых математических линий. Чудилось, что только великий архитектор, постигший всю тайну числа, мог создать ее.

Исчезая своим шпилем в бесконечном небе, она была великою осью, вокруг которой вращался весь мир... Тихо светила Полярная звезда, прикрепленная к шпилю этой башни, бесшумно вращались звезды, и недвижно стояла башня, далекая от людей... их страстей и тревог...

Ярко горел Сириус вверху башни и освещал ее внутренность.

Склоненный над листами пространства сидел там человек и что-то делал. Трудно было сказать, сколько ему лет, стар он или молод, грустит или веселится.

Видна была только громадная четырехугольная голова, в изгибе шеи чувствовалось упорство Сизифа, а в мускулах – сила Геркулеса.

Спокойной рукой чертил он на листах пространства какие-то странные знаки. Один за другим появлялись они и сплетались в гирлянды великой необходимости.

Время от времени поднимал человек свою голову, что-то делал со странной машиной, лежавшей перед ним, иногда задумывался и снова спокойно начинал выводить свои знаки на пространствах Космоса. По-прежнему спокойно было его лицо... никакое чувство не светилось в его глазах, и ни разу улыбка и печаль не посетили его губ.

Но вот он медленно поднял голову и встал.

– Наконец найдена последняя формула, раскрывающая всю жизнь Космоса, – тихо сказал он. – Вот здесь, в этом знаке, созданном мною, я вижу все прошлое, настоящее и будущее мира; каждый атом и каждая молекула, время и пространство замкнуты в ней, и великая сеть мысли держит их в своей необходимости. Стою я теперь выше мира и всю его жизнь держу в себе самом.

Твердые, как сталь, и жесткие, как камень, падали слова друг за другом.

– Логическая машина подтвердила безошибочность моих вычислений – значит, я прав. Теперь я могу переделать плохо созданный мир и установить в нем вечный порядок.

Он снова сел и взглянул на формулу.

– Великая формула говорит мне, что сейчас должны столкнуться Вега и неизвестная людям комета. Предотвратим катастрофу, – спокойно сказал он, подошел к одному из бесконечных винтиков странной машины и тихо повернул его.

Вспыхнула золотая сеть мысли на темном небе, протянулась ко всем звездам, связала их одной необходимостью и... Вега медленно поплыла по сине-темному небу, а комета остановилась и пошла по старой дороге назад.

А человек снова сел и снова наклонился над странными знаками...

Долго он сидел, долго чертил знаки и снова встал.

– План мирового переустройства готов, – раздались слова. – Теперь начнется его выполнение. Отныне не должно быть случая в мире, не должно быть ни одной катастрофы, ни одной жертвы. Слишком долго тешился мир этими игрушками. Слишком много жертв насчитывается в его прошлом. Он устал от жертв и хочет вечного порядка. Если он не хочет, то я так хочу. Мир достиг своего зенита во мне, и моя воля – его воля.

Нет пути к прошлому, и нет больше места для творчества времени. Я заключаю его в узы моей мысли и устанавливаю вечный и неизменный закон истины, правды и красоты...

Снова заработали винтики. Миллиарды раз вспыхивала на синем небе золотая сеть мысли, и каждый раз звезды меняли свои пути, а атомы распадались и появлялись в новых сочетаниях.

Мир преобразился... Он достиг своего зенита и родился для новой жизни. Зазвучала торжественная симфония. Она ширилась и крепла, а человек, пересоздавший мир, спокойно смотрел на великое дело свое. Долго он смотрел и наконец сказал:

– Теперь осталась последняя задача: последняя для меня и последняя для мира. Я должен дать формулу самого себя. Формулу, обнимающую мое прошлое, настоящее и будущее.

Снова спокойно сел он и начал выводить таинственные знаки... Звезды бесшумно вращались по новым путям, а мир пел торжественную песню...

Картина исчезла.

Снова старец и юноша стояли на утесе, и снова старец вопрошал юношу:

– Юноша, принимаешь ли этот лик жизни, который люди зовут истиной?

И снова юноша тихо ответил:

– Покажи мне другие лики жизни...

Исчезло море, исчез утес, и появилась новая грань жизни...

VI

Человек сидел за утренним кофе и читал газету... Он был не слишком толст и не слишком тонок, среднего роста, с едва заметной плешью на голове. Общество его уважало как честного общественного деятеля, поэты считали его «своим», а ученые не раз цитировали его «труды».

В столовую вошла жена.

– Знаешь что, – обратился он к ней, – моя вчерашняя речь произвела впечатление. Газеты находят ее недурной.

– Очень рада, – ответила та.

Человек допил свой кофе и встал.

– Ну, я еду... Прощай...

– Ты в парламент...

– Да. Сегодня я выступаю с запросом, почему нарушена старая такса в общественных банях и столовых.

– Желаю полного успеха.

Человек вышел.

В парламенте шло бурное заседание. Судьба министерства зависела от решения запроса о банях и столовых. Лучшие силы выступали с обеих сторон:

обвиняемой и обвиняющей. Тишина наступила, когда начал свою речь человек, горячо и долго говорил он об ошибках министерства, о нарушенных правах общества, и гром аплодисментов не раз прерывал его речь.

Министерство пало, а вечером чествовали человека его друзья и поклонники.

Снова был день, и человек сидел в своем кабинете. Потный и запыленный, он рылся в заплесневевших листах старых фолиантов и делал длинные выписки.

Долго он рылся и наконец сказал:

– Да, я сделал новое открытие и справедливо могу гордиться им. Моя гипотеза о том, что Нерон имел черные волосы, а не рыжие, подтверждается вполне. – И человек пошел с радостной вестью к жене.

Прошло несколько дней, и «историческое общество» объявило, что им «устраивается чествование своего почетного члена – человека, оказавшего великие услуги делу развития истории».

Через несколько дней человек снова сидел в кабинете и читал местный отзыв о своей книге стихов. Их находили новыми, талантливыми и удивлялись его многообразной деятельности.

Человек, довольный, задумался. Счастье улыбалось ему всюду: в науке, в искусстве и в общественной работе. Многие девушки и стройные дамы не раз кидали ему многообещающие взгляды.

Он тихо мечтал и счастливая улыбка играла на его губах.

Картина исчезла.

Опять старец и юноша стояли на вершине утеса, и опять старец спрашивал юношу:

– Юноша... принимаешь ли ты этот лик жизни?

– Нет... не хочу... – ответил юноша.

– Ты видел все грани жизни, что же берешь ты?..

– Я хочу три первые грани, но четвертой мне не нужно...

– Ты слишком многого хочешь, юноша. Человек не Бог и не может объять бесконечность. Великая Мойра^{3*} предоставила тебе только одну из этих граней. Если же хочешь ты все, выбирай последний лик, имя которого Всё–Ничего...

– Я хочу Всё, но не хочу Всё–Ничего...

– Это невозможно.

– Я расскажу тебе сказку, старик, – сказал юноша. – Однажды, маленький, я качался в люльке, а добрая фея пела мне песню... Песню забыл я, но припев ее помню:

Не купайся в грязной луже
И не пей неполный кубок...
Если пить, так пей ты полный,
Полный чистого вина...
Если плавать ты захочешь,

То бросайся смело в волны,
В море синее без дна!..
А то будет только хуже,
В грязной луже,
Только хуже!..
В жизнь играя, ставь ты ставку
Иль на Всё, иль на Ничто...
Если Всё ты взять не можешь...
Так бери себе Ничто!..

– Так гласил этот припев. Песню забыл я, но запомнил припев, и вот хочу я Всё!..

– Этого Рок не хочет, – ответил старик.

– Тогда хочу я Ничто, – ответил юноша. – Пусть моя воля будет равна воле Рока! – тихо вымолвил он и бросился в море...

– Еще погиб один великий безумец, – тихо промолвил старик, – и много еще их погибнет!.. И никто не знает, обнимут ли они когда-нибудь все лики жизни, – добавил он и медленно начал спускаться с утеса...

Бесконечное море лежало молчаливое, бесстрастное и ждущее. Не пеннись гребни бушующих волн, не ревела могучая буря, и не слышались зовы прекрасного юноши.

Солнце скрылось за зеркалом моря, и ночь обнимала землю. Было тихо. Начиналось царство молчания...

ANNALES CONTEMPORAINES

СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛЪ,

издаваемый при ближайшемъ участіи:

**Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка,
А. И. Гуковского, В. В. Руднева.**

XV
II

1923

ПАРИЖЪ

Титульный лист журнала «Современные записки»

НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ

...«В четверг на пароходе из Вологды выезжает Чайковский^{1*}. Постарайтесь сесть в тот же пароход и выезжайте вместе с ним в Архангельск. Разрешения на въезд в Архангельск будут высланы обоим или в Котлас, или в Усть-Пинегу», – так гласила телеграмма, полученная мной в Великом Устюге в конце июня 1918 г.

«Нечего сказать, хороша конспирация, черт бы побрал их», – подумал я, прочтя телеграмму.

Телеграмма была адресована на мое имя, ее смысл был ясен для всякого дурака, и в моем полулегальном положении она могла быть прямой уликой...

После Петропавловской крепости (январь-февраль 1918 г.) я полтора месяца провел в одном городе, с конца апреля до начала июня – в Москве, а в июле выехал в В. Устюг – на мою родину – в связи с подготовлявшимся переворотом и высадкой союзников в Архангельске^{2*}.

Район Устюг-Котлас, где было сосредоточено множество снарядов, ввиду этого факта и предполагавшегося Восточного фронта, приобрел огромное значение. «Подготовительных дел» было более чем достаточно. Мой приезд туда сразу же заставил большевиков насторожиться и взять меня в «поле исключительного внимания», а это, в свою очередь, заставило меня перейти на почти нелегальное положение... – «Надо ехать».

В назначенный день я благополучно «погрузился» на пароход, значительно преобразив свою внешность. «Преображенным» оказался и Н.В. Чайковский. Великолепная борода и длинные волосы были подстрижены. Быстро информировали друг друга и пустились в путь.

...Котлас... Разрешений на въезд в Архангельск, конечно, нет... «Недурно...» Едем дальше... «Авось будут в Усть-Пинеге». Из кают стараемся не выходить. Особенно трудно мое положение, так как масса народу знает меня в лицо. Пойдут расспросы: «Куда, да зачем, да почему», догадки да гипотезы, и в итоге по российской глупости эти добрые люди начнут болтать, дело дойдет до ушей народных комиссаров, а оттуда – движение одно: прямо в пасть к Кедрову^{3*}, в «массовом масштабе» отправлявшему тогда на тот свет «врагов народа» в Архангельске.

Вечер... Чудесная погода. Сидим на корме с Н.В. Чайковским... «Ваши документы», – подходят господа комиссары... Вынимаем и даем. Там прописано,

что мы отправляемся на исследование сельскохозяйственных артелей и коммун... На «мандате» – ни печати, ни штампа какого-нибудь большевистского учреждения... Одна надежда, при безграмотности комиссаров, на слово «коммуна». Авось вывезет... Вопрос... другой... отвечаем и врем «применительно к обстоятельствам»... Недоверие комиссаров видно на их лицах, но... «коммуна» спасает. Уходят... «They smell the rats»^{4*}, – шепчет мне Н.В. Чайковский.

Через двое с половиной суток Усть-Пинега... Высаживаемся. Маленькая, бедная деревушка в 70 верстах от Архангельска. Идем на почтово-телеграфное отделение. Разрешений на въезд нет и тут...

– Ну и публика... разрази их Господь.

Шлем телеграмму... Остаемся сидеть у моря и ждать погоды, т.е. какого-нибудь ответа или разрешения. Положение не из приятных. На пристани – два матроса – большевистских представителя. Добыть пищу трудно. Ею богаты только эти матросы. Подходят к нам, опять требование документов... вопросы... Врем опять «применительно к обстоятельствам...». Проходит день – ответа нет. На другой день разрешение для Н.В. Чайковского приходит. Он уезжает. Условились, что немедленно по приезде он даст мне знать, что делать... Пройдет, значит, еще двое суток...

Мое положение становится довольно щекотливым... В Пинегу один пароход уже прошел, а я, отправляющийся на исследование артелей, туда почему-то не еду и неведомо зачем торчу на пристани. Плохо дело и с пищей... Надо выходить из затруднения. Решилось – «на ура». Перестаю избегать матросов и явно стремлюсь поближе познакомиться с ними. Выдумываю правдоподобное объяснение моего поведения, вру изобретательно и, по-видимому, удачно... Скоро оказываюсь на дружеской ноге с ними. Приглашают выпить и закусить... Рассказывают о себе, о своей революционности, своих «подвигах»... Живут недурно. У каждого по две любовницы, вдобавок «много девок перепортили тут», говорят усть-пинезцы. Сыты и даже... частенько выпивают... Словом, хорошо защищают «общенародные интересы», «всеобщее равенство» и «братство».

Временами меня коробит от всего этого, но... «назвался груздем – полезай в кузов». Роль приходится выдерживать до конца...

...Дни стояли чудные... Могучая Двина сверкала и голубела. Гуляю... Купаюсь... Во время купанья чуть не налетаю на труп утопленника. Осматриваю старую, XVII века, часовню... Время идет...

На третьи сутки приходит, наконец, желательная телеграмма: «Груз запаздывает прибытием. Продолжайте исследование коммун». Это значит – английский десант запаздывает, будьте осторожны и возвращайтесь в Котлас–Устюг».

Пароход идет туда только через полтора суток. Посылаю условный запрос в Устюг, все ли благополучно. «Цены старые, не поднялись и не пали», – гласит ответ, полученный на следующий день...

С ближайшим пароходом я выехал обратно в Устюг и благополучно добрался до «места учительства»...

С этого момента мне пришлось перейти на вполне нелегальное положение, тем более трудное для меня, что в Устюге и окрестностях чуть не все поголовно знали меня в лицо, с другой стороны – приходилось видеться со многими людьми в связи с подготовкой переворота на Севере... С течением времени у нас более или менее подготовлено было все, чтобы в случае «контрреволюции» в Архангельске и отступления большевиков быстро ликвидировать местную власть и наладить организацию новой правительственной машины.

Приняты были меры и к тому, чтобы не дать большевикам при отступлении взорвать склады снарядов и оружия в Котласе... Предполагалось даже, что незадолго до переворота в Архангельске я, получив подложный пропуск, выеду туда. Между тем с приближением момента переворота большевики начали ту же и ту же завинчивать пресс террора. Расстрелов еще не было, но число арестов и обысков росло... Стягивались «красные силы», чувствительнее давала знать о себе «чека». Устюг явно принимал вид прифронтной полосы...

Мы, т.е. группа главных «заговорщиков», держались. Собирались в лесах, в деревнях, меняли места своего пребывания, организовывали «военный кулак», распределяли роли, тщательно разрабатывали план действий и... ждали... Мы ничуть не сомневались в том, что с местными красными силами мы справимся. Другой вопрос – если нагрянут новые силы...

...По слухам, как будто день переворота в Архангельске уже близок. Но... странно... точной информации мы до сих пор не получаем... Нет никаких указаний на образ действия, которого мы должны держаться. Нет и приказа с пропуском для меня... В чем дело? Слухи неверны? Или... причина в обычной нашей бестолковости? Увы! Потом оказалось, что верна вторая гипотеза. Пропуск и приказ ехать в Архангельск я получил, но... уже после переворота, когда образовался на Двине фронт и пропуск был абсолютно бесполезен.

Наконец в конце июля (по старому стилю) признаки неминуемого переворота стали ясны. Об этом мы получили данные из большевистских кругов... Об этом уже говорила возросшая «нервозность» местных властей, наконец, факт массового ареста местных граждан в качестве заложников.

Начиналась «эвакуация». Власти перешли на пароходы, стоящие под парами. Туда же стали свозить деньги и другие ценности. Туда же помещены были и заложники... Наш бродячий «штаб» был пока что цел и невредим...

В ночь на шестое августа (если память меня не обманывает), когда я лег уже спать, раздается стук... входит один из «заговорщиков» и сообщает, что «большевистская армада», свергнутая в Архангельске, на 12 пароходах приближается

к Устюгу, что один из «заговорщиков» арестован и что в интересах безопасности лучше выйти в лес и к утру собрать туда членов «штаба». – Есть...

Выходим... Он идет извещать одних членов, я – других... К утру собираемся. «Пришествие армады» в Устюг – факт несомненный... Сами видим ее своими глазами...

Что делать? Целесообразность той или иной тактики зависела от общего положения дел в Архангельске, от планов, намеченных там, от величины сил, низвергших большевиков, от близости их к Устюгу – словом, от того, как дело обстоит там... И хоть бы одно точное сообщение оттуда! Хотя бы одно указание на планы и на то, что мы должны делать! Ничего! Ни звука! Молчание в течение двух-трех недель! Обменялись мнениями. Одни рекомендовали «начать», другие – «выжидать». Разошлись с тем, чтобы собрать за день более точные сведения и вечером собраться снова.

За день выяснилось лишь одно: что «армада» в панике, что она значительно дезорганизована. Но где, как далеко «наши» – сведения были самые разноречивые. По одним слухам – они где-то около Устюга уже («англичане!», «канонерки!», «преследуют по пятам!» и т.д.), по другим – где-то около Березника на Двине, по третьим – не выходили из Архангельска.

Днем в убежище ко мне прибегает один из служащих одного парохода «армады»...

– Ради Бога, удирайте куда-нибудь из Устюга. Вас хотят захватить с собой и по дороге расстрелять!

– Спасибо. Это я и так знаю... когда нужно будет, удержу...

Собрались вечером снова... Решили выжидать... Силы наши были слишком малы по сравнению с «армадой». Допустим даже, благодаря ее дезорганизации переворот удастся. Ну, а дальше что?

Если скоро подоспеет помощь из Архангельска («англичане!», «канонерки!», «десятки тысяч солдат!»), все будет обстоять благополучно. А если она запоздает, если не придет совсем («о, этого не может быть!» – говорил один из членов), если вдобавок, как стало известно, Троцкий из Вологды направляет уже свежие силы – тогда что? Очевидно, мы будем сдуты, взятые заложники будут немедленно расстреляны, ничего, кроме массы жертв из среды неповинного населения, не получится – словом, будет вредный «бум» и только...

Решили выжидать... Все мы думали, что не сегодня, так завтра архангельская армия непременно явится... Многие рисовали восхитительные картины вступления их в город, речи, звон колоколов, моментальное очищение района Архангельск–Котлас–Устюг–Вологда, а там Ярославль, от Ярославля до Москвы – рукой подать, а там – новая власть, умиротворение и воссоздание России...

...Любим, любим мы фантазировать... Наиболее национальным произведением нашей литературы надо считать басню о мужике и зайце, пока мужик фантазировал – заяц удрал и унес с собой все богатые фантазии мужика...

- А если не придут?
- Быть этого не может. Весь вопрос – во времени!
- Очень даже может...

И действительно, дальше Березника (верст 300–400 от Устюга) «архангельцы» не пошли...

Слава Богу, что «бума» мы не произвели, хотя... все верили, что через день-другой освободители явятся...

День-другой прошел – их нет. Прошла неделя – нет. Но вера не исчезла, особенно вера в... англичан, в их обещания и помощь... Не можем мы без этой веры в какого-нибудь чудотворца или «волшебного принца» – непременно иноземного, из тридевятого царства, из тридесятого государства...

Прошла неделя. Картина резко изменилась... Растерянность армады прошла. Прибыли новые красные силы. Устюг–Котлас превратились в прифронтовую полосу. Аресты пошли пачками. Начались расстрелы... О низвержении больше не приходилось думать...

Эту неделю мы скрывались, меняли места, не теряя связи друг с другом. Отправились даже «рыбачить» на одну отдаленную дикую речку верстах в 30 от города. Там было безопасно. «Проведем тут 5–6 дней, авось за это время кое-что выяснится...»

...Прошли эти 6 дней. Ничего нового. По-видимому, из Березника «освободили» и не думают двигаться дальше... Новые аресты... Террор... Латыши... Приходилось думать не о нападении, а о спасении. Порешив еще выждать два-три дня, мы разбрелись по разным деревням.

Большинству в город показываться было нельзя... спасение видели в том, чтобы пробраться к Архангельску – такова была общая мысль. Увы! Только двоим удалось это сделать благополучно. Остальные «заговорщики» почти все погибли. Многих из них при выходе из леса я видел в последний раз...

Я направился в одну деревню к приятелю-мужику... Побыл я у него два дня и перебрался в другую... Из этой другой – в третью... Так началось мое «кружение».

...Скверное дело – жить нелегально по деревням... Как новое лицо, вы сразу же обращали на себя внимание. В условиях гражданской войны всегда найдутся в деревне один или два «врага», которые донесут о вас куда следует... Кроме того, многие «по простоте душевной» разболтают о вас соседу, тот – другому, и... пошла писать губерния.

Теперь, вспоминая это время, не могу не принести глубокой благодарности ряду деревенских «Иванов», бескорыстно и с риском для себя старавшихся спасти меня и помочь мне...

...Переменял две деревни. Наконец, забрался в глухую из глухих. Я для всех, кроме хозяина, питерский инженер. Приехал отдохнуть и подкормиться.

Живу пять дней вместе с женой и приятелем. Как полагается городским жителям, гуляем, собираем грибы, а в избе – читаем Загоскина и томик «Римской истории» Момзена. Пока все благополучно... Жена и приятель на 5-й день уходят... Я остаюсь и собираюсь провести еще несколько дней... Вечером приходит человек и сообщает, что надо сниматься. Не сегодня-завтра придут. Перебирайтесь в деревню X (верст за 20). Адрес крестьянина дадут в соседнем поселке (верст за 10). Но туда попадайте под вечер, чтобы никто не видел...

Ладно... Придут – не придут, а надо быть начеку, чтобы не попасть в чеку... Забрался ночевать в баню...

Среди ночи слышу шорох... кто-то осторожно крадется... Черт возьми! Вскрываю, схватываю револьвер... осторожно выползаю и тихонько бегу к лесу... «Значит, пришли!» Но странно, никто не гонится за мной...

Утром выяснилось, что тревога моя была ложной... Вокруг бани был картофельный огород... Кто-то захотел подворовать его, испугал меня, а я, по-видимому, его...

И все же, как показал тот же вечер, осторожность бывает нелишней...

С утра я снялся и побрел тихонько к деревне, где мне должны были дать адрес... Времени у меня было – «пропасть».

Надо было ждать до темноты... Я убивал его, как мог. Дорога, по которой я шел, была лесная. Забирался и лежал в лесу, собирал ягоды, наконец засел у муравьиной кучи и занялся наблюдением коммунистического общества муравьев... Ясно, что им коммунизм удался... Общественная жизнь великолепно налажена. Выстроен такой колоссальный коммунистический дворец, до которого далеко всем египетским пирамидам, греческим и римским храмам, Собору Петра и Эйфелевой башне... Вот у кого следовало бы поучиться нашим коммунистам!.. Долго я возился около кучи. Проверял ряд утверждений Брема, Фабра, В. Вагнера^{5*} и других биопсихологов; изучал способы совместной работы этих коммунистов, характер их рефлексов на разные раздражители и т.д. Полезное занятие! И в подходящий момент! Но цель все же была достигнута. Время прошло...

Тронулся дальше... пошел дождь... Подхожу уже к деревне... Вдруг слышу голоса... По привычке отступаю шага на два от дороги и ложусь за первый ряд елок...

– Что же, ячмень у вас уже сжали? – спрашивает кто-то...

«Э-э... значит, не местный человек, и выговор городской, а не деревенский. Осторожнее...» – проходит в голове.

– Начинают жать, – отвечает женский голос...

Слышу мерные, отбивающие такт шаги и через минуты две вижу через елки шесть или семь солдат-латышей с ружьями и в походной амуниции...

«Не за мной ли?» Лежу, как мертвый...

Да, больше не за кем. Тропинка эта ведет только к моей деревне, где я был... Очевидно, за мной... Ну, брат, счастлив твой Бог, говорю я самому себе. Иногда три шага буквально спасают жизнь.

Осторожно встаю и начинаю думать. Тихо... Откуда-то доносятся бубенцы мирно пасущихся коров, из деревни – лай собак, блеянье овец... Чу! выстрел! Ясно, что в деревню идти нельзя. Вероятно, там осталась часть отряда, подведешь себя и других. Надо выждать...

...Дождь тихонько моросит и моросит... Становится холодно... да и голодно... Развести огонь нельзя, и ходить нельзя: шуршанье хвороста и треск ломающихся под ногами сучьев будут слышны в деревне, могут навести подозрения, а потому... делаю гимнастику на месте, приседаю и поднимаюсь, приседаю и поднимаюсь... Согревает...

Часа через три слышу снова топот и голоса... Возвращаются «охотники за головами».

«Прошел... Ну, да ладно... Все равно не уйдет», – говорит кто-то... Тот же мерный, даже на этой тропинке, шаг. «Революционный держите шаг... Неугомонный не дремлет враг...»^{6*}

«Тут не очень-то задремлешь...»

Пошли...

Что делать? План расстроился. Решаю выждать еще часа два и двинуться в другую сторону, к знакомому крестьянину.

Продрогший и голодный, под утро осторожно выбираюсь на дорогу и шагаю...

Дед Афанасий живо снарядил сына верхом в город с моей запиской, накормил меня и отправил спать на «повить».

Несмотря на то, что две ночи я не спал, сон не приходит: лежу в мокрой одежде, как на компрессе. Лихорадит...

Около 7 часов сын возвращается. Записка жены гласит: «Будь в 12 часов ночи в лесу, около городского кладбища... Есть помещение».

До города 30 верст... Надо пройти их в 5 часов^{7*}. Быстро переряжаюсь: надеваю лапти, рваный пиджак и картуз, фартук, за спину – лоток (так одеваются крестьяне) и пускаюсь в путь.

Было без 2 минут 12, когда я оказался в условленном месте... Никого...

Пробило 12 часов и – «граф Монте-Кристо явился в “условленное место”», – негромко произношу я... Кашель...

Из-за деревьев выходит жена и еще один мой друг...

Рассказывают, что около кладбища есть нежилая лачуга. Если быть осторожным, то там можно пробыть некоторое время. Пища и войлок для спанья

приготовлены. Кашлять громко нельзя. Рядом два дома, могут услышать и догадаться.

Идем... Осенние ночи – темные. Мне это на руку. Вхожу... вернее, вползаю. Дверь за мной запирается – и я на новой квартире.

Малюсенькая, полуразвалившаяся лачуга. Настолько низкая, что я не могу выпрямиться. Нашупываю войлок и растягиваюсь...

Глупые мысли нестройно и безалаберно наполняют «поле сознания»... Мелькает: «Вот она настоящая-то революция... враг народа... братство... жирондисты^{8*}... тоже спасались по пещерам... Жан Вальжан^{9*}... кладбище и мертвые рядом... совсем недалеко от меня место расстрелов...» Все это скачет, путается и наконец куда-то проваливается... Я засыпаю тяжелым сном...

...Утром оглядываюсь... Да, кашлять действительно нельзя... Совсем близко два дома... Смотрю – заботливой рукой припасены две книжки и газеты. Слава Богу! А то лежать и лежать без конца скучно... Кроме того, холодно... На досуге начинаю думать о выходе... Что там в Архангельске? Двинутся они или нет? Куда идти?

Обмозговав вопрос со всех сторон, прихожу к выводу, что всего лучше направиться через Лузу в Зырянские края. По этому тракту меня меньше всего знают, в Зырянах я найду убежища, а оттуда – через Печору или Мезень можно будет добраться и до Архангельска.

В такой обстановке я пролежал еще два дня и одну ночь, но заснуть почти не мог. Следующей ночью выбрался и прокрался на квартиру жены. Наскоро выпил чаю и снова вышел в лес около города. Жена пошла провожать меня...

Шел дождь. Настроение было не из веселых. Какой-то круг смыкался вокруг меня, я кружился в нем, но выхода не было...

Тревоги жены и друзей еще тяжелее моего. Упросил жену идти домой обратно... Снова один... Дождь, дождь и без конца дождь...

Лесок за две-три недели оказался сильно вырубленным. Присел на пень... Спать не могу... Да, «неугомонный не дремлет враг». Утром появляются в лесу люди: грибники, дроворубы и еще черт знает кто... Какой-то мальчишка, как мне казалось, упорно ходит за мной. Я делаю вид, что рублю деревья (топор был со мной), меняю место, но мальчишка не отстает. Шпик или нет? Бессонные ночи, дождь, холод, тяжелое положение, тревоги близких, слезка – все это до того обессилило меня в это утро, что в конце концов мне стало безразличным: расстреляют так расстреляют. Эка важность! Я махнул рукой на все и спокойно пошел на квартиру к одному знакомому, жившему на краю города.

Мой вид, должно быть, был не из важных. Он заботливо дал мне чаю со спиртом и устроил спать в бане...

Я заснул, и заснул крепким, здоровым сном... Вечером меня остригли наголо, преобразили и направили на сравнительно безопасную квартиру к одному

близкому знакомому. Он предусмотрительно приготовил мне обиталище в промежутке между крышей и потолком, в глухо заколоченном помещении.

Здесь на медвежьих шкурах я возлег и пролежал двое суток. В комнаты сходил только ночью...

Времени для размышлений было более чем достаточно. Читать в темноте было нельзя. Стоять и даже сидеть – тоже. От нечего делать я стал обдумывать механику человеческого поведения и теорию «детерминаторов»^{10*}. Вот я лежу тут вторые сутки... Это – определенный комплекс рефлексов. Где «независимые переменные» этой «функции», какой «детерминатор», какой черт или ангел загнал меня сюда и заставляет изображать на медвежьих шкурах медведя в берлоге?

Из ночных разговоров узнаю, что сходный образ жизни ведут и другие «заговорщики». Положение всех их – не блестящее...

Узнаю и другое: Студент Двужильный, бедняк из бедняков, схвачен в одной деревне латышами и расстрелян как «буржуй» и «враг народа»^{11*}...

...Так...

Общее мнение остальных «заговорщиков» – двигаться лесами к Архангельску...

После двух дней лежания рано утром выхожу из Устюга и иду в деревню к одному знакомому (ныне благополучно пребывающему за границей). Он тоже спасается там... Но, увы, и его «бест»^{12*} оказывается висящим на волоске... «Не сегодня так завтра, вероятно, придут», – спокойно заявляет он. – «Что же, в леса?» – «Да придется». – «Когда?» – «Не знаю». – «Завтра, – решаю я. – А сегодня давай готовить провизию и амуницию». – «Ну, чего торопиться?» – «А чего сидеть тут?» – Соглашается...

Принимаемся за подготовку к лесной жизни. На неделю примерно наскребли провизии, главным образом муку, лук и картофель. Есть ружье, топор, котелок и чайник. Припасли иголки и нитки. Несколько книг. По паре лаптей. Наконец, приятель догадливо запасается куском парусины для себя и меня – «спальные мешки»... Удалось наладить и почту: один из знакомых крестьян согласился быть почтальоном между нами и Устюгом.

Ночь провели в овине. На другой день в 12 часов дня выступили в леса, а в 6 часов вечера прискакал в деревню отряд «охотников за нашими головами». Но наши головы пока еще нужны были нашим плечам.

Лес!... Лес на сотни верст!.. 30 верст до ближайшей деревни. После подавленности – чувство свободы... После опасений – чувство безопасности... Дурачки веселое настроение охватывает нас, и мы начинаем орать во все горло...

Глупо, конечно... Но да здравствует глупость...

Так началась наша лесная «робинзонада».

Поселились мы в одном из лесных шалашей, сделанных охотниками. Над головой была крыша, по бокам – подобие стены, под нами – мох, трава и «спальные» мешки, освещение и отопление – костер, водопровод – лесной ручей – словом, комфортабельно и дешево... Места кругом – великолепные... Только осенний дождь немного портит картину...

Время шло незаметно. Рубка дров, варка пищи, неудачные попытки охотиться, собирание грибов и ягод, разговоры, чтение и писание записок и «наблюдения за муравьями» заполняли досуг...

Пять дней провели отлично... Отдохнули и освежились... Но запасы пищи стали близиться к концу. Да и пора было узнать «новости». Решили: в этот раз выйдет в свою деревню мой компаньон, следующая очередь – моя. В пятницу утром он отправился, к утру воскресенья должен вернуться. Если до 12 часов не вернется – значит что-нибудь стряслось с ним...

...Прошла суббота, вот и воскресенье, вот и 12 часов – приятеля нет... Неужели влопался^{13*}?.. Жду еще час-другой... Нет и нет... Плохо дело... Нашел с пяток рыжиков, сварил их, «пообедал», закусил брусничкой, забрал самое необходимое, остальное припрятал и двинулся... Прошел верст пять... Вижу – впереди фигура... «Он или не он?..» Подхожу ближе... Смотрю – он... Но, Боже мой, в каком виде! Босой, без штанов, в одной разорванной рубахе.

– Чудотворец! Где пропил штаны и сапоги?

– В Двине, – превесело хохочет он. – Такая, брат, попойка была, что ой-ой-ой!..

Поворачиваем обратно. По дороге он рассказывает свои приключения. В пятницу вечером он добрался до деревни... Достать провизии оказалось невозможным: у самих крестьян ничего нет. Ночью переправился на тот берег реки, к одному знакомому крестьянину.

– Попили чайку, поужинали, приготовили провизию, все честь-честью. На ночь я забрался в баню и, как полагается порядочному человеку, снял сапоги.

Только стал засыпать – слышу что-то неладное... Кто-то стучит в двери избы... «Эй, товарищ, открывай!» Вижу, дело ясное... Сгреб сапоги – и айда в лесок... Мне бы, дураку, тут же переправиться обратно... Но как уходить без провизии? Да и проверить надо, чем кончилась история... Решил погодить. Под утро, думаю, узнаю...

Утром он попробовал выйти на разведку, но... с опушки леса увидел трех оседланных лошадей около крестьянской избы. Значит, не ушли еще... Вернулся, прошел лесок, вышел на берег Двины и пошел вдоль берега, пока не найдет какую-нибудь лодку... (нужно сказать, что почтовая дорога идет здесь вдоль берега).

– ...Иду это я... оглядываюсь и вдруг вижу... Едут. Что делать? Лодки нет, вблизи никакого леса – капут да и только... Пресвятая Богородица, выручай... Одно спасение – другой берег. Живо скинул с себя сапоги, пиджак, штаны и... в воду. Ну, брат, и холодна же!.. Думал, окоченею... Но ничего... Переплыл... На берегу лес... Забрался туда, высидел до ночи... ночью двинулся, заблудился в темноте и вот только сейчас добрался, – весело рассказывал он.

– Ну и дела...

Переночевали и на другой день, голодные, двинулись к деревне. Решили добыть провизию и перебраться с бассейна этой речки в бассейн другой, текущей параллельно... Надо было заметить следы...

Дождь... Опять то же выжидание темноты в лесу около деревни... Потом опасная и осторожная разведка...

Перепуганный нашим появлением Степан – дядя моего приятеля... «Шептограмма» о двух красногвардейцах, поселившихся в деревне... обещание приехать утром к леску якобы за дровами и выбросить мешок с провизией... Получаем по куску хлеба и уходим. Мы снова в лесу около деревни...

С жадностью проглатываем хлеб... Тихонько перешептываемся. А дождь льет и льет. Холодно, и хочется спать... Но огня зажечь нельзя и спать негде... «неугомонный не дремлет враг»...

Вот, наконец, и утро... Степана нет... Уходить нельзя, а надо: в лесу появляются люди... Ругаем «родственничка» на чем свет стоит... Наконец около 12 часов дня слышится условная матерщина по адресу лошади... Мешок с провизией прибыл. Забираем его, раскладываем по своим мешкам... Фунтов пять муки, остальное – пуда три картофеля... «И то хлеб».

К вечеру направляемся в бассейн другой реки. Дождь льет как из ведра... Становится темно... Дороги мы не знаем и двигаемся наугад... Идем час-два-четыре... пять...

Речки нет и нет... А давно бы уж пора ей быть... Ходьба по лесу, по болоту, по грязи и лужам, дождь, без сна проведенная ночь, тяжелые мешки (пуда по 2 с лишним на брата) – все это доводит нас до крайней степени усталости. Все же пытаемся двигаться... Падаем и поднимаемся... Попадаем на какой-то лесной луг и здесь окончательно выбиваемся из сил... У меня – кровавый понос... Спутник при неудачном падении ушиб себе ногу. На наше счастье натыкаемся на стог сена: очевидно, попали на один из лесных сенокосов... Пытаемся зажечь огонь и сварить кипяток... Все мокро, и ничего не выходит... Ну, и черт с ним... Спать...

Кой-как втискиваемся в стог и засыпаем...

Утром, на рассвете, вылезаем и двигаемся дальше... Часа через три останавливаемся и устраиваем себе обед и отдых... А затем снова в путь, дальше от деревень и людей, дальше от потока революционных событий, в дикие и глухие просторы тайги, куда редко ступала нога человека. Мы на «лоне дикой природы»...

Месяц с лишним провели мы в этом безбрежном лесу, перебираясь с одного места на другое... Было много лишений, были и свои радости... Осенняя погода, впрочем, делала последние редкими... Почти постоянно мы были мокрыми. Спали на земле, устроив себе подобие шалаша из веток, бересты и пихтовой коры... Отмечу деталь: сон наш был богат сновидениями. Я почти каждую ночь разгуливал по Архангельску, Лондону или Парижу... Просыпался и – увы! – находил себя все «в той же позиции»^{14*}. Временами приходилось тяжело... Временами – недурно... Помню до сих пор один день «удовольствий»... Узнав, что на одном из притоков этой речки есть подобие настоящей лесной избушки с очагом из камней, мы направились в этот «отель»... Путь был не из легких: по колено увязая в болоте, часто проваливаясь по пояс, мы полторы суток добирались до нашей гостиницы... Никогда не забуду одного болота по дороге, «сплошь красного» от клюквы!.. Вода в нем была до того ледяной, что в течение 3-х часов перехода мы перестали чувствовать свои ноги. Они превратились в какие-то ледяшки... А когда снова попали в обычное болото, тоже не из теплых осенью, то вода его показалась нам теплой ванной... Все относительно на этом свете!

Зато и праздник же устроили мы в избушке!.. Натопили «каменку» докрасна, засушили травы, разделись и возлегли в этой «турецкой бане»... Лежим... Вдруг смотрим: утка. Прилетела и села на речку, прямо под нашим носом... Мой приятель схватывает ружье и стреляет. Утка убита, но течение быстро несет ее вниз... Выскакиваем – и в воду...

Получилась турецкая баня с «освежающим» купаньем и с уткой в придачу...

Через час мы сидели за великолепным обедом. А после него «кейфовали» за чашкой чистого кипятку, курили «сигары» из высушенных листьев и читали случайно захваченные приятелем... «Рассказы из Аляски» Дж. Лондона^{15*}... Были счастливы и довольны...

...Удивительная штука – человеческий организм!.. Много трудностей пришлось нам перенести: спали на сыром болоте, ноги – в лаптях – были все время мокрыми, да и одежда тоже – и хоть бы какой-нибудь насморк, хотя бы какой-нибудь кашель... Ни разу...

Лишь под конец странствий оба мы начали опухать, появилась какая-то усталость... лень было подняться с места... Но, раз поднявшись, шли и обнаруживали большую выносливость...

Питались за все это время «акридами и диким медом»^{16*}, т.е. ягодами, остатками грибов, случайной добычей плохих охотников, плюс провиант из деревни, четыре раза доставленный в условленное место нашим «почтальоном»... Он же доставлял нам и информацию...

В первое время мы кружили, выжидая сбора других «заговорщиков», чтобы вместе двинуться лесами к Архангельску... Через неделю по нашем прибытии в эти места в письме из Устюга нам писали: «Высылаем вам планы какого-то лесничества... Такого-то числа будьте на просеке номер такой-то, на таком-то квартале. Там назначена встреча идущих к Архангельску...»

Письмо пришло, а планов нет... Оказалось, что они были зашиты в юбке, эту юбку, ничего не зная о планах, надела одна особа и уехала в Питер. Что делать? Без планов найти место встречи невозможно. Чтобы попасть к сроку, надо двигаться немедленно... Ждать, когда будут доставлены планы снова, нельзя: срок пройдет. Волей-неволей пришлось отказаться от движения со всей компанией... Часть последней в назначенный день действительно собрались там и двинулись... Но, увы! Только двое из них добрались до Архангельска. Остальные были схвачены и расстреляны... Этому не приходится удивляться... Пройти нужно было около 400 верст... Пересечь это расстояние, не заходя в деревни за провизией, было невозможно. В деревнях же был введен такой порядок: всякое новое лицо здесь останавливалось автоматически. Чтобы перейти из деревни в деревню, нужны были не только разрешения общих властей, но и разрешения «комбедов» каждой деревни. Без этого всякое лицо задерживалось. Мало того... Охранительные пикеты были выставлены и в лесу, на главных просеках... Все это успех предприятия делало почти невозможным... Отсюда – гибель наших товарищей. Отсюда же ясно, почему и мы, предприняв позже такую же попытку вдвоем, принуждены были от нее отказаться...

С крушением этой надежды приходилось строить новые планы выхода. Фантазировали много. Собирались, например, выстроить в абсолютно дикой и непосещаемой части леса избушку и засесть в ней на зиму. За зиму авось положение дел переменится. Думали также поселиться в какой-нибудь деревне или в городе и не показываться абсолютно никому. «Проектировали» и многое другое в том же роде. Все это кажется фантастичным. Но, увы! Жизнь фантастичнее любой фантазии... Мне известно, что один знакомый полтора года спасался вторым путем, а двое – первым... Выдержали испытание и теперь – живы...

А пока... мы «кружили»... «Отдыхали на лоне природы», мечтая хотя бы о кусочке «культуры»... В часы досуга и отдыха... думали и думали... Эти размышления над революцией, социализмом, коммунизмом, войной и другими важными проблемами привели к серьезному изменению взглядов на многое, в том числе... и на судьбы большевизма и русской революции.

Именно здесь для меня стала особенно ясной вся огромность катастрофического революционного шквала, не изжитая еще тогда почвенность большевизма, невозможность уничтожения его наружно-хирургическим путем и необходимость его «органического изжития», «внутреннего саморазложения» путем трагического – быть может, смертельного – опыта самого народа. Без этого опыта

никто не научит. После него – если народ не погибнет – он будет застрахован от новых повторений. Тут же я понял всю тщету надежд на «союзников», эгоистичность их целей и безнадежность попыток военного подавления большевизма извне... Учиться у союзников и Запада нужно многому, но возлагать на них какие-либо надежды, а тем более жертвовать в связи с этими надеждами хотя бы одним человеком для их целей, – глупо. Только сила, одна сила является языком, понятным в международных отношениях... остальное – один «нас возвышающий обман»^{17*}, за который приходится дорого расплачиваться...

Много чудесных иллюзий и окрыляющих фантазий исчезло у меня за дни и ночи лесной жизни... И, по-видимому, исчезло навсегда...

Так прожили мы до 5–7 октября (по старому стилю)... Условия жизни стали еще труднее... «Акриды и дикий мед» исчезли... Из города доставлять провизию стало невозможным. Вдобавок выпал снег и помогал «следопытам, охотившимся за головами», находить наши следы. Нужно отдать должное их энергии – они предпринимали экспедиции и в леса, верст за 50–60 от жилья, и не всегда без добычи: например, в нашем же районе были схвачены ими семь беглецов из Ветлуги, бежавших оттуда после неудачного восстания, и позже, когда я уже сидел «смертником» в Великоустюжской тюрьме^{18*}, расстреляны.

Иного выхода, как вернуться в город, не было. Попробуем вернуться, день-два, вероятно, можно будет прожить безопасно, а там видно будет, что делать... Остановившись на этом, мы заранее известили своих людей о нашем решении и получили ответ, что в такой-то день меня будут ждать в таком-то доме, а моего приятеля – в таком-то.

Накануне «исхода из лесов» мы спустились поближе к деревням. В Устюг надо было попасть не позже семи часов вечера, но и не раньше шести. После семи часов движение по городу без особых разрешений было воспрещено, и все, кто не имел их, арестовывались. Раньше шести было еще светло – и меня, хотя и сильно изменившегося, могли узнать... До тракта из нашего места было около 20 верст и по тракту – 45 верст, всего 65 верст... Ногам предстояла большая работа...

В шесть часов утра мы обнялись друг с другом, и я отправился «к людям»... Мой приятель решил на сутки остаться. Перед выходом из леса на тракт я снял лапти, надел развалившиеся сапоги и преобразился в рабочего с Михайловского завода, искавшего хлеб и муку... Там же, на опушке, схоронил в одной деревне и свой дневник. Быть может, он лежит там и теперь...

Без четверти семь я был в назначенном домике, пил чай, ужинал и наслаждался «культурой». Какое удовольствие надеть чистое белье, лечь на чистую простынь, лежать на кровати под крышей, а не на болотном мху под осенним дождем! Столь поносимая «культура», право же, кое-чего стоит...

Завалился и заснул глубоким сном...

Первая часть «испытаний» была кончена. Наступала другая, где очень мало было «природы» и слишком много «коммунистической культуры»: тюрьма... вши... голод... тиф... Ежечасные, со всей своеобразной гаммой переживаний смертничества, ожидания расстрела в течение месяца с лишним... Ежедневные расстрелы других, с которыми вы только что говорили, нередко тут же, во дворе тюрьмы... (за месяц с лишним моего сидения было расстреляно около 55 человек), потеря одного из самых дорогих мне друзей^{19*}... Чувство оконченности жизни... кровь... смерть... и обстановка страданий во имя «коммунистического рая» – словом, ряд довольно «сильных ощущений», способных вывести из равновесия даже довольно сильные нервы...

Но то было впереди... скрытое завесой неведомой Судьбы...

А пока я спал крепким сном, здоровым сном, без забот и сновидений.

КАК МЫ ЖИЛИ...

...Иду на очередную лекцию... Вечер. Днем лекций нет, ибо студенты должны слушать профессора... варить, стирать, бегать по очередям и исполнять «трудо-вые повинности». У меня лекция от 8 до 9½. Подхожу к университету... Темно...

Иду прямо в здание бывшего студенческого общежития. В университет идти незачем. Там в длинном коридоре и в анфиладе аудиторий – ни души... Пусто и холодно... Здание не отапливается, в нем холоднее, чем на улице, высидеть 2–3 часа невозможно, особенно студентам, а потому там никто не читает...

Изредка зайдешь туда, пройдешь по пустому коридору, посмотришь на обрывки старых земляческих объявлений... Больно, лучше не ходить и не беречь раны...

Только в конце коридора, в помещении библиотеки, еще теплится жизнь. Там и канцелярия, и редакторская, и казначейство, и библиотека, и идет часть лекций... Среди книг и тесноты теплее.

На дворе университета темно...

Университет умер... Только в физическом институте в нескольких окнах виден свет. Там немного лучше. Профессору Хвольсону^{1*} каким-то чудом удалось добыть керосин, а иногда даже удается пускать электричество... Счастливец.

Ощупью вхожу в здание общежития. Ощупью пробираюсь на 2-й этаж в свою аудиторию. Вхожу. Та же тьма... Слышу, что есть люди. Добираюсь до кафедры и приступаю к лекции. Ни я не вижу аудитории, ни она меня... Настоящее «масонское действо».

В первое время как-то нехорошо себя чувствовал в темноте. Постепенно кое-как приспособился... Нужные цифры и даты стал заучивать днем. Но все же они иногда забываются... Приходилось в таких случаях извиняться перед аудиторией, а иногда... на время получать огарок свечи от какого-либо студента... Они и рады бы помочь, но у них самих ничего нет...

Удивительный все же народ эти студенты... Просидеть час-полтора в холоде – немалый труд. Мне-то что... Мне теплее, ибо я читаю, жестикулирую... Меня согревает лекция... А им труднее. Только временами, изредка, один-два человека не выдержат и начинают тихонько ударять ногой об пол... Очень редко... Прямо мученики...

В такой же обстановке читают и другие профессора...

В официальной статистике читаем, что благодаря энергии правительства в Петроградском университете сейчас 13 тысяч слушателей... Читаем... и удивляемся. Где они? В университете их не видно. Ряд курсов не состоялся «за неимением слушателей». Нормальная аудитория – 5–10 человек. Максимальная – у С.Ф. Платонова, А.И. Введенского^{2*} и у меня (предмет такой) – 70–80 человек... Где эти тысячи?.. Очередная ложь..

«Согласно постановлению Петроградского Исполнительного Комитета... профессора и преподаватели университета назначаются к выгрузке дров с барж в такие дни: фамилии от А до М – такого-то числа, от Н до С... такого-то и т.д. Являться следует на Адмиралтейскую набережную к 9-ти часам утра. Неявившиеся подлежат ответственности по законам революционного времени», – гласит объявление на дверях университета. Делать нечего – надо идти...

В положенный день иду... Подхожу... Исподволь собираются другие коллеги. Работа для многих не вполне привычна. Надо сносить с баржи на берег бревно в 3–3½ аршина длины. Бревна мокрые и тяжелые... Это, говорят, нужно делать для восстановления народного хозяйства... Раз нужно, будем делать...

Мне-то ничего... Я молод и привык к работе. А вот какво другим коллегам, особенно пожилым. Смотрю, как они беспомощно надрываются, обливаются потом и... как у них ничего не выходит... Рвутся остатки одежды... Профессор Х. поскользнулся, упал и расшибся. Другой – поранил сильно руку. А тут же стоит здоровый контролер и наблюдает: при неловкости непривычных к работе ученых – смеется... Хочется размахнуться и дать ему по морде... Работаем до 3-х часов... Энергии ухлопано пропасть, толку не много... Два настоящих работника сделали бы не меньше, чем 15 человек нас. Разорваны платья, сами замызганы грязью, выбились из сил, несколько раненых и искалеченных... В награду дают по ¼ фунта хлеба. «И то хлеб». Все это нужно для восстановления народного хозяйства. Да здравствует мудрое правительство и глава Петрограда – Зиновьев!

Идем домой... Обессиленные. А дома надо варить пищу, если есть из чего варить, если есть топливо... Часто не бывает... Пока канителишься со всем этим, подходит вечер, время идти на лекцию... Пришел с лекции, смотришь – сегодня твоя очередь идти дежурить ночью у ворот. Моя очередь сегодня с 12 до 3 ночи... Придя с лекции, заваливаюсь спать. Огня нет, делать ничего нельзя, потому лучше всего соснуть. Все же эта темнота всего ужаснее, ужаснее холода и, пожалуй, голода. Она давит, связывает движения, делает невозможной никакую работу... Единственное спасение – спать... Но нельзя же спать с 6 часов вечера до 10 утра... Лежать целыми часами... Перебираешь одно, другое. Рад, если у тебя лекция вечером... Все же короче делается томительное лежанье. Как медведи... Не живем, а прозябаем в какой-то спячке. Впрочем, нет худа без добра. Такое лежанье экономит трату энергии, а при голоде это целесообразно. Каждая кало-

рия на учете... Выхожу к 12-ти к воротам. Получаю ключи от предшественника. На улице темно и мертво. Тишина. Лишь временами пронесется автомобиль, да где-нибудь раздастся выстрел... Мертвый город... Делать нечего... Скучно... Для разнообразия начинаю ходить вдоль дома и считать шаги, затем сажусь на тумбу и пытаюсь думать о «высоких материях», иногда вглядываюсь в немногие освещенные окна напротив... Временами могу наблюдать более интересные сцены, рядом с нашим домом – приют для девочек. В нашем доме много матросов. В 1–2 ночи иногда в соседнем доме открывалась дверь и выбрасывала оттуда выпивших матросов. В те же часы девочки временами стучат в ворота и проходят в квартиры матросов... Лет им было едва ли более 13–14... Все это было «экспериментальное уничтожение буржуазных предрассудков»...

В три часа бужу моего преемника по дежурству, передаю ключи и иду спать...

Вымираем... Нет А.С. Лаппо-Данилевского, нет Н.Н. Розина, не стало В.А. Покровского, Хвостова, Иностранцева и многих других^{3*}. Одни – от тифа, другие – от истощения, третьи – от «трудовых повинностей», четвертые – покончили сами. Не хватило сил жить... Бедный Иностранцев^{4*} давно уже походил на тень. Наконец, не стало ни хлеба, ни дров, ни силы жизни. Умерла жена. В комнате с мертвой не выдержал... принял цианистый калий... Молодым еще ничего... Есть надежда на будущее. А старым, у кого все позади, чего ждать? Зачем жить?

Тяжело жить... Еще тяжелее умирать. Не так-то легко похоронить умершего. 3–4 дня надо потратить на получение разрешения... Надо достать гроб, санки, людей, чтобы стащить на кладбище...

После хлопот, наконец, добыли гроб для К. Но, увы, он оказался коротким. Что делать? Ноги никак не входят... труп застыл и не сгибается... Пришлось звать на помощь медиков...

Санки достать легче... Живая сила есть: тащили гроб сами... Панихида... Отпевание... Зарывание... без длинных речей и обрядов. Не вяжутся они с обстановкой... Похоронили и молча расходимся по домам...

Вымираем так быстро, что даже не успеваем вовремя узнать о смерти каждого. Только на заседании Совета университета оказываешься в «курсе дела». Не заседание Совета, а какое-то похоронное бюро... Каждое заседание начинается с оглашения 5–6 умерших и почитания их памяти.

Поистине, славно работает смерть...

II

**НАУЧНО-
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
РОМАН**

ПРАЧЕЧНАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ

Часть первая

ПЕРЕД ПОЛУДНЕМ...

Глава 1

По строгим кожаным креслам, по серо-синему тону обоев, по портретам Белинского, Герцена, Достоевского, Толстого, Гейне и Леонардо, развешанным по сторонам приемной, можно было решить, что банкир Шахматов^{1*} – типичный русский интеллигент, только более деловой и практичный. За это говорил и строгий порядок комнаты – отсутствие всего лишнего и присутствие всего необходимого.

По понедельникам у него был приемный день. Каждый мог в этот день явиться к нему и лично переговорить с ним о своем деле. Громадные капиталы Шахматова, его либерализм и меценатство, готовность помочь каждому заслуживающему помощи притягивали к нему многочисленную толпу различных посетителей. И сегодня, несмотря на скверную погоду, приемная была полна. Было тут несколько студентов, какой-то художник, один литератор и целый ряд «неопределенных личностей».

...Дверь кабинета раскрылась и кого-то выпустила...

– Прошу следующего, – сказал лакей.

На приглашение лакея поднялся молодой человек и прошел в кабинет.

– Никуличев, – отрекомендовался он, пожимая руку банкира, – я извиняюсь перед вами за то, что беспокою вас, но мою вину смягчает важность самого дела и отсутствие иного выхода.

– Я слушаю вас, – вежливо ответил Шахматов.

– Прежде, чем перейти к делу, позвольте спросить вас, есть ли в вашем распоряжении пятьдесят минут для меня. Если да – я перейду к делу, если нет – я уйду. Предупреждаю, однако, дело важное и заслуживающее внимания.

Никуличев говорил немножко странно. В его словах чувствовалась какая-то математическая отчетливость; словно это была не живая речь с замедлениями и ускорениями, с повышениями и понижениями, а какой-то метроном, отбивавший в минуту определенное число однотонных звуков. При этом никаких же-

стов и никакой мимики. Такие лица бывают у лакеев в важных ресторанах, когда им заказывают ужин или обед, и у придворных церемониймейстеров, когда они выступают впереди торжественной процессии. Холодное, бездушное лицо, если бы не меняли это впечатление глаза. Сидящие глубоко, прикрытые густыми бровями, они горели каким-то странным блеском. Это не был ярко вспыхивающий и быстро меркнувший взгляд фанатика или пророка. Если уж сравнивать их с чем-нибудь, то всего лучше с вольтовой дугой. Как и она, они горели ярко, но горели ровно, без вспышек, без зарниц.

Шахматов поморщился и минуту колебался.

– Я слушаю вас, – ответил он, севши глубже в кресло.

– Суть моей просьбы такова: мне нужен миллион рублей.

Левый глаз Шахматова прикрылся, губы сложились в веселую улыбку, и он расхохотался.

– Однако вы, должно быть, большой шутник, – добродушно заявил он.

– Шутить я не собираюсь, а вас просил бы внимательно выслушать меня, если только вы хотите слушать, – резко ответил Никуличев.

– Что ж, продолжайте, – стараясь быть серьезным, сказал банкир.

– То, что я сказал, уже вызвало ваш смех. Дальнейшее, вероятно, приведет вас к мысли, что вы имеете дело с маньяком, каких вам придется видеть немало. Тем не менее я продолжаю, но прошу слушать внимательно... Миллион рублей мне нужен для окончательных опытов с «психическим насосом», под которым я разумею систему быстрого обучения и решительного воспитания людей. Говоря коротко, я работаю над проблемой искусственной переделки человека с умственной и нравственной стороны. В этом же направлении работают и жизнь, и общество <со> своими школами и книгами, но результаты их работы случайны, слабы и ничтожны. Человек может научиться в один год тому, на что он тратит теперь двадцать лет. О воспитании не будем говорить. Все возрастающее число преступников – беспристрастный свидетель, что общество лекарств против духовных болезней не имеет и в этом отношении является полным банкротом. Быть может, в будущем будет лучше, но человечеству ждать некогда. Машина социальной жизни работает скверно, и каждый день уносит сотни и тысячи жертв. Пора положить конец этому царству стихийности и невежества. Изобретение этой новой системы и является целью исследований, в которых мне помогает доктор Колыбин. Нами уже намечены главные стропила и добыт ряд важных результатов. Для окончательного завершения нужна специальная лаборатория, для этого нужны деньги, их у нас нет, а потому я и явился к вам...

Слова рождались и падали размеренно, монотонно и спокойно...

– Любопытно... – заметил Шахматов. – Мысль у вас хорошая, <но> мне не ясно, каковы будут практические результаты вашего изобретения и чем вы можете доказать, что ваш план не чистая фантазия?

– Результаты? Они будут такими, что перевернут весь современный уклад жизни. Буду конкретнее. Во-первых, придется закрыть все современные школы. Они в теперешнем виде будут лишними. То, что знает теперь кончающий студент, должен будет знать десятилетний мальчик. Это раз.

Во-вторых, если государство согласится ввести у себя мою систему, не нужны будут тюрьмы, так как любого преступника можно будет переделать в мирного члена общества. И обратно: пользуясь моими методами, можно с успехом культивировать породы убийц, воров и насильников. Я даю в руки человечества силу, а его уже дело, как оно захочет использовать ее. Но не это побудило меня взяться за работу, а нечто другое. Не скрою от вас, в чем дело. Я – плебей и на себе вынес все то бремя, которое накладывает на обездоленных современная «социальная справедливость». Я голодал, я был избиваем, я видел, как били других, {видел, как одни преждевременно сходили в могилу от непосильной работы, а другие теряли человеческий облик от безделья и роскоши}. Я видел хромых, слепых, умных, идиотов и дураков. Говоря коротко, я видел слишком много неравенства, чтобы у меня появился аппетит к равенству. Этот аппетит теперь общ многим, но до его удовлетворения при современных порядках очень далеко. Жизнь платит по этому долгу слишком неохотно и ужасно надолго рассрочивает платежи. У меня нет больше охоты ждать. Я хочу того же, чего хотят многие, но хочу иначе, чем они. Выражаясь поэтически, я избрал кнут, которым буду подгонять жизнь, как древний господин раба или ваш кучер лошадь. Неравенство должно и может быть заменено равенством. Если все люди будут одинаково умны и будут держаться одного шаблона поведения^{2*}, будет равенство. Если этого не будет, пусть разделят наши социалисты сегодня все богатства мира или пусть сделают их общественной собственностью, завтра же снова будут бедные и богатые, угнетаемые и угнетатели, переменятся только названия. Вместо банкира появится «общественный директор», такой же толстый и жирный, но более хитрый. Вместо старых лозунгов будут вывесками «Liberté, Fraternité, Egalité»^{3*}, но только вывесками. Тюрьмы переименуют в дома правосудия, но от этого не будет легче тем, кто в них будет обитать. Вот некоторые из результатов. Что же касается доказательств, то я их дать вам не могу, во-первых, потому, что моя система и мои опыты – пока тайна, известная мне и Колыбину, а во-вторых, говоря откровенно, вряд ли вы их поймете. Единственное, что я могу предложить вам, вот это письмо вашего друга и нашего знаменитого ученого Каракозова^{4*}. – С этими словами Никуличев протянул Шахматову серый довольно большой конверт...

Разорвав пакет, Шахматов принялся за его чтение. В письме после обычного приветствия стояло: «Господина Никуличева я знаю уже довольно давно. Он был моим учеником и еще во время студенчества обнаруживал недюжинные научные способности, проявившиеся, между прочим, в ряде опубликованных им тогда

статей, вызвавших к себе большое внимание. В дальнейшем его научная карьера испортилась, не столько, впрочем, по причине его работ, сколько царящей в научных кругах рутине и узости, не терпящих новшеств и потому всякое искание новых путей считающих за сумасбродство. Годов шесть я о нем не слышал ничего. Но вот сегодня он явился ко мне и рассказал о своей работе за эти годы над “психическим насосом”. Затея эта с первого взгляда показалась мне чистой фантазией, но из тех кратких объяснений, которые он дал мне, а главное из того, что я видел собственными глазами, я пришел к мысли, что его задача, пожалуй, и на самом деле осуществима. Я исследовал приведенного г. Никуличевым шестилетнего мальчика, на котором он впервые проверял правильность своей системы. Из метрического свидетельства и других документов выяснилось, что воспитание его Никуличевым продолжалось около года, а до того времени он жил в деревне. Результаты поразительны. Этот шестилетний ребенок знает едва ли не больше, чем лучшие студенты – мои слушатели. Правда, он чересчур бледен и поражает, главным образом, эрудицией, но и этого слишком много. Вот главное. Окончательно высказываться не решаюсь, тем более что систему Никуличева я знаю лишь в самых общих чертах. Он сам заявил мне, что детали он хранит в тайне. Но на основании того, что он открыл мне и что я видел, я считаю его замыслы не лишенными научного фундамента и позволяю себе присоединиться к его просьбе – помочь ему деньгами. Известный риск, конечно, есть, но без риска трудно обойтись при всяком великом изобретении. Вот мое мнение. Вы сами решите в дальнейшем “быть или не быть”. Крепко жму Вашу руку. Ваш М. Каракозов».

Шахматов прочел и на минуту задумался.

– Я не знаю, что вам ответить, г. Никуличев. Из того, что пишет мой друг Каракозов, я убеждаюсь, что имею дело не с фантазером. Но ведь и миллион – сумма. Рисковать таким капиталом не приходится!

На губах Никуличева промелькнула ироническая улыбка.

– Но вы же чуть не сотнями тысяч бросали, например, на авиацию. А ведь вся она в сравнении с моей задачей – нуль. Дайте мне деньги – и через 6–7 лет я приготовлю десятки, а может, и сотни изобретателей, которые в области той же авиации сделают изобретения, перед которыми современные опыты покажутся детской забавой. Впрочем, вы правы, вам нужны гарантии, их я пока вам дать не могу. Поэтому я предлагаю компромиссное решение. Я не буду теперь же вести свою работу вширь. Я ограничусь пока «фабрикацией» двух-трех чудо-детей {вундеркиндов}. Для этого мне достаточно двухсот тысяч. Через два года я надеюсь довести до конца свою работу, и тогда она будет опубликована. Согласны ли вы дать мне миллион, если ученая коллегия и специалисты найдут мои проекты осуществимыми?

– Это решение более подходящее. Я, пожалуй, согласен. Подобная цель, во всяком случае, стоит этого риска.

– Благодарю вас! – Протянул руку Никуличев. – Надеюсь, что риск не окажется бесплодным.

– Ну что ж, в добрый час, – крепко пожимая протянутую руку, ответил Шахматов. – Вам когда вручить деньги, теперь или потом?

– Безразлично. Если вы переведете их в банк на мое имя в течение этого месяца – это меня устраивает... Еще раз благодарю вас и буду очень рад, если через два-три года вы заглянете в мою лабораторию.

– С большой охотой.

– Только я очень просил бы вас хранить все это в секрете.

– Будет исполнено...

Еще раз пожав руку банкира, молодой ученый вышел.

Глава 2

Войдя в ресторан, где Никуличев и Колыбин обыкновенно обедали, Никуличев уже застал последнего за обычным их столиком. Если лицо Никуличева напоминало маску по своей неподвижности, то этого никак нельзя было сказать про лицо Колыбина. Последний был чисто русским мужичком. Русые, подстриженные в скобку, по-староверски, волосы, небольшая окладистая борода, добрые синевато-серые глаза и вечная трубка в зубах делали его похожим скорее на степного мужика, чем на ученого. Ходил он почти всегда в косоворотке и простом пиджаке. Приятели поздоровались.

– Ну, как? Со щитом, на щите?^{5*} – улыбаясь, спросил Колыбин.

– Пожалуй, что и на щите.

– Мати пресвятая Богородица! Да неужто?

– Двести тысяч есть на окончание исследований. Можем получить и желаемый миллион, если сумеем вдолбить в пустые головы, что наше дело не забава.

– Вот так раз. Выходит, значит, что мы и впрямь, чего доброго, перевернем мир!

– И перевернем.

– Ну и ну... Коли так, получай свои пилюли и принимайся за обед. Свеженькие, только что приготовил, – протягивая коробку пилюль, добродушно улыбнулся Колыбин.

Подозвали лакея и заказали обед. Никуличев взял и проглотил две пилюли, прозванные Колыбиным в шутку «умородом». В изобретении их и проявилась пока работа Колыбина. Цель, которой они служили, состояла в быстром восстановлении нервной энергии, утрачиваемой организмом при сильной ум-

ственной работе. Без «уморода» основная задача обоих ученых была бы недостижима. При чрезвычайном нервном напряжении, которого требовала система Никуличева, неизбежно должно было быстро наступить переутомление мозга, а в дальнейшем и крах организма, если бы не был изобретен «умород». Немудрено поэтому, что, поставив себе впервые задачу, о которой идет речь, они сразу же убедились в ее невозможности без быстро действующего препарата. Эта задача пала на Колыбина, как на биолога, еще на студенческой скамье работавшего над этой проблемой. Почти четыре года ушло у него на это решение. Само существование «уморода», а равно и его состав до сих пор не были никому известны, кроме двух друзей. До окончательных результатов все свои открытия они хранили в тайне.

Несмотря, однако, на большой успех «уморода», Колыбин не вполне им был доволен. Пилюли действовали хорошо – опыты над самими собой и над детьми говорили об этом. Но небольшое малокровие, появившееся за последнее время у Вити, а также более частая, чем раньше, усталость беспокоили Колыбина и побуждали его к дальнейшему совершенствованию «уморода». Он, в сущности, знал, что нужно сделать для этого, но не было средств, и усовершенствование оставалось неосуществленным. Теперь эта задача решалась просто.

– Ну, как Витя?

– Я его сегодня не видел. Я прозанимался с ним в лаборатории обычные часы. Он работал недурно, но после четырех часов работы он был очень утомлен, и потому мне пришлось на полчаса раньше прервать работу. Через 2–3 месяца, впрочем, мы поправим дело. Будут деньги – будет и здоровье. Тогда я и тебя буду кормить не «умородом», а сверхумородом. То-то будешь умницей, – шутил Колыбин, – таблицу поведения наших питомцев ты не забыл начертить?

– Конечно.

– Превосходно.

В ресторане между тем жизнь шла своим чередом. Народу становилось больше и больше. Быстрее и быстрее двигались лакеи. Звякали ложки, тарелки, звучнее становился гул разговора. Чаще и чаще хлопали пробки вскрываемых бутылок.

– Ну, что ж, двинемся? – спросил Никуличев. – Пожалуй, сейчас я пойду по больным, а вечером ради сегодняшнего дня не пойти ли нам на концерт, тем более что сегодня играет сам Грисфельд?

– Что ж, можно. Только как с билетами?

– А это я устрою и в половине восьмого буду у тебя. Будет билет и для Вити. Я приду с Леной.

– Превосходно.

И они покинули зал ресторана, начинавший становиться шумным.

Глава 3

Большой «Муниципальный» зал сегодня был битком набит. Ярко горели тысячеглазые люстры. В фойе, в буфетах и в проходе толклись сотни людей. Военные мундиры, фраки и причудливые платья дам смешались в разноцветные пятна, постоянно меняющиеся и текучие. Рядом с лысой головой государственного мужа мелькало энергичное бритое лицо артиста и длинные волосы молодого поэта. Рядом с расплывшимся лицом дамы вырисовывался тонкий профиль прекрасной девушки. В огромном мраморном зале, рассчитанном на пять тысяч человек, стоял безличный гул, в котором, как капля в море, тонули отдельные голоса. Время от времени из этого общего шума выделялись обрывки фраз и снова исчезали. Царила великая безголовая толпа. Искусство собрало всю эту разнообразную смесь людей. Для одних оно было целью, а для других предлогом: кому – повидать кого-нибудь, кому – показать свое платье, кому – просто отдохнуть, а кому – полюбоваться красивыми лицами и подышать в дурманящем возбуждающем воздухе людской толпы.

...Когда-то и я любил бывать в этом море ласкающих и дразнящих токов людской души. Люблю и теперь с безучастным видом стоять у прохода и отражать на зеркале моей души причудливые силуэты. Хорошо поймать на лету чей-нибудь ищущий взгляд, схватить обрывок речи, полюбоваться улыбкой на прекрасных устах и плавать в переменчивых волнах аромата духов и ... быть безучастным и чужим. Главное – безучастным. Иначе – беда! Вопьется этот безликий зверь в твою душу, отравит свежую кровь алчным ядом хотений, заманит в великое логово дерзаний, и не вырвешься из его когтей, не надломив свои крылья, не опалив их смертельным огнем честолюбия.

Дребезжал третий звонок, когда Никуличев и Колыбин с Леной и Витей вошли в зал и прошли на свои места в партер.

– Прямо идиотом чувствуешь себя в этой дурацкой вертихвостке, – ругался доктор, принужденный нарядиться во фрак. И действительно, его фигура довольно нелепо выглядела в этом наряде.

Лена, молодая девушка, только что кончившая курсы, весело хохотала...

– Посмотрите, посмотрите, ради Бога, на себя, Иван Тимофеевич. – Указывала она на зеркало. – Ну, на кого вы похожи?

– На дурака, сказал же я вам. Как раз на того дурака, кто выдумал эту великую несурзность...

– Да не размахивай руками, ведь не дрова рубишь, – шутил Никуличев.

– А, ну вас к Богу. Нашли тоже, над чем зубы скалить.

Насколько нелепо был Колыбин, настолько элегантно выглядел Никуличев. Его высокая и стройная фигура прекрасно выступала в хорошо обтянутом фраке, а бледная маска лица с электрическим блеском глаз особенно резко оттенялась

черным фоном сукна. {Математически} рассчитанные движения и гордо поднятая голова довершали общую картину...

Безликое чудовище успокоилось. Втянуло в себя свои шупальца и прилипло к креслам. Теперь оно лишь таинственно шушукало шипящим шепотом. Но вдруг оно задвигало тысячами рук и неистово захлопало тысячами ладоней. На сцене появился Грисфельд...

Раздались первые аккорды рояля, и толпа замерла. Великие удары смерти поплыли по залу. Неумолимо, беспощадно трагические зовы врезались в уши, впивались в кровь, давили стальными обручами головы и мрачно, монотонно и медленно вещали каждому: «Смерть, смерть, смерть...» Порой рождались новые звуки, пытались разорвать неумолимую цепь смерти и... никли, бессильные, вялые, надломленные. И снова победоносно взметались чудовища смерти, наполняли душу трагическим ужасом, опустошали цветники жизни и злорадно хохотали над бессильной жизнью и над ее детьми...

Великий артист завладел толпой. Он захватил ее душу в свои тонкие пальцы, вытряхнул из нее, как из мешка, все будничное и вдохнул в ее сердце очищающее пламя великого трагизма. И душа человеческая покорно трепетала в тонких пальцах слабого и бедного человека.

Пред душевными глазами Никуличева быстро пролетали видения, обрывки прошлого, замыслы будущего, сложное кружево чувств хлынуло в его душу, бурлило и клокотало в ней. «Смерть, смерть», – вещали звуки. Да, да, смерть. Но я бессмертен, я вечен. Я имею крылья, на которых я взлечу выше царства смерти, и никто их не надломит. А если надломит? А если ты банкрот? О, тогда я сам подам руку смерти.

Звуки исчезли. Чудовище взбесилось, заорало, захлопало и воспрянуло со стульев.

Бледный кудесник поклонился и исчез.

В антракте толпа хлынула в фойе, в проходы и в буфетные залы.

Колыбин с Леной и Витей пошли, как выразился первый, «смотреть на мартышек», а Никуличев остановился при входе в буфет и, казалось, наблюдал за проходящими силуэтами.

– Дмитрий Николаевич! Как вы сюда попали? – обратился кто-то к нему.

Ученый быстро обернулся и... застыл...

– Ну, что же вы ничего не отвечаете, али не узнаете? – протягивая руку, с милой улыбкой упрекнула его молодая и стройная дама.

– Простите, Елизавета Александровна! – целуя протянутую руку, спокойно ответил Никуличев. – Я так был занят своими мыслями и так неожиданно появились вы, что на меня нашел маленький столбняк; очень извиняюсь, – продолжал он, здороваясь с ее спутником-мужем, князем Воеводским, профессором философии права^{6*}.

– Я так давно не видела вас, что мне хочется немного поболтать с вами. Может быть, вы не откажетесь присесть с нами за столик и выпить чего-нибудь.

– Благодарю вас, с большой охотой.

– Ну, рассказывайте, как вы живете и что делаете. Ведь я о вас ничего не слыхала годов пять, а может быть, и шесть.

В это время какой-то господин во фраке раскланялся с мужем.

– Простите меня, Дмитрий Николаевич. Я на минуту покину вас с женой, – извинился Воеводский, вставая из-за стола. – Мне необходимо переговорить с Лихачевым об одном деле^{7*}.

– Я был все время здесь, в Петербурге, – ответил Никуличев.

– Как же вам не стыдно, Дмитрий Николаевич. Вы ни разу не навестили нас.

– Я вообще никого не навещал и нигде не бывал, – сухо ответил Никуличев.

– Но что же вы делали? Чем занимались? После вашего неудачного конфликта с учеными вы как будто совсем бросили научную работу, – продолжала Воеводская, и в тоне ее слышалась {боязнь причинить боль} жалость к молодому ученому.

– Да, я порвал с университетом окончательно. Оказался негодным. – Усмехнулся изобретатель. – Вообще оказался неудачником во всех отношениях: денег не нажил, славы – тоже, да и в любви не повезло. – При этом Никуличев как-то особенно взглянул на собеседницу и снова усмехнулся. – Зато вас, Елизавета Александровна, я могу поздравить с успехами вашего мужа.

– Мерси, он действительно быстро выдвинулся. Его книги вызвали шум, год тому назад ему предложили кафедру.

– Да, я слышал об этом и читал его работы.

– Каково же ваше мнение о них?

– Ну, это неинтересно. Я вообще малоавторитетный ценитель. К чему вам мое мнение?

– А все же?

– Говорят, что его книги – хорошие книги, ну, значит, хорошие. Иначе его не считали бы Колумбом нового направления, теперь особенно модного у нас.

– Вы так говорите, как будто не согласны с общим мнением?

– Да, говоря откровенно. Но ведь вы знаете, я очень часто оставался в единственном числе, такова уж моя судьба.

– Я вижу, вам неприятен этот разговор. Расскажите лучше, что вы теперь делаете? И неужели вы навсегда расстались с вашими былыми планами?

– Что ж делать. Приходится, раз оказался банкротом, и это банкротство ведь вы же отчасти санкционировали. Вот я и остался теперь скромным человеком, – продолжал Никуличев. – Впрочем, нам пора в зал. Уже третий звонок.

– Надеюсь, вы посетите нас. У нас теперь собрания по вторникам. Я и муж были бы рады вас видеть. Даете слово? – идя в зал с собеседником, мило говорила Воеводская.

– Очень вам благодарен, но слова не даю, Елизавета Александровна. У вас там слишком важные посетители, и мне, неудачнику, чувствовалось бы среди них плохо. Впрочем, – бросил он, раскланиваясь и как-то странно глядя в глаза собеседнице, – года через два-три, быть может, мы и будем встречаться с вами.

– Вы говорите какими-то загадками, – сказала Воеводская.

– Слова – серебро, молчание – золото, – отпарировал Никуличев и двинулся к своему креслу.

Глава 4

Я люблю вас, тихие часы ночного раздумья. Хорошо в такие часы сидеть в покойном кресле, думать о многом и ни о чем. Молчаливая память невидимыми пальцами перебирает отцветшие листы жизни. Тихо и неслышно мелькают они один за другим и пробуждают в душе неизъяснимое трепетание...

{Как старые цветы, схороненные в книге,
Влекут меня к себе ушедших дней мечты.
О, дней моих былых растаявшие миги,
О, сладкий сон любви невстреченной, где ты?}

О, бледные, пожелтевшие листы жизни! Как вы милы, как вы нежны и как дороги!

Возвратившись с концерта, Никуличев уложил Витю спать, а сам сел за письменный стол. Вытащил из ящика маленькую черненькую книжку и углубился в чтение.

– Итак, конец... – читал он пять лет тому назад написанные, тогда свежие, а теперь пожелтевшие слова. – Конец! Она любит его и выходит за него замуж. Она сама мне сегодня сказала об этом. Приехала ко мне веселая, живая.

– Поздравьте меня, Дмитрий! – сказала она.

– С чем? – спросил я. – Уж не выходите ли вы замуж?

– Вы угадали.

– За Воеводского?

– Да.

– Вот как! Как же... – начал было я и вовремя оборвал себя. – Поздравляю от души! – говорил дальше и горячо жал я ее руку.

– Вы, конечно, будете на моей свадьбе?

– Конечно, конечно. Впрочем. Ну, да, буду. Конечно, буду, – продолжал я.

Зачем она приезжала? Разве она не знала, что я люблю ее? Разве не ей я поверял свои думы и раскрывал святое святых моей души? Разве не она когда-то

поцеловала меня? И разве не ей я сказал однажды, что люблю ее? Правда, я скоро был разбит и вышвырнут патентованными лбами из храма науки. Правда, потом пришел Воеводский. Воеводский – князь, богат, красавец и вдобавок модный ученый. В нем было все, и оно победило. Но пусть, пусть все это так, зачем же, однако, приезжать ко мне с такой вестью? Наивность? Или же тайное желание полюбоваться моими мучительными судорогами? Возможно, что и так. Но тогда, ваша светлость, княгиня Воеводская, вы не увидите этих судорог. Не правда ли, я очень спокойно встретил вашу новость? Разве я не был рад? Разве не был весел? Разве мы не «проболтали с вами мило» полчаса? Разве хоть одна судорога страдания промелькнула на моем лице? Нет, Елизавета Александровна, вы ошиблись в ваших расчетах. Я выглядел прекрасно, и вы, кажется, ушли даже недовольной. Ожидаемого спектакля вам я не дал, но для себя мою роль я сыграл превосходно. О, стальная пружина воли! Ты несколько минут держала на тонких нитях нервов тысячепудовую тяжесть страдания. Держала и... не треснула!

Теперь ее нет. Больше играть незачем. Теперь я один и пишу вот на этой бумаге эти простые слова: «Мне больно, мне очень больно, мне ужасно больно. Конец. Конец всему».

Впрочем, так и надо, так и следует. Я заслужил это, ибо зарвался. Поднявшись из нуля, из низов на вершины духа, я возгордился. Предъявил жизни сче-ты на славу, на богатство и на любовь. Да еще чью? Миллионерши, красавицы, поэтессы и большой умницы? Как я это смел? Как я забыл, что я просто плебей без гроша в кармане, богатый только великим самомнением! Как я смел бороться с г. Воеводским, имеющим все, я, не имеющий ничего, кроме самомнения да десятка статей? Мне ли тягаться с ним и мне ли предъявлять жизни такой счет? Вот и получай щелчок. И поделом. Так и следует. Остается поставить крест и сказать: «Finita la comedia!»* Помнишь: «Если жизнь не удалась тебе, так смерть зато удалась»*. И поделом. Поделом? Давай рассуждать спокойно. Ты хочешь конца?

– Да.

– Но ведь конец никуда не уйдет?

– Да.

– Что он тебе даст? Что ты этим докажешь?

– Ничего. Только свое бессилье.

– И он ведь всегда будет в твоём распоряжении?

– Да.

– Если так, то не следует ли поискать новых, более лучших выходов? Нельзя ли попробовать еще раз взлететь, несмотря ни на что, а не кидаться очертя голову? Твоя воля в твоей руке. Твои мысли – в твоём распоряжении. Не правда ли?

– Верно.

– И ведь от этого ничего ты не теряешь?

– Верно.

– Так отчего же не попробовать?

– Трудно.

– Ишь ведь что сказал: «Трудно...» А ты бы хотел, чтобы жизнь тебе ковры устилала: «Не ушиби, мол, дитяtko, своей ноженьки»? Тебе ли так думать? Разве не ты всю жизнь руками, ногами и головой пробивал заборы жизни и побеждал их! Не ты ли перескакивал пропасти и переходил через горы? Не твои ли ноги шли по колючкам и ухабам жизни и не твоя ли душа сосала богатые сосцы горя? Разве не привык ты к ним?

– Пожалуй...

– Так что же ты медлишь? Решай...

– Да, я решил. Я играю ва-банк и ставлю на карту мою жизнь. Может быть, я выиграю. Только что я говорил себе: «Смирись». – Нет, – говорю теперь, – не смирюсь. Я соберу всю мою волю, сожму ее в одну бомбу, начиню порохом моей мысли и этим отвечу на щелчки жизни. Я заставлю уплатить мне мой счет. Берегитесь вы, патентованные черепа ученых кретинов, – я разнесу вас вдребезги. Берегись и ты, княгиня Воеводская. Я начинаю мстить. Мне ведь терять нечего. И этим я силен. Как бы не пришлось пожалеть тебе о твоём выборе. Как бы не пришлось не тебе, а мне смеяться над тобой! Быть может, придет день, когда ты придешь ко мне иной, покорной и будешь просить у меня любви. Предупреждаю, ты ее не получишь. Быть может, далек день моей победы, но мне ли грустить об этом? Если я не проиграю, он придет. Теперь я на дне – ниже лететь нельзя. Остается быть на вершине! Dixi^{10*}.

– Да, я, кажется сильно любил ее, – оторвавшись от чтения, думал Никуличев. – Из этих пожелтевших слов в ту памятную ночь после ее визита видно, что я был на границе жизненного краха и полного банкротства. А теперь? Теперь линия жизни поднялась высоко, высоко. Долина смерти осталась позади. Он перешагнул ее, теперь она не страшна ему... Но чего это стоило? Шести лет нечеловеческого труда^{11*}, невероятных усилий и множества бессонных ночей, когда душа горит огнем незримых слов, когда подушка и тюфяк кажутся невыносимыми, когда усталое тело не может найти места, ворочаясь с боку на бок. Когда среди ночи он вскакивал, как сумасшедший, садился за стол и работал до исступления, до того, что голова валилась на книгу и он засыпал на несколько часов тревожным сном обессиленного человека. В эти пять лет он ушел от мира, отгородился великими заботами от его соблазнов и работал, работал и работал. Было одно оружие – мысль. {Только ее он мог противопоставить миру}, только ею он мог победить мир, не дававший ему места на жизненном пиру. И он победил. Разве не он распутал запутанную сеть причинных законов человеческого общества? Разве не у него в столе хранятся кипы исписанных листов его великой книги, которая пока неведома миру, но которою он победит мир? Разве не он при помощи Колыбина совершил великое изобретение, каких не много знало чело-

вечество? Да, теперь его бомба готова, и близок день, когда он бросит ее в реку жизни. Только брызги полетят кругом. Кто исчислит те перевороты, которые он вызовет? Ни один залив жизни, ни один ручеек не останется спокойным. О, он знает это.

– Еще немного терпения, – думал он, – и день этот настанет. Он уже чувствует его веяние и его головокружительный аромат.

А любовь? Она умерла... Бедная любовь маленького человека к еще более маленькой девушке... Сейчас она кажется ему старым, когда-то виденным сном. Пламя научного творчества вытравило ее из души. Да если бы и не вытравило, разве нет у него средства уничтожить ее? Разве не он изобрел ключи для настраивания души на любой тон, для уничтожения одних чувств и созидания других?

Но все же как будто жаль этого исчезнувшего сна, как порой бывает жаль маленькие голубенькие колокольчики, истоптанные и смятые тяжелыми ногами проходящих. Впрочем, взглянул он на часы, пора кончить мечтательство. Нужно спать. С завтрашнего дня он должен приняться за оборудование и постройку своей лаборатории. Еще год, два – и его задача будет доведена до конца.

Щелкнула кнопка электрической лампы, и тихая ночь вошла в комнату.

Часть вторая

ИДУЩИЙ И НЕУСТАЮЩИЙ^{12*}

(Записки Никуличева)

Глава 1

А Иван Колыбин был прав, когда решительно потребовал, чтобы я уехал из города на месяц или, по крайней мере, недели на две. Только здесь я почувствовал свою усталость. За последний год лаборатория отняла у меня страшно много сил. Приходилось самому вникать в каждую мелочь, неинтересную, но необходимую. Дело требовало моего присутствия, и я, несмотря на усталость, оставался. В конце концов пришлось покориться. «Умород» «умородом», но и он не всемогущ. Главное сделано, и я уехал. Лаборатория почти готова... В общем, я хорошо сделал, что уехал. Давно уже не видал я снежной пустыни, тишины деревни и лунного сияния северной ночи. Как здесь тихо! Как здесь покойно! Как будто река жизни остановилась и заснула!

Живу я в одиноком домике у одного знакомого. До ближайшей деревни целая верста. Выйдешь вечером, и какое чудо кругом! Бесконечным полотном раскинулась снежная равнина, горят миллионы алмазов внизу и тысячи звезд на

небе, вдали темной полосой тянется лес, и все молчит... Только изредка донесется лай или вой собаки, и снова все молчит...

Немного странно чувствую себя я здесь. Кажется, будто до сих пор я тащил какую-то ужасно тяжелую телегу и только теперь освободился от нее.

Ну, что же, хорошо. Коли нужно – будем отдыхать...

Только что вернулся я с прогулки и сижу в своей комнате. Рядом – милая Вера, сестра моего друга, играет на рояле любимую «Фугу» Баха. Делать мне нечего, кругом покой. Простые, но прекрасные аккорды навевают сладкую грусть. Чудятся в них отзвук потерянного рая и проблемы грядущего. Встает прошлое. И невольно хочется писать – не трактат, не исследование, а просто что-то вроде романа из своей жизни.

Вот и пишу. Отчего бы не побаловать себя? Отчего бы не отдать отчет в своей жизни в момент, когда она приходит к зениту? Да, кстати, и биографы скажут спасибо. Они, {эти маленькие «процеживатели комаров»^{13*}}, страшно любят такие вещи.

{Ну что ж, хоть и не ради биографов}, попробуем поэтому вылепить звенья своей жизни и связать из них цепь. Отдыхать так отдыхать уж всюю!

Если бы спросили меня, что является в мире величайшим чудом, я бы кратко ответил: «Жизнь». Я не знаю иного чуда, не знаю ничего сложнее, прекраснее и могущественней жизни^{14*}. Теперь, когда я мысленно перелистываю страницы прошлого, я испытываю довольно странное состояние. Сравниваю свое теперешнее «я» с прошлым «я» и нахожу весьма мало общего между ними. Что, в самом деле, общего между мной и тем четырехлетним ребенком, образ которого мне памятен и никогда не забудется! Как будто мало, но все же есть.

Первые листы моей жизненной книги затеряны... Я их не помню и забыл. Потеряны многие и из последующих страниц, зато как свежи и ярки некоторые. Первая сохранившаяся картина {жизни} такова...

Зимняя вьюжная ночь. Маленькое село на Севере. Вьюга бесится и взметает целые пласты снега, крутит, вертит и бросает его в окна, двери и на крыши неуклюжих изб. На улице никого. Все попрятались по углам и спят на теплых полатях и печках. Только в одной избе горит огонь. Лучина дымит, коптит, то вспыхнет, то гаснет... Вспыхнет лучина – разлетаются тени, и сквозь дым виднеется какая-то женщина, недвижно лежащая на столе со странно застывшим лицом и закрытыми глазами.

Около стола стоит четырехлетний ребенок и теребит маленькой ручонкой платье женщины.

– Мама! А, мама! Встань же! – жалобно просит он.

Ответа нет... Только тени пугливо мелькают в полусвете, то отлетая от бледного лица, то окутывая его своей вуалью...

– Мамочка, встань же! – плачет ребенок. Ему и холодно, и обидно, что мать молчит.

– Экой ведь какой, – сердится тетка Анисья^{15*}, отводя мальчика от стола. – Сказано же тебе – не беспокой маму. Мама сегодня будет молчать, она умерла.

Ребенок слушает, и как только освобождается от «бабки», снова подходит к столу и начинает теревить умершую.

– Мама! А, мамочка?

Открывается дверь, и входит старший брат ребенка – восьмилетний Петя^{16*}.

– Петька, поиграй хоть ты, что ли, с ним, а то чистая беда – все к Пелагеюшке лезет! – обращается Анисья к вошедшему.

Петька отводит ребенка от стола.

– Не тронь ее, Митя. Пусть мама лежит. Она умерла, – грустно говорит он. – Поиграй лучше лучинками. Хочешь, я тебе звезду из них слажу?

Ребенок проворно усаживается около светца^{17*} и начинает перебирать лучины. Тихо. Только лучина шипит временами, да вьюга плачет на улице.

Сегодня все непонятно ребенку. Как странно ведет себя мама. Подойдешь, бывало, к ней раньше, она и обнимет, и погладит, и всегда что-нибудь скажет, а сегодня отчего-то целый день лежит и молчит. Да и все сегодня что-то необычно. Почти с самого утра беспокойство мало-помалу входило в его душу и чем дальше, тем больше и больше росло. Утром зачем-то приходило много баб и мужиков, отчего-то печально смотрели они на маму, лежавшую на столе, и плакали. Почему-то называли его и брата «сиротами», а, разговаривая, то и дело говорили: «Царство небесное покойнице». Потом пришла бабка Анисья и зачем-то стала обмывать маму. Обмыла и положила ее на стол, и с тех пор мама не двигается и молчит. Петька отчего-то целый день тоже плачет.

– Что такое случилось? – перебирает ребенок лучины и думает.

Чем дальше думает, тем страшнее и страшнее становится ему. Пугливость и тоска, нараставшие за целый день, делаются сильнее и сильнее. Не отдавая точного отчета, все яснее и яснее чувствует ребенок, что случилось что-то печальное, страшное и ужасное. Он не знает, что представляет собой это страшное, но знает, что оно «там», в углу, где-то около «мамы». Тихонько поворачивает он голову в сторону мамы и быстро отворачивает. Ему и хочется посмотреть на маму, и отчего-то страшно. Шея как будто застыла и окоченела. Хочет повернуть голову и не может.

Лучина догорела и упала в корыто. Стало темно. Ужас и страх, нараставшие в душе ребенка, окончательно воцарились в ней и сковали все его тело.

Слабое, нежное тело ребенка вдруг начало тихо дрожать не то от холода, не то от страха. Чем дальше, тем дрожь становилась сильнее и сильнее. Потом все тело как-то скорчилось и застыло.

– Ма-а-ма, – пронесся в избе раздирающий крик, и что-то тяжелое стукнулось об пол.

– Господи, господи! Вот беда-то! – зашептала Анисья, поднимая ребенка с полу и укачивая его. Вспыхнула лучина и осветила мертвенно-бледное лицо ребенка с пеной на губах и плачущего Петю.

– Ну же, мой бедненький! Ну же, мой хорошенький! Экая беда! Экое горе! – шептала бабка. – И отца-то, как на грех, все нет. Хоть бы скорей приехал что ли, вот беда-то!

Петька плакал, снег царапался в окна, и на руках Анисьи лежал ребенок, за которого боролись жизнь и смерть.

Жизнь, однако, к счастью или к несчастью, победила. Синяя бледность мало-помалу улетала с лица, уступая место краскам жизни. Дыхание становилось ровнее и яснее, и наконец ребенок открыл глаза. Пустые глаза новорожденного, недоуменно смотрящие на мир и не видящие его. Но вот они остановились на умершей, что-то промелькнуло в них, маленькое тело снова вздрогнуло, и слышался жалобный плач.

Новое существо родилось в мире, уже не без сознания, а с сознанием. Этим существом был я, а умершей – моя мать.

Таково было рождение моего сознания из небытия. Таков был первый урок, данный мне жизнью. Такова была первая памятная «радость» детства!

Первое, что я своим умом осознал в мире, была смерть. Да! После этого я знал ее, и знал хорошо. Недаром долго я вздрагивал при одном этом слове^{18*}. Это она была тем ломом, который пробил во мне лед бессознательного бытия; это она была тем акушером, который помог родиться сознанию из чрева бессознательного.

И теперь, когда я вспоминаю это и пишу об этом, мне жаль этого ребенка, которому «добрые феи» поднесли такой «дорогой подарок», но я и рад вместе с тем за него. Нет, ему нечего завидовать тем детям, у которых было безмятежное и светлое детство. Кто хочет быть пахарем жизни, тот с первых дней должен вынести ужас смерти. Если не вынесет, значит не годен. Если вынесет – ничто не грозит ему; он все выдержит и все стерпит.

Да здравствует же смерть, родящая великую силу жизни! Пусть другие, необреченные, наслаждаются беззаботным детством! Вы же, обреченные, смело идите навстречу смерти! Труссы не бывают вертоградарями^{19*}.

– Тут холодно, ступайте на печку и ложитесь спать, – суя по куску хлеба нам в руки, посоветовала добрая бабка.

Мы пошли и прижались друг к другу. Во всю ночь мы не сказали {друг другу} ни слова, хотя и не забылись ни на одну минуту. Думали ли мы о чем? Не помню. Помню только вой собак и свист вьюги да таинственный страх, исхо-

дивший «оттуда», от кого-то похожего на маму, но чужого, милого, но ужасного, ласкового, но мертвого.

Такова первая картина моей жизни.

Глава 2

Наутро приехал отец. Он был «серебряник», или, как значилось на вывеске, «золотых, серебряных и чеканно-малярных дел мастер» Никуличев^{20*}. Накануне смерти матери, не ожидая такой быстрой развязки, он уехал верст за тридцать в соседнее село. Священник этого села известил его, что у него в церкви есть работа. «Надо выкрасить всю внутренность храма, вызолотить и высеребрить ризы на священных иконах и, кроме того, сделать две новые – на икону Покрова и Николая-Угодника, – писал он ему. – Ежели ты, Николай Павлович, согласен работы взять, так приезжай в воскресенье на ряды; будет староста, и все мы обладам».

У отца здесь дело уже шло к концу. Чистка иконостаса была закончена, оставалось только высеребрить паникадило да два подсвечника. Через неделю все равно надо было уезжать отсюда и искать новой работы. При таких обстоятельствах предложение отца Устина было очень кстати, и отец в субботу вечером уехал, обещав вернуться в понедельник утром. Хотя он и мало надеялся на выздоровление матери, но и не ждал такой быстрой развязки. Жизнь, однако, не считается с желаниями человека, а сидеть у постели умирающей имеют право только сильные мира сего, которым мудрые феи подарили ящики золота в день их рождения. Отец уехал, а мать умерла.

Маму похоронили. Ясно рисуются церковь, гроб, зажженные свечи, много знакомых баб и мужиков и отец, нарядившийся в свой праздничный пиджак. Что-то пели, что-то говорили, кое-кто плакал, но мне не было до этого дела. Я был равнодушным, посторонним зрителем, для которого все эти церемонии были чуждыми.

Гроб заколотили, поставили на сани, меня с братом посадили на гроб и повезли.

Куда? Разве я знал? Да и не все ли равно мне было?

– Не хочу, – заявил я, соскочив с гроба, и отправился к своей избе. Какое мне дело до гроба и до того, что там лежало! Я знал одно – там не было мамы, а была похожая на нее смерть.

Пришли домой и забрались на полати. Думали о чем? Не знаю. Сложна душа человека, и быстро выветриваются из нее отпечатки пальцев жизни.

Потом пришли поп, псаломщик, староста и кое-кто из мужиков, ели, пили и под конец были все пьяны, а отец так пьян, каким я его еще никогда не видел. Сначала он плакал, а потом замолчал и начал пить. {Молчал и пил.}

[Скоро все ушли... Отец долго сидел за столом, опустив голову на руки.

– Что, ребята, приумолкли? Сходите-ка сюда....

Мы сошли. Он взял нас за руки и заглянул в глаза долгим и тяжелым взглядом.

– Что, мать ушла... – не то спрашивая, не то отвечая себе, сказал он. – Как теперь будем жить-то? ... Ну да ладно... Проживем. А умрем – так двум смертям не бывать, а одной не миновать... Идите спать... И храни вас Господь, – перекрестил он нас.]

...Скоро мы переехали в соседнее село, и потекла более или менее однообразно моя жизнь в течение ряда лет. Пожив в одном селе, переезжали в другое, из другого в третье. Была работа – были сыты. Не было работы – голодали. И голодали молча, без особенного протеста. «О праве на жизнь» и «о праве на труд» нам никто не говорил тогда...^{21*}

Теперь, когда вспоминаю я эти годы и кратко стараюсь развернуть ленту моей жизни, странное настроение охватывает меня. Вот в эти минуты, когда я пишу эти строки, когда за окном поет знакомая вьюга, а рядом слышатся аккорды Шопена, я чувствую какое-то тихое умиление. Кажется, будто душа моя помолодела вдруг и стала нежной, детской, совсем детской. Как будто растаяла какая-то скорлупа, нарощая на душе, и вместе с ней все наносное, чужое и внешнее. Теперь я чувствую себя совсем ребенком и готов, право, даже плакать сладкими слезами умиления.

Откуда такая радость? Не знаю. Но знаю, что сейчас мне радостно, и знаю, что я готов благословить мою дорожку жизни и, если бы можно было, снова пройти ее всю.

О, в ней не было ни уюта, ни ласки матери, ни теплой постели и игрушек, ни бонн, ни учителей! Но зато моей семьей был народ, уют давал разногранный мир, а учителями были я сам, мир и его нужда.

Золотушным нужны пилюли и мази, но им зато всю жизнь приходится сосать кисло-сладкую соску пошлости. А вы все, живые и обреченные, бывшие, сущие и будущие! Бегите от теплых кроватей! Бросайте прочь сладковатые, пахнущие пеленками соски! Ступайте на широкую дорогу и идите, куда глаза глядят! Если нечего есть – грызьте землю; если негде спать – ложитесь на дороге; если хотите учиться – выбирайте учителями опасность, нужду и свое разумение. Не бойтесь, найдете свой путь! Много опасностей – много и радости! Не вам завидовать «радостям» светлого детства. Оставьте их на долю золотушных, расчесанных и приглаженных сосателей сладкого молока и детской муки «Нестле». Пусть себе смакуют печенье Геркулеса и овсянку, а выросши – гнилой рокфор да устрицы!

Глаза их слепы, как глаза кротов, уши их глухи и заткнуты ватой, а вкус? «О, мы – эстеты!» – говорят они и бьют в тимпаны и бубны на всех улицах и перекрестках.

Бедные «эстеты», склоняющие всю жизнь одно слово «любовь» с неизбежным дополнением – «на постели». Вы так близоруки, что весь мир уходит от вас! Вы так переоценили голландское какао и рокфор, что все неисчерпаемое богатство жизни, вся красота, которой насыщена каждая частица вселенной и каждый момент времени, – все это проходит мимо вас, и вы мимо них!

Ну, так проходите же! А мы, обреченные, мы шире раскроем глаза, чтобы любоваться ими, сильнее напряжем слух, чтобы не упустить ни один аккорд жизни^{22*}, будем голодать, чтобы прекрасным был черствый кусок хлеба!

Теперь я вижу ясно, как я был счастлив и как много хорошего было в моей «бедной жизни».

Правда, было кое-что, что мне не нравилось. Например, я ужасно не любил растирать краски. А растирать нужно было, особенно в первое время, когда на более интересное я еще не годился. Засадит, бывало, отец за растирательную доску, насыплет горошины белил или куски медянки, нальет масла, сунет в руки большой гладкий камень и командует: «Живо! За работу!»

Начинаешь растирать. Трешь, трешь – конца не видно. Кончишь порцию – идет другая, и так без конца. Мало ли краски нужно для целой церкви. {Работа скучная, однообразная, не дающая ничего ни уму, ни сердцу...}

Но и тут бывали развлечения. Когда уже особенно надоест работа – не выдержишь: схватишь лопатку с краской, да и мазнешь, бывало, брата, а ненароком кого-нибудь и из приятелей-мальчишек.

За вызовом следовал такой же ответ. На ответ – новое нападение. Кончалось дело или хорошей оплеухой отца, моментально усаживавшего нас за работу, или... полным «живописанием», как называли мы это. {Измазывали друг другу лицо, руки, одежду и были довольны. «Словно барыня набелилась и наштукатурилась», – подтрунивали мы друг над другом}.

– Чтой-то ты сегодня такой «живописанный», словно Егорий-мученик, – подтрунивали мы друг над другом. А сколько прелести было в чеканке риз и в окрашивании церкви! Рисунок с иконы снят и накамфарен на гладком листе меди. Вычищенная медь ярко горит под лучами солнца на смоляной доске. Предварительные приготовления кончены. Можно приниматься за чеканку. Яркие лучи солнца весело играют на листе меди. Весело и нам. Садимся за стол, и начинается творчество. «Тук-тук», – стучают три молотка по чеканам. Удары красиво звенят и переливаются друг с другом. С каждым ударом творчество идет все дальше и дальше. Сначала неясно, а потом все яснее и яснее обрисовывается фигура святителя. Отец отчеканивает какую-нибудь складку, брат – омофор^{23*}, а я усыпаю его жемчугами и сапфирами, отчеканиваю бахрому и кисточку. Лишний удар – и все ярче и ярче рождается на чистой доске живой святитель со всеми складками, со всеми мелочами. Работаешь и сам дивишься своему творчеству.

Красиво звенят чеканы и молотки. Один удар вторит другому. Перебои следуют за гармонией.

– И-иже херувимы^{24*}, – запекает отец.

– Тайно образуяще, – подхватываем мы. Голоса сливаются с ударами, молоток и чеканы аккомпанируют пению, медь блестит, смола так хорошо пахнет, а солнце светит ярко, словно любит свое отражением.

– Трисвятую песнь припевающе, – поют голоса.

Радость творчества охватывает нас. Чувствуется, что Дух Божий носится над нами и светит нам «светом тихим святых славы»^{25*}.

[В часы, свободные от работы, мы были предоставлены самим себе. Каждый делал то, что хотел... Моим любимым делом было рисование. Пока я не научился читать, в такие часы я брал карандаш, бумагу и рисовал... Чертил икононостасы и срисовывал иконы. Приятно было выводить на бумаге сложные узоры резьбы, витые колонны, кружевные царские врата с духом святым в виде голубя, окруженным сиянием славы... Не менее приятно было рисовать и святых, то в убогих хитонах, то в пышных священных одеждах... Эта любовь к живописи чуть было не определила мою судьбу.

Приехал к нам однажды живописец Журавлев... Он работал в соседнем селе, писал иконы и заполнял живописью потолок и стены вновь выстроенной церкви... Высокий, тощий, с живыми черными глазами, с бледным морщинистым лицом, он был почти всегда пьян... Пьяным приехал он и к нам...

– Христос воскрес! Павлович! Пошли, брат, за водкой! – с такими словами вошел он в избу.

Я сбегал за водкой.

– Молодец! – Встретил он меня, когда я принес бутылку из кабака. Началась выпивка. Мы с братом убежали на улицу. За выпивкой, должно быть, отец проболтался и о моих «художествах»...

Часа через два я зашел домой. Они все еще сидели и пили.

– Поди-ка сюда! – поманил Журавлев меня пальцем. В его руках была моя тетрадь с рисунками. – Рука у тебя верная. Может из тебя кое-что путное выйти... Только что это ты все богомазишь? Все иконы да иконы... Ты, брат, брось это. Ведь мы только мазней занимаемся. А ты рисуй живое, что видишь сам... Вот и я измазал сотни икон, а художества в них ни на грош... Жизнь, касатик, заставляет, жизнь... Жрать надо... А ты не делай так. Поступай ко мне в ученики. Вспомню старое – кой-чему научу... Хочешь, а?

Я отказался...

– Ну, будь по-твоему. Христос воскрес.. Пожалуй, и ладно. Выдохся я и спился... Пожалуй, и ладно. Выпьем, Павлыч, Христос воскрес...

Так окончилась моя художественная карьера.

...Позже, когда я научился читать, почти все свободные минуты я сидел за книжкой. Рисование было забыто... Его место заняло чтение. В те же свободные часы и безработные дни немало времени проводил я на улице, играя с мальчиками. Слава Богу, в деревне нет тех формальностей, которые нужны для знакомства в городе. Приезжали в село и через неделю были уже знакомы с деревенскими детьми. Сама жизнь приучала нас подходить к людям непосредственно. Как равные к равным подходили мы к сверстникам, быстро сходились и становились друзьями. Летом я играл в лапту, в бабки, по десятку раз в день бегали купаться, качались на качелях, вместе бегали «воровать» репу и горох, а зимой катались на санках, лепили снежных баб, ходили на посиделки, путали куделю^{26*} на девичьих прятках, слушали и сами рассказывали сказки, были и небылицы. И теперь еще эти «посиделки» стоят перед глазами, как живые.]

Глава 3

Вчера я был в церкви. Бедная {убогая} сельская церковь. Темно... Горят две-три свечки. Горят, пугливо обвеваемые тенями, летающими под сводами и в углах церкви. Было пусто. Гулко и сиротливо отдавались голоса священника и дьячка.

Словно кого-то дорогого увидел я снова. Строгие лики показались снова живыми. Аромат ладана наваял мечты о потерянном и забытом рае, а в неясных отзвуках слов, перебрасываемых сводами, ожила вечно новая и вечно старая тайна души человека.

Воскрес снова тот таинственный мир, которым когда-то жила душа ребенка.

В ранние зимние утра, когда заря еще только розовеет над полосой леса, когда дым из изб прямыми столбами восходит к небу, я любил ходить в церковь, такую же безлюдную и сумрачную, как и вчера. Переступая порог, я входил в новый мир, мир святых ликов и великих подвигов, духа и ладана, в мир, где человек рождается и где умирает... Тихо горят свечки. Неясно доносятся слова, тени пугливо прячутся по углам, а я, стоя в углу, жадно упивался веяниями этого мира и уходил в неведомые области Божьего царства. Чудились подвиги мучеников – и лики их казались живыми. Вот архидьякон Стефан, побиваемый камнями^{27*}. Вот Георгий, храбро убивающий дракона^{28*}, а рядом с ним – великий Пахомий, ушедший от мира в далекую египетскую пустыню^{29*}.

Странно. Казалось бы, не должно быть у меня {никакого} теплого чувства к церкви, к этому застывшему кладбищу суеверий и изжитых истин. Разве не боролся я в годы юности против всей церковности и попов? Разве не подвергся за это гонениям? Да, все это было и осталось. По-прежнему не верю я ни в один из догматов и по-прежнему считаю необходимой борьбу с суевериями. Но все же я люблю церковь и весь мир Бога как дивный венец поэзии, созданный миллионами душ, ищущих неба.

Сколько слез человеческих и горьких вздохов застыло в этих сводах, лампадах и иконах! Сколько глубочайших молитв и чистейших порывов окаменело в этих обрядах! Сколько здесь чуда и красоты! Мир духа святого носится здесь над человечеством и окрыляет его на дальнейшие постижения!

Этот мир раздвигал тесные границы дня для ребенка и уводил его за грани житейской суеты.

– Да исправится молитва моя! – звучали тихие слова. И детская душа отзывчиво вторила им.

– Мир вам! – говорил кто-то. И вечный мир наполнял юную душу.

За окнами кудрявились березки и любовно осеняли белые кресты на могилах. Падали косые лучи солнца, и горело золото духа святого на воротах «царя царей».

– Свете тихий! Святыя слава! – пели незримые ангелы, пришедшие на запад солнца, видевшие свет вечерний, и тихий свет чудился в косых лучах вечернего заката и в тихом пламени светящейся лампадки. Рисовались белые туники мучеников, катакомбы, дикие пещеры, где когда-то молились гонимые, желанный покой усталой души, разбитой волнами жизни, вечный порыв в горных селениях и тихая ласка какого-то чуткого, нежного и доброго. А ласка так нужна человеку! Кто мог ее дать мне? Мать? Увы, ее не было. Временами хотелось кому-то доброму рассказать все, пожаловаться на горести, попросить совета и участия, и я шел сюда и находил все, что недоставало душе заброшенного ребенка. И в такие минуты особенно жадно упивался я дивными словами прощальной поэмы: «Со святыми упокой идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная»^{30*}. Тихая печаль окрыляла душу и наполняла ее чистым светом вечного покоя, белого, как свечка пасхальной заутрени.

Нередко целые дни проводил я под темными сводами церкви на лесах, обмывая и обновляя дорожную святыню. Заберешься на своды, обмакнешь кисть в краску и начнешь покрывать стены или иконостас. Гулко отдаются слова. Звучно льется божественная песня, и быстро идет работа. Временами заглядишься на какого-нибудь святого, вспомнишь его жизнь и на минуту забываешь обо всем. Рисуется грозный царь Диоклетиан, кругом него злые-презлые судьи, толстые с противными лицами, а перед ними – мужественный, прекрасный святой^{31*}. Ничего он не боится, а смело глядит в глаза идолопоклоннику и проповедует свою веру. До крови бьет его палач, разрывает тело крючьями и щипцами, прижигает каленым железом, ломает его на колесе, зарывает в землю, а святой тверд и непреклонен, как камень.

И долго, бывало, рисуются эти картины, пока отец или брат не разбудят окриком: «Эй ты, маляр! Смотри, неладно намазал». Или: «Эй ты, блаженный, слетишь!»

Фантазия исчезала, приходила явь, и рука снова весело принималась за работу. Оттого-то, должно быть, и люблю я до сих пор запах свежей краски, высоту лесов и глубокую бездну под ногами...

А хорошо летом на крыше церкви! Высоко-высоко стоишь над людьми! Солнце горячее, кругом синева, теплая железная крыша приятно щекочет подошвы ног, вдали синей лентой вьется река, временами пролетит ветер, а под ногами – бездна, немного жуткая, манящая вниз. Каждое движение должно быть рассчитано, каждый шаг измерен. Иначе – беда. Сорвешься – и готов. И срывались... Работал однажды вместе с нами маляр Ферапонт. Красили мы церковь. В тот день он был на шпиле, а я красил купол храма. День был ласковый, летний. Небо было тающе-синее. Кругом тихо. Солнце всюду разбросало золото, и само золото горело на главах церкви. Я мурлыкал какую-то песню, а Ферапонт подпевал мне. Вдруг – дикий крик. Взглянул – что-то черное падает вниз. Вот оно ударилось об один выступ, полетело дальше, грохнулось на крышу пролета, медленно поползло по ней до края и, наконец, тяжело и мягко екнуло об землю. Помню, как застыл я и как тихая дрожь пошла по всему телу. Стоял, видел, как оно падало, видел, как покраснел белый выступ, как темно-коричневые пятна отпечатывались на крыше.

Нужно было слезать вниз, но руки и ноги стали твердыми, костяными. {Не знаю, как сошел я тогда. Помню только.} Никогда с таким трудом не спускался я по лестнице, и никогда так не кружилась у меня голова. Внизу я увидел окровавленный кусок мяса, {похожий на сырой бифштекс}.

Теперь, когда приходится читать в газетах, как ежедневно обрываются с лесов рабочие, как рушатся леса и хоронят с собой несчастные жертвы, предо мной всегда встает та же картина, тот же красный выступ, темно-коричневые пятна и окровавленное тело на зеленой траве.

Да, судьба делает свое дело... Газеты пишут, а люди за кофе почитывают об этом, пережевывая булку с маслом. Я не прочь был бы послать их посмотреть на это зрелище... Быть может, тогда не так спокойно бы жевали они свои бутерброды и немножко задумывались бы над такими «фактами».

Раза два или три и самому мне пришлось быть на краю смерти^{32*}. Однажды красили мы в городе старый собор с высокой колокольней. День был такой же лазурный. Утром устанавливали лестницы, а после обеда начинали красить крышу колокольни. Занятые работой, мы не заметили, как надвинулась туча. Тревожно залетали голуби и галки. Пугливо начали визжать языки колоколов, качаемые ветром. Поднялся ураган и начал крутить. Мы – к лестнице. Поздно... Треск... Лестницу сорвало... Кругом ад... Под нами аршинная отлогая полоска крыши... За ней – бездна. Руки судорожно вцепились в веревку, обнесенную вокруг купола. Везде трещит... Внизу крутятся столбы пыли... Несутся обломки крыш... Сорвало шапку... Упала... Вот-вот сорвет и нас.

Не знаю, каким чудом спаслись мы. Когда после бури нас сняли, у меня на ладонях была кровавая полоса живого мяса. Шла кровь, и не разжимались руки. Помню еще, как одна хорошенькая девочка с матерью подошла ко мне и дала мне конфеты и цветы. Было радостно. На другой день пропечатали про нас в газете^{33*}.

Это была первая печатная заметка о моей персоне. Я смеялся и гордился. И, пожалуй, имел право: во всяком случае, большее, чем те «знаменитости», которые платят и «душой и материей» за «рекламу», а потом сами же радуются дешевой славе. Чудаки!

[Так с малых лет я вошел в широкий мир общественности. Незаметно и без намерения я знакомился с сотней лиц, молодых и старых, проникался их взглядами, впитывал в себя воззрения народа, радовался его радостям и болел его печалью.

Сколько старых друзей разбросано по разным деревням! Теперь из детей они стали мужиками, поженились, сами уже имеют взрослых ребят. Жизнь их шла ровной дорогой, завещанной им дедами и прадедами. Мир волнений остался им чужд. Жили и живут они почвенной, крепко сколоченной жизнью. Исподволь меняются, не зная «надрывов», высоких взлетов и трагических падений.

Моя судьба оказалась иной... Не суждено было идти дедовской и Колыбину, с которым связала нас жизнь с самых ранних лет. Вот как произошло наше знакомство с ним.

Мы только что приехали в одно село. Познакомиться с ребятами еще не успели. Через два дня по приезду в селе был храмовый праздник – Покрова^{34*}... Утром с братом пошли в церковь, а днем вышли на улицу. На дороге была грязь. Стояли лужи воды. Парни и девки собрались на площади около кабака и завели хоровод. Благо день выдался солнечный, ясный.

Пестрая гирлянда цветных платьев девиц медленно извивалась в хороводной цепи. Степенно и плавно выступали они лебединой походкой. Парни, подвыпившие, заломившие набекрень шапки, приплясывали и лихо вскрикивали, отбивая ногами мелкую дробь. Переливчато и стройно лилась песня. Временами прерывался визг гармошки.

На крыльце и на завалинках примостились пожилые старики и бабы. Мальчишки, ошалелые, юркие, вьюнами скользили кругом, врываются в хороводную цепь, прыгали и резвились.

Я стоял в сторонке и смотрел. Хотелось и мне подурачиться, да не хватало смелости сразу вмешаться в толпу ребятешек...

А они тоже заметили меня... Подходили близко, смотрели и указывали пальцами.

– Чего ты накуксился? – Смело подошел ко мне коренастый мальчишка. Пиджачишко его был разорван, лицо измазано, шапчонка лихо заломлена, а на круглом лице светилась развеселая улыбка. – Чей ты и чего стоишь один?

Я сказал, чей и как попал сюда.

– Стало быть, богомаз, – решил он. – И жить будете здесь?

– Да.

– Коли так, пойдем девкам косы трепать, нечего тебе тут одному-то маячить...

Мальчишка мне понравился. Уж больно славной показалась мне его измазанная рожа и заливчатский вид.

– Меня зовут Ванькой. Коли хочешь, будем дружить.

Мы двинулись к ребятам. Кое-кто из них сначала посмотрел на меня не очень дружелюбно.

– Видишь это? – Показал мой приятель одному из них кулак. – Только смей тронуть – сворочу нос.

Скоро я почувствовал себя среди «своих» и преспокойно участвовал во всех проделках ребят.

Вдруг пение оборвалось... Хоровод рассыпался... Послышался шум, матюжки.

– Ну, приятель, теперь пойдем на сарай. – Потащил меня Ванька, указывая на крышу ближайшего сеновала. – Тут сейчас пойдет свалка, конец на конец. Может влететь и нам, коль не уберемся. А оттуда – забавно смотреть...

Он был прав... Девки разбежались, остались на месте хоровода лишь парни. Чаще и громче посыпался «мат-перемат», в воздухе замелькали кулаки, полетели шапки, появились колья и поленья... Началось побоище...

– Верхний конец берет, нижнеконцевых бьют, ловко бьют! – слышалось среди стоявших у сарая.

Разодетые парни теперь барахтались в разорванных рубахах, по лицам текла кровь; двух вынесли из кучи без сознания...

– Вот сейчас пойдет чистить Федя Копытов. Видишь, вон он стоит. – Дернул меня за рукав приятель...

Внизу около сарая стоял высокий парень, со смиренно-добродушным лицом.

– Не вытерпит, не вытерпит, не выдаст своих нижнеконцевых, – задорно волновался Колыбин. – Уж он покажет, даром что одними кулаками дерется. Ему, вишь, нельзя иначе... И кулаком может до смерти зашибить, а поленом – уж наверняка...

Копытов действительно не выдержал... Степенно, не торопясь, снял шапку, скинул пиджак, засучил рукава и перекрестился: «Кабы не зашибить кого...»

Так же степенно двинулся к куче дерущихся, подошел, схватил одного парня в охапку и бросил в сторону...

– Иди домой, петушок, – слышали мы.

Парень отлетел шагов за десять и грохнулся об землю.

Вокруг Копылова закипела толпа... Как кузнец, он ровно поднимал руку и опускал ее легонько, неторопливо... Что-то екало, и парень падал на землю... Другие летели в сторону из кучи. Одного он поднял на руки и бросил через головы дерущихся...

Кто-то замахнулся на него поленом.

– Брось, а то убью, – закричал великан, схватил рукой полено и выкинул его из круга.

– Ай да Федя... Вот молодец-то... Ловко! Глянь-ка, глянь, – неистовствовал мой приятель.

Скоро куча растаяла... Человек пять унесли полумертвыми, часть разбежалась, а остальных великан расшвырял, как мешки с мукой.

– Пить пива! – прохрипел он, возвращаясь.

Принесли жбан пива... Богатырь высушил его сразу, отер окровавленное лицо и надел пиджак.

– Кажись, не зашиб никого? – уже добродушно спросил он.

– Никого. Отойдут все...

– Ну и слава Богу!

– Вот бы такую силищу мне, – восхищенно высказал Ванька. – Все бы разнес вдребезги... И откуда такая сила, ты не знаешь? – полюбопытствовал он.

– Нет.

– Ужо спрошу завтра учителя. А ты умеешь читать?

– Умею, – отвечал я (тогда уже я научился грамоте).

– А в школу будешь ходить?

– Не знаю, коль пустит тятя – буду.

– А книжки есть интересные?

– Есть.

– Будем читать вместе. Идет?

– Идет.

– Глянь-ка, вон пьяная жердь идет. – Вдруг встрепенулся он.

– Где, какая жердь?

– Да вон. Видишь, поп. У нас его жердью зовут, потому что тонок он и долог, как жердь. Сейчас будет девок разгонять. Вот потеха-то, пойдем ближе. – И он с сарая прыгнул на землю и полетел прямо по лужам навстречу к попу... Подлетел и с разбегу ударил ногой по луже. Брызги воды полетели на попу и облили его...

Тот, пьяный, завидев девок, побежал бегом, длинный, шатающийся, с развевающимися космами волос...

– У, блудницы, – заорал он. – Опять на бесовские игрища собрались? Опять дьявольское плясание, ногами скакание, телесами кривляние и бедрам помывание... Курвы! Домой идите. Довольно дьявола-то тешить. – Бегал он за девками.

Ванька, а вслед за ним и мальчишки, табуном следовали за ним.

– Поп, поп, толоконный лоб! – заливался Ванька, весь измазанный, мокрый, с лицом, сиявшим от удовольствия.

Поп ничего не слышал... Преследуя девок, он стал переходить по доске, перекинутой через лужу... Ступил два шага, покачнулся и, длинный, бухнулся в лужу.

Кругом хохотали... Подошли два-три мужика, подняли и отвели его домой.

Мой приятель умирал со смеха, кривлялся, корчил рожи, дрыгал ногами и хохотал.

– Плохой он у нас, – успокоившись, объяснил он мне... – Мужиков обижают, да и больно бьет школьников... Пальцы-то у него длинные, как ударит, так и оборвет ухо-то до крови. Так ему и надо. Жердь, так жердь и есть, – утирая под носом и сплевывая, философски добавил он...

Целый день провели мы вместе. Заходили ко мне, смотрели мои книжки, потом к нему. Он угостил меня пирогом, я его – пряниками, купленными на пятак в лавочке.

Союз был заключен... Со следующего дня он возобновился. Днем ходили рыбу ловить мордами^{35*}, а вечером смотрели книжки с картинками...

Как-то сразу пришлось по душе мне этот «сорвиголова» – веселый, разудалый и любопытствующий... Ему было море по колено.

– Ну и ловко отодрал меня батька, – спокойно заявил он мне на другой день. – Это он меня за пиджак и штаны, что я измазал вчера. Ну да ничего. Хоть и больно, да ведь кожа-то не купленная, заживет... Приходи завтра в школу.

Около трех месяцев прожили в этом селе. Отец частенько пускал меня в школу. Там мы совсем подружились с Колыбиным... И он, и я учились отлично... И оба шалили отлично. У него и у меня поп оборвал мочку уха. А учитель чуть ли не каждый день ставил нас в угол, иногда коленями на крупный песок... Мы стояли, гримасничали и делали носы школьникам, когда учитель отворачивался. В свободные часы почитывали книжку и чувствовали себя отлично. Ему влетало частенько, и мне тоже нередко. Но мы не очень горевали: пока били – было больно, переставали бить – боль исчезала.

Так завязалась наша дружба... Через три месяца она оборвалась. Судьба погнала меня дальше. Встретились мы снова в двухклассной школе, и с тех пор наши дороги почти не расходились.

Хорошо иметь такого друга жизни... От души жму тебе руку, дорогой товарищ!]

И много еще других образов и переживаний, связанных с тою же церковью, встает сейчас предо мною. Есть между ними и грустные картины. Но зачем вспоминать их! Они отодвинулись куда-то назад и поблекли... А радостные живыми стоят перед глазами и наполняют душу свежим ароматом, тем, что дает силы и



Н.Д. Кондратьев (Колыбин) и П.А. Сорокин (Никуличев) –
ученики Хреновской церковно-учительской школы (1906–1907)

молодость. Новый мир, царство духа, великие примеры силы и стойкости, дивная поэзия тысячи людей, опасности и борьба с ними – вот то, что дала мне церковь и что вдохнула она в душу ребенка. В той длинной и трудной дороге, которая выпала на мою долю, мне пригодились эти капиталы. Они не раз были теми «моторами», благодаря которым я вырывался из цепких «лап жизни». Привет тебе, сельская, убогая церковь, застывший памятник горя и радости, молитвенных вздохов и проклятий сотен тысяч людей!..

[В детские годы душа еще полна была религиозного жара... Мир, открываемый религией, был так не похож на обычный. В нем чудились великие образы чистоты, подвига и духовной силы. Темное, отжившее и «земное», которое таилось в религии за ее небесной формой, тогда не замечалось... Я видел только светлые стороны культа и веры.

Немало помогло этому и чтение «Четых-миней»^{36*}... Они были одними из первых прочитанных мною книг. В деревне, где мы тогда жили, был старик Кокковкин^{37*}, в молодости служивший в Питере. Оттуда он вывез прекрасную картину «Саваоф»^{38*} и четыре большие, толстые книги «Миней». С радостью принес я их однажды к себе в избу...

– Смотри, не зачитайся, – наставительно сказал мне старик, давая книги. – Говорят, кто прочтет их от корки до корки, сходит с ума. Ты еще молодец, касатик. Не читай все, а то, чего доброго, сдуришь...

Мое любопытство было возбуждено. «Сдурю – не сдурю, а прочту все», – решил я и с трепетом раскрыл старую кожаную книгу, такую же древнюю, как время, ее породившее.

««Аз есмь воскрешение и живот. Веруей в Мя, аще и умрет, оживет»^{39*}, – сказал Спаситель», – прочел я на раскрывшейся странице. «Слово сие исполнилось и на преподобном Афанасии Затворнике Печерском, – читал я дальше безыскусный рассказ повествователя. – Богоугодно пожив, Афанасий черноризец преставился после долгой болезни... Братия омыли тело его и обвили, яко подобает иноку, и мертвым лежал он два дня, в ожидании погребения. Ночью был глас игумену: “Человек божий Афанасий два дня лежит непогребенным, а ты не радеешь^{40*}”. На третье утро пришел игумен с братией к умершему, но его обрели сидящим и плачущим. Все ужаснулись и спрашивали: “Како он ожил и что видел и слышал”. И ответил Афанасий: “Спасайтесь... Имейте послушание, кайтесь на всякий час и молитесь, да скончае жизнь благочестиво и сподобитесь Царства Христова. Блажен будет, кто все сие исполнит по чину, только да не превознесется... Более не спрашивайте меня, но молю Вас, простите”.

Сказав сие, пошел в пещеру и, заградив двери, пробыл там 12 лет, никогда не исходя и не видя солнца, плакал день и ночь, хлеба и воды вкушал понемногу и чрез день, и во все сие время ни с кем не говорил»^{41*}.

Священник этого села известил его, что у него в церкви есть работа. „Надо выкрасить всю внутренность храма, зазолотить и выеребрить ризы на священных иконах и кроме того сделать два новья - на икону Покоя и Николая - Угодника, писать отъ ему. Ежели ты, Николай Павлович, согласишься работи взять, такъ приѣжаи в воскресенье на радъ, будетъ староста и все мы обладать!“

У отца здѣсь дѣло ~~шло~~ шло къ концу. Чистка иконостаса была закончена, оставалось только выеребрить паникадило, да два подвѣчника. ~~Черезъ недѣлю все равно надо было уѣзжать отсюда и искать новой работы. При такихъ обстоятельствахъ предложене о. Устина было очень кстати и отецъ въ субботу вечеромъ уѣхалъ, обѣщавши вернуться въ понедѣльникъ утромъ.~~ ~~Черезъ недѣлю все равно надо было уѣзжать отсюда и искать новой работы. При такихъ обстоятельствахъ предложене о. Устина было очень кстати и отецъ въ субботу вечеромъ уѣхалъ, обѣщавши вернуться въ понедѣльникъ утромъ.~~ ~~Уже мало надѣялся на выздоровленіе матери, но и не ждалъ такъ быстрой развязки. Жизнь, однако не считается съ желаніями человѣка, а сидѣть у постели умирающаго имѣть право только сильныя міра сего, которые мудрыя феи подарили ящики золота въ день ихъ рожденія. Отецъ уѣхалъ, а мать / умерла... / маму похоронили. Ясно рисуются церковь, гробъ, зажженные свѣчи, много знакомыхъ бабъ и мужиковъ и отецъ, нарядившійся въ свой праздничный подрясникъ. Что - то пѣли, что-то говорили, кое-кто плакалъ, но мнѣ не было до этого дѣла. Я был равнодушнѣе, постороннимъ зрителемъ, для котораго всё эти церемоніи были чуждыми.~~

Гробъ зазолотили, поставили на сани, меня съ братомъ посадили на гробъ и повезли. Куда? - Развѣ я зналъ? да и не все ли равно мнѣ было.

„Не жучу!“ завылъ я раскоченивъ съ гроба, и отправился къ свѣтл избу. Какое мнѣ дѣло до гроба и до того, что тамъ лежало! Я зналъ одно, тамъ не было „мамы“, а была похорона на нее смерть. ~~Пришли домой и забрался на полку. Думали-ли о чемъ? / маму похоронили. Ясно рисуются церковь, гробъ, зажженные свѣчи, много знакомыхъ бабъ и мужиковъ и отецъ, нарядившійся въ свой праздничный подрясникъ. Что - то пѣли, что-то говорили, кое-кто плакалъ, но мнѣ не было до этого дѣла. Я был равнодушнѣе, постороннимъ зрителемъ, для котораго всё эти церемоніи были чуждыми.~~

Потомъ пришли поше, псаломщикъ, староста и кое-кто изъ мужиковъ, ѣли и пили, и подъ конецъ были всё пьяны, а

Картина за картиной разворачивались предо мной в простых словах летописцев и благочестивых повествователей.

Прочел одно житие, потом другое. Новый мир открылся предо мною. Кругом в тиши полей текла мирная и тихая жизнь. Люди веровали по старинке, как верили деды и прадеды. Никто их не преследовал за это, никто не жег, не сажал в темницы. Не видно было и борьбы страстей. Жили люди мирно, без соблазнов и искушений.

А в «Четьях-Минеях» все было иное. Здесь ключом била какая-то бурная жизнь, полная борьбы, подвигов и мятежа страстей. Вставали герои, смело идущие на смерть за веру; подвижники, оставлявшие «отца, мать и жену и уходившие в пустыню», аскеты, изнурявшие тело во имя духа, блудницы, менявшие роскошное ложе, ароматы, шелк и бархат на власяницу, вериги и деревянную доску... И рядом с ними – мир Бога, подкрепляющего своих служителей, и мир неугомонного дьявола, искушающего всех и неустанно борющегося со своим неуязвимым врагом... Рисовались царские палаты, вертепы разбойников и блудниц, лесные кельи и хижина раба...

Я был подавлен и восхищен. Близок к сумасшествию. Едва ли когда прочел я с таким упоением хоть один роман... Родилось неутолимое желание и самому стать таким же подвижником. Если нужно было бы идти на костер – я бы пошел... Готов был все перетерпеть за свою веру и своего бога... Но никто не преследовал меня, дьявол не искушал соблазнами. Поэтому оставалось только поститься и молиться... Ранним утром уходил в лес, вставал там на колени и чуть не часами стоял, воссылая мольбы к Богу и его святым... И душа полна была святого трепета и огня.

По зимним же вечерам ходил на «посиделки» и читал там про жизнь Федора Студита^{42*}, Алексея Божьего человека^{43*}, блудницы Евдокии^{44*} и других святых. Мужики и бабы с упоением слушали чтение и мою проповедь. Вздыхали, затаив дыхание, следили за жизнью мученика, ругали мучителей и в страшных местах крестились, призывая Бога на помощь святому. Прекрасные в своей простоте «жития» трогали их не меньше, чем меня самого... А я, забыв про все, с увлечением читал, рассказывал и проповедовал.

С радостью и грустью вспоминаю теперь образ этого маленького подвижника и проповедника... Эти посиделки были моей первой аудиторией, бабы и мужики – первыми слушателями, а моя наивная проповедь правды – первой агитацией за справедливость...

Рад, что с детских лет я начал свою проповедь, грустно, что не нашлось тогда ничьей заботливой руки, которая раздула и поддержала бы этот порыв... Он долго горел и погас под копотью и уроками жизни... Наивные формы изжитых верований истлели, но живой родник религиозности не исчез... Он превратился в религиозное отношение к жизни, в священную оценку своего дела, в мораль

серьезного, бережного и благоговейного почитания свободно избранного долга... (Это знамя религиозного отношения к жизни, к людям, к ценностям я нес всю жизнь и пронесу его до смерти... В наше время легкомысленного прожигания жизни я особенно ценю его и горжусь им.)

...Первые трещины в моей религиозности вызвали никто иные, как служители самой религии – попы и духовенство... Сколько перевидал я их в эти годы скитаний от церкви к церкви, и как мало между ними видел я подлинных пастырей. Жирные и тощие, молодые и старые проходили мимо меня, и, увы, все они были мертвы для духа. Одни – хитрые, другие – простые, но почти все – «бескрылые» и невежественные...

«Чиновники Божьего министерства» – так назвал их один семинарист, и это название я запомнил.

Помню хорошо сцену, впервые поразившую меня своей «жизненной правдой». В церковь, где работали мы, бедная бобылка принесла гробик своего умершего сына. Пришел поп.

– Батюшка! Уж будь добр, не откажи отслужить обедню за полтинник. Дала бы больше, да нету, все тут, – развязывая узел платка, попросила бобылка.

– Что?.. Обедню за полтинник? Да еще и отпевание? Нельзя, родная, – пробасил спокойно священник.

– Чай, знаешь сама, что обедня – рупь, отпевание – полтинник, стало быть, полтора рубля, – добавил он.

– И рада бы, батюшка, да нету... Смилуйся, не откажи.

– Коли нет – проживешь и без обедни. За полтинник отпоем, нечего и разговаривать, – отрезал «батюшка» и вышел.

Таких сцен навидался я немало...

Другие священники были менее расчетливы, но зато грешили иначе... Не раз видел я, как пьяные, еле держась на ногах, служили они, роняли крест, путали молитвы, а иногда тут же тихонько ругались крепкими словами.

Один поп отличался своей драчливостью. Как праздник – так и драка: либо дьякон ходил без половины бороды, либо поп.

Третьи – напивались каждый день до бесчувствия и дурили всякий по-своему. Один раздевался донага, спускался к реке и начинал пускать по ней острые палки, бессмысленно присвистывая и приговаривая: «Тю-тю, тю-тю, лети, стрела, к Кашею!» Другой в таком же состоянии почему-то шел на двор, выгонял корову, садился верхом и ездил на ней, пока она не сбрасывала его...

Иные – во всем были аккуратны... Служили, как хорошие чиновники, продвигались по службе, наживали деньги, большое брюшко, и... только...

Трудно сейчас хотя бы схематично обрисовать виденных мной служителей церкви... Почти все они были «от мира сего»... Только один или два образа встретил я, о которых мог бы сказать: «вот это подлинные пастыри»...

Вот почему попов я не любил и не люблю. Это бесплодные и вредные смоковницы, растущие на здоровом теле религиозного отношения к жизни. Они – первые стяжатели морального нигилизма... Этим же объясняется и моя позднейшая борьба с ними, кончившаяся их жалобой на меня губернатору...

Церковь же, убогую сельскую церковь я любил и люблю... Ее догматы отжили, но ее поэзия – жива... Новый мир, примеры силы духа и подвигов, поэзию тысячи людей – вот то, что дала она душе ребенка. В той длинной и трудной дороге, которая выпала на мою долю, мне пригодились эти капиталы. Они не раз были теми моторами, которые вырывали меня из жестких «лап жизни».

Привет тебе, убогая сельская церковь, застывший памятник горя и радости, благословений и проклятий сотен тысяч людей!!]

Глава 4

Так и жили... Была работа – было хорошо. Не было ее – голодали. Часто надевали котомки и брели от села к селу иногда целыми неделями, пока не находили работы. Летом странствовать хорошо. Деревья зеленые, дорога теплая, босые ноги идут легко. Станет жарко – выкупаешься в речке, захочешь пить – та же речка утолит жажду. Устанешь – ложись на цветистый луг и спи спокойно под теплой лаской синего неба.

Зимой хуже. Холодно и невесело. Временами закрутит метель, засыплет дорогу, ничего не видно, и ноги тонут по колена. Зимой и люди сердитые. Зайдешь в избу – глядят косо, подозрительно. Не сразу найдешь ночлег, нередко ляжешь спать голодный. Денег нет, а просить стыдно. О милостыне нечего и говорить: приходилось голодать по два, а то и по три дня, но никогда мы не просили Христовым именем.

«Мы не нищие», – утешали мы друг друга. Была работа – все было радостно. Днем работали, вечерами играли. Отец был ласковый, благообразный.

Не было работы – отец запивал и становился нервным, злым, временами страшным^{45*}. Мы с братом делали, что хотели. Тут-то брат и познакомился с тем «ремеслом», которое привело его к тюрьме и пьянству. Где он теперь? В какой тюрьме тоскует его голова? Разбросал он свои силы, раскидал свои таланты. А ведь был у него и ум, была и воля. Но «механика» жизни все измолола. И все стало дорожной, удушливой пылью. Давно уж разошлись наши дороги. Давно уж стал он «Иваном, не помнящим родства, меряющим вдоль и поперек матушку Россию, от тюрьмы к тюрьме»^{46*}. Ау, милый друг! Откликнись! Ты мне нужен, и я тебе нужен. Нам надо встретиться. Быть может, я и тебе принесу пользу своим изобретением. Найду ли я тебя снова? {Не знаю, но} попытаюсь. Почему я не пошел по той же дороге – не знаю. Объяснение для любителей – «случай».

Вот и другая тень – отец. Его образ двоится в моей памяти. Мне казалось тогда, что у меня два отца: один – добрый и ласковый, другой – злой и пьяный. Когда один, трезвый, уходил, приходил другой на его место. И так чередовались они один за другим. Трезвого я любил, а пьяного боялся. От неудач он запивал и часто бил нас. Помню, раз он пришел пьяный. Не знаю, чем его рассердили мы, но он вдруг начал ругаться и запер на крючок дверь избы.

– Не выпущу, – промычал он. Вид его был дикий, глаза как-то странно бежали, на губах ползала нехорошая улыбка.

Мы с братом пугливо забились в угол и притихли. Отец распечатал бутылку, сел за стол и пил рюмку за рюмкой.

Мы молчали, боялись пошевелиться.

– Что ж вы молчите? – закричал он. – Посиживаете да зубы скалите на отца, дьяволята. Отец, мол, пьяница, бездельник, морит нас голодом. Сам водку жрет, а нам есть нечего, а? Я вам дам, выкидыши проклятые! – Ударил он по столу.

Я заплакал от страха.

– Реветь, подлец, вот я тебе сейчас покажу, как надо реветь! – И, шатаясь, стал он подходить ко мне.

Я бросился в другой угол, но он схватил меня и начал бить кулаком по лицу, голове, по чему попало. Брат бросился на помощь и ударил отца.

– А, стервец, бить родителя? – заорал отец и схватил брата. – Я с тобой расправлюсь сейчас. Убью, как собаку!

На столе рядом лежал молоток. Отец потянулся к нему. Но брат вырвался из его рук, бросился к двери, отомкнул крючок, и мы оба выбежали.

– Не отец ты, а свинья! – дразнили его мы под окнами.

– Вот как? – появился он на крыльце. – Ну, так смотри же, стервец!

В его руках была гармоника брата. Яростно, вымещая свою злость, он стал колотить ее о перекладину крыльца и разбил в мелкие куски.

– Играй, стервец, играй! Погоди, попадешься ты мне в руки, я тебе, поганец, покажу, как бить отца. Будь ты проклят! – хрипло ревел он.

На другой день он лежал в белой горячке.

Такие сцены, хоть и не столь страшные, бывали не раз и раньше. Отрезвившись, он немало мучился за свою дикость. Но напивался снова – и снова повторялось то же. Эта сцена была последняя. Наше терпение иссякло, и мы с братом решили зажить самостоятельно. Накупили жести, красок, забрали инструменты и пошли в люди, по деревням и селам. Чеканили ризы, золотили, серебрили, малярили и были сыты.

Только раз еще, два года спустя, мне удалось видеть отца. Это было тогда, когда я учился в двухклассной школе. Был он тогда трезвый и ласковый. Привез мне гостинцев, похвалил меня за хорошее учение, оставил пять рублей денег и уехал на работу верст за триста.

– Кажись, я вижу тебя, Митя, в последний раз, – грустно сказал он на прощанье. – Нехорошо что-то у меня на сердце. Смотри же, учись, в люди выйдешь. Коли жив буду и найду работу – пришлю денег, не найду – не осуди. Ну, прощай, будь человеком, не пей, как я, а то сгинешь ни за грош, – перекрестил он меня.

Его предчувствие сбылось. Скоро с ним случился удар, и он умер – один, без родных и без близких. И лежит теперь где-то там, на высоком берегу широкой реки, без креста и без памятника. Разбросала судьба по разным местам моих близких. Где-то в селе – могила сестры, в другом – матери, а в третьем – могила отца. И лежат они, одинокие, никому неведомые. Где они? Кто их укажет теперь? Никто... У судьбы есть своя логика. Мы, грядущие люди, должны быть беспочвенными и свободными от груза традиций и исторического наследства, и сама судьба идет нам на помощь. Ничто нас не связывает с прошлым. У нас нет позади даже груза могил. Мы свободны от прошлого и власти мертвых. Прошлое умерло с предками. И исчезло в безвестных могилах. Ветер занес могильные курганы, бедные кресты сгнили от осенних дождей, а надписи стерты весенними ливнями и зимними морозами. Остался только прах и пепел. И растут теперь там кудрявые березки. Шумят они в ветреные дни своими листьями, шурша неясно и тоскливо, и никому не скажут своей тайны. Спите же спокойно, милые! При жизни вам не приходилось спать. Теперь отдыхайте. При жизни вы несли на себе бремя нужды и невзгод, по смерти вы тянете нас назад. Ваша задача выполнена. Нет худа без добра. И ирония судьбы бывает полезна и символична. «Вене»^{47*}, – скажем на это и поставим точку.

Глава 5

Когда и где я выучился читать – не знаю^{48*}. В памяти встают только обрывки картин, рисующих то старого дядька, медленно и спокойно водящего толстым, корявым пальцем по старому молитвеннику и монотонно повторяющего: «Буки-аз-ба, веди-аз-ва», то ряд изб со множеством ребят, с черной доской, со счетами, которые я урывками посещал во время наших странствований из села в село. Впрочем, один факт помнится ясно. Мне тогда было лет семь. Отец, отправляясь на работу, оставил меня у моей тетки-крестьянки, жившей в маленькой деревеньке. От нечего делать я стал ходить в местную школу. Школой была изба одного крестьянина, где обучала грамоте бабка Ирина, умевшая читать и писать. В тот день задана была задача. Я быстро и легко решил ее. Потом был урок русского языка. И на нем отличился я беглым чтением и толковым пересказом прочитанного.

– Молодец, Митька! – похвалила меня бабка. – Молодец. На тебе за это картинку! – протягивая бумажку, сказала она.

От радости я готов был прыгнуть к потолку. Не без гордости вышел я из избы и, придя к тетке, торжественно приклеил «картину» рядом с образами. Кар-



Примерно так могла выглядеть первая научная награда Питирима Сорокина...

тиной была конфетная обертка. Изображала она грушу – тогда я не знал еще, что это такое, внизу подписано было «Дюшес. Карамель фабрики Масленникова и С[ыновья] в Ярославле»^{49*}.

Как живая, стоит и теперь перед глазами эта картина. Хорошо запомнил-ся и весь этот эпизод «общественного признания» моих талантов. Казалось бы, смешно приходить в восторг от конфетной бумажки. Теперешняя молодежь, куда более требовательная, вероятно, засмеяла бы меня. Но мальчику, для которого и такая бумажка была роскошью, позволительно радоваться. Да в конце-то концов, чем лучше его все те взрослые, которые с не меньшей гордостью напяливают на себя «жалованную шубу с плеча», ордена и медали, шпаги и кафтаны и прочие знаки достоинства? Чем они лучше конфетной обертки? Разница только та, что я был ребенком и действительно заслужил «награду», а они – взрослые, к тому же сплошь и рядом получающие их без всяких подвигов и заслуг. Если я заслуживал насмешки, то чего же достойны эти мужи совета, день и ночь мечтающие о Владимире или Станиславе^{50*}, о надворном или статском советнике^{51*}. {Бедное человечество! Мало казнила тебя история бичами. Нужны, по-видимому, скорпионы, чтобы выбить из твоей головы всю бездну твоей глупости!}

Эта сцена единственная, отчетливо сохранившаяся в моей памяти из полу-грамотного периода моей жизни. Дальнейший ряд сцен обрисовывают меня уже грамотным. По вечерам в свободные часы вижу себя с упоением читающим Четьи-Минеи, Гуака, Бову^{52*}, песенники, Кольцова, Жюль Верна, Пушкина, книги по истории, по естественным наукам – одним словом, все, что попадет под руки и что можно было добыть в странствовании из села в село. С какой завистью по-сматривал я в школе на книжные шкафы! «Как хорошо быть учителем, – мечтал я. – Книг – множество. Всю жизнь читай – не перечитаешь». Была какая-то тяга к книге, тоска по ней. Этим, вероятно, и объясняется, что я попал на научную дорогу и стал учиться. Впрочем, для «глубоких умов» и здесь нельзя обойтись без «случая», любимого ими «счастливого случая». А «случай» действительно налицо.

Во время «самостоятельной» жизни в людях пришли мы с братом однажды в село Г.^{53*} Посредине его бросилось в глаза большое новое здание. На наш вопрос: «Что это такое?» – мы узнали, что это новая второклассная школа и что на днях будут приемные экзамены.

Мое любопытство было возбуждено, и в день экзаменов, не сказавши ничего брату, я пошел в школу. Интересно было посмотреть, в чем состоят экзамены.

Большой стол, покрытый зеленым сукном, два учителя и священник – вот что я увидел, войдя в школу.

Экзамены начались...

Стою и слушаю, что спрашивают и что отвечают.

Вижу – вопросы простые. Я мог бы ответить на них. Не отдавая отчета, подхожу и я к столу.

- Тебе что? – спрашивает меня священник.
 - Я тоже знаю, – запинаясь, отвечаю я. – Спросите.
 - Да кто ты такой?
 - Димитрий Никуличев, сын Николаев.
 - А где твое прошение и документы?
- Краснею, потею.
- Какое прошение? – спрашиваю я.
 - Да прошение о приеме и документы.
 - Я без прошения.
 - Так нельзя.
 - Да я знаю не хуже их.
 - Мало ли что.
 - Отец Иван, спросим его, – вмешался один из учителей.
- Они что-то пошептались между собой.
- Ну, а паспорт есть у тебя?
 - Есть, – доставая его, ответил я.
 - А метрика?

Метрики не было, да я и не знал, что это за штука. Пошептавшись немного, они решили проэкзаменовать меня. Отвечал я хорошо, бойко и правильно, хотя и глотал слова и готов был расплакаться.

– Хорошо, очень хорошо, – подбодрял меня «добрый» (как я прозвал его) учитель.

– Коли хочешь учиться – учись, только достань метрику, – сказали мне после экзамена.

Слома голову я вылетел из школы и помчался к брату.

- Меня приняли! – заявил я ему.
- Что ты, объелся, что ли? Куда приняли?
- В школу. Буду учителем!
- Вот тебе и на! В какую школу? Расскажи толком.

Я, путаясь, передал ему, в чем дело.

– Ишь ты, химик какой, – плюнув сквозь зубы, заявил он. – Что ж, коли приняли, валяй, учись. Метрику достанем. Значит, одному мне теперь придется маячить. Ну, да ладно. Одна голова не бедна, а и бедна, да одна, – с грустью в голосе заявил он.

Таков был «счастливый случай», поставивший меня на путь науки. Ему я был обязан тем, что был принят в школу «без метрики». Виктор Гюго где-то говорит, что можно написать целое исследование о роли погон в истории человечества. С еще большим успехом можно было бы заняться исследованием великой

роли, которую играют в судьбах народов и царств разные «метрики». Временами достаточно одной «метрики», чтобы повернуть историческую колымагу на новую дорогу. Жизнь не раз убеждала меня в правильности этой мысли. «Реестр входящих и исходящих бумаг» – неизбежный атрибут «царя вселенной». Можно вообразить человека без науки, искусства, религии, даже без штанов, но без «бумаг за номером таким-то» человечество немислимо. Бедное человечество!

Глава 6

Четким рядом встают годы учения. Хорошие годы! Мир зеленых полей, бесконечного, вечно шумящего леса, тихой глади широкой реки, озолоченной закатными лучами, мир простых людей с крепко сколоченной, но немудреной жизнью с каждым днем стал раздвигаться и делаться шире, сложнее и бесконечнее. География знакомила с землей и ее городами. Книга по астрономии позволяла видеть невидимое, отстоящее на миллионы верст. Физика и химия учили тайнам строения вещества. История вооружала ум зрением во времени, учила читать прошлое, настоящее и будущее. И, наконец, великая литература вводила в тайники человеческой души, рисовала великие образы, стоящие по ту сторону добра и зла... Диккенс, Гете, Байрон, Пушкин, Тургенев и Достоевский. Проходил день, и... мое духовное зрение становилось острее и дальнometнее.

Жизнь стала казаться какой-то панорамой, сказкой. Вчера мир казался очень простым. Земля была доской. Небо – голубым блюдцем, опрокинутым над нею. Вот и все. Прочитана книга, и картина менялась. Старое представление падало, и появлялось новое. Не сразу, не без борьбы и не без труда. «Привычное» очень живуче и не хочет уступать новому. Помню, когда узнал, что Земля – шар и что не Солнце вертится вокруг Земли, а наоборот, я никак не мог согласиться с этим. Пошел даже к учителю. И только тогда, когда он дал мне дополнительные разъяснения и рассказал о Галилее и Копернике, мой ум принял это положение. Но чувство и тут не сразу уступило.

«Вот диво-то», – повторял я в течение нескольких дней после этого.

То же испытал я, знакомясь с астрономией.

Было какое-то чувство тягостности и растерянности. Мир, бывший столь простым до сих пор, вдруг оказался какой-то бесконечной машиной, живущей своей жизнью, состоящей из колоссальных тел, среди которых Земля – песчинка.

Нелегко было перескочить со старого мировоззрения на это новое, трудно понятное и мало представимое. Ряд дней я ходил сам не свой. Удивлялся. «Ну и диво, вон оно что», – машинально повторял я.

Но прошло еще несколько дней, и инерция была преодолена. Новое представление стало привычным, и сразу стало легко. Мир преобразился, и приятно было, что в нем есть какой-то порядок, что можно заранее вычислить и движение планет и комет и солнца, и затмения и т.д.

То же приблизительно повторялось и с каждой вновь прочитанной дельной книгой. С какой-то радостью и не без жгучего любопытства раскрывал я новую книгу. «Что-то скажет она», – думалось мне. Душа настораживалась, приготовлялась к какому-нибудь удару со стороны книги – удару в виде новой мысли, опрокидывающей привычное мнение. Было от этого тревожно и в то же время весело.

Эти переживания покажутся, пожалуй, наивными теперешним школьникам. Они ведь все это знают уже с молодых лет. Для них все это лишь скучный урок, который надо вызубрить и ответить. Бедные люди! Им не известна радость познания. Дряблая душа их не звенит чутко в ответ на эти «раздражения». Вместо гулкового отклика она только скрипит, хлюпает, как болотная вода под ногами прохожих. И вырастают поэтому серые болотные люди, жизнь которых стелется по земле, как дым костра в осенний туман.

...Товарищи-ученики были дети простые и в общем милые. Все они были крестьянскими ребятами. Если нельзя было назвать их очень далекими, то нельзя было обвинять их и в той «скоропелой зрелости», которой больны дети города, в особенности барчуки.

Моя фигура первое время была незаметна среди них. Как и все, я играл с ними, чаще их сидел за книгами, но вожаком и героем не был. Таким вожаком с первого же дня сделался Антоновский – сын протоиерея, исключенный из духовного училища. Он был среди нас единственным аристократом и по происхождению, и по манерам, и по одежде, и по богатству. «Рано созревший», более старший, щеголь и порядочный хвостун, он сразу же стал героем в глазах простых и наивных мальчиков. Очень скоро из героя он стал властелином, решения которого сделались законом. Это подчинение, в свою очередь, возбуждало его деспотизм, и он быстро вошел в роль начальника и повелителя. Немало способствовала этому и его «зрелость». Впитав в себя всю атмосферу духовного училища, он виртуозно плевался, отчаянно ругался и кстати и некстати рассказывал сальные анекдоты, веселые похождения и стихи Баркова^{54*}. Жили мы в общежитии и спали в одной спальне. Часы перед сном стали его часами. Усевшись на койке, окруженный учениками, каждый вечер он занимал их этой литературой.

Не копия ли человеческой истории эта картина? Не та же ли толпа и пустой шарлатан – герои человеческого романа? Имена их разные, но сущность одна и та же: та же толпа, создающая Бога из ничтожества и потом ползающая перед ним на животе, и тот же вечный канатный плясун, воображающий себя великим создателем. Когда же будет конец этой «суете сует»? О, если бы скорее пробил этот час! Пора, давно пора. Не знаю почему, но с первого же разу он мне не понравился. И в дальнейшем не могло установиться симпатии между нами. Герои любят поклонников. Я не был им. В то время как другие с жадностью слушали

его рассказы и животным смехом награждали его творчество, я сидел и читал книгу. В этом он видел бунт против него и его власти.

Не так же ли земные властелины видят бунт в каждом акте, непричастном к их «сальным» делишкам!

В первое время Антоновский терпел этот бунт, но скоро его терпение лопнуло. В один из вечеров он по обыкновению ораторствовал на своей кровати; я же сидел на своем месте и читал «Давида Копперфильда»^{55*}. В спальне стоял шум и смех, но я, увлеченный книгой, не слышал ничего. Вдруг стало тихо.

– Таких умников не мешало бы поучить хорошенько. У нас, бывало, х-а-а-рошую баню задавали им.

Я понял, что слова относились ко мне. Не обратив внимания, я уткнулся в книгу.

– Это не по-товарищески, – продолжал возбуждать Антоновский. («Это против народа, Бога и человечества», – говорят в таких случаях земные властелины.) – Ну-ка, ребята, давайте проучим его. Эй, ты, бродяга, кинь книгу!

– Не твое дело.

– Кинь, говорят тебе, а не то я дам такую взбучку, что другой не захочешь.

– Отстань, жеребьячья порода, – выпалил я, обозленный.

В два прыжка Антоновский был рядом со мной.

– Ну-ка, повтори, что сказал.

– Что сказал, то сказал.

– Смотри, ребята, как я буду учить этого {молодца} выкидыша.

Я был мальчиком не из слабых, но Антоновский, старше меня четырьмя годами, был противником не по силам.

Удар – и я падаю на пол. Новые удары сыплются на меня один за другим. Публика хохочет. Со злости, не помня себя, я хватаю врага за ноги и впиваюсь зубами во что-то мягкое, должно быть, в икру. Липкая, сладковатая кровь ползет по лицу и чувствуется на языке.

Вдруг удары прекращаются. Я вскакиваю на ноги и вижу – идет схватка между Антоновским и коренастым мальчиком. Налетаю сзади, и мы с двух сторон начинаем бить врага.

Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не раздалось магическое: «Учитель идет!» Через минуту мы все мирно лежали на койках.

– Дурачьё, остолопы, – заговорил мой неожиданный заступник, когда ушел учитель. – Бьют человека за здорово живешь, а они и рады, скоты.

– Поговори у меня, уж я покажу тебе, свиное рыло! – откликнулся Антоновский.

– Ну, брат, руки коротки. Видали мы таких балаболок, как ты. Я ведь, братец ты мой, жилистый, а ты велик, да что толку-то! Ни ума, ни проку. Велика Федора, да дура^{56*}, – со спокойным смешком ответил первый.

– Посмотрим, я тебе, разматы твою так-то (последовала трехэтажная ругань), покажу «кузькину мать».

– Полно, дурак. Обломаешь пальцы. Чисто жеребьячья порода. Поповское отродье, сразу видно – хвастлив и трусоват. Пустой ты, братец мой, человек. Не мели больше. Я хочу спать. – И он спокойно завернулся в одеяло.

Этот факт я привел для того, чтобы показать первый случай защиты мной моей самостоятельности. Он же был и почвой нашего сближения на всю жизнь с Колыбиным. Коренастым мальчиком был он. С этого момента наши пути совпали и разойдутся только после смерти^{57*}. Лучшего товарища и в жизни, и в науке я не мог желать.

Вместе кончили школу, вместе отправились в учительскую семинарию, вместе были арестованы, одновременно держали экзамен за гимназию и в одно время поступили в университет.

Дорогой, милый друг! Приношу тебе товарищескую признательность в этих строках. Быть может, они попадут тебе, когда меня уже не будет. Прими их как посмертный привет и последнее пожатие руки.

Глава 7

Кончил школу и поехал вместе с Колыбиным в учительскую семинарию^{58*}. Мы оба хотели быть народными учителями. И были бы, да несчастье помогло. Учились мы хорошо, но чем больше впитывали знаний, тем больше видели и понимали несправедливость окружающих нас порядков, чем больше понимали, тем глубже и сильнее развивался дух протеста и тем настойчивее росло желание хоть чем-нибудь помочь своим братьям – забитому мужику и рабочему.

Мы хотели быть учителями не за страх, а за совесть. И были ими... В семинарии организовали кружок «друзей народа»^{59*}, завязали сношения с местными крестьянами и рабочими двух фабрик и стали ходить к ним на беседы. Разразилось революционное движение и захватило нас. Беседы стали чаще, темы острее, настроение тревожнее. Тогда еще не было во мне скептицизма к догматам социализма, к способам его достижения и к отдельным вожакам революции... Нет... Все это тогда принимал я с энтузиазмом, веря во все, как в непреложную истину, и умел заставить верить и других. {Вера эта сохранялась еще и в тюрьме, хотя к моменту выхода из нее уже чувствовалась какая-то трещина.}

Работа наша шла недурно... Во всех местных деревнях были уже члены «друзей народа», наша деятельность раскинулась и по уезду.

Кончилось, как полагается, арестом. Колыбин и я в один из вечеров были арестованы на одном из собраний и препровождены в тюрьму^{60*}. В первый момент было грустно, но «обреченные» привыкают ко всему. Быстро примирились и мы и, пользуясь «казенным содержанием», с усердием принялись за чтение и самообразование.

Милая российская тюрьма! Позволь и тебе посвятить здесь пару теплых слов. Немало жизней задушила ты в своих стенах. Немало свежих и сильных лиц исчахло за твоими решетками. Сколько ума и воли схоронила ты в своих казематах! {Аввакум, Радищев, Пушкин, Лермонтов, декабристы, Герцен, Чернышевский, Лавров и сотни тысяч других.} Если бы собрать всю эту потерянную силу, дать ей простор и пустить ее на простор наших полей, – каким благодатным дождем окропила бы она тихие, застывшие села, уснувшие деревни и зачахшие города. Но «механика жизни» имеет свои законы, а «пастыри народа» – свои аппетиты. Они безжалостны к людям, но милосердны к клопам. И отдадут им на съедение все лучшее, все чистое, все сильное... Недаром они усердные члены «Общества покровительства животным»^{61*}.

Но ты же, российская тюрьма, была и русским очагом науки. Сколько лиц входило в твои ворота темными и выходило просвещенными! Сколько людей не могло учиться в университетах и учились за твоими стенами, под звон кандалных цепей. Сколько новых мыслей было продумано в темную ночь на твоих жестких нарах! Какие волшебные дворцы свободы и счастья строились среди зловония «параши» и темноты карцера!

Нельзя не сказать снова: «У судьбы есть своя логика, а у российской – в особенности»... Еще раз прав Кандид: «Все идет к лучшему в этом наилучшем из миров»^{62*}. И ад иногда может показаться раем^{63*}.

«Вене», – скажем опять.

Много книг было прочитано и много дум было передумано под душными сводами «российского университета». В бессонные длинные ночи воображение развертывало свиток прожитой жизни, раскрывалась страница за страницей, и упиралось обычно в одну точку: «А что же дальше?»

Об учительстве было нечего думать: «волчий паспорт», выданный из школы, достаточно ясно говорил об этом. Нужно было искать новых путей. Каких? Старое ремесло? Нет, оно уже было неприемлемо. Оно снова ограничивало рамки осознанного мира. Косить и пахать? Но я был бобыль, без кола и двора, лишь по летам приехавший к старой тетке-крестьянке и помогавший ей справляться с летней страдой.

Оставалось – идти начатой дорогой: учиться и учить других. К этому влекло меня, и это же было единственным выходом. Первым шагом к этому представлялось продолжение пропаганды среди народа, жизнь бродячего учителя-революционера. На этом я остановился и стал еще усерднее читать и изучать все то, что присылали нам с воли.

В тюрьме же познакомился я и с множеством других революционеров. Немало пришлось переживать их и потом.

И, увы, как мало среди этого множества званых подлинно избранных. Сколько канатных плясунов и актеров революции приходится и здесь на одного

подлинного бунтаря по духу и делу. Как быстро стираются дивные жемчужины мысли и духа в руках этих имитаторов, горланящих больше других, нахохленных, как дерущиеся петухи, и с быстротой молнии переменяющих костюм бунта на бляху и мундир пронырливого карьериста. Чувство неприязни, зародившееся тогда, позже выросло во мне в подлинное отвращение к этим маленьким инквизиторам – манекенам революции, наиболее беспощадным, бессердечным и... громче всех вопиющим о том, что они-то и есть настоящие революционеры, что ими-то и охраняются устои социализма и что они-то «по праву и справедливости» уполномочены подавлять всякую ересь и всякое инакомыслие в доктрине социализма и революции.

Не люблю я этих безголовых, реакционнейших из всех реакционеров шарлатанов. Бунтари духа и дела! Берегитесь этих бряцающих кимвалов! Сторонитесь их и боритесь, прежде всего, с ними. Они плодовиты, как клопы, и, как клопы, загрязняют все, к чему прикасаются. Срывайте с них маски. Они – горькая полынь в саду чистых лилий грядущего.

...Суда над нами не было. Просидели мы около года, и наконец нас выпустили.

– Вы должны указать, где вы будете жить, – заявил Колыбину и мне жандармский ротмистр.

– Не знаем... Быть может, в этом же городе, если найдем работу, – ответили мы.

– Ну, нет-с, голубчики. Ни здесь, ни в этой губернии вам нельзя быть. В три дня вы должны оставить ее пределы.

– Где найдем работу, там и будем жить.

– Но где же?

– А мы почему знаем?

– Тогда оставайтесь в тюрьме.

– Покорнейше благодарим вас, – ответил Колыбин. – Мне что-то не хочется. Долго бился с нами ротмистр, настаивая на том, что мы отданы под негласный надзор, а потому должны указать наше местожительство.

Так ничего и не добился.

– Ну, ладно, уходите. Но через три дня вы должны известить полицию о том, где вы будете жить.

– Не беспокойтесь. С удовольствием, – ответил я.

– Как же, известим, держи карман шире, – шепнул мне на ухо Колыбин.

...С узелками под мышкой вышли мы из стен тюрьмы на улицу. Снова стали свободными гражданами, теперь уже вполне свободными, без школы и без начальства.

– Направо бесконечность, налево – бесконечность, бесконечность впереди и позади, куда хочешь идти, великий странник? – шутя обратился ко мне Иван.

– Иду на вокзал, иду в школу, оттуда – в даль деревень, – в тон ему ответил я.

Нам было по 17 лет. С нами были молодость, воля и ум. О чем же было грустить? Поля родные – просторны, дорог в мире много, нужда и горе – испытаны... И мы весело зашагали к вокзалу.

Радостно встретили нас в семинарии товарищи, но начальство выгнало нас из здания.

– Чтобы ноги вашей здесь не было, – заявил нам директор. – Нескоро и так выкуришь никуличевский дух из школы, – с усмешкой сказал он. – Но не мытьем, так катаньем я выкурю его. Марш отсюда.

Да, мы умели оставлять свой «дух» всюду. Оставили его и в тюрьме. Двое из молодых надзирателей за время нашего пребывания были перевоспитаны нами. Под конец сидения они контрабандой проносили нам и книги, и прокламации, и нелегальные газеты. Одно время тюрьма стала даже главным складом нелегальных изданий. В России всяко бывает. Бывают и такие анекдоты.

Без особенной тоски двинулись мы в соседние фабричные села, Иван – в одно, я – в другое. Где-то в глубине души копошилось опасение: «Скоро снова вяпаемся и снова попадем в тюрьму». Но... терять было нечего, и тревога засыпала. Была, правда, еще мысль о старушке-тетке, которой нужно было помогать, о брате, который, подобно мне, давно уже мытарился по тюрьмам.

Щемящая грусть временами охватывала при этих мыслях. Но делать было нечего, и я отмахивался от этих тоскливых образов. В голову в качестве злой иронии приходили слова: «Кто хочет идти за мной, пусть оставит отца своего и мать свою, возьмет крест свой и идет за мной!»^{64*} И мы оставляли и действительно брали свой крест и несли его.

Началось странствование из села в село, с <одной> фабрики на другую, с массовки на митинг, из кружка в другой. Изба, фабричный двор, лес, луг, улица, школа, квартира сочувствующего интеллигента – таковы были места наших лекций и бесед. Питались тем, чем покормят. Спали, где придется. Одевались в то, что дадут. И здесь мы были апостолами: не брали с собой ни сумы, ни денег, ни посоха, ни двух одежд. Ничего, кроме револьвера и патронов. Не раз были без сапог и нередко голодали. Денег своих не было, а состоять на службе у революции и получать жалованье из членских взносов было противно и неловко.

Около года странствовали мы в пределах двух губерний. Имена «Головни» и «Никанора» – наши псевдонимы – приобрели почетную известность среди фабрик и волновавшихся сел. Образовалось множество ячеек, групп, кружков, комитетов, выросла связь между ними, наметилось центральное бюро, коротко говоря, настоящее генерал-губернаторство революции с чиновниками – агитаторами, пропагандистами, организаторами, в числе которых были и мы в качестве первостепенных работников. Завелась и печать, и архив, своя почта и даже бое-

вая дружина. Короче, все, что нужно для управления губернией. Мы стали силой и давали знать о себе полиции, хотя и не на предмет надзора за нами.

Много было пережито в этот год. Много сил ухлопали мы в нашу работу. Немало и опасностей пришлось нам испытать. Теперь кажется чудом, как шальная пуля или удар шашкой не ухлопали нас. Еще большим чудом кажется, как не попали мы снова в руки охранителей. {Спасли, должно быть, добрые люди, храбрость, ум да глупость.} Всем существом ушел я в работу и полон был глубокой радостью социального строительства. Чувствовал себя «фокусом сил», разрушающих старое и творящих новый храм счастья. Дышалось легко в душной избе, глаза смотрели ясно и твердо, тени не ползали по чистому лбу, и улыбка на губах была решительная, но ласковая и светлая. Радовал и внешний успех работы. Кружки росли, число «сознательных» быстро увеличивалось, организация клеилась.

Но месяцев через пять обозначилась уже трещина, а еще через два-три месяца я уже с горьким сожалением должен был сказать себе: «Что-то тут неладно. Мы делаем не то, что нужно, или, вернее, не так, как нужно».

Кружки и «сознательные» росли, и это вначале радовало. Но по мере того, как вникал я в дело глубже, видел, что эти кружки – видимость; «сознательность» – только слабый налет внешней культурности, а вся «организация» – нелепая копия порядков, которые мы сами же разрушали. Были единицы, чистые, глубоко впитавшие в себя дух грядущего, подлинные люди будущего. А масса, ее душа, ее нутро оставалось старым. Чувствовал я, что в ней потенциально хранится великая сила, бесконечно бóльшая, чем силы отдельных героев, но эта сила еще дремала, еще скована была «путами традиций», эти оковы были еще крепки, как сталь. Наша работа оставляла только маленькие пятна ржавчины.

Инстинкты прошлого оставались нетронутыми и, как тело прокаженного, сквозили через лохмотья нового налета из каждого поступка, из каждого движения. Старый зверь сидел прочно, и вся работа была не чем иным, как одеванием его в красивое кисейное платье будущего человека.

«Каковы же итоги? – чаще и чаще спрашивал я себя. – Становятся ли люди лучше благодаря нашей работе? Совершеннее ли делается их духовная организация? Больше и чище ли становится их альтруизм? Яснее ли работает их мысль?»

И, увы, чаще и чаще должен был отвечать себе: «Нет, нет и нет». «Экспроприация экспроприаторов», «обобществление орудий производства», «экономика – основной фактор», «борьба классов – закон истории», «нравственность современная – отрывка капитализма», «свобода, равенство и братство», «в борьбе обретешь ты право свое», «земля и воля» – эти и подобные лозунги они усваивали быстро и свободно^{65*}. Но во что они превращались! В пустые наклейки, попугайски повторяемые из слова в слово и нередко на практике выливающиеся в формы, не далекие от готтентотской морали^{66*}. Невольно всплывала мысль:

«Вчера они повторяли “православие, самодержавие и народность”^{67*}, – сегодня эти формулы, а завтра – опять новые, с той же легкостью и беззаботностью...»

Когда же я ставил себе вопрос: «А что было бы, если бы теперь же водворился на земле тот строй, за который мы ратовали, изменилось ли бы хоть что-нибудь при этих людях, без полного их перерождения?» И с отчаяньем должен был отвечать себе: «Переменились бы только вывески, а все остальное ничуть не изменилось бы. То же взаимное пожирательство, та же грубость, глупость, эксплуатация, бедность и преступление – все это осталось бы целым и невредимым». И минутами страшно становилось за себя, за них и за ту бесконечность работы, которая нужна для переделки человека. Временами приходило отчаяние, и я целые ночи ворочался, сжав зубы и вцепившись ногтями в тело, чтобы не расплакаться.

«Мы переделываем костюм, а не человека». Таков был итог этого отчаяния. «Основная задача должна быть обратной: нужно, прежде всего, возрождение человека, а внешняя организация – дело не трудное, она сама собой явится». И не раз в эти минуты вспоминался «буржуазный» Спенсер с его социальной статикой^{68*}.

Правда, кое-что изменяла работа и в «нутре», этого не мог я не видеть, но это «кое-что» было так незначительно, что тонуло в общей массе темных пятен и вновь появившихся ядовитых цветов.

«Если идти таким путем, – рассуждал я, – то нужно бесконечно много времени, чтобы получить сколько-нибудь значительные результаты. А раз так, – заключал я, – то остается или сидеть спокойно и созерцать медленное движение исторической колымаги, раздробляющей ежедневно тысячи жертв, т.е. уйти в страну безразличия, или же нужно найти новый кнут и безжалостно стегать им и возницу, и лошадей истории».

Таков был конечный пункт этого душевного перелома. Быть может, он и не принял бы столь резких форм, если бы я видел массу. Придя к указанным выводам, я не винил народ. Ребенка – не судят. Если он был такой, то это не его вина, а вина «механики». Мало того, личное общение с крестьянами и рабочими почти никогда не оставляло во мне горечи или обиды. Напротив, их искренность, их забота и любовное отношение ко мне меня трогали до глубины души. И до сих пор во мне жива горячая признательность к этим то загорелым, то слишком бледным лицам. Они делали все, что могли. Если сразу не могли перескочить шлагбаум «механики», то это не их вина. Иная память осталась об интеллигентах-революционерах, о тех, кого можно было назвать начальством революционной губернии. Были и здесь прекрасные, чистые люди. Но они были розами среди бурьяна. Именно этот-то бурьян учителей революции и дал толчок моему скептицизму. «Они – учителя и творцы будущего, – думал я, – поэтому они должны быть и образцами грядущего человека». Но, подойдя ближе к ним, что же я увидел? Увидел хитрых интриганов, себялюбивых, честолюбивых, глупых, не способ-

ных даже видеть свою глупость. Большинство из них, плохо ли, хорошо ли усвоив ходячие лозунги и прочие патентованные труды теоретиков будущего, только и делали, что попугайски повторяли чужие мысли. И с каким самодовольством! И с какой усмешкой! «Так говорит Маркс на странице 276-й первого тома», «А разве вы не знаете, что сказал Каутский?» – таковы были их аргументы.

Все, что не согласовывалось с патентованными авторами, все для них было ересью, глупостью, отступничеством, буржуазной мыслью. И если бы Маркс объявил буржуазным $2 \times 2 = 4$, то они и это повторяли бы как аксиому.

И невольно, присутствуя на их спорах, я спрашивал себя: «Да чем же они отличаются от староверов или миссионеров, для которых текст писания – тот же *ultima ratio*^{69*}, вне которого нет ничего и никого?» «Увы, ничем», – отвечал я. «Что же в таком случае понимают они под свободой мысли? Неужели же только попугайское повторение слов, сказанных когда-то великим умом, которому, как и нам, не чужды были ошибки и который, конечно, не мог быть последним звеном в развитии бесконечной человеческой мысли?»

Увы, свободу мысли большинство видело как раз именно в этом попугайстве. Ум их жил тем же авторитетом, что и ум раскольников, только имена были разные. Все вне признанного авторитета объявлялось вредным, бесцельным, «буржуазным». Вся история мысли едва ли не сводилась ими к Марксу да еще десятку других патентованных ортодоксов. На все остальное они готовы были надеть намордник и при случае не без издевательства принудить к молчанию. При таких спорах мне не раз рисовались образы древних инквизиторов и чудилось, что они ожили снова в этих чиновниках революции, отличавшихся от них только именами да платьями. «И эти-то люди – образы будущего?» – снова спрашивал я. И с горечью отвечал: «Если будущие люди таковы, если они так же глупы и бестолковы, то я предпочитаю средние века. Лучше быть Торквемадой^{70*}, чем этими жалкими карикатурами “великого инквизитора”».

Щемящая тоска заползала в сердце, и разбитый, с отчаянием в душе выходил я из собраний. Это впечатление возбуждали и остальные черты «чиновников» революции. Нигде не видел я больше самолюбия, интриг, взаимного надзора, зависти и прокурорства, как именно здесь. Более безжалостных прокуроров трудно было найти.

Помнится, один товарищ, прекрасный работник и светлая душа, напечатал статью в распространенной газете. Хотя он излагал их же взгляды, хотя статья была написана дельно, достаточно было одного этого факта, чтобы учинить над ним суд и лишить его всех прав социалиста.

«Помилуйте, он пишет в буржуазной газете! Это нетерпимо!» – возмущенно заявляли эти прокуроры революции. «И это – образцы терпимости? – спрашивал я. – Да чем же они отличаются от старых браминов, изгонявших из касты своего сочлена за то, что он купил молока или говорил с шудрой?»^{71*} И сно-

ва должен был отвечать: ничем! Когда же я узнал, как согласовали они теорию с практикой, слова с делами, то был окончательно подавлен. Один пользовался общественной казной для того, чтобы покупать подарки любовнице, другой имел десятитысячную ренту, третьи из социализма сделали дойную корову, извлекая и откладывая в свои карманы доходы с социалистического журнала, четвертые модничали им, как франты галстуком, пятые сколачивали на нем популярность, шестые приобретали депутатское кресло и т.д., и т.д. Социализм для многих из них стал выгодной рентой. «И это все – противники собственности? Защитники обобществления? Какая горькая ирония!» – думал я. В них едва ли не сильнее, чем в других, живо все прошлое. Поэтому-то они и любили «организацию», «входящие и исходящие», «президиумы и комитеты», «порядок и дисциплину» и прочие атрибуты государственных чиновников, вплоть до своих орденов и флагов. Потому-то часто с такой легкостью и перевоплощались они в карьеристов-чиновников, делались самыми злобными и безжалостными угнетателями народа. «Какую же картину будет представлять социалистическое общество, если оно будет состоять из таких членов? Самую нетерпимую, самую безобразную», – отвечал я.

«Нужно искать новых путей, – решил я в конце концов. – Это – не то... Это – бесплодное шатание на месте!»

Впечатления Колыбина были таковы же. В итоге мы подали «в отставку». Нельзя обойтись здесь также и без этой церемонии. Помилуйте, все чиновники подают в отставку. Не забуду никогда того заседания, которое посвящено было рассмотрению нашего заявления.

Как полагается, был избран президиум. Вопрос был включен в порядок дня. – Чем же мотивируете вы ваш отказ? – задал нам вопрос председатель.

Я в основных чертах стал излагать суть дела. Говорил прямо, откровенно, начистоту. К концу речи саркастические улыбки чаще и чаще начали появляться на губах членов комитета. Раза три моя речь была даже прервана возгласами негодования.

Начался обмен мнений.

Много злых фраз было сказано тогда по нашему адресу. Особенно отличился молодой студент Барачевский, сын местного протоирея^{72*}.

– А, должно быть, надоела работа. Покоя захотелось нашим бывшим товарищам, – ехидничал он. – Да и то сказать, чего ради им подвизаться на ниве народной. Был «интеллигентский каприз» – пошли. Забава оказалась не столь интересной – отхлынули. Благо и мода начинает проходить, – злорадствовал этот пухленький юноша, до сих пор живший на иждивении папаши и слово «труд» знавший только понаслышке. – Что ж, идите. Скатертью дорога, буераком путь. Нам горевать нечего. Горькая трава из поля вон. Худшее я боюсь предположить.

Не смею думать, что вы в состоянии предать нас. А, впрочем, если предадите – не вам напоминать о возмездии, – намекал он. – Да и нужно было ждать этого. Не раз и раньше замечал я весьма неортодоксальное отношение к основным догматам социализма, вольное толкование текста и ссылки на буржуазные авторитеты. Повторяю, – ораторствовал он, – этого нужно было ожидать. Идите в стан буржуазии и мелких собственников. Лучше иметь открытых врагов, чем ненадежных друзей, – заключил этот «комитетчик», не утвердивший ни одного кружка, не побывавший ни на одной фабрике, а исполнявший обязанности секретаря в комитете и ходивший в красной косоворотке с городскими барышнями.

Я слушал молча. Временами до безумия хотелось схватить этого розоватопитанного юношу за длинные волосы и таскать его, приговаривая: «Молчи, молокосос! Бездельник! Барич! Ведь ты до сих пор палец о палец не ударил для дела. Ведь до сих пор ты жил, живешь и будешь жить на чужой счет. Ведь тебе не пришлось испытать и миллионной доли того, что пережили мы. Ведь главная работа сделана именно нами, ведь ни одна пуля не просвистела мимо твоей головы. Ведь ты без сапог не убегал от полиции, не рисковал на каждом шагу собой». Но я закусил губы до крови, до крови впился ногтями в ладони и... не сказал ни слова. Горячий, порывистый, с этого времени я стал привыкать немного владеть собой. Пока не стал совсем «холодный», как теперь.

Другие речи были менее оскорбительны, в них временами прорывалась даже нотка сожаления. Иначе отнеслись к нам старик Затворцев и рабочий Федоров. Первый – человек старого поколения, седой, с добрыми глазами – печально сказал: «Да, милые друзья, в ваших словах много, много правды. Я понимаю вас и одобряю вас. И уж ни в коем случае не могу согласиться с Барачевским. Скажу прямо: мне стыдно за его слова. Ну, как же это можно так говорить! Что же за вселенская смазь и закидывание грязью тех, кто сделал немало. Нельзя так, господин хороший, – подчеркнул он, обращаясь к Барачевскому, – не годится! А уж вам-то и совсем не пристало. Но что ж делать, – продолжал он. – Нужны новые пути, а где они? Откуда их взять? Ведь нет их. Потому-то и идем старой дорогой. Лучше хоть что-нибудь делать, чем ничего. Чую я, плохо пойдут наши дела после вашего ухода. Знаю, милые, что не пойдете вы в стан врагов. За кого за кого, а за вас-то уж я ручаюсь. Знаю, что вы попытаетесь найти новые пути. Не знаю, удастся ли вам это, но дай Бог, дай Бог. Спасибо вам и за то, что вы сделали, – растроганно заключил он. – Спасибо вам большущее и от меня, и от всех рабочих, товарищи. Коли не умрем, так, может, и свидимся еще», – крепко пожал нам руки товарищ-рабочий.

Со смешанным чувством глубокой тоски и радости вышли мы из «комитета» и отправились на вокзал. Усталые, измученные, с истрепавшимися нервами, мы поехали на родину. Дело было в июне. «Покосим, попашем, отдохнем, – решили мы, – а там увидим, что делать».

С чувством облегчения сели мы в поезд, убедившись предварительно, что за нами нет «слежки». Каждый из нас чувствовал, что кончилась одна полоса жизни, что наступает перерыв, за которым должна начаться новая. Какая? – точно мы не знали. Только смутно чувствовали, что перед нами стоит большая задача. «Удастся ли решить ее?» – спрашивали мы друг друга. «Если удастся – победителя не судят, если нет – мы вычеркнуты из жизни». О «буржуазном покое» мы меньше всего думали. Мы снова рисковали. «Посмотрим, риск, говорят, благородное дело, – спокойно улыбнулся Колыбин. – Лучше позаботься-ка о кипятке и хлебе. Я сегодня не ел целый день. А там – утро вечера мудренее».

Поезд свистнул, и... одно действие нашей жизни кончилось, начиналось другое.

Глава 8

До сих пор я ни слова не сказал о той стороне своей жизни, которая зовется «любовью». Если бы я писал роман, то роман вышел бы ужасно скучным. Да и как не быть ему скучным? В романе нельзя без любви.

Современные романы только ею и заняты. О чем, в самом деле, пишут современные поэты и беллетристы? Ни о чем, кроме любви^{73*}. Есть исключения. Но они в счет не идут. Они нетипичны. Типичный же роман – любовный. И любовь теперь рисуется по-своему. Раньше тоже немало воспевали ее, но воспевали иначе. Формула же любви современных романов проста и несложна: любовь у них – это «путешествие с кровати на кушетку или на другие горизонтальные плоскости», и... только. Этим начинается роман, этим же он и кончается. Отличие их друг от друга – характер сочетания элементов: «он, она», «он валит ее на кровать», и она говорит ему: «Я хочу ребенка» или: «Я хочу, чтобы ты взял меня». Один поэт предпочитает в качестве обстановки будуар, другой – кабинет ресторана, третий – публичный дом, четвертый – свежескошенное сено. Различаются поэты и по излюбленным героям: один предпочитает галантных пшютов^{74*}, другой любит кровожадных героев, с всклокоченной бородой, обросших волосами, пахнущих ядреным луком и перегоревшей водкой, третий... и т.д.

Не совсем одинаково рисуют они и героинь: один поэт любит тощих, другой – толстых, один – рыжих, другой – брюнеток, а некоторые изображают даже «фиолетово-сиреневых».

Всех отличий, пожалуй, не перечислишь. Но все это детали. Только фон, обстановка. Суть же у всех одинакова. Это любовь по формуле: «путешествия X-а с Y-ом, Z-ом от кровати к кушетке etc.».

И пишут и пишут об этом ежедневно, ежечасно десятки, сотни, тысячи романов. Без отдыха пичкают почтеннейшую публику этим снадобьем. А она почитывает да похваливает. Есть даже такие «читатели», что ищут мудрости в этих романчиках. «Они нас учат жить», – говорят эти наивные люди.

Бедная публика и бедный писатель, ставший протоколистом полового спаривания человеческих особей! Уж отчего тебе, русский художник, заодно не добавлять в роман лекции по физиологии половой жизни, рецепты предупреждения беременности и гигиенических презервативов? Кто-то додумался и до этого, но не все еще. Отчего уж не пойти тебе заодно на конский завод и не поучиться искусству спаривания лошадей? Поучившись, ты мог бы написать оригинальную повесть и применить полученные знания к людям. То-то бы публика обрадовалась! Сколько «невежд» стало бы учиться по твоей книге. Сколько лиц написало бы тебе благодарные письма! Сколько юных сердец пошло бы по указанной тобой дороге искать «ключи счастья»^{75*} и «идеалы красоты»!

Как же не додумался ты до этого, глупый писатель! Пора, давно пора. Почитывай, почитывай, почтенная публика, романы! Хлопай и украшай лаврами их творцов! Радуйся, великий романист! Почивай на заслуженных лаврах, уважаемая сводня!

Стоп... Я начинаю ругаться. Это нехорошо.

Слово «любовь» я узнал рано. Но что оно значило, едва ли отдавал себе отчет. Видел, как парни и девки «любились», слышал, как говорили и пели про любовь, знал, что многие спят вместе, но... все это казалось ненастоящей любовью. Это было что-то иное, грешное и нехорошее. «Неужели же не знают они, что это грех? Неужели не боятся гореть в адском огне за беззаконие? Какие они глупые, неразумные. Если бы знали они, как это плохо, не делали бы “этого”». Прочитанные «Четы-минеи» давали знать себя. Раза два-три я даже пытался направить парней на путь истинный, но те подняли меня на смех и окрестили «праведником».

Любовь рисовалась мне совсем иной. Это было что-то таинственное, прекрасное, захватывающее все существо, неведомо откуда приходящее, временами страшное, временами дающее бесконечное счастье. Таковой она была в романах. Такой же представлялась она и мне. По романам знал ее, по романам же и рисовал ее образ. А так как в романах любят обычно взрослые, то я и думал, что раньше 20–25 лет влюбиться нельзя. Помню, как искренно хохотал я над одним товарищем в первый год учения в семинарии. Ему было 15 лет. Однажды он по секрету сказал мне, что «любит до безумия» русокудрую девушку, дочь учителя, любит и мучается, ревнует и не знает, что делать.

– Ну, давай не мели чепуху, – оборвал я, рассмеявшись от души.

Тот оскорбился.

– Свинья, – сказал он. – Я с тобой говорю по душам, как с другом, а ты глотку дерешь. Чего хохочешь-то?

– Еще бы не хохотать. Ты так ловко разыграл влюбленного, что нельзя было не рассмеяться.

– Так я ломаюсь, по-твоему? Скотина ты, вот что.

– Неужто же не ломаешься?

– Поди к черту!

– Да разве пятнадцатилетние могут влюбляться? – спросил я.

– А по-твоему, семидесятилетние, что ли? Откуда ты упал, с земли или с неба?

Тон был искренен, и теперь настала моя очередь удивляться.

– Семидесятилетние не семидесятилетние, но раньше двадцати лет не влюбляются.

– Дурак! – спокойно заметил мой товарищ. – Умойся и перекрестись.

Этот разговор заставил меня усомниться в моей теории. [Скоро я увидел и узнал, что все почти семинаристы были влюблены в кого-нибудь. Волей-неволей пришлось отказаться от положения, созданного под влиянием романов. Раз факты противоречат гипотезе, значит, гипотеза неверна, решил я.

Теперь я и сам не прочь был влюбиться. Приглядывался к девичьим лицам. Многие из них мне очень нравились. Особенно одна девушка, приехавшая на каникулы гимназистка, – с лучистыми серыми глазами, с бело-русыми волосами, тонкая, как одуванчик, и нежная, как сон ребенка.

Но только нравилась. Любовь должна захватить человека всецело, лишит его сна и покоя, влюбленный должен думать лишь «о ней», ей посвящать все минуты, душа его должна быть трепещуще-счастливой, он должен ходить по земле и не видеть ее... Я же и занимался, и спал, и думал о многом, не относившемся к ней, а потому, решил я, «я не влюблен». Временами мне очень хотелось поговорить с этой девушкой, полюбоваться ее улыбкой, услышать звуки ее голоса, но «это не то», снова говорил я и... ждал, когда любовь посетит меня.

Скоро закипела работа «Общества друзей народа». Мечты о любви отлетели. Не до нее было. Казалось даже, что любить и влюбляться в такое время – недопустимо. Только дурни да балянтрасы могут теперь заниматься любовными делишками. Им и книги в руки, а нам не до того, говорили мы. Много хороших, светлых девушек встречал я на почве этой работы. Но все они были только людьми и товарищами-соратниками. Пола не существовало. Встречался и говорил с ними так же, как и со всяким товарищем-другом. Человек и]

Скоро жизнь разбила ее наголову. Неслышно и незримо пришла любовь. Один раз пришла она, бесконечная и единственная, прекрасная в своей наивности и молодости. Пришла светлой, ясной, чудесной. Захватила душу, обвеела ее дивными ароматами, вдохнула радость и силы. И ушла... оставив кровавую рану да горечь осенней полыни. Болела рана дни, недели, месяцы. И, наконец, прикрылась придорожной пылью. Серым саваном окутала душу... надолго... навсегда. Остался лишь сухой, жесткий рубец да тихие воспоминания.

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана.
Одинок он стоит, задумавшись глубоко.
И тихонько плачет он в пустыне...^{76*}

Много времени прошло с тех пор. Больше я не плачу. Боль сменилась тихой грустью. Теперь в минуты отдыха, в вечерние одинокие часы, приходит ко мне временами моя гостья. Прилетают воспоминания и кружатся в пугливых отблесках пылающего камина. Я сижу и слушаю их шепот и пью непьянящую сладость прошлого. Я полюбил мою гостью и рад ее видеть в редкие часы покоя. Вот все, что осталось от моей любви.

Когда впервые попал я в город, мне удивительно красивыми показались девушки и женщины. Белые, нежные, изящные, одетые в дорогие платья, они были совсем не похожи на деревенских девиц.

«Какие красивые! – думал я, глядя на них. – Словно игрушки. Точно на картинках». И невольно любовался нежными лицами, ловил живую игру взглядов, схватывал улыбки, трепетно созерцал капризный извив косы.

Ведь они казались мне существами из другого мира, неведомого и недостижимого. Краснея и теряясь при встречах, я втайне упивался этой красотой безотчетно и бездумно, как упивался видом закатно-горящей реки, белыми барашками на синеве неба, пурпуром осенних листьев ольхи. Это была поэзия Аполлона, жажда тихих сновидений.

Дионис, половой момент, отсутствовал в области сознания. Он ни разу не приходил в голову. Тянуло, и только. Нравилось, наполняло душу трепетом, а почему, отчего? Об этом я не думал. Не думал и про любовь. «Ведь раньше двадцати лет не влюбляются, какая же тут любовь».

В семинарии жил я уроками и малярством. Учился хорошо, поэтому учителя нередко рекомендовали меня в качестве хорошего репетитора.

Вскоре после поступления мне «улыбнулся» хороший урок. Местному богачу, предводителю дворянства, потребовался репетитор – готовить сына в первый класс гимназии. По предложению учителя я отправился к этому барину. Никогда мне раньше не приходилось бывать в важных домах.

В нескладном пиджаке, в запатанных брюках и в истоптанных сапогах я явился к первому аристократу города. В силу ли минутного хорошего настроения или благодаря хорошему отзыву учителя, не знаю, но почему-то меня не прогнали и даже посадили пить чай. Не забыть то нелепое состояние, которое охватило меня в этой обстановке. «Барин» шутил, «барыня» вежливо и ласково говорила со мной. Казалось бы, сиди да посиживай. Но сидеть было нелегко. Налитый стакан казался бочкой, которую не выпить. Я сидел, краснел, что-то отвечал, но, кажется, невпопад. Особенно смущала меня сидевшая напротив девушка с лучистыми серыми глазами, с бело-русыми волосами, тонкая, как одуванчик,

и нежная, как утренний сон ребенка. Случайно взглянув на нее, я поймал два-три смеющихся взгляда, которыми обменялась она с моим будущим учеником. Предметом смеха, конечно, был я. Да и как было не смеяться надо мной? Пиджак чертовой кожи^{77*}, сшитый деревенским портным, сидел нелепо, да вдобавок был еще измазан кое-где краской. Болотные «бахилы», не выдавшие давненько дегтя, порьжели. Пестрядинная рубаха^{78*} мало походила на белоснежную сорочку. И при всем том – репетитор? Не дворник, а репетитор, с неглупым лицом и словами? При таких условиях молодежь не могла не смеяться. Я же сидел, словно пригвожденный к стулу. Не смел двинуть ни рукой, ни ногой. Сознывая нелепость своего вида, я еще нелепее чувствовал себя, особенно под взглядами девушки. Пот лился ручьем, я бледнел, краснел и в довершение всего опрокинул стакан на чистую скатерть. Если бы я мог, я охотно провалился бы тогда в преисподнюю.

– Ничего, не беда, – ласково ответила барыня.

Звонким смехом разразились брат с сестрою. Не выдержав, я вскочил, что-то пробормотал и убежал. Такова была первая встреча с Лизой.

Лучистые глаза, полные веселья и в то же время какой-то глубины, врезались с тех пор в душу. Образ молодой девушки, показавшейся сказочной феей, отныне был всюду со мной. Как живая, стояла она перед глазами, прекрасная, как сама мечта и, как мечта, далекая и недоступная.

После бегства я долго избегал встреч с нею. Отказывался и от чая. Приходил исправно на урок, быстро проходил в комнату ученика и, кончив занятия, так же быстро убежал.

Однажды встретился я с ней на улице. Она шла с каким-то красивым реалом. Я смутился, споткнулся о мостки и чуть не упал. Звонкий смех снова был ответом на мою неловкость. Я же проклинал себя и принимал этот смех как должное. Да иначе и не могло быть. Ведь она была для меня существом иного порядка, как и вся обстановка, в которой она жила.

При одной мысли о ней какая-то щемящая грусть, сладкая в своей мучительности, охватывала душу. Я не смел думать, что я люблю ее. Одна мысль о любви показалась бы мне кощунством. «Вот те молодые, изящные гимназисты и реалисты – они могут ее любить. Они имеют на это право». А как осмелиться мне полюбить ее, мне, какому-то варвару, нищему с закрашенным пиджаком, с порьжевшими и ободранными «бахилами», не умеющему толком сказать с ней ни слова? Это было бы величайшим грехом, и... потому я жил, любил, но не думал и не смел думать, что люблю ее. Я мог только молиться и благоговеть перед ней. И я молился, а она при встречах от души хохотала над моей неуклюжестью.

...Однажды, когда мы занимались с учеником, в комнату вошла Лиза. Я по обыкновению растерялся и покраснел.



Питирим Сорокин с группой студентов.
Возможно, что за руку он держит Елену Михайлову (в романе – Елизавета Воеводская)

– Я слышала, вы хорошо решаете задачи, – улыбаясь, обратилась она ко мне. – Не сможете ли решить вот эту? Нам задали. Я билась-билась, ничего не вышло. Не могли решить и реалисты^{79*}.

Какая-то пьяная волна радости хлынула в душу при этих словах. Да и могла ли быть какая-нибудь задача, которую я не взялся бы решить тогда? Я почти выхватил бумажку из ее рук, что-то пробормотал и сел за стол. Зеленые круги плыли перед глазами. Я смотрел на бумажку и ничего не видел. Но скоро успокоился, и задача была решена.

– Пустая задача, – протягивая решение, похвастался я.

– Как, вы решили? – удивленно спросила она.

– Как видите. Хотите, объясню вам, в чем секрет?

– Пожалуйста.

Я, краснея и волнуясь, стал объяснять ей ход решения. Возможно, что тогда мои глаза сказали ей больше, чем мои слова.

– Спасибо, – протянула она руку. Я трепетно пожал ее.

В тот день я был невменяем. Ходил по земле, но чувствовал себя на небе. С этого дня Лиза чаще и чаще стала обращаться ко мне с такими просьбами. И не только за себя, но и за своих подруг и товарищей. И не только с задачами, но и с сочинениями и вообще со всеми затруднительными вопросами.

Мало-помалу уменьшалась и моя «дикость». Встречаясь с ее кавалерами, я уже не чувствовал себя презренным плебеєм. Обаяние лоска и внешности потускнело в моих глазах. Изменилось и их отношение ко мне. Раньше я не раз был предметом их остроумия и издевательств. Теперь эти шутки делались реже и реже. Особенно после того, как однажды я дал решительный отпор одному из этих вылощенных пшютов.

В один из вечеров барыня остановила меня.

– Куда вы торопитесь? – спросила она. – Успеете еще в свою конуру-то. Лучше пойдемте пить чай.

Я согласился. В столовой уже сидели Лиза, ее подруга и двое из их постоянных кавалеров. Оба они были выхолены, в чистеньких мундирчиках и держали себя свободно. Раза два приходилось решать задачи и для них. Я стал здороваться и задел ногой стул. Они рассмеялись. Я, сконфуженный, сел. Беседа о пустяках легко и плавно шла между ними. Я сидел и молчал. Досадно было за свою неловкость. Злило и то, что один из реалистов уж слишком, как казалось мне, бесцеремонно и бесстыдно обращался с Лизой. В его словах и жестах не чувствовалось совсем того благоговения к ней, которое наполняло мою душу.

Время от времени он презрительно щурил глаза и смотрел на меня. Глаза скользили по моему пиджаку, его рукавам с бахромой. Они, казалось, обыскивали меня и нарочно подчеркивали все изъяны моего костюма.

– Однако и репетитор же у вас, – довольно громко сказал он Лизе. – Почему вы ходите таким оборванцем? Разве не знаете, что это неприлично? – высокомерно обратился он ко мне.

Меня взорвало. Злость, ревность, досада за неловкость, стыд перед Лизой, забурлили в душе силы.

– А почему вы так глупы, что не можете решить задачи и заставляете решать меня? – неожиданно для себя выпалил я.

Удивленные взгляды присутствовавших остановились на мне.

– Что?! Да как вы смеете говорить мне дерзости, мужик!

– Да, я мужик. А вот вы так пустая финтифлюшка.

– Невежа! Оборванец!

– А вы дурак!

Реалист вскочил, сжал кулаки.

– Да я тебя, грубиян!

– Попробуй! У меня ведь кулаки-то мозолистые, не твои! – забыв обо всем, разошелся я.

– Господа, как вам не стыдно! – вмешалась хозяйка. – Что вы распетушились, как два петуха.

– Помилуйте, Марья Петровна! Не могу же я терпеть грубости этого мужика, – возмущенно сказал мой противник.

– Нехорошо, – сухо обратилась она ко мне. – Вы не умеете держать себя в обществе.

– Ну и пусть не умею, – горячо запротестовал я. – А небось хорошо издеваться надо мной! Что я, болван, что ли, какой, дался им? По какому праву они зубоскалят надо мной! Чем лучше меня этот завитый, напوماженный модник? – с ненавистью выбрасывал я слова. Меня трясло от возмущения и злобы. Лицо пылало. Глаза горели.

– Ну, ну, успокойтесь, полноте, он не хотел оскорбить вас, – успокаивала Марья Петровна. – Нельзя так держать себя, – снова наставительно подчеркнула она. – Нужно извиниться.

– Но, мама, ты несправедлива, – неожиданно вмешалась Лиза. – Не Дмитрий Николаевич начал ссору, а Гога, ведь он первый начал издеваться.

– Что ж? Гога не сказал никакой дерзости.

– Как не сказал? А разве не дерзость сказать тебе, что ты одета неприлично?

– Не для всех, дружок. Одним это нельзя сказать, а другим – можно...

– Так, по-твоему, Дмитрию Николаевичу это можно говорить? – негодуя, спросила Лиза...

– Ну, довольно... Прекратите, господа, вашу ссору. Гога, вам налить еще чаю? – дипломатично спросила Марья Петровна.

– Мерси.

– А вам? – обратилась она ко мне.

– Нет, спасибо. Я иду домой.

Если бы признательность и благодарность могли быть измерены, то, вероятно, мое пожатие руки Лизы и мой прощальный взгляд были бы одними из наиболее признательных взглядов и пожатий от Адама до наших дней.

После этой сцены я несколько дней не ходил на урок. «Все равно ведь прогонят, – думал я, – поэтому лучше уйти самому». Обидела меня и Марья Петровна своими словами: «Одним можно, а другим нельзя». Значит, мне можно говорить что угодно? Значит, ее ласковость была чисто внешней? Это чувствовал я и раньше. Теперь это было ясно. «Не пойду, – решил я. – Я не холоп».

Из семинарии я возвращался в свою конуру на окраине города и никуда не выходил эти дни. Дней пять спустя часов около 4-х вошла ко мне хозяйка.

– Вас там спрашивают.

– Кто?

– Какая-то барышня и мальчик.

Я выбежал.

Около дома стояли Лиза и мой ученик. Я растерялся и не верил глазам.

– Почему вы пропали, Дмитрий Николаевич? – ласково обратилась ко мне Лиза. – Мы уже думали, вы захворали.

– Так, здоров, – пробормотал я.

– Отчего же в таком случае вы не бываете на уроках? – пытливно заглядывая в глаза, спросила она.

– Так я думал, что урок кончен. Да и не хотелось, – откровенно заявил я.

– Мама и папа ждут вас. Не обращайтесь на слова мамы. Она ведь хорошая, только не всегда верно думает. Не сердитесь. Так завтра будете?

– Хорошо. Буду.

– А вы тут и живете? – с любопытством оглядывая хибарку, сказала она.

– Да, тут.

– А можно посмотреть вашу комнату?

Я смутился, рад и не рад.

– Можно. Отчего же? Только вам не понравится, Елизавета Александровна.

Мы вошли... Полутемная конура с маленьким окном на расстоянии поларшина от земли. Один стул. Простой стол. Груды книг в углу, на столе. Темно и сыро.

– Невесело у вас, вредно.

– Ничего, Елизавета Александровна. Я привык.

– Ну, так завтра ждем.

И они вышли.

Около полугода занимался я с учеником. За это время я урывками виделся с Лизой. Иногда обменивался несколькими фразами. По-прежнему краснел и те-

рялся при встречах, но что-то новое уже вошло в наши отношения. Чувствовалось, что Лиза стала как-то иначе относиться ко мне. Она уже не смеялась звонко при моей неловкости. В ее глазах я не читал уже насмешки, а, напротив, видел в них какое-то сочувствие, смешанное с любопытством. Раза два-три мне даже почудилось в них что-то совсем необычное, что-то большее, чем простой интерес к «дикарю». Быть может, сыграла здесь роль и моя слава редкого ученика, сыграли, быть может, роль и наши беседы по литературе и научным вопросам.

«Чудак, дикарь» нередко оказывался более развитым, чем окружающая ее компания. Он часто говорил о вещах, никому не известных. Читал книги, которые читают только ученые люди.

Как бы там ни было, из «дикаря» я превратился в «самородка-философа», пусть чудаковатого, плохо одетого, но тем не менее не заслуживавшего насмешек и презрения. Скоро уроки кончились. Теперь я встречался с Лизой реже, только изредка на улицах. А тут началась работа «друзей народа». Стало не до любви. Казалось даже, что любить и влюбляться в такое время недопустимо. «Только бальянтрасы^{80*} могут теперь заниматься любовными делишками. Им и книги в руки, а нам не до того», – говорили мы. Временами дорогой образ врвался в душу, но я гнал его, упрекая себя за свои мысли. Кружок «друзей народа» рос, захватил многих из гимназистов и реалистов, вошли в него и кое-кто из гимназисток, в частности, одна из подруг Лизы. С развитием кружка росла и моя фигура как главного работника в этом кружке. Я сделался популярным среди молодежи. Отзвуки этой «славы», должно быть, долетали и до Лизы...

– Отчего вы не зайдете к нам? – как-то раз остановила она меня на улице.

– Неудобно. Да и зачем? – идя с ней рядом, ответил я.

– А так наши были бы рады, а я была бы вам признательна.

Я с недоумением взглянул на нее. «Не сон ли это?» – подумал я. Не верилось.

– Ну что вы! Я ведь по-прежнему скучный и неловкий. Хотелось бы шутить, да не умею. Ваши едва ли будут довольны. Они ведь другого лагеря люди, а на вас я нагоню только скуку. Завидую Гоге и всем вашим знакомым.

– Надоели они все мне. Пустые, глупые. Мундир да пробор – вот и все, что есть в них. Я теперь, Дмитрий Николаевич, много читаю. Не можете ли вы мне в выборе книг?

– Это с большой охотой, – ответил я. – Если сумею.

– Ну, вот мы и дошли до нас. Зайдемте.

Ругая себя за «слабость», я зашел в предводительский дом и прошел в комнату Лизы. Словно что-то нашло на меня, и в этот вечер я говорил много и долго. Говорили задушевно, тепло. Как будто давно-давно мы знали друг друга. Лиза слушала, временами возражала, а я говорил, уже не краснея, не волнуясь, слова

лились, а глаза впивались в чьи-то бесконечно дорогие очи, следили за милой улыбкой и любовались всем образом любимой девушки.

Почему-то все хотелось поправить один шаловливый локон, капризно торчавший на чистой белизне щечки...

На душе было чудесно, легко и хорошо...

С тех пор еще несколько раз встречался я с Лизой и в этот, и в следующий год. В это время революционная деятельность кружка уже стала известной. Не была она тайной для Лизы, хотя в своих беседах с нею я почти никогда не касался этой темы. Не любил. Почему-то интуитивно опасался вводить в это дело женщин.

– Я дивлюсь вам, – как-то сказала Лиза. – Вы ведь чуть ли не глава «друзей народа». Почему же вы ни разу не сказали мне о вашей работе?

– Почему?.. Так.

– Быть может, не доверяете?

– Что вы! Просто так. Да вы и не спрашивали.

– А вы не боитесь попасть в тюрьму?

– Не очень.

– Смотрите, не попадайтесь.

– А вам разве не все равно? – вырвалось неожиданно у меня.

– Мне было бы очень жаль вас, – тихо сказала она.

– Правда? – так же тихо спросил я.

– Правда. – И девушка как-то особенно тепло взглянула на меня.

Мне хотелось встать, взять руку, нежно-нежно гладить ее и рассказать ей, как я люблю ее, как давно полюбил и как благодарен ей за ее слова. Но что-то держало, останавливало меня, и вместо этого я только тихо ответил:

– Спасибо... Теперь мне будет весело и в тюрьме.

– Храни Бог от такой беды! Вся ваша жизнь была бы разбита.

– Ничего, Лиза... Простите, Елизавета Александровна. Ничего... Я ведь жилистый. Теперь и в тюрьме будет хорошо.

– Почему «теперь»?

– Так, то есть... – смутился я. – Прощайте.

– Куда вы?

– Домой. Прощайте. Спасибо, – быстро выходя, пробормотал я.

Скоро я был арестован. В тюрьме несколько раз я получал от нее и ее подруг посылки. О, если бы знала она, какую радость вызвали во мне эти посылки и две открытки, подписанные буквой Л... Исчезали стены, грязный ночник и параша, счастье уносило меня за пределы тюрьмы, далеко-далеко, на простор жизни и солнечного неба.

Спасибо тебе, милая девушка, теперь, увы, умершая и чужая для меня!

...После тюрьмы, до Петрограда, я только раз еще встретил ее. {Больше я не плачу. Боль сменилась тихой грустью. Дни мучений прошли. Но только еще наступает... Да, день гнева придет. День мести наступит. День ее сожаления и печали. Пусть же он настанет.}

...Это случилось во время моего революционного бродяжничества. Я был в одно фабричное место, где не было еще ни митингов, ни агитаторов. Был базарный день. Крестьяне и рабочие, бабы и мужики толпились на площади. На фабрике было только двое «сознательных». Выступить было опасно. Но я выступил.

В самый разгар базара я взобрался на лоток, выкинул красный флаг и начал говорить. Народ кучками стал собираться и слушать. Слушали издали. Близко не подходили. Не доверяли и боялись.

Чем дольше говорил я, тем слушателей становилось больше и больше. Все ближе и ближе подходили они. Чаше и чаще стали раздаваться сочувственные возгласы.

Вдруг вижу, подходит ко мне пристав. Подошел вплотную. Красный, толстый, противный.

– Вы кто такой?

– Не ваше дело.

– А у вас есть разрешение от полиции на устройство собрания?

– Дурак! – улыбаясь, отвечаю я. – Если бы было разрешение – я бы давно сидел за толстыми стенами.

Кое-то смеется. Чувствую, что я на волоске. Некому заступиться. Я один. Симпатии многих на моей стороне, но от симпатии до защиты далеко. «Была не была, все равно».

– Ваш паспорт?

– Не для вас. Смотрите, добрые люди, – обращаюсь я к публике. – Вот перед вами один из тех, кто сосет вашу кровь и живет на ваш счет, – демагогически продолжаю я и затем начинаю говорить об опричниках, об угнетателях народа и т.д.

– Прошу вас прекратить, – резко обрывает он меня.

– Вишь, какой добрый, – иронизирую я. – Вот что, милый человек: если хотите слушать, то слушайте и не мешайте, если же хотите мешать, то... – И я медленно, глядя ему в глаза, направляю руку в боковой карман...

Моментально пришедший в голову прием оказался удачным. Пристав испугался и, быстро повернувшись, зашагал прочь.

– Я с тобой справлюсь! Подожди! – угрожающе бросил он.

Толпа хохотала. Я спрыгнул с лотка и, пробираясь сквозь толпу, направился к реке. Это был единственный путь спасения. Я знал, что пристав сейчас вернется со стражниками, и тогда мне несдобровать. {В этот раз у меня не было даже

револьвера.} Быстро прошел мимо маленького леска, поднялся в гору и побежал ровной широкой полосой полей. Вот и река. Вот и лодка, припасенная на худой конец. Отчаливаю и начинаю грести изо всех сил. Река широкая, не сразу доберешься до того берега. Только бы добраться: там большой лес, а в лесу – спасенье.

До берега остается сажень пять-десять. Вижу – стражники уже на берегу. Стоят и что-то говорят. Вдруг – белый дымок, и гулкий выстрел раскатывается по тихой реке. Что-то сухо треснуло в лодке. Другой выстрел. «Господи! Берег! Скорее, берег!» – шепчу я. Третий... четвертый... Кажется, благополучно. Наконец, вот и берег. Выпрыгиваю и бросаюсь в кусты... Слава Богу, спасен и даже не ранен. Горячая радость охватывает все тело. Ноги становятся упругими, как стальная пружина. Поднимаюсь по отлогому берегу – и я среди вековых нахмуренных елей, болотных трав и мягкого, водянистого мха. Иду прямо. Вода хлопает под ногами. Тучи комаров собираются над головой. Но радость пьянит тело. Хочется вздохнуть всей грудью. «Чего напали! Вы ведь не стражники», – отмахиваюсь я от комаров. Болото кончилось, и я в сосновом бору. Прямые высокие сосны тысячами колонн поднимаются к синему небу. Внизу белый ягель. Верхушки сосен купаются в лучах солнца. Золотым кружевом пятен играют колонны. Я в дивном готическом храме. Хочется молиться, молиться кому-то неведомому. И с этой молитвой в душе шагаю дальше. {Я знал, что верст через пятнадцать должно быть село Г. Из этого села я накануне пробрался в фабричное место и туда же обещал возвратиться<ся>}

Часа через три я вышел к какому-то селу. Рядом с ним виднелась чья-то хорошая усадьба.

- Земляк! Какое это село? – спрашиваю встречного мужика.
- Есиплево.
- А чья усадьба?
- Мозжухинская.
- Спасибо! – распрощался я с мужиком.

Вот как... значит, это усадьба Лизы. Возможно, что она и сама тут. Вспыхнуло безумное желание увидеть ее, хотя бы мельком, хотя бы издали. «Нет, не следует идти», – шепнул какой-то голос.

Но порыв смял, заглушил его, и я быстрыми шагами двинулся к большому каменному дому с колоннами.

«Была не была, все равно».

- Здесь теперь Елизавета Александровна? – спрашиваю сторожа усадьбы.
- Здесь, а чего надобно?
- Мне бы повидать ее.
- Как сказать?
- Скажите, что... Никуличев очень бы хотел ее видеть.

Минуты через две показался легкий и тонкий силуэт любимой девушки.

– Простите, Елизавета Александровна. Шел мимо, узнал, что вы здесь, и захотелось повидать. Вы не сердитесь?

– Дмитрий Николаевич! Это вы? Вот неожиданно-то. Откуда это вы упали?

– А вот упал.

– Ну, идемте в дом, расскажете там.

– Подождите, кто у вас в доме?

– Мама да брат. Папа в городе. А что?

– Да так. Не совсем удобно идти в дом-то. Видите, в каком я виде.

– Боже мой! Вы весь мокрый. Ну, идемте же скорее, а то простудитесь, – теребя меня за рукав, потащила она...

Я пошел. Вода хлюпала в сапогах...

– Сейчас дадут чаю, а я пойду поищу, не найдется ли что-нибудь, чтобы переодеться вам.

Марья Петровна встретила меня, вопреки ожиданию, радушно и задушевно.

Через десять минут мы сидели на террасе и пили чай.

– Ну, теперь рассказывайте, откуда и как попали сюда? – обратилась ко мне Марья Петровна.

– Так, случайно... Шел я в гости, в город. Там живет у меня приятель. Узнал случайно, что здесь ваша усадьба, и решил побеспокоить, – спокойно врал я.

Не знаю, верили мне или нет. Но это мало интересовало меня. Вечер был тихий. На краюшке неба горела золотая полоса зари. Вдали сталь реки ли-зала желтые пески. Тишина и мир. Старая усадьба. «Дворянское гнездо» и Лиза. «Не сон ли?» – мелькало в голове. Но дорогой силуэт девушки был рядом. Близко.

– Вот и хорошо, что заглянули. Погостите у нас несколько деньков. Успеете еще к своему приятелю, – ласково сказала мне хозяйка.

– Спасибо, не могу.

– Чего там не могу? Останетесь и только. Мы вас не пустим, – капризно заявила Лиза. – И думать не смейте, – погрозила она пальчиком. – А теперь марш в сад. Пойдемте, я покажу вам нашу усадьбу.

Мы отправились.

– Сознайтесь, вы ведь все ввали за столом, – неожиданно обратилась ко мне Лиза, когда мы пришли в глубь сада.

– Да.

– Я так и знала. Я ведь знаю, кто такой Головня. Если не секрет, расскажите мне, откуда вы сейчас и где вы пропадали после тюрьмы?

Вечер был дивный. Милый голос звучал участливо. Нашел порыв откровенности, и я рассказал Лизе, как я живу и как попал к ним.

– Да, нелегко вам, – грустно сказала она. – Трудна ваша работа. Много сил нужно для нее, а у меня вот их нет. Я бы тоже пошла, да боюсь. Слабенькая я.

Маленькая. Не гожусь... Вот и почитываю книжки, да пописываю стишки, – тихонько вздохнула она.

Стало тихо. Бывает такая тишина, когда молчание говорит больше, чем всякое слово.

– О чем вы думаете? – легонько касаясь моей руки, спросила Лиза.

– О чем? Не знаю. О многом. Мне вот все кажется сказкой. Один сегодняшний день – разве не сказка? Давно ли был митинг, бегство, выстрелы, лес, и вдруг – покой, стародворянское гнездо и вы, хорошая Лиза. Простите, что так зову вас, – и моя рука трепетно коснулась ее руки.

Она не отняла ее. Я тихо поцеловал милую, дорогую руку. Лучистые глаза ласково смотрели на меня, как будто ждали чего-то, что нужно было сказать. Давно, давно...

И я не выдержал. Тихо, с паузами зазвучали слова любви. Раскрывалась заветная тайна души... Яблони и тополя шуршали своими листьями. Светлое небо молчало, дорогая девушка была близко, ее волосы касались моего лица, и ее рука трепетала в моей руке...

– Как хорошо, что вы попали к нам, – тихо сказала она, и ее губы коснулись моих губ. – Теперь я не выпущу вас скоро. Вам надо отдохнуть. А там – Христос вас храни, – перекрестила она меня. – Пойдемте домой...

Как давно я не спал в такой комнате! В окно глядится светлое-светлое небо, задумчиво грезят белые березки и трепетные тополя. На колокольне сторож медленно отбивает полночь. Покой... Не верится, что где-то есть революция. Не сон ли она? Каким-то недоразумением кажется револьвер, чернеющий на белой подушке. «Не сон ли все это?» – снова спрашиваю себя я. Благословен будь этот час трепета!

Ранние лучи солнца разбудили меня. С удивлением осмотрел я комнату, вспомнил вчерашнее, и стало радостно. Потянулся на кровати и хотел снова задремать.

«Баринотом стал, – вдруг промелькнула острая мысль. – Дорвался, и работа долой. В усадьбе... девушка... влюблен... счастлив, и... живи да в ус не дуй. А работа? Она подождет. Да не лучше ли уж совсем ее бросить? Опасно и неудобно, грязно. А тут и чистая постелька, и любимая девушка, и удобство», – продолжал сверлить какой-то иронический голос. – «Но ведь я только день-два, а там снова за работу?» – «Знаем мы эти день-два. Лиха беда начало, а там кто-то увяз – всей птичке пропасть. Так было и так будет».

«Компромисс», «компромисс», – нелепо звучало в мозгу. Почему-то вспомнился Андрий из «Тараса Бульбы». Покой был нарушен. Светлое настроение вспугнуто. А голос сверлил и сверлил, задевал все новые и новые струны души, рисовал картину революционного упадочничества и, наконец, поставил вопрос

так, что оставаться тут значило бы отказаться от всей работы, ущемить совесть и обрезать чистоту идеала...

Тихо, стараясь не разбудить никого, я оделся, сел за стол и набросал записку.

«Дорогая Лиза! Я уйду. Хотел бы, но не могу остаться. Спасибо Вам за привет и доброе отношение. Спасибо Вам, хорошая Лиза, за все, за все. Вы со мной всегда были и будете всегда. Грустно, что жизнь сурова, еще раз сердечное спасибо. Прошу извинить, что ушел, не простившись. Так легче. Дмитрий».

Было грустно-грустно. Писал и словно отрывал что-то дорогое от сердца...

Написал, тихонько спустился по лестнице и вышел из дома. Смотрел, проходя мимо окон Лизы, не шевельнется ли занавеска, не покажется ли она. Случись так, и, быть может, не хватило бы сил уйти. Но занавеска не колыхнулась, и никто не откликнулся. Серdito надвинув кепь, я решительным шагом двинулся тропой к лесу. Шел, шептал нежные слова, рисовал себе лучистые глаза, глубокий, мягкий голос, грустил и радовался, что долг выполнен. «Хорошо, – говорил я себе. – Ты поступил правильно».

Прошел версты три, подошел к речке. Солнце жарко и радостно палило. Разделся, выкупался и пошел дальше. Через четыре часа я был в городе. Началась снова старая работа...

Не раз в минуты перерывов в работе, во время переходов и переездов вставало предо мной то же чистое, прекрасное лицо, тонкий силуэт на фоне неба и улыбка Лизы. Чем темнее было в душе, тем светлее и ярче рисовался дорогой образ. С тихой радостью и теперь вспоминаю я встречу с моей любовью. Пусть печально оборвалась она!.. Пусть... С какой радостью, однако, я пережил бы ее снова! И как был бы рад, если бы еще раз «на мой закат печальный блеснула она улыбкою прощальной!»^{81*}. Увы! Это невозможно... И не нужно... Быть может, и теперь, как тогда, я снова ушел бы. Быть может, и теперь сказал бы я: «Хочу, но не могу. Ждет работа». Быть может... Но грустно.

Довольно об этом... Не нужно ворошить пыль на старой могиле...

Глава 9

Хороши июньские вечера на Севере! Чудесны вечерние закаты! Небо горит тысячами красок. Цветистые мазки сплетаются в волшебные хороводы, текут, переливаются и по краешкам причудливо золотятся легкой солнечной пылью; горят, румянятся и убегают, наконец, за зубренную полосу леса... Куда? Далеко-далеко, в сказочное царство Майбыра^{82*}. Приходит бело-голубая ночь, тихая, ясная, легкая... Нет ленивой истомы. Нет тяжелого южного дурмана. Светло грезят цветы и деревья. Светло шелестят травы. Целомудренно дремлет река. Бодро и весело поют птички в зеленых лесах.

Просыпается утро, радостное, легкое. Откуда-то доносится ранний малиновый звон, плывет он из-за лесов, будит тружеников и зовет их к работе... Зеленые широкие поля раскинулись пышным ковром, слились с поемными лугами и сбежали длинными рядами к широкой и чистой реке... Неслышно катится она, любовно льнет к зеленым берегам, набегаёт на желтые пески, лижет их пенным языком и все грезит и грезит о чем-то своем, тайном, невыразимом...

В тихой молитве застыли сосновые боры. Тысячами колонн возносятся к небу стройные сосны, переплетаются в дивное кружево и отбрасывают его на пушистый ковер белого ягеля. Сурово насупились седые мохнатые ели, обвевали себя туманами, окружили болотами и молча думают думу великого Севера. Застенчиво улыбается алый шиповник, тихо колышутся серебряные колокольчики, скромные, целомудренные. Не пьянят они, как розы, не дурманят, как цветы юга... Они грезят утренними и закатными зорями. И люди севера – люди зорь, бодрых, стальных и целомудренных. Душа их нежна, как душа колокольчика, суровы они, как сумрачные ели, стройны они, как сосны высокого бора, целомудренны, как шиповник, и крепки, как зимние морозы.

Хороши вечерние закаты на Севере!.. Сильны северные люди!..

Колыбин поехал в свою деревню, к своей семье, а я – к старой бедной тетке... Быстро выдули буйные ветры горький осадок прошлого, быстро чистые реки смыли душевный пот, а ясные зори вдохнули новые силы в усталого странника...

Было радостно снова чувствовать себя ребенком, новым, свежим и светлым. Вставал рано, с восходом солнца, и принимался за работу: пахал, чинил соху, борону, огороды, рубил дрова; ранними утрами ходил на работу, а по вечерам неводил и ловил шустрых стерлядей самоловами. По праздникам собирались парни, старые приятели. Балагурили, вели разговоры и дурачились с девушками.

Сладко пахло свежим кумачом от их сарафанов! Жадно впивались глаза в яркую радугу их платьев! Весело звучал в ушах беззаботный смех загорелых красавиц!..

Наступила страда. Разошлись сильные руки, загуляла наточенная коса, и... тихо ложилась подрезанная трава на теплую землю.

Выйдешь на луг – зеленая трава тихо колышется. Волнами бежит и кланяется синему небу. Белые, красные точки, словно цветы, пестреют тут и там. То цветятся рубахи косцов. Вот они выстроились в ряд. Враз взмахнули руками, враз запели светлые острые косы, и враз, умирая, запела трава. Снова взмахнули руки, и снова шуршат умирающие травы. Прошли раз – и широкий прямоугольник остался посреди волнующейся зелени. Устали... бросили косы и, перекрестившись, кинулись в ласковую реку. Сошел пот, и снова тело упруго, снова руки чешутся на работу, и снова блестят остро отточенные косы. Приходит полдень –

пора обеда; душистый мягкий хлеб, вкусное свежее молоко, пей – не напьешься холодного квасу. Сладко, ах как сладко растянуться на чистой траве под лучами солнца! Надвинешь на лицо шапку, закинешь руки за голову и сразу заснешь.

Поспишь час – и снова работа. А вечером, когда уйдет под землю жаркое солнце, когда заиграет в воде тихая зорька, радостно закинуть косу за плечи и с песней – старой русской песней, длинной, переливчатой, хватающей за сердце, – возвращаться на ночной отдых. В страдную пору сон глубок и крепок, грудь дышит легко и сны беспокойные не летают над страдным усталым телом.

Хороша, ах, как хороша страдная пора на Севере!

* * *

Легко и радостно провел я лето. Приближалась осень. Нервы отдохнули. Душа помолодела. Сил накопилось много. Куда их деть? Чем ближе к осени, тем вопрос вставал резче и резче и требовал ответа...

Думал, думал и ничего не выдумал, как ехать в Петроград. Бобыль, без кола и двора, я не мог быть {даже} крестьянином. {Крестьянствовать всю жизнь я не хотел. Да и нельзя было.} В учителя не брали. «Петроград – единственный выход...» К тому же решению пришел и Колыбин.

– Поедем. А там увидим, что делать; важно только, чтобы можно было учиться, а как, при каких условиях – это вопрос второстепенный. С голоду не умрем, а если придется поголодать, так, слава Богу, дело привычное. Коли сапоги будут драны – тоже не новость. Э, чего тут тужить! Голова на плечах есть, и, слава Богу, не дырявая, а мускулы – гляди-ка, полюбуйся, – говорили мы друг другу, хвастая налившимися после летних работ мышцами.

Самый важный вопрос был – как доехать до Питера. За лето ничего я не заработал. Взять было не у кого. Просить не хотел. Но случай помог и тут. В один вечер пришел ко мне дядя Максим, как его называли в деревне.

– Слушай, Митрей, не выкрасишь ли ты у меня лавки, полки и печи в избе? Бабе, вишь, больно захотелось. Не дает покою.

Я охотно согласился, проработал три дня, выкрасил, разрисовал цветами, львами всю избу и заработал 3 р. 80 коп. «Теперь можно двигаться», – спокойно решил я и не очень заботился, что одна дорога в Петроград стоила не менее 25 рублей.

– Для начала есть, – весело сказал я Колыбину, – а там посмотрим.

В первых числах августа с 3 р. 50 коп. в кармане, с мешком сухарей я двинулся в город, чтобы там сесть на пароход. Туда же приехал и Колыбин.

Заплатили за билеты и чувствовали себя полными господами. Мочили сухари в воде и ели. Доехали до железной дороги. Сели зайцами. У Колыбина были

деньги, но, если бы он поехал по билету, нам пришлось бы расстаться. Меня бы высадили, а его нет.

– Значит, и я зайцем, – сказал он, – коли высадят, так обоих.

Много смешного и много грустного было за дорогу. Три раза высаживали нас, составляли протокол. Шли от станции до станции пешком, ехали в товарном вагоне, короче, всего было вдоволь. Но разве остановишь человека, решившего во что бы то ни стало попасть в Петроград? Рано ли, поздно ли мы должны были попасть туда – и попали. У меня оставался полтинник в кармане, у Колыбина – 4 р. 23 коп.

– Если есть по пятикопеечной булке в день и платить за ночлег по гривеннику, то мы можем жить целых шестнадцать дней, – высчитали мы, – значит, тужить нечего.

Вспоминали Ломоносова и повторяли слова Доде: «Теперь нас никто не знает, но через 15–20 лет город будет нашим». С бодрым настроением вышли мы из вагона, с любопытством присматривались к людям, к бешеной суете, прислушивались к смутному гулу.

«Вот он какой», – думал каждый из нас про этот город.

– Комнаты от полтинника и дороже. – подскочил человек в зеленой куртке с большими светлыми пуговицами. Это превышало нашу смету, и мы гордо прошли мимо.

Вместе с толпой мы вышли из вокзала и потонули в текучей людской волне.

Глава 10

Привет тебе, бездушный истукан! Великий жернов человеческих душ, каменный возбудитель и дымный огонь, манящий человеческих светляков! Сколько людей проглотил ты в своей пучине! Как много юных мгновенно старились на твоих тротуарах! Сколько жизней сломано и скомкано в твоих кирпично-булыжных застенках! Распластал ты каменные лапы, впился ими в болото, а острие своих зубов вонзил в небо и дышишь ему в лицо клубами дыма, смрадами испражнений и проклятиями жертв. Глохнут стоны в твоих застенках, пудра скрывает твои язвы, а тонкая вуаль культуры – твое прокаженное тело. Привет тебе, великий город! Бездушный палач и бездушный благодетель! Не ты ли вознес на вершины неба канатных плясунов и духовных импотентов? Не тебе ли обязаны многие пьяным экстазом вдохновения? Не ты разве ковал так же бездушно те кирки и лопаты, которые рушат прошлое и творят будущее? Как быстро ты впился в душу, выросшую среди бесконечных лесов, обвеянную снежными вьюгами, наполненную ароматами полевых цветов и закатами тихого вечера!

Камень... и железо, камень и железо. Всюду, везде и всегда... стискивают они клещами душу сел и тихих полей. Она стонет, жметесь, грустит. И либо поги-



«Зырянский Фауст» К.Ф. Жаков (прообраз «своего человека» в романе)

бает, либо... сама одевается в каменно-железный чехол. Мы не погибли. Оделась и наша душа в каменно-железную броню бездушия и безразличия.

Многое пришлось пережить здесь. Голод, нужду, грязь, унижение и оскорбление, коротко – все зло, которым богат город, все, кроме преступления и разврата.

Безработица... Жизнь в углах... Работа на заводе... грошовые уроки... случайная литературная работа... Таковы этапы нашей жизни в городе.

Скоро побледнели обветренные щеки... Быстро прорезалась паутина морщин на лицах. Лихорадочный свет загорелся в тихих, как лесное озеро, глазах. Лицо стало угловатым и жестким.

Через два-три года я себя не узнавал. А в итоге – лицо стало какой-то маской, бездушной и бледной... Пусть, так нужно и так лучше...

Всего труднее было поступить на курсы. Везде требовали плату, а откуда взять ее? Просили устроить нас на курсах одного, другого. Но лицемерная улыбка и лицемерное «жаль, рад бы, да не могу» были ответом. Так отвечали почти все, особенно же популярные и либеральные общественные деятели и профессора. Помог в конце концов свой же человек, прошедший, быть может, еще более суровую школу, чем мы. Сын рабочего, до 20 лет работавший на заводе, он после тысячи бед добился до профессуры. Но, заняв ее, он был заклеван своими коллегами и теперь жил в одиночестве, окруженный немногими своими учениками^{83*}. Жил и находил утешение в писании дивных сказок, обходимых молчанием критики, и в творчестве философских трактатов, не признаваемых узколобыми коллегами...

– Настоящее меня отвергло. Живу для будущего... Быть может, оно сумеет оценить меня. А впрочем, и это утопия... Почему глупые люди вдруг в будущем станут умными? – грустно иронизировал он над собой.

– Дорогой друг! И ты будешь скоро признан. Придет и к тебе вещая слава и, быть может, немного залечит твои раны. Ты стоишь этого более, чем тысячи признанных божков, презираемых тобой!

– Что ж? Попробуйте... Только боюсь, что и вы разобьете свои головы о камни города. Тогда уж пеняйте на себя, – просто, с грустной улыбкой сказал он в ответ на нашу просьбу, – на курсы^{84*} я вас устрою, но смотрите, горя будет много, а радости мало. Не лучше ли обратно в деревню?..

– Быть по-вашему. Коли уж очень тяжело будет – приходите, может, сумею помочь вам. А по пустякам не беспокойте. Я не нянька. Вы не на бал идете. И меня никто не гладит по головке, – с внешней суровостью предупредил нас этот добрейший человек.

Курсы... Экзамен зрелости... Университет... Его окончание. Начало профессорской карьеры... Разрыв с учеными руководителями. Провал на магистерском экзамене. И одинокая замкнутая жизнь, работа в течение 6–7 лет – вот

краткое резюме петроградской жизни^{85*}. Можно добавить к нему еще два ареста, иначе говоря, две государственные командировки для практического изучения тюремного мира преступников...

...Целые годы уложились в этом десятке строк. Черные значки спокойно лежат на белом листе бумаги, и будущий биограф прочтет их, как читают curriculum vitae^{86*} перед защитой диссертации...

Но, если бы воскресить все это, что замкнуто в эти строки, если прогнать читателя сквозь строй этих годов, пройденных мною, едва ли бы многие из них выдержали до конца. Думаю, немногие. И, конечно, не мягкотелые отпрыски обеспеченных классов... Но не будем воскрешать их. Что было, то было. Ни я, ни Колыбин не погибли. Я стал холодным камнем, а он – расточительным шутником. Когда горе давило душу, я замыкался и молчал, а он смеялся сквозь слезы. Бывает и так...

...Во второй год столичной жизни приехали Мозжухины. Отец Лизы был назначен в Государственный Совет, и вся семья переехала в Петроград.

Я знал об их приезде, но не пошел к ним.

Зачем идти бедному слесарю в важный дом? Там ему не место. Опять скажут: одному можно говорить все, другим – нельзя. Сделают кисло-сладкую улыбку в лучшем случае, а в худшем – прогонят без церемоний...

Да и с чего я мог думать, что когда-то поцеловавшая меня дочь теперешнего сановника будет помнить обо мне, бывшем агитаторе и теперешнем рабочем? Разве мало людей на свете? До меня ли ей теперь! Что вызовет мое появление, кроме досады за прошлую глупую сентиментальность? Ничего... Пожалуй, еще вздумают эти гуманные люди помочь мне, дать выгодный урок или пристроить на место. Возможно... Но пусть другие Лазари питаются милостыней и крохами с барских столов^{87*}. Я же голодал, но милостыни не просил и не буду просить ее даже в любви!!!

Так думал я и не шел к ним вплоть до поступления в университет и до появления моей первой нашумевшей статьи. За все эти четыре года только два раза видел я Лизу: однажды издали в театре, другой раз на улице. Оба раза она меня не видела...

Когда появилась статья «О моральном нигилизме», я отправил ее Лизе, тогда уже учившейся на курсах. Подпись была простая: «В воспоминание о прошлом».

На второй же день я получил письмо с благодарностью за память и с приглашением посетить ее...

Зачем я поехал тогда? Обрадовался, как ребенок, прыгал у себя в комнате, целовал письмо и готов был плакать от радости.

Важный лакей встретил меня и проводил в гостиную. Сердце отчаянно билось, замирал дух от волнения, пока я сидел и ждал. Кое-как успокоился.

Через несколько минут вошла и Лиза, выросшая, созревшая, но такая же легкая, такая же гибкая и прекрасная.

– Вон вы каким стали, – с любопытством осматривая меня, сказала она. – Вас и не узнать.

В этот раз мой костюм был вполне приличен.

– Изменились и вы, стали еще лучше, – тихо заговорил я.

– Ну, рассказывайте, где вы пропадали все эти годы. Вы, право же, похожи на какого-то сказочного духа. Исчезнете и вынырнете вдруг неожиданно. Какой вы нехороший! Хоть бы весточку, хоть бы открытку черкнули! – ласково упрекала меня собеседница.

– Нельзя было, Елизавета Александровна. Тяжело было... Трудно... А жаловаться я не люблю, поэтому и молчал. Теперь легче стало, вот и исправил свою вину... Обо мне неинтересно говорить. Поговорим лучше о вас. Как вы жили и живете?

– Жила... Училась... Учусь... Выезжаю с визитами. Пишу стихи, вот и все. Скучно, не о чем говорить... Вот и чай. Садитесь поудобней и начинайте свою повесть... Я очень прошу вас. Я ведь думала, что вас нет уже в живых.

– Неужели же вы хоть раз подумали обо мне? – с трепетом в душе спросил я.

– Конечно. Помните тогда, в усадьбе? После вашего бегства – вы как в воду канули. Мне было грустно, очень грустно. Я даже плакала. Потом узнала, что вас ищет полиция. Было страшно за вас. Несколько вечеров я молилась Богу, чтобы Он сохранил вас. Вы молчали. Надеялась встретить вас здесь... Но вы ничем не давали знать о себе. Я решила, что вы умерли или где-нибудь в ссылке, и, понятно, стала забывать вас. И вдруг вы воскресли, – журчали душевные слова. Грусть легла на милые черты, а глаза глубокими лучами проникали в самое сердце души.

– Не ожидал и не думал я этого... Я думал – усадьба была минутным капризом. Уйди я – и через день-два вы меня забудете. Спасибо вам за память. Не вините и меня за молчание...

Я кратко объяснил, почему не давал знать о себе. Рассказал и свою жизнь за эти годы.

– Вы прямо железный какой-то, – задумчиво ответила девушка. – В воде не тонете и в огне не горите. Я, право, завидую вам, Дмитрий Николаевич. Вам есть что вспомнить. Вы можете сказать, что вы живете. А мы не живем, а так – тянем изо дня в день. Окружающие люди скучны и бесцветны. Флирт да карты, танцы да мазурка. Слава Богу, наука спасает да стихи...

Целых два часа повели мы в искренней беседе. И в эти два часа мы сблизилась, подружались... Какие-то тайные нити протянулись между нами и связали друг с другом.

С этого времени мы часто встречались, встречались у Лизы, в театре, на концертах, в аудитории...

Несколько раз она заезжала и ко мне в гости, в первый раз вместе с братом, потом – одна.

Мозжухины сначала принимали меня хорошо и радушно. Когда же заметили, что их дочь начинает привязываться ко мне и, пожалуй, даже не прочь полюбить меня, они пустили в ход дипломатические меры с целью помешать нашему сближению. В их глазах едва ли я не был человеком, ухаживающим за сановитой невестой и ее приданым. Такой брак в их глазах был, конечно, мезальянсом и потому был нежелателен. Да и сам-то я был ненадежным: студент, литератор, революционер, того и жди придут и арестуют. И эти люди были правы. Я не мог быть партией и не думал быть ею. Я просто любил Лизу. Любил глубоко, целомудренно и свято. О будущем не спрашивал. Едва ли думала о будущем и она, по крайней мере, никогда не говорила.

Чем бы все это кончилось – не знаю. Но пришел Воеводский... на меня обрушились неудачи... и любовь умерла. Я снова исчез, как и раньше. Разница та, что теперь едва ли интересовались мной и едва ли искали меня. Прошло уже семь лет с тех пор... а я жив и скоро снова вынырну. Но теперь и мне уже безразлична Воеводская. Моей Лизы нет. Она умерла семь лет тому назад. Я похоронил ее... Готов был сам сойти в могилу. Но выжил. Должно быть, я и в самом деле железный. В огне не горю и в воде не тону. Нельзя иначе, друг мой. Мы создатели будущего, и потому мы должны жить, жить во что бы то ни стало. Мы – «обреченные на жизнь».

О, жить и жить! И чувствовать себя
Тем выше, тем сильней,
Чем жарче бьется сердце.
Жить радостно, светло, когда все удается...
Когда же рок, мечты весенние губя,
Всю силу смелых рук упрямо иссушает,
То вопреки всему, что давит и смущает,
Жить напряженной, жить страстней
С поднятой гордо головою...
Мечтать с огнем в очах,
У жизни вырывать с бою
Все то, что только есть у ней
Высокого, прекрасного, святого.
Мечтою досягать до высшей из наград,
До Ханаана золотого,
Венчающего жертв неисчислимый ряд!^{88*}

Вот завет Баяна обреченных.

...Сегодня последний день моего отдыха. Завтра еду снова туда... На работу... Пора...

Прочел свои записки и подвел итоги своей жизни. Я доволен ими. Накопленный капитал дает право ходить по земле с гордо поднятой головой. Пережитое делает мою жизнь богаче, чем жизнь большинства. Пройденный мною путь – длиннее, чем путь любого странника истории. Судьба прогнала меня сквозь весь строй жизни, начиная с ее низов и кончая вершинами духа... Все пережито, испытано и превзойдено... Препятствия, побежденные мною, многочисленны и нележки. Не все могут их перешагнуть. Многие падают. Не потому, что они слабы, а потому что барьеры непреодолимы. Вечная память вам, шедшие и не дошедшие! Спите спокойно! Вы были сильнее тех баловней судьбы, которые шли по гладкой тропе жизни, проложенной им заботливыми родителями и мощной золотом! Невелика их заслуга! Она вся в том лишь, что они не отстали от течения. А вы пытались бороться с ним, преодолеть его... и потому гибли... Я, в числе немногих, дошел. Сила моего разбега победила инерцию истории... Теперь мой молот поднят. Он готов. И скоро-скоро с грохотом обрушится он на наковальню истории и будет бить неумолимо и беспощадно. Закружатся колеса общественного механизма, заскрежещет сталь моего резца и будет высекать статую будущего... Полетят горящие искры, зажгут они темные леса, проведут широкие просеки, осушат застоявшиеся болота, просверлят туннели в горах. И глаже будет дорога обреченных, которые пойдут вслед за мной. Чрево народа будет рожать их, а его палец указывать им великий путь. Я уже вижу их, идущих по ней. Вижу сотни, тысячи и миллионы... И пойдут они и не будут больше падать... Не будут гибнуть силы их бесполезно, и меньше жертв будет валяться на путях истории. Идите же, милые друзья! Баловни судьбы стали плохими машинистами исторического паровоза. Нужны новые вожаки! Ими должны быть вы. Я – {один из первых} ваш Предтеча – протягиваю вам руку через пропасть времени, жму ее и приветствую вас. Верю и знаю – вы будете сильнее меня. Я недостойн развязать ремни ваших ног. Но знаю также, что вы помянете меня добрым словом. А теперь – смело к будущему!

– Крепки ли мускулы?

– Есть.

– Ясен ли ум?

– Есть.

– Готова ли бомба?

– Есть.

– Все ли предусмотрено?

– Есть.

– В таком случае – вперед! Полный ход! К грядущему без колебаний!

Часть третья

ПОЛДЕНЬ

Глава 1

– Здравствуй, брат, – протягивая руку вошедшему в кабинет Никуличева, сказал молодой изобретатель. – Давненько я не видел тебя.

Вошедший что-то неясно промычал в ответ. Это был человек лет 35, одетый в поношенный пиджак и обтрепанные брюки, при пристальном и внимательном осмотре можно было заметить значительное сходство его лица с лицом Никуличева. Только оно было худое, со впавшими щеками, землистого цвета, с множеством мелких морщин и глубокой впадиной между бровями. Глаза вошедшего то быстро-быстро бегали, то вдруг застывали, словно замерзали под тяжестью какой-то навязчивой мысли.

– Ну, садись вот сюда. Ты, поди, голоден. Александр, принесите ему ужин, – обратился он к прислуге.

Пока вошедший ел, Никуличев внимательно рассматривал его.

– Однако ты изменился, изменился-таки порядочно, – промолвил он. – Давно ли из тюрьмы?

– Неделю тому назад.

– Ну и как? Снова думаешь взяться за старое ремесло и опять в тюрьму, а то, быть может, и на каторгу хочешь?

– Что ж делать, конечно, за старое, – ответил вошедший. – Куда я пойду? Кто меня примет? Да и мне не хочется кланяться. А что ж тюрьма? Не привыкать, стать. Не в первый раз, – усмехаясь, продолжал тот.

– А каторга?

– А что каторга? И на каторге люди живут. Да еще как.

– Значит, не надоело еще. Чего доброго, поди, успел уже по выходе кое-что «сделать».

– Есть грех. Не дарма же жить, – опять усмехаясь, промолвил вошедший. – Что там спрашивать – надоело или не надоело? Не в этом дело. Теперь хоть бы захотел я бросить – не бросить. Потому я человек конченный. Да и ради какого черта я буду бросать «ремесло»? Поступать, что ли, на фабрику, околевать целый день от работы ради какого-нибудь жирного фабриканта? Нет, брат, врешь. Пусть дураки работают, коли хотят, на то они и дураки. Им, чем больше влетает, тем приятнее. А мне это не по вкусу!.. Да и память у меня не ушла. Ты думаешь, прощу я «их» за то, что они со мной сделали? Не они разве засадили меня в тюрьму? Не ради них разве я пошел «ремеслом» заниматься? А вот это переломленное ребро? А сломанная рука? А эти полосы по телу? Не они разве надарили? Ноют

они, брат, у меня, ох как ноют в погоду! Так пусть же и они поноют! В каторгу так в каторгу, а свои долги я выплачу им! Будут они помнить меня! – с ненавистью в глазах, беспорядочно размахивая руками, говорил вошедший.

– Кто это «они»?

– Кто? Да «они». Все богатые, все. Вы.

– И я в том числе?

– А отчего нет? Вишь, у тебя палаты-то какие. Видно, разбогател и ты. Одного поля ягода с ними.

– Да, Петр, ты, я вижу, умен по-прежнему. Однако ты ошибаешься. Все это не мое. Все это чужое.

И тут Никуличев кратко объяснил ему суть дела, скрыв от него моральные задачи лаборатории.

– Любопытно, – процедил тот. – Ты знатным химиком стал.

– Так ты говоришь, что не хочешь сделаться честным?

– Нет, не хочу.

– А если бы я помог тебе, дал бы работу, устроил бы тебя?

– Не мели пустое. Сказано тебе – не хочу, и значит, не хочу. Да и поздно.

Горбатого могила исправит.

– Ну, что ж, дело твое. Хочешь – ладно, не хочешь – как хочешь, – спокойно ответил ученый.

– Уж не за этим ли ты грехом разыскал меня? – иронически спросил вошедший.

– Имел в виду и это, а главное, узнал о тебе случайно, и захотелось повидаться. Поди, ведь лет пятнадцать не виделись.

– Ну, это другой разговор.

– Сколько же в последний раз отсидел ты?

– Два с половиной года.

– За кражу?

– Со взломом, насилием и прочее. Попросту – за грабеж.

– Однако?

– Не вздыхай.

– Не хочешь ли посмотреть, кстати, мою лабораторию? Занятного много, а торопиться тебе сегодня некуда. В тюрьму попасть успеешь еще.

– Что ж, показывай. Авось и пригодится. Может, когда вздумаем и к тебе понаведаться, так лучше местоположение будем знать, – все тем же саркастичским тоном продолжал вошедший.

Никуличев позвонил. Вошел лаборант – молодой студент.

– Юрий, приготовьте все для полного опыта, вплоть для кинематографа, – подмигивая вошедшему, промолвил Никуличев, – и пригласите Колыбина.

Через десять минут они вошли в зал, прозванный «морализующим».

– Вот, садись сюда, – указывая на кресло, обратился к брату Никуличев. – Сначала посмотрим картины!

Тот сел. Стало темно. На полотне стала разворачиваться какая-то картина. Никуличев незаметно сделал знак рукой двум сторожам, сам взял от лаборанта вату, обмакнул ее в какую-то жидкость, по запаху немного похожую на хлороформ, и одновременно со сторожами, схватившими сидевшего за руки, поднес вату к носу брата и стал держать ее.

Сидевший сделал движение, но быстро потерял сознание и замер.

– Оглушен. Теперь он ничто. Сознания нет, а следовательно, нет и преступных вожделений. Будем продолжать наш опыт, – говорил Никулевич.

– Это и есть твой братенек? – обратился Колыбин к нему.

– Да.

– Ну и живодер же ты, Дмитрий. Да и везет же нам. Не надо искать материала – своих родных много. Лежи, братец, не дрыгайся, лежи во славу науки, – говорил Колыбин, помешивая какую-то жидкость в мензурке. – Ничего, полеживай... Можешь гордиться тем, что ты первый из «неисправимых», кого мы быстро переделаем. За тобой пойдут десятки, тысячи и миллионы. Плохо ли, брат!

– Готова пробуждающая эссенция?

– Да.

– Коли так, к делу!

В зале воцарился полусумрак, послышалось мерное и монотонное тиканье. Оба ученых наклонились над сидевшим. Колыбин осторожно и медленно стал подводить склянку к носу Петра, а Никуличев начал равномерно делать монотонные пассы. Так продолжалось минуты две-три. По мере того как Петр пробуждался (жидкость имела своей задачей именно не мгновенное, а медленное и постепенное пробуждение сознания), по мере того пассы становились все механичнее. Среди усыпляющего тиканья послышались медленные и такие же монотонные слова.

– Вот сейчас ты начнешь приходить в сознание. Но ты не проснешься, а заснешь. Ты уже начинаешь спать. Ты уже спишь. Правда?

– Я сплю, – послышался глухой ответ.

– Теперь ты будешь слушать только одного меня и делать – сегодня, завтра и всегда – лишь то, что я прикажу тебе. Ты слышишь?

Прежде всего, ты будешь чувствовать отвращение к тюрьмам, к преступникам и преступлениям. Не будешь ни красть, ни убивать, ни насиловать, ни обманывать, ни пить, ни играть в карты.

Затем тебе будет скучно без работы, и ты захочешь усердно делать то, что я прикажу тебе.

Будешь на досуге читать и находить в этом интерес.

Завтра в 8 часов придешь в эту залу, сядешь на это кресло и заснешь...

Все, что я тебе сказал, ты запомнишь и исполнишь.

Забудь о том, что ты загипнотизирован, и при пробуждении думай, что ты заснул.

Теперь проснись и исполняй то, что я приказал тебе.

– Дайте свету! – крикнул Никуличев лаборанту.

Сидевший вздрогнул и открыл глаза.

– Никак я заснул, – потягиваясь, сказал он.

– Немудрено, ты устал, да и поздно. Ты, вероятно, хочешь спать. Ступай за Александром, он проведет тебя в твою комнату. А завтра тебе будет указана работа. Спокойной ночи! А ты, Иван, зайди ко мне!

– Как ты думаешь, удастся нам этот опыт? – обратился Колыбин к Никуличеву, когда они очутились в кабинете.

– Отчего ж? Раз предыдущие удавались.

– А не думаешь, что у твоего брата, того... преступные манеры глубоконокко проросли? Как бы не чересчур сильны они оказались?

– Конечно, с ним повозиться придется дольше. И дольше придется очищать его душу, но все же в месяц я надеюсь и выстирать ее дочиста, и переделать ее, и закрепить новые формы, уже не в качестве форм загипнотизированного, а форм нормально бодрствующего человека. А затем его можно пустить и на волю. Впрочем, он, вероятно, останется при нас. Он нам пригодится.

– Дай Бог. Эх, Дмитрий, право же, молодцы мы с тобой. Дела наши подвигаются, и... недурно. А ведь не думали мы, что такими фокусами будем заниматься, когда зайцами ехали в Питер или жили за заставой!

– Ты да случай помог, как обычно говорят. Не будь тебя – недалеко бы я уехал.

– Перестань, без тебя мне и в голову ничего подобного не пришло бы.

– Ну, ладно, не будем считаться. Нам спорить не о чем и делить нечего. Хватит работы и славы на обоих. Как чувствует себя Лена?

– Хорошо, она все возится с Витей. Больно уж подружились они.

– А Витя доволен своими учениками?

– Что и говорить. Два часа гуляет, 8 спит, остальные 14 делит пополам: 7 – для своих работ по плану общественных и государственных реформ, 7 – на своих двух учеников.

– Ну, спокойной ночи, Иван. Привет Лене.

– Спасибо. И тебе спать пора!

Прятели расстались...



Психоневрологический институт в Санкт-Петербурге

Глава 2

Описанная сцена происходила через три года после первого визита Никуличева к Шахматову, и происходила уже в новой лаборатории, выстроенной на средства банкира. Несмотря на то, что с постройкой ее торопились, все же понадобилось два года, чтобы довести постройку до конца. Дела было немало. Никуличев и Колыбин не могли его доверить никому и потому неизменно присутствовали сами.

Через два года на одной из окраин Петрограда^{89*}, где раньше тянулся большой пустырь, выросло белое трехэтажное здание необычной архитектуры, с какими-то странными выступами и выемками.

Кругом шла решетка, запиравшаяся днем и ночью.

Колыбин с Леной, Никуличев с Витей, два лаборанта, три студента и еще два ребенка поселились в этом здании под видом владельцев особняка. {Жили замкнуто. Все они знали, что опыты их – тайна, знали, что нельзя ничего говорить о них, чтобы не навлечь различных подозрений, и поэтому жили замкнуто.}

Сами жильцы занимали очень немного комнат: все остальное было занято лабораториями для различных исследований, комнатами для маленьких детей, а в нижнем этаже помещались животные, начиная от простейших и кончая высшими позвоночными, в особенности высшими видами обезьян.

Центр лаборатории составляли две залы, из которых одна носила название «интеллектуализирующей», другая – «морализирующей».

Каждая из них имела стены, абсолютно не пропускавшие никакого шума. Войдя в нее, каждый чувствовал себя в царстве молчания. Не слышны были даже звуки его собственных шагов.

По стенам, по потолку и в середине первой залы тянулись какие-то странные машины, огромные собирательные и рассеивательные стекла, приборы для производства различных шумов и ударов, трубы, шедшие неведомо куда, электрические провода, проведенные к креслам, громадное полотно и кинематограф.

Посреди залы, на возвышении, стояла «логическая машина», сконструированная по плану самого Никуличева. Она была лишь отдаленным подобием логической машины Джевонса^{90*}. Ее характерной чертой было то, что любое суждение можно было сразу перевести в письменную форму, и эту письменную форму машина механически отображала на громадном полотне.

Основная задача этой комнаты, сложное устройство которой нелегко описать профану, заключалось в развитии быстрого и в то же время весьма прочного усвоения сообщаемого – с одной стороны, с другой – в развитии логической способности мышления.

В начале своих исследований Никуличев исходил из старой по существу мысли: прежде всего учащемуся следует сообщить фактические данные. Усвое-

II. Научно-фантастический роман



Уильям Джеворнс и его «логическая машина»

ние этих данных, раз они поняты, дело памяти. А память сводится к установлению прочных ассоциаций. Вся задача обучения сводится поэтому, рассуждал Никуличев, именно к тому, чтобы выяснить, в чем же секрет прочности ассоциаций. По своему опыту и по наблюдению над другими он знал, что в жизни каждого человека есть события и знания, которые не забываются всю жизнь во всех своих деталях. Многие студенты помнят тот билет, который им достался на экзамене, иные – то или другое событие. Он сам до мелочей помнит сцену похорон матери. Поэтому первая цепь исследований Никуличева была направлена на открытие тех «иксов», которые влекут за собой эту «вечность памяти».

Так как в один час можно сообщить бесконечно много, то, раз такой метод «вечного» запоминания найден, тем самым весьма и весьма ускорено и обучение.

А раз ассоциаций достаточно и они достаточно прочны, рассуждал он, тем самым дана и способность логического мышления. Ибо мышление в простейшей своей форме есть не что иное, как та же ассоциация. Следовательно, этим достигается и развитие логики. Для окончательного развития этой способности остается только провести в ум ученика руководящие линии, дать ряд рецептов, опять-таки фиксирующихся навеки и потому неуклонно соблюдаемых. Здесь помощником должен быть учитель или усовершенствованная им логическая машина, позволяющая проверять правильность не только силлогизмов, но и индукции и метода больших чисел.

К этой с виду простой, но практически бесконечно трудной задаче и было приспособлено устройство «интеллектуализирующей» залы.

И действительно, она оправдывала себя. Взятые для опыта два мальчика – один пяти, другой семи лет – в течение года прошли все то, что знает средний студент первых курсов. Эти результаты оправдывали предположение ученых и давали им ту неутомимость, без которой едва ли мыслима была бы их деятельность.

Вторая основная зала была «залой морализирования», или, как шутя называл ее Колыбин, «чистилищем и прачечной человеческих душ». Главную ее особенность составлял своеобразный, какой-то усыпляющий полусумрак, скорее даже сумрак, наступавший одновременно с каким-то монотонно-ритмичным шумом, похожим на шум дождя об крышу. В сумраке таяли все предметы, выделялась только светящаяся зеленовато-зеленая точка, таинственно, наподобие светляка, мерцавшая где-то в углу и невольно приковывавшая к себе внимание. Временами во время сеансов здесь распространялось какое-то благоговение, от которого хотелось дремать, терялась воля, усыплялось сознание и человек становился безвольным, мягким, как воск, из которого можно лепить все, что угодно.

Такова была главная особенность этой залы. И здесь по стенам, в углах, на потолке и на полу виднелось множество странных и мало понятных приборов. Я не в состоянии детально описать устройство и назначение каждого из них. Зато считаю необходимым сказать пару слов о сущности тех принципов, на которых была построена Никуличевым и Колыбиным система быстрого изменения поведения и характера человека. Для своей цели я воспользуюсь первоначальными заметками Никуличева, попавшими в мои руки.

«Всякое воспитание, – значит в черновых набросках Никуличева, – сводится к двум вещам: 1) к тому, чтобы запечатлеть в уме воспитываемого то или иное правило поведения: например, “не убий”, “не укради”, “не будь обидчиком”, 2) к тому, чтобы это правило не только правилом оставалось, но и обладало силой подчинять себе поведение человека, иначе говоря, чтобы оно вошло в плоть и кровь человека, стало настолько действенным, что против него человек не может поступить или <способен> нарушить его лишь при совершенно исключительных обстоятельствах.

Первая задача проста, вторая – сложна. Для того чтобы достичь ее, нужно: 1) усыпить сознание совершенно; тем самым усыпляются и все импульсы, которые толкают человека на тот или иной нежелательный акт. 2) Пользуясь гипнозом, в гипнотическом состоянии внушить лицу желательное правило и заставить его исполнять его. 3) Возобновляя гипнотические заряды, держать человека более или менее долго в линии желательного поведения. 4) Благодаря многочисленным актам повторения, хотя бы в гипнотическом состоянии, эти акты будут рикошетно влиять на психику, уничтожать в нервной системе старые следы и проводить новые, соответствующие новому правилу поведения. 5) А тем самым они войдут в привычку и станут исполняться через некоторое время без гипноза, в нормальном состоянии – “добровольно”. 6) Для ускорения этого процесса благоприятствующим обстоятельством служит усиленный обмен веществ в организме и в особенности в нервной системе, а следовательно, все те реактивы, которые без вреда дают этот эффект, пригодны. (Задача Колыбина.)

В исключительных случаях уместно хирургическое вмешательство в нервную систему: искусственное исправление извилин и нервных нитей с целью удаления ненужных следов и создания новых. (Нужно будет вместе с Колыбиным сделать ряд опытов.)».

Таковы были вчерне набросанные основы «стирания и утюжки человеческих душ».

Путем многолетней работы Никуличеву на их почве удалось развить и сформулировать ряд точных теорем механики поведения и найти способы практического осуществления своих положений...

Глава 3

Утро только начиналось. Гудели гудки фабрик, расположенных вокруг лаборатории. Снег голубовато-белой пеленой лежал на пустыре, тянувшемся вокруг научного здания. Было около семи часов. Никуличев сидел и просматривал последние листы корректуры своей книги. Через некоторое время он кончил эту работу и позвонил.

– Попросите ко мне доктора! – сказал он вошедшему студенту.

– Здравствуй, – обратился он к явившемуся Колыбину. – Прости, что побеспокоил тебя. Дело в том, что нам надо условиться, когда мы выступим с докладом. Так как твое изобретение давно готово, а моя книга выйдет через несколько дней, то, думается, нет больше оснований ждать. Пора, пожалуй, и на улицу.

– Что ж, идет. Но каков твой план?

– Мой план таков. Я думаю, что лучше всего дебютировать и тебе, и мне в Академии наук. Там, вероятно, сначала поежатся, но потом волей-неволей принуждены будут признать и санкционировать наши работы. Одновременно выйдет моя книга. На французском и английском языках она уже появилась недели две тому назад. И со дня на день я жду откликов оттуда. Затем мы устроим целый ряд публичных выступлений. На них будут депутаты и общественные деятели. Вслед за этим подадим мотивированный доклад в комиссию парламента по народному образованию и министру.

Этого пока, я думаю, будет достаточно. А месяца через два я рассчитываю быть приглашенным для докладов в иностранные Академии. Таким образом, толчок будет дан, а к следующей зиме, я надеюсь, наше изобретение из вопроса научного превратится в вопрос социальный, в боевой лозунг, вокруг которого завяжется борьба классов и партий. Вот главное. Как ты думаешь?

– Я вполне одобряю тебя.

– Иван, а тебе не жалко порывать с тихой творческой работой? Ведь, делая эти шаги, мы прощаемся с ней, по крайней мере, на время. Мы выходим на улицу. И наши имена, как и все, что попадает сюда, пойдут трепать на перекрестках, валять в грязи, пойдут намеки, сплетни и прочее. Не знаю, как тебе, а мне немножко грустно.

– Но что ж поделаешь? Ведь надо! Конечно, прошлое, быть может, самое счастливое время в нашей жизни. Но то, что добыто, должно быть выявлено. Э, не беда, Дмитрий! Не нам с тобой пугаться. Да и нет худа без добра. Наше дело сразу найдет тысячи и сотни тысяч работников. И весело заживем мы! Эхма, есть о чем горевать!

– Превосходно, Иван. Итак, значит, на улицу?

– Да, на улицу. Только не забудь захватить с собой палку, да покрепче – пригодится.

– Ладно, мой друг. Обойдемся и без палки. А теперь вот что. Вот видишь эту статью? Она пойдет в ближайшем номере «Обозрения науки» и содержит в себе критику – и, думаю, уничтожающую – всего «гуманистического солидаризма» во главе с Воеводским включительно. Я начинаю выход на улицу с нападения, а ты, кажется, с патента на свой «сверхумород».

– Валяй, во славу Божию! Давно пора одернуть этих болтунов! Хотя не забудь: этим ты наживешь себе врагов среди гуманистов-либералов – и как парламентской партии, и как общественной силы, и как печатного слова в лице «Звука» и «Времени».

– Не беда... Все равно это неизбежно. Поэтому лучше уж сразу выступить с открытым забралом.

– Да, пожалуй, что иначе и нельзя.

– Вот и все главное. На днях поеду к академику Каракозову и условлюсь с ним относительно дня заседания. Теперь же еду в редакцию «Обозрения», а ты займись здесь порядком и ребятками. К обеду приеду.

– Добре.

– Итак, на улицу? – тряхнув головой, хлопнул Никуличев по плечу Колыбина.

– Итак, на улицу, – улыбаясь, повторил доктор, круто повернулся на одной ноге, помахал руками и шутливо запел: «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою»^{91*}. Или нет, – оборвал он, – лучше «Отречемся от старого мира. Попадем мы с тобой в каземат». Чего доброго, нам дадут, пожалуй, титул «Спасителей Отечества». Приятно, Дмитрий, а? Помнишь, как голодранцами спасали Отечество?

– Ну-ну, – добродушно рассмеялся Никуличев. – «Перевей свое горе веревочкой!» Ладно. Отправляйся к себе. А я распоряжусь, чтобы перед выходом на улицу нам дали обед, да посытнее.

– До свиданья!

Глава 4

– Ты не читала еще эту статью? – спросил Воеводский, подавая жене номер «Обозрения».

– Вчера кто-то прислал мне номер. Уже прочла, – разливая кофе, ответила Елизавета Александровна.

– И что же? Как ты ее находишь?

– Как тебе сказать... Статью писал, во всяком случае, человек неглупый. Мне думается, многое здесь схвачено правильно. Я бы, пожалуй, со многим примирилась, но тон статьи невозможен.

– И я тоже нахожу его возмутительным. Статья неглупая, это правда, надо будет ответить. Уж и разделаю же я его.

– Ты думаешь?

– Да. Я сегодня же сажусь за нее. Но любопытно, кто бы мог написать ее? Ведь ясно, что Отверженный – псевдоним.

– Не знаю... Узнай. Справься у Гиршмана^{92*}.

– Лучше бы ты это сделала. Тебе удобнее.

– Хорошо.

Елизавета Александровна Воеводская была на этот раз не вполне откровенна с мужем. Статья «Гуманисты-либералы и г. Воеводский» ей показалась статьей уничтожающей. Чья-то опытная рука писала ее и метко наносила удары противнику, вскрывая пустоту красивых фраз, которыми полны были теории «гуманистов». Путем глубокого анализа работ Воеводского как лидера автор показывал невежество и неверность их теоретических положений. Комментируя практическое поведение партии и ее лидеров, он выводил их на чистую воду.

И в итоге как теория, так и практика гуманизма, лишенная пышного словесного убора, получила нищенски-жалкий вид, способный вызвать и негодование, и горькую улыбку. Сила статьи увеличивалась еще живым, но убийственно-ироническим тоном, на который и жаловалась Воеводская, хотя в глубине души она, помимо своей воли, находила стиль мощным и любовалась им. Не так легко отнестся к ней и Воеводский. Не лишенный способности к самокритике, он еще при беглом просмотре почувал, что за ней кроется враг сильный, что удары его попадают прямо в цель и пробивают немалые дыры.

Вошел лакей и подал газеты.

– Так и есть, уже есть заметка по поводу статьи, – просматривая «Звук», сказал Воеводский.

– Есть статья и в «Начале», – отозвалась его жена.

– Вот как... Что же пишут?

– Статья озаглавлена «Изнанка гуманизма». Излагает сущность статьи Отверженного и вполне одобряет ее.

– А здесь профессор Сеницын, напротив, ругает ее.

«Тр...р...р...» – зазвонил телефон. Воеводский взял трубку.

– Слушаю... А, здравствуйте. Читал... сейчас читаю и вашу статью... Да, да... Я сейчас же сажусь за ответ и вечером пришлю его в редакцию... Обязательно... По-видимому, кто-то начал предвыборную кампанию. Спасибо. Непременно... До свиданья.

– Звонил Сеницын. Я сейчас сажусь за статью, – целуя руки жены, сказал Воеводский и пошел в кабинет.

Елизавета Александровна осталась одна и занялась чтением газетной статьи. Кончив ее, она задумалась. В ее голове стоял вопрос: кто бы мог быть автором

этой статьи? Любопытство ее, помимо всего, усиливалось еще фактом присылки ей неизвестным автором номера «Обозрения». Статья была специально подчеркнута синим карандашом и перед ней стояла надпись: «Елизавете Александровне, в воспоминание о прошлом, в знак памяти и оплаты от автора». И еще два слова: «Скоро увидимся». И только. Кто бы это мог быть? И почему эта надпись и специальная присылка? И что значит это «скоро увидимся»? Быть может, это один из врагов ее мужа. Быть может, один из ее многочисленных поклонников, не отмеченных ею, желающий обратить на себя внимание? Странно... Кто бы это мог быть, думала Воеводская и мысленно пыталась открыть неизвестного автора. Представляла то одного, то другого из общественных фигур, литераторов, ученых. Но ни одно из предполагаемых лиц не годилось по той или иной причине. Мысль же о Никуличеве ей не приходила в голову, не приходила потому, что со времени случайной встречи на концерте она его не видела и ничего не слыхала о нем. «Позвонить разве Гиршману, – подумала она. – Он член редакции “Обозрения” и должен знать, кто автор этой статьи».

Воеводская подошла к телефону.

– Это вы, Соломон Моисеевич?.. У меня к вам просьба. Не можете ли вы сказать мне, кто скрывается под псевдонимом Отверженный?

– Почему же не можете... Мне-то могли бы сказать... Само собой, это останется между нами...

– Кто?.. Да что вы?! – воскликнула она с испугом и затем спокойно спросила, кто он такой.

– Вы говорите, что не знаете ничего о его прошлом, но думаете, что это просто удачно дебютирующий публицист.

– Жаль. Ну, большое вам спасибо. Во вторник, надеюсь, увижу вас у себя.

– Будем рады. Милости просим. До свиданья...

Так вот он кто, этот Отверженный! Некто, как выразился Гиршман, Никуличев. И образ молодого ученого с полуиронической улыбкой, застывшей на его губах, и с загадочной фразой «Слово – серебро, молчание – золото» встал перед княгиней... Вот на что, значит, намекал он при последней встрече. Но как могла она не догадаться сразу о нем? Ведь стиль его знаком ей. Впрочем, этой холодной, разъедающей иронии раньше не замечалось. Что же означает в таком случае это нападение? Неужели месть отверженного, неудачника, не сумевшего выбиться на широкую дорожку и теперь жалищего победителя-соперника?

Нет, такое предположение мало похоже на Дмитрия. А впрочем, кто его знает. Она так давно не видела его, что, быть может, он уже не тот, что был прежде. Но в таком случае тем хуже для него. Неужели этим он думает возратить потерянное? «Напрасно, мой друг, – с усмешкой проговорила Воеводская... – Гуманный солидаризм вам не опрокинуть, он слишком прочно стоит. А нам видется незачем. Не написать ли ему об этом? Пожалуй».

Княгиня прошла в свой кабинет и быстро набросала: «Господин Отверженный! Е.А. Воеводская благодарит вас за присылку статьи. Она прочла ее с удовольствием, но полагает, что видеться нет надобности. Воеводская».

На конверте стояло: «Редакция “Обозрения науки”. Г. Отверженному».

– А теперь и я отвечу ему статьей, – решила Воеводская. – Попробуем поднять брошенную перчатку.

Глава 5

Академик Каракозов был исключительной «фигурой» в среде русских академиков. Ученый с крупным европейским именем, известный за границей не менее, чем в России, он был последним из того славного поколения, которое дало дворянство в памятные дни конца XIX столетия. Громадного роста, с большой бородой и добрыми лучистыми глазами, он обладал широкой русской душой. Чуждый узкого доктринерства, чуткий к зовам жизни, он резко отличался от среды других академиков.

– И за что меня выбрали в Академию, ей-богу, не знаю, – шутливо заявлял он не раз своим друзьям. – Готтентотских языков я не изучал, манускрипты Рамзеса не расшифровал, а выбрали.

– Помилуйте, – отвечали собеседники. – А ваши исследования о быте и нраве самоедов? А «Промышленное развитие Европы»? А десять томов «Происхождения нового режима»?^{93*}

– Ну, полноте, за это могут выбрать в Париже или в Риме, но не у нас. Ведь едва ли кто-нибудь из них раскрывал хоть одну из этих книг. Впрочем, и я не в долгу у них. Раз раскрыл я один из выпусков Академии по отделу восточных верований и на пятой странице заснул. Просто зря выбрали, – доканчивал он.

Лишенный позы и педантизма, он добродушно осмеивал все, не щадя и себя самого. Стоило послушать его, поглядеть на его барское лицо, посмотреть, как вся его фигура, в особенности его большой живот, колышется от смеха – и нельзя было не прийти в хорошее настроение и нельзя было не полюбить его. Благодаря этим и другим своим качествам он пользовался исключительной популярностью в России и как человек, и как общественный деятель. Имя Каракозова, или «Мастодонта», как его прозвали многие, служило для многих групп и партий связующим звеном. Где был Каракозов – туда шли без колебаний все честные и самоотверженные работники: это имя служило гарантией порядочности дела и мысли. К Каракозову же за советом шли и молодые ученые. Не затушевывая своих мыслей, он умел понять их, умел дать совет всякому, в ком была искра таланта. Бесталанных он гнал. Любитель весело пожить, хорошо поесть, он и работал, как мастодонт. То, что он делал, было под силу весьма немногим. Принимая деятельное участие в верхней палате, и в общественной деятельности,

Это была первая писанная записка о моем персонаже. А с тех пор и
предидет. И, пожалуй, имеет право. Но все же лучше, наверное, читать
то, что называется "Книжки душой и материей" — написать за рекламу
и потом самим же прочитать душевной силой. Не по рентам от души!

... Из ~~этого~~ оттого же поди душа (влия колма) религиозного жару.
Мир, открывавший ~~то~~ религия, был так же не похож на обычный.
Из него виднелись великие образы шестоты, подвигов и духовной
силы... ~~Вот~~ "Таинные, стивившие и земные", которые таились в
реалии за ее небесной сферой, тогда не заботило. ~~А что~~
только ~~влияние~~ ~~сказание~~ ~~книжки~~ и ~~влияние~~.

Кем-то тололо это и чтение "Темно-линей". Они были ~~дми-~~
-ши из прррррр, прожитанных много книг. Из ~~детишек~~, ~~дти~~ ~~ли~~
тогда жили, были ~~милыми~~ ~~сказочными~~ Кокоскина, в молодости случивший
в Гитлер. Оттуда он ~~видел~~ прекрасную картину, Савадра" и
четыре больничя, толстую книгу "линей". В разведку пришел я
на ~~сможу~~ ~~к~~ ~~себе~~ ~~в~~ ~~избу~~..

— Смотрите, не замечайте, как таинственно сказаны лишь старик,
давая книгу. Наверное, кто прочесть их от жарки до жарки,
«сидеть» с ~~чима~~. Ты еще молоденька, какачить. Не читай все,
а то ~~кто~~ ~~доброе~~ ~~дурное~~..

Мне молоденькому было возбуждено.. ~~Вдурно~~ не дурно, а прочу
все, ~~ррррр~~ я, и с ~~третью~~ ~~мать~~ ~~раскрыть~~ ~~старую~~, ~~кажущую~~
книгу, такую не древнюю, как и время, ~~переводился~~..

.. Ах, сень во ~~сказание~~ и ~~жизнь~~. ~~В~~ ~~руки~~ ~~в~~ ~~моя~~, ~~сиди~~ и ~~уми~~
~~ошибки~~, ~~сказаны~~ ~~сказаны~~, ~~привели~~ я ~~не~~ ~~раскрывшейся~~ ~~старани-~~
~~чь~~. ~~В~~ ~~сиди~~ ~~ей~~ ~~исполнись~~ и ~~на~~ ~~преждевременно~~ ~~Арамане~~, ~~зау-~~
~~вершить~~ ~~перекрестки~~, ~~та~~ ~~м~~ ~~я~~ ~~дали~~ ~~величественными~~
~~рожами~~ ~~не~~ ~~в~~ ~~доло~~ ~~в~~ ~~доло~~.. ~~Брадия~~ ~~ошибки~~
~~перфорацию~~ ~~представился~~ ~~по~~ ~~сиди~~ ~~ошибки~~ ~~доло~~.. ~~Брадия~~ ~~ошибки~~
~~много~~ ~~во~~ и ~~ошибки~~, ~~яко~~ ~~по~~ ~~ошибки~~ ~~шюку~~, и ~~исполнись~~ ~~сказаны~~
~~для~~ ~~два~~ ~~дня~~, ~~в~~ ~~сказаны~~ ~~поврежден~~. ~~Кому~~ ~~были~~ ~~шар~~ ~~шюку~~ =
ну: ~~Величествен~~ ~~божи~~ ~~Арамане~~ ~~для~~ ~~два~~ ~~дня~~ ~~сиди~~ ~~не~~ ~~поврежден~~
а ~~ты~~ ~~не~~ ~~рррр~~! ~~На~~ ~~треще~~ ~~утро~~ ~~привели~~ ~~шюку~~ ~~с~~ ~~брадия~~
~~к~~ ~~шюку~~, ~~но~~ ~~его~~ ~~ошибки~~ ~~сиди~~ ~~шюку~~ и ~~шюку~~ ~~шюку~~. ~~Почти~~
~~шюку~~ и ~~ошибки~~ ~~шюку~~: ~~како~~ ~~ошибки~~ ~~шюку~~ и ~~что~~ ~~шюку~~ и ~~шюку~~..

И ~~шюку~~ ~~Арамане~~: "Спасайтесь.. Идите ~~шюку~~
шюку ~~шюку~~ и ~~шюку~~ ~~шюку~~, ~~сиди~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~
шюку ~~шюку~~ и ~~шюку~~ ~~шюку~~. ~~Царевич~~ ~~шюку~~. ~~Блажен~~ ~~шюку~~
~~кто~~ ~~все~~ ~~сиди~~ ~~шюку~~ ~~по~~ ~~шюку~~, ~~только~~ ~~где~~ ~~но~~ ~~шюку~~..
~~Бо~~ ~~шюку~~ ~~не~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~, ~~но~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~, ~~шюку~~..
~~Сказаны~~ ~~сиди~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ и ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~.

Там 12 ~~шюку~~, никогда не ~~шюку~~ и не ~~шюку~~ ~~шюку~~, ~~шюку~~ ~~шюку~~
и ~~шюку~~, ~~шюку~~ и ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~
и ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~..
~~В~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~..
~~А~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~..
~~А~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~..

Сказаны ~~сиди~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ и ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~, ~~шюку~~..
Там 12 ~~шюку~~, никогда не ~~шюку~~ и не ~~шюку~~ ~~шюку~~, ~~шюку~~ ~~шюку~~
и ~~шюку~~, ~~шюку~~ и ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~
и ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~..
~~В~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~..
~~А~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~..
~~А~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~ ~~шюку~~..

и в науке, он находил время и для советов, и для отдыха, разумно соединяя приятное с полезным.

– Пожалуйте. Очень, очень рад вас видеть, ну, садитесь, Семен Столпник, – протягивая руку Никуличеву, встретил его Каракозов. – Ну, как ваша работа и скоро ли конец вашему искусству?

– Благодарю вас, Михаил Михайлович. Работа подошла почти к концу. Вот на этот счет я и приехал поговорить с вами. Вы прочли английский текст моей книги?

– Да, и скажу прямо, с большим удовольствием. Мало того, я уже послал по ее поводу большую статью в «Sociological review». В ближайшей книге она будет напечатана. Кроме того, я написал президенту Академии политических и моральных наук в Париже по поводу французского издания вашей работы. Написал о ней и секретарю Международного социологического института.

– Я очень, очень благодарен вам, Михаил Михайлович.

– Ну, полноте. Благодарить тут не за что. Ваша работа и ваша книга – явление исключительное, а потому было бы глупо и неумно не содействовать и не ускорить ее успех, несомненно обеспеченный. Ну, а здесь, помимо всего, есть у меня и своя корысть. Как-никак, вы мой бывший ученик, правда, обогнавший далеко своего учителя. В своем труде вы не раз ссылаетесь и на мои писания. Стало быть, лучи вашей славы косвенно падают и на меня, – широко улыбаясь, продолжал Каракозов.

– Вот в чем дело, Михаил Михайлович. На днях выходит русский текст моей книги. Работа главная у меня почти что закончена, и мы с доктором Колыбиным решили выйти на улицу. Думаем наш выход начать с Академии. Одновременно с выходом книги мы бы хотели сделать доклад о нашей работе и опытах в Академии. Как вы думаете, можно будет устроить это?

– Можно-то оно, пожалуй, и можно. Но какой прок от этого? Стоит ли овчинка выделки? Что вам могут сказать эти почтенные, слепые, глухие и чающие движения воды? Иное дело, ежели бы вы представили им мемуары по фонетике алтайских языков, или толкование такого-то места Брихаспати^{94*}, или о количестве надела крестьян царя Салтана, – тут бы они поговорили.

– Дорогой Михаил Михайлович, само по себе мнение почтенных академиков для меня не важно. Но важно оно в ином, чисто общественном значении. Вам уже известно, что я не собираюсь довольствоваться чисто теоретическим значением наших работ. Это лишь первая ступень. Смысл же и значение их в том, что они должны сделаться практической силой, орудием социальной перестройки и прогресса.

Вокруг них должна завязаться борьба, и борьба жестокая. Это раз. Во-вторых, в тех же целях я хочу добиться признания моей системы государством, в-третьих, для широкого осуществления нашей системы нам нужны будут гро-

мадные деньги. А вы знаете глупость нашей публики. Ей нужны патенты и гарантии. Одной из таких гарантий в ее глазах является приговор Академии. Вот причины, почему мы находим уместным и нужным выступление в ней и желали бы, чтобы заседание было не закрытое, а открытое, с привлечением всех тех, кто сколько-нибудь смыслит в этих вещах.

– Пожалуй, вы и правы в этом смысле. Но я боюсь одного: ведь за исключением одного-двух академиков едва ли кто из них понимает что-нибудь в исследуемых вами вопросах. А так как вы бунтарь и подлинный новатор в этой области, то как бы за вашу непочтительность они не вздумали покарать вас.

– Ну, это уж не так страшно. Я им дам не только теорию, но и осязательные практические опыты. Кроме того, я намерен устроить доклад лишь тогда, когда у меня будут отзывы иностранных ученых. Этого, я думаю, будет достаточно, чтобы заставить их действовать так, как мы хотим. Из боязни скомпрометировать себя они будут принуждены санкционировать наши работы.

– Я берусь устроить вам это. К какому же времени приурочиваете вы заседание?

– Думаю, недели через три. В числах двадцатых ноября.

– На этом, значит, и порешим. Превосходно, а теперь пойдемте завтракать...

Глава 6

Надежды Никуличева и Колыбина, возлагавшиеся на успех их книг за границей, не только оправдались, но и превзошли их ожидания. На столе Никуличева лежал уже ряд журналов социологических, психологических, философских, педагогических и даже социалистических с целым рядом статей, посвященных их книгам и вызванных ими. Кроме того, Никуличевым и Колыбиным был получен ряд писем от ученых и специалистов с благодарностью за присылку книг, с лестными отзывами знаменитых ученых, с приглашениями от ряда научных обществ приехать и прочесть доклады, с запросами относительно тех или иных деталей, с просьбой разрешить приехать и познакомиться с лабораторией на месте, с просьбой к Колыбину прислать «сверхуморд» или указать, где можно купить его и как пользоваться им и т.д., и т.д.

В ряду этих писем и статей особенно обрадовали того и другого ученого статья знаменитого английского ученого Вильяма, помещенная в «Бюллетенях Лондонского Королевского Общества», и статья французского академика Эмиля Фуше, напечатанная в «Социологическом обозрении». И тот, и другой дали работам ученых самую лестную оценку.

«Работы и опыты гг. Никуличева и Колыбина, – писал первый, – открывают новую эру в истории социальных наук и новую эру в социальном творчестве культуры. В них нет фраз – есть только строго доказанные истины. Нет туманностей и неясностей – напротив, все точно, ясно и измерено. Смелые, даже дерзкие

мысли построены на прочном фундаменте кропотливого исследования и осторожного анализа фактов. Нет здесь ни бессмысленного нагромождения последствий, ни беспочвенной дедукции.

Что касается тех практических последствий, которые будут вызваны ими, то я не сочту неосторожным сказать: эти результаты будут громадны. Я не хочу быть пророком, но полагаю, что многое отныне должно будет измениться; и кто знает, быть может, эта система заставит пойти по новому руслу все наше обучение, воспитание, социальную борьбу и весь социальный уклад. Работа этих двух ученых – явление необычное» и т.д.

Не менее лестной была оценка и Эмиля Фуше.

Из других писем обращали на себя внимание два письма: Гильома Мориу, председателя международного социалистического Союза, и г. Бару – государственного секретаря Северо-Американских Соединенных Штатов, бывшего профессора социологии в Чикагском университете.

«Многоуважаемый г. Никуличев и дорогой коллега! – писал Мориу. – Я только что закончил чтение Вашей книги и книги Вашего друга, доктора Колыбина. Пока я не могу дать свое более подробное и ясное мнение о них, в особенности о Вашей книге, непосредственно относящейся к социальным вопросам и, в частности, социалистической практике. Ограничиваюсь этим письмом. Начну с того, что Вы заставили меня усомниться во многих вещах и подвергнуть сомнению лозунги, до сих пор считавшиеся аксиомой... Это уже много... Наша работа – я говорю “наша” потому, что хотя лично и не знаю Вас, но по духу Вашей книги вижу, что Вы наш, Ваши цели – народные цели, Ваша забота – забота о массах, Ваше оружие служит нашим задачам, – эта наша работа, быть может, кое в чем и проигрывает от Вашей книги, но, насколько я теперь могу судить, благодаря Вам же она получит и новую и, смею думать, более правильную постановку. Боюсь одного: как бы выкованное орудие не захватили наши социальные враги. Но это уже не Ваша вина. Пока же присланная Вами книга изучается рядом наших теоретиков и в ближайшем будущем, вероятно, будет немало вопросов и статей по ее поводу. Позвольте поблагодарить Вас от души за Ваш смелый план социального переустройства и разрешите включить Вас в число членов нашего Института. Так или иначе Вы “наш”. Быть может, мы многое отвергнем из Ваших предложений, но, несомненно, останется от книги многое, что принадлежит “вечности”».

Искренне уважающий Вас и готовый к услугам

Г. Мориу

Если понадобится Вам какая-нибудь помощь, то всегда можете рассчитывать на меня.

Ваш *Г. Мориу*».

Письмо же Бару было чисто делового свойства. Бывший ученый и теперешний государственный секретарь Штатов предлагал прислать от имени Штатов трех ученых для детального знакомства с системой Никуличева и Колыбина. Система нового воспитания и обучения показалась Бару настолько ценной и плодотворной, что он хочет сделать опыт широкого применения ее в одном из Штатов Америки. Если ученый коллега ничего не имеет против, то он пришлет специалистов для знакомства на месте с его теориями, лабораторией и т.д. В конце письма Бару предлагал приехать Никуличеву в Штаты, чтобы непосредственно руководить государственным применением его теории и методов.

Аналогичные письма имелись от директоров тюрем в Пенсильвании, Италии, от председателя Международного союза криминалистов и т.д.

В ряду этих писем было и письмо издателя, сообщавшего, что первое издание книг обоих ученых разошлось, и предлагавшего на новых, весьма выгодных условиях выпустить новое издание.

Ряд таких же писем от физиологов, биологов, психологов и знаменитых медиков имелись и на имя Колыбина. Помимо них несколько компаний предлагали продать им патент на его «сверхумород». Суммы были весьма значительны.

С одним из таких писем в руках Колыбин вошел в кабинет Никуличева.

– Не хочешь ли, Дмитрий, разбогатеть? Изволь, посмотри, пишут мне...

Никуличев взял письмо, в котором крупнейшая немецкая фирма химических препаратов предлагала Колыбину 150 000 марок за его изобретение.

– Цена приличная, – прочтя письмо, сказал Никуличев. – Как же ты решаешь?

– Никак.

– То есть?

– Черта с три я продам им «сверхумород». Для них, что ли, я изобретал его? Пожалуйста, купите. Назначьте по 10 руб. за коробку и продавайте богатым. Коли будешь иметь деньги – так будешь умен, а беднячки и без «уморода» проживут. Как бы не так... Не на того, черти полосатые, напали. Я изобретал «умород» для всех людей, и все его получают, и получают бесплатно, как воду и воздух. Иначе – пусть он пропадает.

– Руку, Иван!..

Колыбин протянул руку и крепко пожал, в свою очередь, руку Никуличева.

– Я не выпущу и не опубликую его состав до тех пор, пока государство не поставит себе в обязанность раздавать его даром, совсем даром, всем тем, кому это будет нужно. Ну, ладно, не буду мешать тебе, да и мне надо в лабораторию. Прощай!

Никуличев остался один и снова принялся за перелистывание писем и статей.

В полусумраке кабинета половина его головы ярко освещалась лампой. Большой, квадратный и крутой лоб благодаря игре света казался еще большим.

Ровный огонь электричества делал еще более бледным и неподвижным лицо ученого. Кончив чтение, он повернул кнопку, взял газету и перешел к ярко горевшему камину.

В дверь постучали.

– Вам письмо и газета из редакции, – подал студент.

– Благодарю вас, – ответил он и распечатал небольшой серый конверт. Это было письмо Воеводской, адресованное в «Обозрение» и доставленное с опозданием.

Никуличев прочел, и улыбка промелькнула по его губам.

«Вот как, Елизавета Александровна. Вы думаете, что “нам видеться незачем”. Нет, мы увидимся, и скоро, – подумал он, и улыбка снова пробежала по его губам. – Вы думаете, в этой статье я весь, и у меня нет более ничего за душой? Как вы ошибаетесь, Елизавета Александровна, – пробежало в его голове. – С таким багажом я бы не выступил. Мою статью написал бы всякий неглупый и бойкий публицист, если бы все дело было только в этой статье. Подождите еще немного, и тогда вы увидите меня во весь рост. Посмотрим, что вы скажете тогда!»

Огонь ярко горел в камине и то вспыхивал, то успокаивался. Статуя Леонардо то ярко выступала из полусумрака кабинета, то снова расплывалась в белое неясное пятно.

«А статья ведь произвела шум? – думал далее Никуличев и горько улыбнулся. – Как мало нужно для того, чтобы быть известным и популярным. Стоило написать бойко и неглупо статью, выругать болтунов, что смог бы сделать всякий умный человек, и есть уже имя, есть уже известность... Напиши он еще две-три такие статьи, и его имя было бы именем улицы. И теперь уже Отверженного знают, и теперь уже приглашают его на лекции, собрания и в органы печати. А за что? За то, что хорошенько выругал пустых фразеров, кроме слов и фраз не имеющих ничего и льющих словесную воду на пустые колеса пустых человеческих душ, падких на всякую глупость, не умеющих отличить правой руки от левой. Не в этом ли заключаются все заслуги большинства “ученых”, популярных писателей и общественных деятелей? Разве это не те же пустые души с хорошо подвешенными языками? Разве вся их заслуга не исчерпывается взаимной руганью, в которой один старается перещеголять другого? Так как большинство из них ничего не знает, а еще менее их знает улица, то и получается с виду нечто ученое и умное в их перебранке. В итоге создаются “имена”, выделяются “таланты”, и актеры мысли и дела получают высокий курс на человеческой бирже. Слепец ведет слепца, а толпа, как бараны, вьет им венки, окружает их фимиамом и превозносит их до небес. О, глупое-преглупое человеческое стадо! – с горькой улыбкой думал Никуличев. – Когда же ты поумнеешь? Когда научишься хоть сколько-нибудь разбираться в твоих вождях и пастырях? А казалось бы, пора уже

научиться. Ошибкам нет конца, глупости – тоже. Лишь временами появлялись подлинные творцы и толкали тебя против воли и желания вперед. А современные популярные и известные лица? Разве это не нули, круглые, чистые, пустые нули?»

– Э, впрочем, не стоит думать об этом, – проговорил Никуличев.

Его взгляд снова упал на записку Воеводской...

Смешно... Сколько шуму вызвала эта статья. Появился вслед за ней ряд новых. Одни соглашались с ним, другие защищали Воеводского. Обрадовались, болтуны...

А ответная статья Воеводского? Жалкая статья завравшегося и избалованного ребенка. Тон ее был напыщенный, торжественный, как будто профессор снисходил до своего оппонента. Но кроме тона и остроумных словечек в ней ничего не было. Ни один из его аргументов не был разрушен, ни одно положение не было опровергнуто. Бедный фразер, погубленный своим успехом и человеческой глупостью...

Бедная Елизавета Александровна... Ее записка холодна и горда, как холодна и горда и ее статья, направленная против него...

Читая сточку за строчкой, он оживлял ее мысли и чувства. В статье, несмотря на холодный тон, временами прорывалось бессилие и какая-то надломленность. Ряд строк говорил ему, что тут она сама переставала верить в то, что защищает. Как будто он придавил ее камнем своих положений, и она пыталась сбросить эту тяжесть и... не могла. Некоторые строки были понятны, пожалуй, ему одному. Под нейтральной формой полемики в них скрыт был интимный личный упрек, недовольство и гнев. Они говорили: «Ведь я не виновата, что ты завидуешь Воеводскому, что он победитель, а ты побежденный, что он прославился, а ты банкрот, и теперь мстишь ему и жалишь его в пяту, хотя и чувствительно, но не опасно».

Понимаю, очень хорошо понимаю вас, Елизавета Александровна. Боюсь одного: что тон ваш скоро будет иным, очень скоро. И для вас, и для вашего мужа и всех гуманных либералов достаточно будет моей ответной статьи. Там я окончательно раздел вас и оставил нагими, чистыми, как пустота. Только безнадежно глупые не согласятся со мной. А толпа? О, эта статья убедит ее! Для этого-то он и написал ее так резко, одел свои мысли в убийственный стиль, напитал статью ядом иронии.

Толпа будет моей. Раз она может принимать пищу только в такой приправе – пусть получает ее. Я дам ей это. Когда же он раскроет свои карты вполне, они убьют ее. Уже лежат на столе веяния славы и плоды его работ. Он уже признан и известен. Через месяц-два он будет знаменит. К его имени пришьют эпитеты: «талантливый», «гениальный», «великий ученый», «наша гордость» и т.д. Та людская толпа, которая до сих пор не хотела знать его, пойдет за ним, будет

жевать его имя. При его появлении будут пальцами показывать на него; старцы и мужи с уважением пожимают его руку, юноши смотрят ему в рот, а женщины – о, эти куклы будут являться к нему расточать улыбки и прямо или косвенно предлагать себя: «Возьми, осчастливь, отдохни наедине со мной, дай обнять и поцеловать тебя». Целыми стаями они будут бегать за ним – и юные, и старые, и кокетки, и наивные. Одним он нужен будет для салона, другим – для того, чтобы прославить себя по примеру любовниц гениев, третьим – просто ради хвастовства, а четвертым – ради него самого. Придете, пожалуй, и вы, Елизавета Александровна. Посмотрим тогда, какую роль будете играть. Будет довольно забавно, – и горькая улыбка снова промелькнула на губах ученого.

Камин потух. Пора было спать.

Глава 7

– Не угодно ли прочесть, – протягивая повестку жене, сказал Воеводский.

Повестка была от Академии наук и извещала, что 23 ноября в 7 с половиной часов вечера состоится публичное соединенное заседание отделения социально-философских и медицинских наук. Предметом заседания будут доклад Д.Н. Никуличева «Механика человеческого поведения и новая система интеллектуального и морального воспитания» и доклад И.П. Колыбина: «Интенсивная трата нервной энергии и способы ее восстановления». В повестке значилось, что доклады будут сопровождаться демонстрацией детей, воспитанных по новой системе, и что после доклада будет прения.

– Любопытно, – процедила Воеводская. – Ты думаешь пойти?

– Не знаю, стоит ли? Темы любопытны, но можно ли ждать чего-нибудь нового от Никуличева?

– Раз допустили его до доклада в соединенном заседании, да еще публично, значит доклады действительно интересны. Я бы, пожалуй, пошла.

– Тогда идем. Тем более, что это хороший случай познакомиться с ним, да, пожалуй, и рассчитаться, кстати.

– Я тоже <так> думаю.

Повестка Академии наук была большой неожиданностью для Воеводских. О работе двух друзей они, как и многие, не знали ничего. До случайной встречи на концерте, а равно и после нее Никуличев был забыт. Впервые о нем вспомнили после его статьи, посвященной критике гуманизма и Воеводского. С тех пор оба супруга не забывали Отверженного. Если первая статья ученого была ошеломляющей, то его ответ на статьи Воеводского и его сторонников был поистине уничтожающим. Один только стиль и тот обращал на себя внимание. Искусно вскрыв бессодержательность ответов, Отверженный с редким сарказмом осмелел напыщенный и высокомерный тон «его светлости, г. князя», вообразившего, что

он с высоты своей светлости разговаривает со своим лакеем; подчеркнувши эту внешнюю значительность тона, автор изящно провел параллель между стилем Воеводского и пшютом из золотой молодежи, тон которого всегда значителен, но за душой которого ничего нет. Не пропустил он случая высмеять и бессодержательную реставрацию старого византизма в любимых фразах Воеводского: «мистический», «Св. Троица», «религия великого духа» и т.д. и т.д.

В статье имелись также строки, специально написанные для Воеводской. Смысл их говорил ей, что она поторопилась в своих выводах насчет его зависти и мести. Автор скрыто говорил: «Подождите немного, и тогда вы увидите, кто победитель и кто побежденный. Разве уж теперь не ясно для вас, что у вас и вашего мужа нет ничего за душой, кроме фраз?» Статья имела громадный успех в обществе. Некоторые слова были настолько остроумны, что даже попали на страницы сатирических журналов.

В Воеводском статья вызвала решительное чувство вражды к Никуличеву. В его представлении теперь он рисовался каким-то «человеком с улицы», научным авантюристом, из зависти жалящим его самым неприличным образом. Избалованный успехом, привыкший к похвалам, он само выступление против него в глубине души считал непозволительной дерзостью. Он мог бы еще примириться с нападением, если бы оно исходило от известного ученого и не было бы столь резким. А тут, с позволения сказать, какое-то ничтожество, какой-то неудачник, бывший его соперник осмелился поднять на него руку, и поднять дерзко и смело...

«Нахальство, – думал Воеводский, читая статью. – Научное хулиганство». Но это хулиганство било метко по его главным позициям. Попытка отпаривать удар вызвала еще более резкое нападение. Не отдавая точного отчета, Воеводский бессознательно чувствовал, что отвечать ему нечего. Туманные и неясные фразы, годные для других, не годились для Отверженного. Он ловко распутывал и не без умения вскрывал их пустоту. Оставался только один выход: молчать, делать вид, что он игнорирует противника и находит недостойным для себя спорить с «человеком с улицы». В этом роде и напечатано было им письмо во «Времени» и «Звуке».

Поступая так, Воеводский рассчитывал ликвидировать этим путем полемику. Он ничего не знал о работе Никуличева и потому полагал, что этого жеста будет достаточно. «Мало ли есть всяких проходимцев, не отвечать же на все их нападки», – таков был смысл его «Письма в редакцию». Несколько иные чувства вызвал ответ Отверженного в Елизавете Александровне. Читая первую статью, она уже поняла, что тот, кого она считала неудачником, не совсем таков. Его слова сильны, мысли ясны, удары – разрушительны.

Написав ответную статью, она временно успокоилась. Когда же она прочла ответ Никуличева, впечатление получилось иное. Сомнения, вызванные первой

статьей, теперь окрепли: многие положения социально-философской системы ее мужа здесь были окончательно дискредитированы. Отверженный снимал одну словесную завесу за другой и говорил: «Посмотрите, что там, за завесой». Читатель смотрел и видел одно: пустоту, пустоту и пустоту. Вместо стройной системы получался какой-то винегрет, складочное место, где были перемешаны огрызки самых различных теорий и мыслей. Вместо прекрасного плаща получались одни отрепья, сшитые из разных лоскутьев. А тут еще личная угроза, гласившая: «Подождите немного, и вы увидите».

Теперь Елизавета Александровна увидела свою ошибку. Она поторопилась отнести Никуличева к неудачникам. «Банкроты так не пишут и не говорят».

Вместе с этими мыслями новое чувство прокралось в ее душу. Многие жесты и мысли мужа теперь стало казаться смешным. Многие из того, что она считала своим и верным, показалось взятым напрокат и сомнительным. Безмятежная гладь души покрылась рябью не то тревоги, не то сожаления. О чем – она и сама не знала.

Отныне образ Никуличева чаще и чаще вставал перед ней: холодное лицо, серые стальные глаза и ироничная улыбка на губах. Было ли тут сожаление о своем выборе? Нет. Оно еще не осознавалось... Было просто какое-то томление, неясное и смутное. Было неоформленное недовольство, невысказанный и скрытый упрек. Одновременно родилось и подобие восхищения тем, кого она считала конченным и кто снова воскресал на ее глазах.

Повестка подействовала ошеломляюще на Воеводского и на нее. «Раз допустили его до доклада, значит что-то у него есть. Значит, он не только бойкий публицист, но еще и ученый».

«Посмотрим, – думал князь. – Посмотрим, голубчик, – с угрозой повторял он. – Других критиковать легко, а вот ты нам покажи свой товар. Боюсь, что от него ничего не останется», – самодовольно улыбался он. Он решил быть там и разнести его вдребезги. В том, что это ему удастся, он не сомневался. «В случае чего, выедем на ораторстве», – думал князь.

– Итак, значит, мы едем? – весело спросил он снова.

– Да, я думаю, следует.

Любопытство княгини было возбуждено.

Глава 8

Большой конференц-зал Академии в половине восьмого был полон. Смутные и неясные слухи об изобретении Никуличева и Колыбина уже неслись по городу. Возбуждала интерес и сама тема доклада. Явились академики и все специалисты, работавшие в тех областях, которых касались темы доклада. Немало помог стечению публики и академик Каракозов – с одной стороны,

с другой – Воеводский, пригласивший видных сторонников гуманизма для того, чтобы провалить доклад и тем уничтожить партию, стоявшую позади Никуличева.

За одним из длинных столов, покрытых зеленым сукном, сидел знаменитый историк Востока Календарев^{95*} – высокий, сухой старик с маленькой бородой и с синими, еще юными глазами. Он вел беседу с академиком Журавлевым – умным и приятным стариком-хохлом, на лице которого всегда лежала приветливая улыбка.

Недалеко от них академик Ширинский сердито разговаривал о чем-то с высокой дамой. Он был известным криминалистом, приобретшим славу своей работой об алкоголизме и его влиянии на преступность. Об его специальности говорил также и красновато-сизый нос, свидетельствующий практическое знакомство академика с алкоголем. По его недовольному лицу, по трясущейся бородке, по резким жестам можно было бы подумать, что он за что-то отчаянно распекает свою собеседницу. Между тем, разговор у них шел самый мирный, о самых простых вещах.

В конце стола сидел и оглядывал публику знаменитый психофизиолог академик Пастухов^{96*}, недавно получивший за свои работы Нобелевскую премию. Облокотившись на стол, он спокойно осматривал публику и, казалось, ни о чем не думал.

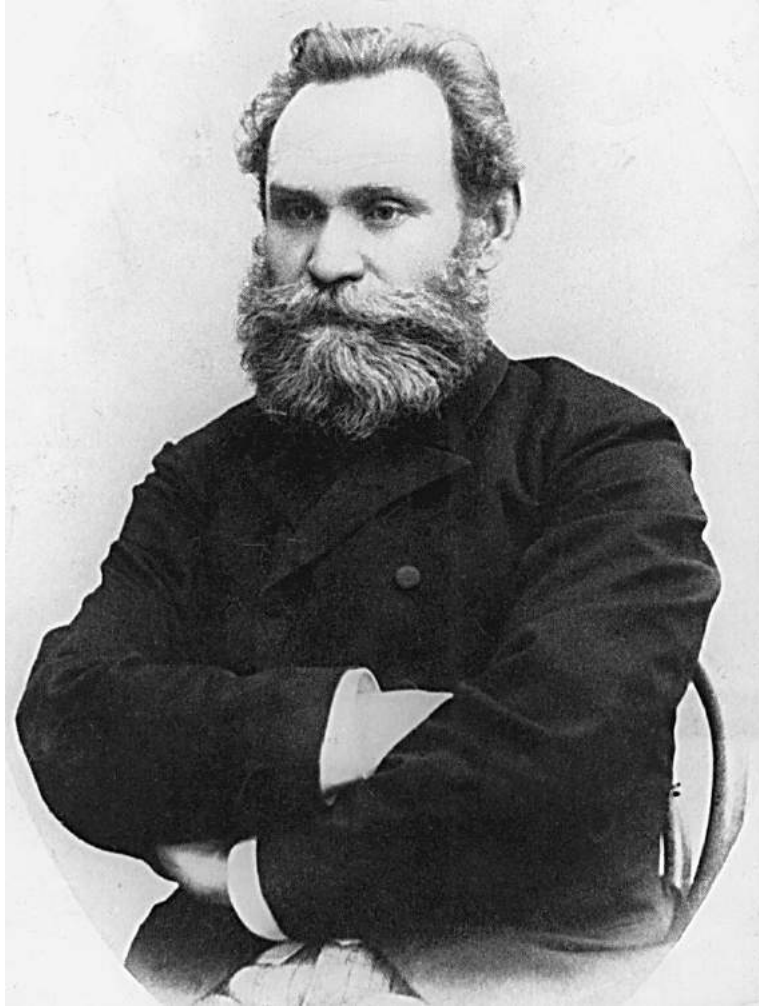
Постепенно места за столами все более и более заполнялись. Явились представители кафедр социологии, психологии, морали, философии, физиологии и медицины. Рядом с ними мелькали сюртуки видных публицистов, кое-кого из депутатов, в том числе лидера социалистов Поленова. В местах для публики виднелись студенты, курсистки, модно разряженные дамы, ряд репортеров, короче, вся та публика, которую можно встретить на всяких торжественных заседаниях.

Тут же сидела и Елизавета Александровна Воеводская. Она то и дело раскланивалась со своими знакомыми, то издали приветствовавшими ее, то подходившими к ней и целовавшими ей руку. Воеводский в стороне о чем-то беседовал с группой лиц, в которой можно было заметить и Синицина, и Привина, и Хлебникова, и Рабиновича и других лидеров партии гуманистов.

Ярко горели люстры. Недвижно смотрели портреты великих людей на волнующую публику.

Из неясного гула толпы время от времени выделялись обрывки фраз:

- Здравствуйте.
- Спасибо.
- Кто он такой?
- Не знаю. Какой-то молодой изобретатель.
- Где он?
- Любопытно.



Академик И.П. Павлов (в романе – академик Пастухов)

- Вероятно, дутая штука.
- Пуф.
- Кто это?
- Смотри, милая. Вон-вон он.
- Душечка Воеводский.
- А это кто?

Фразы рождались и таяли.

В восемь часов раскрылись двери, и ряд академиков во главе с президентом вошли в зал. За ними показались Никуличев, Колыбин, Витя, Ваня и Алеша – ученики ученых. Позади них два служителя несли кипу книг и стали раскладывать их по столам перед сидящими академиками.

Президент занял свое место и позвонил. Пока тишина водворялась в зале, Никуличев обжегал глазами публику. Направо от себя он увидел Лену, мило беседовавшую с банкиром Шахматовым. Тот раскланялся и дружески кивнул ему головой.

В толпе взгляд его заметил еще ряд знакомых лиц и, скользнув по ним, остановился на Воеводской. Взгляды их встретились. Краска быстро вспыхнула на лице княгини, но через минуту оно приняло любезный вид и деланно улыбнулось. Никуличев холодно кивнул головой. В зале стало тихо.

– Объявляю соединенное заседание социально-философского и медицинского отделов Академии наук открытым. Слово принадлежит Д.Н. Никуличеву, – провозгласил президент.

Никуличев поднялся и прошел на кафедру.

Лицо его было спокойно, но бледно. Глаза горели обычным холодным блеском. Без видимого волнения он разложил листки бумаги, раскрыл свою книгу и начал.

– Милостивые государыни и милостивые государи! Человеческий ум со времени своего появления направил свое внимание на познание закономерности окружающих его явлений. В пестром и разноцветном потоке событий он пытался уловить законы, управляющие ими, подметить причинные связи, познать отношения, диктуемые необходимостью. Медленно, с ошибками и заблуждениями, но эта задача постепенно выполнялась им. Мир из нестройного и непонятного хаоса событий превращался мало-помалу в один связный и стройный механизм, подчиненный великому Року. Весь умственный прогресс с этой точки зрения есть постепенная замена случая и чуда необходимостью и механизмом. К нашему времени расшифрована механика физических и химических событий, проведены ясные линии в сложном узоре явлений жизни. Остался лишь один человек. Несмотря на ряд попыток, до сих пор не удавалось разложить его поведение на составные части и дать формулу, определяющую его механизм. Неудача этих попыток привела даже к тому, что на него стали смотреть как на исключение, как

на существо, не подчиненное законам необходимости, а обладающее свободной волей, стоящее выше требований неизбежности. «Человек – царство свободы и носитель великого Духа», – так говорили и говорят нам. Попытка отрицать правильность этих положений не нова. Но эти голые отрицания бесполезны. Для достижения указанных целей, подсказанных невежеством и умственной ленью их адептов, мало голого отрицания. Нужны доказательства вещественные. Нужно фактическое разложение человеческого механизма на части, изучение сил, толкающих его на те или иные поступки, словом, нужно неоспоримое и несомненное доказательство, что человек та же машина. И вот я утверждаю: человек – машина, но машина, снабженная несколько отличным «мотором», чем вещи неорганического и вещи биологического мира. Этот мотор – мотор психический. Понять человека – значит изучить закономерность самой психики и ее формы.

Этому и была посвящена наша совместная с доктором Колыбиным работа. Начав изучение с поведения простейших – амёб и инфузорий, мы постепенно усложняли наши опыты, вводя ряд новых реактивов и более сложных организмов.

Я не буду приводить подробно ход этих работ и те формы поведения, которым подчиняются поступки этих организмов, начиная с низших и кончая высшими. Их вы найдете в лежащих перед вами томах моей книги и книги Колыбина.

Здесь я дам только голый вывод, касающийся непосредственно человека. Нашими исследованиями установлено, что человек есть продукт двух условий: наследственности и среды, в которой он живет. $S = f(x + y)$.

Первый фактор снабжает его рядом свойств, передаваемых механически: таковы анатомио-физиологическая структура человека, потребности питания, размножения, самозащиты. Эти силы мы назвали абсолютными рефлексам. Все остальное есть результат среды, которая окружает каждого человека с первого дня его рождения. Это она выводит те узоры, которые вычерчивает человек в течение своей жизни. Это ей каждый обязан своим характером, умом и глупостью, добром и злом, красотой и безобразием. Но просто сказать это – мало. Очень мало... Нужно было исследовать составные части среды, ее формы и тот механизм, которым она действует, иначе говоря, установить отношения между тем или иным раздражителем и тем эффектом, который он вызывает.

В этих целях мы разделили ее на среду космическую, биологическую и социологическую. Каждую из них разложили на составные части и изучали эффекты каждого фактора.

Тут Никуличев сжато сформулировал ряд теорем, как влияют отдельные факторы каждой категории и какие эффекты в поведении человека вызывают они: например, колебания температуры, конфигурация земной поверхности, характер флоры и фауны, смена времен года, рефлекс питания, размножения и самосохранения, борьба и наследственность и, наконец, социальные факторы: знание, религия, искусство и нравственность.

Голос его звучал ясно и спокойно. Жесты были математически размерены, лицо оставалось холодным, и только глаза горели ярче, чем обычно. Они ровно переходили с одного лица на другое, и каждый, на ком они останавливались, чувствовал какой-то ток, исходивший от них и связывавший его живой нитью с докладчиком. Казалось, докладчик впивался глазами в душу слушателя, приковывал ее к себе и связывал всех множеством нитей, сходящихся в нем одном.

Высказывая свои формулы, он писал их на доске, и, когда кончил изложение сил и факторов, управляющих поведением человека, продолжил: «Теперь соедините все эти частные формулы в одну, и вы получите формулу всего человека, определяющую весь механизм его поведения. Эта формула такова...»; и он спокойным движением резко и ясно написал формулу, объединяющую все предыдущие.

Поставьте теперь на место каждого значка то, что он выражает, и вы поймете всю сложную машину, называемую человеком, весь механизм общественной жизни и всю историю. Нет в ней ни тайн, ни чудес, ни случайности, ни провидения, а царит одна великая необходимость, властная и всемогущая, — падали ровные, отчетливые слова. Казалось, говорит сам рок своими устами. В зале было тихо. Человек, стоявший на кафедре, захватил внимание людей и без пафоса, без фраз крепко держал его в своих руках. Слушатели были прикованы к нему. Каждому из них он раскрывал душу, вонзал в нее свой анализирующий скальпель, умело разлагал на части сложный клубок души, как машинист разбирает машину на колеса и винтики. С каждой формулой этот механизм делался яснее и яснее, непонятное становилось понятным и чудесное — закономерным.

Слова текли, и... душа человеческая распадалась на свои винтики и колеса, общественная жизнь входила в каналы необходимости, а история человечества становилась понятной каждому географической картой.

— Вот в кратких чертах те основные формулы, которые выведены нами. В интересах человечества {, в интересах мирового прогресса} нужно было пустить их в ход, сделать практической силой — и мы в дальнейшем перешли к этой задаче.

Все из вас знают, что четырехлетний Джон Стюарт Милль писал стихи на греческом и латинском, в 10–12 лет он знал то, что знают современные студенты^{97*}... Известно также вам, что история знает ряд таких вундеркиндов. Не так давно вы все с удивлением видели восьмилетнего мальчика, превосходно дирижировавшего громадными оркестрами и знавшего наизусть партитуры симфоний, не запоминаемых знаменитыми взрослыми дирижерами. Все вы помните недавнего вундеркинда, без бумаги и чернил свободно оперировавшего миллионными цифрами, превосходно излагавшего высшую математику с сложнейшими формулами интегралов, дифференциалов и теории вероятности.

Подобные факты остановили на себе наше внимание. Другое, что поразило нас, это явление, во-первых, «неисправимых» преступников и лиц с испорченностью, с которой бессильны бороться все меры, во-вторых, исключительные случаи внезапного раскаяния и исправления самых закоренелых преступников и испорченных людей. Отдельные случаи вам известны. Раскройте историю или хотя бы Четьи-Минеи, и вы найдете их сколько угодно...

Приходится удивляться, почему эти факты не обратили на себя внимание гораздо раньше. Когда вы говорите о них, вы отделяетесь пустыми фразами, что это «чудо», «случайность», «рука провидения», «мистический факт» и т.д. Фразы, изобретенные ленивым и близоруким умом. Вместо того, чтобы изучить их, господа учителя и педагоги занимались ненужными переливаниями из пустого в порожнее, а господа криминалисты, ничего не знающие и ни к чему не способные, успокоились на открытии неисправимых преступников и исправляли их гильотиной, виселицей и тюрьмами.

– О, великая и непроходимая человеческая глупость! – голос Никуличева дрогнул и зазвучал резко. На лице заиграла саркастическая улыбка. – Вместо знания – подносились фразы, вместо обучения – ученики глупели и после 15–20 лет учения выходили такими же глупцами, какими и были. Воспитатели, сами не умевшие отличить правой руки от левой, окончательно портили воспитываемых и коверкали их жизнь. В то время, как господа народные пастыри и криминалисты измышляли свои теории о различии умысла и неосторожности и спорили о том, пятнадцатью или двадцатью годами каторги следует наказывать убийцу, там, в тюрьмах и на эшафоте, гибли сотни тысяч людей, расплачивавшихся своей жизнью за ученые измышления хорошо упитанных невежд. С этой точки зрения вся история человечества есть сплошная история глупости, где одна несуразность громоздится на другой и уступает место еще большей глупости.

Между тем, в указанных мною «чудесных случаях» крылся весь секрет воспитания и обучения. Стоило их понять, терпеливо изучить, и разрешение чудес было бы достигнуто. Так мы и сделали с доктором Колыбиным.

Пользуясь общей формулой человеческого поведения, мы обратили наше внимание на эти факты и приступили к опытам. Каковы были итоги этой долгой работы, я не буду говорить. Вместо этого я вам представлю своих учеников: десятилетнего Витю, пятилетнего Ваню и семилетнего Алешу, с одной стороны, и бывшего неисправимого преступника, вора-рецидивиста и алкоголика Петра Николаевича Никуличева – моего брата, Григория Ивановича Попова, бывшего каторжника, и ряд официально засвидетельствованных документов. Первый из детей – специалист по истории и праву, второй – математик, знающий курс высшей математики в объеме высших учебных заведений, третий – лингвист-филолог и философ.

Что же касается моего брата, то господин президент огласит сведения, касающиеся его.

«На основании данных, сообщенных прокуратурой, П.Н. Никуличев, – начал президент, – семь раз судился за кражу, четыре раза за грабеж, два раза за побои и нанесение ран. Был опасным вором-рецидивистом и привычным алкоголиком. Последние два года работал на фабрике Рябушкина, и по отзыву администрации является образцовым механиком, усердным работником, непьющим, трудолюбивым, всегда исправным и вполне честным». Такое же свидетельство прочел он и относительно Попова и ряда других лиц, переделанных в лаборатории Никуличева. Пока президент оглашал документы, Никуличев взглянул на Воеводского и Воеводскую. Первый был красен и нервно теребил свою роскошную бороду, а вторая была бледна и с каким-то удивлением и испугом смотрела на Никуличева. Когда он взглянул, краска мгновенно зажгла ее щеки, а на устах обрисовалась беспомощная полустрадальческая улыбка. Взгляд Никуличева, пронзающий, холодный, ироничный, впивался в ее душу. Улыбка княгини делалась грустнее и грустнее, глаза – печальнее, показалось – вот-вот она расплачется. По лицу прошла маленькая судорога, и рука бессильно поднялась и снова упала. Никуличеву стало жаль ее. Он вдруг взглянул на Воеводскую иначе, тепло и горячо, так, как глядел на нее раньше, в давно ушедшие и забытые времена...

Президент оглашал документы, и удивление аудитории росло. Когда кончилось чтение, Никуличев продолжал:

– Из приведенных опытов, надеюсь, вам ясно теперь, что проблема воспитания нами разрешена. Человек-машина в нашей власти, и я смело заявляю: дайте нам любого человека, и через несколько времени мы переделаем его в любом направлении: из преступника можем сделать святого, и обратно...

Теперь, чтобы показать вам, что достигнуто нами в интеллектуальном отношении, я предложил бы господам специалистам здесь же публично проэкзаменовать любого из моих учеников, видя в них не детей и не студентов, а своего рода коллег или начинающих доцентов.

В аудитории пронесся шепот изумления.

– Витя, пожалуйста на кафедру, а вас, многоуважаемый Алексей Степанович, – обратился Никуличев к Календареву, – прошу предложить ему вопросы в объеме, в каком вы предлагаете их магистрантам.

Календарев улыбнулся и добродушно спросил:

– Ну, что вы можете сказать об «Священных книгах Востока»?

– Господа! – торжественно начал Витя. – Отвечая на поставленный вопрос, я сделаю маленькую оговорку: все источники нам еще не известны, многое вызывает сомнение, поэтому в тех вопросах, где нет общего мнения, я изложу все главные теории.

После этого Витя спокойно и тоном знатока начал излагать содержание и историю Вед, Зенд-Авесты, учреждений Вишну, Законов Ману, Учреждений Наряды, Брихаспати и т.д. Говорил он ясно и вдумчиво.

Изложив содержание источников, он начал сопоставлять его с тем бытом, который сохранился еще и теперь. Упомянул новейшие работы по религии Вед и Авест, по социальной организации кастового строя и затем, обратившись к Календареву, он заметил:

– Я лично не могу согласиться со многими тезисами вашей работы о кастах древней Индии. Вы кладете в основу вашей кастовой классификации данные Ману, а между тем, как показали исследования Лайеля, Крукса и Риссле, они совершенно неверны.

– Достаточно с вас, – остановил его Календарев, – вы превосходно выдержали экзамен, и, если бы это было в моей власти, я завтра же назначил бы вас приват-доцентом. Позвольте пожать вам руку, дорогой коллега, – улыбаясь доброй улыбкой, но совершенно серьезно протянул он Вите руку.

– Очень рад познакомиться с вами, – спокойно пожал руку последний.

Пока читал Витя, на лицах публики то и дело сменялись изумление, восхищение и улыбки. Нельзя было не улыбаться, видя перед собой маленького мальчика, смешно сидевшего на высоком стуле и серьезно читавшего ученую лекцию. Когда он кончил, гром аплодисментов потряс залу и взрыв смеха пронесся по аудитории. Какая-то дама вскочила с места, бросилась к Вите, обняла его и поцеловала. Витя сконфузился, покраснел и смешно замахал ручками: «Не надо, ну что вы». Когда аудитория успокоилась, знаменитый математик предложил пятилетнему Ване вывести сложную формулу из области дифференциального исчисления. Мальчик взобрался на стул, взял мел и начал писать, выводя сложные цифры и комментируя их. Через 3–5 минут формула была выведена...

Профессор встал, подошел к кафедре, взял Ваню в руки, поднял его и объявил: «Господа! Родился новый Ньютон». Ваня весело расхохотался:

– Ну, нельзя же так обращаться с коллегой.

Державший опустил его и пожал руку. Взрыв аплодисментов снова потряс залу.

Такая же история произошла и при экзамене Пети. Когда волнение улеглось, Никуличев снова взошел на кафедру и продолжал:

– Из виденного вы убедились, господа, что нами сделано. Надеюсь, не сочтете теперь дерзостью, если я скажу: отныне задачи и обучения, и воспитания нами, т.е. доктором Колыбиным и мной, – разрешены. Нет больше дураков, глупых и невежд. Умственный прогресс отныне пойдет в сотни раз скорее. Нет также отныне тюрем и преступников. Машина разгадана, и найдены средства.

Голос его звучал, как и раньше, спокойно. Глаза аудитории не то с испугом, не то с восхищением были устремлены на бледного кудесника.

– Вот кратко итоги. Подробности узнаете из книги, выходящей завтра. Свой доклад я позволю себе закончить пожеланиями: для блага человека, народа и человечества государство должно уничтожить школы и ввести новые, устроенные по нашей системе! Обучение в них должно быть бесплатным и доступным для всех, тюрьмы должны быть уничтожены, уголовные законы – сожжены и заменены новыми, преступники – выпущены на свободу. Отныне не должно быть наказаний. Должен быть выработан список запрещенных деяний, и их совершители должны вместо наказаний отсылаться в лаборатории для исправления. Человеческий ум разрешил свою последнюю задачу, и отныне человек-машина владеет мировой машиной и самим собой.

С этими словами он сошел с кафедры.

Рукоплескания наполнили зал... Даже многие из почтенных академиков степенно аплодировали, некоторые радушно улыбались, а другие с серьезным лицом смотрели на Никуличева. Вслед за ним Колыбин сделал краткое сообщение о своем «умороде», скрыв, однако, его состав и точный химический анализ.

После докладов объявлен был десятиминутный перерыв... Академики одни за другими вставали со своих мест и пожимали руку молодым ученым. Подходили публицисты, ученые, профессора и простые смертные, благодарили за блестящий небывалый доклад, пожимали руки, приглашали к себе и вручали карточки; молодые девушки улыбочиво заглядывали в глаза, а дамы многозначительно делали глазки, таяли и просили бывать у них на журфиксах, приезжать запросто и не забывать.

– Здравствуйте, Дмитрий Николаевич! – раздалось рядом с ним. Никуличев поднял глаза. Перед ним стояла Воеводская...

– Благодарю вас за прекрасный доклад и поздравляю вас с заслуженным успехом...

– Очень благодарен вам, Елизавета Александровна. Очень рад вас видеть, – пожимая протянутую руку, ответил он. – Давно мы с вами не виделись.

– Не моя вина. Вы куда-то пропали и не показывались, видно, бойкотировали нас.

– Ну что вы, Елизавета Александровна. Просто был завален работой. Впрочем, я при последней встрече, кажется, обещал увидеть вас года через два – через три и, как видите, слово сдержал, – многозначительно, но равнодушно промолвил он. – Вот и увиделись.

Воеводская почувствовала скрытую насмешку и сухо ответила:

– Я любезнее вас, видите, я захотела повидать вас, а не вы меня. Это невежливо.

– Вы правы, – любезно заметил Никуличев. – Я виноват, но у меня были обстоятельства, смягчающие вину.

– Какие?

– Много. Работа, во-первых, рознь моего и вашего социального положения, во-вторых, а в-третьих... Вы знаете, я не из тех, которые просят милостыню и довольствуются подачками.

– Это намек?

– Если угодно, да.

– Совершенно напрасно. Вы же знаете, что я всегда была рада видеть вас.

– Для того, чтобы бросить кроху своей доброты на мой нищенский стол?

– Как вам не стыдно, Дмитрий Николаевич!

– Нет, не стыдно, – спокойно ответил он. – Говоря это...

– Тр-р-р... – задрбезжал звонок.

– Ну, надо на место, – протянул он руку и быстро пошел к столу.

– Слово принадлежит профессору, князю Воеводскому! – провозгласил президент.

Воеводский, в прекрасно сшитом сюртуке, стройный и прямой, поднялся на кафедру. Нельзя было не залюбоваться его видом. Большой открытый лоб, окаймленный длинными вьющимися волосами, волнистая борода и усы, свежий тон кожи и большие глаза, темно-карие, огненно-живые, временами вспыхивавшие ярким светом, делали его похожим на Иисуса Назорея или апостола. Недаром он имел множество поклонников и поклонниц. В целом <он> представлял полный контраст Никуличеву... Высокий и тонкий, выбритый, с четырехугольной головой, с прямым носом, с размеренными жестами и спокойным блеском вольтовых глаз, – Никуличев был воплощением математики и механики.

Воеводский же представлял собой живого носителя порывов, бессознательно-мистических тайн и религиозных исканий. Волнистые волосы, борода и огненные глаза напоминали пророка, сошедшего с иконы. Недаром в шутку прозвали его «духовидцем».

– Милостивые государыни и милостивые государи! – начал Воеводский. – Выслушанный доклад неординарен. Он исключителен по своей ценности... Он ярок и многоцветен. Работа, сделанная учеными, сизифова работа. Их вклад в Пантеон великих ценностей немал. Но позвольте спросить вас, приемлем ли тот путь, который предлагают нам его авторы? Не нужно ли его отвергнуть, как Карамазов отверг мир и возвратил Богу билет для входа в рай?^{98*} Во имя вечных ценностей, свободы человеческого Духа, царства человека над миром, во имя правды, красоты и добра я отвергаю этот путь, пусть даже он правилен, путь Мамоны^{99*} и Сатаны, низводящий Человеко-Бога до скота, Абсолют – до машины, Первопотенциал – до механизма.

Голос звучал мощно и страстно. Жесты были ярки и могучи, а глаза горели фанатизмом богоборца.

– Что нам предлагает г. Никуличев? Предлагает спуститься до степени бездушного механизма. Он выбросил из человека все святое, лишил его божественной печати, того света, который является символом его сверхъестественности и его духовности...

Пусть он искусно в лаборатории готовит ученых детей! Пусть он стирает человеческую душу, вырывая семена дьявола и засевая ее семенами добра! Но разве это люди? Разве это не манекены? Те мальчики, которые тут выступали перед нами, разве это люди? Разве это не восковые модели или напетые граммофонные пластинки? Мне жаль их – этих детей, лишенных души и превращенных в пластинки. Разве у них есть что-нибудь свое? Разве у них есть «нутри», то невидимое «Я», то бестелесное дуновение вечного Духа, которое делает человека человеком? Нет... Нет и нет! Души их пусты, как опустошенные цветники, жестокая рука ученого смяла эти цветы, истоптала их и заменила механизмом. А кто знает, какие, быть может, сокровища таились в них? Быть может, эти детские души расцвели бы такими своеобразными цветами, были бы так многогранны и солнечны, что явили бы миру новую грань великих ценностей... И их теперь нет... Они вырваны и уничтожены. Кем? Ученым, сознательно растоптавшим их неведомо во имя кого и чего и считающим, по-видимому, этот грабеж заслугой. А я считаю его не заслугой, а величайшим из преступлений. Это живое воплощение старых сказаний о дьяволе, похищающем души. Поэтому пусть его положения верны – они должны быть отброшены! Я не приемлю их и не могу принять.

Мало того... Он думает, что разум – все, холодный разум, на мертвые куски разлагающий всю нетленную и целокупную форму бытия и по кускам вновь создающий ее. Какой обман! Какое восхваление разума и игнорирование остальных святынь!

Разве неведомо господину докладчику, что абсолютное не познаваемо разумом?... Что он скользит лишь по поверхности явлений, бессильный познать вещи в себе, первоначало, Божество? Какая жалкая ошибка! Разве неведомо ему, что только интуитивно-мистическим вчувствованием^{100*} мы проникаем в подлинно сущее, в истинно реальное, в великий первопотенциал? Слепой, закрывший глаза на все, кроме механического *ratio*^{101*}, забывший про все остальные ценности, он возвел эту машину на трон и низвергнул всех остальных властелинов... Раб и слуга стал царем, а цари – рабами. Это ли не ошибка! Это ли не слепота! Мудрено ли поэтому, что и в человеке он не увидел ничего, кроме машины. Пусть сложной, пусть обладающей психическим мотором (одно словечко чего стоит!), но лишенной печати святого Духа, Бога Отца и Сына, рожденной от Духа, сопричастной Божеству и свободной, подобно ему!

Нет, господин докладчик! Ваше покушение на все ценности – негодно. Ни мы, ни человечество никогда не примем его! Лучше отчаянный, но естественный

преступник, чем ваш бездушный добродетельный автомат! Пусть лучше глупыми останутся люди, но пусть они будут людьми, а не манекенами, каких выставляют в витринах магазинов. Не смейте больше опустошать человеческие души и грабить их по наваждению Вельзевула. Человек был братом Бога, свободным, самоопределяющимся и самоответственным. Пусть он им остается! Ваши же манекены должны быть решительно отменены!

Этими словами Воеводский закончил свою речь.

Прекрасные жесты, одухотворенное лицо, горящие глаза и темпераментность речи подействовали на публику. Ей казалось, что это говорил воин Божий, разящий пылающим мечом змия, сына дьявола, холодного и спокойно улыбающегося. Никуличев действительно во время речи саркастически улыбался и играл карандашом, с той же улыбкой поглядывая на Воеводскую. К концу речи Воеводский завладел неученой половиной аудитории, и, когда кончил ее, она неистово хлопала... Хлопали, главным образом, дамы и курсистки. Ученые академики сидели молча. Только некоторые из них лениво ударили кончиками пальцев рука об руку...

– Слово принадлежит академику Пастухову.

Знаменитый психофизиолог взошел на кафедру и начал:

– Я буду, господа, краток. Одновременно и с большой радостью, и, буду откровенен, с тайной грустью я слушал доклады Никуличева и Колыбина. Радовался я тому грандиозному открытию, которое сделано этими молодыми учеными. Похвалы здесь излишни. Критика излишня, ибо факты и опыты, продемонстрированные перед нами, говорят сами за себя... Повторяю: дело, сделанное ими, составляет целую эпоху, и последствия его как в теории, так и в практике пока трудно предствимы.

Грустно же было мне, господа, потому, простите меня за эту откровенность, непосредственно не относящуюся к делу, что я увидел, как далеко опередили и меня, и моих коллег глубокоуважаемые докладчики... Я занимался теми же проблемами, что и они. Я думал, что уже далеко подвинулся в своих изысканиях, и, увы, оказалось, что я стою только у начала пути, успешно пройденного гг. Никуличевым и Колыбиным... Я уже, господа, стар, и не мне тягаться с ними... Так на старости лет приходится снова убеждаться в истине, что старое старится, а молодое растет и обгоняет старое. Но, господа, сказанное не убавляет моей радости и не мешает мне пожелать талантливым ученым дальнейших успехов в их работе. Не место личным маленьким чувствам и тщеславию там, где дело идет об интересах науки и человечества... Да и здесь есть немалое утешение для меня. Принципы, из которых исходили ученые, были мои принципы; первый решительный толчок, натолкнувший их на исследование вопросов, изложенных нам здесь, произошел не без моего участия, как об этом заявили они и в докладе, и в этой книге, лежащей предо мною. Кроме того, г. Колыбин мой ученик

и немалое число месяцев работал у меня в лаборатории... Значит, моя жизнь и мои работы не пропали даром, значит, есть и капля моего ума в добытых ими результатах. А этого, господа, достаточно для удовлетворения маленького человеческого тщеславия... Я горжусь моими учениками, далеко обогнавшими учителя, и кончаю свою речь искренним выражением моего глубокого восхищения и изумления перед учеными, выполнившими необычно великую задачу!

С этими словами он скромно сел на свое место.

В лице, в жестах и в голосе Пастухова чувствовалась какая-то целомудренность... Не обычная фарисейская скромность. Нет, именно целомудренность. Седой, со строгим, но милым лицом, с большими карими глазами, смотревшими из-под ресниц, он невольно вызывал уважение и представление о нем как о человеке науки. Долголетние ли занятия в лаборатории и в кабинете, отрешенность ли от злобы дня и интересов момента, исключительное ли служение науке наложили на весь его облик печать какой-то особой интеллигентности и духовности. Смотря на него и слушая его, каждый думал: «Да, это истинный ученый. Да, это не шарлатан и не научный авантюрист!»

Простые и искренние слова знаменитого ученого вызвали в пестрой аудитории горячие аплодисменты. После него выступил академик Ширинский^{102*}. Известный криминалист, он был в то же время и главою реакционеров, их теоретиком, вдохновителем и лидером. Для своего времени он был тем же, чем в прошлые времена Катков и Победоносцев. Происходя из старого дворянского рода, он твердо хранил его традиции и был непримиримым врагом всяких либерально-демократических стремлений. И что всего удивительнее – он был искренен в своей политике. Его слова и действия не давали повода заподозрить в нем лицемера. Это был прирожденный охранитель, представитель старого порядка. Логически проводя свою кастовую теорию «прирожденных господ и рабов», он не останавливался на полдороге, а шел до конца. Если нужны были жестокости – он их рекомендовал, если нужны были кары – он щедро их допускал. До сих пор еще помнят его знаменитое выступление и в печати, и в парламенте в пользу смертной казни и изувечивающих кар по отношению к преступникам... Его фраза: «Смертная казнь и изувечивающие наказания – это благодетельные лекарства, просто и дешево избавляющие общество от вредных и опасных отбросов», – вошла в поговорку. Он же во время последнего народного движения встал во главе правительства и своими жестокими мерами прославился на всю Россию...

Весь красный, тряся бородой и живо размахивая руками, он не взошел, а скорее вбежал на кафедру.

– Господа! – начал он. – Меня не останавливает ни высокое собрание академиков, ни почтенный академик Пастухов от того, чтобы не выразить свое удивление не столько докладу, сколько тому, что такой доклад (к-х-а, к-х-а... – закашлялся он) был допущен и выслушан в собрании академии в учреждении

государственном. Понимаете ли вы его? Видите ли его скрытые пружины и цели, к которым он ведет? Ведь здесь нам изложили ни больше, ни меньше как систему коренной ломки существующего строя. Ведь задача (кха, ...кха) этих господ – возведение черни на место избранной расы и решительное подведение всех под один масштаб. Мало того, эти милосердные господа позаботились даже о преступниках. Они не прочь уничтожить правосудие, суды, тюрьмы, виселицы и дома заключения и не прочь выпустить банду разбойников, воров и насильников на улицу. «Свобода» – вот один их лозунг. Во имя ее они говорят: убивайте, грабьте и насилуйте. «Равенство» – другой их клич. Во имя его они готовы низвергнуть всю историю, уравнивать идиотов с гениями, избранных с чернью, высшие касты – с общественными отбросами. Это, господа, не куцый и слюнявый либерализм. Это и не утопическая Апельсиния социализма. Это куда более опасный методический заговор против всех святынь и устоев общества и государства. И такой-то доклад допускается – где? В академии. И этот подкоп ведется в столице империи в течение ряда лет, на виду у всех, в специальном здании, называемом лабораторией? Разве это не удивительно! Бог знает, что там делалось и делается! Быть может, во имя интересов науки (ироничная улыбка) не одна человеческая душа там кончила свои дни.

– Я бы попросил вас быть более корректным, – деликатно прервал его председатель.

– И прокурорский надзор ни разу не заглянул туда? Полиция ни разу не позаботилась узнать, что там делается? И, наконец, здесь они свободно излагают план своего подкопа под общество, и их не останавливают, а меня прерывают?.. Господа! Или я начинаю ничего не понимать, или же действительно настают времена антихриста. По-моему, здесь нет места прениям, а нужны меры, меры ясные и простые, в корне пресекающие этот опаснейший заговор. Вместо ученых здесь должна выступить прокуратура! Вместо прений – судебное следствие. Таким ученым место не в лаборатории, а в тюрьме или на виселице!

Неясное шиканье здесь приняло общий и отчетливый характер. Раздались возгласы негодования и свистки.

– Я вас лишаю слова, – резко прервал его председатель.

– Как, меня?

– Да, вас. Ваши слова не относятся к делу. Ваши меры вы можете предлагать в другом учреждении, а не в научном заседании. Слово принадлежит члену парламента г. Поленову!

Ширинский, еще более красный, что-то пытался произнести, но раздалось еще более громкое шиканье.

– Слезайте, палач!

– Инквизитор...

– Дубовая голова!..

– Ученый жандарм!..

Ширинский с бешенством на лице продолжал стоять на кафедре. В это время Поленов корректно поднялся туда и с изысканной любезностью поклонился ему.

– Будьте добры, уступите мне ваше место, – с усмешкой проговорил он...

Ширинский нелепо махнул рукой и быстро пошел к выходу.

– Либеральные тупицы! – расслышали ближайшие ряды...

Скандал мало-помалу был ликвидирован, и публика успокоилась...

– Я не ученый-специалист, и если выступаю сейчас, то только для того, чтобы приветствовать и поблагодарить докладчиков за их блестящий доклад. Я кончил!

Очевидно, это была демонстрация со стороны Поленова. И публика поняла ее. Она громкими аплодисментами присоединилась к оратору.

После Поленова говорило еще несколько лиц. Некоторые из них касались отдельных положений по существу, другие же ограничивались общими местами.

В конце заседания слово было предоставлено докладчикам. Колыбин отказался:

– Так как критики моих положений не было, то мне нечего отвечать. Что же касается общих принципов нашей системы, то Дмитрий Николаевич ответит за нас обоих.

– Я буду краток. Прежде всего, поблагодарю всех присутствующих и выступавших оппонентов за их внимание и внимательное отношение к докладу, – начал спокойно Никуличев. – В особенности благодарен я вам, глубокоуважаемый Иван Павлович, – обратился он к Пастухову, – ваши работы были теми дорожками, которые указывали нам путь исследования и его первые шаги. Позвольте же здесь от души поблагодарить вас за это. Второй, кому я лично обязан немалым, это вы, Михаил Михайлович, – обратился он к Каракозову. – Это вы протягивали нам руку, когда мы уставали. Вы же поддерживали нас и в те минуты сомнений, которые неизбежны в жизни каждого работника науки. Есть здесь и третье лицо, без помощи которого мы едва бы довели до конца наши опыты. Это С.Н. Шахматов, бескорыстно предоставивший нам деньги, необходимые для работы и опытов.

Теперь я перейду к моим критикам и остановлюсь прежде всего на г. Воеводском...

Спокойный тон начал постепенно повышаться. Метроном становился менее ровным. Воеводский сидел с гордо поднятой головой, а глаза Елизаветы Александровны с любопытством были устремлены на говорившего.

– Вы много говорили, князь, говорили красиво, вдохновенно, но... позвольте спросить вас, к чему вы говорили все это? Коснулись ли вы хоть одного из

моих положений? Нет. Опровергли ли хотя бы один из тезисов? Нет. Привели ли обратные факты? Нет. Подвергли ли сомнению один из моих опытов и выводов? Нет. В силу этого я мог бы спокойно пройти мимо ваших слов и сказать просто: они меня не касаются. Но я знаю, на что рассчитывали вы, и потому остановлюсь на самой сути ваших – о, очень красивых, но, простите, пустых – фраз. Вы немало и увлекательно защищали самоценность «нутра» (усмешка), самобытность души человека; требовали ее свободы; клеймили преступлением механизирование души, обуздывали разум и восхваляли мистическую интуицию, Великий абсолюте и божество... Что ж, это было бы хорошо, если бы было возможно... Но... увы! Эта свобода – утопия. Разница между вашей свободой души и моим механизированием ее – не разница свободы и принуждения, а различие бессознательного, слепого и в общем скверного воздействия на нее среды, и воздействия планомерного, сознательного, целевого. Никакой свободы нет... и на вас же самих можно в этом убедиться. Разве то, что вы говорили, ваше «нутро»? Полноте, князь. Ведь всю вашу речь, если разложить ее на элементы, можно выразить такой формулой: «Икс процентов от Гегеля, икс от спиритуалистов и Вл. Соловьева и по крайней мере 75 % – от Бергсона, взятых напрокат, без наименования автора». Вот вам диагноз того, какие влияния воздействовали на вас. Где же свобода и «нутро» – самобытное, почвенное и красочное?..

Но счастлив ваш Бог, что эти влияния не так плохо отразились на вас. Бывает еще хуже и гораздо хуже... Мой же оппонент, г. Ширинский, может заверить вас в этом. Возьмите приведенные им статистические данные и проследите влияние среды алкоголиков и преступников на их детей. Не наследственность причина того, что преступники и алкоголики дают и детей таких же, а среда. Да к чему мне настаивать на этом трюизме! Не ясно ли после этого, что ваши «свободно распускающиеся души» – суть души, отданные во власть слепого случая. Вот что собственно отстаиваете вы... Что же! По отношению к себе вы это вольны делать. Но меня интересует человечество, а не вы. Для вас лучше самобытный преступник, чем добродетельный автомат. О, я понимаю вас! Закоренелый каторжник может доставить немало эстетических переживаний. Но, князь, я думаю, вы иначе бы стали думать, если бы эта дилемма касалась, ну хотя бы ваших детей. Тут бы вы, пожалуй, иначе выбрали.

Елизавета Александровна покраснела и потупила глаза...

– Для меня все человечество – те же дети. А потому я говорю: пора положить конец игре стихии и власти слепого случая. Довольно пустых фраз, слишком дорого стоящих сотням тысяч людей. Кровью, страданиями и жизнью они расплачиваются за эти фразы...

Видали ли вы, князь, тысячи исковерканных душ? Боюсь, что нет. Сидели ли вы в тюрьмах? Нет. А видели ли вы подлинное человеческое горе? Нет. Вы

были счастливы. Вы были баловнем, но немногим достается эта доля. А я видел этого больше, чем нужно, а потому и выводы у меня, князь, иные. И не пугают и не остановят меня ваши страшные слова, как не пугают и слова г. Ширинского... Вы, в сущности, сходитесь с ним, боретесь за одно и боретесь одними и теми же средствами.

– Bravo! – раздалось из публики, и послышались аплодисменты.

Воеводский нервно пожал плечами и нервно начал теревить свою бороду.

– Случайно или нет, но вы, гуманный солидарист, оказались согласным с реакционером, которого вы сторонитесь, боясь запятнать свою репутацию, – насмешливо продолжал Никуличев. – Под вашим красивым словесным винегретом, если поскоблить его, окажется «нутро» г. Ширинского, то «дикое мясо», как окрестили его вы же, которое он откровенно защищал здесь...

Ну, что же, скатертью дорога... Идите своим путем, а я пойду моим. Есть и другая разница между нами. Вы бессильны. Вы, кроме слов и тайных или явных надежд на предрержащую власть, ничего не имеете. Я же владею секретом богов и могу по желанию запираю и отпираю человеческие души, в том числе и вашу. И от этой силы вас, эстетов и идеологов прошлого, не спасут ни заборы, ни рвы, ни замки, ни ключи, ни молитвы церковей, ни мечи...

Буря аплодисментов накрыла последние слова оратора, сказанные горячо и дышавшие непоколебимой верой и силой... Здесь он изменил свой убийственно-ироничный тон, с которым характеризовал взгляды Воеводского и сопоставлял их с убеждениями Ширинского...

Это сопоставление всего более задело Воеводского. Он сидел и нервно теревил свою пышную бороду. Он чувствовал, что это сильный удар по его позициям, и удар не беспочвенный. Плохо ли, хорошо ли, но отныне это сближение войдет в обиход и испортит решительно обаяние его взглядов и его мировоззрения. Этот бывший соперник, о котором уже забыли, вдруг всплыл и встал на его дороге. И встал фигурой мощной и могучей. За его последней фразой чувствовалась сила подлинного властителя. И вместе с горечью поражения всплыло опасение за жену... «Ведь она когда-то любила его. Что, если теперь снова оживет старое чувство?» И он украдкой поглядывал на Елизавету Александровну. А та сидела неподвижная, не сводя глаз с Никуличева. Временами краска покрывала ее лицо, иногда чуть-чуть вздрагивала ее верхняя губка. По неподвижности ее взгляда можно было догадаться, что она смотрит и думает о чем-то другом... Не пробегала ли она мысленно прошлое? Не вспоминала ли этого человека, когда-то ей близкого, искреннего, горячего, а теперь страшно спокойного и невозмутимого, с холодными глазами и с горько-ироничной складкой в углу рта? Быть может, в ее душу проник яд сожаления? Быть может, загорелось старое пламя? Кто это знает? Быть может, было так, быть может, иначе.

– Ну, дорогая, пойдём.

Воеводская взглянула на мужа глазами неожиданно разбуженного человека и встала.

– Хорошо. Сейчас, только я попрошаюсь с Никуличевым.

«Вот оно, началось...» – мелькнуло у Воеводского, но он не подал вида и спокойно сказал:

– Хорошо, я буду ждать тебя внизу...

Вокруг Никуличева и Колыбина, как около артистов, толпилась публика. Поздравляли, пожимали руки, благодарили, приглашали посещать и не забывать, репортеры спрашивали, когда можно будет видеть, и т.д.

Никуличев машинально пожимал руки и торопился к выходу.

– Скорее, дети, одевайтесь и домой. Лена, помогите им. Ну, Иван, идем.

– Дмитрий Николаевич, – окликнула его Воеводская, – во-первых, от души поздравляю вас с успехом, а во-вторых, я не отпущу вас, пока не обещаете побывать у нас. Назначайте время сами. Я хочу видеть вас и более подробно поболтать с вами, как со старым другом. По-прежнему, помните?..

Голос был мягкий, теплый и искренний.

– Благодарю вас, Елизавета Александровна. Но я тороплюсь домой.

И добавил холодно:

– Старое прошло и невосвратимо, а насчет свидания напомним вам ваши же слова: «Видеться нам незачем». Прощайте, – и направился вниз...

Верхняя губка Воеводской дрогнула, и на лице мелькнуло что-то грустно-пугливое. Она как будто хотела еще сказать что-то, но Никуличев был уже внизу, и она тихо стала спускаться по лестнице...

Глава 9

Утром все газеты были полны описаниями вчерашнего заседания и статья-ми по его поводу. Целые столбцы посвящены были новому открытию. В нескольких успели уже напечатать портреты ученых и снимки из их лаборатории. Большинство газет восторженно отзывалось об открытии, называли его гениальным, великим, делающим эпоху. В ряде газет напечатаны были биографии докладчиков, где, как всегда, небылица смешивалась с былью. Кое-где уже появились самые несуразные интервью, которых не было. Рецензировалась книга ученых, которую рецензент еще не видел. Одним словом, изобретение стало сенсацией, о которой все заговорили. Книжные магазины целые окна заполнили книгами ученых, и публика бешено раскупала их. За день разошлась большая половина издания, а все издание было раскуплено в три дня.

Не обошлось, конечно, и без сплетен и резких выпадов. «Знамя избранных»^{103*} Ширинского напечатало статью под заглавием «Salus populi»^{104*} и требовало от правительства ареста ученых и назначения следствия.

«Звук» и «Время»^{105*}, органы гуманистических либералов, напечатали искаженные отчеты и подленькие статьи по рецепту: «Нельзя не сознаться и нельзя не признаться»^{106*}, – где под мягкими словами крылось содержание, близкое к статье в «Знамени избранных». Намекали на то, что опыты ученых еще не проверены, что весь доклад чуть ли не простой фокус, что докладчики идут против освященных традиций. Статья фарисейски призывала интеллигенцию быть весьма осторожной к этому неведомо откуда выросшему изобретению и т.д.

Никуличев с грустной улыбкой просматривал эти листы. «Вот оно, началось, – думал он. – Камень брошен, и круги пойдут по воде жизни, встречаясь с попутными течениями, сталкиваясь с другими, ослабляясь и усиливаясь». Изобретение вышло из их души ясным и чистым, как свежая утренняя роса. Попав в море жизни, оно неизбежно должно замутилось, смешаться с другими потоками и преодолеть их... А жаль... ведь минуты одиночного творчества, когда он один, неведомый никому, то наполнялся радостью работы, то горел огнем сомнений и колебаний, эти минуты не лучшие ли минуты в его жизни?.. Теперь порыв вышел на улицу... Он должен потускнеть и померкнуть, ибо таковы законы необходимости... Но пусть... Раз так надо – пусть будет так. Его задача – преодолеть препятствия и довести дело до желанного берега...

С утра уже тихая жизнь лаборатории была нарушена. То и дело звонил телефон, пришла целая кипа писем, карточки на столе говорили, что его ожидают ряд интервьюеров, любопытных и серьезно заинтересованных людей.

– Попросите репортеров, – сказал он служителю.

Вошел ряд молодых людей с записными книжками и с карандашами. Один просил дать несколько слов для «Голубой березы»^{107*}, другие начали задавать ряд вопросов, как всегда неумных и пустых.

– Господа, у меня нет времени отвечать каждому, – сказал Никуличев, – поэтому лучше будет и для вас, и для меня, если вы сейчас пройдетесь по лаборатории. Витя вас кое с чем познакомит. Затем загляните в наши труды, возьмите также эти иностранные журналы и письма, а остальное присочините сами, кому что вздумается, – улыбаясь, закончил он. – Все равно ведь в двух-трех словах ничего не скажешь. А указанным путем вы получите все материалы. Остальное – дописывайте сами.

Интервьюеры улыбнулись, вежливо раскланялись и пошли за Витей.

– Просите г. Поленова.

Поленов вошел. Никуличев извинился перед ним за то, что заставил ждать.

– Вы очень хорошо сделали, приехав ко мне, – начал он. – Я сам собирался звонить вам. Нам так или иначе нужно столкнуться, и характер беседы покажет, друзьями или противниками мы будем.

– Прекрасно, – ответил Поленов. – И мне то же самое важно.

– Ваши воззрения и ваш социал-демократический символ веры мне известны, как известна и практика социал-демократии. Стало быть, для краткости остается выяснить мне пункты расхождения с вами. К этому я и приступаю. Как и вы, я демократ и сторонник радикального равенства. Подобно вам, я считаю современный капиталистический режим – превзойденным. Как и вы, считаю святым лозунг «свобода, равенство и братство». Идеалом – общество свободно хотящих людей, полных действенной любви друг к другу. Стало быть, цели одинаковы, и это уже дает нам почву для общей работы. Различие же скорее в понимании путей и в теоретических посылах. Главные пункты расхождения таковы. Вы под равенством понимаете, прежде всего, материальное равенство и за него исключительно боретесь. Я не верю в успех этой борьбы и считаю, <что> пока нет равенства психического, т.е. умственного и нравственного, до тех пор всякая попытка установления материального равенства будет безуспешной. Достижение первого – задача бесконечно более трудная, но только она может привести и к материальному равенству. Короче, что вы считаете главным, я считаю второстепенным, что вы считаете причиной, я считаю следствием, и обратно...

Во-вторых, «свобода» – ваш любимый лозунг – в вашем понимании тоже неприемлема для меня. У вас этот клич неясен и романтичен. Под ним вы понимаете чуть ли не нечто близкое к самодурству. Ваша свобода ничем не отличается от деспотизма. Мое понимание иное, но об этом сейчас не буду говорить.

В-третьих, ваше понимание будущего социалистического строя я нахожу плоским, поскольку под ним разумеется только уничтожение частной собственности и обобществление орудий производства. Это без ряда условий недостижимо и едва ли стоило и стоит той массы жертв, которая принесена во имя социализма и еще будет принесена... Я же под социализмом понимаю такой строй, где люди свободно и без принуждения будут богами друг для друга^{108*}, т.е. будут исполнять избранные ими социальные функции, и не из страха кнута или Бога, как во времена рабства, и не во имя личных интересов и не интересов семьи, как делается теперь, а во имя общего блага, во имя чистого альтруизма. И будут побуждаемы к этому не из-за страха или «долга», а во имя своего хотения, потому что иначе поступать не могут. Если удастся достигнуть такой переделки человеческой природы, все остальное – в частности и обобществление орудий производства – само собой будет достигнуто. Если нет – все ваши попытки будут лишь добавочной бесплодной попыткой достижения недостижимого. В успех их я не верю и поддерживать не могу, как бы ни были традиционны ваши лозунги.

В-четвертых, не верю я и в тот спасительный рычаг бессознательной и всевластной экономики, на которую вы возлагаете все ваши упования, называя их «научными», в отличие от утопизма мыслителей XVIII века. Ваша вера – одна из утопий, которой тешил себя Маркс и утешаете себя вы. Это та же фигура «Спасительного Провидения», только под иным соусом. Пора смелее взглянуть в глаза реальности и сорвать пышные одежды и с этого идола.

Вот кратко мои основные разногласия. Из сказанного вы видите: моя программа исчерпывается одним лозунгом – знание. Знание раскрывает законы необходимости, раскрывая их, оно дает в руки средства управлять мировыми силами и человеком. Только равенство интеллектуальное повлечет остальные виды равенства, только знание может переделать человека-эгоиста в альтруиста, только оно же приведет нас к новой эпохе и к новым людям, сильным, действенным, здоровым и любящим друг друга. А все остальное – либо простое следствие, либо идолы уставшего и ленивого ума, создавшего себе утопии. Теперь я слушаю вас...

– Что касается лично меня, то я не вижу значительного расхождения между мной и вами. Многое из нашего символа веры действительно, устарело и во многом вы, быть может, и правы. Но это мое личное мнение. Боюсь, что другие его с вами не разделят. Ведь власть традиций везде одинакова. Опасаюсь, что наши ортодоксы выступят против вас.

– Я это предвижу и не особенно пугаюсь этого... хотя и жалею, что здесь по недоумию будут ставить мне препятствия. Что же делать? Иначе нельзя. Предрассудки, хотя бы и приятные, одинаково вредны. Поэтому уничтожение их необходимо. Вас, значит, лично я не встречу в качестве противника?

– Нет. Я почти во всем пойду рядом с вами.

– Значит, вы можете взять на себя и устройство рабочих митингов для пропаганды моей системы, а равно, когда нужно будет, внесете мой законопроект и в палату депутатов?

– Да.

– А если для этого придется вам выйти из партии?

– Тогда мы обоснуем новую.

– Очень вам благодарен, – пожимая руку, сказал Никуличев. – Я рад, что в вас я встретил зрячего человека. Ваше содействие уже много значит. Если понадобится, у вас будет и хороший помощник – это мой брат, механик Балтийского завода.

– Прекрасно. Ну, пока до свидания...

– До свидания, – смотря на часы, попрощался Никуличев.

Было около часу. В час приехал Шахматов.

– Ну, здравствуйте, чародей, маг и волшебник. Вот и я, – вваливаясь в кабинет, проговорил Шахматов.

– Добро пожаловать. Садитесь. Не хотите ли чего-нибудь выпить?

– Спасибо. Давайте лучше за дело. А вот и изобретатель «уморода», – приветствуя входящего Колыбина, добродушно поздоровался он.

– Здравствуйте, дорогой меценат. Э, да вы, я вижу, превосходно выглядите.

– Ничего. Живем помаленьку, вашими стараниями...

– Ну, за дело, так за дело, – начал Никуличев. – Вы теперь убедились, что ваши деньги не пропали даром?

– Да.

– Теперь ближайшая задача такова. Рано или поздно, но наша система будет принята государством. Но пока солнце взойдет – роса очи выест. Ждать некогда, и теперь же надо приступать к делу... А дело рисуется так: для того, чтобы государство могло применить нашу систему, должны существовать знающие и умеющие применять ее учителя. Значит, первая наша задача – это приготовление кадров таких учителей и оборудование ряда школ или лабораторий, в миниатюре скопированных с нашей центральной. Если у нас в ближайшее время будут кадры, ну хотя бы человек в 500, то этого достаточно. Каждый из них в свою очередь через год-два приготовит 30–50 учеников, эти в свою очередь – такое же число, и через пять-шесть лет необходимый минимум новых учителей и школ будет готов... Следовательно, старые школы будут подорваны. Ясно, что каждый будет стремиться попасть в новую, а не в старую школу, где ему нужно 15–20 лет на получение университетского образования, тогда как в новой школе он то же образование получит в два-три года. Мы подорвем не только низшие, но и средние и высшие учебные заведения. Вход в новые школы должен быть бесплатным, и обучение в них будет стоить пустяки, значит, они будут вполне доступны для «низов». Вместе с тем они будут воспитательно-исправительными лабораториями и постепенно заменят тюрьмы. А отсюда до государственного введения их – только маленький шаг. Таков мой план. Одобряете вы его?

Оба собеседника нашли его правильным...

– Теперь вопрос в деньгах. Для того чтобы это оборудовать, нужно по крайней мере 100 миллионов, не меньше. И их необходимо добыть...

– Да... сумма кругленькая... – заметил Шахматов, потирая лоб.

– Я предполагаю, путем подписки и жертвований в пределах России и за границей мы добудем 10–20 миллионов. Остальные 80 должны добыть вы, – обратился Никуличев к Шахматову.

– Пустячки, – улыбнулся Колыбин.

– Задача нелегкая, – проговорил Шахматов. – Если бы поставить это дело на коммерческую ногу, нетрудно было бы образовать акционерную компанию... Но вы ведь, господа, бессребреники, а потому – не знаю, как это устроить. Во всяком случае, 50 миллионов своих я даю на это дело. Больше не могу. А остальные попробую добыть... Попытка не пытка, спрос не беда...

– Ну, если так, то дело можно считать решенным. Подписку мы организуем в ближайшее время. Кроме того, я сегодня же напишу знаменитому Сольвею^{109*} и государственному секретарю Штатов Бару^{110*}. Надеюсь, что у них мы получим миллионов 10 или 20. А затем – отчего бы не поэксплуатировать и ряд богачей? Прекрасно, главное затруднение, значит, обойдено.

– Ну, а вы не опасаетесь, Дмитрий Николаевич, вмешательства правительства?

– На этот счет я уверен, что кое-какие препятствия нам будут ставить. Но их можно будет преодолеть. Хотя кампания против нас, по-видимому, уже началась, но правительство едва ли решится на крутые меры, так как, несомненно, общество будет на нашей стороне. В крайнем же случае, – улыбаясь, проговорил Никуличев, – мы переделаем членов кабинета, изменив их взгляды.

– Как переделаете?

– Так, как переделали уже десятки лиц, известных вам и демонстрированных вчера.

– Ну и народец же вы, – шутливо заметил Шахматов. – С вами опасно и дело иметь. Того и гляди, что вынете и из меня душу и вставите вместо нее другую.

– Ну, вас нечего переделывать. Вы и так делаете то, что нужно... Теперь, господа, пойдемте завтракать.

– Вино будет? – спросил Шахматов.

– Нет, не получите. Но Колыбинский напиток готов.

– К вашим услугам...

– И то дело...

Собеседники встали и вышли в столовую...

Глава 10

С этого времени началась лихорадочная работа обитателей лаборатории... Последняя вдруг стала фокусом сил, влияние которых распространялось на весь мир. Посетителям не было конца. Ежедневно сотнями и тысячами получались письма и запросы. В России и за границей начались заседания, посвященные новому открытию. Журналы и газеты запестрели статьями по поводу изобретенной системы. С каждым днем движение росло. Всякий шаг лаборатории регистрировался и отмечался. Новая система и имена ее творцов были на устах у всех. На улицах указывали пальцами на ученых. Изобретение пухло во мнении толпы, принимало фантастические формы и вызывало горячие споры.

Шум разрастался. Росло число сторонников, но наметилась и оппозиция. В состав последней, помимо партии Ширинского и отчасти «Звука» и «Времени», вошли и другие группы. Ополчились против изобретения и отдельные профессора. Они правильно учли, что новая система грозит им гибелью...

«Не идти же на старости лет на выучку к каким-то молокососам», – думали они... По тем же мотивам яростно нападали на ученых и все консерваторы. «Если дать им свободу действий, – говорили они, – то тогда все привилегии и все устои современного общества обречены на гибель». Поэтому правыми и неправыми путями пытались они задушить открытие и обезвредить его результаты.

С раннего утра до поздней ночи, не уставая, работала семья изобретателей. За стенами лаборатории шумел и волновался мир. Здесь же внутри лаборатории царили порядок и тишина. Было спокойно и светло, но с лихорадочной энергией работали все. Каждый в лаборатории знал свое дело и свое место, как на отлично дисциплинированном броненосце. Происходил бой ученых с косностью мировой истории. Лаборатория открыла борьбу... Открыв ее, она теперь продолжала ее и не хотела отступать. Дело шло о «быть или не быть». Каждый знал это и потому был полон энергии. Никто не жаловался на усталость, никто не волновался, а все спокойно и хладнокровно делали свое дело. Разрешение на подписку для открытия сети школ новой системы после ряда хлопот было получено... Она открылась и шла весьма недурно. Из Америки успела прибыть комиссия, о которой писал Бару. Ряд иностранных ученых обществ и академий приглашали изобретателей для докладов. Несколько университетов предложили им кафедры. Каждый день приносил тысячи новостей, плохих и хороших. Отложив на время поездку за границу, ученые теперь были заняты пропагандой их системы в России. С этой целью они и их помощники писали статьи, докладные записки в комиссии парламента и министрам, парировали нападки, читали доклады и лекции, устраивали митинги среди рабочих, посещали заседания, посвященные их открытию, короче, пускали в ход все способы, чтобы открытие глубже и шире вошло в жизнь. Рядом с этим постепенно осуществляли намеченный план подготовки кадров преподавателей и открытия сети новых школ.

Особенно много тревоги и энергии вызвала пропаганда новой системы среди рабочих и народа... Первые митинги здесь потребовали большой выдержки и терпения... Не без волнения выступал Никуличев в первые разы перед рабочими... Они были теми, во имя которых он работал. Они же были и той силой, на которую он хотел опираться. Не сомневаясь в конечном успехе своего дела, он, однако, предвидел, что в первое время придется истратить немало сил, чтобы преодолеть здесь инерцию невежества: чувство реальности и личный опыт мешали ему идеализировать их. Он знал, что и здесь власть изжитых традиций, беспочвенных утопий и ошибочных методов не меньше, чем в других слоях. Знал также, что немало препятствий будет поставлено ему и со стороны многих вождей рабочего класса.

Одни из них будут противодействовать из чистых побуждений, веруя в правильность установленных догм, другие же – демагоги по природе – из своекорыстных мотивов и духа противоречия.

Его расчеты были правильны.

Вскоре после опубликования открытия в одном из рабочих органов появилась статья под заглавием «Волчий зуб и лисий хвост»^{111*}, резко нападавшая на ученых, презрительно называвшая их «буржуазными фокусниками» и предостерегавшая рабочих от «нового подвоха». Вслед за ней появились и другие...

Не очень дружелюбно встречены были они и на первых митингах рабочих. Особенно на двух, где докладчиками выступали когда-то знакомый Никуличеву г. Барачевский, теперешний присяжный поверенный, сотрудничавший в некоторых рабочих журналах, и г. Пятловский, профессор и директор одного из банков, продолжавший кокетничать с социализмом^{112*}. Характер докладов того и другого был сходен... Наговорив кучу любезностей по адресу рабочего класса, напевши ему в уши, что он и единственный носитель справедливости, и единственная творческая сила, и единственный спаситель человечества, ругнув затем утопистов XVIII века, повторивши трафаретные фразы о всеспасающей экономике и пропевши акафист Марксу и Энгельсу, они под конец с бранью обрушились на изобретателей и их открытия... В этой ругани было все, что бывает в таких случаях: и обвинение во втирании очков рабочему классу, и обвинение в буржуазности мышления, и намеки на то, что они едва ли не подкуплены капиталистами, и тут же указывалось на финансирование их Шахматовым.

Под конец оба докладчика призывали рабочих остерегаться «буржуазных наемников», идти старыми путями и заклеить презрением «новоявленных фокусников капитала».

Резкость докладов объяснялась личными мотивами. После первых встреч с Барачевским Никуличеву не раз приходилось сталкиваться с ним в университете. И здесь не раз в заседаниях кружков влетало ему от Никуличева за его пустую болтовню, произносимую с апломбом и с немалым самодовольством.

Были у Никуличева личные счеты и с Пятловским. Последний не понравился ему при первом же знакомстве в университете. Было что-то фальшивое и отталкивающее в этом жирном профессоре с пороссячими глазами и с сиплым голосом. Дальнейшее знакомство подкрепило это отвращение. Оно выяснило, что этот краснобай-социалист был подлинным моральным нигилистом, поклонявшимся только золоту. Натянутые отношения закончились резким столкновением на одном из заседаний, где горячий Никуличев прямо назвал его «Чичиковым от науки» и «служителем чистого золота, кокетничающим с социализмом». Эти клички остались за Пятловским навсегда. Он не мог простить их Никуличеву и потому не замедлил выступить против него при первом удобном случае.

На обоих митингах доклады вызвали враждебное отношение рабочих к ученым. Обстреливаемый сотнями недружелюбных взглядов, Никуличев должен

был до боли закусить губы, чтобы сохранить спокойствие и не выдать клекотавшего в нем гнева на демагогов и горести за тружеников, позволявших «обрабатывать» себя этим «проходимцам»...

Зато конечный исход заседаний был полным триумфом ученых и провалом докладчиков. Такому концу немало посодествовали Поленов и оглашенные резолюции иностранных социалистов относительно новой системы. Наконец, сыграла роль и речь самого Никуличева.

– С тяжелым чувством выступаю я здесь перед вами, – начал он. – Я еще не сказал ни одного слова, а на ваших лицах я уже читаю вражду ко мне. Вы не успели еще познакомиться с нашей системой и уже относитесь к ней враждебно... Не побывав в лаборатории, не прочтя наши работы, вы поверили на слово докладчикам. Да и как не поверить! Сколько приятных вещей наговорили они вам! Сколько фимиамов воскурjali они пролетариату! А лезть действует на всех одинаково... И в итоге я в ваших глазах буржуазный фокусник, а они истинные социалисты.

Я не буду славословить вас... Напротив, я скажу, <что> вы еще очень неразвиты, еще много вам нужно учиться, и нескоро еще вы достигнете той нравственности, которая нужна для культуры будущего. И поверьте, говоря так, я уважаю вас больше, чем докладчики. Вы уже осудили меня, не зная ни меня, ни моих предложений. Спросите себя, честно ли это? Если бы суд вздумал поступать так же, могли ли бы вы сказать, что этот суд справедлив?

Вы поверили вашим докладчикам – и сделали очень плохо. Вся трагедия истории в том, что народ слишком легко и скоро верил всем титулованным и нетитулованным проходимцам. Если хотите быть творцами будущего – не верьте никому и никогда. Не верьте и мне. Верьте только фактам. Все изучайте и все проверяйте и, лишь проверив, принимайте. Иначе по-прежнему будете стадом, которое будут водить пронырливые вожаки и хитроумные пройдохи. И сегодня провели вас. Вам солгали ваши докладчики. Они называли себя социалистами, говорили от имени социализма. Спросите их, кто им дал это право? Чем они доказали свою преданность социализму? Не тем ли, что один – банкир, а другой – адвокат? Не тем ли, что они с малых лет росли на готовых капиталах? Не тем ли, что один спекулирует, вздувая цены на предметы первой необходимости? Вы видите, кто такие эти господа, называющие себя социалистами. Теперь судите сами, можно ли полагаться на их слова и обоснованна ли ваша предвзятая вражда ко мне...

Мои взгляды называли буржуазными. Но вот как называют их ваши заграничные товарищи и вожаки «социализма».

Тут Никуличев процитировал ряд резолюций и статей иностранных социалистических организаций и социалистов.

– Вы мне можете и должны не верить. Но, если вы зрячи, вас убедят факты. Если вы любите авторитеты – я вам дал их. Не скрою, я во многом не согласен с вашими взглядами. Многие из ваших традиций я отвергаю. Но разве вы тот класс, который живет традициями и чтит их ради самих традиций? Разве не вы считаете себя вечно живыми, готовыми оставить любого бога, раз он ложен? Многие из ваших взглядов ошибочны. Вместо их я даю вам новые. Вместо старых путей я указываю иные, более трудные, но скорее приводящие к обетованной земле и влекущие меньше жертв. Не вам бояться трудностей и избегать их. Каковы же эти пути? Они заключаются в следующем.

Тут Никуличев сжато и отчетливо передал сущность открытия – его задачи и его результаты.

– Теперь вы знаете, – продолжал он, – чего мы хотим и что мы можем дать. Мы хотим того же, чего хотите и вы, но хотим достигнуть нашей цели иными путями...

Если мои слова рассеяли ваше недоверие, то начните борьбу во имя общего дела. Сделайте вашим лозунгом равенство знания. Вставьте в вашу программу требование новой системы, говорите о ней на митингах и в печати, составляйте петиции, давайте декреты своим депутатам. Требуйте открытия новой школы при каждой фабрике, открывайте их сами, учителей я дам вам – одним словом, пусть новая система обучения и воспитания будет боевым лозунгом, и, когда добьетесь этой цели, я могу заверить вас, ваша вечная цель приблизится к вам и духовно, и материально. Вы будете иными, и, быть может, еще при вашей жизни вы увидите созданным многое, что теперь лишь неясно рисуется вам как далекое будущее... Но всегда остерегайтесь лести, не увлекайтесь самомнением, не принимайте ничего на веру и помните, что вы не знаете еще азбуки, а потому – учитесь и учите, учась – организуйтесь и организуя – боритесь. Тогда и только тогда вы станете теми новыми людьми, кто возведет величайший храм на развалинах изжитого строя.

Толпа бушевала. Спокойный, но властный тон, прямота обращения, умение задевать нужные мотивы, обличение докладчиков и в особенности отзывы зарубежных социалистических журналов рассеяли враждебное недоверие, а последующая страстная и убежденная речь взволновала души, всегда прямые и честные, и вызвала бурю аплодисментов...

После этих митингов последующие происходили уже при меньшей враждебности. По мере знакомства рабочих с системой ее популярность и популярность ее творцов увеличивалась. Число резолюций, вынесенных ими на этих собраниях в пользу новой системы, с каждым днем росло. В итоге инерция была преодолена, и вопрос о государственной системе новых школ стал боевым лозунгом момента. Главная сила, на которую рассчитывал Никуличев, перешла на его сторону...

* * *

С особым усердием пропагандируя свою систему в народных массах, ученые в то же время не забывали и об остальных фронтах битвы. Пропаганда ее велась тысячами путей всюду, где было нужно и где было можно. Печать, личное влияние, сотрудничество, заседания, лекции, митинги – все было пущено в ход. Тысяча нитей протянулась от белого здания к разным пунктам земного шара, и число последних росло и росло. Белое здание и ученая семья превратились в музыкантов, разыгрывавших величайшую симфонию на этих невидимых струнах. Каждый удар их приводил в движение грандиозную сеть этих струн и вызывал могучие эффекты в общественной жизни. Идеи, брошенные ими, подобно молнии, прорезали пласты жизни и одевались в плоть и кровь. Невидимое знание воплощалось в осязаемые формы, разрушало изжитое и созидало грядущее. Оно клином врезалось в мировую жизнь и входило глубже и глубже.

Подписка прошла успешно. Сольвей прислал 10 миллионов франков. В последнем письме Бару сообщал, что первые шаги к практическому осуществлению новой системы уже сделаны. В письме говорилось также, что Никуличеву переводится 15 миллионов долларов из фонда Карнеги^{113*}... Кадры первых преподавателей были почти готовы. В ряде городов – Москве, Харькове, Одессе, Вологде, Владивостоке и т.д. – заканчивалась постройка новых лабораторий-школ... Зашевелились парламентские фракции. Заинтересовалось системой и правительство... И в России, и за границей образовались целые общества с целью пропаганды новой системы. Рядом с ними выросли и союзы противников изобретения. Защитники старого порядка мобилизовали все свои силы, чтобы обезвредить открытие. Короче, мир волновался.

– Так и должно быть, – спокойно говорили ученые, следя за растущим движением. – Борьба неизбежна, и она должна быть. Раз она теперь уже приняла такие формы, нам нечего беспокоиться. Мы глубоко вошли в жизнь, и внедрившиеся корни неистребимы, – так думали они и спокойно продолжали делать свое дело.

Мир волновался, а в лаборатории царили обычный порядок и тишина. Как и раньше, каждый делал свое дело. Вся разница была лишь в том, что больше автомобилей подъезжало теперь к белому зданию да чаще выезжали из него его обитатели.

Глава 11

– Да что это такое!.. Все пишут и пишут о каком-то Никуличеве. Кто он такой? – бросая газету с портретом Никуличева, лукаво улыбаясь и закуривая пахитоску^{114*}, прожурчала Кирсанова^{115*}.

– Какой-то молодой ученый и едва ли не опасный революционер. А впрочем, это не важно. Это скучно, – теребя перчатку, ответил ее собеседник.

– А нет, не скучно. Посмотрите на портрет, он интересный...

– Скучно.

– А я говорю нет, и хочу знать, кто он такой...

– Ну, будет, Marie, что за странные желания начинают приходить тебе в голову!..

– Ничего странного нет. Хочу, и... все, – с той же лукавой улыбкой проговорила она.

– Я тебя не понимаю сегодня, – пожал плечами граф Шелапутин^{116*}. – Ну, скажи, пожалуйста, что тебе за дело до какого-то ученого? Мало ли есть их! Дай лучше твои прекрасные руки, – целуя их, проговорил он.

– Интересно... Везде пишут о нем. На заборах читаешь объявления о его выступлениях. Все газеты полны и только о нем и твердят. В обществе, в салонах – его имя на языке у всех. Даже зависть берет, – недовольным тоном заявила она. – Точно модный тенор...

– Ну, надо же газетам болтать о чем-нибудь. Вот и болтают.

Вошел лакей и заявил:

– Лошади поданы.

– Ты готова, Marie?

– Да, сейчас...

Через минуту они вышли.

Разговор происходил в роскошном особняке Кирсановой, отдохавшей теперь от своих заграничных гастролей...

Знаменитая балерина и прославленная красавица была женщина экстравагантная и неглупая. Гибкая, как змея, упругая, как натянутый лук, она была одной из тех женщин, которые остаются в истории, подобно Клеопатре или Помпадур^{117*}. Бледное матовое лицо, обрамленное волнами черных волос, едва держалось на тонкой мраморной шее. А глаза, черные, бездонные, и ярко-пунцовые призывные губы притягивали и колдовали людей, от простых смертных до коронованных особ. В списке любовников Кирсановой уже числилось два владетельных князя и один наследник престола...

Это была прирожденная Кармен, но Кармен таинственно-трагическая. Глубина в ней как-то непонятно уживалась с капризностью, легкомыслие – с трагизмом. Многие в ее поступках казалось совершенно неожиданным и непонятным. Этим, вероятно, объяснялись и ее быстрые разрывы со своими любовниками. На второй же день после сближения она категорически объявила одному из них, что с этого времени между ними все кончено. Другого неожиданно прогнала в минуты страстных поцелуев, наговорив ему кучу жестокостей...



Матильда Кшесинская – прообраз Марии Кирсановой

Однажды совершенно неожиданно отдалась бедному юноше-поэту, которого заметила со сцены. Пригласила его за кулисы и поехала с ним ужинать...

Граф Шелапутин, блестящий гвардейский офицер, владелец громадных поместий и древней сановитой фамилии, был ее теперешним фаворитом. Чем больше он узнавал ее, тем сильнее влюблялся. Не раз он предлагал ей «узаконить» их связь, но в ответ получал только смех и лукавую улыбку.

– Полно, мой друг, к чему это! Да и пристойно ли тебе, аристократу, связываться со мной, полулюбовницей, полуактрисой, выросшей почти на улице, – с усмешкой заявляла она...

Всадники быстрым аллюром несколько раз объехали Летний сад и поехали по Михайловской. На углу ярким пятном краснела афиша, возвещавшая о публичном выступлении Никуличева в обществе криминалистов...

– Знаешь что, поедем сегодня на это собрание, – неожиданно прервала их разговор Кирсанова.

– На какое?

– Да вот на то, что на афише. Меня очень интересует этот господин.

– Mais^{118*}...

– Без всяких «mais»... Если не хочешь, я поеду одна...

– Едем. Начало в восемь?

– В восемь.

– В полвосьмого я буду у тебя.

– Merci^{119*}, милый, – послала ему поцелуй... – А теперь ко мне завтракать, – весело крикнула она и помчалась на своем коне.

Шелапутин покорно последовал за ней...

Глава 12

Занятые работой, ученые не забывали и второй своей задачи – уничтожение тюрем и всего карательного механизма... Добытые результаты должны были найти применение, и здесь – в первую очередь. Оба слишком хорошо знали, что такое современное правосудие. Оба на себе испытали его действие и не могли забыть ужаса тюрьмы и ее обитателей. Они своими глазами видели, как калечится жизнь тысяч людей, как бессердечно коверкается судьба этих несчастных и как нелепо беспощадна карающая десница правосудия. Знали они также, что самыми униженными и обиженными среди людей являются те, кому выпал на долю жребий преступника. Настало время приниматься и за эту задачу... Возможные последствия их открытий уже учитывались юристами. «Право» напечатало статью обер-прокурора Кассационного департамента Сената, содержащую резкую критику надежд, возлагаемых на новое изобретение. В ней много и скучно говорилось о том, что задачи уголовного права должны остаться старыми, что целью

наказания было и будет возмездие, что всякие попытки исправления преступников беспочвенны и т.д.

В ответ «Юридический вестник» напечатал статью, защищавшую намерения ученых и возможность радикального изменения борьбы с преступностью на почве новых открытий... Однако до выступления самих ученых юристы должны были бродить в полутьме, довольствуясь смутными слухами и общими фразами. Они ждали, что ученые должны выступить сами со своими проектами реформ в этой области. И они не ошиблись...

Месяцев пять спустя после описанного заседания Академии наук были разосланы повестки Юридического общества, возвещавшие о будущем докладе Никуличева на тему «Новая система воспитания и реформа уголовного права».

В назначенный день зал Юридического Собрания был полон. Видные юристы, сенаторы, судьи, профессора – все были налицо, вплоть до министра юстиции.

Многие настроены были недружелюбно. В проектах ученых они усматривали угрозу их существованию и всей системе правосудия.

В восемь часов ровно высокая эстрада была занята президиумом, явившимся «in cogroge»^{120*}... Прозвучал звонок, и проф. Таранин объявил собрание открытым. Никуличев занял кафедру.

Снова бледно-матовое лицо белело на черном фоне сюртука. Снова серые «вольтовые» глаза пробегали по публике, скрещивались со взорами многих, связывали их и приковывали к себе. На минуту они задержались на лице Кирсановой и спокойно скользнули дальше.

Недовольная гримаса прошла по лицу балерины. Она с интересом смотрела на него, и казалось, была удивлена тем, что увидела мраморную маску, а не живое лицо.

– Мумия, – шепнула она Шелапутину.

– Милостивые государыни и милостивые государи! Вы с недоверием и не без скептицизма приготовились слушать то, что я намерен доложить вам. Я одобряю этот скептицизм. Тем лучше для вас и для меня.

Несмотря на предубеждение, я смело выставляю мои положения и буду краток. Слов не нужно тому, у кого есть дела. Они таковы: борьба с преступлением возможна.

Но не путем наказания, т.е. уничтожения или заточения преступников, а путем переделки или перевоспитания их, совершаемого чисто лабораторным путем, быстро и вполне успешно.

Иными словами: я утверждаю, что любого вора, убийцу, закоренелого каторжника можно в течение одного-двух месяцев превратить в честного и нормального члена общества. Говоря «можно», я имею в виду не платонические пожелания, а фактически исполнимое.

Кто не верит моим словам, тому я предлагаю свои услуги и берусь это сделать с любым преступником.

Слова звучали ровно и однотонно, но резко и отчетливо.

– Я говорю это так спокойно, потому что ряд опытов в этом направлении нами сделан и дал нужные результаты.

Никуличев кратко передал добытые итоги...

– Таково, господа, основное положение. Теперь извлечем отсюда главные выводы. Они таковы: во-первых, современный уголовный кодекс не нужен. Прейскурант наказаний, кропотливо вычисляемых вами, излишен. Наказание должно исчезнуть.

Во-вторых, тюрьмы и крепости должны отойти в прошлое. В них не будет обитателей. Кто совершит нечто недозволенное, тот будет отсылаться в лабораторию и выходить оттуда новым человеком.

В-третьих, излишними будут и современные суды. Вся судебная процедура сведется к простому факту выяснения, кто сделал такое-то недозволенное деяние.

Сделавший не будет скрываться, ибо наказание не будет грозить ему. Лаборатории будут подобны современным больницам. Пациенты, т.е. преступники, не только не будут избегать их, а напротив – сами являться туда, как больные идут в больницы и клиники.

Не нужно будет ни сложной техники следствия, ни установления форм виновности, ни подведения под статью, ни схоластических рассуждений о том, действовал ли преступник с умыслом или без него, из плохих или хороших мотивов, – все это должно исчезнуть. Излишними будут и здания судов, обширный штат судей и вся судебная обстановка. Отныне не нужны ни прокуроры, ни адвокаты, ни судьи, ни присяжные, ни тысячи статей, ни миллионы листов бумаги, ни речи, ни прения – все это заменится экспертом, который определит, кем совершено недозволенное деяние, и духовным врачом, который будет перерабатывать преступника в лаборатории. Само собой понятно, господа-криминалисты, что наше открытие делает бесплодными и все бесчисленные теории – пустые, как сор, – которыми наводнено уголовное право. Вся наша работа сведется к тому, чтобы написать кодекс: какие деяния не дозволены. И только. Санкция будет едина: исправление. Процесс будет един – исправление. И результат будет один – исчезновение преступников и преступлений и рост морального богатства в обществе...

Я прекрасно понимаю, что осуществление моих предложений равносильно уничтожению современного правосудия. Но стоит ли жалеть об этом? Не являлось ли оно возмутительной несправедливостью, жестокой, зверской и вдобавок бессмысленно-бесполезной?

Вспомните, сколько людей, здоровых и умных, бесцельно пропадает в тюрьмах, губя ум и силы и обрекая общество бесполезными расходами? Вспом-

ните, сколько тратится на тюрьмы? А как велик штат охранителей? Примите во внимание и то, сколько сил, людей и денег нужно на суды, на судей, на адвокатов, прокуроров, бумаги, законы и т.д.

А сколько сил пропадает в схоластике юридической глупости!..

Наконец, не забудьте и того, что общество весьма дорогой ценой покупает свою безопасность – ценой тысяч жизней, озверения сотен тысяч и изуродования – миллионов. Жертв слишком много, а прибыли слишком мало...

Что дает вам ваше беспощадное правосудие? Ничего, кроме роста преступности и озверения, дикости и растущей опасности. Ваши меры дороги, жестоки и бессильны...

Наши рецепты просты, дешевы и – всесильны. На сотую часть тех денег, которые ежегодно ассигнуются государством на тюрьмы и на правосудие, может быть выстроено достаточное число лабораторий, которые быстро и скоро выведут преступность из общества.

Резюмирую. Ваша борьба с преступлением громоздка, жестока, бесчеловечна, стоит громадных жертв и – бесплодна.

Мы даем новую систему – простую, дешевую, нравственную и всесильную.

Кто предпочитает первое – тому я бесполезен.

Кто хочет второго – тот пойдет с нами.

Дело каждого из вас выбрать. Либо голая юстиция, во имя пустых слов жертвующая миром, либо – святость мира и человека. Первое – плод невежества. Второе – плод знания. Я кончил!..

Молчание было ответом. Речь и меры, предложенные Никуличевым, были столь неожиданны и шли так далеко, что собрание не сразу опомнилось от изумления. набросанная картина подействовала ошеломляюще. Она разрушала почти весь общественный уклад. Вычеркивала из обихода добро и зло, преступление и наказание, суд и тюрьмы, кодексы и сотни тысяч ученых книг и споров...

Краткими и ясными словами этот человек нарисовал совершенно новый уклад. И говорил о нем не как о фантазии, а как о вполне осуществимом факте, который он может выполнить и выполнит.

– Что это? – спрашивал каждый. – Шутка?

Но нет. Опыты были реальностью, а не сном. И вместе с тем – набросанная картина так непохожа на привычную... Рисовалось нечто фантастическое, решительно новое, требовавшее категорического выбора... Или одно, или другое. Старое – плохо, но люди сживаются с ним и нелегко разрывают с привычным...

– Объявляю на десять минут перерыв, – провозгласил председатель...

Публика зашевелилась и встала с мест. Начался обмен мнений.

– Что скажете насчет доклада? Не правда ли, ново? – обратился министр к профессору Базилевичу. – Придется, пожалуй, сдавать нас в архив...

– Ново-то ново. Но, – пожал плечами профессор, – не слишком ли далеко идет он?

– Это возмутительно, – слышалось в другом месте. – Это какое-то нахальство – одним взмахом свести насмарку все уголовное право, – говорил сенатор Пломба.

– Что станет с вашими теориями наказания, умысла и неосторожности, необходимой обороны и крайней необходимости, – шутливо отвечал ему молодой присяжный поверенный. – Что станет с кассационными разъяснениями! Вечная им память!

– Да... Это почище Ломброзо и всяких социологических измышлений...

– Придется подумать. Тут не возразишь ничего.

– Не юрист, а сумасшедший, ваше превосходительство, – лебезил перед министром молодой прокурор Ауер, тонкий, юркий и пшютоватый.

Кирсанова во все время доклада не сводила глаз с Никуличева. Странно действовали на нее эти холодные глаза и эта метрономная речь... В силу ли контраста характеров или в силу взбалмошного каприза, но этот человек притягивал ее. Чем? Кто знает... не то внешностью, не то славой, не то чем-то стальным и непобедимым, что чувствовалось за его словами и жестами.

Сидевший рядом Шелапутин волновался и тревожно следил за ней.

– Ну как, довольна? – с внешней беззаботностью спросил он свою спутницу...

– Как бы не так... Какой-то манекен, а не человек, – лицемерно ответила она.

– Я же говорил тебе, что будет скучно.

– Я и не виню тебя.

– Тогда, быть может, пойдём?

– Нет уж. Просидим до конца.

Подошли знакомые и вежливо стали раскланиваться.

– Вы знаете Никуличева, – обратилась вдруг Кирсанова к знаменитому адвокату Силякову. – Познакомьте меня с ним.

– Идемте.

Подошли к Никуличеву, разговаривавшему с каким-то психиатром.

– Дмитрий Николаевич! Позвольте вам представить Марию Николаевну Кирсанову.

Пожали руки...

– Число ваших поклонниц может увеличиться еще одной, – шутливо заметила артистка.

– У меня их нет, – улыбаясь, ответил Никуличев.

– Не скромничайте...

– Не скромничаю, – спокойно ответил он. – Это не по моей части. Как, думаю, и то, чем я занят, не по вашей.

– Нельзя сказать, чтобы вы щедры были на комплименты, – заигрывая, продолжала она. – Однако я с интересом слушала вас и многое поняла.

– Радуюсь. Только не знаю, к чему это вам и как вы сюда попали.

Голос был, как и раньше, монотонен, не видно было ни чрезвычайной вежливости, ни того незримого чувства влюбленности, которое обычно вызывала балерина.

Это было ново и немного неприятно...

– Вы откровенны, – играя глазами и легко покачиваясь на упругих ногах, продолжала артистка. – Наша сестра у вас, должно быть, не на важном счету.

– Нет... Отчего же... Каждому свое. До науки вам, конечно, мало дела, но зато у вас есть свои достоинства, ценимые людьми.

– А вами?

– Я, право, об этом мало думал, – равнодушно заявил он. – Простите, но я должен идти, – раскланялся докладчик.

Гримаска недовольства пробежала по лицу Кирсановой. «Это уж слишком», – промелькнуло у нее в голове. Какой-то далекий и мраморный. Было досадно, что ее чары отскакивали от этого мрамора. И было приятно, что этот человек говорил с ней не так, как говорили с ней до сих пор... Ни огня возбуждения, ни похоти, ни мгновенного увлечения, к которым так привыкла она, не чувствовалось. Теперь только уяснила она себе тайную причину своего каприза. Ей хотелось просто поиграть с быстро прославившимся ученым, полюбоваться эффектом своих чар, завлечь, заколдовать, одурачить, насладиться своей силой и затем... не без жестокости посмеяться...

И вдруг – чары отскочили... Удары были бессильны и сила красоты – бездейственной... Было неприятно, и дразнило желание.

«Ну, постой же, – думала она. – Не я буду, если не скручу тебя. Будешь таскаться за мной не хуже многих. Посмотрим». И в глубине колдующих глаз вспыхивали огоньки, как ракеты в глубине ночного неба...

– Какая-то панихида... – садясь в кресло, недовольным тоном сказала она Шелапутину.

Тот улыбнулся... Сомневался, но поверил...

Перерыв кончился, и заседание возобновилось... Говорили многие.

Сенатор Пломба распинался за возмездие. Презрительно указывал, что докладчик не обосновал цели наказания, не дал юридической конструкции преступления и кары и т.д.

В этом же роде говорили и другие. Только двое с восторгом приветствовали новый план реформы и заявили, что отныне уголовное право кончило свою историю.

Никуличев сидел и спокойно слушал. В углу губ временами мелькала кривая усмешка... Встал и начал возражать; по лицу прошел какой-то ток. Сверкнула молния внутреннего возмущения на человеческую глупость, прикрытую туманными словами...

– Господа! Теперь я буду прям и резок и начну с вопроса: долго ли вы будете хромать на оба колена? Вы упрекали меня в том, что я не дал вам юридических конструкций, не привел мнений от Адама до наших дней, не был тем, чем являетесь вы, т.е. граммофоном, передающим чужие мысли за неимением своих... О, я знаю, вы это цените, но я был краток и сказал вам: не нужно слов тому, кто имеет дела.

Чего вы хотите? Культивировать ли преступность, чтобы можно было надевать мантию и с важным видом священнодействовать за судейским столом? Или же вы действительно хотите бороться с преступностью?

Если хотите первое – к чему лицемерите? Тогда кричите: да здравствует преступление! И будьте откровенны!

Если же хотите бороться, то разве не видите, что ваша борьба – бесплодна? Уменьшились ли преступления? Нет. Растут ли они? Да. Чем боретесь вы? Виселицами и тюрьмами. О, вы культурны! Вы возводите одну тюрьму за другой, заботитесь о количестве квадратных сажен воздуха для «неисправимых». Вы тщательно вычисляете, подобно метрдоателям, ваш прейскурант наказаний и хотите быть справедливыми. Вы распределили преступников по классам, как бабочек, и обрадовались, когда открыли «неисправимых».

Немало вы толкуете и о сущности наказания, о его целях и всегда к слову «возмездие» не забываете прибавить «справедливое».

Но... довольно бесплодного тканья слов. Они слишком дорого стоят. Кто вычислит миллионы тех, кто погиб под сводами ваших тюрем, задохся, исчах или сошел с ума! А сколько тысяч погибло утренней зарей на эшафоте! В прошлом ваши предки были откровеннее. Они мучили и пытали прямо и открыто. Вы лицемерны и трусливы. Во имя этих жертв я поднимаю свой протест и говорю: довольно... И знайте: я сдержу свое слово. Быть может, не сегодня, так через год, не через год – так через десять, но я проведу свою реформу, и вы принуждены будете принять ее.

Невежество рано или поздно гибнет. Знание – остается!

Раздались свистки, но они были покрыты аплодисментами. Горячая и прямая речь одних возмутила, других восхитила.

Не только друзья, но и противники увидели, что с этим человеком приходится считаться. От него нельзя отмахнуться. Да в конце концов, отчего бы и в самом деле не сделать опыт и не воспользоваться его открытием?

Внимательно слушал докладчика и министр. Бывший профессор, человек неглупый, он старался исполнять свой долг не только за страх, но и за совесть...

Система ученых его заинтересовала. К тому же как раз в это время разрабатывался законопроект о колониях для малолетних преступников. «Отчего бы не сделать опыт с ними и не воспользоваться услугами ученых? – думал он. – Опасности никакой, а результат может быть полезным», – подумал он и решил побеседовать с ученым на эту тему.

Публика расходилась, возбужденная и шумная. Спорили, одни ругали, другие хвалили.

Перед выходом Никуличеву подали карточку министра юстиции с надписью, что он желал бы видеть его завтра в 12 часов.

«Прекрасно», – подумал Никуличев...

Выходя, он снова встретился с Кирсановой.

– Я думала, вы мраморный, а вы умеете и воспламеняться, – улыбнулась артистка.

– Да, по временам.

– И только в заседаниях?

– Вы очень любопытны, – отпарировал он вопрос. – Впрочем, да.

– А можно к вам приехать, посмотреть вашу лабораторию?

– Можно. Но для чего вам?

– Ну, право же, вы нелюбезны.

– Не привык, – холодно ответил он, – прощайте.

– Прощайте, – закусив губку, процедила артистка...

«Вот невежа-то. Я, право, готова сейчас побить его», – волновалась она, выходя из собрания.

Глава 13

В этот вечер Воеводская была одна. Муж уехал на какое-то заседание. Она никого не ждала и никуда не собиралась. На улице было сыро и холодно, а здесь, в будуаре, было тепло и уютно.

На столе лежал ряд листов бумаги... На одном из них чернело несколько строчек начатых стихов, но они, неоконченные, зачеркнутые, сиротливо жались к углу листа и обрывались...

Работа не клеилась... Перо лежало на столе, а сама она сидела в кресле и, казалось, о чем-то думала...

Встала, взяла газету, прочла отчет о вчерашнем выступлении Никуличева в Обществе криминалистов... Газета передавала содержание его доклада и рецензий. Рецензент от себя добавлял ряд замечаний и выводов, весьма лестных для знаменитого ученого. Рядом была статья известного социолога-криминалиста, приветствовавшего новое начинание и называвшего открытие Никуличева «могилой уголовного права и дорогой в царство Правды».

После первого выступления Никуличева в Академии наук она не переставала внимательно следить за ним. Грустная и обиженная ушла она с заседания. Было больно, что так холодно обошлись с ней, было больно за свой выбор, за свою ошибку; она ясно увидела, что умерший был жив, потерянный – нашелся и стоял у врат царства. А муж, которого до сих пор она ценила и уважала, оказался побитым, бессильным и пустым...

И в душе ее с этих пор оборвалась какая-то нить. Безмятежное и бодрое настроение, тихое счастье, питаемое любовью, уважением и работой, – исчезли и ушли... И против желания было грустно, и против воли почему-то все время носились в голове слова: «А счастье было так близко, так возможно»^{121*}.

Проходили дни... Слава Никуличева росла, а вместе с ней росло и душевное беспокойство Воеводской. Было неприятно и оттого, что он до сих пор не явился к ней и не пригласил ее к себе.

«Неужели забыл или же мстит за прошлое?» – спрашивала она. Вот и теперь снова стояли перед ней это холодное бледное лицо с вольтовыми глазами и странно размеренные жесты. «Неужели это он? – думала она. – Неужели это тот старый Дмитрий – живой, непосредственный, горячий и всегда искренний?»

Она сравнивала обоих и не узнавала... Нет, это какой-то иной человек. Тот был всегда искренен – этот непроницаем. Тот был ясен – этот темен. По его глазам она могла читать всю его душу – у этого душа была отделена какой-то завесой. И притом эта складка в углу губ – насмешливо-ироническая. «И тот, и не тот», – вздохнула она. Подошла к столу и из какого-то ящичка вытащила связку писем, старых, порыжевших от времени и лежания. Села к камину и принялась читать.

«Дорогая, хорошая Лиза, – читала она. – Я в далеком-далеком лесу, бесконечном и непроходимом. До одного села 100 верст, до другого – 90... Лошади устали, и я ночую в этой лесной избушке... Вот я и снова в новом мире, так не похожем на твой мир, оставленный мной... Кругом лес, лес и лес. И я с ямщиком один здесь, как древний дикарь, среди иной жизни, странной и непонятной. Пали уже ночные тени. Где-то кричит филин. Кругом пищат комары... а мне хорошо и грустно-радостно... Не знаю, как и передать тебе то, что я чувствую. Ты теперь так далека от меня и так близка. Как живую я вижу тебя перед собой, твои чистые весенние глаза, твою дорогую улыбку и твой полудетский голос. О, если бы ты знала, как я тебя люблю теперь... И люблю какой-то странной любовью... Это не то, что обычно зовется этим словом. Скорее это – обожание святыни, преклонение перед Беатриче^{122*} и вместе с тем – радость созерцания красоты... Нелюбимое соединилось с временным, любовь к ребенку с любовью юноши... Нет, не сумею я передать тебе свое чувство. Но ты передо мною, и ты везде. И мне радостно от этого. {До того радостно, что я готов плакать, как ребенок. С души как будто сошел какой-то чехол, и она стала отзывчиво-трепещущей.} Душа тре-

пещет. Боже, продли этот миг! Дай его пережить еще и еще, долго, часто, вечно. Лес шумит – и я слышу твое имя. Филин где-то ухает – и он шепчет о тебе. Зате-рянный среди леса, я смотрю на небо, и небо – ты, и ты – небо... О, моя жизнь! Мое небо! Нечаянная радость! И если можно благодарить тебя – то я не знаю, как благодарить. Для меня ты отблеск потерянного рая и проблеск весенней зари и ярких весенних зарниц. Нет, не могу... Нет слов!

Кажется, я наговорил много сентиментальности, и ты, пожалуй, будешь смеяться над ними и мной. Ну что ж? Улыбнись своей милой улыбкой и брось письмо. Я знаю, что улыбка твоя будет доброй, а не злой. Кончаю.

Все лесные духи шлют тебе привет...

Твой Дмитрий».

Прочла и задумалась... Медленно разворачивалась перед нею картина про-шлого, ясная до боли, такая простая и сложная...

* * *

Взяла новое письмо, последнее письмо, присланное накануне свадьбы. Ров-ный почерк здесь был тороплив и нестроен. Буквы прыгали. Нажимы пера были сильны и неровны.

«Глубокоуважаемая Елизавета Александровна!

Поздравляю Вас с законным браком и желаю Вам и Вашему мужу всего хо-рошего. Извиняюсь, что не мог сдержать свое слово и быть на Вашей свадьбе. Очень занят, да и фрака не имею, а напрокат взять нет денег. Впрочем, к чему хитрить?... Конечно, это неверно. Истинная причина – нежелание. “Не хочу”. А почему не хочу, Вам также, вероятно, ясно... А если не ясно, расскажу сказ-ку...

Жила-была когда-то дивная фея. Нежная, ясная, лазурно-целомудренная. Звали ее люди “Любовью”. Я называл ее “Тихим светом”. Жила и росла. Со-здали ее Вы и я. Эта фея – поэма взглядов, песня тихих слов и аромат чистых прикосновений, эта фея – весенний трепет души... И что же? Вы ее убили... Без жалости Вы убили ее... Понимаете? Убили!.. Ну, что ж. Если так нужно – пусть будет так. Забудем ее! Вобьем ей в спину осиновый кол, бросим в яму и зароем! Пусть завеют буйные ветры – и занесут ее сыпучими песками! А ты, старый ко-лючий бурьян, густо покрой забытую могилу бывшего!

{Сегодня случайно совпавшие тропы –
Твоя и моя – разойдутся опять.
О будьте Вы <нрзб.>
Можно <нрзб.>}

Идите своей дорогой. Желаю Вам счастья. Я его едва ли найду... “Старые раны горят”... Но не бойтесь. Я буду еще жить. И зубами и когтями буду цеплять-

ся за жизнь. Зачем? Так, просто... не зачем. А может быть, и есть причина. Больше мы с Вами не увидимся. Ваша дорога идет кверху, моя – книзу... Печальная дорога, одинокая и тяжелая, которая либо приведет меня к вратам царства, либо – к смерти в канаве под забором. Ну что ж, собаке собачья и смерть. Прощайте. Я Вас не упрекаю и ни в чем не виню... Простите за неумышленную резкость. Я не хотел бы причинить Вам грусть перед свадьбой.

Д. Никуличев»^{123*}.

Камин тихо и пугливо вспыхивал, а Воеводская сидела задумчивая и печальная. Вспоминала прошлые сны, такие тихие и радостные. Вставали картины, всплывали образы, и звучали когда-то сказанные слова... «А счастье было так близко, так возможно...»

«Нет, – встала она с кресла. – Я хочу и должна его видеть. Я хочу воскресить прошлое и оживить забытое... Пусть будет что будет. Но я не могу так. Я хочу вновь этой целомудренной сказки, тихой поэмы зачарованного озера!»

Оделась и уехала...

С любопытством подъезжала к лаборатории. Внимательно вглядывалась и всматривалась... Мелькнули ворота, и извозчик остановился у подъезда белого дома.

Позвонила...

– Дмитрий Николаевич дома?

– Дома, – ответил открывший слугитель...

– Подайте эту карточку и скажите, что я прошу его принять меня...

– Они, кажись, заняты, – нерешительно заметил открывший.

– А вы подайте...

– Попросят пройти, – вернувшись, сказал он.

Поднялась по лестнице и вместе со стуком каблучков слышала стук тревожного сердца...

– Здравствуйте, Елизавета Александровна, – встретил ее Никуличев. – Прошу сюда, – пригласил он ее. Сняла пальто, боа и шляпу. Было отчего-то страшно. Украдкой взглянула в лицо: оно было спокойно-вежливое.

– Не удивляйтесь, Дмитрий Николаевич. Захотелось повидать вас. Ждала, ждала, не дождалась. Если гора к Магомету не пошла, то Магомет <пошел> к горе. Вот и принимайте гостью.

– Я очень благодарен вам за память и очень рад вас видеть, – слышались холодные слова...

– Дайте посмотреть, как вы тут живете. Ведь вы теперь знаменитость...

– Пожалуй, что и так, раз уж вы явились ко мне.

Намек и укол острой болью врезались в душу.

– Вы ошибаетесь, я явилась видеть старого друга Дмитрия Николаевича, – ответила она...

– Если так, тем лучше, – ответил он. – Чем могу служить?

– По-видимому, этим вы хотите сказать, чтобы я убиралась поскорее...

– О, нет!

– Впрочем, ведь вы так заняты, – нерешительно встала она, – у вас нельзя отнимать время. Без повода нельзя и видеть вас.

– Что я очень занят – это верно. Но, признаюсь, меня немного удивляет ваш визит.

– Удивляет?..

– Да.

– И вы не догадываетесь, что меня привело к вам? – с волнением заметила она.

– И да, и нет. Пожалуй, что и догадываюсь.

– И что же, вы рады?

– Вы хотите, чтобы я был откровенен?

– Да...

– Тогда я скажу прямо: я рад вас видеть, но прошлое умерло, и умерло навсегда.

– Вот как, – вздохнула она. – Умерло... и навсегда... А если я люблю вас?

– Елизавета Александровна, поздно. Слишком поздно... – грустно заметил он. – Я все уничтожил... и настроил душу иначе.

– Тогда настройте ее по-старому...

– Зачем? Для того, чтобы возродить старое? Безнадежно. Разве я уже тот? А вы разве та же? Нет! И я не тот, и вы не Лиза, вы теперь Елизавета Александровна Воеводская. Вы знаете, я притворяюсь не люблю, не люблю и врать. Будем откровенны... Что случилось бы, если бы я пошел на ваш зов? Флирт. Физиология и обман мужа. Маленькое, пошленькое лицемерие, плоское и грязное, как все обыденное. Нет, Елизавета Александровна, бросим это. Да у меня есть и другая причина так вести себя. Я не хочу обидеть вас, но... не могу не сказать вам правды: я плохо верю в вашу любовь. Вы влюблены – но не в меня, а в того Никуличева, о котором теперь твердят всюду...

– Дмитрий! – прервала она.

– Да, да, – продолжал он. – Именно в этот шум, как когда-то из-за него же влюбились вы в Воеводского. Тогда вы бросили меня, теперь готовы бросить его, и только потому, что теперь я знаменитее, чем он. Вы едва ли любили вообще кого-нибудь, кроме тени шума и славы.

– Вы неправы, Дмитрий. Боже мой, как вы неправы! – со слезами вскричала она.

– Нет, прав, – спокойно сказал он. – Иначе почему же вы вспомнили обо мне только теперь? Почему вас я не видел и не слышал раньше, в те долгие годы, которые прошли между вашей свадьбой и сегодняшним днем? Тогда вы и не подумали обо мне. Разве было вам дело до неудачливого юноши, бедного, слабого,

неизвестного и забытого! Жив ли он или мертв? Сыт или голоден? Счастлив или смертно страдает? Спросили ли вы себя хоть раз об этом? Приходило ли вам это в голову? Нет, нет и нет. Вы были довольны. И вы, и Воеводский были увенчаны лаврами, а чего ж вам было еще нужно. До бедного ли юноши тут было? И если бы услышали о его смерти, вы бы только вздохнули и тут же забыли о ней. А теперь фортуна повернулась в мою сторону, и вот вы вспомнили обо мне.

– Как вы жестоки, как вы бессердечны! – с рыданием вырвалось у нее.

– А вы были сострадательны и пожалели меня? Без тревоги, с легким сердцем вы ограбили мою душу и истоптали ее... С любопытством и не без удовольствия вы приехали ко мне со своей вестью и звали на свадьбу. Знали ли вы, что вы делали! Окруженный неудачами, богатый лишь мечтами и планами, я жил тогда только вашей любовью. И вы убили ее. О, если б знали вы ту боль и то мучение, которое я пережил. О, если б испытали хоть часть того, что испытал я за эти годы. Да, теперь я победитель и стою у врат царства. Но чего это стоило?... Я сам удивляюсь, как я вынес все это... Не удивляйтесь и вы, если все нежные струны выгорели в душе и больше не звучат. Это грустно, быть может, но в этом виноваты вы же... Пусть я жесток, но раз можно быть и жестоким. Да и не ради жестокости говорю я вам это, а ради того, что прошлое исчезло. Его не воротишь, а игра в флирт с очаровательной дамой меня не манит.

Воеводская тихо плакала...

– Да, вы отчасти правы, – сквозь слезы сказала она. – А счастье было так близко...

– Да, было близко... И мне, Елизавета Александровна, от души жаль и себя, и вас. Но помочь вам не могу... Иными снами теперь живу я. И не нужно тревожить прошлого... Дайте вашу руку... и забудьте о нем.

Рука, та дорогая рука, которую не раз когда-то целовал он, теперь тихо дрожала, а в глаза его смотрели странно знакомые глаза прежней Лизы. То же лицо, те же губы. Что-то пробежало по лицу, а в душе поднялось какое-то новое чувство, вспыхнуло в глазах, и казалось, вот-вот старый Дмитрий воскреснет, но... через минуту снова легла маска и погасила все загоревшиеся огоньки.

– Не надо будить мертвых, – сказал он. – Прощайте, Елизавета Александровна, и простите меня за мою жестокость...

– Прощайте, – тихо ответила она.

Хлопнула дверь, и она скрылась... Ехала грустная и убитая.

А он еще долго сидел один и думал о чем-то. Было жаль прошлого, и было радостно, что его уже нет...

«А может быть, воскресить? Нет, не нужно. Это прошло и превзойдено. Теперь он живет иным, и радость любви – ненужная роскошь. И так душа полна радостью творчества, перекатами своей силы и могучими аккордами разрушения и созидания. Она полна и горит. Иного огня не нужно... Не надо будить мертвецов», – решил он.

Часть четвертая

ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ

Глава 1

Был вечер... В кабинете Никуличева было тихо... В мягком свете лампы расплывались контуры предметов... Только резко белели острая борода и хищный нос Мефистофеля...

Ученый нервно ходил взад и вперед, из угла в угол... Подошел к столу, заглянул в повестки. «Нужно ехать на заседание. Нет, не поеду», – махнул он <рукой> и устало опустил в кресло...

Сидел и смотрел куда-то в угол. Рой мыслей кружился в голове. Прошло уже четыре года со времени выхода на улицу. Три года непрерывной борьбы, лихорадочной работы... Усилия дали желаемые результаты. Изобретение вошло в жизнь. Ряд государств ввели новые школы... В них обучаются уже сотни тысяч людей... Тюрьмы пустуют... Лава преступников из суда движется в лаборатории и через две-три недели выходит из нее. Как жернова поглощают зерна и выбрасывают измолотую муку, так и лаборатории поглощали людей, переделывали их и снова выпускали новыми, очищенными. Тысячи преступников спасены и вырваны из когтей преступности, мучений и страданий. Сколько писем и благодарностей посылаются ему каждый день! Умственный процесс ускоряется на глазах. Малые дети становятся мудрецами, невежды – разумными, обиженные судьбой – довольными... Грани между интеллигентными, обеспеченными классами и народом стираются... Ясный, всемогущий разум начинает воплощаться в жизнь.

Острый период борьбы прошел... Они победили... Привели в движение мир и преодолели инерцию. Теперь дело перешло в массы, в руки народа, городов, земств, парламента, наконец, самого государства. Тяжесть работы схлынула с плеч и с каждым днем становилась легче и легче... Инертный механизм приведен в движение, с каждым днем он увеличивает свою скорость, шире и шире раздвигаются его лапы, больше и больше захватывает он материала и, переварив в себе, выбрасывает, заменяя одних другими... Ворвавшись вихрем, он вызвал бурю в общественной жизни... Родилось движение, росло, отделилось от него и стало жить по своим собственным законам. Теперь его собственное значение ничтожно... Он может выйти из строя, и движение будет жить, развиваясь и входя в новые толщи жизни. Его дело сделано. Он становится излишним.

Это чувство ненужности чаще и чаще стало посещать ученого; оно росло по мере того, как падала острота борьбы, раньше заполнявшая дни и ночи... И вместе с этим чувством стали находить приступы не то скуки, не то утомле-

ния... Не волновали больше ни благодарственные письма, ни новые успехи его системы, ни всеобщее поклонение и уважение, ни вещая слава, гремевшая по миру и возведшая его в гении человечества...

Уважение и торжественность, с которыми встречали его во время последней научной поездки за границей, скорее утомляли, чем радовали. Пышные банкеты, устраиваемые в его честь, раздражали. Окончив дело, он торопился возвратиться под тихие своды своей лаборатории – свидетельницы его научного творчества и трепетного энтузиазма... И так, в ее пределах, он провел большую часть времени... Мир, шумный, сложный, суетный, утомлял его, раздражал и наводил пустоту...

Теперь и в лаборатории стало скучно... Был там и сегодня... Прошел, все осмотрел, принял отчеты и нашел все в порядке. Пущенная в ход и хорошо налаженная машина работала превосходно. Но не было уже прежней радости... Мир, созданный им, зажил своей жизнью и стал чужим, как выданная замуж дочь. Теперь он мог почить от дел, как почил Бог после создания мира... Что нужно, то доделает время...

И стало пусто в душе... Исчез какой-то огонь, ранее пылавший в ней и жегший все его существо...

А новые задачи? Ведь в его мозгу гнездится тысяча новых открытий, еще более смелых, еще более грандиозных?... Да... Гнездится... Но почему-то не хочется браться за их решение... Снова долгие утомительные искания... ошибки... сомнения... бессонные ночи... усталость... Нет... Не хочется... Не хватает каких-то дрожжей...

«Устал... обленился... и почитаю на лаврах...» – усмехнулся он самому себе... «А не закат ли? – пронеслась пугливая мысль. – Не исчерпал ли я самого себя и не пришла ли пора подавать в отставку?... Нет... Рано еще... Мозг свеж и силен... Голова еще немного <работает> ... Но почему же так скучно?»

И снова ходил по кабинету... Мысли, не сдерживаемые волей, разбежались и толклись без всякой системы.

Взгляд упал на статую Мефистофеля... Остановился... Посмотрел... Вспомнил трагедию Фауста... Пришли на ум слова:

Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin,
Und leider auch Theologie
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.
Da steh ich nun, ich armer Tor!
Und bin so klug als wie zuvor;
Heiße Magister, heiße Doktor gar
Und ziehe schon an die zehen Jahr
Herauf, herab und quer und krumm
Meine Schüler an der Nase herum –
Und sehe, daß wir nichts wissen können!^{124*}

Как и Фауст, могу я сказать:

Weh! steck ich in dem Kerker noch?
Verfluchtes dumpfes Mauerloch,
Wo selbst das liebe Himmelslicht
Trüb durch gemalte Scheiben bricht!
Beschränkt mit diesem Bücherhauf,
Den Würme nagen, Staub bedeckt,
Den bis ans hohe Gewölb hinauf
Ein angeraucht Papier umsteckt;
Mit Gläsern, Büchsen rings umstellt,
Mit Instrumenten vollgepfropft,
Urväter Hausrat drein gestopft –
Das ist deine Welt! das heißt eine Welt!
Und fragst du noch, warum dein Herz
Sich bang in deinem Busen klemmt?
Warum ein unerklärter Schmerz
Dir alle Lebensregung hemmt?
Statt der lebendigen Natur,
Da Gott die Menschen schuf hinein,
Umgibt in Rauch und Moder nur
Dich Tiergeripp und Totenbein^{125*}.

«Положение не тождественно, но похоже», – думал он дальше...

«Не в этом ли секрет?» – подумал он. Развернулась новая сеть мыслей.

«Я ведь, в сущности, не жил до сих пор», – сказал он себе. Жизнь была только там, в первые годы детства. Позже была одна работа. Великий мир с его чудесами исчез и превратился в материал, на котором он пробовал свои творческие силы... Мир сделался мастерской и... только, а он вычислял, исследовал и расчленял его. И мир, и людей... Он не помнит, чтобы когда-нибудь за долгие годы он просто любовался синевой вешнего неба, просто послушал аккорды рояля, просто наслаждался драмой или оперой или восхищенно созерцал красоту линий прекрасного женского лица... Нет. Этого не было... Всюду и везде были вычисления... Все было средством, все анализировалось, все изучалось... Мысль, приученная к работе, пользовалась каждым фактом, каждым случаем для эксперимента. И любовь, и детская улыбка, и плач возлюбленной, и крик отчаянья, и проклятье, и хохот – все было для него лишь формами механики поведения, простым объектом изучения. Их содержание, их внутренний смысл куда-то исчезали... Он забывал про это. Вся гамма мировой симфонии упрощалась и превращалась в комплекс рефлексов и актов...

Мир же как чудо он просмотрел, как забыл и самую жизнь... Из живого человека он стал машиной, которая творила великое, но, творя, поглощала голоса жизни без вкуса, без запаха и без переживаний...

Из тысячи жизненных дорог он выбрал одну и шел по ней, зажмурив глаза; шел, как лунатик, не видя ни солнечного луча, купающегося в море, ни радуги

цветов, ни чистой музыки жизни. Шел и шел по ней... Работал, боролся, уйдя от мира и утверждая свою личность... Пока цель была далеко, пока борьба была смертной, он жил, горел и действовал. Теперь цель достигнута, жар схватки пройден, что осталось достигнуть – придет само со временем... Дорога пройдена, и стало пусто.

И снова ходил по кабинету... Ходил и думал...

«Да, однобокая жизнь... Слепая жизнь». Что-то похожее на сожаление о безвозвратно погибшем зашевелилось в душе. Сколько было красоты – и она осталась незамеченной! Сколько цветов благоухало по его дороге, и его уста не прикоснулись к ним! Сколько чистых, восхищенных взглядов, зовущих улыбок кидали ему... и он прошел мимо, замкнутый и холодный!

Вспомнился образ милой молодой девушки с целомудренными глазами, чистой улыбкой, прекрасной, как само детство... Она была у него. Она поклонялась ему и, полная воли, отдавала ему жизнь и все существо... И он не принял ее любви. Холодный, неуязвимый, он прошел мимо и предложил ей вылечить ее от ненужной страсти... Он не сумел оценить бесконечную красоту ее порыва... Увидел в нем лишь «рефлекс» и предложил ей заменить его иным, более удобным, не мешающим работать и спокойно жить...

Вспомнились десятки других лиц, столь же прекрасных, звавших его к себе, заманчиво улыбавшихся, целомудренно красневших от любви к нему... и все они прошли, не получив от него ничего, кроме равнодушного или насмешливого взгляда... Холодный, как статуя, он проходил мимо них. И замораживал страсти, гасил порывы и давил чувства. Встало бледное матовое лицо Кирсановой... Вот и эта трагически-прекрасная вакханка. Ни разу не ответил он загоревшимся взглядом на ее призывные взоры, ни разу не сказал ей ничего, кроме сухих, как стук дерева о дерево, слов... Холодные слова и кривая усмешка были ответом на все ее зовы и все ее стремления.

«Слепой фанатик! – прошептал он и сел в кресло. – Что же несешь ты в своем жизненном багаже? Только капитал живых впечатлений детства и неудачную любовь юности... Больше нет ничего... Все остальное только “рефлексы”. Они все поглотили, все вытеснили и все обесценили...

На них ты променял всю бесконечность жизни, замуровал себя в раковину науки и... окаменел в ней...»

«Живой труп», – прошептал он снова.

«Да. Ты прав, великий искуситель, – думал он, обращаясь к Мефистофелю...

Ein Kerl der spekuliert,
Ist wie ein Tier auf duerrer Heide
Von einem boesen Geist im Kreis herumgefuehrt
Und rings umher liegt schoene gruene Weide^{126*}.

Так было и так будет.

Что же делать?.. Воротить потерянное?.. Не поздно ли? Многие еще не ушло... Многие еще возможно...»

И может быть, на мой закат печальный,
Блеснет любовь улыбкою прощальной...^{127*}

– вспомнились почему-то слова...

Не сказать ли и мне, как Фаусту:

Laß in den Tiefen der Sinnlichkeit
Uns glühende Leidenschaften stillen!^{128*}

Und was der ganzen Menschheit zugeteilt ist,
Will ich in meinem innern Selbst genießen,
Mit meinem Geist das Höchste und Tiefste greifen,
Ihr Wohl und Weh auf meinen Busen häufen,
Und so mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern,
Und, wie sie selbst, am End auch ich zerscheitern!^{129*}

По-прежнему было тихо в кабинете... Дремали книжные шкафы... Недвижно лежали кипы бумаг... Казалось, все умерло... И жизнь ушла отсюда... Ученый недвижно сидел в кресле. Как будто спал или умер...

Вскочил... Подошел к телефону и нажал кнопку...

– Мария Николаевна, это вы?.. Отгадайте?.. Никуличев... Не удивляйтесь и простите, что я звоню вам... Почему? Просто захотелось услышать ваш голос и повидать вас... Можно приехать к вам? Не надеетесь?.. Ну, так с вашего позволения я через три часа буду у вас... Не радуйтесь... Я ведь очень скучный... А сегодня вдобавок и злой... Да... да... Отлично... Спасибо... До свидания...

Бросил трубку и усмехнулся. Провел рукой по статуе Мефистофеля...

– Почтенный дьявол! Дай мне твою руку и веди меня в грот Венеры и на шабаш ведьм. Пустимся в путь! Попробуем, что из этого выйдет. Говорят: «Лучше поздно, чем никогда...»

Позвонил.

– Попросите доктора...

Через несколько минут явился Колыбин.

– Вижу, ты идешь с докладом, – встретил Никуличев друга. – Доклада не будет... Вместо него садись и выслушай мой доклад... Дело в том, что я хочу у вас взять отпуск, быть может, временный, а быть может, и до смерти, – начал ученый и изложил откровенно свои переживания и настроение.

– Ты согласишься со мной, – продолжал он, – что я теперь лишний и не нужен. Вы все справитесь и без меня. До сих пор я работал, теперь хочу пожить... Просто пожить. Почивать на лаврах и поискать свою Маргариту... Ты понял меня?..

Колыбин внимательно слушал...

– Да, я понимаю тебя, Дмитрий. Ты прав: до сих пор ты работал, а не жил... Я – жил, у меня была Лена, есть любовь, есть жизнь... Я чаще тебя отдыхал. Ты же за все время работы отдохнул лишь раз и, конечно, имеешь право на жизнь и на отдых. Что же, иди! Получай отпуск! Едва ли долго ты будешь пользоваться им, думаю я. Наверно, вернешься скоро обратно. Но это увидим потом, а пока иди. С делом мы справимся...

– Какой ты умница, – пожал Никуличев руку доктору. – Великолепно... Отныне меня не беспокойте... Только уж в крайнем случае ты вызовешь меня. Ты становишься на мое место. И позволь теперь же передать тебе все дела. Итак, с сегодняшнего вечера я свободен.

Окончился полдень жизни одного человека...

Глава 2

Автомобиль быстро катил по улицам. Новые, необычные мысли и чувства кружились в голове Никуличева... Какой-то голос шептал:

– Вот так ученый! Что, надоела, небось, наука? А? Захотелось пожить, небось? Захотелось любви? Женщины? Тэк-с, господин ученый, – ехидничал голос. – А не вспомните ли вы, что изволили говорить когда-то о том, что наука делает все остальное ненужным. А? Не объясните ли также, господин изобретатель, где ваш ключ для отпираания и запираания человеческих душ? Почему вы его не используете? Уж не потеряли ли, грехом? Или же вам жаль этих чувств и переживаний и вы не хотите вырывать их из души?..

Ай-ай-ай, господин ученый! Немножко, поди, стыдно вам теперь. Вот так знаменитость, вот так ученый, вот так трибун! Вот так механик человеческих душ! Поехал к бабе, к всемирной блуднице, зачем, а? Извольте-ка сказать, зачем? Как в песне – «все на бабу променял»^{130*} ...

– Хе-хе-хе! Ведомо зачем... Пользоваться остатками княжеской и капиталистической игрушки... – цинично продолжал тот же голос... – Ай- ай- ай! Немножечко покраснели, господин ученый?

– Чепуха все это, – возражал ему другой голос. – Ну, и поехал... Что ж в этом плохого? Ведь не считаю же я себя аскетом, которому запрещено прикасаться к женскому телу?.. Ни с моральной, ни с рациональной точки зрения нет здесь ничего предосудительного... Поехал и поехал. Глуп был, что до сих пор жил анахоретом^{131*}.

– А все же как-то не идет это к вам, господин изобретатель... Нарушает стиль... цельность типа...

– Ну и пусть нарушает... А ну тебя к черту! – пробормотал он неведомо кому...

Вспыхивало любопытство... Как она встретит? Что будет делать? Как вести себя? И как он сам должен вести себя?..

Автомобиль остановился у роскошного особняка...

Ученый сошел и позвонил. Дверь бесшумно раскрылась, и швейцар почтительно снял свою фуражку...

Кирсанова ждала его в своем маленьком интимном будуаре...

– Не ожидала, что великий ученый и каменный человек осчастливит свою рабу посещением, – шутливо встретила она входящего и с протянутыми вперед руками рабски поклонилась...

– Не ожидал, что мировая знаменитость так неискренно встретит скромного человека в своем жилище, – в тон ей ответил Никуличев.

– В таком случае садитесь, – мило сказала артистка, – и рассказывайте о себе и своих изобретениях...

– Скучно, Мария Николаевна...

– Мне не скучно... Скажите, вы правда эскимос, а? Мне сказали, что вы эскимос и каменный человек. Правда, а? Ведь это так экзотично, так необычно. И вид ваш, и работы, и происхождение, и жизнь – все удивительно... Правда все это?

– Не знаю, неинтересно...

– У-у... какой угрюмый бука! – по-детски протянула артистка. – Не будьте же таким букой и расскажите мне что-нибудь о ваших делах и о себе. Мне это очень, очень интересно. Ну-у? – близко наклонившись к нему и легонько ударив его по руке, сказала она.

– Бросим это, Мария Николаевна... Все, что было, то прошло. Я развелся с наукой, покончил с ней, и... потому не будем говорить об этом...

– То есть как это?

– То есть так это.

– Как так?

– Да так...

– Не понимаю ничего...

– И не надо понимать. Не надо... Мне вот нравится ваша рука... Дайте мне ее...

Маленькая нежная ручка тихо легла на его руку.

– Подойдите ко мне, зажгите все огни и дайте мне ближе взглянуть на вас...

Кирсанова смущенно повиновалась...

Никуличев встал, отошел и впился глазами в фигуру артистки...

– Да, да, прекрасно, – бормотал он, любуясь ею.

Подошел близко-близко... Лицом к лицу... Молча подошел, немного запрокинул ей голову, поддерживая ее рукой, молча же впился глазами в ее лицо, глаза, губы, в волосы и в дивную шею... И стоял так, и любовался...

– Какой вы странный, – шепнула артистка...

– Подождите... молчите и не говорите...

И снова смотрел, казалось, долго, целую вечность, затем тихо поднял ее и бережно усадил в кресло, а сам сел в углу и закрыл лицо руками...

– Дмитрий Николаевич, что с вами? – искренним и задушевым тоном спросила артистка. – Скажите же, Бога ради, что с вами? – ласково поглаживая голову, говорила она. – Вам нехорошо? – Пыталась отнять его руки. – Ну, взгляните же на меня, – тихо молила она.

Руки упали, и глаза артистки встретились с новыми, детскими глазами, блестящими не то от восторга, не то от слез... Встретились и потонули в них...

Взгляды глубже и глубже проникали друг в друга... Каждый, казалось, пил душу другого... Протянулась незримая нить... крепла, сильнее связывала их и взаимно притягивала...

Одна душа проникала в другую...

Ближе и ближе становились лица, и ... губы их встретились. Тихая дрожь пробежала по телу Никуличева, передалась Кирсановой, и два существа затрепетали тихим трепетом весенних тополей...

Сплелись руки... Тихий трепет сменился бурными взрывами... Они рождались в одном, ...ударялись в другое «я»... и, отразившись, снова возвращались к первому. Загорелись молнии страсти и зажгли два тела и две души...

* * *

– Это и есть любовь? – задавал себе вопрос Никуличев, сидя в автомобиле.

И опять какой-то ироничный голос шептал ему:

– Ну что, изволите быть довольным? Вкусили, узнали-с, что такое любовь? Одержали победу-с... А? Что скажете, господин ученый? Не слишком ли быстро вы изволили влюбиться? Не похожи ли вы – ну, маленечко – на тех, кто, выйдя на улицу, покупает первую встречную и идет с ней спать? Раньше когда-то вы иначе понимали любовь. А теперь – хе-хе-хе... Просто – пришли к незнакомой женщине, побыли, проделали, что нужно, и... уехали-с. И познали любовь? Хе-хе-хе! Просто, очень просто, господин ученый... Рефлекс, простой половой рефлекс, с определенными эмоциями и акциями. Эх, изобретатель! Стоило ли из-за этого бросать науку.

Другой голос перебивал его:

– Пережитое – дороже годов... Чувства – святы... Они сами возникли. Разве не дивными были линии лица, когда ты созерцал их? Разве не бесконечность таилась в ее глазах и разве не чудом было прикосновение ее тела и ее ответные порывы?

– Продолжайте мотивировать, продолжайте, – шептал первый голос. – Нельзя-с без мотивировки... Всякая нелепость мотивируется. А вот что скажете

вы насчет механики поведения?.. Замочек ваш, должно быть, поиспортился или ключик от него изволили потерять-с? Механики как будто и нет-с...

Автомобиль быстро мчался. Голоса спорили. Никуличев слушал их... И колебался: ключ был в его распоряжении. От него зависело, настроить ли себя по-прежнему или продолжать это «разгульное» настроение. Многое говорило за первое. Но было жаль «возможности ощущений».

«Подождем еще. Посмотрим и поиспытает», – решил он...

Приехав к себе, он разделся и лег.

* * *

Началась новая жизнь... Дело, система, лаборатория – все было забыто и покинуто. Заведенная машина работала, но без него и вне его. Согласно уговору его никто не беспокоил. Никуличев был вполне свободен... Ироничный голос продолжал шептать свои мысли после каждого визита к Кирсановой, но... протест его оставался бесплодным... Свидания с ней продолжались. Они вместе посещали театры, концерты. С ней и без нее он стал появляться в салонах. Всюду встречали его с любопытством и уважением. Он делался сразу центром внимания. Почтенные люди, и особенно дамы, сразу же забрасывали его сотней вопросов об изобретении, но он отшучивался и категорически отказывался вести беседу на эту тему. И не только на эту, но вообще избегал серьезных разговоров... Прямо или непрямо беседы переводил на легкие, легкомысленные темы, каламбурил, отшучивался. Одни уходили разочарованными – совсем не таким представляли они изобретателя и социального реформатора. Другие принимали это за каприз и чудачество и легко мирились. Третьи радовались, видя простого, милого повесу там, где ожидали найти напыщенного жреца.

Мимо проходили сотни людей... Тревожно следили его глаза за женскими лицами... искали они кого-то, давно ожидаемого, давно желанного. И все не находили... Кирсанову он любил... Но «это было не то». Хотелось чего-то иного... Чего-то похожего на то, что снилось в дни юности, глубокого, вечного и неотвратимого. Грезилась любовь, берущая все и отдающая все... Захватывающая все существо – целиком, без остатка...

И ее не было. Временами казалось: вот она – *Lumen coeli, Sancta Rosa!*^{132*} – неизбывная, предреченная... Завязывалось знакомство; начинался флирт, иногда связь, но каждый раз, очнувшись от страсти, наедине с собой он снова говорил: «Не то, не то и еще раз не то». Число встреч и число связей росло, а прекрасная надежда становилась бледнее, уходила дальше, умирала. И с горечью повторял он: «Рефлекс, все рефлекс, рефлекс мстит за себя». Было пусто и было нудно на душе.

Тоска и скука не покидали ее...

Ездил на курорты... Предпринимал путешествия, перебивал в столицах мира, посещал красивые места... слушал знаменитых певцов и музыкантов. По дороге – влюблялся и влюблял... Временами чувствовал всю красоту виденного, моментами жил остро, пламенно, дрожал от трепета жизни, превращался в отзывчивую натянутую струну, всем существом отвечающую на каждое прикосновение смычка жизни...

Но проходил момент, и его место занимала монотонная бесцельная канитель, или мерцание, как он сам называл его. «Жизнь без веревочки», «кружение по воле ветра». Надоедало одно место – он ехал в другое, снова возвращался к себе и снова ужасался...

Связь с Кирсановой продолжалась... Он любил ее так, как мог любить. Это была не чисто половая связь, нет. Он временами, как и в первый раз, доходил до экстаза, потрясавшего все его тело в созерцании ее образа и ее пластики... Часто казался, благодаря этому, странным и непонятным ей, привыкшей и знавшей иных мужчин.

– Какой ты странный... Ты какой-то непохожий на остальных, – часто, лаская его, говорила она. – И глаза у тебя иные, и весь ты – иной, – целуя его, прибавляла она и долго-долго смотрела в его глаза, тонула в них и забывала все. – А все же ты хороший. Лучший, удивительный, – добавляла она.

– Не очень хорош, но не хуже других, – добродушно отвечал он в минуты покоя. – Перестал быть праведником, но и не стал погибшим грешником. А впрочем, – тревожно добавлял он, – быть может, и погиб... быть может, – нервно вороша волосы, повторял он... и задумывался...

– Какой-то непонятный ты. Но... это хорошо... Все остальные понятны и потому неинтересны. А ты вот сковал меня. Мне теперь не хочется и глядеть ни на кого. Не хочется. Всюду ты. Один ты, плохой, непостоянный, ветреный мальчишка. Испорченный, – мило упрекала она. – Жестокий, не жалеешь меня... Я ведь мучаюсь от того, что ты мой и не мой... Мне больно, Димитрий! – И глубокая грусть звучала в ее словах...

– Не надо, любимая. Не надо. Я и сам знаю, что я плохой, ветреный. Но что ж с этим поделать?... В этом и твоя, и моя беда... Как бы я и сам хотел видеть всюду тебя, одну тебя, – устремив вдаль глаза, говорил он. – Но... «судьба не велит»... Или, быть может, я сам не велю себе.

И так проходили дни за днями. Скитания «нового Фауста», как он сам называл себя, продолжались. Одна Маргарита сменялась другой, но не было единственной. И нередко в тиши кабинета он подолгу смотрел на Мефистофеля и думал о вечной трагедии души человеческой. Полугрустная улыбка с оттенком привычной иронии нередко застывала на его губах... Временами появлялось желание порвать с этим исканием, бросить «канитель», завести себя на старый лад и возвратиться снова к забытому делу жизни, теперь странно отдалившемуся

от него и жившему своей жизнью... «Как полип, отработал и ушел... Меня уж нет, а дело застыло, стало раковиной и живет своею жизнью», – думал он... Хотелось временами возвратиться к прошлому, но что-то удерживало, что-то мешало...

– Инерция! Инерция! И привычный рефлекс! – усмехался он...

И когда после таких минут попадал к людям, язык его был остр и безжалостен... Если не он сам, то другие чувствовали это на себе... «Живой сарказм», – кто-то прозвал его за это...

Глава 3

Два раза в год у писательницы Миловидовой собирался весь лево-либеральный Петроград... Адвокаты, политические деятели, ученые, публицисты, артисты, художники, музыканты и беллетристы – таковы были обычные гости Надежды Васильевны. И редко кто пропускал эти вечера. Тянули туда и сама хозяйка, милая старушка с политическим прошлым, всегда прямая и искренняя, и интересный состав гостей, и главное – полная свобода и непринужденность: каждый делал что угодно. Одни засаживались за бутылки с вином, другие флиртовали, артисты и артистки пели и декламировали, писатели читали свои произведения – короче, каждый занимался тем, что ему нравилось...

Не раз и раньше Надежда Васильевна приглашала Никуличева. Но во время работы – он благодарил и отказывался: «Некогда, Надежда Васильевна. Дел много... Живу затворником и не бываю нигде...»

Сегодня он поехал к Миловидовой... «Не все ли равно, как убивать время».

Было уже много народу, когда он приехал... Появление великого ученого было встречено общим вниманием. Добрая Надежда Васильевна даже расцеловала его...

– Ну, какой же вы милый. Спасибо, что заехали, – пожимая руку, говорила она...

Знакомые подходили, здоровались и обменивались короткими репликами...

– Пожалуйте в столовую... Если хотите чаю – дадут чаю, если вина – дадут вина, – хлопотала «милая бабушка».

– Уж лучше вина.

– А я слышала, что вы не пьете ничего винного...

– Теперь все пью... Стал пьяницей, – шутливо ответил ученый, проходя в столовую...

В большой столовой было шумно... Табачный дым плавал в воздухе, смешиваясь с парами самовара... В углу расположилась компания «винной партии»... В центре за чайным столом сидели «трезвенники» и дамы...

Мило и радушно встретили вошедшего...

– Вы к «пьяным» или «трезвым»? – здороваясь, шутливо спросил его профессор Заваров.

– Дайте сначала поздороваться... и налейте рюмку коньяка.

– А, и вы здесь, – радостно поздоровался он с Воеводской. – Вот хорошо-то...

– Я всегда здесь бываю, – смущенно протянула она руку.

– Вы позволите сесть рядом с вами?

– Буду рада...

– Рюмка налита, Дмитрий Николаевич, – обратился к нему Заваров.

– Сейчас... Теперь отвечаю на Ваш вопрос... Я занимаю среднюю позицию: от пьяных беру пьяное и иду с пьяным к трезвому столу. Дайте мне коньяк и бутылку вина, – рассмеялся Никуличев.

– Недурно, однако... Вы избрали благую часть... Господа! Мы впервые видим на этих вечерах великого ученого... Выпьем за его здоровье, – расхотелся подвыпивший Заваров.

Единодушное «ура» было ответом... Наполнились стаканы и зазвенели, удаляясь друг о друга...

– Налейте и мне, Дмитрий Николаевич. И я хочу выпить за вас, – протянула ему стакан Воеводская.

– Спасибо...

Чокнулись.

– Я сегодня буду много пить, – наполняя снова стакан, обратился он к своей соседке. – У меня ведь отец был алкоголиком. А вы не хотите?

– Идет, – тряхнув головой, сказала Елизавета Александровна. Лучистый свет вспыхнул в серо-голубых глазах... Румянец заиграл на нежной, еще свежей коже лица... – Теперь расскажите, какими новыми открытиями собираетесь вы облагодетельствовать человечество?..

– Никакими... – снова наполняя стаканы, проговорил ученый. – Я расстался с наукой, с работой... – возбужденно продолжал он. – Брожу по свету и ищу Маргариту... Вы плохо пьете...

– Не поверю... этого быть не может...

– Ну, так верьте. Чего же вы хотите? Поработал... довольно... Надо же и мне отдохнуть... И мне пожить хочется... Ну, и живу... скитаюсь... влюбляюсь... Вот и в вас сейчас влюбился... У вас сегодня красивые глаза и улыбка красивая... Можно? Муж не будет ревновать? – падали слова... не то серьезные... не то шуточные...

– Можно... Мужа нет здесь, – в тон ему ответила собеседница. Тайно вздохнула... – Однако перестанем шутить. Я недавно читала в газетах, что вы сейчас всецело погружены в работу над каким-то новым проектом организации государства...

– Ха-ха-ха... – весело расхохотался Никуличев. – Одна из маленьких ироний... Раньше, в годы серьезной и трудной работы, никто не отмечал, чем я занят... А теперь? Если судить по газетам, то я бываю на всех научных заседаниях,

в комиссиях, на публичных банкетах и т.д. Так уж полагается... Я еду на любовное свидание – а пишут, что я производил какой-то сложный опыт над такой-то, болтаюсь по салонам – а пишут, что я занят изучением «салонной формы психического общения». Скука погнала меня на заграничные курорты – а в газетах написали, что я отбыл за границу на какой-то важный конгресс... Вот теперь сижу и пьянствую, а завтра, пожалуй, отметят, что я занимался изучением винных эмоций... – продолжая хохотать, иронизировал он. – Ничего не поделаешь... Такова уж привилегия «великих». По мнению газетных репортеров, наше сморканье и то, вероятно, не простое сморканье, а изучение какой-нибудь сморкательной эмоции. Дурачье! – опоражнивая стакан, произнес он. – Вы плохо пьете... Я хочу, чтобы вы сегодня пили, как и я... Будемте вместе пить... Хотите, да? – остро взглянул он в глаза Воеводской... – Да? – коснулся он ее руки.

Ветерок радости пронесся по лицу княгини... Взгляд стал лучистым, влажным...

– Хочу ли? Конечно, хочу... Я и так уж, кажется, пьяна... – рука ее дрожала. Ответила тайным пожатием на его прикосновение...

– Ищете Маргариту? Что же, нашли? И какова должна быть она?

– Ищу... Маргариту, которую когда-то звали Лизой... Где-то в прошлом я потерял ее. И вот ищу... пока не нашел... Быть может, найду сегодня... Как вы думаете? – взволнованно спросил он.

– Не знаю... Хотела бы, чтобы нашли...

Грустные аккорды рояля мягко пролетели по столовой.

– Тише... тише... Зоя Павловна хочет петь... – пронеслось по комнате.

Стало тихо...

«Не иску-ш-а-й меня-я без ну-у-жды»^{133*}, – запел мягкий чуткий голос.

Звуки плыли... чистые... грустные... Грустила чья-то уставшая, опустошенная душа... Искала и рвалась к вечной, живой любви... глубокой и неизбывной... порыв взлетал и... ник... Не было любви... Не звучали чуткие струны... Оборванные, треснувшие, они лишь жалобно скрипели, как ржавые петли. «Уж я-я не верю в уверенья... Уж я не верую в любовь...» – горько и откровенно жаловался кто-то.

В душе моей одно волненье,
А не любовь, а не любовь пробудишь ты, –

безнадежно шептали чьи-то уста...

Опустив голову и поддерживая ее руками, застыл Никуличев. Глаза были закрыты. Казалось, он забыл обо всем и не видел ничего...

Звуки замерли, а он все еще сидел в той же позе и молчал.

– Димитрий Николаевич! – тихо-тихо позвала его Воеводская... Глаза, полные печали и какой-то волнующей мягкости, ответили на ее призыв.

– Слышали?.. Неужели это правда?.. Неужели?.. – вылетали слова...

– Нет... Я еду, – вдруг встал он. – Еду... Хотите со мной? Поедемте, – схватил он ее руку... Что-то безудержное, стихийное охватило его и передалось ей...

– Едем... Хочу...

Не прощаясь, они вышли и сели в автомобиль...

– Ведь это вас искал и ищу я... Вас, вас, дорогая Лиза... потерянную... единую... неизбежную...

Колдовали горячие слова... Рука коснулась руки... Близко склонились лица, и губы слились в поцелуе, в трепетном поцелуе связанных душ, скованных изначально и оторванных друг от друга... Коснулись друг друга тосковавшие души, вспыхнули жадной слияния и слились в единое целое...

Было одно дыхание, в такт ударяли два сердца, в один ритм пульсировала кровь, сплелись руки, свились два тела и тысячами нитей обвивали их взгляды. Лучи их уходили в глубь сердца, пронизывали тело, выходили наружу и вились вокруг двух существ, как хмель вокруг двух рядом стоящих шестов...

Автомобиль остановился... В безумном опьянении они вошли к Никуличеву и снова бросились друг к другу...

Падали срываемые одежды. Как чуткие, натянутые струны, дрожали тела... До боли томила безумная жажда слияния... Горячее дыхание обжигало губы, огнем страсти краснели они, а глаза жадно манили друг друга...

Покровы пали... И неизбежное совершилось...

* * *

– Одевайся и уходи!.. Уходи скорее! – почти злобно крикнул он ей...

Она лежала, еще полная сладкого томления, еще не остывшая от пожара страсти, бело-розовая, ароматно-истомная. Волна бело-русых волос раскинулась на белой подушке, змеилась на простыне и льнула к счастливому телу...

– Что ты, что с тобой, Димитрий? – пугливо подняла она голову... В глазах еще витали сладкие грезы... Не улетело еще счастье с губ...

– Ничего... – подошел он к ней.

Запрокинув голову, смотрела она на него снизу вверх... Холодные, острые глаза, как лучи прожектора, пронизывали ее, скользили по ее телу, щупали его, кололи остриями своих взглядов...

Перед ней был чужой, новый человек... Стало стыдно. Поспешно набросила рубашку...

– Что с тобой? – снова вырвалось из ее губ...

– Что со мной? Ничего. – Криво усмехнулся он. – Ничего. Маленькая ошибка вышла... и только... Ошибочка... Я был пьян... и вы были пьяны... Я подумал, что встретил Лизу... ее... свою Маргариту... Вы пошли на призыв... Вышло гре-

хопадение... А Лизы нет... Лежит на моей постели интересная дама... жантиль-ная^{134*} ... отличная любовница... княгиня...

– Вот как, – возмущенно вырвалось у нее. – Так, значит, ты издевался надо мной?..

– Нет... Я ошибся... и только... Чужую жену принял за мою Лизу...

– Дмитрий?! – с отчаянием крикнула она... – Что с тобой, чем тебя я оскорбила? За что ты так мучишь меня?..

– Ничем... Прости меня за грубость, – вдруг мягко сказал он... – Просто судьба подшутила над нами... Что-то ушло невозвратно... Не воротишь... Не сердись на меня... Я хотел невозможного... У меня была Лиза, моя Маргарита, святая Беатриче. До сих пор она была чиста и прекрасна... Теперь мы загрязнили ее... Мне кажется теперь, что Лиза – это ты, чужая жена, моя любовница, бесстыдно лежащая на моей кровати... Ты понимаешь меня, да? Два часа тому назад я потерял Лизу, мою Лизу и получил вместо нее прелестную любовницу...

Слезы тихо капали из глаз Воеводской... Закрыв лицо руками, съезжившись, сидела она на кровати, жалкая... бледная... Смешно дрожали ее голые ноги...

А слова падали...

– Без вины, без злого желания... ты второй раз разорила меня. Второй раз ограбила мою душу. В первый раз тогда... давно... когда ушла к Воеводскому. Помнишь? Второй раз... теперь... У меня была моя Лиза, мною созданная, взлеянная, обвешанная долгими грезами. Теперь ее нет больше... Странно... но я не могу оторвать ее от тебя. Кажется, моя прекрасная Беатриче вдруг воплотилась в тебе, в прелестной княгине Воеводской... Прекрасная Дульсинея Тобосская вдруг стала девицей из Тобосо... И нет Дульсинеи... и нет Лизы... И теперь уже не будет... Не будет... – как бы про себя проговорил он. – Не сердитесь, Елизавета Александровна... Знаю, вы не виноваты... И не виню вас... Простите и вы меня... Я тоже не виноват... Каждому больно, когда его грабят и отнимают самое ценное... Простите... и уходите... Повторять ошибки не будем... Одно волнение крови – не очень ценно, а любви нет и не будет... Ну, прощайте... и теперь уж навсегда. Автомобиль доведет вас...

Чужие руки холодно коснулись друг друга, и Воеводская ушла...

– Нет больше Лизы... Нет ее... И не будет... – тихо шептали губы ученого. – И нечего искать ее... Безнадежно...

В полусумраке по-прежнему криво улыбалась маска Мефистофеля... Кажалось, она смеется над ним... великим ученым... великим реформатором, детски бессильным и наивно тоскующим по какой-то воображаемой Лизе...

С другой стороны спокойно глядело лицо Леонардо... Ясное... безмятежное, как тихая река... Его глаза, казалось, говорили: «Полно, безумный, метаться. Законы необходимости непреодолимы... Мир страстей только ранит и только воспалаляет и не утоляет жажды. Ты родился для тихого творчества... Шумный мир и

жизнь – не для тебя. Ты выше его... уйди... Оставь мирское миру и иди на свою гору. Пусть мир волнуется под твоими ногами. Буди и волнуй его ты сам... Но не спускайся к нему, а поднимай его...»

Взгляд снова упал на Мефистофеля... Остро пронизала душу кривая усмешка... Как ножом, провела по сердцу и задела какие-то тайные струны...

Вскочил, схватил тяжелое пресс-папье и ударил им в статую... С сухим треском разлетелась смеющаяся маска. Белые обломки неслышно пали на ковер... «Видел? – кому-то сказал ученый... – Довольно!»

Глава 4

На другой день ученый неожиданно уехал на родину. «Давно не бывал я там, почти с юношеских лет... Хочется снова повидать когда-то дорогие места. Подышать воздухом детства, окунуться в душу бесконечных лесов и воскресить забытое прошлое... Снова пережить давно ушедшие годы, посетить забытые могилы близких и набраться сил перед новым удалением на гору... Милые, забытые места! К вам снова возвращается ваш сын, уставший от странствий и бесплодных исканий. Снова приходит он, с раной в душе и с тоской в сердце... Примите и исцелите его, как исцеляли когда-то, в минувшие годы».

Перед отъездом он вызвал Колыбина...

Друзья радостно встретились и сердечно поцеловались.

– Расскажи, как живете и что нового в лаборатории? – обратился Никуличев к Колыбину...

Последний кратко передал ход дела со времени удаления ученого...

– Спасибо, Иван, – крепко пожимая руку, взволнованно ответил ученый... – Спасибо, милый друг... Я сегодня еду на родину... Хотелось тебя повидать. Кажется, отпуск мой скоро кончится, и я снова вернусь к вам. Примете? – грустно спросил он.

– Хвала Создателю! – растроганно ответил Колыбин. – Я так и знал... Не знал только, скоро ли ты вернешься... Скоро, скоро приелась тебе воля... Ну и ладно... Вот-то обрадую сегодня всех наших... Вот-то будет веселье! – детски радовался доктор. – Сегодня пировать не будем, а когда вернешься – устроим такой праздник, что самим чертям будет тошно!..

– Если нужно будет – телеграфируй. Вот адрес, – на прощанье сказал ученый.

* * *

Через три дня он был на родине, в местах, по которым кочевал когда-то в детстве. Была ясная, прозрачная северная осень... В чистом воздухе таяли позолоченные деревья... Ярко светило солнце... Не жгло, не палило оно... Не было

буйного, удушливого зноя... Парил бодрый тихий свет на умирающей земле... Тихое золото горело на небе и падало на землю... И земля молилась... Нежно грустила, как красавица-женщина при первых признаках увядания...

Как многое изменилось с тех пор... Маленький кустик березы, когда-то посаженный им, стал высокой кудрявой красавицей – прямой, белоствольной, утопающей в небе... На берегу когда-то была избушка... Теперь ее нет... Река оборвала берег, снесла избушку и слилась с озером, в котором когда-то купался он вместе со своими приятелями... Выросли и знакомые... Многих уж нет... Мальчишки стали степенными бородачами, девушки – почти старухами... Выросли уж их дети... Побывали в открытой им школе, где строили теперь новую культуру и новый быт... Многое исчезло... Много выросло нового... Жизнь ушла далеко вперед и с каждым днем неслась дальше и дальше...

Поредели леса... Помутнели чистые реки... Стальные рельсы прорезали болота, прошли через боры, перекинулись через речки, и пыхтящий паровоз резким свистом пугает теперь мирно пасущихся лошадей и коров... Не стало медведей и волков в лесах... Испугались они новых людей и ушли куда-то туда, к берегам холодного океана... Дымная лучина заменилась электричеством и керосином, большие неуклюжие избы – изящными, игрушечными домиками... Вымерли старые сказочники, седые охотники, ходившие один на один на крепколапых медведей. Не услышишь больше их мерной спокойной речи, их дивных поэм про леших и водяных, про Майбыра и Йома-баба^{135*}... Не раздастся аккорд тягучей, переливчатой песни, бесконечной, как леса, извивающейся, как северные реки...

«Да, да... все меняется... все идет вперед... непрестанно, неуклонно. Жизнь торжествует... рушит одно и созидает другое...» – думал ученый.

Он сидел на скамейке у старой церкви, на высоком обрывистом берегу широкой реки... Необъятный простор лежал перед ним... Широкой темно-синей лентой раскинулась река и слилась где-то далеко с небом... За ней зеленели скошенные темные луга... Темными пятнами чернели на них недавно набросанные копны и зароды^{136*} сена. Дальше тянулся лес... а за ним голубело нежной синевой прозрачное небо... Было легко и покойно... Свободно дышала грудь, просторы ласкали глаза, и золото солнца тихо волновало душу сладкою, невыразимой грустью...

Рядом с ним, тут, на кладбище, лежит его бедный отец... После многих, многих лет скиталец-сын пришел к нему, нашел его и поклонился ему.

– Хорошо... – шептали его губы.

Тихо волнующий покой снова сошел в его душу... Она грустила о чем-то, но грустила светло, бодро, как и сама великая земля...

– Бледные листья осени... Желтые, красные листья... Чутко трепещете вы, чутко дрожите и, оторвавшись, тихо падаете на засыпающую землю... Небо, холодное, голубое, смотрит и не улыбнется... Только порой тускнеет оно от дыха-

ния тихой печали и плачет... и плачет осенними слезами, плачет, как и ты, мое сердце!..

О чем же плачешь ты, мое сердце? О чем грустишь? Отчего трепещешь, как и эти желтые листья осенних деревьев?

Тебе жаль весны, и ты радуешься осени... Прошли бурные ликующие дни расцвета, прошли и не вернуться. Полно, сердце! Разве не ясно небо? Разве не чист воздух? И разве не веет свежим холодком отдыхающей жизни? Отдохни и ты. Будь лазурно – как небо. Будь спокойно, как небо, и чисто – как небо. Полдень прошел, но закат еще далек. Не жарко и не холодно, а бодро... Смотри – река тихо горит... Смотри, как резки тени вечнозеленых сосен... Будь зеленой сосной, вечно ровной, холодной и вечно зеленой!..

– Жизнь прекрасна, – шептали губы...

Долго сидел он на скамейке... Загорелись уже закатные лучи солнца, когда прибежал к нему мальчик и подал ему телеграмму.

«Если хочешь и можешь – приезжай... Ты нужен. Привет от всех. Целую. Иван», – гласили черные буквы.

Как кстати! На днях он и сам хотел вернуться снова туда... Кончилась скука... кончилось бесплодное скитание... Родные равнины исцелили все раны. И теперь его душа снова свежа, мысли ясны, воля тверда... Тихий свет заоблачной высоты горит в ней и теперь уж не погаснет...

Итак, снова туда, на гору... На вышку мира, откуда он видит и знает весь мир, а он никому не виден. Откуда он снова будет бросать молнии, зажигающие битвы, невидимый, незримый и чуждый минутных волнений жизни... Итак, снова за работу... за творчество...

Мягкая улыбка обвевала губы, и грустно смотрели спокойные глаза на широкие просторы...

Глава 5

С той же мягкой улыбкой и грустными глазами вошел ученый в белое здание...

Живая радость светилась в глазах всех обитателей лаборатории. Великий творец снова возвращался в свой храм. В строй работников снова входила главная сила, временно выбывшая из него...

– Ну, рассказывай, в чем дело, – обратился он к Колыбину, когда очутились они в кабинете.

– Дело невеселое... Вот, прочти, – подавая ему газету, проговорил он.

Подчеркнутая синим карандашом статья «Знаменательное преступление» гласила:

«На днях полиции удалось захватить двух опасных преступников и напасть на следы целой преступной организации, применяющей новые и небывалые спо-

события совершения преступлений. Насколько можно судить по имеющимся данным, преступники пользуются методами, аналогичными системе мер, изобретенных гг. Д.Н. Никуличевым и И.П. Колыбиным. Несколько времени тому назад они захватили директора Коммерческого банка. Когда его выпустили, поведение последнего резко изменилось и приняло странный характер. Он выдал два чека на имя Г., по которым последний получил в общем 200 000 рублей. Действия его, естественно, обратили на себя внимание и вызвали экстренную ревизию всего счетоводства... Немалую сенсацию на днях вызвал арест уважаемого проф. Критова. Как известно читателям, профессор заподозрен в изнасиловании своей 16-летней горничной. Теперь выяснилось, что профессор также пропадал где-то неделю, и есть основание думать, что <он> побывал в руках той же организации.

Наконец, вчера вечером должен был быть концерт знаменитого баса Карякина^{137*}. Концерт хотя и состоялся, но артист приехал в сопровождении двух неизвестных господ на два часа позже. Пропевши несколько номеров программы, он во время “Блохи” Рубинштейна вдруг запел самые похабные песни и начал ругаться самой отборной руганью. Поднялся скандал. Публика сначала думала, что артист пьян. Но предположение оказалось невозможным. Артист был трезв и казался совершенно нормальным. Подозрительным показалось лишь то, что артист, по-видимому, не отдавал отчета в своих поступках. Вызванный психиатр констатировал какое-то странное психическое расстройство, точный диагноз которого пока еще не установлен... Два господина, сопровождавшие его, случайно были опознаны агентом полиции Павловым и оказались давно разыскиваемыми опасными рецидивистами, бежавшими года три тому назад с каторги.

Все это заставляет думать, что народилась какая-то новая преступная организация, применяющая последнее слово науки. Как мы слышали, решено за помощью обратиться к знаменитым ученым».

– Да, это новость, и не из приятных, – прочтя заметку, сказал Никуличев.

– То-то и оно-то... какое уж из приятных... Это просто удар дубиной по лбу... Нашелся, по-видимому, какой-то химик... Поди, ведь у нас же с тобой учился. Не глуп, не глуп молодец, куда умнее всех ученых балбесов, – ругался доктор.

– Да, дело дрянь... – взволнованно заметил Никуличев. – Это мы не предвидели и не ожидали... Конечно, мы могли бы умыть руки... Разве виноват тот, кто открыл пар, что машины давят людей? Разве виноват изобретший электричество, что оно применяется для казни, открывший порох, что люди употребляют его для взаимного убийства? Нет... нет... Нельзя винить физику и химию за то, что негодяи пользуются их данными для отравления, для взломов и подобных мерзостей. С нами повторилась та же вечная сказка, – взволнованно, как бы про себя говорил ученый, нервно расхаживая по кабинету. – Мы дали людям новую силу, а пришел мерзавец и использовал ее для иных целей... Но нечего ныть... Польза электричества и пара бесконечна и составляет общее явление, вред – ис-

ключение... То же и здесь... Если даже мы и не сумеем найти изоляторы, то и тогда наши открытия останутся великой и благой силой... Злоупотребления будут исключением... А пока что попробуем изобрести изоляторы. Ты думал, Иван, об этом?

– Да, и я, и все наши.

– Ну, и что же?.. Наметили пути?

– В общем, кое-что наметили. Но без твоей помощи нам не обойтись... потому я и вызвал тебя...

– Спасибо... Теперь дай мне привести себя в порядок, через два часа я буду готов, и мы вместе примемся за работу...

– Отлично... Пока, прощай...

Через два часа явился доктор, и ученый принялся за новую задачу... Мир волнений и суеты потерял одну тоскующую душу, мир вечных ценностей приобрел снова великого творца...

Белые стены лаборатории поглотили его и заботливо окружили своей тишиной. Не слышно за ними людского шума. Суетные призраки не летают под ее молчаливыми сводами...

Великий мыслитель снова был в царстве великой мысли.

Настанут дни, и из этих стен вновь вылетят молнии, и вновь сверкнут они над миром. Заволнуется снова человечество, вновь забушуют пенистые волны, а белое здание и «люди вершин» по-прежнему будут тихи и спокойны, как тиха и спокойна великая мысль...

* * *

...Ранним утром, когда гудят гудки фабрик, высокий прямой человек гуляет в парке около лаборатории... Иногда он проходит к железной дороге и идет по ее шпалам... Мягкая седина виднеется в его волосах, кротко смотрят вольтовые глаза, и приветливо улыбаются его губы... Одетый в простенькое пальто, с мягкой шляпой на голове, он неторопливо шагает, опираясь на палку, и смотрит куда-то вдаль. Если встретите его – поклонитесь ему... Он достоин вашего приветствия.

Не обижайтесь, если он не заметит вашего поклона... Смотрящий в далекое будущее часто не видит того, что делается у его ног!..

Конец

Предтеча.

Посвящ. Е. П. Баратынской.

I. „Только репетиторъ“...

1.

Дверь кабинета безшумно раскрылась. Вошелъ лакей.

— Академикъ Каракозовъ и академикъ Пастуховъ,—доложилъ онъ.

— Просите. Пожалуйте, дорогие гости... садитесь,—здоровался съ вошедшими, привѣтствовалъ ихъ Шахматовъ.

Каракозовъ грустно опустился въ мягкое англійское кресло. Пастуховъ вытаскивалъ портсигаръ и замиревался закурить.

— Не угодно ли, Иванъ Павловичъ? Очень недурныя,—протянулъ ему Шахматовъ коробку ситаръ.

— Спасибо, Сергій Николаевичъ. Вы же знаете,—я постоялецъ во всемъ, въ томъ числѣ и въ табакъ. Какія шипросы курить студентамъ, тѣ курю и теперь... простица...

— Забылъ... А вы, Михаилъ Михайловичъ?

— Я постоялецъ лишь въ непостояствѣ, а посему принимаю ваше предложеніе,—шутливо замѣтилъ Каракозовъ... — Недурныя и даже очень,—закуривши, добавилъ онъ.—Ну, а теперь разсказывайте, чего ради потревожили вы наши немощныя кости? Ужъ не хотите ли сообщить намъ тайны вашего санктпетербургскаго дома?—такъ же шутливо обратился онъ къ хозяину.

— Тайны моего санктпетербургскаго дома здѣсь непричемъ, дорогой Михаилъ Михайловичъ. Хотя тайна, вообще, и есть—и возможно, весьма интересная, замѣтаны въ дѣло и физиком... и боксеръ, что вы разскажите сегодня милая милая на два...

— Недурно... Только жаль, что они попадаютъ не въ наши карманы. Опять, поди, ищеничество затѣяли?

— Пола что пить... Въ чемъ дѣло, сейчасъ увидите. Да вотъ и они.

Вошли четверо: двое взрослыхъ и двое дѣтей.

— Вы, кажется, знакомы? Никулитчевъ и Колюбинъ. Мой сынъ Боря и его товарищъ Вита, ученики Никулитчева и Колюбинъ,—представилъ санктпетербургъ, академикамъ вошедшихъ.

— Знакомы, знакомы,—поздоровался Пастуховъ...

— Э, кого я вижу,—обратился Каракозовъ къ Никулитчеву.—Здравствуйте, здравствуйте... Давненько издавъ я васъ. Какъ поживаете и что подѣлываете?

— Живу тихо и мирно. Занимаюсь репетиторствомъ,—отвѣтилъ Никулитчевъ.

— Ну, а какъ наука? Денегато или бросилъ?

— Какъ будто не бросилъ. Впрочемъ, это вы сейчасъ увидите сами... Господа! Кажется, всѣ изъ лица. Можеть, преступникъ къ дѣлу?—обратился онъ къ присутствующимъ.

— Пожалуй...

ПРЕДТЕЧА

Посвящ. *Е.П. Баратынской*^{1*}

I. «ТОЛЬКО РЕПЕТИТОР...»

1

Дверь кабинета бесшумно раскрылась. Вошел лакей.

– Академик Каракозов и академик Пастухов^{2*}, – доложил он.

– Просите. Пожалуйста, дорогие гости... садитесь, – здороваясь с вошедшими, приветствовал их Шахматов^{3*}.

Каракозов грузно опустился в мягкое английское кресло. Пастухов вытащил портсигар и намеревался закурить.

– Не угодно ли, Иван Павлович? Очень недурные, – протянул ему Шахматов коробку сигар.

– Спасибо, Сергей Николаевич. Вы же знаете, я постоянен во всем, в том числе и в табаке. Какие папиросы курил студентом, те курю и теперь... привычка...

– Забыл... А вы, Михаил Михайлович?

– Я постоянен лишь в непостоянстве, а посему принимаю ваше предложение, – шутливо заметил Каракозов. – Недурные, и даже очень, – закуривши, добавил он. – Ну, а теперь рассказывайте, чего ради потревожили вы наши немощные кости? Уж не хотите ли сообщить нам тайны вашего банкирского дома? – так же шутливо обратился он к хозяину.

– Тайны моего банкирского дома здесь ни при чем, дорогой Михаил Михайлович. Хотя тайна вообще и есть, и, возможно, весьма интересная, замешаны в дело и финансы... и боюсь, что вы разорите сегодня меня миллиона на два...

– Недурно... Только жаль, что они попадут не в наши карманы. Опять, поди, меценатство затеяли?

– Пока что нет... В чем дело, сейчас увидите. Да вот и они.

Вошли четверо – двое взрослых и двое детей.



Е.П. Баратынская. Снимок середины 20-х гг.

– Вы, кажется, знакомы? Никуличев и Колыбин. Мой сын Боря и его товарищ Витя, ученики Никуличева и Колыбина, – представил банкир академикам вошедших.

– Знакомы, знакомы, – поздоровался Пастухов.

– Э, кого я вижу, – обратился Каракозов к Никуличеву. – Здравствуйте, здравствуйте... Давненько не видал я вас. Как поживаете и что подельваете?

– Живу тихо и мирно. Занимаюсь репетиторством, – ответил Никуличев.

– Ну, а как наука? Двигаете или бросили?

– Как будто не бросил. Впрочем, это вы сейчас увидите сами... Господа! Кажется, все налицо. Может, приступим к делу? – обратился он присутствующим.

– Пожалуй...

– В таком случае я начинаю. Но сначала маленькое замечание: все, что вы узнаете, должно остаться в тайне. А теперь перехожу к существу вопроса. Ровно год тому назад я заключил здесь с Сергеем Николаевичем Шахматовым неформальный договор такого рода: я при помощи моего друга доктора Колыбина обязался в течение года перевоспитать избалованного банкирского сына, девятилетнего Борю, и сообщить ему знания в объеме университетского курса. Банкир же С.Н. Шахматов обязался в случае успеха уплатить нам два миллиона для постройки особой лаборатории. Так ли, Сергей Николаевич?

– Совершенно верно...

– Через год, т.е. именно сегодня, должна состояться проверка знаний Бори. Судьями были выбраны специалисты-ученые, и именно вы, – обратился он к академикам. – С этой целью вы и приглашены сегодня сюда. Вот, собственно, и все дело, – закончил Никуличев.

Он говорил немножко странно, как будто острыми ножницами обрезал слова. В них чувствовалась какая-то математическая отчетливость; словно это была не живая речь с замедлениями и ускорениями, с повышениями и понижениями, а какой-то метроном, отбивавший в минуту определенное число однотонных звуков. При этом – никаких жестов и никакой мимики. Такие лица бывают у придворных церемониймейстеров, когда они выступают впереди торжественной процессии. Холодное, бездушное лицо, если бы не меняли это впечатление глаза. Сидящие глубоко, прикрытые густыми бровями, они горели каким-то странным блеском. Это не был ярко вспыхивающий и быстро меркнувший взгляд фанатика или пророка. Если уж сравнивать их с чем-нибудь, то всего лучше с вольтовой дугой. Как и она, они горели ярко, пожалуй, чересчур ярко, но горели ровно, без вспышек и без зарниц.

– Вы не шутите? – нервно стряхивая пепел папиросы, спросил Пастухов.

– Вполне серьезен, – отчеканил Никуличев.

– Выходит что-то похожее на роман с приключениями, – недоверчиво улыбнулся Каракозов.

– Согласен с вами, но с оговоркой: не фантастическими.

– Не спорьте зря, господа! – вмешался Колыбин. – Априорные суждения бесплодны. Переходите лучше к опыту. Вот вам объект. Это я тебя, Боря, в объект произвел, – ласково потрепал он волосы Бори. – А вот и другой объект, называемый Витей... Один – специалист по общественным наукам, стало быть, он по вашей части, – обратился доктор к Каракозову. – А другой – биолог, точнее физиолог, стало быть, придется экзаменовать его вам, – кивнул он Пастухову. – Не угодно ли приступить?

Колыбин был противоположностью Никуличева. Русые, подстриженные в скобку волосы, небольшая окладистая борода, добрые синевато-серые глаза и вечная трубка в зубах делали его похожим скорее на степенного мужика, чем на ученого. Ходил он в косоворотке и просторном пиджаке.

– Если я не ослышался, вы учили Борю в течение года? – спросил Каракозов Никуличева.

– Да.

– Верно, – кивнул и банкир.

– И должны были пройти в год всю программу юридического факультета?

– Да.

– Что он знал раньше?

– Был исключен из первого класса гимназии.

– Ему девять лет?

– Было... теперь десять...

– Что ж? Остается перейти к экзамену... Ну те-ка, молодой коллега, что вы знаете по истории монархии?..

Боря сел в кресло и начал отвечать... Детский голос вначале то и дело срывался. Слова проглатывались, хрупкие руки неуверенно жестикулировали... Но мало-помалу волнение прошло... Голос окреп и зазвучал чисто, отчетливо... Мальчик овладел темой и спокойно описывал быт и право восточных деспотий... В его речи начали мелькать цитаты из египетских папирусов, ассиро-вавилонских памятников и индусских сводов... Фразы методично спаивались друг с другом, сплетались в гирлянды и застывали в форме связной, продуманной цепи суждений.

Никуличев и Колыбин из угла кабинета следили за ответом. Веселая улыбка сияла на губах доктора... Он прищуривал глаза, подмигивал и время от времени бросал хитроватые взгляды на Каракозова...

Банкир же как стоял при начале экзамена, так и застыл в этой позе...

Не двигался и Пастухов... Глаза его впились в Борю, следили за губами и жестами рук. Лицо было спокойно, как всегда. Только резкая складка темнела между бровями...

– Уф... ну и дела... – вздохнул Каракозов. – Ну и ну... Довольно... довольно... Знаете что, – вскакивая с места, обратился он к «репетиторам», – вы либо дурачите нас, либо... либо похитили новую тайну с высот Олимпа...

– Что, профессор... роман-то ведь и впрямь оказался с приключениями, – расхохотался Колыбин.

– Боря! Да ты ли это? – обнимая и вглядываясь в сына, заговорил Шахматов. – Не подменили ли тебя? Дмитрий Николаевич! Вы либо колдун, либо действительно новый Прометей...

Никуличев молчал.

– Иван Павлович! Прोजэаменуйте Витю, он ваш коллега... знаком недурно и с вашими работами...

– Прекрасно, – встрепенулся знаменитый академик.

Начался экзамен. Вопрос за вопросом ставил ученый. Только два раза шестилетний мальчик не ответил.

– Позволь, милый мальчик, расцеловать тебя, – сказал наконец экзаменатор. – А вас, господа, позвольте поздравить от души: я не знаю, какие новые законы открыли вы, но я знаю, что вы открыли что-то великое...

– Да, я вижу, что вы действительно репетитор, но только с добавлением: «всего человечества», – взволнованно пробасил Каракозов, обращаясь к Никуличеву.

– Подождите, господа, хвалить, – вмешался последний. – Похвалы опасны. Лучше дайте ответ на поставленный вам вопрос: выполнил ли я свое обязательство?..

– Это ясно и само собой... Ваше обязательство вполне выполнено...

– Если так, теперь очередь за вами, Сергей Николаевич. Согласны ли вы отдать условленные два миллиона?

– Когда и куда прикажете перевести их? – вместо ответа спросил Шахматов. Он все еще любовался сыном.

– Переведите их на мое имя в течение этой недели.

– Будет исполнено. А теперь, господа, пойдемте завтракать. За завтраком, кстати, расскажу вам и всю нашу историю. Вам не мешает ознакомиться с ней поподробнее, – обратился он к академикам.

Все встали и двинулись в столовую.

– Ровно год тому назад, в приемный день, явился ко мне вот этот человек, – указывая на Никуличева, начал Шахматов, когда все уселись за стол. – Вошел, отрекомендовался Никуличевым и сразу же оглушил меня, заявивши, что ему нужны два миллиона рублей. Я, конечно, расхохотался и шутя спросил: «Для чего же нужна вам такая крупная сумма?» «Для опытов с психическим насосом», – последовал ответ. Ну, думаю, еще одним сумасшедшим стало больше. А их ведь, господа, перебивало у меня видимо-невидимо. «Что же это за шут-

ка?» – спрашиваю я. «Мне не до шуток», – обрезал меня Дмитрий Николаевич: он ведь сердитый; беда с ним!.. Мне ничего не оставалось, как выслушать его. Да, по правде говоря, его речь и заинтересовала меня. И вот в дальнейшем он кратко объяснил мне, что он и доктор Колыбин работают над вопросом искусственной перделки человека с умственной и нравственной стороны. Указал, что в этом же направлении работает и жизнь, но работает скверно, бессистемно, уносит тысячи жертв, что умственный прогресс идет черепашьими шагами, а нравственное совершенствование выражается только в увеличении числа преступников, короче, заинтересовал меня чрезвычайно... Я спросил его, чем же он может доказать, что его план не фантазия. «Многим и ничем, – ответил он мне. – Доказательства есть, но я пока не хочу опубликовывать их; да едва ли вы их и поймете». Вот тут-то и предложил он мне тот договор, который вошел в силу сегодня. А нужно вам сказать, господа, что Боря меня очень беспокоил. Ученье его шло туго. Каких только учителей я ни брал, толку было мало; да и поведение его было не из очень хороших... Короче, судьба мальчика меня очень озабочивала. «Вы ничем не рискуете, – сказал мне тогда Дмитрий Николаевич. – Если я не выполню обязательства, деньги останутся при вас, а об успехах сына вы сумеете узнать месяца через два. Если их не будет, вы возьмете его обратно. Если же, напротив, убедитесь, что мое предложение не утопия, я думаю, вы не пожалеете двух миллионов на такое дело... Вы ведь и так сотни тысяч бросали на всякие пустые предприятия, начиная от декадентского журнала и кончая “театром немых”...» Он был прав. Я ничем не рисковал, а потому согласился... Через месяц уже я заметил перемену в Боре, и в итоге, как видите, утопия стала фактом. Позвольте же, господа, по этому поводу поднять бокал за двух новых ученых! – закончил свою речь Шахматов.

– Позвольте и мне сказать пару слов, – вмешался Каракозов. – Я помню вас еще студентом, – обратился он к Никуличеву. – Вы сами знаете, что я считал вас своим лучшим учеником. Знаете также, как высоко ценил я ваши дарования. Помню хорошо и ваш разрыв с учеными и ученой карьерой... Когда он стал фактом, я одного опасался: боялся, что не хватит у вас воли и сил идти своей дорогой... И, каюсь, в последние годы потерял всякую надежду: вас не было видно и не было слышно. Зато сегодня тем радостнее было узнать, что вы не пропали. Пью за ваше здоровье и здоровье доктора Колыбина!

– Вполне присоединяюсь, – чокнулся с изобретателями и Пастухов. – Ну, дорогой доктор, – обратился он к Колыбину, – теперь мне становится несколько понятной та цель, ради которой вы работаете в моей лаборатории. Хотелось бы узнать теперь подробнее основы ваших открытий. Раз практически вы творите такие чудеса, то можно себе представить, что за переворот сделали вы в области теории.

– Вы правы, Иван Павлович. Кое-что нами в этой области сделано, – ответил Никуличев. – Не вам напоминать, что в каждом атоме заключена бесконечная энергия. В молекуле же человеческого мозга этой энергии достаточно, чтобы расколоть пополам земной шар. Нужно только уметь ею пользоваться. Нам удалось раскрыть здесь кое-какие секреты. И вот теперь в нашем распоряжении кнут, которым мы можем подгонять стихийную жизнь. Вы сами отлично знаете, что машина социальной жизни работает скверно. Жертв слишком много. Пора ввести силы жизни в определенное русло и направить их к одной цели. Человек, покоривший неорганические силы природы, должен управлять и самим собой – таков был девиз и ваш, и Михаила Михайловича. Он же был и нашим лозунгом. Вот наши задания и мотивы, толкавшие нас на работу. Был здесь и другой мотив. Не скрою от вас, в чем дело. Мы – плебеи. И на себе вынесли то бремя, которое накладывает на обездоленных современная социальная справедливость. Я голодал, я был избиваем, я видел, как били других. Я видел хромых, слепых, умных и идиотов. Говоря коротко, мы видели слишком много неравенства, чтобы у нас появился аппетит к равенству. Этот аппетит теперь общ многим, но до его удовлетворения далеко. Жизнь платит по этому долгу неохотно и надолго рассрочивает платежи. У нас нет больше охоты ждать. Я хочу того же, чего хотят многие, но хочу иначе, чем они. Неравенство должно и может быть заменено равенством. Если все люди будут обладать одинаковым уровнем знания и будут держаться одних принципов поведения – будет равенство. Если этого не будет, – пусть разделят социалисты сегодня все богатства или пусть сделают их общественной собственностью, завтра же снова будут бедные и богатые, угнетаемые и угнетатели. Переменятся только названия. Вместо банкира появится «общественный директор», такой же толстый и жирный, но более хитрый. Вместо старых лозунгов будут вывесками «liberte, fraternité, égalité»^{4*}, но только вывесками. Тюрьмы переименуют в «дома правосудия», но от этого не будет легче тем, кто в них будет обитать. Вот добавочный мотив. Наши работы, надеюсь, кое-что дадут и в этом направлении. Забегая вперед, скажу: в недалеком будущем должны исчезнуть современные школы. Исчезнут тюрьмы и преступники. Исчезнет суд в современной форме. Они будут лишними. Уменьшена будет и та пропасть, которая отделяет теперь один класс от другого. Таковы ближайшие результаты нашей работы. Что же касается ее существа, то, пока она не закончена, она должна быть тайной. Потерпите года два-три, дайте выстроить лаборатории, завершить исследования, и тогда вы первый узнаете ее, а после вас и другие...

Слова падали ровно, однозвучно и спокойно.

– Неисправимый уравниватель, – улыбнулся Каракозов.

– Увы! да, – рассмеялся Никуличев.

– Что ж, остается примириться и ждать, – заметил Пастухов.

...Завтрак был кончен...

– Ну, пожалуй, пора и в академию, – взглянув на часы, сказал Каракозов.

– Да, и то немного опоздаем, – встал другой академик.

– Знаете что, господа... Сегодня концерт знаменитого пианиста Грисфельда. У меня ложа. После заседания академии вам недурно было бы отдохнуть вечером. Быть может, не откажетесь прибыть? – обратился Шахматов к академикам.

– Постойте, надо сообразить, свободен ли у меня вечер... Кажется, да. Прекрасно. Я буду, – пожимая руку, проговорил Каракозов.

– Буду и я, – простился Пастухов.

– Значит, увидимся, – провожая их, бросил банкир. – Приглашаю и вас, дорогие друзья, – вернувшись, продолжал он. – Знаю, вы люди занятые. Но ради сегодняшнего дня можно и поспрадовать. Идет?

– Пусть решает молодежь, – ответил Никуличев. – Как по-вашему? – обратился он к Вите и Боре.

– Я бы пошел, – ответил первый.

– И я, – подтвердил второй.

– Быть по-вашему. Значит, гуляем? – обнимая мальчиков и заглядывая им в глаза, спросил изобретатель.

– Гуляем.

– Коли гулять, так гулять всюю, – вмешался Колыбин. – Идемте за город. Сергей Николаевич даст нам свой автомобиль. Недурно будет прокатиться, подышать и посмотреть на опушенные инеем деревья. Как вы на сей счет?

– Прекрасно, – ответили три голоса.

– Тогда айда. Одевайтесь...

Дети бросились в прихожую, взрослые за ними.

Через пять минут они катили в автомобиле... Веселый лепет, крики, хохот смешивались с трещанием машины. Взрослые дурачились не менее детей. Никуличев словно преобразился: исчезла невозмутимая маска с лица, оно стало живым, глаза заблестали, пенсне то и дело слетало с носа...

За городом вышли из «авто». Боря схватил горсть снега и бросил его в лицо Никуличеву, Витя – Колыбину.

– Предательское нападение молодежи на стариков, борьба русских с кабардинцами, – орал доктор...

Через несколько минут все были в снегу... Принялись отряхиваться...

– Барин, подайте копеечку... Холодно... – раздалось вдруг рядом с Никуличевым.

Тот обернулся. Перед ним стоял оборвыш. Маленькое тело дрожало от холода, лицо посинело, из разорванного сапога торчал кончик грязного пальца...

Никуличев внимательно осмотрел его сверху донизу... Не говоря ни слова, он снял шапку с головы мальчика. Оглядел его лицо сперва en face^{5*}, затем в профиль, измерил приблизительно головные показатели.

– Как тебя звать?

– Колькой.

– Сколько тебе лет?

– Восемь, – жалобно и со страхом в голосе ответил оборвыш. Странное поведение «барина» испугало его.

– Родители есть?

– Е-есть. Мамка...

– А батька?

– Не-е-т...

– Умер?

– Не-е-т...

– Кто твоя мамка? Служит, работает?

Мальчик молчал... наконец выговорил:

– Не знаю...

– А, а... так... А гости бывают у нее по ночам?

– Бывают...

– Где же ты ночуешь? В ночлежке?

– Всяко... бывает, и в ночлежке...

– Приятели есть?

– Есть.

– Крал?

– Что вы, барин... Да можно ли?

– Не ври... Крал?

Мальчик молчал...

– Ну, вот что... Возьми теперь эти деньги. А завтра утром приходи ко мне.

Вот карточка и вот адрес. Понял?

– Понял... Спасибо вам, барин...

– Хочешь сейчас в город?

– Хочу.

– Садись тогда с нами... Ну, друзья, идемте. Нашего полку прибыло. С завтрашнего дня у вас будет еще один приятель, – весело обратился он к молодежи.

Автомобиль зарычал и сорвался с места.

– А весело жить, Димитрий, – после некоторого молчания заговорил Колыбин. – Мы почти у цели наших желаний. Через год, через два лаборатория будет готова. Вот-то удивим мир...

– Возможно...

– Не «возможно», а «должны удивить»... Э, да мы загуляли совсем: уже пять часов, а пилюли до сих пор не скушаны, – смотря на часы, продолжал доктор... Вынул из кармана коробку и протянул ее сидевшим. – Получайте... А тебе, при-

ятель, еще рано... нельзя, – заметил он мальчику, протянувшему руку вслед за другими. – Они невкусные.

Мальчики взяли по пилюле, взрослые – по две и проглотили их.

В изобретении этого препарата, прозванного в шутку «умородом», и проявилась работа Колыбина.

Цель, которой служили пилюли, состояла в быстром восстановлении нервной энергии, утрачиваемой организмом при сильной умственной работе. Без «уморода» основная задача обоих ученых была бы недостижима. При чрезвычайном нервном напряжении, которого требовала система Никуличева, неизбежно должно было наступить переутомление мозга, а в дальнейшем и крах организма, если бы не был изобретен «умород». Поставивши себе задачу, о которой идет речь, они сразу убедились в ее невозможности без быстродействующего препарата. Изобретение его пало на Колыбина как на биолога. Еще на студенческой скамье он начал работать над этой проблемой. Почти четыре года ушло у него на ее решение. Существование «уморода», его состав пока были тайной для всех.

Несмотря, однако, на большой успех «уморода», Колыбин не был им доволен вполне. Пилюли действовали хорошо: опыты над самими собой и над детьми говорили об этом. Но небольшое малокровие, появившееся за последнее время у Вити, а также более частая, чем раньше, усталость беспокоили Колыбина и побуждали его к дальнейшему усовершенствованию «уморода». Он, в сущности, знал, что нужно сделать для этого, но не было средств, и усовершенствование оставалось неосуществленным. Теперь задача решалась просто.

– Скоро я вас буду кормить уже не «умородом», а «сверхумородом», – фантазировал Колыбин. – То-то будете умницами...

Через полчаса они были дома.

2

Великолепный зал «Дворца искусств» был полон. Радугой огней шли тысячеглазые люстры. В фойе и в буфетах толклись сотни людей. Говорливой волной текли они по залам, сплетались в извивные хороводы, в причудливые гирлянды, поглощали и вновь выбрасывали человеческие единицы из своего потока... Мелькала лысая голова государственного мужа, сменялась бритым с посиневшими щеками лицом артиста и уступала место нежному, с длинными волосами, облику поэта. Рядом с расплывшимся лицом дамы вырисовывался дивный профиль молодой феи. Безличный гул стоял в мраморном зале «Дворца», рассчитанном на пять тысяч человек!.. Временами рождались отдельные фразы, но тут же тонули в бесформенном шуме. Тысячи человеческих светляков слетались на вспыхнувший огонь искусства и теперь жужжали, шептались и дурманили один другого.

...Когда-то и я любил бывать в этом море ласкающих и дразнящих токов людской души. Люблю и теперь с безучастным видом стоять у прохода и отражать на зеркале моей души причудливые силуэты. Хорошо поймать на лету чей-нибудь ищущий взгляд, схватить обрывок речи, полюбоваться улыбкой на прекрасных устах и плавать в переменчивых волнах аромата духов и... быть безучастным, и быть чужим. Главное – безучастным... Иначе беда! Вопьется безликий зверь в твою душу, отравит свежую кровь алчным ядом хотений, заманит в логово дерзаний, и... не вырвешься из его когтей, не надломив своих крыльев, не опалив их смертельным огнем честолюбия.

...Дребезжал третий звонок, когда Никуличев и Колыбин с Леной и мальчиками вошли в зал и прошли в ложу банкира.

– Прямо идиотом чувствуешь себя в этой дурацкой вертихвостке, – ругался доктор, принужденный нарядиться в жакет. И действительно, его фигура довольно нелепо выглядела в этом наряде.

Лена, невеста Колыбина, только что кончившая курсы, весело хохотала...

– Посмотри, ради Бога, посмотри на себя, Ваня! – указывала она на зеркало. – Ну, на кого ты похож?

– На дурака, сказал же я тебе. Как раз на того дурака, кто выдумал эту великую несурзность...

– Да не размахивай руками, ведь не дрова рубишь, – рассмеялся Никуличев.

– А ну вас к Богу. Нашли тоже, над чем зубы скалить, – добродушно огрызнулся доктор.

...Безликое чудовище успокоилось. Втянуло в себя щупальца и прилипло к креслам... Теперь оно лишь таинственно шушукало шипящим шепотом. Но вот оно задвигало тысячами рук и неистово захлопало тысячами ладоней – на эстраде появился Грисфельд...

Раздались первые аккорды рояля, и толпа замерла. Великие удары смерти поплыли по залу. Неумолимо, беспощадно трагические зовы врезались в души, впивались в кровь, давили стальными обручами головы и мрачно, монотонно и медленно вещали каждому: «Смерть, смерть и смерть...» Порой рождались новые звуки, пытались разорвать неумолимую цепь смерти и... никли, бессильные, надломленные. И снова взметались победоносно-вещие чудища смерти, наполняли душу трагическим ужасом, опустошали цветники жизни и злорадно хохотали над бессильной жизнью и над ее детьми...

Великий артист завладел толпой. Он захватил ее душу в свои тонкие пальцы, вытряхнул из нее, как из мешка, все будничное и вдохнул в ее сердце очищающее пламя трагизма... И душа человеческая покорно трепетала в этих тонких пальцах слабого и бледного человека.

Перед душевными глазами Никуличева быстро пролетали видения, обрывки прошлого, замыслы будущего, сложное кружево чувств хлынуло в его душу,

бурлило и клокотало в ней... «Смерть... смерть...» – вещали звуки... «Да, да, смерть... Но я бессмертен, я вечен... Я имею крылья, на которых взлечу выше царства смерти, и... никто их не надломит... А если надломит? А если ты банкрот? О, тогда, тогда я сам подам руку смерти».

Звуки исчезли... Чудовище взбесилось, заорало, захлопало и воспрянуло со стульев...

Бледный кудесник поклонился и исчез...

В антракте толпа хлынула в фойе, в проходы и в буфетные залы...

Колыбин с Леной и мальчиками пошли, как выразился первый, «смотреть на мартышек», а Никуличев остановился при входе в буфет и, казалось, наблюдал за проходящими силуэтами.

– Дмитрий Николаевич, как вы сюда попали? – обратился кто-то к нему...

Ученый быстро обернулся и... застыл...

– Ну, что ж вы ничего не отвечаете, али не узнаете? – протягивая руку и мило улыбаясь, упрекнула его молодая и стройная дама.

– Простите, Елизавета Александровна! – целуя протянутую руку, спокойно ответил Никуличев. – Я так был занят своими мыслями, и так неожиданно появились вы, что на меня нашел маленький столбняк; очень извиняюсь... – продолжал он, здороваясь с ее спутником – мужем, князем Воеводским, профессором философии права^{6*}.

– Я так давно не видала вас, что мне хочется немного поболтать с вами. Может быть, вы не откажетесь присесть с нами за столик и выпить чего-нибудь?

– Благодарю вас, с большой охотой...

– Ну, рассказывайте, как вы живете и что делаете. Ведь я о вас ничего не слыхала годов пять, а может быть, и шесть.

В это время какой-то господин во фраке раскланялся с ее мужем.

– Простите меня, Дмитрий Николаевич. Я на минуту покину вас с женой, – извинился Воеводский, вставая из-за стола. – Мне необходимо переговорить с Лихачевым об одном деле.

– Я был все время здесь, в Петрограде, – ответил Никуличев.

– Как же вам не стыдно, Дмитрий Николаевич? Вы ни разу не навестили нас.

– Я вообще никого не навещал и нигде не бывал, – сухо ответил Никуличев.

– Но что же вы делали? Чем занимались? После вашего неудачного конфликта с учеными вы как будто совсем бросили научную работу, – продолжила Воеводская. В тоне ее слышалась жалость к молодому ученому.

– Да, я порвал с университетом окончательно. Оказался негодным. – Усмехнулся изобретатель. – Вообще оказался неудачником во всех отношениях: денег не нажил, славы – тоже, да и в любви не повезло. – При этом Никуличев как-то особенно взглянул на собеседницу и снова усмехнулся. – Теперь занимаюсь ре-

петиторством. Учю банкирского сынка и по милости банкира сижу сегодня в его ложе. Зато вас, Елизавета Александровна, я могу поздравить с успехами вашего мужа.

– Мерси. Он, действительно, быстро выдвинулся. Его книги вызвали шум, год тому назад ему предложили кафедру.

– Да, я слышал об этом и читал его работы.

– Каково же ваше мнение о них?

– Ну, это неинтересно. Я вообще малоавторитетный ценитель. К чему вам мое мнение?

– А все же?

– Говорят, что его книги – хорошие книги, ну, значит, хорошие. Иначе ведь не считали бы его Колумбом нового направления, теперь особенно модного у нас.

– Вы говорите так, как будто не согласны с общим мнением?

– Да, говоря откровенно. Но ведь вы знаете, я очень часто оставался в единственном числе... такова уж моя судьба.

– Я вижу, вам неприятен этот разговор. Расскажите лучше, что вы теперь делаете? И неужели вы навсегда расстались с вашими былыми планами?

– Что ж делать... Приходится, раз оказался банкротом, и это банкротство ведь вы же отчасти санкционировали. Вот я и стал теперь скромным человеком, репетитором, – продолжал Никуличев. – Впрочем, нам пора в зал. Уже третий звонок.

– Надеюсь, вы посетите нас. У нас теперь собрания по вторникам. Я и муж были бы рады вас видеть. Даете слово? – идя в зал с собеседником, мило говорила Воеводская.

– Очень вам благодарен, но слова не даю, Елизавета Александровна. У вас там слишком важные посетители, и мне, неудачнику, чувствовалось бы среди них плохо. Впрочем, – бросил он, раскланиваясь и как-то странно глядя в глаза собеседнице, – года через два, через три, быть может, мы и будем встречаться с вами.

– Вы говорите какими-то загадками? – спросила Воеводская.

– Слово – серебро, молчание – золото, – отпарировал Никуличев и двинулся к своей ложе.

3

...Я люблю вас, тихие часы ночного раздумья. Хорошо в такие часы сидеть в покойном кресле, думать о многом и ни о чем. Молчаливая память незримо пальцами перебирает отцветшие листья жизни... Тихо и неслышно мелькают они и пробуждают в душе неизъяснимое трепетание... О, бледные и пожелтевшие листья жизни! Как вы милы, как вы нежны и как вы дороги!

Возвратившись с концерта, Никуличев уложил детей спать, а сам сел за письменный стол. Вытащил из ящика маленькую черненькую книжку и углубился в чтение.

– Так... так... Стучишь, мое сердце?.. Стучи... стучи... Ты молодец! Стук твой ровен... ритмичен... математически точен... Тебе дела нет до того, что творится в моей душе... – читал он написанные шесть лет тому назад – тогда свежие, а теперь пожелтевшие – слова. – Как хорошие часы, ты спокойно отбиваешь удары... Продолжай же свою работу. Гони бурлящую кровь по артериям! Наводи порядок и спокойствие. Делай свое дело, а я займусь своими мыслями. Как они капризны и непослушны! Пытаюсь собрать их в одну точку, расположить их рядами и связать из них одну цепь... Но... нет... не могу! Как искры, разлетаются они в разные стороны, сталкиваются, разбегаются и кружатся в пьяной пляске. Ничего, сердце... ничего... Ты стучи, главное ровнее стучи, а я уж как-нибудь справлюсь с непокорными бунтарями...

Итак... конец... Конец... Какое маленькое слово – к-о-н-е-ц. И все маленькие слова... «Она любит его». «Она выходит замуж». Подлежащее – «она». Сказуемое – «выходит», «любит». Местоимение – «его»... А «замуж»? Какое нелепое слово!.. Ха-ха!

Она только что уехала от меня... Приехала ясная, живая... «Поздравьте меня, Дмитрий!» – сказала она... «С чем? – спросил я. – Уж не выходите ли замуж?» – «Вы угадали...» – «За Воеводского?» – «Да...» – «Вот как! Как же... – начал было я и вовремя оборвал себя. – Поздравляю от души! – с самым веселым видом закончил я. – Поздравляю от души!» – говорил дальше и горячо жал ее руку. – «Вы, конечно, будете на моей свадьбе?» – «Конечно, конечно... впрочем... Ну, да, буду... конечно, буду...» – продолжал я.

...Зачем она приезжала? Разве она не знала, что я люблю ее? Разве не ей поверял я свои думы и раскрывал святое святых моей души? Разве не она когда-то поцеловала меня?

Правда, на днях я был разбит и вышвырнут патентованными учеными из Храма науки. Правда, меня не было здесь два с лишним года... Правда, за это время пришел Воеводский... Воеводский – князь, богач, красавец и вдобавок модный ученый! В нем было все, и он победил... Но пусть, пусть все это так, зачем же, однако, приезжать ко мне с такой вестью? Наивность? Или же тайное желание полюбоваться моими судорогами? Возможно, что и так. Но тогда, ваша светлость, княгиня Воеводская, вы не увидите этих судорог. Не правда ли, я очень спокойно встретил вашу новость? Разве я не был рад? Разве не был весел? Разве мы не «проболтали с вами мило» полчаса? Разве хоть одна судорога страдания промелькнула на моем лице?

Нет, Елизавета Александровна. Вы ошиблись в ваших расчетах. Я выглядел прекрасно, и вы, кажется, ушли даже недовольной. Ожидаемого спектакля вам я не дал, но для себя мою роль я сыграл превосходно.

...Теперь ее нет... Больше играть незачем... Теперь я один, и пишу вот на этой бумаге эти простые слова: «Мне больно, мне очень больно, мне ужасно больно. Конец... конец всему...»

Впрочем, так и надо... так и следует. Я заслужил это, ибо я зарвался. Поднявшись из нуля, из низов на вершины духа, я возгордился. Предъявил жизни счет на славу, на богатство и на любовь. Да еще чью? Миллионерши, красавицы, поэтессы и большой умницы? Как я это смел? Как я забыл, что я просто плебей, без гроша в кармане, богатый только великим самомнением! Как я смел бороться с г. Воеводским, имеющим все, я, не имеющий ничего, кроме самомнения, десятка статей да великих, но неосуществленных проектов! Мне ли тягаться с ним и мне ли предъявлять жизни такой счет? Вот и получай щелчок. И поделом... так и следует. Остается поставить крест и сказать: «*finita comedia*»^{7*}. Помнишь? «Если жизнь не удалась тебе, так смерть зато удастся...»^{8*} И поделом...

...Поделом? Постой... давай рассуждать спокойно. Ты хочешь конца? – Да. – Но ведь конец никуда не уйдет? – Да... – Что он тебе даст? Что ты этим докажешь? – Ничего. Только свое бессилие. – И он ведь всегда будет в твоём распоряжении? – Да... – Если так, то не резоннее ли поискать новых, лучших выходов? Нельзя ли попробовать еще раз взлететь, несмотря ни на что, а не кидаться очертя голову? Твоя воля – в твоей руке. Твои мысли – в твоём распоряжении. Не правда ли? – Верно. – И ведь от этого ничего ты не теряешь? – Верно. – Так отчего ж не попробовать? – Трудно... – Ишь ведь, что сказал: «трудно»... А ты бы хотел, чтобы жизнь тебе коври устилала: «Не ушиби, мол, дитяtko, своей ноженьки»? Тебе ли так думать! Разве не ты всю жизнь руками, ногами и головой пробивал заборы жизни и побеждал их! Не ты ли перескакивал пропасти и переходил через горы! Не твои ли ноги шли по колючкам и ухабам жизни и не твоя ли душа сосала богатые сосцы горя! Разве не привык ты к ним? – Пожалуй... – Так что же медлишь?.. Решай...

...Да... я решил. Я играю ва-банк и ставлю на карту мою жизнь. Может быть, я и выиграю. Только что я говорил себе: «Смирись». «Нет, – говорю теперь, – не смирюсь». Я соберу всю мою волю, сожму ее в одну бомбу, начиню порохом моей мысли и этим отвечу на щелчки жизни. Я заставлю ее уплатить мне мой счет. Берегитесь вы, патентованные умы служителей науки! Берегись и ты, княгиня Воеводская! Я начинаю мстить. Мне ведь терять нечего. И этим я силен. Не пришлось бы тебе пожалеть о твоём выборе. Как бы не пришлось не тебе, а мне смеяться над тобой! Быть может, придет день, когда ты придешь ко мне покорной и будешь просить моей любви. Предупреждаю: ты ее не получишь. Быть может,

далек день моей победы, но мне ли грустить об этом? Если я не проиграю, он придет. Теперь я на дне, ниже лететь нельзя. Остается быть на вершине! «Dixi»^{9*}.

...Да, я, кажется, сильно любил ее, – оторвавшись от чтения, думал Никуличев. – Из этих пожелтевших слов, написанных в ту памятную ночь, после ее визита, видно, что я был на границе жизненного краха и полного банкротства. А теперь?.. Теперь линия жизни поднялась высоко. Долина смерти осталась там, позади. Я перешагнул ее, и теперь она не страшна мне. Но чего это стоило? Шести лет нечеловеческого труда, невероятных усилий. Множества бессонных ночей, когда душа горит огнем незримых слов, когда подушка и тюфяк кажутся невыносимыми, когда усталое тело не может найти места, ворочаясь с боку на бок; когда среди ночи он вскакивал, как сумасшедший, садился за стол и работал до иступления, до того, что голова валилась на книгу и он засыпал на несколько часов тревожным сном обессиленного человека. В эти шесть лет он ушел от мира, отгородился великими заборами от его соблазнов и работал, работал и работал. Было одно оружие – мысль. Только ею он мог победить мир, не дававший ему места на жизненном пиршестве. И он победил. Разве не он расчленил запутанную сеть причинных законов человеческого общества? Разве не у него в столе хранятся кипы исписанных листов его великой книги, которая пока неведома миру, но которою он победит мир? Разве не он при помощи Колыбина совершил великое изобретение, каких не много знало человечество? Да, теперь его бомба готова, и близок день, когда он бросит ее в реку жизни. Только брызги полетят кругом. Кто исчислит те перевороты, которые она вызовет? Ни один залив жизни, ни один ручеек не останется спокойным... О, он знает это!

Еще немного терпения, – думал он, – и день этот настанет. Он уже чувствует его веяние и его головокружительный аромат.

А любовь? Она умерла. Бедная любовь маленького человека к еще более маленькой девушке. Сейчас она кажется ему старым, когда-то виденным сном. Пламя научного творчества вытравило ее из души. Да если бы не вытравило, разве нет у него средства уничтожить ее? Разве не он изобрел ключи для настраивания душ на любой тон – уничтожения одних чувств и созидания других?

Но все же как будто жаль этого исчезнувшего сна, как порой бывает жаль маленькие, голубенькие колокольчики, истоптанные и смятые тяжелыми ногами прохожих...

...Недвижно сидел ученый и смотрел в какую-то неведомую точку. Затем встал и тихо перешел к роялю... сел... и аккорды шопеновского «Adieu»^{10*} загрузили в небольшом кабинете... Кончив его, взглянул на часы...

«Пора кончить мечтательство, – подумал он. – Нужно спать. С завтрашнего дня он должен приняться за оборудование и постройку своей лаборатории. Еще год, два – и его задача будет доведена до конца...»

Щелкнула кнопка электрической лампы, и тихая ночь вошла в комнату.

II. ИДУЩИЙ И НЕ УСТАЮЩИЙ

(Заметки Никуличева)

Маленькая случайность. Недосмотрел за какими-то клетками, и они взбунтовались. В итоге – болезнь. Две недели пришлось пролежать и для окончательного выздоровления уехать на месяц в деревню. Впрочем, рано или поздно, но это должно было случиться: уж слишком крепко завинтил я свой организм и требовал от него чересчур много. Хорошо, что кризис случился вовремя. Лаборатория почти готова. Что не доделано, то докончит Иван. Следовательно, можно спокойно отдыхать и ремонтировать себя.

Итак, месяц отдыха – без книг, вычислений и исследований. Усиленное питание, прогулка и сон. Со вчерашнего дня часы сна увеличены: организму приказано засыпать в 12 и вставать в 9 вместо шести. Поблажка значительная. Мозговые центры также отдыхают. Я почти не заставляю их работать. Отдыхаю и сам.

Давно уж не видел я снежной пустыни и лунного сияния северной ночи; давно не слушал чуткой тишины дремлющего моря жизни. Как здесь тихо!

Выйдешь вечером – один в мире. Кругом стелется волнистая равнина снежных алмазов, над головой – ясное лунное небо... И ни одного голоса, ни одного человека. Изредка из деревни донесется лай собаки... и снова все тихо.

Днем катаюсь на лыжах. Брожу. Отдыхаю.

Вечером слушаю музыку и пишу. Не трактат, а «мемуары»... Надо же помочь бедным биографам. Надо же облегчить их задачу копания в чужой жизни. А то, пожалуй, и обо мне скажут: «самородок», «счастливая игра случая».

Попробуем, от нечего делать, очертить эпизоды этой игры. Быть может, не так уж случайны будут эти «случайности».

Отдыхать – так уж всюю!

* * *

Первый счастливый случай таков.

Зимняя ночь. Маленькое село на Севере. Вьюга. На улице никого.

В одной избе горит огонь. Лучина дымит, коптит, то вспыхнет, то гаснет... Сквозь дым виднеется какая-то женщина, недвижно лежащая на столе, со странном застывшим лицом и закрытыми глазами^{11*}.

Около стола четырехлетний ребенок теревит маленькой ручонкой платье женщины.

– Мама! А, мама! Встань же! – жалобно просит он.

Ответа нет... Только тени пугливо мелькают в полусвете...

– Мамочка! Встань же... – плачет ребенок. Ему и холодно, и обидно, что мать молчит.

– Экой ведь какой! – сердится тетка Анисья^{12*}, отводя мальчика от стола. – Сказано же тебе, не беспокой маму... Мама сегодня будет молчать, она умерла.

Ребенок слушает и, как только освобождается от «бабки», снова подходит к столу и начинает теревить умершую.

– Мама! А, мамочка?

Открывается дверь, и входит старший брат ребенка – восьмилетний Петя.

– Петька! Поиграй хоть ты, што ли, с ним, а то чистая беда, все к Пелагеюшке лезет! – обращается Анисья к вошедшему.

Петька отводит ребенка от стола.

– Не тронь ее, Митя. Пусть мама лежит. Она умерла, – грустно говорит он. – Поиграй лучше лучинками. Хочешь, я тебе звезду из них слажу?

Ребенок проворно усаживается около светца и начинает перебирать лучину. Тихо. Только лучина шипит временами, да вьюга плачет на улице.

Сегодня все непонятно ребенку. Как странно ведет себя мама. Подойдешь, бывало, к ней раньше, она и обнимет, и погладит, и всегда что-нибудь скажет, а сегодня отчего-то целый день лежит и молчит. Да и все сегодня что-то необычно. С утра беспокойство входило в его душу и чем дальше, тем больше росло. Утром зачем-то приходило много баб и мужиков, отчего-то печально смотрели они на маму и плакали. Почему-то называли его и брата «сиротами», разговаривая, то и дело говорили: «Царство небесное покойнице». Потом пришла бабка Анисья и зачем-то стала обмывать маму. Обмыла, положила ее на стол, и с тех пор мама не двигается и молчит. Петька отчего-то целый день тоже плачет.

– Что такое случилось? – перебирает ребенок лучины и думает. Пугливость и тоска, нараставшие за целый день, делают сильнее и сильнее. Не отдавая точного отчета, все яснее и яснее чувствует ребенок, что случилось что-то печальное, страшное. Он не знает, что представляет собой это страшное, но знает, что оно «там», в углу, где-то около «мамы»...

Лучина догорела и упала в корыто, стало темно, сделалось страшно...

Слабое, нежное тело ребенка вдруг начало тихо дрожать. Дрожь росла, становилась сильнее и сильнее. Потом все тело как-то скорчилось и застыло.

– Ма-а-м-а! – пронесся в избе раздирающий крик ребенка, и что-то тяжелое стукнулось об пол.

– Господи, Господи! Вот беда-то! – зашептала Анисья, поднимая ребенка с полу и укачивая его.

Вспыхнула лучина и осветила мертвенно-бледное лицо ребенка с пеной на губах и плачущего Петю...

– Ну же, мой бедненький! Ну же, мой хорошенький! Экая беда! Экое горе! – шептала бабка. – И отца-то ведь как на грех, нет. Хошь бы скорее приехал, што ли. Вот беда-то!

Петька плакал, снег царапался в окна, а на руках Анисьи лежал ребенок, за которого боролись жизнь и смерть.

Жизнь, однако, победила. Скоро ребенок открыл глаза.

Новое сознательное существо родилось в мир. Этим существом был я, а умершей – моя мать.

Таков был первый урок, данный мне жизнью. Такова была первая памятная «радость» детства!!

Теперь, когда я вспоминаю это и пишу об этом, мне жаль этого ребенка, которому «добрые феи» поднесли такой «дорогой подарок», но я и рад вместе с тем за него. Кто хочет быть пахарем жизни, тот должен вынести ужас смерти.

Пусть другие, не обреченные, наслаждаются беззаботным детством! Вы же, обреченные, смело идите навстречу смерти! Бегите прочь от теплых кроватей и идите на широкую дорогу. Если нечего есть – грызите землю. Если негде спать – ложитесь на дороге. Если хотите учиться – берите в учителя нужду и опасность. Труссы не бывают вертоградарями^{13*}...

– Тут холодно, ступайте на печку и ложитесь спать, – суя по куску хлеба нам в руки, посоветовала добрая бабка.

Мы пошли и прижались друг к другу. Во всю ночь мы не сказали ни слова, хотя и не забылись ни на одну минуту. Думали ли мы о чем? Не помню.

Наутро приехал отец^{14*}. Он был «серебряник» или, как значилось на вывеске, «золотых, серебряных и чеканно-малярных дел мастер Никуличев». Накануне смерти матери он уехал верст за 30 в соседнее село на работу. Мать не дождалась его и умерла.

Ее похоронили. После похорон мы пришли домой и забрались на полати, а отец долго сидел за столом и пил. Молчал и пил. Потом поднялся к нам, заглянул в глаза тяжелым взглядом и сказал:

– Что, мать ушла... Как теперь будем жить-то? Ну, да ладно. Проживем. Двух смертей не бывать, а одной не миновать, – лег и скоро заснул...

Таков первый «счастливый случай», господин будущий биограф!..

* * *

Первое время после смерти матери жилось хорошо. Была работа, отец был трезв, и мы были сыты. Через несколько времени подряд был кончен, и пришлось сниматься с насиженного места. Поклали инструменты в ящик, наняли лошадь и поехали. На Севере село от села далеко. Прибыли в одно – работы нет. Направились дальше – опять нет.

Заработанные деньги вышли.

– Ну, ребятки, теперь пойдем пешком, денег осталось мало, – сказал отец.

Надели котомки и двинулись.

Несколько недель пробродили мы, пока в одной деревне не нашлась небольшая работа. Отдохнули тут с неделю и кончили дело. Приходилось опять идти дальше. Странствовать втроем дорого и трудно, а потому отец решил, что отправится один. Когда найдет работу, вернется за нами. Оставил нам три рубля денег, меру картошки да пуд муки и уехал.

Прошла неделя, потом другая. Отец не возвращался. Мука вся вышла, картофель тоже. Скоро не стало и денег.

Ясно помню пережитую картину. В избе уж два дня не топлено. Есть нечего. Вчера нашли завалившийся кусок хлеба и разделили его с братом. Сегодня и того нет. Сидим с ним на печке, жмемся друг к другу, дуем на замерзшие пальцы. Стараемся согреться. Все-таки холодно.

– Хорошо бы поесть чего-нибудь? – мечтательно замечает брат.

Я вздыхаю.

– Щей бы теперь... Кажись, целый горшок бы слопал.

– Неплохо бы и хлебца, – вставляю я.

– Неплохо бы. А есть хочется. Холодно.

– Пойдем бегать на улицу, согреемся, – предлагаю я.

– Не пойду. Лень. И когда же приедет батька! – печально вздыхает он. – Обещал вернуться скоро, а вот все нет и нет!

На душе тревожно.

– Что будем делать, если отец не приедет и завтра, и послезавтра?..

Тревога растет. Детский лобик морщится. Без денег, без хлеба, в нетопленной избе, среди чужих людей мы одни, забытые и покинутые всеми. И нет надежды, что отец скоро вернется. Нет никакого выхода. Хочется плакать. Растет на кого-то злоба, ярая ненависть...

Так бы вот взял все и разнес.

Просить стыдно. Вчера попросили хозяйку истопить печку, а она отказалась, да еще выругала нас бобылями.

Попросишь хлеба – опять откажут.

Сидим и молчим. Потом начинаем рассказывать сказки.

Но голод не унимается.

Под вечер Петька встает и, не говоря ни слова, уходит.

– Куда ты? – спрашиваю я.

– Гулять! – бросает он и хлопает дверью. Через час возвращается.

– На, ешь! – Сует он мне «ярушник» хлеба^{15*}.

– Откуда добыл?

Молчит.

Потом узнал я, что он стащил его в одной избе.

...Так жизнь начала «лечить» нас голодом и холодом.

Таков был первый дебют моего брата по части воровства, дебют, приведший его потом к тюрьме и пьянству.

Где он теперь? В какой тюрьме тоскует его голова?.. Давно уж разошлись наши пути. Давно уж стал он «Иваном, не помнящим родства», меряющим вдоль и поперек матушку Россию, от тюрьмы к тюрьме^{16*}.

Почему я не пошел по той же дороге, здесь не место излагать. Объяснение для любителей – «случай» и «свободная воля».

...Лиха беда начало. Нельзя сказать, чтобы мы были очень толсты и жирны; однако врач, называемый жизнью, не скупился и в дальнейшем прописывал нам рецепты голода. По-видимому, этот слепой доктор путал больных и прописывал одним то, что следовало бы давать другим.

Таков второй случай, господин почтенный биограф!

* * *

Потом, когда мы подросли, голод уж не так остро мучил нас. Если не было своей работы, мы нанимались к мужикам: молотили, боронили, косили, ездили за сеном, за дровами, пасли по ночам лошадей, короче – делали всевозможные крестьянские работы. По летам ловили рыбу и питались ею.

Если эти занятия не давали денег, то избавляли, по крайней мере, от голода.

Периоды безработицы тяжелы были и в другом отношении. В такие времена отец менялся: запивал, становился злым, жестоким и невыносимым.

Его образ двойится в моей памяти. Мне казалось тогда, что у меня два отца: один – добрый и ласковый, другой – злой и пьяный^{17*}. Когда один, трезвый, уходил, приходил другой на его место. И так чередовались они один за другим. Трезвого я любил, а пьяного боялся. От неудач он запивал и часто бил нас. Помню, раз он пришел пьяный. Не знаю, чем его рассердили мы, но он вдруг начал ругаться и запер на крючок дверь избы.

– Не выпущу!.. – промышал он.

Вид его был дикий, глаза как-то странно бегали, на губах ползала нехорошая улыбка.

Мы с братом пугливо забились в угол и притихли.

Отец распечатал бутылку, сел за стол и пил рюмку за рюмкой.

Мы молчали, боялись пошевелиться.

– Что ж вы молчите! – закричал он. – Посиживаете да зубы скалите на отца, дьяволята. Отец, мол, пьяница, бездельник, морит нас голодом. Сам водку жрет, а нам есть нечего, а? Я вам дам, выкидыши проклятые! – ударил он по столу.

Я заплакал от страха.

– Ревет, подлец!.. Вот я тебе сейчас покажу, как надо реветь! – и, шатаясь, стал он подходить ко мне.

Я бросился в другой угол, но он схватил меня и начал бить кулаком по лицу, голове, по чему попало.

Брат бросился на помощь и ударил отца.

– А, стервец, бить родителя? – заорал он и схватил брата. – Я с тобой расправлюсь сейчас. Убью, как собаку!

На столе рядом лежал молоток. Отец потянулся к нему. Но брат вырвался из его рук, бросился к двери, отомкнул крючок, и мы оба выбежали.

– Не отец ты, а свинья! – дразнили его мы под окнами.

– Вот как! – появился он на крыльце. – Бить отца! Стервец! Будь ты проклят! – хрипло ревел он.

На другой день он лежал в белой горячке.

Такие сцены бывали и раньше. Отрезвившись, он немало мучился за свою дикость. Но напивался – и снова повторялось то же.

Эта сцена была последняя. Наше терпение иссякло, и мы с братом решили зажить самостоятельно. Накупили жести, красок, забрали инструменты и пошли в люди, по деревням и селам. Чеканили ризы, золотили, серебрили, малярили и были сыты.

Только раз еще, два года спустя, мне удалось видеть отца. Это было тогда, когда я учился в двухклассной школе. Был он тогда трезвый и ласковый. Привез мне гостинцев, похвалил меня за хорошее учение, оставил пять рублей денег и уехал на работу верст за триста.

– Кажись, я вижу тебя, Митя, в последний раз, – грустно сказал он на прощанье. – Нехорошо что-то у меня на сердце... Смотри же, учись, в люди выйдешь. Коли жив буду и найду работу – пришлю денег, не найду – не осуди. Ну, прощай, будь человеком, не пей, как я, а то сгинешь ни за грош!.. – перекрестил он меня.

Его предчувствие сбылось. Скоро с ним случился удар, и он умер, один, без родных и без близких. И лежит теперь где-то там, на высоком берегу широкой реки, без креста и без памятника. Разбросала судьба по разным местам моих близких. Где-то в селе – могила сестры, в другом – матери, а в третьем – могила отца, и лежат они одинокие, никому не ведомые. Где они? Кто их укажет теперь? Никто... У судьбы есть своя логика. Мы, грядущие люди, должны быть беспочвенными и свободными от груза традиций и исторического наследства, и сама судьба идет нам на помощь. Ничто нас не связывает с прошлым. У нас нет позади даже груза могил и власти мертвых. Они умерли с предками. И исчезли в безвестных могилах. Ветер занес могильные курганы, бедные кресты сгнили от осенних дождей, а надписи стерты весенними ливнями и зимними морозами. Остался только прах и пепел. И растут теперь там кудрявые березки; шумят они в ветреные дни своими листьями и никому не скажут своей тайны. Спите

же спокойно, милые! При жизни вам не приходилось спать. Теперь отдыхайте. При жизни вы несли на себе бремя нужды и невзгод, по смерти – вы не тянете нас назад. Ваша задача выполнена. Нет худа без добра. И ирония судьбы бывает полезна и символична.

Таков третий «счастливый» случай, господин любознательный биограф!

* * *

Сегодня я был в церкви. Бедная сельская церковь. Темно... Горят две-три свечки. Пусто... Снова ожил тот таинственный мир, которым когда-то жила душа ребенка.

В ранние зимние утра, когда заря еще только розовеет над полосой леса, когда дым из изб прямыми столбами восходит к небу, я любил ходить в церковь, такую же безлюдную и сумрачную, как и вчера. Переступая порог, я входил в новый мир, мир «чистых сердцем» великих подвижников. Лики святых казались живыми. Вот архидиакон Стефан^{18*}, побиваемый камнями. Вот Георгий, храбро убивающий дракона^{19*}; а рядом с ним великий Пахомий, ушедший от мира в далекую египетскую пустыню^{20*}.

– Да исправится молитва моя! – звучали тихие слова. И детская душа отзывчиво вторила им.

– Мир вам! – говорит кто-то. И вечный мир наполнял юную душу...

За окнами кудрявились березки и любовно осеняли белые кресты на могилах. Падали косые лучи солнца, и горело золото Духа Святого на воротах «царя царей»...

– Свете тихий! Святые славы!.. – пели незримые ангелы. – Пришедшие на запад солнца, видевшие свет вечерний...^{21*} – Тихий свет и тихая ласка чудились в косых лучах вечернего заката и в тихом пламени светящейся лампадки.

А ласка так нужна человеку! Кто мог ее дать мне? Мать? Увы, ее не было. Временами хотелось кому-то доброму рассказать все, пожаловаться на горести, попросить совета и участия, и я шел сюда и находил то, чего недоставало душе брошенного ребенка. В минуты, когда хоронили покойника, особенно жадно упивался я дивными словами прощальной поэмы:

– Со святыми упокой!.. Иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная!.. – Тихая печаль окрыляла душу и наполняла ее чистым светом вечного покоя.

...Нередко целые дни проводил я под темными сводами церкви. Заберешься на леса, обмакнешь кисть в краску и начнешь покрывать стены или иконостас. Гулко отдаются слова. Звучно льется божественная песня, и быстро идет работа. Временами заглядишься на какого-нибудь святого, вспомнишь его жизнь и на минуту забываешь работу.

Но раздавались окрики отца: «Эй, ты, маляр! Смотри, неладно намазал!», или: «Эй, ты, блаженный, слетишь!» – и фантазия исчезала. Я и до сих пор люблю запах свежей краски, высоту лесов и глубокоую бездну под ногами...

Хорошо летом на крыше церкви! Высоко-высоко стоишь над всеми людьми! Солнце горит, кругом синева, теплая железная крыша приятно щекочет подошвы ног, вдали синей лентой вьется река, временами пролетит ветер, а под ногами – бездна, немного жуткая, манящая вниз. Каждое движение должно быть рассчитано, каждый шаг измерен. Иначе беда! Сорвешься – и готов. И срывались... Красили однажды мы с маляром Ферапонтом церковь. Он был на шпиле, а я на куполе храма. День был ласковый, летний. Небо было тающе-синее. Кругом тихо. Солнце всюду разбросало золото и само золотом горело на главах церкви. Я мурлыкал какую-то песню, а Ферапонт подпевал мне. Вдруг – дикий крик. Взглянул: что-то черное падает вниз. Вот оно ударилось об один выступ, полетело дальше, грохнулось на крышу пролета, медленно поползло по ней до края и, наконец, тяжело и мягко екнуло об землю. Помню, как застыл я и как тихая дрожь пошла по всему телу. Стоял, видел, как оно падало, видел, как покраснел белый выступ, как темно-коричневые пятна отпечатывались на крыше.

Нужно было слезать вниз, но руки и ноги одеревенели. Кружилась голова. Кое-как спустился. Внизу на зеленой траве лежало тело Ферапонта, скрюченное и окровавленное. Череп лопнул, и из него выползла серо-красная масса мозга.

Теперь, когда приходится читать в газетах, как обрываются с лесов рабочие, предо мной всегда встает та же картина, тот же красный выступ, темно-коричневые пятна и окровавленное тело на зеленой траве...

Да, судьба делает свое дело. Жизнь прописывает свои рецепты, газеты пишут, а люди за кофе почитывают об этом, пережевывая булку с маслом. Какое им дело до тех, кому достался такой жребий! Их стулья прочны, и они с них не свалятся. А если и свалятся, не разобьются. Невысоко, и... ковры под ногами. Счастливицы!

Раза два или три и самому мне пришлось быть на краю смерти. Однажды красили мы в городе старый собор с высокой колокольней. День был такой же лазурный. Установили лестницы и начали красить крышу колокольни. Занятые работой, мы не заметили, как надвинулась туча. Тревожно залетали голуби и галки. Пугливо начали визжать языки колоколов, качаемые ветром. Поднялся ураган и начал крутить. Мы – к лестнице. Поздно... Треск... Лестницу сорвало. Кругом ад. Под нами аршинная, отлогая полоска крыши. За ней – бездна. Руки судорожно вцепились в веревку, обнесенную вокруг купола. Везде трещит. Внизу крутятся столбы пыли. Несутся обломки крыш... Сорвало шапку... упала... Вот-вот сорвет и нас.

Не знаю, каким чудом спаслись мы. Когда после бури нас сняли, у меня на ладонях была кровавая полоса живого мяса^{22*}.

Таковы дальнейшие «счастливые случаи». Не усматриваете ли маленькую закономерность во всем этом, господин уважаемый биограф?

* * *

...Когда и где я выучился читать, не помню... В памяти встает образ дьячка, медленно водящего толстым, корявым пальцем по старому молитвеннику и монотонно тянущего: «буки-аз-ба», «веди-аз-ва». Рисуется еще ряд изб со множеством ребят, с черной доской, со счетами... Эти школы грамоты урывками посещал я во время наших скитаний из села в село...

Лишь два факта помню ясно из этого раннего периода.

Было мне тогда, должно быть, лет семь. Отец уехал на поиски работы, а я от нечего делать стал ходить к старой просвирне^{23*}, обучавшей детей чтению и письму.

В тот день задала она задачу о стаде гусей^{24*}... Долго мы ломали голову, наконец мне удалось решить ее.

– Молодец, Митька! – похвалила меня старая просвирня. – Молодец. Молодец, право. На тебе за это картинку, – протянула она бумажку...

С гордостью вышел я из избы и, придя к себе, торжественно приклеил свою «награду» рядом с образами...

Картиной была зеленоватая конфетная обложка. Изображала она желтоватую грушу и гласила: «Дюшес. Карамель фабрики Масленникова и С[ыновья]я в Ярославле»^{25*}.

...Другой факт таков... Была крепкая, морозная зима. У меня валенок не было, и я бегал в школу в продранных кожаных сапогах... Ноги коченели на улице. Мерзли и в школе... Стараюсь согреть их, во время занятий я стучал ногой об ногу, забывши, что произвожу шум и мешаю заниматься.

– Никуличев, не стучать, не шуметь, – приказал мне учитель...

Я притих. Потом забылся и бессознательно снова застучал...

– Вставай на колени за то, что шалишь!.. – взявши меня за ухо, повел он в угол.

– Я не шалю... холодно!.. – растерявшись и рассердившись, заметил я...

– Э, да ты в сапогах... Верю. Я не знал этого. Не годится, дружок, так-то. Можно простудиться. Чего же ты не сказал раньше?.. Садись к печке, тут теплее, – ласково поглаживая волосы, оправдывался он.

Эта прямота и маленькая честность учителя не забылись. Я их помню. Помню еще и потому, что его пророчество оправдалось: скоро я простудился и заболел воспалением легких. Ничего. Выдержал.

...Дальше помню себя уже грамотным. В свободные вечера, в незанятую минуту вижу себя жадно читающим все, что попадает под руку и что удавалось достать в заброшенных селах и деревнях...

Приехав на новое место, первым делом я старался добыть книгу. Была какая-то тяга к ней, тоска по книге... С завистью посматривал я в школе на книжные шкафы. «Как хорошо быть учителем! – мечтал я. – Книг – множество! Всю жизнь читай – не перечитаешь!»

...Этой тягой к книге и обязан я тому, что попал на научную дорогу. Впрочем, для «глубоких умов» и здесь дан любимый ими «счастливый случай».

Во время «самостоятельной» жизни в людях пришли мы с братом однажды в село Г.^{26*} Посредине его бросилось в глаза большое новое здание. На наш вопрос, что это такое, мы узнали, что это новая второклассная школа и что на днях будут приемные экзамены.

Мое любопытство было возбуждено. В день экзаменов, не сказавши ничего брату, я пошел в школу. Интересно было посмотреть, в чем состоят экзамены.

Большой стол, покрытый зеленым сукном, два учителя и священник – вот то, что я увидел в школе.

Экзамены начались...

Стою и слушаю, что спрашивают и что отвечают.

Вижу, вопросы простые. Я мог бы ответить на них.

Не отдавая отчета, подхожу и я к столу.

– Тебе что? – спрашивает меня священник.

– Я тоже знаю, – запинаясь, отвечаю я. – Спросите.

– Да кто ты такой?

– Димитрий Никуличев.

– А где твое прошение и документы?

Краснею, потею...

– Какое прошение? – спрашиваю я.

– Да прошение о приеме и документы?

– Я без прошения.

– Так нельзя.

– Да я знаю не хуже их.

– Мало ли что.

– Отец Иван, спросим его, – вмешался один из учителей.

Они о чем-то пошептались между собой.

– Ну, а паспорт-то есть у тебя?

– Есть, – доставая его, ответил я.

– А метрика?

Метрики не было, да я и не знал, что это за штука.

Они пошептались немного и решили проэкзаменовать меня.

Отвечал я хорошо, бойко и правильно, хотя и путал слова и готов был расплакаться.

– Хорошо, очень хорошо, – подбодрили меня священник и учитель.

– Коли хочешь учиться – учись, только достань метрику, – сказали мне после экзамена.

Слома голову вылетел я из школы и помчался к брату.

– Меня приняли, – заявил я ему.

– Что ты, объелся, что ли? Куда приняли?

– В школу. Буду учителем.

– Вот тебе и на. В какую школу? Расскажи толком.

Я, путаясь, рассказал ему, в чем дело.

– Ишь ты, химик какой! – плюнув сквозь зубы, заявил он.

– Что ж, коли приняли, валяй, учись. Метрику достанем... Значит, одному теперь придется малярить. Ну, да ладно. Одна голова не бедна, а бедна, да одна, – с грустью в голосе заявил он.

Таков был «счастливый случай», поставивший меня на путь науки. Ему я обязан тем, что был принят в школу «без метрики». Виктор Гюго где-то говорит, что можно было бы написать целое исследование о роли погон в истории человечества. С еще большим успехом можно было бы заняться исследованием великой роли, которую играют в судьбах народов и царств разные «метрики». Временами достаточно одной «метрики», чтобы повернуть историческую колымагу на новую дорогу.

Жизнь не раз убеждала меня в правильности этой мысли.

* * *

Началось ученье. В школе я познакомился с Колыбиным и подружился на всю жизнь...

Кончили школу и поехали с ним в учительскую семинарию. Купили за два рубля лодку и спустились по реке, а сто верст прошли пешком. Поступили... Принялись за работу. Много книг было прочтено здесь, много передумано и много пережито. Итог всего: в науке мы стали поборниками точного знания и врагами пустых фраз, в жизни – кончили тюрьмой... Язвы общественной справедливости слишком ясно встали перед нами. Прочитанные трактаты на социальные темы раскрыли глаза на многое, а лично испытанный гнет несправедливости требовал посильного участия в творчестве будущего. Около трех лет занимались мы пропагандой среди крестьян и рабочих – и в результате были арестованы...

Тюрьма!.. Теперь, когда я пишу это страшное слово, я пишу его с радостью и с теплым чувством!.. Искренно благодарю жизнь за то, что она бросила меня в грязную, вонючую камеру. Теоретического знакомства с тюрьмой недостаточно... Нужно лично пройти через эту школу, поучительнейшую из всех школ... У нее есть одно достоинство: она либо губит, либо спасает, и делает то и другое навсегда и окончательно.

...Мне сразу повезло. В первый же вечер из соседней камеры донеслись до меня крики... Кричал как будто детский голос. О чем-то просил и плакал. Хриплое рычание временами покрывало его... Наконец, раздался визг, и все смолкло... Утром, выйдя в коридор за кипятком, я встретил у котла ребенка. На вид ему было около 10 лет. Чистое лицо, удивительные глаза, во всем облике что-то нежное, подлинно детское. И вместе с тем – грязная, разорванная рубаха, разорванные штаны, красные пятна и желтовато-черные синяки на нежном, белом теле. Если бы в парашу посадили чистую, белую розу, контраст не мог бы быть бóльшим, чем лицо этого мальчика и тюремная обстановка.

Я невольно заинтересовался...

– Ты в какой камере? – спросил я его.

– В шестом номере, – грустно ответил он.

– Это не ты кричал вчера?

– Я, – смутился мальчик.

– О чем? Почему?

Мальчик молчал.

– Тебя били?

– Н-н-нет, – вспыхнул собеседник... Что-то пробежало по лицу, и в глазах вдруг появились слезы.

– Так почему же кричал ты?

Чайник, который держал он, со звоном упал на пол, смешно задрожали губы, и послышалось всхлипывание.

Нежное тело тихо задрожало...

Я обнял его и тихо спросил:

– Тебя обидели? Изнасиловали? – с трудом выдавил я слово...

– Д-д-а-а...

Позже вот что узнал я о нем.

Посадили его лишь несколько дней тому назад. Из голодной деревни прибыл он в город на заработки. Как беспаспортный, был арестован и пересылался по этапу на родину. Но до отправки должен был ждать две недели. И ждать в камере с двумя взрослыми каторжниками, людьми бывалыми, отправившими на тот свет не одного человека. Они воспользовались случаем и ребенка изнасиловали.

Но этого мало. Один из них оказался сифилитиком, а следовательно...

Люди жалеют измятые цветы... Неприятно, когда топчут их ногами. В тюрьме на моих глазах исковеркали в две недели чистейшую детскую душу, взлелеянную тихими вечерними закатами, мирной тишиной полей и задумчивым шепотом леса. Смяли и загрязнили на всю жизнь...

Через неделю не раз слышал я, как чистый детский голос выводил:

Отца я зарезал,
А мать я убил,
Малую сестренку
В воде утопил...

Эта песня сменялась другой:

Ты не плачь, Маруся...
Будешь ты моя!

– грустно звенел голос.

Я куплю картошки, –
Жри ты как свинья!..

– со смехом вместе с сиплыми голосами продолжал он.

Одна душа пропала... Тюрьма верна себе: если губит она, то губит навсегда...

Таков был первый номер тюремного «исправления преступников», о котором так много говорят ученые криминалисты и почтенные представители правосудия. Тюрьма дала мне пример, поучительный даже для слепых...

...Познакомился позже я и с упомянутыми кандальниками... Одного звали Фомкой. Невысокого роста, с острыми скулами, с раскосыми глазами, он не ходил, а скорее неслышно скользил... Весь он был какой-то гибкий, напоминавший тигра... Его кандалы не звенели. Губы были вечно сжаты, а лицо всегда холодно и подвижно. Нога и руки его были переломлены, ребро продавлено. Несколько раз его избивали до полусмерти... И, однако, ничего. Человек был жив, а мускулы оставались стальными.

Ни разу в его разговорах не слышал я вздоха или сожаления.

Спокойно и холодно говорил он о своих убийствах.

– И вам не жаль было их? – спросил я однажды его.

Фомка презрительно усмехнулся.

– Стервотину не жалеют.

Убийство, разбой, изнасилование, кража – вот краткий список его подвигов.

Только однажды уловил я молнию в его холодных глазах. Это было тогда, когда он рассказывал, как изнасиловал одну барыню и вырвал у нее горло:

– Вот так, двумя пальцами. Запустил их поглубже... Тепло и мягко. А стерва хрипит... Держу нарочно подольше, да вдруг как дерну!.. – молния блеснула и тотчас же померкла...

Вне тюрьмы, вне таких же каторжников людей для него не было. Все, что было за стенами тюрьмы, была «стервотина», «падаль», «добыча». Эта «стервотина» била его, переломала ребра, сажала в тюрьму, заковывала в кандалы. И он отвечал ей тем же. И они оставались квиты... «Зуб за зуб, око за око...»

Таков был этот закоренелый преступник. Не скрыл он, однако, что когда-то был иным и думал иначе. Рассказал и то, что нелегко поднял он руку на первую жертву.

– Был молод, а потому глуп, – усмехнулся он. – Я пожалел, а стервотина не жалела... Значит, нужно было равнение. Я и уравнился...

...Много других и вновь начинающих, и заматерелых прошло предо мной в тюремной школе... Жизнь словно нарочно подбирала коллекцию представителей человеческого рода. Показывала одного, другого. Словно говорила: «Есть такие, есть и такие; а не угодно ли еще этаких... Полюбуйся вот и этими!»

И я «любовался». Ум «холодно размышлял»^{27*}, а сердце тихо болело...

– Никак твоего брата привели к нам, – втаскивая на ночь парашу, сказал мне однажды парашник Седелков. – Просил передать тебе поклон и спрашивал, нет ли у тебя чаю и сахару.

– С воли привели его, что ли? – спросил я.

– Кажись, нет. Должно быть, на суд ведут этапом. Сегодня большую партию пригнали...

Во время вечернего обхода я попросил начальника дать мне свидание с братом.

– Хорошо. Завтра увидите, – ответил он.

На другой день в канцелярии тюрьмы – она же была и местом свиданий – мы встретились.

– Вот и свиделись, – улыбаясь, пожал мне руку брат. – Недалеко уехал ты со своим ученьем. Только и разницы, что я в бушлате, а ты в своей одежде, – усмехнулся он.

Я молча оглядывал его. Те же умные глаза, энергичный подбородок, что и раньше. Только бледнее лицо, глубже впадина между бровями и резче сеть морщин на лбу и около глаз...

– Что у тебя с рукой? – спросил я, заметив его руку, обмотанную грязной тряпкой и подвешенную на веревке.

– Сломали, когда засыпался... Избили, подлецы, до смерти; накрыли и давай молотить жердями... Рука ничего, заживет; вот грудь болит, это хуже, – кашляя, говорил он. – Отбили все нутро. Ну, а ты-то как попал сюда? Тоже, поди, за добрые дела?..

Я рассказал, за что арестовали нас.

– Тэк-с... Так ли, этак ли, а выходит, что нашего полку прибыло. Ну и слава Богу, – не то радуясь, не то грустя, отозвался он. – А я ведь думал, что из тебя прок будет. Выходит, теперь мы одного поля ягода. Ну и ладно. Спасибо тебе за чай...

Я предложил ему немного денег.

– Ладно, давай. Сегодня ты богат, а завтра, может, я буду богаче. Авось и сквитаемся. Выйду на волю, пришлю тебе.

Время свидания кончилось.

– Ну, прощай, – грустно добавил он. – Жалко, что и из тебя ничего не вышло.

И мы расстались. С тех пор я не видал его.

Жизнь логична. Если один брат в тюрьме, она посылает туда же и других... Почтенные же криминалисты с легкой руки Ломброзо, построят по этому поводу теорию «прирожденных преступников»^{28*}, дадут таблицу всех родственников, когда-либо в чем-либо прегрешивших, и с полной уверенностью будут говорить:

– Вы не верили в природенных преступников. Убедитесь... вот вам лишний пример. Ни наука, ни ученье не спасли «прирожденного» от пути преступлений. Яблоко от яблони недалеко падает. Вся и разница между братьями та лишь, что один в арестантском бушлате, а другой – в своей одежде. Поэтому – долой глупую гуманность. Для безопасности общества «прирожденные» должны быть обезврежены. Одно лекарство – виселица, другое – кастрация, третье – калечение этих неисправимых. Если нельзя убить змею, нужно вырвать ее ядовитое жало... Здесь не место вредной сентиментальности!..

Много подобных речей слышал и читал я позже. Без тени сомнений и колебаний говорились они «известными корифеями науки». И общество вторило им. Охотно поддакивало и временами практически осуществляло их рецепты.

Скажем с Кандидом: «Все идет к лучшему в этом наилучшем из миров»^{29*}. Есть сердитые бульдоги и лягающиеся ослы и среди ученых.

Я же благодарю жизнь за тюрьму. Здесь лицом к лицу познакомился я с «отбросами человечества», наиболее униженными и оскорбленными из всего мира обделенных и несчастных. И этих уроков я не забыл. Да их и нельзя забыть. Они мне пригодились.

...Суда над нами не было. Просидели мы около года. Наконец нас выпустили.

– Вы должны указать, где вы будете жить, – заявил Колыбину и мне жан-дармский ротмистр.

– Не знаем. Быть может, в этом же городе, если найдем работу, – ответили мы.

– Ну, нет-с, голубчики. Ни здесь, ни в этой губернии вам нельзя быть-с. В три дня вы должны оставить ее пределы.

– Где найдем работу, там и будем жить.

– Но где же?

– А мы почему знаем?

– Тогда оставайтесь в тюрьме.

– Покорнейше благодарим вас, – ответил Колыбин. – Мне что-то не хотца.

Долго бился с нами ротмистр, настаивая на том, что мы отданы под негласный надзор и потому должны указать наше местожительство.

Так ничего и не добился.

– Ну, ладно, уходите. Но через три дня вы должны известить полицию о том, где вы будете жить.

– Не беспокойтесь. С удовольствием, – ответил я.

– Как же, известим, держи карман шире, – шепнул мне на ухо Колыбин.

...С узелками под мышкой вышли мы из стен тюрьмы на улицу. Снова стали свободными гражданами, теперь уже вполне свободными, без школы и без начальства.

– Направо – бесконечность, налево – бесконечность, бесконечность впереди и позади. Куда хочешь идти, великий странник? – шутя обратился ко мне Иван.

– Иду на вокзал, еду в школу, оттуда – в даль деревень! – в тон ему ответил я.

Нам было по 17 лет. С нами были молодость, воля и ум. О чем же было грустить? Поля родные просторны, дорог в мире много, нужда и горе испытаны... И мы весело зашагали к вокзалу.

Радостно встретили нас в семинарии товарищи, но быстро выгнало нас из здания начальство.

– Чтобы ноги вашей здесь не было! – заявил нам директор. – Довольно!..

Без особенной тоски двинулись мы в соседние фабричные села – Иван в одно, я в другое. Где-то в глубине души копошилось опасение: «Скоро снова влопаемся и снова попадем в тюрьму». Но... терять было нечего, и тревога засыпала.

Началось странствование из села в село, с фабрики на другую, с массовой на митинг. Питались – тем, чем покормят. Спали – где придется. Одевались – в то, что дадут. Мы были апостолами: не брали с собой ни сумы, ни денег, ни двух одежд. Ничего, кроме револьвера и патронов. Около года странствовали мы в пределах двух губерний. Имена Головни и Никанора, наши клички, приобрели почетную известность среди фабрик и волновавшихся сел.

Много было пережито за этот год. Много сил ухлопали мы в нашу работу. Немало и опасностей пришлось испытать нам. Удивляюсь, как шальная пуля или удар шашкой не ухлопали нас. Еще большим чудом кажется, как не попали мы снова в руки охранителей. Всем существом ушел я в работу и полон был глубокой радостью социального строительства. Дышалось легко в душевной избе, глаза смотрели ясно и твердо, тени не ползали по чистому лбу, и улыбка на губах была решительная, но ласковая и светлая. Радовал и внешний успех работы. Кружки росли, число «сознательных» быстро увеличивалось, организация клеилась.

Но месяцев через пять обозначилась трещина, а еще через два-три месяца уже с горьким сожалением я должен был сказать себе: «Что-то тут неладно. Мы делаем не то, что нужно, или, вернее, не так, как нужно».

Кружки и «сознательные» росли, и это вначале радовало. Но по мере того, как вникал я в дело глубже, видел, что эти кружки – видимость; «сознательность» – только слабый налет внешней культурности, а вся «организация» – нелепая копия порядков, которые мы сами же разрушали. Были единицы чистые, глубоко впитавшие в себя дух грядущего, подлинные люди будущего. А масса, ее душа, ее нутро – оставалось старым.

Историческая колымага двигалась ужасно медленно. «Нужно найти новый кнут и безжалостно стегать им и возницу, и лошадей истории. Иначе пройдут сотни лет, раздавлены будут миллионы жертв прежде, чем сколько-нибудь значительно изменится “нутро” народа».

Таков был конечный пункт этого душевного перелома. К тому же выводу пришел и Иван.

Много содействовали этому и «чиновники революции»...

В итоге мы «подали в отставку». Выслушав ряд оскорбительных замечаний от «двух комитетчиков», ничего не сделавших для дела, не рисковавших жизнью ни разу, мы вышли из заседания и, измученные, с истрепавшимися нервами, поехали на родину. «Покосим, попашем и отдохнем, – решили мы, – а там увидим, что делать».

С чувством облегчения сели в поезд. Каждый из нас чувствовал, что кончилась одна полоса жизни, что наступает перерыв, за которым должна начаться новая. Какая? Точно мы не знали. Только смутно чувствовали, что перед нами стоит большая задача. «Удастся ли решить ее?» – спрашивали мы друг друга. Если удастся – «победителя не судят», если нет – мы вычеркнуты из жизни. О «буржуазном покое» мы меньше всего думали. Мы снова рисковали. «Посмотрим, риск, говорят, благородное дело, – спокойно улыбнулся Колыбин. – Позаботься-ка о кипятке и хлебе. Я сегодня не ел целый день. А там – утро вечера мудренее».

Поезд свистнул, и... одно действие нашей жизни кончилось, начиналось другое.

Какое удачное сплетение «счастливых случаев»? Не правда ли, мой уважаемый жизнеописатель? А?

* * *

...Только что перелистал присланный Иваном томик стихов Елизаветы Воеводской... Узнаю знакомые мотивы. Вот и «Fatum», написанный давно, еще в те далекие, ушедшие времена.

Наши души велением Рока
Сплетены в неразрывную нить.
Оборваться ей не дано срока.
Суждено без конца ее вить...^{30*}

Те же слова... Но посвящение, когда-то сделанное мне, теперь исчезло. Его нет, как не стало и нити, сплетавшей нас в одно неразрывное... Она оборвалась... Любовь, однажды бросившая и мне свою улыбку, давно погасла и ушла...

Перевернем и эти страницы. Они тоже связаны с изобретением: не только любовь и радость, но и оскорбления руководят нами и толкают нас.

Слово «любовь» узнал я рано. Но, что оно значило, едва ли отдавал себе отчет. Видел, как парни и девки «любились», слышал, как говорили и пели про

любовь, знал, что многие спят вместе, но... все это казалось ненастоящей любовью. Это было что-то иное, грешное и нехорошее.

Любовь рисовалась мне совсем иной. По романам я знал ее, по романам же и рисовал ее образ. А так как в романах любят обычно взрослые, то я и думал, что раньше 20–25 лет влюбиться нельзя. Помню, как искренно хохотал я над одним товарищем в первый год учения в семинарии. Ему было 15 лет. Однажды он по секрету сказал мне, что «любит до безумия» русокудрую девушку, дочь учителя, любит и мучается, ревнует и не знает, что делать.

– Ну, давай не мели чепуху, – рассмеявшись от души, оборвал я.

Тот оскорбился.

– Свинья! – сказал он. – Я с тобой говорю по душам, как с другом, а ты плотку дерешь. Чего хохочешь-то?

– Еще бы не хохотать. Ты так ловко разыграл влюбленного, что нельзя было не рассмеяться.

– Так я ломаюсь по-твоему?.. Скотина ты, вот что!

– Неужто же не ломаешься?

– Поди к черту!

– Да разве пятнадцатилетние могут влюбляться? – спросил я.

– А по-твоему семидесятилетние, что ли? Откуда ты упал, с земли или с неба?

Тон был искренен, и теперь настала моя очередь удивляться.

– Семидесятилетние не семидесятилетние, но раньше двадцати лет не влюбляются.

– Дурак! – спокойно заметил мой товарищ. – Умойся и перекрестись.

Этот разговор заставил меня усомниться в моей теории.

Скоро жизнь разбила ее наголову. Неслышно и незримо пришла любовь. Один раз пришла она... бесконечная и единственная, прекрасная в своей наивности и молодости. Пришла светлой, ясной, чудесной. Захватила душу, обвеяла ее дивными ароматами, вдохнула радость и силы. И ушла... оставив кровавую рану да горечь осенней полыни. Болела рана дни, недели, месяцы. И, наконец, прикрылась придорожной пылью. Серым саваном окутала душу... надолго... навсегда. Остался лишь сухой, жесткий рубец да тихие воспоминания.

Ночевала тучка золотая

На груди утеса-великана...

...Одиноко он стоит, задумавшись глубоко,

И тихонько плачет он в пустыне^{31*}.

Много времени прошло с тех пор. Боль сменилась тихой грустью. Теперь в минуту отдыха, в вечерние одинокие часы, изредка приходит ко мне моя гостья. Прилетают воспоминания и кружатся в пугливых отблесках пылающего камня. Я сижу и слушаю их шепот и пью непьянящую сладость прошлого.

Я полюбил мою гостью и рад ее видеть в редкие часы покоя. Вот все, что осталось от моей любви.

Когда впервые попал я в город, мне удивительно красивыми показались девушки и женщины. Белые, нежные, изящные, одетые в дорогие платья, они были совсем непохожи на деревенских девиц.

«Какие красивые! – думал я, глядя на них. – Словно игрушки. Точно на картинках». И невольно любовался нежными лицами, ловил живую игру взглядов, схватывал улыбки и трепетно созерцал капризный извив косы.

В семинарии жил я уроками и малярством. Учился хорошо, поэтому учителя нередко рекомендовали меня в качестве хорошего репетитора.

Вскоре после поступления мне улыбнулся хороший урок. Местному богачу, предводителю дворянства, потребовался репетитор – готовить сына в первый класс гимназии. По предложению учителя я отправился к этому барину.

В нескладном пиджаке, в заплатанных брюках и в истоптанных сапогах явился я к первому аристократу города. В силу ли минутного хорошего настроения или благодаря хорошему отзыву учителя – не знаю, но почему-то меня не прогнали. И даже посадили пить чай. Не забыть то нелепое состояние, которое охватило меня в этой обстановке. «Барин» шутил, «барыня» вежливо и ласково говорила со мной. Казалось бы, сиди да посиживай. Но сидеть было нелегко. Я сидел, потел, краснел, что-то отвечал, но, кажется, невпопад. Особенно смущала меня сидевшая напротив девушка с лучистыми серыми глазами и с водопадом бело-русых волос. Случайно взглянув на нее, я поймал два-три смеющихся взгляда, которыми обменялась она с моим будущим учеником. Предметом смеха, конечно, был я. Да и как было не смеяться надо мной! Пиджак чертовой кожи^{32*}, сшитый деревенским портным, сидел нелепо, да вдобавок был еще измазан кое-где краской. Болотные бакилы, давно не выдавшие дегтя, поружели. Пестрядинная рубаха^{33*} мало походила на белоснежную сорочку. Я сидел, словно пригвожденный к стулу, и не смел двинуть ни рукой, ни ногой.

В довершение всего я опрокинул стакан на чистую скатерть. Если бы мог, я охотно провалился бы в преисподнюю.

– Ничего. Не беда, – ласково ответила барыня.

Звонким смехом разразились брат с сестрой.

Не выдержав, я вскочил, что-то пробормотал и убежал.

Такова была первая встреча с Лизой^{34*}.

Лучистые глаза, полные веселья и в то же время какой-то глубины, врезались с тех пор в душу.

После бегства я долго не видал ее.

Однажды встретился на улице. Она шла с каким-то красивым реалистом. Я смутился, споткнулся о мостки и чуть не упал. Звонкий смех снова был ответом на мою неловкость.

При одной мысли о ней какая-то щемящая грусть, сладкая в своей мучительности, охватывала душу. Я не смел думать, что люблю ее. Одна мысль о любви показалась бы мне кошунством. Я мог только молиться и благоговеть перед ней. И я молился, а она при встречах от души хохотала над моей неуклюжестью.

Однажды, когда мы занимались с учеником, в комнату вошла Лиза. Я по обыкновению растерялся и покраснел.

– Я слышала, вы хорошо решаете задачи, – улыбаясь, обратилась она ко мне. – Не можете ли решить вот эту. Нам задали. Я билась, билась – ничего не вышло. Не могли решить и реалисты.

Какая-то пьяная волна радости хлынула в душу при этих словах. Да и могла ли быть какая-нибудь задача, которую я не взялся бы решить тогда? Я почти выхватил бумажку из ее рук, что-то пробормотал и сел за стол. Зеленые круги плыли перед глазами. Я смотрел на бумажку и ничего не видел. Но скоро успокоился, и задача была решена.

– Пустая задача, – протягивая решение, похвастался я.

– Как, вы решили? – удивленно спросила она.

– Как видите.

Я, краснея и волнуясь, стал объяснять ей ход решения.

– Спасибо, – протянула она руку.

Я трепетно пожал ее. В тот день я был невменяем. Ходил по земле, но чувствовал себя на небе. С этого дня Лиза чаще и чаще стала обращаться ко мне с такими просьбами. И не только за себя, но и за своих подруг и товарищей. И не только с задачами, но и с сочинениями, и вообще со всеми затруднительными вопросами.

...Мало-помалу уменьшалась и моя «дикость». Встречаясь с ее «кавалерами», я не чувствовал себя больше презренным плебеем.

Обаяние лоска и внешности потускнело в моих глазах.

Изменилось и их отношение ко мне. Раньше я не раз был предметом их остроумия и издевательства. Теперь эти шутки делались реже и реже. Особенно после того, как однажды я дал решительный отпор одному из вылощенных пшютов^{35*}.

В один из вечеров барыня остановила меня.

– Куда вы торопитесь, – сказала она. – Успеете еще в свою конуру. Лучше пойдемте пить чай.

Я согласился. В столовой уже сидели Лиза, ее подруга и двое из их постоянных кавалеров.

Оба они были выхолены, в чистеньких мундирчиках и держали себя свободно. Раза два приходилось решать задачи и для них. Я стал здороваться и задел ногой стул. Они рассмеялись. Я, сконфуженный, сел. Беседа о пустяках легко и плавно шла между ними. Я сидел и молчал. Досадно было за свою неловкость.

Время от времени один из реалистов презрительно щурил глаза и смотрел на меня. Глаза скользили по моему пиджаку, его рукавам с бахромами. Они, казалось, обыскивали меня и нарочно подчеркивали все изыяны моего костюма.

– Однако и репетитор же у вас? – довольно громко сказал он Лизе. – Почему вы ходите таким оборванцем? Разве не знаете, что это неприлично? – высокомерно обратился он ко мне.

Меня взорвало. Злость, ревность, досада за неловкость, стыд перед Лизой забурлили в душе.

– А почему вы так глупы, что не можете решать задачи и заставляете решать меня? – неожиданно для себя выпалил я.

Удивленные взгляды присутствовавших остановились на мне.

– Что? Да как вы смеете говорить мне дерзости, мужик!

– Да, я мужик. А вот вы – так пустая финтифлюшка.

– Невежа! Оборванец!

– А вы дурак!

Реалист^{36*} вскочил... сжал кулаки.

– Да я тебя, грубиян!

– Попробуй! У меня ведь кулаки-то мозолистые, не твои! – забывши обо всем, разошелся я...

– Господа! Как вам не стыдно?.. – вмешалась хозяйка. – Что вы распетушились, как два петуха?

– Помилуйте, Марья Петровна. Не могу же я терпеть грубости этого мужика, – возмущенно сказал мой противник.

– Нехорошо, – сухо обратилась она ко мне. – Вы не умеете держать себя в обществе.

– Ну и пусть не умею... – горячо запротестовал я. – И не хочу уметь. Что он глуп, это тоже ясно. – Меня трясло от возмущения и злобы. Лицо пылало. Глаза горели.

– Ну, ну, успокойтесь, полноте, он не хотел оскорбить вас, – успокаивала Марья Петровна. – Нельзя так держать себя, – снова наставительно подчеркнула она. – Нужно извиниться.

– Но, мама, ты несправедлива, – неожиданно вмешалась Лиза. – Не Дмитрий Николаевич начал ссору, а Жорж. Ведь он первый начал издеваться?

– Что ж? Жорж не сказал никакой дерзости.

– Как не сказал? А разве не дерзость сказать тебе, что ты одета неприлично?

– Не для всех, дружок. Одним это нельзя сказать, а другим – можно.

– Так, по-твоему, Дмитрию Николаевичу это можно говорить? – негодуя спросила Лиза.

– Ну, довольно. Прекратите, господа, вашу ссору. Жорж, вам налить еще чаю? – дипломатично спросила Марья Петровна.

– Мерси.

– А вам? – обратилась она ко мне.

– Нет, спасибо. Я иду домой...

После этой сцены я несколько дней не ходил на урок. Ясно звучали слова: «Одним можно, а другим – нельзя...» Значит, мне можно говорить что угодно? «Не пойду, – решил я. – Я не холоп».

Из семинарии я возвращался в свою конуру на окраине города и никуда не выходил эти дни. Дней пять спустя часов около четырех, вошла ко мне хозяйка.

– Вас там спрашивают.

– Кто?

– Какая-то барышня и мальчик.

Я выбежал.

Около дома стояли Лиза и мой ученик. Я растерялся и не верил глазам.

– Почему вы пропали, Дмитрий Николаевич? – ласково обратилась ко мне Лиза. – Мы уже думали, вы захворали.

– Так... здоров... – пробормотал я.

– Отчего же в таком случае вы не бываете на уроках? – пытливо заглядывая в глаза, спросила она.

– Так... Я думал, что уроки кончены. Да и не хотелось, – откровенно заявил я.

– Мама и папа ждут вас. Не обращайтесь внимания на слова мамы. Она ведь хорошая, только не всегда верно думает, не сердитесь. Так завтра будете?

– Хорошо, буду.

– А вы тут и живете? – с любопытством оглядывая хибарку, сказала она.

– Да, тут.

– А можно посмотреть вашу комнату?

Я смутился: рад и не рад.

– Можно. Отчего же? Только вам не понравится, Елизавета Александровна.

Мы вошли. Полутемная конура с маленьким окном на расстоянии полуаршина от земли. Один стул, простой стол. Груды книг в углу, на столе. Темно и сыро.

– Невесело у вас, вредно.

– Ничего, Елизавета Александровна. Я привык.

– Ну, так завтра ждем...

И они вышли.

Около полугода занимался я с учеником. За это время я урывками виделся с Лизой. Иногда обменивался несколькими фразами, и только.

Скоро уроки кончились. Теперь я встречался с Лизой реже – только изредка на улицах. А тут началась работа «друзей народа»^{37*}. Стало не до любви. Каза-лось даже, что любить и влюбляться в такое время недопустимо.

– Только баянтрясы^{38*} могут теперь заниматься любовными делишками. Им и книги в руки, а нам не до того, – говорили мы. Временами дорогой образ врывался в душу, но я гнал его, упрекая себя за свои мысли. Кружок «друзей народа» рос, захватил многих из гимназистов и реалистов, вошли в него и кое-кто из гимназисток, в частности, одна из подруг Лизы. С развитием кружка росла и моя фигура как главного работника в этом кружке. Я сделался популярным среди молодежи. Отзвуки этой «славы», должно быть, долетали и до Лизы...

– Отчего вы не зайдете к нам? – как-то раз остановила она меня на улице.

– Неудобно. Да и зачем?

– А так, наши были бы рады, а я была бы вам признательна.

Я с недоумением взглянул на нее. «Не сон ли это?» – подумал я. Не верилось.

– Ну, что вы! Я ведь по-прежнему скучный и неловкий. Хотелось бы шутить, да не умею. Ваши едва ли будут довольны. Они ведь другого лагеря люди, а на вас я нагоню только скуку. Завидую Жоржу и всем вашим знакомым.

– Надоели они все мне. Пустые, глупые. Мундир да пробор – вот и все, что есть в них. Я теперь, Дмитрий Николаевич, много читаю. Не можете ли вы мне помочь в выборе книг?

– Это с большой охотой, – ответил я. – Если сумею.

– Ну, вот мы и дошли до нас. Зайдемте.

Ругая себя за «слабость», я зашел в предводительский дом и прошел в комнату Лизы. Словно что-то нашло на меня, и в этот вечер я говорил много и долго. Говорили задушевно, тепло. Как будто давно-давно знали друг друга. Лиза слушала, временами возражала, а я говорил уже не краснея, не волнуясь, слова лились, а глаза впивались в чьи-то бесконечно дорогие очи, следили за милой улыбкой и любовались всем образом любимой девушки. Почему-то все хотелось поправить один шаловливый локон, капризно темневший на чистой белизне щечки...

На душе было чудесно, легко и хорошо...

...С тех пор еще несколько раз встречался я с Лизой и в этот, и в следующий год. В это время революционная деятельность кружка стала известной. Не была она тайной и для Лизы, хотя в своих беседах с нею я почти никогда не касался этой темы. Не любил. Почему-то опасался вводить в это дело женщин.

– Я дивлюсь вам, – как-то сказала Лиза. – Вы ведь чуть ли не глава «друзей народа». Почему же вы ни разу не сказали мне о вашей работе?

– Почему? Так...

– Быть может, не доверяете?

– Что вы! Просто так. Да вы и не спрашивали.

– А вы не боитесь попасть в тюрьму?

– Не очень.

– Смотрите, не попадайтесь.

– А вам не все равно? – вырвалось неожиданно у меня.

– Мне было бы очень жаль вас, – тихо сказала она.

– Правда? – так же тихо спросил я.

– Правда, – и девушка как-то особенно тепло взглянула на меня. – Храни Бог от такой беды! Вся ваша жизнь была бы разбита.

– Ничего, Лиза... простите, Елизавета Александровна. Ничего. Я ведь жилистый. Теперь и в тюрьме будет хорошо.

– Почему «теперь»?

– Так... то есть... – смутился я. – Прощайте.

– Куда вы?

– Домой. Прощайте. Спасибо... – быстро выходя, пробормотал я.

Скоро я был арестован. В тюрьме несколько раз я получал от нее и ее подруг посылки. О, если бы знала она, какую радость вызвали во мне эти посылки и две открытки, подписанные буквой Л... Исчезали стены, грязный ночник и параша, счастье уносило меня за пределы тюрьмы, далеко-далеко, на простор жизни и солнечного неба.

Спасибо тебе, милая девушка, теперь, увы, умершая и чужая для меня!

...После тюрьмы, до Петрограда, я только раз еще встретил ее.

...Это случилось во время моего революционного бродяжества. Я прибыл в одно фабричное место, где не было еще ни митингов, ни агитаторов. Был базарный день. Выступать было опасно. Но я выступил.

В самый разгар базара я взобрался на лоток, выкинул красный флаг и начал говорить. Народ кучками стал собираться и слушать. Слушали издали. Близко не подходили... Не доверяли и боялись.

Чем дальше говорил, тем слушателей становилось больше и больше. Чаше и чаще стали раздаваться сочувственные возгласы.

Вдруг вижу – подходит ко мне пристав. Подошел вплотную. Красный и толстый.

– Вы кто такой?

– Не ваше дело.

– А у вас есть разрешение от полиции на устройство собрания?

– Дурак! – улыбаясь, отвечаю я. – Если бы было разрешение, я бы давно сидел за толстыми стенами.

Кое-кто смеется... Чувствую, что я на волоске. Некому заступиться. Я один. Симпатии многих на моей стороне, но от симпатий до защиты – далеко.

«Была не была, все равно».

– Ваш паспорт?

– Не для вас, – отвечаю я и продолжаю говорить.

– Прошу вас прекратить, – резко обрывает он меня.

– Вишь, какой добрый, – иронизирую я. – Вот что, милый человек: если хотите слушать, то слушайте и не мешайте, если же хотите мешать, то... – и я медленно, глядя ему в глаза, направляю руку в боковой карман...

Моментально пришедший в голову прием оказался удачным. Пристав испугался и, быстро повернувшись, зашагал прочь.

– Я с тобой справлюсь! Подожди! – угрожающе бросил он. Толпа хохотала. Я спрыгнул с лотка и, пробиваясь сквозь толпу, направился к реке.

Это был единственный путь спасения. Я знал, что пристав сейчас вернется со стражниками, и тогда мне несдобровать. Быстро прошел мимо маленького леска, поднялся в горку и побежал ровной, широкой полосой полей. Вот и река. Вот и лодка, припасенная на худой конец. Отчаливаю и начинаю грести изо всех сил. Река широкая, не сразу доберешься до того берега. Только бы добраться: там большой лес, а в лесу – спасенье.

До берега остается сажен пять-десять. Вижу – стражники уже на берегу. Стоят и что-то говорят. Вдруг – белый дымок, и гулкий выстрел раскатывается по тихой реке, что-то сухо треснуло в лодке. Другой выстрел. «Берег, скорее берег!» – шепчу я. Третий... четвертый... Кажется, благополучно. Наконец, вот и берег. Выпрыгиваю и бросаюсь в кусты. Слава Богу! Спасен и даже не ранен. Горячая радость охватывает все тело. Ноги становятся упругими, как стальная пружина. Поднимаюсь по отлогому берегу – и я среди вековых нахмуренных елей, болотных трав и мягкого водянистого мха. Иду прямо. Вода хлюпает под ногами. Тучи комаров собираются над головой. Но радость пьянит тело. Хочется вздохнуть всей грудью.

Часа через три я вышел к какому-то селу. Рядом с ним виднелась чья-то хорошая усадьба.

– Земляк! Какое это село? – спрашиваю я встречного мужика.

– Останково.

– А чья усадьба?

– Мозжухинская.

– Спасибо! – распрощался я с мужиком.

Вот как. Значит, это усадьба Лизы. Возможно, что она и сама тут. Вспыхнуло безумное желание увидеть ее хотя бы мельком, хотя бы издали...

– Нет, не следует идти, – шепнул какой-то голос.

Но порыв смял, заглушил его, и я быстрыми шагами двинулся к большому каменному дому с колоннами.

«Была не была, все равно...»

– Здесь теперь Елизавета Александровна? – спрашиваю сторожа усадьбы.

– Здесь, а чего надобно?

– Мне бы повидать ее.

– Как сказать?

– Скажите, что... Никуличев очень бы хотел ее видеть.

Минуты через две показался легкий и тонкий силуэт любимой девушки.

– Простите, Елизавета Александровна. Шел мимо, узнал, что вы здесь, и захотелось повидать. Вы не сердитесь?

– Дмитрий Николаевич, это вы? Вот неожиданно-то. Откуда вы упали?

– А вот упал.

– Ну, идите в дом, расскажете там.

– Подождите, кто у вас в доме?

– Мама да брат. Папа в городе. А что?

– Да так. Не совсем удобно идти в дом-то. Видите, в каком я виде.

– Боже мой! Вы весь мокрый. Ну, идите же скорей. А то простудитесь, – теребя за рукав, потащила она.

Я пошел. Вода хлюпала в сапогах...

– Сейчас дадут чаю, а я пойду поищу, не найдется ли во что переодеться вам.

Марья Петровна встретила меня, вопреки ожиданию, радушно и задушевно.

Через десять минут мы сидели на террасе и пили чай.

– Ну, теперь рассказывайте, откуда и как попали сюда? – обратилась ко мне Марья Петровна.

– Так, случайно... Шел я в гости в город. Там живет у меня приятель. Узнал случайно, что здесь ваша усадьба, и решил побеспокоить, – спокойно врал я.

Не знаю, верили мне или нет. Но это мало интересовало меня. Вечер был тихий. На краешке неба горела золотая полоса зари. Вдали сталь реки лизала желтые пески. Тишина и мир. Старая усадьба. «Дворянское гнездо»^{39*} и Лиза. «Не сон ли?» – мелькало в голове. Но силуэт дорогой девушки был рядом, близко.

– Вот и хорошо, что заглянули. Погостите у нас несколько деньков. Успеете еще к своему приятелю, – ласково сказала мне хозяйка.

– Спасибо. Не могу.

– Чего там не могу. Останетесь, и только. Мы вас не пустим, – капризно заявила Лиза. – И думать не смейте, – погрозила она пальчиком. – А теперь – марш в сад. Пойдемте, я покажу вам нашу усадьбу.

Мы отправились.

– Сознайтесь, вы ведь все ввали за столом, – неожиданно обратилась ко мне Лиза, когда мы пришли в глубь сада.

– Да.

– Я так и знала. Я ведь знаю, кто такой Головня. Если не секрет, расскажите мне, откуда вы сейчас и где вы пропадали после тюрьмы?

Вечер был дивный. Милый голос звучал участливо. Нашел порыв откровенности, и я рассказал Лизе, как я живу и как попал к ним.

– Да, нелегко вам, – грустно сказала она. – Трудна ваша работа. Много сил нужно для нее, а у меня вот их нет. Я бы тоже пошла, да боюсь. Слабенькая я. Маленькая. Не гожусь. Вот и почитываю книжки да пописываю стишки, – вздохнула она.

Стало тихо. Бывает такая тишина, когда молчание говорит больше, чем всякое слово.

– О чем вы думаете? – легонько касаясь моей руки, спросила Лиза.

– О чем? Не знаю. Мне вот все кажется сказкой. Один сегодняшний день разве не сказка? Давно ли был митинг, бегство, выстрелы, лес? И вдруг – покой, стародворянское гнездо и вы, хорошая Лиза. Простите, что так зову вас, – и моя рука трепетно коснулась ее руки. Она не отняла ее. Я тихо поцеловал милую, дорогую руку. Лучистые глаза ласково смотрели на меня, как будто ждали чего-то, что нужно было сказать давно-давно...

Яблони и тополя шуршали своими листьями. Светлое небо молчало, дорогая девушка была близко, ее волосы касались моего лица, и ее рука трепетала в моей руке...

– Как хорошо, что вы попали к нам, – тихо сказала она, и ее губы коснулись моих губ. – Теперь я не выпущу вас скоро. Вам надо отдохнуть. А там – Христос вас храни, – перекрестила она меня. – Пойдемте домой...

...Как давно я не спал в такой комнате! В окно глядится светлое-светлое небо, задумчиво грезят белые березки и трепетные тополя. На колокольне сторож медленно отбивает полночь. Покой. Не верится, что где-то есть революция. Не сон ли это? Каким-то недоразумением кажется револьвер, чернеющий на белой подушке. «Не сон ли все это?» – снова спрашиваю себя я.

Благословен будь этот час трепета!

Ранние лучи солнца разбудили меня. С удивлением осмотрел комнату, вспомнил вчерашнее, и стало радостно. Потянулся на кровати и хотел снова задремать.

«Баринот стал, – вдруг промелькнула острая мысль. – Дорвался, и работа долой. В усадьбе... девушка... влюблен, счастлив и... живи да в ус не дуй. А работа? Она подождет. Да не лучше ли уж совсем ее бросить? Опасно и неудобно... грязно... А тут и чистая постелька, и любимая девушка, и удобство», – продолжал сверлить какой-то иронический голос. «Но ведь я только день-два, а там снова за работу?» – «Знаем мы это: день-два. Лиха беда начало, а там коготок увяз – всей птичке пропасть. Так было и так будет».

«Компромисс... компромисс...» – нелепо зазвучало в мозгу. Почему-то вспомнился Андрий из «Тараса Бульбы».

Покой был нарушен, светлое настроение испугнуто. А голос сверлил и сверлил, задевал все новые и новые струны души, рисовал картину революционного

упадочничества и, наконец, поставил вопрос так, что оставаться тут значило бы отказаться от всей работы, ущемить совесть и обрезать чистоту идеала...

Тихо, стараясь не разбудить никого, я оделся, сел за стол и набросал записку.

«Дорогая Лиза! Я ухожу. Хотел бы, но не могу остаться. Спасибо Вам за привет и доброе отношение. Спасибо Вам, хорошая Лиза, за все, за все. Вы со мной всегда были и будете всегда. Грустно, что жизнь сурова. Еще раз сердечное спасибо. Прошу извинить, что ушел, не простившись. Так легче. Дмитрий».

Было грустно, грустно. Писал и словно отрывал что-то дорогое от сердца.

Написал, тихонько спустился по лестнице и вышел из дома. Смотрел, проходя мимо окон Лизы, не шевельнется ли занавеска, не покажется ли она. Случись так – и, быть может, не хватило бы сил уйти. Но занавеска не колыхнулась, и никто не откликнулся. Серdito надвинув кепь, я решительным шагом двинулся к лесу. Шел, шептал нежные слова, рисовал себе лучистые глаза, глубокий, мягкий голос, грустил и радовался, что долг выполнен. «Хорошо, – говорил я себе. – Ты поступил правильно».

Прошел версты три, подошел к речке. Солнце жарко и радостно палило. Разделся, выкупался и пошел дальше. Через четыре часа я был в городе. Началась снова старая работа.

Не раз и позже вставало предо мной то же чистое, прекрасное лицо, тонкий силуэт на фоне неба и улыбка Лизы. Чем темнее было в душе, тем светлее и ярче рисовался дорогой образ. С тихой радостью и теперь вспоминаю я встречу с моей любовью. Пусть печально оборвалась она! Пусть. С какой радостью, однако, я пережил бы ее снова! И как был бы рад, если бы еще раз «на мой закат печальный блеснула она улыбкою прощальной». Увы! Это невозможно. И не нужно. Быть может, и теперь, как тогда, я снова ушел бы. Быть может, и теперь сказал бы я: «Хочу, но не могу. Ждет работа». Быть может. Довольно, впрочем, об этом. Маниловщина бесполезна и опасна. Не нужно ворошить пыль на старой могиле.

* * *

Легко и радостно провел я лето. Приближалась осень. Нервы отдохнули. Душа помолодела. Сил накопилось много. Куда их деть? Что делать? Чем ближе к осени, тем вопрос вставал резче и резче и требовал ответа.

Думал, думал и ничего не выдумал, как ехать в Петроград. Бобыль без кола и двора, я не мог быть крестьянином. В учителя не брали. «Петроград – единственный выход». К тому же решению пришел и Колыбин.

– Поедем. А там увидим, что делать; важно только, чтобы можно было учиться, а как и при каких условиях – это вопрос второстепенный. С голоду не умрем, а если придется поголодать – так, слава Богу, дело привычное. Коли са-

поги будут драны – тоже не новость. Э, чего тут тужить! Голова на плечах есть и, слава Богу, не дырявая, а мускулы – гляди-ка, полюбуйся, – говорили мы друг другу, хвастая налившимися после летних работ мышцами.

...Для меня весьма важным был вопрос: как доехать до Питера? За лето я ничего не заработал. Взять было не у кого. Просить не хотел. Но «случай» помог и тут. В один вечер пришел ко мне дядя Максим, как его называли в деревне.

– Слушай, Митрей, не выкрасишь ли у меня лавки, полки и печь в избе? Бабе, вишь, больно захотелось. Не дает покою.

Я охотно согласился, проработал три дня, разрисовал цветами и львами всю избу и заработал 3 р. 80 коп.

– Теперь можно двигаться, – спокойно решил я, и не очень заботился, что одна дорога до Петрограда стоила не менее 15 р.

– Для начала есть, – весело сказал я Колыбину, – а там посмотрим.

В первых числах августа с 3 р. 80 коп. в кармане, с мешком сухарей за спиной я двинулся в город, чтобы сесть там на пароход. Туда же приехал и Колыбин. Заплатили за билеты и чувствовали себя полными господами. Мочили сухари в воде и ели. Доехали до железной дороги. Сели зайцами. У Колыбина были деньги, но, если бы он поехал по билету, нам пришлось бы расстаться: меня бы высадили, а его – нет.

– Значит, и я зайцем, – сказал он. – Коли высадят, так обоих...

Много смешного и много грустного было за дорогу. Три раза высаживали нас, составляли протокол. Шли от станции до станции пешком, ехали в товарном вагоне – короче, всего было вдоволь. Но разве остановишь человека, решившего во что бы то ни стало попасть в Петроград? Рано ли, поздно ли мы должны были попасть – и попали. У меня оставался полтинник в кармане, у Колыбина 4 р. 23 к. «Если есть по пятикопеечной булке в день и платить за ночлег по гривеннику, то мы можем жить целых шестнадцать дней, – высчитали мы. – Значит, тужить нечего». Вспоминали почему-то Ломоносова и повторяли слова Доде: «Теперь никто нас не знает, но через 15–20 лет город будет нашим». С бодрым настроением вышли мы из вагона, с любопытством присматривались к людям, к бешеной суете, прислушивались к смутному гулу. «Вот он какой», – думал каждый из нас про этот город.

– Комнаты от полтинника и дороже, – подскочил человек в зеленой куртке с большими светлыми пуговицами. Это превышало нашу смету, и мы гордо прошли мимо.

Вместе с толпой вышли мы с вокзала и потонули в текучей людской волне.

Вот мы и в столице.

Быстро впился великий город в душу, выросшую среди бесконечных лесов, обвеянную снежными вьюгами, наполненную ароматами полевых цветов и закатами тихих вечеров!

Камень... и железо, камень и железо... всюду... везде... и всегда... Стискивают они клещами душу сел и тихих полей. Она стонет... жмется... грустит. И либо погибает, либо... сама одевается в каменно-железный чехол. Мы не погибли. Оделась и наша душа в каменно-железную броню бездушия и безразличия.

Много пришлось пережить здесь. Голод, нужду, грязь, унижение и оскорбление – короче, все зло, которым богат город, все, кроме преступления и разврата.

Безработица... жизнь в углах... работа на заводе... грошовые уроки... случайная литературная работа... Таковы этапы нашей жизни в городе.

Скоро побледнели обветренные щеки... Быстро прорезалась паутина морщин на лицах. Лихорадочный свет загорелся в тихих, как лесное озеро, глазах. Лицо стало угловатым и жестким.

Через два-три года я себя не узнавал. А в итоге – лицо стало какой-то холодной маской, бездушной и бледной.

Курсы... Экзамен зрелости... Университет... Его окончание... Начало профессорской карьеры... Разрыв с учеными руководителями. Провал на магистерском экзамене.

И одинокая, замкнутая жизнь, работа в течение 6–7 лет – вот краткое резюме петроградской жизни. Можно добавить к нему еще два ареста, иначе говоря, две государственные командировки для практического изучения тюрьмоведения и мира преступников...

...Целые годы уложились в этот десяток строк... Черные значки спокойно лежат на белой бумаге, будущий биограф прочтет их, как читают *cuticulum vitae*^{40*} перед защитой диссертации.

Но, если бы воскресить все то, что замкнуто в эти строки, если бы прогнать читателей сквозь строй этих годов, пройденных нами, едва ли бы многие из них выдержали. Думаю, немногие. И, конечно, уж не мягкотелые отпрыски обеспеченных классов. Но не будем воскрешать их. Что было, то было. Ни я, ни Колыбин не погибли. Я стал холодным камнем, а он – расточительным шутником. Когда горе давило душу, я замыкался и молчал, а он смеялся сквозь слезы. Бывает и так.

...Несколько дней в Питере мы искали работу. Наконец, нашли: Колыбин – в конторе одного завода, а я – в мастерской магазина золотых и серебряных вещей: мое ремесло мне пригodiлось. Поселились мы вместе – в одной конуре недалеко от Нарвских ворот.

Днем работали, вечерами читали и спорили, спорили о многом, но почти всегда разговор сводился к вопросам, связанным с нашим открытием. Сама жизнь толкала нас в этом направлении. Порок и разврат в столице ходили без масок, а неравенство в распределении благ било в глаза на каждом шагу... Газеты каждый день рассказывали о чудовищных преступлениях и арестах рабочих, и они же передавали речи о прогрессе, о росте цивилизации и солидарности, ежедневно произносимые в политических и научных собраниях и с трибуны парламента.

Каждый день я видел ужасы нищеты и каждый же день шел мимо освещенных окон ресторанов; читал подробные описания роскошных балов, с такими-то костюмами, стоящими столько-то; слышал рассказы о безумных кутежах, где люди кидали десятки тысяч в один вечер...

Повторялась воочию вечная история: миллионы людей ползают в грязи, устилают собою дорогу истории, служат навозом, а сотня счастливых беззаботно отплясывает на этом навозе веселый канкан жизни.

И невольно чаще и чаще приходили на ум слова:

И после всяких клятв, и после всех улик
Все то же вновь и вновь, донине и от века!^{41*}

И невольно лицемерие пышных фраз вызывало в памяти когда-то читанное: «Меньше надо слов, а больше делать надо».

И каждый раз, когда я читал и слышал речи о счастье, о прогрессе, о солидарности, о равенстве, меня охватывала какая-то ярость. Особенно тогда, когда говорили об этом упитанные богачи, владельцы дворцов и тысяч. А именно они чаще других любили говорить о «демократическом духе нашего века», о «равенстве всех перед законом», о великих словах «Декларации прав»: «Люди рождаются свободными и равными...»^{42*}

«Они умны, – говорил я себе. – Лучшей системы “невинность соблюсти и капитал приобрести” нельзя и выдумать. Такое словесное равенство им ничем не грозит. Оно ослепляет слабый мозг доверчивого народа и подавляет его гнев».

В итоге я стал врагом пышных фраз и «абсолютным уравниателем», как в шутку прозвал меня Колыбин.

Таким путем задача была поставлена. Оставалось решить ее, найти пути и способы ввести не мнимое, а подлинное равенство, равенство благ жизни, равенство ума и равенство доброй воли...

Помню, как-то вечером я формулировал эту задачу Колыбину и рабочему Путиловского завода Поленову, жившему в соседней с нами конуре и часто принимавшему участие в наших спорах.

– Ну, брат, это ты далековато загнул, – помешивая в стакане, заметил Иван. – Вещь явно и очевидно невозможная... Да едва ли и очень хорошая. Получилось бы в итоге что-то вроде карикатуры Джеромки: все должны быть одинакового роста, носы всех должны быть одного фасона, кто поумнее – тот должен поглотить, если один шьет сапоги, то и все должны уметь их шить... Так, что ли?

– И я то же думаю... Где уж тут равенство ума... Дай Боже, чтобы удалось ввести обобществление орудий производства и... то, слава Богу. А остальное едва ли возможно. Преступники и дураки были и будут, – потягивая трубку, заметил Поленов.

– Если так, – в запальчивости заметил я, – плевать мне на весь ваш социализм и будущий строй... Гроша медного он не стоит, если вся суть его лишь

в обобществлении орудий производства... и уж, конечно, ни единой жертвы. Ну, обобществим. Что же дальше?.. Да ничего. Если будут дураки и впредь – их и впредь будут водить за нос умники, как водили в прошлом, по-прежнему будут ездить на их спинах, убаюкивая последних пышными фразами о справедливости и равенстве. Если будут преступления, то в чем же прогресс добра? Неужели же в том лишь, что клоповые ямы заменят тюрьмами со строго высчитанным количеством воздуха, света и пищи, необходимым для того, чтобы не сдохнуть... Нет, господа... Здесь возможно или все, или ничего. Джеромкиной карикатуры я не хочу, не хочу и такого равенства, где умные должны поглупеть, добрые – сделаться преступными. Нет! Это глупо, это шаг назад. Но я говорю: равенство должно быть, и равенство полное: все должны иметь одинаковое количество благ, единый уровень умственного и нравственного развития. Повторяю: уровень, а не содержание. Поэтому, если я занимаюсь санскритским языком, не следует, что другой должен также заниматься им. Если я нахожу удовольствие в ухаживании за сифилитиками, другой не обязан делать то же. Всего меньше хочу я общества, подавляющего индивидуальность каждого и состоящего из одинаковых, как пара сапог, лиц. Одинаковый уровень ума означает одинаковое развитие способности мышления, одинаковый логический аппарат... А на что уж будет направлено это мышление, какую пищу будет разрабатывать этот аппарат – это дело каждого...

Точно так же обстоит дело и с нравственным уровнем. Он означает полное проникновение единими основными правилами поведения, напр.: любви человека и человечество. Не словесное восприятие его, а полное слияние с ним. А в чем уж будут выражаться эти принципы в поведении каждого – это его дело. Один будет ухаживать за больными, другой будет рисковать жизнью ради общественного блага...

Вот чего я хочу. Но хочу его не способом вычитания, не низведением высших до степени низших, Христа – до степени разбойника, Ньютона – до уровня идиота, а наоборот – способом возвышения идиота до уровня Ньютона, убийцы – до морали Христа... И повторяю, это должно быть сделано. Если вы скажете – это утопия, я скажу на это: тогда плевать мне и на весь ваш социализм. Не все ли равно, будут ли люди в будущем обедать за рубль в ресторане или, как теперь, обедают за четвертак в скверном трактире, и практические результаты обобществления только в этом и выразятся...

– Не совсем, – спокойно прервал меня Поленов. – Если люди будут лучше обеспечены, будет здоровье организма, а в здоровом теле и здоровый дух. Это раз. А во-вторых – тогда будет и больше досуга для умственного и нравственного развития... А это уж больше рублевого обеда в трактире.

– Ну, это вопрос еще, – горячась, продолжал я, – влечет ли здоровый организм и здоровый дух. Ваш фабрикант зело упитан, здоров, как бык, а я что-то не слыхал ничего о его великих открытиях и подвигах. Слышал только, как неделю

тому назад в ответ на забастовку он уволил рабочих, и тебя в том числе. А это мало похоже на «здоровый дух». Не совсем согласен и насчет благотельного влияния досуга. У капиталистов, золотой молодежи и аристократов его много. А ведь и ты согласишься, что не очень-то ретиво занимаются они наукой и добрыми делами. Кутят больше в ресторанах, заводят десятки любовниц и вдобавок еще убивают их, как читали сегодня. Где гарантия, что и ваши будущие рабочие не пойдут по их следам?

А если не пойдут, если и ты видишь главную ценность социализма не в рублевом обеде, а в повышении знания и в улучшении воли каждого, то прямо или косвенно ты согласен со мной. Вся и разница – я хочу ускорить процесс и достигнуть большего уравниения путем возведения всех на высший уровень, а ты останавливаешься на полдороге.

– Господин уравниватель! А кто будет чистить ватеры в твоём будущем строе? На любителей надеешься или на всех думаешь возложить эту обязанность, в том числе и на Канта? – смеясь, заметил Колыбин.

– Не ехидничай, друг. Еще Фурье ответил на это. Для этого будут машины; они есть уже и теперь. Коли нужно будет, найдутся и любители. Если не найдутся, отчего не потратить на это дело два часа в месяц и Канту. Потеря времени небольшая, и едва ли повредит она его «Критике практического разума», – напрямик несся я дальше.

– Ну, а если девушка, которую я люблю, любит тебя, а не меня? Что прикажешь делать? Тоже разделить ее любовь пополам?

– А что делают иногда и теперь в таких случаях? Разве не бывает, что во имя ее счастья отказываются от нее и делают это с радостью, без всякого надрыва? А затем, почему не допускаешь ты, что в будущем люди научатся управлять и своими чувствами: вызывать одни, когда они нужны, и уничтожать другие, когда они лишни. Если ты увидишь, что твоя любовь неуместна, возьми ключ и запри свои чувства на замок и заполни пространство души чем-нибудь иным, хоть ведром чая! – расхохотавшись, заметил я.

...Такие споры происходили у нас чуть не каждый день. Витая в области утопии и сами не веря в ее осуществимость, мы незаметно углублялись в вопросы, конкретизировали их и исподволь привыкали смотреть на них не только как на утопию, но и как на нечто возможное.

Хорошо уж было то, что вопросы ставились все яснее и отчетливее. После долгих споров как-то сами собой пришли мы к согласию. Как-то само собой вышло, что именно изобретение путей, ведущих к намеченной задаче, и является делом нашей жизни.

Помнится один вечер, когда все трое собрались мы в нашей конуре. Все были взволнованы: днем была демонстрация, ее разогнали, пять человек было убито...

Несколько минут сидели молча. В ушах еще гудели отзвуки выстрелов, перед глазами еще носилась паника толпы, бросившейся в улицы и переулки...

– Звери, – угрюмо пробурчал Поленов, отвечая на свои мысли...

– Будет ли когда конец этому? – тихо, как бы про себя заметил Колыбин. – Уж не прав ли и в самом деле Екклезиаст с его «так было, так и будет»^{43*}.

– Нет. Этого не будет, не должно быть. Иначе я сейчас выйду и буду резать всех! Не все ли равно тогда? – сурово бросил Поленов.

Отчаяние и беда нашептывали им свои песни.

– Нужны новые пути и новые средства, – отвечая себе, сказал я. – Они должны быть найдены, иначе вечно будет старая «суета сует».

Долго молчали...

– Или жить, или умереть надо. Коли жить, так нужно устроить иную жизнь, – прервал молчание Поленов. – Давайте дадим друг другу слово: всю жизнь работать, каждый по-своему, над общей задачей... Идет, что ли?

В другое время эти слова вызвали бы смех. Теперь они гармонировали с настроением.

– Обещаю и клянусь! – полусерьезно-полушутя сказал Колыбин.

– И я даю слово! – заметил я...

Мы пожали друг другу руки и расцеловались.

Аннибалова клятва была дана^{44*}.

– Эй, хозяйюшка, нельзя ли нам самоварчика! – несколько минут спустя закричал Колыбин. – Надо же вспрыснуть чем-нибудь клятву. За шутку простите, но ведь все равно мертвых не воскресишь! – извинился он за свой веселый тон.

– А позвольте спросить вас, почтенный уравниватель, – дурачился он потом за самоваром, – с каким ученым титулом выступаете вы спасти человечество?

– С тем же, что и вы, почтенный скептик! Исключен из учительской семинарии.

– Маловато, маловато. Не следует ли немного поучиться, а? Примерно, побывать в университете, послушать кое-что? А? Нам теперь и книги-то трудно достать, а там и книжки будут, да и лаборатории откроют свои двери?

– Конечно, следует.

– Ну, так давай-ка сначала ловить синицу... Журавль неведомо еще, попадет или нет, а синичку мы легко словим.

– Синица нужна. Но, я думаю, и журавль не уйдет! – с уверенностью заметил я.

– Кажись, уж и много колотушек давала ему жизнь, – обращаясь к Поленову, заметил мой друг. – Нет, все мало. Никак не может выбить из него эту дурь оптимизма.

– А ты будто меньше меня веришь? Полно, не разыгрывай скептика. Не к лицу тебе сомнение и осторожность, да и никто не поверит этому...

– А славные вы, ребята, валяйте, учитесь! Попытка – не пытка, а спрос – не беда! – выколачивая трубку, заметил Поленов.

Нам было по 18 лет, а ему 23. Тон старшего шел к нему.

Скоро мы усердно засели за зубрежку к экзаменам на зрелость и в год легко подготовились к ним.

Намеченная задача, конечно, была еще в стадии утопии. Практических мер для ее решения не было. Но одно то, что она была намечена, сослужило громадную службу. Она определила выбор социально-юридического факультета для меня и военно-медицинской академии для Колыбина. Она же заставляла внимательно подмечать в изучаемой книге всякую мысль, относящуюся к ней, всякое явление, встречавшееся в жизни. Короче, она вооружила наши глаза микроскопами, без которых мы не заметили бы многого, что нужно было заметить... Сам по себе университетский курс отнял у меня не более 5–6 месяцев. Все остальное, за исключением времени, нужного на заработки, прямо или косвенно тратилось на решение задачи.

Исподволь, шаг за шагом складывались кирпичи великого здания и вырисовывались его стропила. Грубый и примитивный план его образовался уже ко времени окончания университета.

Оставленный при университете и командированный за границу, я три года провел в Англии и Америке, изучая реформатории – исправительные тюрьмы, дававшие довольно хорошие результаты; работал в психологических и физиологических лабораториях; знакомился с педагогической системой новейших школ; познакомился со знаменитыми дрессировщиками животных и изучил их методы воспитания зверей; в Париже и Чикаго я прослушал курсы «социальных основ воспитания» двух крупнейших светил социальной науки и... возвратился в Россию с подробным планом будущего открытия.

Занятый своей работой, я не имел времени на чтение сотен пустых книг, рекомендованных мне для магистерского экзамена. Я их не знал и не хотел знать, поэтому по достоинству был провален и признан негодным для ученой работы... С провалом я легко примирился.

В моем распоряжении был козырь, который делал ненужным для меня «dignus» (достойн) ученой коллегии...

В эти годы не забывал своей клятвы и Колыбин. К концу моего пребывания в университете выяснилось, что наша система неосуществима без «уморода». Изобретение его и сделалось очередной задачей Ивана. И он прекрасно справился с ней. Немало помогла ему и школа, пройденная им в лаборатории знаменитого Пастухова. В качестве любимого ученика он скоро получил в свое распоряжение отделение в ней и работал над своим открытием и в годы студенчества, и после него. Средства к жизни добывал он практикой врача, а весь досуг отдавал работе. Изменилась за эти годы и судьба Поленова. Как лидер рабочих, он

скоро попал в парламент и стал вожаком социалистической фракции. Я же после разрыва с официальной наукой взял себе место помощника редактора в «Социологическом вестнике» и, незаметный ни для кого – ибо статей я сам не писал, – все свободное время, а его было много, работал над окончанием своей задачи.

Когда понадобились деньги, я отправился к Шахматову и предложил ему фантастический договор. Он его принял, и я выиграл наше пари. Теперь лаборатория почти готова, и скоро машина заработает.

Но сколько незаметных унижений пришлось пережить за эти годы!.. Почти каждая встреча с университетскими коллегами была невольной пощечиной. Многие из них сделали блестящую карьеру адвокатов, ученых и чиновников. Нередко при встречах, узнав мое скромное положение, они не стеснялись замечать прямо: «Жаль... А я ведь думал, что вы сделаете умопомрачительную карьеру. Ведь студентом я чуть ли не гением считал вас!»

Встречаясь второй раз, они с видом победителя подавали мне чуть ли не два пальца. Вероятно, немалое удовольствие доставляла им мысль: «Мы, незаметные в студенческий период, выбрались, а гремевший всюду гениальный студент оказался замухрышкой!» Я все снес и молчаливо терпел и лицемерные вздохи сожаления, и полупрезрительные улыбки, и намеренное игнорирование моего приветов. Стоило ли церемониться с неудачником титулованным чиновникам, популярным адвокатам и ученым, удостоившимся благословенья и аттестата ученой коллегии... Не скрою, временами вспыхивало острое желание со смехом бросить им: «Раненько вы похоронили меня! Вы были глупыми и остались ими! Я был талантом и остался им!» Но я молчал и не жалею об этом.

...Тяжелее оказался другой удар, которым жизнь тогда угостила меня. В нем также пропели мне «со святыми упокой»; но вместе с крестом над моими силами этот удар похоронил и другое: мою любовь.

...Во второй год столичной жизни приехали Мозжухины. Отец Лизы был назначен в Государственный Совет, и вся семья переехала в Петроград...

Я знал об их приезде, но не пошел к ним. «Зачем идти бедному рабочему в важный дом? Там ему не место. Опять скажут: “Одному можно говорить все, другим нельзя”. Сделают кисло-сладкую улыбку в лучшем случае, а в худшем – прогонят без церемоний. Да и с чего я мог думать, что когда-то поцеловавшая меня дочь теперешнего сановника будет помнить обо мне, бывшем агитаторе и теперешнем рабочем? Разве мало людей на свете? До меня ли ей теперь! Что вызовет мое появление, кроме досады на прошлую глупую сентиментальность? Ничего... Пожалуй, еще вздумают эти гуманные люди помочь мне, дать выгодный урок или пристроить на место. Возможно... Но пусть другие Лазари питаются милостыней и крохами с барских столов^{45*}. Я же голодал, но милостыни не просил и не буду просить, даже в любви...» Так думал я и не шел к ним вплоть до поступления в университет и появления моей первой нашумевшей статьи. За все

эти четыре года только два раза видел я Лизу: однажды издали в театре, другой раз – на улице... Оба раза она меня не видела...

Когда появилась статья «О моральном нигилизме», я отправил ее Лизе, тогда уже учившейся на курсах. Надпись была простая: «В воспоминание о прошлом».

На второй же день я получил письмо с благодарностью за память и с приглашением посетить ее.

Зачем я поехал тогда! Обрадовался, как ребенок. Колыбин прав: колотушки жизни не сумели выбить из меня дурь телячьего оптимизма.

Важный лакей встретил меня и проводил в гостиную.

Через несколько минут вышла Лиза, выросшая, созревшая, но такая же легкая, такая же гибкая и прекрасная.

– Вон вы каким стали, – с любопытством осматривая меня, сказала она. – Вас и не узнать.

В этот раз мой костюм был вполне приличен.

– Изменились и вы, стали еще лучше, – тихо заговорил я.

– Ну, рассказывайте, где вы пропадали за эти годы? Вы, право же, похожи на какого-то сказочного духа. Исчезнете – и вынырнете вдруг неожиданно... Какой вы нехороший! Хоть бы весточку, хоть бы открытку черкнули! – ласково упрекала меня собеседница.

– Нельзя было, Елизавета Александровна. Тяжело было... трудно... А жаловаться я не люблю... потому и молчал. Теперь легче стало, вот и исправил свою вину... Обо мне неинтересно говорить. Поговорим лучше о вас. Как вы жили и живете?

– Жила... училась... учусь... выезжаю с визитами. Пишу стихи, вот и все. Скучно, не о чем говорить... Вот и чай. Садитесь поудобнее и начинайте свою повесть... Я очень прошу вас. Я ведь думала, что вас уже нет в живых.

– Неужели же вы хоть раз подумали обо мне? – с трепетом в душе спросил я.

– Конечно... Помните, тогда в усадьбе? После вашего бегства – вы как в воду канули. Мне было грустно. Очень грустно. Я даже плакала. Потом узнала, что вас ищет полиция. Было страшно за вас. Несколько вечеров я молилась Богу, чтобы он сохранил вас. Вы молчали. Надеялась встретить вас здесь... Но вы ничем не давали знать о себе. Я решила, что вы или умерли, или где-нибудь в ссылке. И, понятно, стала забывать о вас... И вдруг... вы воскресли... – журчали душевные слова. Грусть легла на милые черты, а глаза глубокими лучами проникали в самое сердце души.

– Не ожидал и не думал я этого... Я думал, усадьба была минутным капризом. Уйди я – и через день-два вы меня забудете. Спасибо вам за память. Не вините и меня за мое молчание...

Я кратко объяснил, почему не давал знать о себе. Рассказал и свою жизнь за эти годы.

– Вы прямо железный какой-то, – задумчиво ответила девушка. – В воде не тонете и в огне не горите. Я, право, завидую вам, Дмитрий Николаевич. Вам есть что вспомнить. Вы можете сказать, что вы живете. А мы не живем, а так – тянем изо дня в день. Окружающие люди скучны и бесцветны. Флирт, карты, танцы. Слава Богу, наука спасает да стихи...

Целых два часа провели мы в искренней беседе.

И в эти два часа мы сблизились, подружились... Какие-то тайные нити протянулись между нами и связали друг с другом.

С этого времени мы часто встречались. Встречались у Лизы, в театре, на концертах, в аудитории...

Несколько раз она заезжала ко мне в гости, в первый раз вместе с братом, потом одна.

Мозжухины сначала принимали меня хорошо и радушно. Когда же заметили, что их дочь начинает привязываться ко мне и, пожалуй, даже не прочь полюбить меня, они пустили в ход дипломатические меры, с целью помешать нашему сближению. В их глазах едва ли я не был человеком, ухаживающим за сановитой невестой и ее приданым. Такой брак в их глазах был бы, конечно, мезальянсом и потому был нежелателен. Да и сам-то я был ненадежным: студент, литератор, революционер – того и жди, придут и арестуют... И эти люди были правы. Я не мог быть партией и не думал быть ею. Я просто любил Лизу. Любил целомудренно, глубоко и свято. О будущем не спрашивал. Едва ли думала о будущем и она, по крайней мере, никогда не говорила.

Чем бы все это кончилось, не знаю. Но я уехал за границу; в это время пришел Воеводский, заблестела его звезда, на меня же обрушились неудачи... и любовь умерла.

Через неделю после провала на экзамене я узнал о свадьбе, произошел разрыв, и я снова исчез, как и раньше. Разница та, что теперь едва ли интересовались мной и едва ли искали меня.

Прошло уже семь лет с тех пор... а я жив... скоро снова вынырну. Но теперь и мне уже безразлична госпожа Воеводская. Моей Лизы нет. Она умерла семь лет тому назад. Я похоронил ее... Было тяжело... но выжил... Должно быть, я и в самом деле железный... В огне не горю и в воде не тону... Нельзя иначе. Мы – предтечи и творцы будущего, и потому должны жить. Жить во что бы то ни стало. Мы – обреченные на жизнь!

Господин добросовестный биограф! Я удовлетворил ваше любопытство. Дал вам канву «счастливых случаев». Теперь сами выводите на ней узоры и, если угодно, читайте акафисты^{46*} «доброй свободной воле», «случайности» и прочей

чепухе. Вы «свободны» в вашем мнении. Я тоже свободен в оценке вашей «премудрости». Значит, нет оснований для ссоры!

* * *

...Сегодня последний день моего отдыха. Завтра еду снова туда... на работу... пора...

Прочел свои записки и подвел итоги своей жизни. Я доволен ими. Накопленный капитал дает мне право ходить по земле с гордо поднятой головой. Пережитое делает мою жизнь богаче, чем жизнь большинства. Пройденный мною путь – длиннее, чем путь любого странника истории. Судьба прогнала меня сквозь весь строй жизни, начиная с ее низов и кончая вершинами духа. Все пережито, испытано и превзойдено... Препятствия, побежденные мною, многочисленны и нележки. Не все могут их перешагнуть... Многие падают. Не потому, что они слабы, а потому что барьеры непреодолимы. Вечная память вам, шедшие и недошедшие! Спите спокойно! Вы были сильнее тех баловней судьбы, которые шли по гладкой тропе жизни, проложенной им заботливыми родителями и мощной золотом! Невелика их заслуга! Она вся лишь в том, что они не отстали от течения. А вы пытались бороться с ним, преодолеть и обогнать его... и потому гибли... Я в числе немногих дошел... Сила моего разбега победила инерцию истории... Теперь мой молот поднят. Он готов. И скоро, скоро с грохотом обрушится он на наковальню истории и будет бить неумолимо и беспощадно. Закружатся колеса общественного механизма, заскрежещет сталь моего резца и будет высекать статую будущего... Полетят горящие искры, зажгут они темные леса, проведут широкие просеки, осушат застоявшиеся болота, просверлят туннели в горах... И глаже будет дорога обреченных, которые пойдут вслед за мной. Чрево народа будет рождать их, а его палец указывать им великий путь. Я уже вижу их, идущих по ней. Вижу сотни, тысячи и миллионы... И пойдут они и не будут больше падать... Не будут гибнуть их силы бесплодно. И меньше жертв будет валяться на путях истории... Идите же, милые друзья! Баловни судьбы стали плохими машинистами исторического паровоза. Нужны новые вожаки! Ими должны быть вы. Мы – ваши предтечи. Я один из них, и вот я протягиваю вам руку через пропасть времени, жму ее и приветствую вас. Верю и знаю: вы будете сильнее нас. Мы недостойны развязать ремни ваших сапог. Но знаю также, что и вы помянете нас добрым словом. А теперь – смело к будущему! Крепки ли мускулы? – Есть. – Ясен ли ум? – Есть. – Все ли предусмотрено? – Есть... – В таком случае – вперед! К грядущему без колебаний!

«ПОЛДЕНЬ...»

1

– Здравствуй, брат, – протягивая руку человеку, вошедшему в кабинет, сказал Никуличев. – Давненько я не видал тебя...

Вошедший что-то неясно промычал в ответ. Это был человек лет сорока, одетый в поношенный пиджак и обтрепанные брюки. При пристальном и внимательном осмотре можно было заметить значительное сходство его лица с лицом Никуличева. Только оно было худое, землистого цвета, со впавшими щеками, с множеством мелких морщин и глубокой впадиной между бровями. Глаза вошедшего то быстро бегали, то вдруг застывали под тяжестью какой-то неотвязчивой мысли.

– Садись вот сюда. Ты, поди, голоден. Александр, принесите ему ужин, – обратился он к прислуге.

Пока вошедший ел, Никуличев внимательно рассматривал его.

– Однако ты изменился порядочно, – промолвил он. – Давно ли из тюрьмы?

– Неделю тому назад.

– Ну и как? Снова думаешь взяться за старое ремесло и опять в тюрьму, а то, быть может, и на каторгу хочешь?

– Что ж делать, конечно, за старое, – ответил вошедший. – Куда я пойду? Кто меня примет? Да и мне не хочется кланяться. А что ж тюрьма? Не привыкать, стать... Не в первый раз, – усмехаясь, продолжал тот.

– А каторга?

– А что каторга? И на каторге люди живут. Да еще как.

– Значит, не надоело еще... Чего доброго, успел, поди, и по выходе кое-что сделать?

– Есть грех. Не дарма же жить, – опять усмехаясь, промолвил вошедший. – Что там спрашивать, надоело или не надоело. Не в этом дело. Теперь хоть бы и захотел я бросить – не бросить. Потому я человек конченный. Да и ради какого черта я буду бросать «ремесло»? Поступать, что ли, на фабрику, околевать ради какого-нибудь жирного фабриканта?.. Нет, брат, врешь... Пусть дураки работают, коли хотят, на то они и дураки. Им чем больше влетает, тем приятнее. А мне это не по вкусу!.. Да и память у меня не ушла. Ты думаешь, прощу я «их» за то, что они со мной сделали? Не они разве засадили меня в тюрьму? А вот это переломленное ребро? А сломанная рука? А эти полосы по телу? Не они разве надарили? Ноют они, брат, у меня, ох, как ноют в погоду! Так пусть же и сами они поноют! В каторгу так в каторгу, а свои долги я выплачу!.. Будут они помнить меня!.. – с ненавистью в глазах, беспорядочно размахивая руками, говорил вошедший.

– Кто это они?

– Кто? Да «они». Все богатые. Все вы.

– И я в том числе?..

– А отчего ж бы нет? Вишь у тебя палаты-то какие. Видно, разбогател и ты.

Одного поля ягода с ними.

– Да, Петр, ты, я вижу, умен по-прежнему. Однако ты ошибаешься. Все это не мое. Все это чужое.

И тут Никуличев кратко объяснил суть дела, скрыв от него моральные задачи лаборатории.

– Любопытно, – процедил тот. – Ты знатным химиком стал.

– Так ты говоришь, что не хочешь сделаться «честным»?

– Нет, не хочу.

– А если бы я помог тебе, дал бы работу, устроил бы тебя?

– Не мели пустое. Сказано тебе – не хочу, и значит, не хочу. Да и поздно.

Горбатого могила исправит.

– Ну, что ж, дело твое... Хочешь – ладно, не хочешь – как хочешь, – спокойно ответил ученый.

– Грехом, уж не за этим ли ты и разыскал меня?

– Имел в виду и это, а главное – узнал о тебе случайно, и захотелось повидаться. Поди, ведь лет пятнадцать не видались.

– Ну, это другой разговор.

– Сколько же в последний раз отсидел ты?

– Два с половиной года.

– За кражу?

– Со взломом, насилием и прочее. Попросту – за грабеж.

– Однако!..

– Не вздыхай.

– Не хочешь ли посмотреть, кстати, мою лабораторию? Занятного много, а торопиться тебе некуда. В тюрьму попасть еще успеешь.

– Что ж, показывай. Авось и пригодится. Может, когда вздумаем и к тебе понавещать, так лучше местоположение знать будем, – тем же саркастическим тоном продолжал вошедший.

Никуличев позвонил.

Вошел лаборант – молодой студент.

– Юрий, приготовьте все для полного опыта, вплоть до кинематографа и пригласите Колыбина, – промолвил Никуличев.

Через 10 минут они вошли в зал, прозванный «морализующим».

– Вот, садись сюда, – указывая на кресло, обратился Никуличев к брату. – Сначала посмотрим картины...

Стало темно... На полотне начала разворачиваться какая-то картина. Никуличев взял от лаборанта вату и обмакнул ее в какую-то жидкость, по запаху немного похожую на хлороформ. Подошел к сидевшему и незаметно нажал кнопку кресла. Мгновенно выдвинулись какие-то скобки и клещами обхватили Петра. Ученый быстро поднес вату к носу брата и стал держать ее.

Сидевший сделал движение, но быстро потерял сознание и замер.

– Ну, вот и оглушен. Теперь он ничто. Сознания нет, а следовательно, нет и преступных вожделений. Будем продолжать наш опыт, – говорил Никуличев.

– Это и есть твой братенек? – обратился Колыбин к нему.

– Да.

– Ну и живодер же ты, Дмитрий. Да и везет же нам. Не надо искать материала – своих родных много. Лежи, братец, не дрыгай, лежи во славу науки, – говорил Колыбин, помешивая какую-то жидкость в мензурке. – Ничего, полеживай. Можешь гордиться тем, что ты первый из «неисправимых», кого мы переделаем. За тобой пойдут десятки, тысячи и миллионы. Плохо ли, брат!

– Готова пробуждающая эссенция?

– Да.

– Тогда к делу!..

В зале воцарился полусумрак, послышалось мерное и монотонное тиканье. Оба ученых наклонились над сидевшим. Колыбин осторожно и медленно стал подводить склянку к носу Петра, а Никуличев принялся делать монотонные пассы.

Прошло минуты две-три. По мере того как Петр пробуждался (жидкость имела своей задачей именно не мгновенное, а медленное и постепенное пробуждение сознания), пассы становились механичнее. Среди усыпляющего тиканья слышались медленные и такие же монотонные слова.

– Вот сейчас ты начинаешь приходить в сознание. Но ты не проснешься, а заснешь. Ты уже начинаешь спать. Ты уже спишь. Правда?

– Я сплю, – послышался глухой ответ.

– Теперь ты будешь слушать только одного меня и делать – сегодня, завтра и всегда – лишь то, что я прикажу тебе. Ты слышишь?

Прежде всего, ты будешь чувствовать отвращение к тюрьмам, к преступникам и преступлениям. Не будешь ни красть, ни убивать, ни насиловать, ни обманывать, ни пить, ни играть в карты.

Тебе будет скучно без работы, и ты захочешь усердно делать то, что я прикажу тебе.

Будешь на досуге читать и находить в этом интерес.

Завтра в 8 часов придешь в эту залу, сядешь на это кресло и заснешь.

Все, что я сказал, ты запомнишь и исполнишь.

Забудь о том, что ты загипнотизирован, и при пробуждении думай, что ты заснул.

Теперь проснись и исполняй то, что я приказал тебе.

– Дайте свету! – крикнул Никуличев лаборанту.

Сидевший вздрогнул и открыл глаза.

– Никак, я заснул, – потягиваясь, сказал он.

– Немудрено, ты устал, да и поздно. Ты, вероятно, хочешь спать. Ступай за Александром, он проведет тебя в твою комнату. А завтра тебе будет указана работа. Спокойной ночи!.. А ты, Иван, зайди ко мне.

– Как ты думаешь, удастся нам этот опыт? – обратился Колыбин к Никуличеву, когда они очутились в комнате.

– Отчего ж? Раз предыдущие удавались...

– А не думаешь, что у твоего брата, того... преступные манеры глубококонько проросли... Как бы не чересчур сильны они оказались...

– Конечно, с ним повозиться придется дольше. И дольше придется очищать его душу; но в два-три месяца мы все же и выстираем ее дочиста, и перделаем ее, и закрепим новые формы, уже не в качестве форм загипнотизированного, а форм нормального бодрствующего человека. А затем его можно пустить и на волю. Впрочем, он, вероятно, останется при нас. Он нам пригодится.

– Ну, дай Бог... Эх, Дмитрий! Право же, молодцы мы с тобой. Дела наши подвигаются и... недурно. А ведь не думали мы, что такими фокусами будем заниматься, когда зайцами ехали в Питер или жили за заставой!

– Случай помог, как обычно говорят, да ты. Не будь тебя – недалеко бы я уехал.

– Перестань. Без тебя мне и в голову ничего подобного не пришло бы.

– Ну ладно, не будим считаться. Нам спорить не о чем и делить нечего. Хватит работы на обоих. Как чувствует себя Лена?

– Хорошо, она с Витей все возится. Больно уж подружились они.

– А Витя, кажется, доволен своими учениками?

– Что и говорить. Два часа гуляет, 8 спит, остальные 14 делит пополам: 7 для своих работ по плану общественных и государственных реформ, 7 – на своих двух учеников.

– Ну, спокойной ночи, Иван. Привет Лене.

– Спасибо.

Друзья расстались...

Ученый несколько минут недвижно сидел в кресле, потом встал и сел за рояль... Аккорды, полные мягкой, зовущей грусти, заколыхались в кабинете. Было в них что-то порывисто стальное, но эта сталь, окутанная веянием далекой и светлой печали, звучала мягко, почти нежно... Длинные пальцы бегали по клавишам, а глаза смотрели куда-то далеко-далеко... Душа «механиста» отдыхала!..

Острые линии бледного лица смягчились... Какая-то новая сила смыла с него жесткую неподвижность и незаметно наложила на маску черты чего-то детского, живого...

Грустно зовущие звуки замерли... Зазвучало что-то новое... Аккорды тяжелые, как удар стопудового молота, прогнали светлую, бодрящую грусть. Какой-то стремительный поток бился о мрачный хаос звуков, тяжелый, трагичный, преграждавший дорогу порыву. Удар за ударом падал на эту стихийную массу, кипел, бурлил и прорывал одну препону за другой. Яснее и яснее слышался мотив творческого, побеждающего стремления. Костистые напряженные кисти рук падали на бело-черные клавиши. Губы были стиснуты, а челюсти и скулы резче обычного вырисовывались на сухом лице ученого... В полосе света хищно и насмешливо улыбалась статуя Мефистофеля. Неясно рисовались полки книг, а со стены спокойно смотрел портрет Ньютона...

* * *

На другой день в восемь часов вечера Петр снова сидел в кресле «морализующего» зала... Таинственно мерцала зеленовато-голубая лампочка. Раздавалось мерное, усыпляющее тиканье, и носилось какое-то дремотное благовоние...

Ученые и их ученики сидели около загипнотизированного Петра и молча слушали его повесть о жизни и преступлениях. Начиная с последних лет, шаг за шагом шел он назад, к годам юности. Временами Никуличев и Колыбин его прерывали. Задавали вопросы, заставляли вспомнить забытую деталь... Рассказчик отвечал, задумываясь, припоминая забытое, и, припомнив, продолжал свой рассказ.

Слова отрывисто падали и вычерчивали «кривую» жизни. Ученые и их ученики следили за ее изломами и спокойно отмечали на ближней таблице те «раздражители», которые толкали этого человека на его поступки. С ходом рассказа знаки на таблице делались многочисленнее, квадратные клетки разграфленного листа, с основными линиями абсциссы и ординаты, становились пестрее от точек, крестиков, цифр и букв греческого и латинского алфавита. По краям таблицы неровной чернеющей полосой шли названия «основных двигателей» человеческого поведения: рефлексy голода, размножения, самозащиты, моторы знания, религии, морали и т.д. Тут же фигурировали наследственность, привычка, страдание, удовольствие и другие «факторы». Петр дошел до той сцены голода, которая впервые толкнула его на воровство. Отрывистые слова залетали в тишине залы и штрих за штрихом воскрешали давно пережитую жизнь обоих братьев. Давно забытое прошлое снова оживало: исчезнув с поверхности сознания, оно целые годы жило в глубине души, как старая заноза, застрявшая в теле. Жило и продолжало отравлять душу, однажды разорвав оковы заповеди «не укради».

Мотор «голода», как кий игрока, толкнул тогда шар, называемый человеком, на кражу; остальные «моторы» поведения оказались слабыми и были уничтожены. Ряды новых «моторов» действовали далее и создали в итоге ту «кривую жизни», которую рассказывал Петр. Эта кривая лежала теперь на таблицах ученых и их учеников в виде ломаной неровной линии со множеством знаков.

Сосредоточенно-внимательны были лица слушателей. Только маленькая судорога быстро пролетела по лицу у Никуличева при рассказе о первом «падении» Петра.

Слова смолкли.

– Обратное развертывание души, кажется, кончено? – тихо спросил Витя...

– Да. Больше не нужно. Первые годы мне известны. Давайте проверим кри- вые, – встал Никуличев.

Вышли в соседнюю комнату. Разложили таблицы на столе... Колыбин принялся их сравнивать.

– Так... верно... правильно... – замечал он. – У тебя, Витя, тут ошибка, – указал он на один перелом кривой Витиной таблицы. – Согласен?

Витя подошел, взглянул на свою и остальные таблицы и задумался.

– Пожалуй... Я пропустил отмеченную вами деталь.

– То-то, – улыбнулся доктор и продолжал осмотр.

– Вот так фунт!.. А ведь в сей раз, Дмитрий, ты напутал. Трудно поверить, а, ей Богу, напутал. Взгляни-ка!

Никуличев подошел.

– Видишь? Здесь раздражитель у тебя оказался двойной: голод и сострадание. В силу этого сопротивление морального мотора у тебя оказалось уменьшенным на $0,33\beta$. Поэтому и средняя равнодействующая у тебя выведена на $0,33\beta$ короче, и ее направление отклоняющимся от моего на $0,075^\circ$.

– Верно. Однако я прав, – заметил Никуличев. – Я учел то, что Петр не успел рассказать вам. В этом случае его толкали в одном направлении и голод, и сострадание. Раздражением рефлекса сострадания был тогда я. Сострадание на $0,33\beta$ ослабило контрдавление морально-правового фактора. Я учел эту деталь, вы не учли, отсюда – разница.

– Ну, это другой разговор. Значит, все верно. И дети в этот раз оказались молодцами. Совсем мало ошибок. Дело идет... и отлично, мои друзья, – погладил доктор головку Бори.

Таблицы лежали на столе. Таблицы жизни человека, где все было измерено, взвешено и определено. Немало таких таблиц лежало уже в шкапах лаборатории! Занесены были на них и счастливые, и несчастные линии жизни. Вся и разница между ними – в переломах кривой да в значках, ее покрывающих. Ничего не скажут они непосвященным. Но посвященным говорят они много: сразу раскры-

вают сложнейшую борьбу тех сил, которые обрекли одних на порок, других – на подвиг, одних на идиотизм, других – на гениальное творчество.

Слепой случай располагал эту силу в удачном и неудачном порядке. Кто попадал в область первых – был славен и счастлив. Кто оказывался под действием вторых – погибал. Слепая сила случая оставалась равнодушной.

– Ну, на сегодня довольно. Завтра с утра приступим к психологическому массажу. Я сам буду его делать, а ты, Витя, будешь помогать мне. Очередные дела придется делать тебе, Иван. Боря и Коля будут в твоём распоряжении. Таблицы я заберу с собой, – прощаясь, закончил Никуличев.

Ученая семья разошлась по своим комнатам.

2

Описанная сцена происходила в новой лаборатории через три года после первого визита Никуличева к Шахматову.

На одной из окраин Петрограда, где раньше тянулся большой пустырь, выросло белое трехэтажное здание необычайной архитектуры, с какими-то странными выступами и выемками.

Кругом шла решетка, запиравшаяся днем и ночью.

Колыбин с Леной, Никуличев с учениками, два лаборанта, три студента и несколько пациентов, молодых и старых, поселились в этом здании.

Жильцы занимали очень немного комнат: все остальное было занято лабораториями для различных исследований и комнатами для пациентов. В нижнем этаже помещались животные. Были тут простейшие организмы вроде амёб и парамеций^{47*}; были беспозвоночные, были и высшие представители позвоночных.

Центр лаборатории составляли две залы. Одна из них носила название «интеллектуализирующей», другая – «морализирующей».

Каждая зала имела стены, абсолютно не пропускавшие шума. Всякий вошедший в нее попадал в царство молчания.

По стенам, по потолку и в середине первой залы тянулись какие-то странные машины, огромные собирательные и разборательные стекла, приборы для производства различных шумов и ударов – трубы, шедшие неведомо куда, электрические провода, проведенные к креслам, громадное полотно и кинематограф.

В центре залы, на возвышении, стояла «логическая машина», сконструированная по плану самого Никуличева. Она была лишь отдаленным подобием машины Джевонса^{48*}. Ее характерной чертой было то, что она механически позволяла проверить правильность любого суждения, сразу переводила его в письменную форму и эту письменную форму отображала на громадном полотне.

Задача этой комнаты заключалась в развитии быстрого и в то же время прочного усвоения сообщаемого, с одной стороны, с другой – в развитии логической способности мышления.

Вторая основная зала была «залой морализирования», или, как шутя называл ее Колыбин, «чистилищем и прачечной человеческих душ». Главную ее особенность составлял своеобразный, какой-то усыпляющий полусумрак, скорее даже сумрак, наступавший одновременно с монотонно-ритмичным шумом, похожим на удары дождя о крышу. В сумраке таяли все предметы, выделялась только светящаяся зеленовато-желтая точка, таинственно, наподобие светляка, мерцавшая где-то в углу и невольно приковывавшая к себе внимание. Временами во время сеансов распространялось здесь какое-то благовоние, от которого хотелось дремать, терялась воля, усыплялось сознание, и человек становился безвольным, мягким, как воск, из которого можно лепить что угодно. Множество странных приборов и сложных механизмов бросалось в глаза и в этой зале. Целая система кнопок цветными точками пестрела на стене. Стоило случайно нажать одну из них, и на эстраде залы появлялись люди, изображавшие сцены убийства, насилия, краж и целый ряд преступлений и ряд бескорыстнейших подвигов. Стоило нажать другую – и в зале воцарялся хаос: пол и стены начинали колебаться, раздавался оглушительный шум, ослепительный свет начинал чередоваться с абсолютной темнотой...

Нажимали третью – и пациент видел перед собой основные моменты своей жизни, видел себя самого таким, каким он был в действительности, и рядом с этим таким, каким должен был быть.

Ряд приспособлений лаборатории предназначен был для того, чтобы вытравить из исправляемого ненужные инстинкты, другой ряд – для того, чтобы внедрить в него желательные привычки.

Бездна мысли и великая воля били из всей обстановки. Все было взвешено, все учтено и все измерено...

* * *

...Утро только начиналось. Гудели гудки фабрик, расположенных около лаборатории. На пустыре вокруг научного здания голубовато-белой пеленой лежал снег.

Было около семи часов. Никуличев сидел и просматривал последние корректурные листы своей книги. Через некоторое время он окончил работу и направился в кабинет Колыбина.

– Здравствуй, – поздоровался он с доктором. – Прости, что беспокою тебя. Дело в том, что нам надо условиться, когда мы выступим с докладом. Так как твое изобретение уже готово, а моя книга выйдет через несколько дней, то, думается, нет больше оснований ждать. Пора, пожалуй, и на улицу.

– Что ж, идет. Но каков твой план?

– Мой план таков. Я думаю, лучше всего дебютировать и тебе, и мне в Академии наук. Там, вероятно, сначала поежата, но потом волей-неволей признают

и санкционируют наши работы. Одновременно выйдет моя книга. На французском и на английском языке она уже вышла. Со дня на день я жду откликов оттуда. Затем мы устроим целый ряд публичных выступлений. На них будут депутаты и общественные деятели. Вслед за тем подадим мотивированный доклад в комиссию парламента по народному образованию и министру. Этого, я думаю, будет достаточно на первое время. А месяца через два я рассчитываю быть приглашенным для докладов в иностранные Академии. Таким образом, толчок будет дан, а к следующей зиме, я надеюсь, наше дело из вопроса научного превратится в вопрос социальный, в боевой лозунг, вокруг которого завяжется борьба классов и партий. Вот главное. Как ты думаешь?..

– Я вполне одобряю тебя. На улицу так на улицу. Жаль, однако, что приходится порывать с тихой творческой работой! Делая эти шаги, мы прощаемся с ней, по крайней мере, на время. Мы выходим на улицу. И наши имена, как и все, что попадает сюда, пойдут трепать на перекрестках, валять в грязи, пойдут намеки, сплетни и прочее. Не знаю, как ты, а мне немножко грустно.

– Ты прав. Но иного выхода нет. Прошлое, конечно, быть может, самое счастливое время в нашей жизни. Но то, что добыто, должно быть выявлено. Не нам с тобой пугаться. Да и нет худа без добра. Наше дело сразу найдет тысячи и сотни тысяч работников.

– Идет, – заметил Колыбин. – То ли весело заживем мы! Эхма! Есть о чем горевать!

– Превосходно, Иван. Итак, значит, на улицу?

– Да, на улицу. Только не забудь захватить с собой палку, да покрепче, пригодится.

– Ладно, мой друг. Обойдется и без палки. А теперь вот что. Вот видишь эту статью? Она пойдет в ближайшем номере «Обозрения наук» и содержит в себе критику – и думаю уничтожающую – всего «гуманистического солидаризма» во главе с Воеводским включительно. Я начинаю выход на улицу с нападения, а ты, кажется, с патента на свой «сверхумор»?

– Валяй, во славу Божию. Давно пора одернуть этих болтунов! Хотя не забудь, этим ты наживаешь себе врагов среди гуманистов-либералов – и как парламентской партии, и как общественной силы, и как печатного слова в лице «Звука» и «Времени».

– Не беда... Все равно это неизбежно. Поэтому лучше уж сразу выступить с открытым забралом.

– Пожалуй, что иначе нельзя.

– Вот и все главное. На днях я поеду к Каракозову и условлюсь с ним о дне заседания. Теперь же иду в редакцию «Обозрения», а ты займись здесь порядком, учениками и патентами. К обеду приеду.

– Добре.

– Итак, на улицу? – тряхнув головой, хлопнул Никуличев по плечу Колыбина.

– Итак, на улицу, – улыбаясь, повторил доктор, круто повернулся на одной ноге, помахал руками и шутливо запел: «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою». Чего доброго, нам дадут, пожалуй, титул «Спасителей отечества». Приятно, Димитрий. А? Помнишь, как «голодранцами» мы спасали отечество?

– Ну, ну, – добродушно рассмеялся Никуличев. – Перевей горе веревочкой. Ладно, отправляйся к себе. Я распоряджусь, чтобы перед выходом на улицу нам дали обед, да посытнее.

– До свидания...

– Подожди, – нахмурившись вдруг, остановил доктор своего друга. – Прежде чем выйти на улицу, мы должны обсудить одно опасение, не раз возникавшее у меня за последнее время.

Ученые сели.

– Видишь ли, – продолжал Колыбин, – раз мы выйдем на улицу и опубликуем наши исследования, они будут достоянием всех и каждого. Уверен ли ты, что не найдется какой-нибудь мерзавец, который не использует нашей системы для преступных целей? Можно ли поручиться, что посредством нашего метода такой негодяй не будет фабриковать породы убийц, грабителей, развратников и так далее? А такая возможность не исключена. Вот об этом-то я и хотел поговорить с тобой.

– Соображение важное, и опасение вполне основательное, – как бы про себя заметил Никуличев. – Я как-то совершенно упустил его из виду. Хорошо, что ты напомнил об этом... Вероятно, так и случится. Но... – решительным тоном продолжал он, – пока что из-за этого не будем откладывать наш выход, – допуская даже, что опасения оправдаются, возможный вред от злоупотребления в сравнении с пользой будет все же незначительным. Когда он будет дан, тогда займемся противоядиями, а пока, думаю я, из-за него не следует задерживать опубликования. Согласен ты?

– Согласен-то я согласен. Но иметь в виду это соображение не мешает. И, может быть, теперь же следует исподволь заняться изобретением мер, не допускающих такое злоупотребление.

– Это само собой разумеется. И ты, и я будем кое-что делать в этом направлении. А пока намеченный план остается, не правда ли?

– Несомненно.

– Ну, тогда – до обеда...

– Ты не читала еще эту статью? – спросил Воеводский, подавая жене номер «Обозрения».

– Вчера кто-то прислал мне его. Уже прочла, – разливая кофе, ответила Елизавета Александровна.

– И что же? Как ты находишь ее?

– Как тебе сказать... Статью писал, во всяком случае, человек неглупый. Думается, многое здесь схвачено правильно. Я бы, пожалуй, со многим помирилась, но тон статьи – невозможен.

– И я тоже нахожу его возмутительным. Статья неглупая, это правда, надо будет ответить. Да. Я сегодня же сажусь за нее. Но любопытно, кто бы мог написать ее? Ведь ясно, что Отверженный – псевдоним.

– Не знаю... Узнай. Справься у Гиршмана.

– Лучше бы ты это сделала. Тебе удобнее.

Елизавета Александровна Воеводская была на этот раз не вполне откровенна с мужем. Статья «Гуманисты-либералы и г. Воеводский» ей показалась статьей уничтожающей. Чья-то опытная рука писала ее и метко наносила удары, вскрывая пустоту красивой фразеологии гуманистов. Путем глубокого анализа работ Воеводского как лидера автор показывал невежество и неверность их теоретических положений. Комментируя практическое поведение партии и ее лидеров, он выводил их на чистую воду.

В итоге как теория, так и практика гуманизма, лишенная пышного словесного убора, получала нищенски-жалкий вид, способный вызвать и негодование, и улыбку. Сила статьи увеличивалась живым, но убийственно-ироническим тоном. Он задел Воеводскую, хотя в глубине души, помимо своей воли, она находила стиль мощным и невольно любовалась им. Не так легко отнесся к ней и Воеводский. Не лишенный способности самокритики, он при беглом ее просмотре понял, что за ней кроется враг сильный, что удары его попадают прямо в цель и пробивают немалые бреши в его системе.

Вошел лакей и подал газеты.

– Так и есть. Уже имеется заметка по поводу статьи, – просматривая «Звук», сказал Воеводский.

– Есть статья и в «Начале», – отозвалась его жена.

– Вот как... Что же пишут?

– Статья озаглавлена «Изнанка гуманизма». Излагает сущность статьи Отверженного и вполне одобряет ее.

– А здесь профессор Синицын, напротив, ругает статью.

«Тр...р...р...» – зазвонил телефон. Воеводский взял трубку.

– Слушаю... А, здравствуйте... Читал... сейчас читаю и вашу статью... Да, да... Я сейчас же сажусь за ответ и вечером пришлю его в редакцию. Обязательно

но... По-видимому, кто-то начал предвыборную кампанию. Спасибо. Непременно... До свидания.

– Звонил Сеницын. Я сейчас сажусь за статью, – целуя руку жены, сказал Воеводский и пошел в кабинет.

Елизавета Александровна осталась одна и занялась чтением газетной статьи. Кончив ее, она задумалась. В ее голове стоял вопрос: кто бы мог быть автором этой статьи? Ее любопытство усиливалось еще фактом присылки ей неизвестным автором номера «Обозрения». Статья была специально подчеркнута синим карандашом и перед ней стояла надпись: «Елизавете Александровне, в воспоминание о прошлом и в знак памяти от автора». И еще два слова: «Скоро увидимся». И только. Кто бы это мог быть? И почему эта надпись и специальная присылка? И что значит это «Скоро увидимся»? Быть может, это один из врагов ее мужа? Быть может, один из ее многочисленных поклонников, не отмеченных ею, желающий обратить на себя внимание? Странно... «Кто бы это мог быть?», – думала Воеводская и мысленно пыталась открыть неизвестного автора... Подставляла то одного, то другого из общественных фигур, литераторов, ученых. Но ни одно из предполагаемых лиц не годилось по той или иной причине. Мысль о Никуличеве не приходила в голову, не приходила потому, что со времени случайной встречи на концерте она его не видела и ничего не слыхала о нем.

«Позвонить разве Гиршману?»^{49*} – подумала она. – Он член редакции «Обозрения» и должен знать, кто автор этой статьи».

Воеводская подошла к телефону.

– Это вы, Соломон Моисеевич?.. У меня к вам просьба. Не можете ли вы сказать мне, кто скрывается под псевдонимом Отверженный... Почему же не можете... Мне-то могли бы сказать. Само собой, это останется между нами... Кто?.. Да что вы?.. – воскликнула она с испугом и затем спокойно спросила, кто он такой... – Вы говорите, что не знаете ничего о его прошлом, но думаете, что это просто удачно дебютирующий публицист... Жаль. Ну, большое вам спасибо. Во вторник, надеюсь, увижу вас у себя... Будем рады. Милости просим... До свидания...

Так вот он кто, этот Отверженный. Некто, как выразился Гиршман, Никуличев... Образ молодого ученого с полуиронической улыбкой, застывшей на его губах, и с загадочной фразой «Слова – серебро, молчание – золото» встал перед княгиней... Вот на что, значит, намекал он при последней встрече. Но как могла она не догадаться о нем сразу? Ведь стиль его знаком ей. Впрочем, этой холодной, разъедающей иронии раньше не замечалось. Что же означает в таком случае это нападение? Неужели месть отверженного неудачника, не сумевшего выбиться на широкую дорогу и теперь жалеющего победителя-соперника? Нет, такое предположение мало похоже на Дмитрия. А впрочем, кто его знает. Она так давно не видела его... Быть может, он уже не тот, каким был прежде. Но в таком

случае тем хуже для него. Неужели же он думает этим возратить потерянное? «Напрасно, мой друг, – с усмешкой проговорила Воеводская. – Гуманный солидаризм вам не опрокинуть, он слишком прочно стоит. А нам видется незачем. Не написать ли ему об этом? Пожалуй».

Княгиня прошла в свой кабинет и быстро набросала:

«Господин Отверженный, Е.А. Воеводская благодарит Вас за присылку статьи. Она прочла ее с удовольствием, но полагает, что видется нет надобности.

Воеводская».

На конверте стояло: «Редакция “Обозрения наук”. Г. Отверженному»...

– А теперь отвечу ему статьей и я, – решила Воеводская. – Попробуем поднять брошенную перчатку.

4

Академик Каракозов был исключительной фигурой в среде русских академиков. Ученый с крупным европейским именем, известный за границей не менее, чем в России, он был последним из того славного поколения, которое дало дворянство в памятные дни конца XIX столетия. Громадного роста, с большой бородой и добрыми лучистыми глазами, он обладал широкой русской душой. Чуждый узкого доктринерства, чуткий к зовам жизни, он резко отличался от среды остальных академиков.

– И за что меня выбрали в Академию, ей Богу, не знаю, – шутливо он заявлял друзьям. – Готтентотских языков я не изучал, манускрипты Рамзеса не расшифровывал, а выбрали.

– Помилуйте, – отвечали собеседники. – А ваши исследования о быте и нраве самоедов? А «Промышленное развитие Европы»? А десять томов «Происхождения нового режима»?^{50*}

– Ну, полноте, за это могут выбрать в Париже или в Риме, но не у нас. Ведь едва ли кто-нибудь из наших бессмертных раскрывал хоть раз одну из этих книг. Впрочем, и я не в долгу у них. Однажды раскрыл я выпуск Академии по отделу восточных верований и на пятой странице заснул. Просто зря выбрали, – доканчивал он.

Лишенный позы и педантизма, он добродушно осмеивал все, не щадя и себя самого. Стоило послушать его, поглядеть на его барское лицо, посмотреть, как вся его фигура, в особенности большой живот, колышется от смеха, – и нельзя было не прийти в хорошее настроение, и нельзя было не полюбить его. Он пользовался исключительной популярностью в России и как человек, и как общественный деятель. Имя Каракозова, или Мастодонта, как его прозвали многие, служило для многих групп и партий связующим звеном. Это имя служило гаран-

тией порядочности дела и мысли. К Каракозову же за советом шли и молодые ученые. Не затушевывая своих мыслей, он умел понять их, умел дать совет всякому, в ком была искра таланта. Бесталанных он гнал. Любитель весело пожить, хорошо поесть, он и работал, как мастодонт. То, что он делал, было под силу весьма немногим. Принимая деятельное участие и в верхней палате^{51*}, и в общественной деятельности, и в науке, он находил время и для советов, и для отдыха, разумно соединяя приятное с полезным.

– Пожалуйте. Очень, очень рад вас видеть, ну садитесь, Симеон Столпник. – Протягивая руку Никуличеву, встретил его Каракозов. – Как ваша работа? И скоро ли конец вашему искусству?

– Благодарю вас, Михаил Михайлович. Работа подошла к концу. Вот на этот счет я и приехал поговорить с вами. Вы прочли английский текст моей книги?

– Да, и скажу прямо, с большим удовольствием. Мало того, я уже послал по ее поводу большую статью в «Известия Лондонского королевского института». В ближайшей книге она будет напечатана. Кроме того, я написал президенту Академии политических и моральных наук в Париже по поводу французского издания вашей работы. Написал о ней и секретарю Международного социологического института.

– Я очень, очень благодарен вам, Михаил Михайлович.

– Ну, полноте. Благодарить тут не за что. Ваша работа и ваша книга – явление исключительное, а потому было бы глупо и неумно не содействовать ее успеху, несомненно, обеспеченному. Помимо всего, есть у меня и своя корысть. Как-никак, вы мой бывший ученик, правда, обогнавший далеко своего учителя. В своем труде вы не раз ссылаетесь и на мои писания. Стало быть, лучи вашей славы косвенно падают и на меня, – широко улыбаясь, продолжал Каракозов.

– Вот в чем дело, Михаил Михайлович. На днях выходит русский текст моей книги. Работа главная у меня почти что закончена, и мы с доктором Колыбиным решили выйти на улицу. Думаем наш выход начать с Академии. Одновременно с выходом книги мы бы хотели сделать доклад о нашей работе и опытах в Академии. Как вы думаете, можно будет устроить это?

– Можно-то оно, пожалуй, и можно. Но какой прок от этого? Стоит ли овчинка выделки? Что вам могут сказать эти почтенные, слепые, глухие и чающие движения воды? Иное дело, ежели б вы представили им мемуар по фонетике алтайских языков, или о толковании такого-то места Брихаспати^{52*}, или о количестве надела крестьян царя Салтана, – тут бы они поговорили.

– Дорогой Михаил Михайлович, само по себе мнение почтенных академиков для меня не важно. Но важно оно в ином, чисто общественном отношении. Вам уже известно, что я не собираюсь довольствоваться чисто теоретическим значением наших работ. Это лишь первая ступень. Смысл же и значение их в том, что они должны сделаться практической силой, орудием социальной пере-

стройки и прогресса. Вокруг них должна завязаться борьба, и борьба жестокая. Это раз. Во-вторых, в тех же целях я хочу добиться применения моей системы государством, в-третьих, для широкого осуществления нашей системы нам нужны будут громадные деньги. А вы знаете глупость нашей публики. Ей нужны патенты и гарантии. Одной из таких гарантий в ее глазах является приговор Академии. Вот причины, почему мы находим уместным и нужным выступление в ней и желали бы, чтобы заседание было не закрытое, а открытое, с привлечением всех тех, кто сколько-нибудь смыслит в этих вещах.

– Пожалуй, вы и правы в этом смысле. Но боюсь одного: ведь за исключением одного-двух академиков едва ли кто из них понимает что-нибудь в исследуемых вами вопросах. А так как вы бунтарь и подлинный новатор, то как бы за вашу непочтительность они не вздумали покарать вас.

– Ну, это уж не так страшно. Я им дам не только теорию, но и осязательные практические опыты. Кроме того, я намерен устроить доклад лишь тогда, когда у меня будут отзывы иностранных ученых. Этого, я думаю, будет достаточно, чтобы заставить их действовать так, как мы хотим. Из боязни скомпрометировать себя они принуждены будут санкционировать наши работы.

– Я берусь устроить вам это. К какому же времени приурочиваете вы заседание?

– Я думаю, недели через три. В числах двадцатых ноября.

– На этом, значит, и порешим. Превосходно, а теперь пойдемте завтракать....

5

Надежды Никуличева и Колыбина, возлагавшиеся на успех их книг за границей, не только оправдались, но далеко превзошли ожидания. На столе Никуличева лежал ряд журналов – социологических, психологических, философских, педагогических и даже социалистических – с целым рядом статей, посвященных и вызванных их книгами. Получен был ряд писем от специалистов с благодарностью за присылку книг, с лестными отзывами знаменитых ученых, с приглашениями приехать и прочесть доклады в ряде научных обществ, с запросами относительно тех или иных деталей, с просьбой разрешить изучение лаборатории на месте, с просьбой к Колыбину прислать «сверхумород» или указать, где можно купить его, как пользоваться им и т.д., и т.д.

Особенно обрадовали изобретателей статья знаменитого английского ученого Вильяма, помещенная в «Бюллетенях Лондонского королевского общества», и статья французского академика Эмиля Фуше, напечатанная в «Социологическом обозрении»^{53*}. И тот и другой дали работам ученых самую лестную оценку. «Работы и опыты гг. Никуличева и Колыбина, – писал первый, – открывают новую эру в теории социальных наук и новую эру в социальном творчестве куль-

туры. В них нет фраз – есть только строго доказанные истины. Нет туманностей и неясностей – напротив, все точно, ясно и измерено. Смелые, даже дерзкие мысли построены на прочном фундаменте кропотливого исследования и осторожно-го анализа фактов. Нет здесь ни бессмысленного нагромождения последних, ни беспочвенной дедукции.

Что касается практических последствий, которые будут вызваны ими, то я не сочту неосторожностью сказать: эти результаты будут громадны. Я не хочу быть пророком, но полагаю, что многое отныне должно измениться; и кто знает, быть может, эта система заставит пойти по новому руслу все наше обучение, воспитание, социальную борьбу и весь социальный уклад. Работа этих двух ученых – явление необычное» и т.д.

Не менее лестной была оценка и Эмиля Фуше.

Из других писем обращали на себя внимание два письма: Гильома Мориу, председателя международного социалистического Союза, и г. Бару, государственного секретаря Северо-Американских Соединенных Штатов^{54*}, бывшего профессора социологии в Чикагском университете.

«Многоуважаемый г. Никуличев и дорогой коллега! – писал Мориу. – Я только что кончил чтение вашей книги и книги вашего друга, доктора Кольбина. Пока я не могу дать более подробный анализ их, в особенности вашей книги, непосредственно относящейся к социальным вопросам и, в частности, к социалистической практике. Ограничиваюсь этим письмом. Начну с того, что вы заставили меня усомниться во многих вещах и подвергнуть сомнению лозунги, до сих пор считавшиеся аксиомой... Это уже много... Наша работа – я говорю “наша” потому, что хотя лично и не знаю вас, но по духу вашей книги вижу, что вы – наш, ваши цели – народные цели, ваша забота – забота о массах, ваше оружие служит нашим задачам, – так вот, эта наша работа, быть может, кое в чем и проиграет от вашей книги, но, насколько теперь я могу судить, благодаря вам же она получит и новую и, смею думать, более правильную постановку. Боюсь одного: как бы выкованное оружие не захватили наши социальные враги. Но это уже не ваша вина. Пока же присланная вами книга изучается рядом наших теоретиков и в ближайшем будущем, вероятно, будет немало споров и статей по ее поводу. Позвольте поблагодарить вас от души за ваш смелый план социального переустройства и разрешите включить вас в число членов нашего Института. Так или иначе вы – “наш”. Быть может, мы многое отвергнем из ваших предложений, но, несомненно, останется от книги и многое, что принадлежит вечности.

Искренно уважающий вас и готовый к услугам

Г. Мориу.

Если понадобится вам какая-нибудь помощь, всегда можете рассчитывать на меня».

Письмо же Бару было чисто делового свойства. Бывший ученый и теперешний государственный секретарь Штатов предлагал прислать от имени Штатов трех ученых для детального знакомства с системой Никуличева–Колыбина. Система нового воспитания и обучения показалась Бару настолько ценной и плодотворной, что он хочет сделать опыт широкого применения ее в одном из Штатов Америки. В конце письма Бару предлагал приехать Никуличеву в Штаты, чтобы непосредственно руководить государственным применением его теории и методов.

Аналогичные же письма имелись от директоров тюрем в Пенсильвании, Италии, от председателя Международного союза криминалистов и т.д.

В ряду этих писем было и письмо издателя, сообщавшего, что первое издание их книг разошлось, и предлагавшего на новых, весьма выгодных условиях выпустить второе издание.

Такие же письма от физиологов, биологов, психологов и знаменитых медиков имелись на имя Колыбина. Несколько компаний предлагали продать им патент на его «сверхумород». Суммы были весьма значительны.

С одним из таких писем в руке Колыбин вошел в кабинет Никуличева.

– Не хочешь ли, Дмитрий, разбогатеть? Изволь, посмотри, что пишут мне.

Никуличев взял письмо, в котором крупнейшая немецкая фирма химических препаратов предлагала Колыбину 300 000 марок за его изобретение.

– Цена приличная, – прочтя письмо, сказал Никуличев. – Как же ты решаешь?

– Никак.

– То есть?

– Черта с три продам я им «сверхумород». Для них, что ли, я изобретал его? Пожалуйста, купите. Назначьте по 10 р. за коробку и продавайте богатым. Коли будешь иметь деньги – так будешь умен, а беднячки – и без уморода проживут. Как бы не так... Не на того, черти полосатые, напали. Я изобрел умород для всех людей, и все его получают, и получают бесплатно, как воду и воздух. Иначе – пусть он пропадет.

– Руку, Иван!

Колыбин протянул руку и крепко пожал в свою очередь руку Никуличева.

– Я не выпущу и не опубликую его состав до тех пор, пока государство не поставит себе в обязанность раздавать его даром, совсем даром, всем тем, кому он будет нужен. Ну, ладно, не буду мешать тебе, да и мне надо в лабораторию. Прощай!

Никуличев остался один и снова принялся за перелистывание писем и статей.

В сумраке кабинета половина его головы ярко освещалась лампой. Большой, квадратный и крутой лоб благодаря свету казался еще большим. Ровный огонь электричества делал бледное лицо ученого еще более бледным и недвиж-

ным. Кончив чтение, он повернул кнопку, взял кипу газет и перешел к ярко горевшему камину.

В дверь постучали.

– Вам письмо и газеты из редакции, – подал студент.

– Благодарю вас, – ответил он и распечатал небольшой серый конверт. Это было письмо Воеводской, адресованное в «Обозрение» и доставленное с опозданием. Никуличев прочел, и улыбка пролетела по его губам.

«Вот как, Елизавета Александровна. Вы думаете, “нам видеться незачем”. Нет, мы увидимся и скоро, – подумал он. И улыбка снова пробежала по его лицу. – Вы думаете, в этой статье я весь, и у меня нет более ничего за душой. Вы ошибаетесь, Елизавета Александровна. С таким багажом я бы не выступил. Мою статью написал бы всякий неглупый и бойкий публицист, если бы все дело было только в этой статье. Подождите еще немного, и тогда вы увидите меня во весь рост. Посмотрим, что то вы скажете тогда?»

Огонь ярко горел в камине, и то вспыхивал, то успокаивался. Статуя Леонардо то ярко выступала из полусумрака кабинета, то снова расплывалась в белое неясное пятно.

«А статья ведь произвела шум, – думал далее Никуличев и горько улыбнулся. – Как мало нужно для того, чтобы быть известным и популярным. Стоило написать бойко и неглупо статью, выругать болтунов, что мог бы сделать всякий умный человек, и есть уже имя, есть уже известность. Напиши он еще две или три такие статьи, и его имя было бы именем улицы. И теперь уже Отверженного знают, теперь уже приглашают его на лекции, собрания и в органы печати. А за что? За то, что хорошенько выругал пустых фразеров, кроме слов и фраз не имеющих ничего и льющих словесную воду на пустые колеса человеческих душ, падких на всякую глупость, не умеющих отличить правой руки от левой. Не в этом ли заключаются и все заслуги большинства “ученых”, популярных писателей и общественных деятелей? Разве это не те же пустые души с хорошо подвешенными языками? Разве вся их заслуга не исчерпывается взаимной руганью, в которой один старается перещеголять другого? В итоге создаются “имена”, выделяются “таланты”, и актеры мысли и дела получают высокий курс на человеческой бирже. Слепец ведет слепца, а толпа вьет им венки, окружает их фимиамом и превозносит их до небес. О глупое, преглупое человеческое стадо! – С горькой улыбкой думал Никуличев. – Когда же ты поумнееешь и когда научишься хоть сколько-нибудь разбираться в твоих вождях и пастырях? А, казалось бы, пора уж научиться. Ошибкам нет конца, глупости – тоже, и так из века в век. Лишь временами появлялись подлинные творцы и толкали тебя против воли и желания вперед. А современные популярные и известные лица? Разве это не нули, круглые, чистые, пустые нули?»

– Э, впрочем, не стоит думать об этом, – проговорил Никуличев.

Его взгляд снова упал на записку Воеводской.

Смешно... Сколько шуму вызвала его статья. Появился вслед за ней ряд новых. Одни соглашались с ним, другие защищали Воеводского. Обрадовались, болтуны...

А ответная статья Воеводского? Жалкая статья зарвавшегося и избалованного ребенка. Тон ее был напыщенный, торжественный, как будто профессор снисходил до своего оппонента. Но, кроме тона и остроумных словечек, в ней ничего не было. Ни один из его аргументов не был разрушен, ни одно положение не было опровергнуто. Бедный фразер, погубленный своим успехом и человеческой глупостью...

Бедная Елизавета Александровна... Ее записка – холодна и горда, холодна и горда и ее статья, направленная против него...

Читая строчку за строчкой, он оживлял ее мысли и чувства. В статье, несмотря на холодный тон, временами прорывалось бессилие и какая-то надломленность. Ряд строк говорили ему, что тут она сама переставала верить в то, что защищает. Как будто придавил ее камнем своих положений... Она пыталась сбросить эту тяжесть и... не могла. Некоторые строки были понятны, пожалуй, ему одному. Под нейтральной формой полемики в них скрыт был интимный упрек, недовольство и гнев. Они говорили: «Ведь я не виновата, что ты завидуешь Воеводскому, что он победитель, а ты побежденный, что он прославился, а ты банкрот, и теперь мстишь ему и жалишь его в пятю, хотя и чувствительно, но неопасно».

«Понимаю, очень хорошо понимаю вас, Елизавета Александровна. Боюсь одного: что тон ваш скоро будет иным. И для вас, и для вашего мужа и всех гуманных либералов достаточно будет моей ответной статьи. Там я окончательно раздел вас и оставил нагими. Только безнадежно глупые не согласятся со мной. А толпа? О, эта статья убедит и ее! Для этого-то он и написал ее так резко, одел свои мысли в убийственный стиль, напитал статью ядом иронии... Толпа будет моей. Раз она может принимать пищу только в такой приправе – пусть получает ее. Я дал ей эту приправу... Скоро он раскроет свои карты вполне, и они, пожалуй, убьют ее. Уже лежат на столе веяние славы и плоды его работ. Он уже признан и известен. Через месяц-два он будет знаменит. К его имени пришьют эпитеты “галантливый”, “великий ученый”, “наша гордость” и т.д. Та людская толпа, которая до сих пор не хотела знать его, пойдет за ним, будет жевать его имя. При его появлении будут пальцами указывать на него: старцы и мужи – с уважением пожимать его руку, юноши – смотреть ему в рот, а женщины будут расточать улыбки, бегать за ним. Одним он будет нужен для салона, другим – для того, чтобы прославить себя по примеру любовниц гениев, третьим – просто ради хвастовства, а четвертым – ради него самого. Придете, пожалуй, и вы, Елизавета Александровна. Будет довольно забавно!» И горькая улыбка снова промелькнула на губах ученого. Камин потух.

– Не угодно ли прочесть? – протягивая повестку жене, сказал Воеводский. Повестка была от Академии наук и извещала, что 23 ноября в 7½ часов вечера состоится публичное соединенное заседание отделений социально-философских и медицинских наук. Предметом заседаний будут доклад Д.Н. Никуличева «Механика человеческого поведения и новая система интеллектуального и морально-го воспитания» и доклад И.П. Колыбина «Интенсивная трата нервной системой энергии и способы ее восстановления». В повестке значилось, что доклады будут сопровождаться демонстрированием детей, воспитанных по новой системе.

– Любопытно, – процедила Воеводская. – Ты думаешь пойти?

– Не знаю, стоит ли? Темы любопытны, но можно ли ждать чего-нибудь нового от Никуличева?

– Раз допустили его до доклада в соединенном заседании, да еще публично-го, значит, доклады действительно интересны. Я бы, пожалуй, пошла.

– Тогда едем. Тем более, что это хороший случай познакомиться с ним, да, пожалуй, и рассчитаться кстати.

– Я тоже думаю.

Повестка Академии была большой неожиданностью для Воеводских. О работе двух друзей они ничего не знали. До случайной встречи на концерте, а равно и после нее, Никуличев был забыт. Впервые о нем вспомнили после его статьи, посвященной критике гуманизма и Воеводского. С тех пор оба супруга не забывали Отверженного. Если первая статья ученого была ошеломляющей, то его ответ на статьи Воеводского и его сторонников был поистине уничтожающим. Искусно вскрыв бессодержательность ответов, Отверженный с редким сарказмом осмеял напыщенный и высокомерный тон «князя», вообразившего, что он с высоты своей светлости разговаривает со своим лакеем; подчеркнув эту внешнюю значительность тона, автор изящно провел параллель между стилем Воеводского и пшютом из золотой молодежи, тон которого всегда значителен, но за душой которого ничего нет. Не пропустил он случая высмеять и бессодержательную реставрацию старого византизма в любимых фразах Воеводского: «мистический», «Св. Троица», «религия великого духа» и т.д., и т.д.

В статье имелись и такие строки, которые и написаны, и понятны были только Воеводской. Смысл их говорил ей, что она поторопилась в своих выводах на счет его зависти и мести. Автор скрыто говорил: «Подождите немного, и тогда вы увидите, кто победитель и кто побежденный». Статья имела громадный успех. Некоторые слова были настолько остроумны, что даже попали на страницы сатирических журналов.

В Воеводском статья вызвала резкое чувство вражды к Никуличеву. Он рисовался ему каким-то «человеком с улицы», «научным авантюристом», из зависти осмеивающим его самым неприличным образом.

Избалованный успехом, привыкший к похвалам, он самый факт выступления против него считал непозволительной дерзостью. Он мог бы еще примириться с нападением, если бы оно исходило от известного ученого и не было бы столь резким. А тут, с позволения сказать, какое-то ничтожество, какой-то неудачник, бывший его соперник осмелился поднять на него руку, и поднять дерзко и смело.

«Нахальство, – думал Воеводский, читая статью. – Научное хулиганство». Но это хулиганство било метко по его главным позициям. Попытка отпарировать удар вызвала еще более резкое нападение. Воеводский смутно понял, что отвечать ему нечего. Туманные и неясные фразы, годные для других, не годились для Отверженного. Он ловко распутывал их и умело вскрывал их пустоту. Оставался только один выход: молчать, делать вид, что он игнорирует противника и находит недостойным для себя спорить с «человеком с улицы». В этом роде и напечатал он письмо во «Времени» и «Звуке»^{55*}.

Ничего не зная о работе Никуличева, Воеводский полагал, что этого жеста будет достаточно, чтобы достойно ликвидировать полемику. «Мало ли есть всяких проходимцев, не отвечать же на все их нападки», – таков был смысл его «Письма в редакцию».

Несколько иные чувства вызвал ответ Отверженного в Елизавете Александровне. Читая первую статью, она уже поняла, что тот, кого она считала неудачником, не совсем таков. Его слова сильны, мысли ясны, удары – разрушительны.

Написав ответную статью, она временно успокоилась.

Когда же прочла ответ Никуличева, впечатление получилось иное. Сомнения, вызванные первой статьей, окрепли; многие положения социально-философской системы ее мужа были окончательно дискредитированы. Отверженный снимал одну словесную завесу за другой и говорил: «Посмотрите, что там, за завесой». Читатель смотрел и видел одно: пустоту, пустоту и пустоту. Вместо стройной системы получался какой-то винегрет, складочное место, где были перемешаны огрызки самых различных теорий и мыслей. Вместо прекрасного плаща получались одни отрепья, сшитые из разных лоскутьев. А тут еще личная угроза, гласившая: «Подождите немного и вы увидите».

Елизавета Александровна поняла свою ошибку. Она поторопилась отнести Никуличева к неудачникам. «Банкроты так не пишут и не говорят».

Вместе с этими мыслями новое чувство прокралось в ее душу. Многие жесты и мысли мужа неожиданно стали казаться смешными. Многое из того, что она считала своим и верным, показалось взятым напрокат и сомнительным. Безмятежная гладь души покрылась рябью не то тревоги, не то сожаления. О чем? Она и сама не знала.

Отныне образ Никуличева чаще и чаще вставал перед ней: холодное лицо, серые стальные глаза и ироническая улыбка на губах... Было ли тут сожаление о

своем выборе? Нет, оно еще не осознавалось... Было просто какое-то томление, неясное и смутное. Было неоформленное недовольство, невысказанный и скрытый упрек. Одновременно родилось и подобие восхищения тем, кого она считала конченным и кто снова воскресал на ее глазах.

Повестка подействовала на Воеводского и на нее: «Раз допустили его до доклада, значит что-то у него есть. Значит, он не только бойкий публицист, но еще и ученый».

«Посмотрим, – думал князь. – Посмотрим, голубчики, – с угрозой повторял он. – Других критиковать легко, а вот ты нам покажи свой товар. Боюсь, что от него ничего не останется», – самодовольно улыбался он. Он решил быть там и разнести его вдребезги. В том, что это ему удастся, он не сомневался. «В случае чего, выедем на ораторстве», – думал князь.

– Итак, значит, мы едем?.. – весело спросил он снова.

– Да, я думаю, следует.

Любопытство княгини было сильно возбуждено.

* * *

Большой конференц-зал Академии в половине восьмого был полон. Смутные и неясные слухи об изобретении и Никуличева, и Колыбина уже неслись по городу. Возбуждала интерес и сама тема доклада. Явились академики и все специалисты по этому вопросу.

За одним из длинных столов, покрытых зеленым сукном, сидел знаменитый историк Востока Календарев^{56*} – высокий, сухой старик с маленькой бородкой и с синими, еще юными глазами. Он вел беседу с академиком Журавлевым, умным и приятным стариком-хохлом, на лице которого всегда лежала приветливая улыбка.

Недалеко от них академик Ширинский^{57*} сердито разговаривал о чем-то с высокой дамой. Он был известным криминалистом, приобретшим славу своей работой об алкоголизме и преступности. По его недовольному лицу, по трясущейся бороде и по резким жестам можно было бы подумать, что он за что-то распекает свою собеседницу.

В конце стола сидел знаменитый психофизиолог академик Пастухов, недавно получивший за свои работы Нобелевскую премию^{58*}. Облокотившись на стол, он спокойно осматривал публику и, казалось, ни о чем не думал.

Постепенно места за столами все более и более заполнялись. Явились представители кафедр социологии, психологии, морали, философии, физиологии и медицины. Рядом с ними мелькали сюртуки видных публицистов, кое-кого из депутатов, в том числе лидера социалистов Поленова. В местах для публики виднелись студенты, курсистки, модно разряженные дамы, ряд репортеров,

короче – вся та публика, которую можно встретить на всяких торжественных заседаниях. Тут же сидела и Елизавета Александровна Воеводская. Она то и дело раскланивалась со своими знакомыми, издали приветствовавшими ее или подходившими к ней и целовавшими ей руку. Воеводский в стороне о чем-то беседовал с группой лиц, в которой можно было заметить и Сеницына, и Привина, и Хлебникова, и Рабиновича, и других лидеров партии гуманистов. Ярко горели люстры. Недвижно смотрели портреты великих людей на волнующую публику.

Из неясного гула толпы время от времени выделялись обрывки фраз.

– Здравствуйте.

– Спасибо.

– Кто он такой?

– Не знаю, какой-то молодой изобретатель.

– Где он?

– Любопытно.

– Вероятно, дутая штука.

– Пуф.

– Кто это?

– Смотри, милая. Вон-вон он.

– Душечка Воеводский.

– А это кто?

Фразы рождались и таяли.

В восемь часов раскрылись двери, и ряд академиков во главе с президентом вошли в зал. За ними показались Никуличев, Колыбин, Боря, Витя и Коля – ученики ученых. Позади их два служителя несли кипу книг и стали раскладывать их по столам перед сидящими академиками.

Президент занял свое место и позвонил. Пока тишина водворялась в зале, Никуличев obeжал глазами публику. Направо от себя он увидел Лену, мило беседовавшую с банкиром Шахматовым. Тот раскланялся и дружески кивнул ему головой.

В толпе взгляд его заметил еще ряд знакомых лиц и, скользнув по ним, остановился на Воеводской. Краска вспыхнула на лице княгини, но через минуту она приняла любезный вид и деланно улыбнулась. Никуличев холодно кивнул головой. В зале стало тихо.

– Объявляю соединенное заседание социально-философского и медицинского отделов Академии наук открытым. Слово принадлежит Д.Н. Никуличеву, – провозгласил президент.

Никуличев поднялся и прошел на кафедру. Лицо его было спокойно, но бледно. Глаза горели обычным холодным блеском. Без видимого волнения он разложил листки бумаги, раскрыл свою книгу и начал.

– Милостивые государыни и милостивые государи! Человеческий ум со времени своего появления направил свое внимание на познание закономерности окружающих его явлений. В пестром и разноцветном потоке событий он пытался уловить законы, управляющие ими, подметить причинные связи, познать отношения, диктуемые необходимостью. Медленно, с ошибками и заблуждениями, но эта задача постепенно выполнялась им. Мир из нестройного и непонятного хаоса событий превращался мало-помалу в один связный и стройный механизм, подчиненный великому Року. Весь умственный прогресс с этой точки зрения есть постепенная замена случая и чуда необходимостью и механизмом. К нашему времени расшифрована механика физических и химических событий, проведены ясные линии в сложном узоре явлений жизни. Остался лишь один человек. Несмотря на ряд попыток, до сих пор не удавалось разложить его поведение на составные части и дать формулу, определяющую его механизм. Неудача этих попыток привела даже к тому, что на него стали смотреть как на исключение, как на существо, не подчиненное законам необходимости, а обладающее свободной волей. «Человек – царство свободы и носитель великого Духа», – так говорили и говорят нам. Попытка отрицать правильность этих положений не нова. Но эти голые отрицания бесполезны. Для достижения указанных целей, подсказанных невежеством и умственной ленью их адептов, мало голого отрицания. Нужно фактическое разложение человеческого механизма на части, изучение сил, толкающих его на те или иные поступки, словом, нужно неоспоримое и несомненное доказательство, что человек та же машина. И вот я утверждаю: человек – машина, но машина, снабженная несколько отличным двигателем, чем вещи неорганического и вещи биологического мира. Этот двигатель – мотор психический. Понять человека – значит изучить закономерность самой психики и ее форм.

Этому была посвящена наша совместная с доктором Колыбиным работа. Начав изучение с поведения простейших – амёб и инфузорий, мы постепенно усложняли наши опыты, вводя ряд новых реактивов и более сложных организмов.

Я не буду приводить подробно ход этих работ и те формы поведения, которым подчиняются поступки этих организмов, начиная с низших и кончая высшими. Их вы найдете в лежащих перед вами томах моей книги и книги Колыбина.

Здесь я дам только голый вывод, касающийся непосредственно человека. Нашими исследованиями установлено, что человеческое поведение подчиняется следующей формуле.

Тут Никуличев медленно вывел на доске сложнейшую формулу и принялся за ее объяснение.

Голос его звучал ясно и спокойно. Жесты были размеренны, лицо оставалось холодным, и только глаза горели ярче, чем обычно. Они ровно переходили с одного лица на другое, и каждый, на ком они останавливались, чувствовал ка-

кой-то ток, исходивший от них и связывавший его живой нитью с докладчиком. Казалось, докладчик впивался глазами в душу слушателя, приковывал ее к себе и связывал всех множеством нитей, сходящихся в нем одном.

Раскрывая свою формулу, он писал ряд новых, и, когда кончил изложение сил и факторов, управляющих поведением человека, продолжил:

– Теперь соедините все эти частные формулы в одну, и вы получите указанную формулу всего человека, определяющую весь механизм его поведения.

Поставьте теперь на место каждого значка то, что он выражает, и вы поймете всю сложную машину, называемую человеком, весь механизм общественной жизни и всю историю. Нет в ней ни тайн, ни чудес, ни случайности, ни провидения, а царит одна великая необходимость, властная и всемогущая.

Казалось, сам Рок говорит ровными, начисто отрезаемыми словами докладчика. В зале было тихо. Человек, стоящий на кафедре, захватил внимание людей и без пафоса, без фраз крепко держал его в своих руках. Каждому из слушателей он раскрывал его душу, вонзал в нее анализирующий скальпель и умело, подобно машинисту и механику, разбирающему машину, разлагал на колеса и винтики сложный клубок человеческой психики. С каждой формулой этот механизм делался яснее и яснее, непонятное становилось понятным и чудесное – закономерным.

Слова текли, и... душа человеческая распадалась на свои винтики и колеса, общественная жизнь входила в каналы необходимости, а история человечества становилась географической картой, понятной каждому.

– Вот в кратких чертах те основные формулы, которые выведены нами. В интересах человечества нужно было пустить их в ход, сделать практической силой, и мы в дальнейшем перешли к этой задаче.

Все из вас знают, что четырехлетний Джон Стюарт Милль писал стихи на греческом и латинском, в 10–12 лет он знал то, что знают современные студенты^{59*}. Известно также вам, что история знает ряд таких вундеркиндов – чудо-детей. Не так давно вы с удивлением видели 8-летнего мальчика, превосходно дирижировавшего громадным оркестром и знавшего наизусть партитуры симфоний, не запоминаемых знаменитыми взрослыми дирижерами. Вы помните также недавнего вундеркинда, без бумаги и чернил свободно оперировавшего миллионными цифрами, превосходно излагавшего высшую математику со сложнейшими формулами интегралов, дифференциалов и теории вероятности.

Подобные факты остановили на себе наше внимание. Другое, что поразило нас, это, во-первых, явление «неисправимых» преступников и лиц, с испорченностью которых бессильны бороться все меры, во-вторых, исключительные случаи внезапного раскаяния и исправления самых закоренелых преступников и испорченных людей. Отдельные случаи вам известны. Раскройте историю, хотя бы Четы-Минеи^{60*}, и вы найдете их сколько угодно.

Приходится удивляться, почему эти факты не обратили на себя внимания гораздо раньше. Когда вы говорите о них, вы отделяетесь от них пустыми фразами, что это «чудо», «случайность», рука Провидения, «мистический факт» и т.д. Фразы, изобретенные ленивым и близоруким умом. Вместо того чтобы изучать их, господа учителя и педагоги занимались ненужными переливаниями из пустого в порожнее, а господа криминалисты, ничего не знающие и ни к чему не способные, успокоились на открытии неисправимых преступников и исправляли их гильотиной, виселицей и тюрьмами.

Это ли не образец великой и непроходимой глупости! – голос Никуличева дрогнул и зазвучал резко... На лице заиграла саркастическая улыбка... – Вместо знания подносились фразы, вместо обучения ученики глупели и после 16–20 лет ученья выходили такими же глупцами, какими и были. Воспитатели, сами не умевшие отличить правой руки от левой, окончательно портили воспитываемых и коверкали их жизнь. В то время как господа народные пастыри и криминалисты измышляли свои теории о различии умысла и неосторожности и спорили о том, пятнадцатую или двадцатую годами каторги следует наказывать убийцу, там, в тюрьмах и на эшафоте, гибли сотни тысяч людей, расплачивавшихся своей жизнью за ученые измышления хорошо упитанных невежд. С этой точки зрения вся история человечества есть сплошная история глупости, где одна несуразность громоздится на другой и уступает место еще большей глупости.

Между тем в указанных мною «чудесных случаях» крылся весь секрет воспитания и обучения. Стоило их понять, терпеливо изучить, и разрешение чудес было бы достигнуто. Так мы и сделали с доктором Колыбиным.

Пользуясь общей формулой человеческого поведения, мы обратили наше внимание на эти факты и приступили к опытам. Каковы были итоги этой долгой работы, я не буду говорить. Вместо этого я представлю вам своих учеников: тринадцатилетнего Борю, девятилетнего Витю и одиннадцатилетнего Колю, с одной стороны, и бывшего неисправимого преступника, вора-рецидивиста и алкоголика Петра Николаевича Никуличева – моего брата, Григория Ивановича Попова, бывшего каторжника, – и ряд официально засвидетельствованных документов. Первый из мальчиков – специалист по истории и праву, второй – физиолог и математик, третий – философ и лингвист.

Что же касается моего брата, то господин президент огласит сведения, касающиеся его.

– На основании данных, сообщенных прокуратурой, П.Н. Никуличев, – начал президент, – семь раз судился за кражу, четыре раза за грабеж, два раза за побои и нанесение ран. Был опасным вором-рецидивистом и привычным алкоголиком. Последние два года работал на фабрике Рябушкина и, по отзыву администрации, является образцовым механиком, усердным работником, непьющим, трудолюбивым, всегда исправным и вполне честным.

Такое же свидетельство прочел он относительно Попова и ряда других лиц, переделанных в лаборатории Никуличева.

Пока президент оглашал документы, Никуличев взглянул на Воеводского и Воеводскую. Первый был красен и нервно теребил свою роскошную бороду, а вторая была бледна и с каким-то удивлением смотрела на Никуличева. Когда он взглянул, краска мгновенно зажгла ее щеки, а на устах обрисовалась беспомощная, полустрадальческая улыбка. Взгляд Никуличева, пронзающий, холодный, ироничный впивался в ее душу. Улыбка княгини делалась все грустнее и грустнее, глаза печальнее, и казалось, вот-вот она расплчется. По лицу прошла маленькая судорога, рука бессильно поднялась и снова упала. Никуличеву стало жаль ее. Он неожиданно взглянул на Воеводскую иначе, тепло и горячо, так, как глядел на нее раньше, в давно ушедшие и забытые времена...

Президент оглашал документы. Удивление аудитории росло. Когда кончилось чтение, Никуличев продолжал:

– Из приведенных опытов, надеюсь, вам ясно теперь, что проблема воспитания нами разрешена. Человек-машина в нашей власти, и я смело заявляю: дайте нам любого человека, и через несколько времени мы переделаем его в любом направлении: из неисправимого преступника можем сделать святого, и наоборот...

Теперь, чтобы показать вам, что достигнуто нами в интеллектуальном отношении, я предложил бы господам специалистам здесь же публично проэкзаменовать любого из моих учеников, видя в них не детей и не студентов, а своего рода коллег или молодых доцентов.

В аудитории пронесся шепот изумления...

– Боря! Пожалуйста на кафедру, а вас, многоуважаемый Алексей Степанович, – обратился Никуличев к Календареву, – прошу предложить ему вопросы в объеме, в каком вы предлагаете их магистрантам.

Календарев улыбнулся и добродушно спросил:

– Ну, что вы можете сказать о «Священных книгах Востока»?^{61*}

– Господа! – торжественно начал Боря. – Отвечая на поставленный вопрос, я сделаю маленькую оговорку: все источники нам неизвестны, многое вызывает сомнение, поэтому в тех вопросах, где нет общего мнения, я изложу все главные теории и свое собственное мнение.

После этого Боря спокойно и тоном знатока начал излагать содержание и историю Вед, Зенд-Авесты, Учреждений Вишну, Законов Ману, Учреждений Нарады, Брихаспати и т.д.

Говорил он ясно и вдумчиво.

Изложив содержание источников, он начал сопоставлять его с тем бытом, который сохранился еще и теперь. Упомянул новейшие работы по религии Вед и Авест, по социальной организации кастового строя и затем, обратившись к Календареву, заметил:

– Я лично не могу согласиться со многими тезисами вашей работы о кастах древней Индии. Вы кладете в основу вашей кастовой классификации данные Ману, а между тем, как показали исследования Лайеля, Крукса и Риссле, они совершенно неверны.

– Достаточно с вас, – остановил его Календарев. – Вы превосходно выдержали экзамен, и если бы это было в моей власти, я завтра назначил бы вас профессором. Позвольте пожать вам руку, дорогой коллега, – улыбаясь доброй улыбкой, но совершенно серьезно протянул он Боре руку.

– Очень рад познакомиться с вами, – спокойно пожал руку последний.

Пока читал Боря, на лицах публики то и дело сменялись изумление, восхищение и улыбки. Нельзя было не улыбаться, видя перед собой мальчика, смешно сидевшего на высоком стуле и серьезно читавшего ученую лекцию. Когда он кончил, гром аплодисментов потряс залу и взрыв смеха пронесся по аудитории. Какая-то дама вскочила с места, бросилась к Боре, обняла его и поцеловала. Боря сконфузился, покраснел и смешно замахал руками:

– Не надо, ну что вы.

Когда аудитория успокоилась, знаменитый математик предложил девятилетнему Вите вывести сложную формулу из области дифференциального исчисления. Мальчик взобрался на стул, взял мел и начал писать, выводя сложные цифры и комментируя их. Через 3–6 минут формула была выведена.

Профессор встал, подошел к кафедре, взял Витю в руки, поднял его и объявил:

– Господа, родился новый Ньютон.

Витя весело расхохотался:

– Ну, нельзя же так обращаться с коллегой.

Державший опустил его и пожал руку.

Взрыв аплодисментов снова потряс залу...

Такая же история произошла и при экзамене Коли.

Когда волнение улеглось, Никуличев снова взошел на кафедру и продолжал:

– Из виденного вы убедились, господа, что нами сделано. Надеюсь, не сочтете теперь дерзостью, если я скажу: отныне задачи обучения и воспитания нами, т.е. доктором Колыбиным и мной, разрешены. Нет больше дураков, глупых и невежд. Умственный прогресс отныне пойдет в сотни раз скорее, нет отныне тюрем и преступников. Машина разгадана, и найдены средства.

Голос его звучал, как и раньше, спокойно. Глаза аудитории не то с испугом, не то с восхищением были устремлены на бледного кудесника.

– Вот кратко итоги. Подробности узнаете из книги, выходящей завтра. Свой доклад я позволю закончить пожеланием: для блага человека, народа и человечества государство должно уничтожить школы и ввести новые, устроенные по нашей системе, обучение в них должно быть бесплатным и доступным для всех;

тюрьмы должны быть уничтожены, уголовные законы сожжены и заменены новыми, преступники выпущены на свободу. Отныне не должно быть наказаний. Должен быть выработан список запрещенных деяний, и их совершители должны вместо наказаний отсылаться в лаборатории для исправления. Человеческий ум разрешил свою последнюю задачу, и отныне человек-машина владеет мировой машиной и самим собой.

С этими словами он сошел с кафедры.

Рукоплескания наполнили зал. Даже многие из почтенных академиков степенно аплодировали, некоторые радушно улыбались, а другие с серьезным лицом смотрели на Никуличева.

Вслед за ним Колыбин сделал краткое сообщение о своем «умороде», скрыв, однако, его состав и точный химический анализ.

После доклада объявлен был 10-минутный перерыв. Академики одни за другими вставали со своих мест и пожимали руки молодым ученым. Подходили публицисты, ученые, профессора и простые смертные, благодарили за блестящий, небывалый доклад, пожимали руки, приглашали к себе и вручали карточки; молодые девушки улыбочиво заглядывали в глаза, а дамы многозначительно делали глазки, таяли и просили бывать у них на журфиксах, приезжать запросто и не забывать.

– Здравствуйте, Дмитрий Николаевич! – раздалось рядом с ним. Никуличев поднял глаза. Перед ним стояла Воеводская. – Благодарю вас за прекрасный доклад и поздравляю вас с заслуженным успехом...

– Очень благодарен вам, Елизавета Александровна. Очень рад вас видеть, – пожимая протянутую руку, ответил он. – Давно мы с вами не виделись...

– Не моя вина. Вы куда-то пропали и не показывались, видно, бойкотировали нас.

– Ну, что вы, Елизавета Александровна! Просто был завален работой. Впрочем, я при последней встрече, кажется, обещал увидеть вас года через два – через три и, как видите, слово сдержал, – многозначительно, но равнодушно промолвил он. – Вот и увиделись.

Воеводская почувствовала скрытую насмешку и сухо ответила:

– Я любезнее вас, видите, я захотела повидать вас, а не вы меня. Это невежливо.

– Вы правы, – любезно заметил Никуличев. – Я виноват, но у меня были обстоятельства, смягчающие вину.

– Какие?

– Много... Работа, во-первых, рознь моего и вашего социального положения, во-вторых, а в-третьих... Вы знаете, я не из тех, которые просят милостыню и довольствуются подачками.

– Это намек?

– Если угодно, да.

– Совершенно напрасно. Вы же знаете, что я всегда была рада видеть вас.

– Для того, чтобы бросить кроху своей доброты на нищенский стол?

– Как вам не стыдно, Дмитрий Николаевич.

– Нет, не стыдно, – спокойно ответил он. – Говоря это...

«Тр-р-р...» – задрезжал звонок.

– Ну, надо на место, – протянул он руку и быстро пошел к столу.

– Слово принадлежит профессору, князю Воеводскому! – провозгласил президент.

Воеводский, в прекрасно сшитом сюртуке, стройный и прямой, поднялся на кафедру. Нельзя было не залюбоваться его видом. Большой открытый лоб, окаймленный длинными вьющимися волосами, волнистая борода и усы, свежий тон кожи и большие глаза, темно-карие, огненно-живые, временами вспыхивавшие ярким светом, делали его похожим на Иисуса Назаря или апостола. Недаром он имел множество поклонников и поклонниц. В целом – представлял полный контраст Никуличеву. Высокий и тонкий, выбритый, с четырехугольной головой, с прямым носом, с размеренными жестами и спокойным блеском вольтовых глаз, Никуличев был живым воплощением математики и механики.

Воеводский же представлял живого носителя порывов, бессознательно-мистических тайн и религиозных исканий. Волнистые волосы, борода и огненные глаза напоминали пророка, сошедшего с иконы. Недаром в шутку прозвали его «духовидцем».

– Милостивые государыни и милостивые государи! – начал Воеводский. – Выслушанный доклад неординарен. Он исключителен по своей ценности... Он ярок и многоцветен. Работа, сделанная учеными, – Сизифова работа. Их вклад в Пантеон великих ценностей немал. Но позвольте спросить вас, приемлем ли тот путь, который они предлагают нам? Не нужно ли его отвергнуть, как Караматов отверг мир и возвратил Богу билет для входа в рай?^{62*} Во имя вечных ценностей, свободы человеческого Духа, царства человека над миром, во имя Правды, Красоты и Добра я отвергаю этот путь, пусть даже он правилен, пусть Мамоны^{63*} и Сатаны, низводящий Человеко-Бога до скота, абсолютен – до машины, первопотенциал – до механизма.

Голос звучал мощно и страстно. Жесты были ярки и могучи, а глаза горели фанатизмом богоборца.

– Что нам предлагает г. Никуличев? Предлагает спуститься до степени бездушного механизма. Он выбросил из человека все святое, лишил его божественной печати, того света, который является символом его сверхвещественности и его духовности.

Пусть он искусно в лаборатории готовит ученых детей! Пусть он стирает человеческую душу, вырывая семена дьявола и засевая ее семенами добра. Но разве это люди? Разве это не манекены? Те мальчики, которые тут выступили перед нами, разве это люди? Разве это не восковые модели или напетые граммофонные пластинки? Мне жаль их, этих детей, лишенных души и превращенных в пластинки. Разве у них есть что-нибудь свое? Разве у них есть «нутро», то невидимое «я», то бестелесное дуновение вечного Духа, которое делает человека человеком? Нет... Нет и нет! Души их пусты, как опустошенные цветники; жестокая рука ученого смяла эти цветы; истоптала их и заменила механизмом. А кто знает, какие, быть может, сокровища таились в них! Быть может, эти детские души расцвели бы такими своеобразными цветами, были бы так разногранны и солнечны, что явили бы миру новую грань великих ценностей... И их теперь нет. Они вырваны и уничтожены. Кем? Ученым, сознательно растоптавшим их неведомо во имя кого и чего и считающим, по-видимому, этот грабеж заслугой. А я считаю его не заслугой, а величайшим из преступлений. Это живое воплощение старых сказаний о дьяволе, похищающем души. Поэтому пусть его положения верны, они должны быть отброшены! Я не приемлю их и не могу принять.

Мало того... Он думает, что разум – все; холодный разум, на мертвые куски разлагающий всю нетленную и целокупную формулу бытия и по кускам вновь создающий ее. Какой обман! Какое восхваление разума и игнорирование остальных святынь!

Разве не ведомо господину докладчику, что абсолютное не познаваемо разумом, что разум скользит лишь по поверхности явлений, бессильный познать вещи в себе, первоначало, Божество? Какая жалкая ошибка! Разве не ведомо ему, что только интуитивно-мистическим вчувствованием мы проникаем в подлинно сущее, в истинно реальное, в великий первопотенциал? Слепой, закрывший глаза на все, кроме механического рации (разум), забывший про все остальные ценности, он возвел эту машину на трон и низвергнул всех остальных властелинов... Раб и слуга стал царем, а цари – рабами. Это ли не ошибка! Это ли не слепота! Мудрено ли поэтому, что и в человеке он не увидел ничего, кроме машины. Пусть сложной, пусть обладающей психическим мотором (одно словечко чего стоит!), но лишенной печати Святого Духа, Бога Отца и Сына, рожденной от Духа, сопричастной Божеству и свободной, подобно ему!

Нет, господин докладчик! Ваше покушение на все ценности – негодно. Ни мы, ни человечество никогда не примем его! Лучше отчаянный, но естественный преступник, чем ваш бездушный добродетельный автомат! Пусть лучше глупыми останутся люди, но пусть они будут людьми, а не манекенами, каких выставляют в витринах магазинов. Не смейте больше опустошать человеческие души и грабить их по наваждению Вельзевула. Человек был братом Бога, свободным,

самоопределяющимся и самоответственным! Пусть он им остается! Ваши же манекены должны быть решительно отмечены.

Этими словами Воеводский закончил свою речь.

Прекрасные жесты, одухотворенное лицо, горящие глаза и темпераментность речи подействовали на публику. Ей казалось, что это говорит воин Божий, разящий пылающим мечом змея, сына дьявола, холодного и спокойно улыбающегося.

Никуличев действительно во время речи улыбался, играя карандашом, и иронично поглядывал на Воеводского. К концу речи Воеводский завладел неученой половиной аудитории, и, когда кончил, она неистово захлопала. Хлопали главным образом дамы и курсистки. Ученые академики сидели молча. Только некоторые из них лениво ударили кончиками пальцев рука об руку...

– Слово принадлежит академику Пастухову...

Знаменитый психо-физиолог взошел на кафедру и начал...

– Я буду, господа, краток. Одновременно и с большой радостью, и, буду откровенен, с тайной грустью я слушал доклады Никуличева и Колыбина. Радовался я тому грандиозному открытию, которое сделано этими молодыми учеными. Похвалы здесь излишни. Критика излишня, ибо факты и опыты, продемонстрированные перед нами, говорят сами за себя. Повторяю: дело, сделанное ими, составляет целую эпоху, и последствия его как в теории, так и в практике пока трудно представимы.

Грустно же было мне, господа, потому (простите меня за эту откровенность, непосредственно не относящуюся к делу), что я увидел, как далеко опередили и меня, и моих коллег глубокоуважаемые докладчики. Я занимался теми же проблемами, что и они. Я думал, что уже далеко продвинулся в своих изысканиях, и, увы, оказалось, что я стою только у начала пути, успешно пройденного гг. Никуличевым и Колыбиным. Я уже, господа, стар, и не мне тягаться с ними. Так на старости лет приходится снова убеждаться в истине, что старое старится, а молодое растет и обгоняет старое. Но, господа, сказанное не убавляет моей радости и не мешает мне пожелать талантливым ученым дальнейших успехов в их работе. Не место личным маленьким чувствам и тщеславию там, где дело идет об интересах науки и человечества... Да и здесь есть немалое утешение для меня. Принципы, из которых исходили ученые, были мои принципы; первый решительный толчок, натолкнувший их на исследование вопросов, изложенных нам здесь, произошел не без моего участия, как об этом заявили они в докладе и в этой книге, лежащей предо мной. Кроме того, г. Колыбин – мой ученик и немалое число месяцев работал у меня в лаборатории... Значит, моя жизнь и мои работы не пропали даром, значит, есть и капля моего ума в добытых ими результатах. А этого, господа, достаточно для удовлетворения маленького чело-

веческого тщеславия. Я горжусь моими учениками, далеко обогнавшими учителя, и кончаю свою речь искренним выражением моего глубокого восхищения и изумления перед учеными, выполнившими великую задачу!

В лице, в жестах и в голосе Пастухова чувствовалась какая-то целомудренность. Не обычная фарисейская скромность, нет, именно целомудренность. Седой, со строгим, но милым лицом, с большими карими глазами, смотревшими из-под ресниц, он невольно вызывал уважение и представление о нем как о человеке науки. Долголетние ли занятия в лаборатории, отрешенность ли от зловония дня и интересов момента, исключительное ли служение науке, но какие-то факторы наложили на весь его облик печать особой интеллигентности и духовности. Смотря на него и слушая его, каждый думал: «Да, это истинный ученый. Да, это не шарлатан и не научный авантюрист!..» Простые и искренние слова знаменитого ученого вызвали в пестрой аудитории горячие аплодисменты.

После него выступил академик Ширинский. Известный криминалист, он был в то же время и главой реакционеров, их теоретиком, вдохновителем и лидером. Для своего времени он был тем же, чем в прошлые времена Катков и Победоносцев. Происходя из старого дворянского рода, он твердо хранил его традиции и был непримиримым врагом всяких либерально-демократических стремлений. И что всего удивительнее – он был искренен в своей политике. Его слова и действия не давали повода заподозрить в нем лицемера. Это был природный охранитель, представитель старого порядка. Последовательно проводя свою кастовую теорию «прирожденных господ и рабов», он не останавливался на полдороге, а шел до конца. Если нужны были жестокости – он их рекомендовал, если нужны были кары – он щедро их допускал. До сих пор еще помнят его знаменитое выступление в печати и в парламенте в пользу смертной казни и изувечивающих кар по отношению к преступникам... Его фраза: «Смертная казнь и изувечивающие наказания – это благодетельные лекарства, просто и дешево избавляющие общество от вредных и опасных отбросов» – вошла в поговорку. Он же во время последнего народного движения встал во главе правительства и своими жестокими мерами прославился на всю Россию...

Весь красный, трясая бородой и живо размахивая руками, он не взошел, а скорее вбежал на кафедру.

– Господа! – начал он. – Меня не останавливает ни высокое собрание академиков, ни почтенный академик Пастухов от того, чтобы не выразить свое удивление не столько докладу, сколько тому, что такой доклад (к-х... к-х-а... – закашлялся он) был допущен и заслушан в Академии, в учреждении государственном. Понимаете ли вы его? Видите ли вы его скрытые пружины и цели, к которым он ведет? Ведь здесь нам изложили ни больше ни меньше как систему коренной ломки существующего строя. Ведь задача (кх... кха...) этих господ – возведение черни на место избранной расы и решительное подведение всех под один мас-

штаб. Мало того, эти милосердные господа позаботились даже о преступниках. Они не прочь уничтожить правосудие, суды, тюрьмы, виселицы, дома заключения и не прочь выпустить банду разбойников, воров и насильников на улицу. «Свобода» – вот один их лозунг. Во имя ее они говорят: убивайте, грабьте и насилуйте. «Равенство» – другой их клич. Во имя его они готовы низвергнуть всю историю, уравнивать идиотов с гениями, избранных – с чернью, высшие касты – с общественными отбросами. Это, господа, не куцый и слюнявый либерализм. Это и не утопическая Апельсиния социализма. Это куда более опасный методический заговор против всех святынь и устоев общества и государства.

И такой-то доклад допускается – где? В Академии. И этот подкуп ведется в столице империи в течение ряда лет, на виду у всех, в специальном здании, называемом лабораторией? Разве это не удивительно? Бог знает, что там делалось и делается! Быть может, во имя интересов науки (ироничная улыбка) не одна человеческая душа там кончила свои дни.

– Я бы просил вас быть более корректным, – деликатно прервал его председатель.

– И прокурорский надзор ни разу не заглянул туда? Полиция ни разу не позаботилась узнать, что там делается? И, наконец, здесь они свободно излагают план своего подкупа под общество и их не останавливают, а меня прерывают?.. Господа! Или я начинаю ничего не понимать, или же действительно настают времена антихриста. По-моему, здесь нет места прениям, а нужны меры, меры ясные и простые, в корне пресекающие этот опасный заговор. Вместо ученых здесь должна выступить прокуратура! Вместо прений – судебное следствие. Таким ученым место не в лаборатории, а в тюрьме или на виселице!

Неясное шиканье здесь приняло общий и отчетливый характер. Раздались возгласы негодования и свистки.

– Я вас лишаю слова, – резко прервал его председатель.

– Как, меня?

– Да, вас, ваши слова не относятся к делу. Ваши меры вы можете предлагать в другом учреждении, а не в научном заседании. Слово принадлежит члену парламента г. Поленову!

Ширинский, еще более красный, что-то пытался произнести, но раздалось еще более громкое шиканье...

– Слезайте, палач!

– Инквизитор...

– Дубовая голова...

– Ученый жандарм...

Ширинский с бешенством на лице продолжал стоять на кафедре. В это время Поленов корректно поднялся туда и с изысканной любезностью поклонился ему.

– Будьте добры уступить мне ваше место, – с усмешкой проговорил он.

Ширинский нелепо махнул рукой и быстро пошел к выходу.

– Либеральные тупицы!.. – расслышали ближайшие ряды.

Скандал мало-помалу был ликвидирован, и публика успокоилась...

– Я не ученый специалист, и если выступаю сейчас, то только для того, чтобы приветствовать и поблагодарить докладчиков за их блестящий доклад. Я кончил!

Очевидно, это была демонстрация со стороны Поленова, и публика поняла ее. Она громкими аплодисментами присоединилась к оратору.

После Поленова говорило еще несколько лиц. Некоторые из них касались отдельных положений по существу, другие же ограничились общими местами.

В конце заседания слово было предоставлено докладчикам. Колыбин отказался.

– Так как критики моих положений не было, то мне нечего отвечать. Что же касается общих принципов нашей системы, то Дмитрий Николаевич ответит за нас обоих.

– Я буду краток. Прежде всего, поблагодарю всех присутствующих и выступавших оппонентов за их внимательное отношение к докладу, – начал спокойно Никуличев. – В особенности я благодарен вам, глубокоуважаемый Иван Павлович, – обратился он к Пастухову. – Ваши работы были теми дрожжами, которые положили начало нашему исследованию. Позвольте же здесь от души поблагодарить вас за это. Второй, кому я лично обязан немалым, – это вы Михаил Михайлович, – обратился он к Каракозову. – Это вы протягивали нам руку, когда мы уставали. Вы же поддерживали нас и в те минуты сомнений, которые неизбежны в жизни каждого работника науки. Есть здесь и третье лицо, без помощи которого мы едва ли бы довели до конца наши опыты. Это С.Н. Шахматов, бескорыстно предоставивший нам деньги, необходимые для работы и опытов.

Теперь я перейду к моим критикам и остановлюсь прежде всего на г. Воеводском...

Спокойный тон начал постепенно повышаться. Метроном становился более неровным. Воеводский сидел с гордо поднятой головой, а глаза Елизаветы Александровны с любопытством были устремлены на говорившего.

– Вы много говорили, князь, говорили красиво, вдохновенно, но... позвольте спросить вас, к чему все это? Коснулись ли вы хоть одного из моих положений? – Нет. Опровергли ли хотя бы один из тезисов? Нет... Привели ли обратные факты? Нет. Подвергли ли сомнению один из моих опытов и выводов? Нет...

В силу этого я мог бы спокойно пройти мимо ваших слов и сказать просто: они меня не касаются. Но я знаю, на что рассчитывали вы, и потому остановлюсь на самой сути ваших – о, очень красивых, но, простите, пустых – фраз. Вы немало и увлекательно защищали самооценность «нутра» (усмешка), самобытность

души человека, требовали ее свободы; клеймили преступлением механизирование души, обуздывали разум и восхваляли мистическую интуицию, Великий Абсолют и Божество. Что ж, это было бы хорошо, если бы было возможно... Но... увы! Эта свобода – утопия. Разница между вашей свободой души и моим механизированием ее – не разница свободы и принуждения, а различие бессознательного, слепого и, в общем, скверного воздействия на нее среды, и воздействия планомерного, сознательного, целевого. Никакой свободы нет... и на вас же самих можно в этом убедиться. Разве то, что вы говорили, ваше «нутро»? – Полноте, князь. Ведь всю вашу речь, если разложить на элементы, можно выразить такой формулой: икс процентов от Гегеля, икс – от спиритуалистов и Вл. Соловьева и, по крайней мере, 75% – от Бергсона, взятых напрокат, без наименования автора. Вот вам диагноз того, какие влияния воздействовали на вас. Где же свобода и «нутро» – самобытное, почвенное и красочное?..

Но счастлив ваш Бог, что эти влияния не так плохо отразились на вас. Бывает хуже, и гораздо хуже. Мой же оппонент г. Ширинский может заверить вас в этом. Возьмите приведенные им статистические данные и проследите влияние среды алкоголиков и преступников на их детей. Не наследственность причина того, что преступники и алкоголики дают детей таких же, а среда. Да к чему мне настаивать на этом трюизме (общеизвестном)!

Не ясно ли после этого, что ваши «свободно распускающиеся души» суть души, отданные во власть слепого случая? Вот что, собственно, отстаиваете вы... Что же! По отношению к себе вы это вольны делать. Но меня интересует человечество, а не вы. Для вас лучше самобытный преступник, чем добродетельный автомат. О, я понимаю вас! Закоренелый каторжник может доставить немало эстетических переживаний. Но, князь, я думаю, вы иначе стали бы думать, если бы эта дилемма касалась, ну, хотя бы ваших детей. Тут бы вы, пожалуй, иначе выбрали.

Елизавета Александровна покраснела и потупила глаза.

– Для меня все человечество – те же дети. А потому я говорю: пора положить конец игре стихий и власти слепого случая. Довольно пустых фраз, слишком дорого стоящих сотням тысяч людей. Кровью, страданиями и жизнью они расплачиваются за эти фразы.

Видали ли вы, князь, тысячи исковерканных душ? Боюсь, что нет. Сидели ли вы в тюрьмах? Нет. А видели ли вы подлинное человеческое горе? Нет. Вы были счастливы. Вы были баловнем, но не многим достается эта доля. А я видел этого больше, чем нужно, а потому и выводы у меня, князь, иные. И не пугают и не остановят меня ваши страшные слова, как не пугают и слова г. Ширинского.

Вы, в сущности, сходитесь с ним, боретесь за одно и боретесь одними и теми же средствами.

– Bravo! – раздалось из публики.

Воеводский нервно пожал плечами и нервно начал теребить себя за бороду.

– Случайно или нет, но вы, гуманный солидарист, оказались согласным с реакционером, которого вы сторонитесь, боясь запятнать свою репутацию, – насмешливо продолжал Никуличев. – Перед вашим красивым словесным винегретом, если поскоблить его, окажется «нутро» г. Ширинского, то «дикое мясо», как окрестили его вы же, которое он откровенно защищал здесь. Ну, что ж, скатертью дорога! Идите своим путем, а я пойду моим. Есть и другая разница между нами. Вы – бессильны. Вы, кроме слов и тайных или явных надежд на предержавшую власть, ничего не имеете. Я же владею секретом богов и могу по желанию запираить и отпираить человеческие души, в том числе и вашу. И от этой силы вас, эстетов и идеологов прошлого, не спасут ни заборы, ни рвы, ни замки, ни ключи, ни молитвы церковей, ни мечи.

Буря аплодисментов покрыла последние слова оратора, сказанные горячо и дышавшие непоколебимой верой. Здесь он изменил свой убийственно-иронический тон, с которым характеризовал взгляды Воеводского и сопоставлял их с убеждениями Ширинского.

Это сопоставление всего более задело Воеводского. Он сидел и нервно теребил свою бороду. Он чувствовал, что это сильный удар по его позициям, и удар не беспочвенный. Плохо ли, хорошо ли, но отныне это сближение войдет в обиход и решительно испортит обаяние его взглядов и его мировоззрения. Этот бывший соперник, о котором уже забыли, вдруг всплыл и встал на его дороге, и встал фигурой мощной и могучей. За его последней фразой чувствовалась сила подлинного властителя. И вместе с горечью поражения всплыло опасение за жену. «Ведь она когда-то любила его. А что, если теперь снова оживет старое чувство?» И он украдкой поглядывал на Елизавету Александровну, а та сидела неподвижная, не сводя глаз с Никуличева. Временами краска покрывала ее лицо, иногда чуть-чуть вздрагивала ее верхняя губка. По неподвижности ее взгляда можно было догадаться, что она смотрит и думает о чем-то другом. Не пробежала ли она мысленно прошлое? Не вспоминала ли этого человека, когда-то ей близкого, искреннего, горячего, а теперь страшно спокойного и невозмутимого, с холодными глазами и с горько-ироничной складкой в углу рта? Быть может, в ее душу проник яд сожаления? Быть может, загоралось старое пламя? Кто это знает? Быть может, было так, быть может, иначе.

– Ну, дорогая, пойдём.

Воеводская взглянула на мужа глазами неожиданно разбуженного человека и встала.

– Хорошо. Сейчас, только я попрощаюсь с Никуличевым.

«Вот оно, началось...» – мелькнуло у Воеводского, но он не подал вида и спокойно сказал:

– Хорошо, я буду ждать тебя внизу...

Вокруг Никуличева и Колыбина, как около артистов, толпилась публика. Поздравляли, пожимали руки, благодарили, приглашали посещать и не забывать, репортеры спрашивали, когда можно будет видеть, и т.д.

Никуличев машинально пожимал руки и торопился к выходу.

– Скорее, дети, одевайтесь и домой. Лена, помогите им. Ну, Иван идем...

– Дмитрий Николаевич, – окликнула его Воеводская. – Во-первых, от души поздравляю вас с успехом, а во-вторых, я не отпущу вас, пока не обещаете побывать у нас. Назначайте время сами. Я хочу видеть вас и более подробно поболтать с вами, как со старым другом. По-прежнему, помните?

Голос был мягкий, теплый и искренний.

– Благодарю вас, Елизавета Александровна. Но я тороплюсь домой.

И добавил холодно:

– Старое прошлое невозвратно, а насчет свиданий напомним ваши же слова: «Видеться нам незачем...» Прощайте... – и направился вниз...

Верхняя губка Воеводской дрогнула и на лице мелькнуло что-то грустно-пугливое. Она как будто хотела еще сказать что-то, но Никуличев был уже внизу, и она тихо стала спускаться по лестнице...

Глава IX

Утром все газеты были полны описаниями вчерашнего заседания и статьями по его поводу. Целые столбцы посвящены были новому открытию. В нескольких успели уже напечатать портреты ученых и снимки из их лаборатории. Газеты восторженно отзывались об открытии, называли его гениальным, великим, делающим эпоху. В ряде газет напечатаны были биографии докладчиков, где, как всегда, небылица смешивалась с былью. Кой-где уже появились самые несуразные интервью, которых не было. Рецензировалась книга ученых, которую рецензент не читал. Изобретение стало сенсацией, о которой все заговорили. Книжные магазины целые окна заполнили книгами ученых, и публика бешено раскупала их. За день разошлась бóльшая половина издания, а все издание было скуплено в три дня. Не обошлось, конечно, без резких выпадов. «Знамя избранных»^{64*} Ширинского напечатало статью под заглавием «Salus populi»^{65*} и требовало от правительства ареста ученых и назначения следствия.

«Звук» и «Время» – органы гуманистических либералов – напечатали искаженные отчеты и подленькие статьи по рецепту «нельзя не сознаться и нельзя не признаться»^{66*}, где под мягкими словами крылось содержание, близкое к статье в «Знамени избранных». Намекали на то, что опыты ученых еще не проверены, что весь доклад чуть ли не простой фокус, что докладчики идут против освященных традиций. Статья фарисейски призывала интеллигенцию быть весьма осторожной к этому неведомо откуда выросшему изобретению и т.д. Никуличев

с грустной улыбкой просматривал эти листы. «Вот оно, началось, – думал он. – Камень брошен, и круги пойдут по реке жизни». Изобретение вышло из их души ясным и чистым, как свежая утренняя роса. Попав в море жизни, роса должна замутиться, смешаться с другими потоками и преодолеть их... А жаль... Минуты одиночного творчества, когда он один, не ведомый никому, то наполнялся радостью работы, то горел огнем сомнений и колебаний, эти минуты не лучшие ли минуты в его жизни?.. Теперь порыв вышел на улицу. Он должен потускнеть и померкнуть, ибо таковы законы необходимости... Но пусть... Раз так надо – пусть будет так. Его задача – преодолеть препятствия и довести дело до желанного берега...

...С утра тихая жизнь лаборатории была нарушена. То и дело звонил телефон, пришла целая кипа писем, карточки на столе говорили, что его ждут ряд интервьюеров, любопытных и серьезно заинтересованных людей.

– Попросите репортеров, – сказал он служителю.

Вошел ряд молодых людей с записными книжками и с карандашами. Один просил дать несколько слов для «Голубой березы», другие начали задавать ряд вопросов, как всегда, неумных и пустых.

– Господа! У меня нет времени отвечать каждому, – сказал Никуличев. – Лучше будет и для вас, и для меня, если вы сейчас пройдетесь по лаборатории. Витя вас кое с чем познакомит. Затем загляните в наши труды, возьмите также эти иностранные журналы и письма, а остальное присочините сами, кому что вздумается, – улыбаясь, закончил он. – Все равно ведь в двух-трех словах ничего не скажешь, а указанным путем вы получите все материалы. Остальное дописывайте сами.

Интервьюеры улыбнулись, вежливо раскланялись и пошли за Витей.

– Просите г. Поленова.

Поленов вошел. Никуличев извинился перед ним за то, что заставил ждать.

– Ты очень хорошо сделал, что приехал ко мне, – начал он. – Я сам собирался звонить тебе. Нам нужно столкнуться, чтобы действовать вместе. Твои старые воззрения я знаю. Ты теперь знаешь мои. Принимаешь ли ты их и согласен ли отказаться от многих заповедей социал-демократического символа веры? Что касается лично меня, то я не вижу значительного расхождения между мной и тобой. Много из нашего символа веры, действительно, устарело, и во многом ты прав. Но это мое личное мнение. Боюсь, что другие его не разделят. Власть традиций везде одинакова. Опасаюсь, что наши ортодоксы выступят против тебя.

– Я это предвижу и не особенно пугаюсь этого... хотя и жалею, что здесь по недоумению будут ставить мне препятствия... Что же делать?.. Иначе нельзя. Предрассудки, хотя бы и неприятные, одинаково вредны. Поэтому уничтожение их необходимо.

– Значит, ты можешь взять на себя устройство рабочих митингов для пропаганды моей системы? Да и внесешь мой законопроект в палату депутатов?

– Да.

– А если для этого придется тебе выйти из партии?..

– Тогда мы создадим новую.

– Спасибо, – пожимая руку, сказал Никуличев. – Я рад, что в тебе я встретил зрячего человека. Если понадобится, у тебя будет и хороший помощник – это мой брат, механик Балтийского завода.

– Прекрасно. Ну, пока до свидания...

– До свидания, – смотря на часы, попрощался Никуличев. Было около часу. В час приехал Шахматов.

– Ну, здравствуйте, чародей, маг и волшебник. Вот и я, – вваливаясь в кабинет, проговорил Шахматов.

– Добро пожаловать. Садитесь. Не хотите ли чего-нибудь выпить?

– Спасибо. Давайте лучше за дело. А вот и изобретатель «уморода», – приветствуя входящего Колыбина, добродушно поздоровался он.

– Здравствуйте, дорогой меценат. Э, да вы, я вижу, превосходно выглядите.

– Ничего. Живем помаленьку, вашими стараниями.

– Ну, за дело так за дело, – начал Никуличев. – Вы теперь убедились, что ваши деньги не пропали даром?

– Да.

– Теперь ближайшая задача такова. Рано или поздно, но наша система будет принята государством. Но, пока солнце взойдет, роса очи выест. Ждать некогда, и теперь же надо приступить к делу. А дело рисуется так: для того, чтобы государство могло применить нашу систему, должны существовать знающие и умеющие применять ее учителя. Значит, первая наша задача – это приготовление кадров таких учителей и оборудование ряда школ, или лабораторий, в миниатюре скопированных с нашей центральной. Если у нас в ближайшее время будут кадры, ну хотя бы человек в 500, то этого достаточно. Каждый из них в свою очередь через год-два приготовит 30–50 учеников, эти в свою очередь – такое же число, и через пять-шесть лет необходимый минимум новых учителей и школ будет готов. Следовательно, старые школы будут подорваны. Ясно, что каждый будет стремиться попасть в новую, а не в старую школу, где ему нужно 15–20 лет на получение университетского образования, тогда как в новой школе он то же образование получит в два-три года. Мы подорвем не только низшие, но и средние и высшие учебные заведения. Вход в новые школы должен быть бесплатным, и обучение в них будет стоить пустяки, значит, они будут вполне доступны для «низов». Вместе с тем они будут воспитательно-исправительными лабораториями и постепенно заменят тюрьмы. А отсю-

да до государственного введения их – только маленький шаг. Таков мой план. Одобряете вы его?

Оба собеседника нашли его правильным.

– Теперь вопрос в деньгах. Для того, чтобы это оборудовать, нужно по крайней мере 100 миллионов, не меньше. И их необходимо добыть.

– Да... сумма кругленькая... – заметил Шахматов, потирая лоб.

– Путем подписки и жертвований в пределах России и за границей мы добудем 10–20 миллионов. Остальные 80 должны добыть вы, – обратился Никуличев к Шахматову.

– Пустячки, – улыбнулся Колыбин.

– Задача нелегкая, – проговорил Шахматов. – Если бы поставить это дело на коммерческую ногу, нетрудно было бы образовать акционерную компанию. Но вы ведь, господа, бессребреники, а потому – не знаю, как это устроить. Во всяком случае, пятьдесят миллионов своих я даю на это дело. Больше не могу. А остальные попробую добыть... Попытка не пытка, спрос не беда...

– Ну, если так, то дело можно считать решенным. Подписку мы организуем в ближайшее время. Кроме того, я сегодня же пишу знаменитому Сольвею и государственному секретарю Штатов Бару. Надеюсь, что от них мы получим миллионов 10 или 20... А затем – отчего бы не поэксплуатировать и ряд богачей? Прекрасно, главное затруднение, значит, обойдено.

– Ну, а вы не опасаетесь, Дмитрий Николаевич, вмешательства правительства?

– На этот счет я уверен, что кое-какие препятствия нам будут ставить. Но их можно будет преодолеть. Хотя кампания против нас, по-видимому, уже началась, но правительство едва ли решится на крутые меры, так как, несомненно, общество будет на нашей стороне. В крайнем же случае, – улыбаясь, проговорил Никуличев, – мы переделаем членов кабинета, изменив их взгляды.

– Как переделаете?

– Так, как переделали уже десятки лиц, известных вам и демонстрированных вчера.

– Ну, и народец же вы, – шутливо заметил Шахматов. – С вами опасно и дело иметь. Того и гляди, что вынете и из меня душу и вставите вместо нее другую.

– Ну, вас нечего переделывать. Вы и так делаете то, что нужно.

– Теперь, господа, пойдёмте завтракать.

– Вино будет? – спросил Шахматов.

– Нет, не получите. Но Колыбинский напиток готов.

– К вашим услугам...

– И то дело...

Собеседники встали и вышли в столовую...

Глава X

С этого времени началась лихорадочная работа обитателей лаборатории. Последняя вдруг стала фокусом сил, влияние которых распространялось на весь мир. Посетителям не было конца. Ежедневно сотнями и тысячами получались письма и запросы. В России и за границей начались заседания, посвященные новому открытию. Журналы и газеты запестрели статьями по поводу изобретенной системы. С каждым днем движение росло. Всякий шаг лаборатории регистрировался и отмечался. Новая система и имена ее творцов были на устах у всех. На улицах указывали пальцами на ученых. Изобретение пухло во мнении толпы, принимало фантастические формы и вызывало горячие споры.

Шум разрастался. Росло число сторонников, но наметилась и оппозиция. В состав последней, помимо партии Ширинского и отчасти «Звука» и «Времени», вошли и другие группы. Ополчились против изобретения и отдельные профессора. Они правильно учли, что новая система грозит им гибелью. «Не идти же на старости лет на выучку к каким-то молокососам», – думали они. По тем же мотивам яростно нападали на ученых и все консерваторы. «Если дать им свободу действий, – говорили они, – то тогда все привилегии и все устои современного общества обречены на гибель». Поэтому правыми и неправыми путями пытались они задушить открытие и обезвредить его результаты.

С раннего утра до поздней ночи не уставая работала семья изобретателей. За стенами лаборатории шумел и волновался мир. Здесь же, внутри лаборатории, царили порядок и тишина. Спокойно и светло, но с лихорадочной энергией работали все. Каждый в лаборатории знал свое дело и свое место, как на отлично дисциплинированном броненосце. Происходил бой ученых с косностью мировой истории. Лаборатория открыла борьбу. Открыв, она продолжала ее и не хотела отступать. Дело шло о «быть или не быть». Каждый знал это и потому был полон энергии. Никто не жаловался на усталость, никто не волновался, а все спокойно и хладнокровно делали свое дело. Разрешение на подписку для открытия сети школ новой системы после ряда хлопот было получено. Она открылась и шла весьма недурно. Из Америки успела прибыть комиссия, о которой писал Бару. Ряд иностранных ученых обществ и Академий приглашали изобретателей для докладов. Несколько университетов предложили им кафедры. Каждый день приносил тысячи новостей, плохих и хороших. Отложив на время поездку за границу, ученые теперь были заняты пропагандой их системы в России. С этой целью они и их помощники писали статьи, докладные записки в комиссии парламента и министрам, парировали нападки, читали доклады и лекции, устраивали митинги среди рабочих, посещали заседания, посвященные их открытию, короче, пускали в ход все способы, чтобы открытие глубже и шире вошло в жизнь. Рядом с этим постепенно осуществляли намеченный план подготовки кадров преподава-

телей и открытия сети новых школ. Особенно много тревоги и энергии вызвала пропаганда новой системы среди рабочих и народа. Первые митинги здесь потребовали большой выдержки и терпения. Не без волнения выступал Никуличев в первые разы перед рабочими. Они были теми, во имя которых он работал. Они же были и той силой, на которую он хотел опираться. Не сомневаясь в конечном успехе своего дела, он, однако, предвидел, что в первое время придется истратить немало сил, чтобы преодолеть здесь инерцию невежества: чувство реальности и личный опыт мешали ему идеализировать их. Он знал, что и здесь власть изжитых традиций, беспочвенных утопий и ошибочных методов не меньше, чем в других слоях. Знал также, что немало препятствий будет поставлено ему и со стороны многих вождей рабочего класса.

Одни из них будут противодействовать из чистых побуждений, веруя в правильность установленных догм, другие же – демагоги по природе – из своекорыстных мотивов и духа противоречия.

Его расчеты были правильны.

Вскоре после опубликования открытия в одном из рабочих органов появилась статья под заглавием «Волчий зуб и лисий хвост»^{67*}, резко нападавшая на ученых, презрительно называвшая их «буржуазными фокусниками» и предостерегавшая рабочих от «нового подвоха». Вслед за ней появились и другие.

Не очень дружелюбно встречены были они и на первых митингах рабочих. Особенно на двух, где докладчиками выступили два известных демагога, которых темные массы считали за своих вождей. Характер докладов того и другого был сходен. Наговорив кучу любезностей по адресу рабочего класса, напев ему в уши, что он и единственный носитель справедливости, и единственная творческая сила, и единственный спаситель человечества, ругнув затем утопистов XVIII века, повторив трафаретные фразы о всеспасающей экономике и пропев акафист Марксу и Энгельсу, они под конец с бранью обрушились на изобретателей и их открытия. В этой ругани было все, что бывает в таких случаях: и обвинение во втирании очков рабочему классу, и обвинение в буржуазности мышления, и намеки на то, что они едва ли не подкуплены капиталистами, и тут же указывалось на финансирование их Шахматовым.

Под конец оба докладчика призывали рабочих остерегаться «буржуазных наемников», идти старыми путями и заклеить презрением «новоявленных фокусников капитала».

Резкость докладов объяснялась личными мотивами. После первых встреч с Барачевским^{68*} Никуличеву не раз приходилось сталкиваться с ним в университете. И здесь не раз в заседаниях кружков влетало ему от Никуличева за его пустую болтовню, произносимую с апломбом и с немалым самодовольством.

Были у Никуличева личные счёты и с Пятловским^{69*}. Последний не понравился ему при первом же знакомстве в университете. Было что-то фальшивое

и отталкивающее в этом жирном профессоре с пороссячьими глазами и с сиплым голосом. Дальнейшее знакомство подкрепило это отвращение. Оно выяснило, что этот краснбай-социалист был подлинным моральным нигилистом, поклонявшимся только золоту. Натянутые отношения закончились резким столкновением на одном из заседаний, где горячий Никуличев прямо назвал его «Чичиковым от науки» и «служителем чистого золота, кокетничающим с социализмом». Эти клички остались за Пятловским навсегда. Он не мог простить их Никуличеву и потому не замедлил выступить против него при первом удобном случае.

На обоих митингах доклады вызвали враждебное настроение рабочих к ученым. Обстреливаемый сотнями недружелюбных взглядов, Никуличев должен был до боли закусить губы, чтобы сохранить спокойствие и не выдать клокотавшего в нем гнева на демагогов и горести за тружеников, позволявших «обрабатывать» себя этим «проходимцам».

Зато конечный исход заседаний был полным триумфом ученых и провалом докладчиков. Такому концу немало поспособствовали Поленов и оглашенные резолюции иностранных социалистов относительно новой системы. Наконец, сыграла роль и речь самого Никуличева.

– С тяжелым чувством выступаю я здесь, – начал он, – перед вами. Я еще не сказал ни одного слова, а на ваших лицах я уже читаю вражду ко мне. Вы не успели еще познакомиться с нашей системой – и уже относитесь к ней враждебно. Не побывав в лаборатории, не прочтя наших работ, вы поверили на слово докладчикам. Да и как не поверить! Сколько приятных вещей наговорили они вам! Сколько фимиамов воскурляли они пролетариату! А лесть действует на всех одинаково. И в итоге – я в ваших глазах буржуазный фокусник, а они истинные социалисты.

Я не буду славословить вас... Напротив, я скажу, вы еще очень неразвиты, еще много вам нужно учиться и не скоро еще вы достигнете той нравственности, которая нужна для культуры будущего. И поверьте, говоря так, я уважаю вас больше, чем докладчики. Вы уже осудили меня, не зная ни меня, ни моих предложений. Спросите себя, честно ли это? Если бы суд вздумал поступать так же, могли ли бы вы сказать, что этот суд справедлив?

Вы поверили вашим докладчикам – и сделали очень плохо. Вся трагедия истории в том, что народ слишком легко и скоро верил всем титулованным и нетитулованным проходимцам. Если хотите быть творцами будущего – не верьте никому и никогда. Не верьте и мне, верьте только фактам. Все изучайте и все проверяйте и, лишь проверив, принимайте... Иначе по-прежнему будете стадом, которое будут водить проницательные вожаки и хитроумные пройдохи. И сегодня провели вас. Вам солгали ваши докладчики. Они называли себя социалистами, говорили от имени социализма. Спросите их, кто им дал это право? Чем они до-

казали свою преданность социализму? Не тем ли, что они с малых лет росли на готовых капиталах, не раз они были уличены в мошеннических проделках?

Мои взгляды называли буржуазными. Но вот как называют их ваши заграничные товарищи и вожаки социализма.

Тут Никуличев процитировал ряд резолюций и статей иностранных заграничных социалистических организаций и социалистов.

– Вы мне можете и должны не верить. Но, если вы зрячи, – вас убедят факты. Если вы любите авторитеты – я вам дал их. Раскрою: я во многом не согласен с вашими взглядами. Многие из ваших традиций я отвергаю. Но разве вы тот класс, который живет традициями и чтит их ради самих традиций? Разве не вы считаете себя вечно живыми, готовыми оставить любого бога, раз он ложен? Многие из ваших взглядов ошибочны. Вместо них я даю вам новые. Вместо старых путей я указываю иные, более трудные, но скорее приводящие к обетованной земле и влекущие меньше жертв. Не вам бояться трудностей и избегать их... Каковы же эти пути? Они заключаются в следующем.

Тут Никуличев сжато и отчетливо передал сущность открытия, его задачи и его результаты.

– Теперь вы знаете, – продолжал он, – чего мы хотим и что мы можем дать. Мы хотим того же, чего хотите и вы, но хотим достигнуть нашей цели иными путями... Если мои слова рассеяли ваше недоверие, то начните борьбу во имя общего дела. Сделайте вашим лозунгом равенство знания. Вставьте в вашу программу требование новой системы, говорите о ней на митингах и в печати, составляйте петиции, давайте декреты своим депутатам, требуйте открытия новой школы при каждой фабрике, открывайте их сами, учителей я дам вам, – одним словом, пусть новая система обучения и воспитания будет боевым лозунгом, и, когда добьетесь этой цели, я могу заверить вас, – ваша вечная цель приблизится к вам и духовно, и материально. Вы будете иными и, быть может, еще при вашей жизни вы увидите созданным многое, что теперь лишь неясно рисуется вам как далекое будущее... Но всегда остерегайтесь лести, не увлекайтесь самомнением, не принимайте ничего на веру и помните, что вы не знаете еще азбуки, а потому – учитесь и учите, учась – организуйтесь и организуя – боритесь... Тогда и только тогда вы станете теми новыми людьми, кто возведет величайший храм на развалинах изжитого строя...

Толпа бушевала. Спокойный, но властный тон, прямота обращения, умение задавать нужные мотивы, обличение докладчиков и в особенности отзывы заграничных социалистических журналов рассеяли враждебное недоверие, а последующая страстная и убежденная речь взволновала души – всегда прямые и честные – и вызвала бурю аплодисментов...

После этих митингов последующие происходили при меньшей враждебности. По мере знакомства рабочих с системой – ее популярность и популярность

ее творцов увеличивалась. Число резолюций, вынесенных ими на этих собраниях в пользу новой системы, с каждым днем росло... В итоге инерция была преодолена, и вопрос о государственной системе новых школ стал боевым лозунгом момента... Главная сила, на которую рассчитывал Никуличев, перешла на его сторону...

* * *

С особым усердием пропагандируя свою систему в народных массах, ученые в то же время не забывали и остальных фронтов битвы... Пропаганда ее велась тысячами путей всюду, где было нужно и где было можно...

Печать, личное влияние, сотрудничество, заседания, лекции, митинги – все было пущено в ход... Тысяча нитей протянулась от белого здания к разным пунктам земного шара, и число последних росло и росло. Белое здание и ученая семья превратились в музыкантов, разыгрывавших величайшую симфонию на этих невидимых струнах. Каждый удар их приводил в движение грандиозную сеть этих струн и вызывал могучие эффекты в общественной жизни... Идеи, брошенные ими, подобно молнии, прорезали пласты жизни и одевались в плоть и кровь. Невидимое знание воплощалось в осязаемые формы, разрушало изжитое и созидало грядущее... Оно клином врезалось в мировую жизнь и входило глубже и глубже... Тихий треск развала делался громче и громче... Быстрее и быстрее поднимались побеги грядущего...

Подписка прошла успешно. Сольвей^{70*} прислал 10 миллионов франков. В последнем письме Бару сообщал, что первые шаги к практическому осуществлению новой системы уже сделаны. В письме говорилось также, что Никуличеву переводится 15 миллионов долларов из фонда Карнеги^{71*}... Кадры первых преподавателей были почти готовы. В ряде городов – в Москве, Харькове, Одессе, Вологде, в Владивостоке и т.д. – оканчивалась постройка новых лабораторий-школ... Зашевелились парламентские фракции. Заинтересовалось системой и правительство... И в России, и за границей образовались целые общества с целью пропаганды новой системы. Рядом с ними выросли и союзы противников изобретения. Защитники старого порядка мобилизовали все свои силы, чтобы обезвредить открытие... Короче, мир волновался.

«Так и должно быть, – спокойно говорили ученые, следя за растущим движением. – Борьба неизбежна, и она должна быть. Раз она теперь уже приняла такие формы – нам нечего беспокоиться. Мы глубоко вошли в жизнь, и внедрившиеся корни неистребимы», – так думали они и спокойно продолжали свое дело. Мир волновался, а в лаборатории царили обычный порядок и тишина. Как и раньше, каждый делал свое дело. Вся разница была в том, что больше автомобилей подъезжало теперь к белому зданию, да чаще выезжали из него его обитатели.

Глава XI

– Да что это такое!.. Все пишут и пишут о каком-то Никуличеве... Кто он такой? – бросая газету с портретом Никуличева, лукаво улыбаясь и закуривая пахитоску^{72*}, прожурчала Кирсанова^{73*}.

– Какой-то молодой ученый и едва ли не опасный революционер. А впрочем, это не важно... Это скучно, – теребя перчатку, ответил ее собеседник.

– А нет, не скучно. Посмотрите на портрет, он интересный...

– Скучно.

– А я говорю нет и хочу знать, кто он такой...

– Ну, будет, Мари, что за странные желания начинают приходить тебе в голову!..

– Ничего странного нет. Хочу, и... все, – с той же лукавой улыбкой проговорила она.

– Я тебя не понимаю сегодня, – пожал плечами граф Шелапутин^{74*}. – Ну, скажи, пожалуйста, что тебе за дело до какого-то ученого? Мало ли есть их!.. Дай лучше твои прекрасные руки, – целуя их, проговорил он.

– Интересно... Везде пишут о нем... На заборах читаешь объявления о его выступлениях. Все газеты полны и только о нем и твердят. В обществе, в салонах его имя на языке у всех. Даже зависть берет, – недовольным тоном заявила она. – Точно модный тенор...

– Ну, надо же газетам болтать о чем-нибудь. Вот и болтают.

Вошел лакей и заявил:

– Лошади поданы...

Через минуту они вышли.

Разговор происходил в роскошном особняке Кирсановой, отдохавшей теперь от своих заграничных гастролей...

Знаменитая балерина и прославленная красавица была женщина экстравагантная и неглупая. Гибкая, как змея, упругая, как натянутый лук, она была одной из тех женщин, которые остаются в истории, подобно Клеопатре или Помпадур. Бледное матовое лицо, обрамленное волнами черных волос. А глаза, черные, бездонные, и ярко-пунцовые призывные губы притягивали и колдовали людей, от простых смертных до коронованных особ. В списке любовников Кирсановой уже числились два владетельных князя и один наследник престола...

Это была прирожденная Кармен, но Кармен таинственно-трагическая. Глубина в ней как-то непонятно уживалась с капризностью, легкомыслие – с трагизмом. Многие в ее поступках казалось совершенно неожиданным и непонятным. Этим, вероятно, объяснялись и ее быстрые разрывы со своими любовниками. На второй же день после сближения она категорически объявила одному из них,

что с этого времени между ними все кончено. Другого неожиданно прогнала в минуты страстных поцелуев, наговорив ему кучу жестокостей...

Однажды совершенно неожиданно отдалась бедному юноше-поэту, которого заметила со сцены. Пригласила его за кулисы и поехала с ним ужинать...

Граф Шелапутин, блестящий гвардейский офицер, владелец громадных поместий и древней сановитой фамилии, был ее теперешним фаворитом. Чем больше он узнавал ее, тем сильнее влюблялся. Не раз он предлагал ей «узаконить» их связь, но в ответ получал только смех и лукавую улыбку.

– Полно, мой друг, к чему это? Да и пристойно ли тебе, аристократу, связываться со мной, полулюбовницей, полуактрисой, выросшей почти на улице, – с ушмешкой заявляла она...

Всадники быстрым аллюром несколько раз объехали Летний сад и поехали по Михайловской. На углу ярким пятном краснела афиша, возвещавшая о публичном выступлении Никуличева в обществе криминалистов...

– Знаешь что, поедем сегодня на это собрание, – неожиданно прервала их разговор Кирсанова.

– На какое?

– Да вот на то, что на афише. Меня очень интересует этот господин.

– Но...

– Без всяких «но»... Если не хочешь, я поеду одна...

– Едем. Начало в восемь?

– В восемь.

– В полвосьмого я буду у тебя.

– Мерси, милый, а теперь ко мне завтракать, – весело крикнула она и помчалась на своем коне.

Шелапутин покорно последовал за ней.

Глава XII

Занятые работой, ученые не забывали и второй своей задачи – уничтожения тюрем и всего карательного механизма. Добытые результаты должны были найти применение, и здесь – в первую очередь. Оба слишком хорошо знали, что такое современное правосудие. Оба на себе испытали его действие и не могли забыть ужаса тюрьмы и ее обитателей. Они своими глазами видели, как калечится жизнь тысяч людей, как бессердечно коверкается судьба этих несчастных и как нелепо беспощадна карающая десница правосудия. Знали также, что среди людей самыми униженными и обиженными являются те, кому выпал на долю жребий преступника. Настало время приниматься и за эту задачу. Возможные последствия их открытий уже учитывались юристами. «Право» напечатало статью обер-прокурора Кассационного департамента Сената, содержавшую резкую

критику надежд, возлагаемых на новое изобретение. В ней много и скучно говорилось о том, что задачи уголовного права должны остаться старыми, что целью наказания было и будет возмездие, что всякие попытки исправления преступников беспочвенны и т.д.

В ответ «Юридический вестник» напечатал статью, защищавшую намерения ученых и возможность радикального изменения борьбы с преступностью на почве новых открытий. Однако до выступления самих ученых юристы должны были бродить в полутьме, довольствуясь смутными слухами и общими фразами. Они ждали, что ученые должны выступить сами со своими проектами реформ в этой области. И они не ошиблись.

Месяцев пять спустя после описанного заседания Академии наук были разосланы повестки Юридического общества, возвещавшие о будущем докладе Никуличева на тему «Новая система воспитания и реформа уголовного права».

В назначенный день зал Юридического собрания был полон. Видные юристы, сенаторы, судьи, профессора – все были налицо, вплоть до министра юстиции.

Многие настроены были недружелюбно. В проектах ученых они усматривали угрозу их существованию и всей системе правосудия.

В 8 часов ровно высокая эстрада была занята президиумом, явившимся *in corpore*^{75*}. Прозвучал звонок, и проф. Таранин объявил собрание открытым. Никуличев занял кафедру.

Снова бледно-матовое лицо белело на черном фоне сюртука. Снова серые «вольтовые» глаза пробегали по публике, скрещивались со взорами многих, связывали их и приковывали к себе. На минуту они задержались на лице Кирсановой и спокойно скользнули дальше.

Недовольная гримаса прошла по лицу балерины. Она с интересом смотрела на него и, казалось, была удивлена тем, что увидела мраморную маску, а не живое лицо.

– Мумия, – шепнула она Шелапутину.

– Милостивые государыни и милостивые государи! Вы не без скептицизма приготовились слушать то, что я намерен доложить вам. Я одобряю этот скептицизм. Тем лучше для вас и для меня.

Несмотря на предубеждение, я смело выставляю мои положения и буду краток. Слов не нужно тому, у кого есть дела. Они таковы: Борьба с преступлением возможна. Но не путем наказания, т.е. уничтожения или заточения преступников, а путем переделки или перевоспитания их, совершаемого чисто лабораторным путем, быстро и вполне успешно.

Иными словами: я утверждаю, что любого вора, убийцу, закоренелого каторжника можно в течение одного-двух месяцев превратить в честного и нор-

мального члена общества. Говоря «можно», я имею в виду не платонические пожелания, а фактически исполнимое.

Кто не верит моим словам, тому я предлагаю свои услуги и берусь это сделать с любым преступником.

Слова звучали ровно и однотонно, но резко и отчетливо.

– Я говорю это так спокойно потому, что ряд опытов в этом направлении нами сделан и дал нужные результаты.

Никуличев кратко передал добытые итоги.

– Таково, господа, основное положение. Теперь извлечем отсюда главные выводы. Они таковы: во-первых, современный уголовный кодекс не нужен. Прейскурант наказаний, кропотливо вычисляемых вами – излишен. Наказание должно исчезнуть.

Во-вторых, тюрьмы и крепости должны отойти в прошлое. В них не будет обитателей. Кто совершит нечто недозволенное, тот будет отсылаться в лабораторию и выходить оттуда новым человеком.

В-третьих, излишними будут и современные суды. Вся судебная процедура сведется к простому факту выяснения, кто сделал такое-то недозволенное деяние.

Сделавший не будет скрываться, ибо наказание не будет грозить ему. Лаборатории будут подобны современным больницам. Пациенты, т.е. преступники, не только не будут избегать их, а напротив – сами являться туда, как больные идут в больницы и клиники.

Не нужно будет ни сложной техники следствия, ни установления форм виновности, ни подведения под статью, ни схоластических рассуждений о том, действовал ли преступник с умыслом или без него, из плохих или хороших мотивов, – все это должно исчезнуть. Излишними будут и здания судов, обширный штат судей и вся судебная обстановка. Отныне не нужны ни прокуроры, ни адвокаты, ни судьи, ни присяжные, ни тысячи статей, ни миллионы листов бумаг, ни речи, ни прения – все это заменится экспертом, который определит, кем совершено недозволенное деяние, и духовным врачом, который будет перерабатывать преступника в лаборатории. Само собой понятно, господа-криминалисты, что наше открытие делает бесплодными и все бесчисленные теории – ненужные, как сор, – которыми наводнено уголовное право. Вся ваша работа сведется к тому, чтобы написать кодекс: какие деяния не дозволены. И только. Санкция будет едина – исправление. Процесс будет един – исправление. И результат будет един – исчезновение преступников и преступлений, и рост морального богатства в обществе.

Я прекрасно понимаю, что осуществление моих предложений равносильно уничтожению современного правосудия. Но стоит ли жалеть об этом! Не являлось ли оно возмутительной несправедливостью, жестокой, зверской и вдобавок бессмысленно-бесполезной?

Вспомните, сколько людей, здоровых и умных, бесцельно пропадает в тюрьмах, губя ум и силы и обременяя общество бесполезными расходами? Вспомните, сколько тратится на тюрьмы? А как велик штат охранителей? Примите во внимание и то, сколько сил, людей и денег нужно на суды, на судей, на адвокатов, прокуроров, бумаги, законы и т.д. А сколько сил пропадает в схоластике юридической глупости!..

Наконец, не забудьте и того, что общество весьма дорогой ценой покупает свою безопасность – ценой тысяч жизней, озверения сотен тысяч и изуродования – миллионов. Жертв слишком много, а прибыли слишком мало.

Что дает вам ваше беспощадное правосудие? Ничего, кроме роста преступности и озверения, дикости и растущей опасности... Ваши меры дороги, жестоки и бессильны...

Дело каждого из вас – выбрать. Либо – голая юстиция, во имя пустых слов жертвующая миром, либо – святость мира и человека. Первое – плод невежества. Второе – плод знания. Я кончил!!

Молчание было ответом. Речь и меры, предложенные Никуличевым, были столь неожиданны и шли так далеко, что собрание не сразу опомнилось от изумления. набросанная картина подействовала ошеломляюще. Она разрушала почти весь общественный уклад. Вычеркивала из обихода добро и зло, преступление и наказание, суд и тюрьмы, кодексы и сотни тысяч ученых книг и споров...

Краткими и ясными словами этот человек нарисовал совершенно новый уклад. И говорил о нем не как о фантазии, а как о вполне осуществимом факте, который он может выполнить и выполнит.

– Что это? – спрашивал каждый. – Шутка?

Но нет. Опыты были реальностью, а не сном. И вместе с тем набросанная картина так непохожа на привычную. Рисовалось нечто фантастическое, решительно новое, требовавшее категорического выбора. Или одно, или другое. Старое – плохо, но люди сживаются с ним и нелегко разрывают с привычным...

– Объявляю на десять минут перерыв, – провозгласил председатель...

Публика зашевелилась и встала с мест. Начался обмен мнениями.

– Что скажете насчет доклада? Не правда ли, ново? – обратился министр к проф. Базилевичу. – Придется, пожалуй, сдавать нас в архив.

– Ново то ново. Но, – пожал плечами профессор, – не слишком ли далеко идет он?

– Это возмутительно, – слышалось в другом месте. – Это какое-то нахальство – одним взмахом свести насмарку все уголовное право, – говорил сенатор Пломба.

– Что станет с вашими теориями наказания, умысла и неосторожности, необходимой обороны и крайней необходимости! – шутливо отвечал ему молодой

присяжный поверенный. – Что станет с кассационными разъяснениями! Вечная им память!

– Да... Это почище Ломброзо и всяких социологических измышлений...

– Придется подумать. Тут не возразишь ничего.

– Не юрист, а сумасшедший, ваше превосходительство, – лебезил перед министром молодой прокурор Ауер, тонкий, юркий и пшютоватый.

Кирсанова во все время доклада не сводила глаз с Никуличева. Странно действовали на нее эти холодные глаза и эта метрономная речь... В силу ли контраста характеров или в силу взбалмошного каприза, но этот человек притягивал ее. Чем? – Кто знает... не то внешностью, не то славой, не то чем-то стальным и непобедимым, что чувствовалось за его словами и жестами...

Сидевший рядом Шелапутин волновался и тревожно следил за ней.

– Ну, как, довольна? – с внешней беззаботностью спросил он свою спутницу...

– Как бы не так... Какой-то манекен, а не человек, – лицемерно ответила она.

– Я же говорил тебе, что будет скучно.

– Я и не виню тебя.

– Тогда, быть может, пойдём?

– Нет уж... Просидим до конца...

Подошли знакомые и вежливо стали раскланиваться...

– Вы знаете Никуличева? – обратилась вдруг Кирсанова к знаменитому адвокату Силякову. – Познакомьте меня с ним...

– Идемте...

Подошли к Никуличеву, разговаривавшему с каким-то психиатром.

– Дмитрий Николаевич! Позвольте вам представить Марию Николаевну Кирсанову.

Пожали руки...

– Число ваших поклонниц можете увеличить еще одной, – шутливо заметила артистка.

– У меня их нет, – улыбаясь, ответил Никуличев.

– Не скромничайте...

– Не скромничаю, – спокойно ответил он. – Это не по моей части. Как, думаю, и то, чем я занят, не по вашей.

– Нельзя сказать, чтобы вы щедры были на комплименты, – заигрывая, продолжала она. – Однако с интересом слушала вас и многое поняла.

– Радуюсь. Только не знаю, к чему это вам и как вы сюда попали.

Голос был, как и раньше, монотонен, не видно было ни чрезвычайной вежливости, ни того незримого чувства влюбления, которое обычно вызывала балерина.

Это было ново и немного неприятно...

– Вы откровенны, – играя глазами и легко покачиваясь на упругих ногах, продолжала артистка. – Наша сестра у вас, должно быть, не на важном счету.

– Нет... Отчего же... Каждому свое. До науки вам, конечно, мало дела, но зато у вас свои достоинства, ценимые людьми.

– А вами?

– Я, право, об этом мало думал, – равнодушно заявил он. – Простите, но я должен идти, – раскланялся докладчик.

Гримаска недовольства пробежала по лицу Кирсановой. «Это уж слишком», – промелькнуло у нее в голове... Какой-то далекий и мраморный. Было досадно, что ее чары отскакивали от этого мрамора. И было приятно, что этот человек говорил с ней не так, как говорили с ней до сих пор... Ни огня возбуждения, ни похоти, ни мгновенного увлечения, к которым так привыкла она, не чувствовалось. Теперь только уяснила она себе тайную причину своего каприза. Ей хотелось просто поиграть с быстро прославившимся ученым, полюбоваться эффектом своих чар, завлечь, заколдовать, одурачить, насладиться своей силой и затем... не без жестокости посмеяться...

И вдруг? Чары отскочили... удары были бессильны, и сила красоты – бездейственной...

Было неприятно, и дразнило желание.

«Ну, постой же, – думала она. – Не я буду, если не скручу тебя. Будешь таскаться за мной не хуже многих. Посмотрим...» – и в глубине колдующих глаз вспыхивали огоньки, как ракеты в глубине ночного неба...

– Какая-то панихида... – садясь в кресло, недовольным тоном сказала она Шелапутину.

Тот улыбнулся... Сомневался, но поверил...

Перерыв кончился, и заседание возобновилось... Говорили многие...

Сенатор Пломба распинаясь за возмездие. Презрительно указывал, что докладчик не обосновал цели наказания, не дал юридической конструкции преступления и кары и т.д.

В этом же роде говорили и другие. Только двое с восторгом приветствовали новый план реформы и заявили, что отныне уголовное право кончило свою историю.

Никуличев сидел и спокойно слушал. В углу губ временами мелькала кривая усмешка... Встал и начал возражать; по лицу прошел какой-то ток.

Сверкнула молния внутреннего возмущения на человеческую глупость, прикрытую туманными словами...

– Господа, теперь я буду прям и резок и начну с вопроса: долго ли вы будете хромать на оба колена? Вы упрекали меня в том, что я не дал вам юридических конструкций, не привел мнений от Адама до наших дней, не был тем, чем явля-

етесь вы, т.е. граммофоном, передающим чужие мысли за неимением своих... О, я знаю, вы это цените, но я был краток и сказал вам: не нужно слов тому, кто имеет дела.

Чего вы хотите? Культивировать ли преступность, чтобы можно было надевать мантию и с важным видом священнодействовать за судейским столом? Или же вы действительно хотите бороться с преступностью?

Если хотите первого – к чему лицемерите! Тогда кричите: «Да здравствует преступление!» И будьте откровенны!

Если же хотите бороться, то разве не видите, что ваша борьба бесплодна? Уменьшились ли преступления? Нет. Растут ли они? Да. Чем боретесь вы? Виселицами и тюрьмами. О, вы культурны! Вы возводите одну тюрьму за другой, заботитесь о количестве квадратных сажен воздуха для «неисправимых». Вы тщательно вычисляете, подобно метрдоателям, ваш преискурант наказаний и хотите быть справедливыми. Вы распределили преступников по классам, как бабочек, и обрадовались, когда открыли «неисправимых».

Немало вы толкуете и о сущности наказания, о его целях и всегда к слову «возмездие» не забываете прибавить «справедливое».

Но... довольно бесплодного тканья слов. Они слишком дорого стоят. Кто вычислит миллионы тех, кто погиб под сводами ваших тюрем, задохся, исчах или сошел с ума? А сколько тысяч погибло утренней зарей на эшафоте! В прошлом ваши предки были откровеннее. Они мучили и пытали прямо и открыто. Вы лицемерны и трусливы. Во имя этих жертв я поднимаю свой протест и говорю: «Довольно!..» И знайте – я сдержу свое слово. Быть может, не сегодня – так через год, не через год – так через десять, но я проведу свою реформу, и вы принуждены будете принять ее...

Невежество рано или поздно гибнет. Знание – остается!

Раздались свистки, но были покрыты аплодисментами. Горячая и прямая речь одних возмутила, других восхитила.

Не только друзья, но и противники увидели, что с этим человеком придется считаться. От него нельзя отмахнуться. Да, в конце концов, отчего ж бы и в самом деле не сделать опыт и не воспользоваться его открытием?

Публика расходилась, возбужденная и шумная. Спорили: одни ругали, другие хвалили.

Перед выходом Никуличеву подали карточку министра юстиции с надписью, что он желал бы видеть его завтра в 12 часов.

«Прекрасно», – подумал Никуличев...

Выходя, он снова встретился с Кирсановой.

– Я думала, вы мраморный, а вы умеете и воспламеняться, – улыбалась артистка.

- Да, по временам.
- И только в заседаниях?
- Вы очень любопытны, – отпарировал он вопрос. – Впрочем, да.
- А можно к вам приехать, посмотреть вашу лабораторию?
- Можно. Но для чего вам?
- Ну, право же, вы нелюбезны.
- Не привык, – холодно ответил он. – Прощайте...
- Прощайте, – закусив губку, процедила артистка...
«Вот невежа-то. Я право, готова сейчас побить его», – волновалась она, выходя из собрания.

Глава XIII

В этот вечер Воеводская была одна. Муж уехал на какое-то заседание, она никого не ждала и никуда не собиралась. На улице было сыро и холодно, а здесь, в будуаре, было тепло и уютно.

На столе лежал ряд листов бумаги. На одном из них чернело несколько строчек начатых стихов, но они, неоконченные, зачеркнутые, сиротливо жались к углу листа и обрывались...

Работа не клеилась... Перо лежало на столе, а сама она сидела в кресле и, казалось, о чем-то думала...

Встала, взяла газету, прочла отчет о вчерашнем выступлении Никуличева в обществе криминалистов. Газета передавала содержание его доклада и прений. Рецензент от себя добавлял ряд замечаний и выводов, весьма лестных для знаменитого ученого. Рядом была статья известного социолога-криминалиста, приветствовавшего новое начинание и называвшего открыто Никуличева «могилой уголовного права и дорогой в царство правды».

После первого выступления Никуличева в Академии наук она не переставала внимательно следить за ним... Грустная и обиженная ушла она с заседания. Было больно, что так холодно обошлись с ней, было больно за свой выбор, за свою ошибку, она ясно увидела, что умерший был жив, потерянный – нашелся и стоял у врат царства. А муж, которого до сих она ценила и уважала, оказался побитым, бессильным и пустым...

И в душе ее с этих пор оборвалась какая-то нить. Безмятежное и бодрое настроение, тихое счастье, питаемое любовью, уважением и работой, исчезли и ушли... И против желания было грустно, и против воли почему-то все время носились в голове слова: «А счастье было так близко, так возможно»^{76*}. Проходили дни... слава Никуличева росла, а вместе с ней росло и душевное беспокойство Воеводской. Было неприятно и оттого, что он до сих пор не явился к ней и не пригласил ее к себе.

«Неужели забыл или же мстит за прошлое?», – спрашивала она. Вот и теперь снова стояло перед ней это холодное, бледное лицо с вольтовыми глазами и странно размеренные жесты. «Неужели это он? – думала она. – Неужели это тот, старый Дмитрий – живой, непосредственный, горячий и всегда искренний?»

Она сравнивала обоих и не узнавала... Нет, это какой-то иной человек. Тот был всегда искренен, этот – непроницаем. Тот был ясен – этот темен. По его глазам она могла читать всю его душу – у этого душа была отделена какой-то завесой. И притом эта складка в углу губ – насмешливо-ироническая... «И тот, и не тот», – вздохнула она.

Подошла к столу и из какого-то ящика вытащила связку писем, старых, порыжевших от времени и лежания. Села к камину и принялась читать.

«Дорогая, хорошая Лиза, – читала она. – Я в далеком-далеком лесу, бесконечном и непроходимом. До одного села – 100 верст, до другого – 90... Лошади устали, и я ночую в этой лесной избушке... Вот я и снова в новом мире, так не похожем на твой мир, оставленный мной... Кругом лес, лес и лес. И я с ямщиком один здесь, как древний дикарь, среди иной жизни, странной и непонятной. Пали уже ночные тени. Где-то кричит филин. Кругом пищат комары... а мне хорошо и грустно, радостно... Не знаю, как и передать тебе то, что я чувствую... Ты теперь так далека от меня и так близка. Как живу я вижу тебя перед собой, твои чистые весенние глаза, твою дорогую улыбку и твой полудетский голос. О, если бы ты знала, как я тебя люблю теперь... И люблю какой-то странной любовью... Это не то, что обычно зовется этим словом. Скорее это обожание святыни, преклонение перед Беатриче^{77*} и вместе с тем – радость созерцания красоты. Нетленное соединилось с временным, любовь к ребенку с любовью юноши... Нет, не сумею я передать тебе свое чувство. Но ты передо мною, и ты везде. И мне радостно от этого, душа трепещет. Боже! продли этот миг! Дай его пережить еще и еще, долго, часто – вечно. Лес шумит, и я слышу твое имя. Филин где-то ухает... Затерянный среди лесов, я смотрю на небо, и небо – ты, и ты – небо... О, моя жизнь! Мое небо! Нечаянная радость!

И если можно благодарить тебя, то я не знаю, как благодарить. Для меня ты – отблеск потерянного рая и проблеск весенней зари и ярких весенних зарниц. Нет, не могу... Нет слов.

Кажется, я наговорил много сентиментальностей, и ты, пожалуй, будешь смеяться над ними и мной.

Ну, что ж? Улыбнись своей милой улыбкой и брось письмо. Я знаю, что улыбка твоя будет доброй, а не злой. Кончаю.

Все лесные духи шлют тебе привет...

Твой Дмитрий».

Прочла и задумалась... Медленно развертывалась перед нею картина прошлого, ясная до боли, такая простая и сложная...

Взяла новое письмо, последнее письмо, присланное накануне свадьбы. Ровный почерк здесь был тороплив и нестроен. Буквы прыгали. Нажимы пера были сильны и неровны.

«Глубокоуважаемая Елизавета Александровна.

Поздравляю вас с законным браком и желаю вам и вашему мужу всего хорошего. Извиняюсь, что не мог сдержать свое слово и быть на вашей свадьбе. Очень занят, да и фрака не имею, а напрокат взять нет денег. Впрочем, к чему хитрить!.. Конечно, это неверно. Истинная причина – нежелание. Не хочу. А почему не хочу – вам также, вероятно, ясно... А если не ясно – расскажу сказку.

Жила-была когда-то дивная фея. Нежная, ясная, лазурно-целомудренная. Звали ее люди “Любовью”. Я называл ее “Тихим светом”. Жила и росла. Создали ее вы и я. Эта фея – поэма взглядов, песня тихих слов и аромат чистых прикосновений, эта фея – весенний трепет души... И что же? Вы ее убили. Без жалости вы убили. Понимаете, убили. Ну что ж, если так нужно – пусть будет так. Забудем ее! Бросим в яму и зароем. Пусть завеют буйные ветры и занесут ее сыпучими песками! А ты, старый, колючий бурьян, густо покрой забытую могилу былого!

Идите своей дорогой... Желаю вам счастья. Я его едва ли найду... “Старые раны горят”... Но не бойтесь. Я буду еще жить. И зубами и когтями буду цепляться за жизнь. Зачем? Так просто, ни за чем. А может быть, и есть причина. Больше мы с вами не увидимся. Ваша дорога идет кверху, моя – книзу... Печальная дорога, одинокая и тяжелая, которая либо приведет меня к вратам царства, либо – к смерти в канаве, под забором. Ну что ж, собаке собачья и смерть. Прощайте. Я вас не упрекаю и ни в чем не виню. Простите за неумышленную резкость. Я не хотел бы причинить вам грусть перед свадьбой.

Д. Никуличев».

Камин тихо и пугливо вспыхивал, а Воеводская сидела задумчивая и печальная. Вспоминала прошлые сны, такие тихие и радостные. Вставали картины, всплывали образы, и звучали когда-то сказанные слова: «А счастье было так близко, так возможно...»

«Нет, – встала она с кресла. – Я хочу и должна его видеть. Я хочу воскресить прошлое и оживить забытое... Пусть будет что будет. Но я не могу так. Я хочу вновь этой целомудренной сказки, тихой поэмы зачарованного озера!»

Оделась и уехала...

С любопытством подъезжала к лаборатории. Внимательно вглядывалась и всматривалась... Мелькнули ворота, и извозчик остановился у подъезда белого дома.

Позвонила...

– Дмитрий Николаевич дома?

- Дома, – ответил открывший служитель...
- Подайте эту карточку и скажите, что я прошу его принять меня...
- Они, кажись, заняты, – нерешительно заметил открывший.
- А вы подайте.
- Просят пройти, – вернувшись, сказал он.

Поднялась по лестнице и вместе со стуком каблуков слышала стук тревожного сердца...

– Здравствуйте, Елизавета Александровна, – встретил ее Никуличев. – Прошу сюда, – пригласил ее.

Сняла пальто, боа и шляпу. Было отчего-то страшно. Украдкой взглянула в лицо: оно было спокойно-вежливое.

– Не удивляйтесь, Дмитрий Николаевич. Захотелось повидать вас. Ждала-ждала, не дождалась. Если гора к Магомету не пошла, то Магомет к горе. Вот и принимайте гостью.

– Я очень благодарен вам за память и очень рад вас видеть, – услышались холодные слова.

- Дайте посмотреть, как вы тут живете. Ведь вы теперь знаменитость.
- Пожалуй, что и так, раз уж вы явились ко мне.

Намек и укол острой болью врезались в душу.

– Вы ошибаетесь, я явилась видеть старого друга Дмитрия Николаевича, – ответила она.

– Если так, тем лучше, – ответил он. – Чем могу служить?

– По-видимому, этим вы хотите сказать, чтобы я убиралась поскорее.

– О нет!

– Впрочем, ведь вы так заняты, – нерешительно встала она, – у вас нельзя отнимать время. Без повода нельзя и видеть вас.

– Что я очень занят – это верно. Но, признаюсь, меня немного удивляет ваш визит.

– Удивляет...

– Да.

– И вы не догадываетесь, что меня привело к вам? – с волнением заметила она.

– И да, и нет. Пожалуй, что и догадываюсь.

– И что же, вы рады?

– Вы хотите, чтобы я был откровенен?

– Да.

– Тогда я скажу прямо: я рад вас видеть, но прошлое умерло, и умерло навсегда.

– Вот как, – вздохнула она... – Умерло, и навсегда... А если я люблю вас?..

– Елизавета Александровна... Поздно... Слишком поздно, – грустно заметил он... – Я все уничтожил... и настроил душу иначе.

– Тогда настройте ее по-старому.

– Зачем? Для того, чтобы возродить старое?.. Безнадежно. Разве я уже тот? А вы разве та же? Нет! И я не тот, и вы не Лиза. Вы теперь Елизавета Александровна Воеводская. Вы знаете, я притворяться не люблю, не люблю и врать. Будем откровенны... Что получилось бы, если бы я пошел на ваш зов? Флирт... Физиология и обман мужа... Маленькое, пошленькое лицемерие, плоское и грязное, как все обыденное... Нет, Елизавета Александровна. Бросим это. Да у меня есть и другая причина так вести себя. Я не хочу обидеть вас, но... не могу не сказать вам правды: я плохо верю в вашу любовь. Вы влюблены – но не в меня, а в того Никуличева, о котором теперь твердят всюду...

– Дмитрий! – прервала она.

– Да, да, – продолжал он... – Именно в этот шум, как когда-то из-за него же влюбились вы в Воеводского... Тогда вы бросили меня, теперь готовы бросить его, и только потому, что теперь я знаменитее, чем он. Вы едва ли любили вообще кого-нибудь, кроме тени шума и славы.

– Вы неправы, Дмитрий. Боже мой, как вы неправы! – со слезами вскричала она.

– Нет, прав, – спокойно сказал он. – Иначе почему же вы вспомнили обо мне только теперь? Почему вас я не видел и не слышал раньше, в те долгие годы, которые прошли между вашей свадьбой и сегодняшним днем? Тогда вы и не подумали обо мне. Разве было вам дело до неудачного юноши, бедного, слабого, неизвестного и забытого? Жив ли он или мертв? Сыт или голоден? Счастлив или смертно страдает? Спросили ли вы себя хоть раз об этом? Приходило ли вам это в голову? Нет, нет и нет... Вы были довольны. И вы, и Воеводский были увенчаны лаврами, а чего же вам было еще нужно. До бедного ли юноши тут было. И если бы услышали о его смерти, вы бы только вздохнули и тут же забыли бы о ней. А теперь фортуна повернулась в мою сторону, и вот вы вспомнили обо мне.

– Как вы жестоки, как вы бессердечны, – с рыданием вырвалось у нее.

– А вы были сострадательны и пожалели меня? Без тревоги, с легким сердцем вы ограбили мою душу и истоптали ее... С любопытством и не без удовольствия вы приехали ко мне со своей вестью и звали на свадьбу. Знали ли вы, что вы делали! Окруженный неудачами, богатый лишь мечтами и планами, я жил тогда только вашей любовью... И вы убили ее. О, если бы знали вы ту боль и то мучение, которое я пережил!.. О если бы испытали хоть часть того, что испытал я за эти годы. Да, теперь я победитель и стою у врат царства... Но чего это стоило? Я сам удивляюсь, как я вынес все это... Не удивляйтесь и вы, если все нежные струны выгорели в душе и больше не звучат. Это грустно, быть может, но в этом виноваты вы же... Пусть я жесток, но раз можно быть и жестоким. Да и не ради

жестокости говорю я вам это, а ради того, что прошлое исчезло. Его не воротишь, а игра в флирт с очаровательной дамой меня не манит!

Воеводская тихо плакала...

– Да, вы отчасти правы, – сквозь слезы сказала она. – А счастье было так близко...

– Да, было близко... И мне, Елизавета Александровна, от души жаль и себя, и вас. Но помочь вам не могу. Иными снами теперь живу я. Не нужно тревожить прошлого. Дайте вашу руку... и забудьте о нем.

Рука, та дорогая рука, которую не раз когда-то целовал он, теперь тихо дрожала, а в глаза его смотрели странно знакомые глаза прежней Лизы. То же лицо, те же губы... Что-то пробежало по лицу, а в душе поднялось какое-то новое чувство, вспыхнуло в глазах, и казалось, вот-вот старый Дмитрий воскреснет, но... через минуту снова легла маска и погасила все загоревшиеся огоньки.

– Не надо будить мертвых, – сказал он. – Прощайте, Елизавета Александровна, и простите меня за мою жестокость...

– Прощайте, – тихо ответила она...

Хлопнула дверь, и она скрылась. Ехала грустная и убитая...

А он еще долго сидел один и думал о чем-то... Было жаль прошлого и было радостно, что его уже нет...

«А может быть, воскресить? Нет, не нужно. Это прошло и превзойдено. Теперь он живет иным, и радость любви – ненужная роскошь. И так душа полна радостью творчества, перекатами своей силы и могучими аккордами разрушения и созидания. Она полна и горит. Иного огня не нужно... Не надо будить мертвых», – решил он^{78*}.

Рука, та дорогая рука, которую не раз когда то цѣловалъ онъ, теперь тихо дрожала, а въ глаза его смотрѣли странно знакомые глаза прежней Лизы. То же лицо, тѣ же губы... Что-то пробѣжало по лицу, а въ душѣ поднялось какое то новое чувство, всплонуло въ глазахъ и казалось, вотъ вотъ старый Дмитрій воскреснетъ, но... черезъ минуту снова легла маска и погасила всѣ загорѣвшіеся огоньки.

— Не надо будить мертвыхъ — сказали онъ. Прощайте, Елизавета Александровна, и простите меня за мою жестокость... — Прощайте, тихо отвѣтила она.. Хлопнула дверь

и она скрылась. Выхала грустная и убитая... А онъ еще долго сидѣлъ одинъ и думалъ о чемъ то... Было жаль прошлаго и было радостно, что его уже нѣтъ...

— А можетъ быть воскресить? — Нѣтъ, не нужно. Это прошло и превзойдено. Теперь онъ живетъ инымъ и радость любя — ненужная роскошь. И такъ душа полна радостью творчества, перекатами своей силы и могучими аккордами разрушенія и созиданія. Она полна и горитъ. Много огня не нужно... Не надо будить мертвецовъ, рѣшилъ онъ.

Н. Чаадаевъ.

III

СТИХОТВОРЕНИЯ

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ПАЛАДИН ДАЛЕКОГО ВОСТОКА

Посвящается *П.Н. Зепалову*^{1*}

Моя душа родилась у истока
Предвечных снов и пламенных молитв...
Я паладин далекого Востока,
Я первый зов животворящих битв...

Косматых мыслей блещущую грудь
В потоке слов я сею по пути...
И буйный вихрь разносит их повсюду...
Им суждено цветам расцвести!

Бесплодный сор, полынь пустых мечтаний,
Трусливых чаяний, обманчивых надежд –
Все унесет порыв живых восстаний
И под обломками схоронит он невежд...

Раздастся гром далекого раската,
Взметнется вдруг животворящий шквал...
Пусть прошлое поет свой гимн заката,
Ему конец: идет девятый вал...

Я паладин далекого Востока!
Я провозвестник пурпурной мечты!
Мои права – права самого Рока!
Я паладин нетленной красоты!

ПОД ШУМ ОСЕННЕГО ВЕТРА

Посвящается *А.А.Р.*

Стой... подожди меня, ветер осенний,
Вместе с тобой мы гулять полетим!
Что нам теперь до лазури весенней,
Лучше споем про закат мы осенний!
Ну, так летим же, скорее летим!

Мы взовьемся, разовьемся,
Серой тучей расплывемся
И закроем даль небес...
Засвистим мы и завоем,
Захочем и заноем,
Словно старый буйный бес.
А потом с тоской застоем,
Нашу юность похороним
И уйдем в безмолвный лес!

Что нам радость дней отрадных!
Пусть грустят о невозвратных
Днях порывов, трепетаний
И любовных упований
Те, кто юно жить устал...
На пороге дней закатных,
На распутьях перекатных
Мы с тобою вспеним море
И зальем бывшее горе
Неуслышанных рыданий,
Неоправданных мечтаний^{1*},
Вспеним выше буйный вал!

Если любят нас – мы рады,
Коль не любят – и не надо,
Мы поищем новых далей,
Без тоски и без печалей...
Что нам плакать и рыдать!

Если ж плакать, так уж плачем,
Смертным плачем мы заплачем,
Вспыхнем яркою зарницей
И под желтою багрянцей
Будем молча умирать!

* * *

Мне не хочется больше читать...
Я устал от мятущихся дум...
И хочу, как дитя, помечтать
Под осенний полуночный шум...

Хорошо без раздумья лежать
На ковре из зеленой травы...
Полевыми цветами играть
И смотреть в глубину синевы...

Облака перистые
Улетают вдаль...
Ивы серебристые
Шепчут про печаль.

А река спокойная
Сказку говорит.
Ласковая, древняя
Вьется и манит...^{1*}

Быстрокрылой ласточкой
Взвиться б и лететь...
Нежно про касаточку
Все бы петь да петь...

Но тревожные думы мои
Встрепенулись, вспугнули мой сон...
Где вы, детские грезы мои?!
Где ты, вешний малиновый звон?

ПЕСНИ МОИ

Н.Д. Кондратьеву

Взвейтесь стрелою вы, песни мои!
Яркою молнией небо пронзите,
Черные тучи скорбей отгоните,
Громом промчитесь вы, песни мои!

Песни вы, песни крылатые, вещие!
Радостно-звонкие, мрачно-зловещие,
Отблески буйных порывов души...
Кто вас родил, и вскормил, и взлелеял?
Жизни могучей порыв вас посеял
В почве – безлюдной, в безвестной глуши.

Снежные вьюги напевы вам дали,
Ведьмы лесные слова нашептали,
Сказки же вам рассказали леса.
Будьте же нежны, как зовы свирели,
Будьте тревожны тревожней метели,
Будьте светлы, как весной небеса...

Если вам грустно – кукуйте кукушкой.
Свейтесь и слейтесь в печали друг с дружкой,
Плачьте слезами осенних ветров,
Если же весело – смейтесь безбурно,
Солнцем весенним сияйте лазурно,
Ярко пылайте пожаром костров...!*

Взвейтесь стрелою вы, песни мои!
Пойте о жизни могучей, как солнце,
Светлым лучом проскользните в оконце
Бедной лачуги, где братья мои!!

НЕ ЗНАЮ Я...

А.А.Р.

Не знаю я – мы встретимся иль нет...
Быть может, наше «до свиданья»
Судьбою понято, как вечное «прости»,
Но миг созвучного былого трепетанья,
Когда мы встретились случайно на пути,
Не может никогда увясть и отцвести...
Его хранит в душе своей поэт...
Не знаю я, мы встретимся иль нет...

Быть может, наши жизненные тропы,
Как порванных стихов разрозненные строфы,
Не встретятся уж больше никогда...
Но где бы ни был я – повсюду и всегда
Тебя благодарю я...
Пусть ветер донесет к тебе живой привет
И чистый аромат живого поцелуя...
Не знаю я – мы встретимся иль нет...

КУБОК

Надоели мне охи и вздохи
И страданья и стоны людей...
– Эй! Живее сюда, скоморохи!
Подходи, кто захочет, и пей!

Этот кубок викинги держали,
Умирая со смехом в бою,
И все те, кто на вечной скрижали
Начертали нам волю свою.

Осушал его тот, кто границы
И добра, и греха преступал...
Кто сверкал, как сверкают зарницы,
И десницу судьбы разрубал,

Кто смеялся при громе проклятий
И рыдал среди смеха толпы,
Кто срывал все печати заклятий,
Был кумиром и жертвой молвы...

Пей же кубок мой без колебаний,
Его пьют в миг один и до дна...
Кубок мой – кубок смелых дерзаний,
Кубок славы иль вечного сна...

Ну, так что ж? Аль боишься ты мига?
И не пьешь, чтобы вечно стонать?
– Эй! Подайте сюда мне вериги!
Мой приказ – скомороха сковать!

Я мечтаю-бы могучим чувством
и горячим как со мной любовью
Но ошел не из груди
что то там полади
Удвоятся и скрывается ветру вейвар
Я фантазия шифр порядки-как сам сагану
Тотли мир и модки превираж
Кос покорно стик ровской
Трехминим думай
Я могу то слово шифр и, стеной.
Я хочу а бы, тот шифр думоване во мид
Тотли бы а всегда предч бител
ко в восточей думай
Как в попушке и он
Только правь и зона и мо шифр
Я фанта и бы чмом ветр сонадка раскрить
Тотли ветр ветр шифр, все ветр
ко и эта шифр
Никогда, никогда
не придет, мид е не придет.
Видит шифр и шифр уо в шифр оати
ко перевел ена в шифр.
и мечта ветр мид
как пошше ена
Расплывутся, пошше в шифр.

П.А. Сорокин Юж. 24 маф.
Ремонт

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Я желал бы могучего чувства
И горячей как солнце любви,
 Но давно из груди
 Где-то там назади
Убежали и скрылись все чувства.
Я хотел бы быть гордым как сам Сатана,
Чтобы мир и людей презирать,
Но с покорностью рабской
 Бессильной душой
 Я могу только ныть и стенать.
Я хотел бы, чтоб жизнь бушевала во мне,
Чтобы был я всегда среди битвы,
 Но в изжитой душе,
 Как в потухшем огне,
Только грязь и зола и молитвы.
Я хотел бы умом все загадки раскрыть,
Тайны все осветить, все обнять,
 Но и эта мечта
 Никогда, никогда
Не придет, мне ее не принять.
Видел тучку, плывущую в синей дали,
Но исчезла она в синеве...
 И мечты все мои,
 Как ночные огни,
Расплывутся, погаснут в<о> тьме [?]

П.А. Сорокин 1909 г. 24 мая

ПОЗЫВЫ

I

Я хочу летать орлом могучим
В бесконечной синеве небес,
В властном вихре, в стройности певучей,
В мире солнца, громов и чудес –
Я хочу...

Вместе с бурей обнимусь я страстно.
Яркой молнией все тучи разгоню,
Гулким громом пронесусь я властно,
Диким вихрем по земле я пробегу –
Я хочу...

II

Я хочу лежать прудом спокойным,
Навсегда заснувшим под тиной,
Тихо спать под сводом ложа темным,
Слушать сказку зелени весной –
Я хочу....

И как пруд, без дум и без печали
Безмятежную лазурь твоих очей
Долго, долго созерцать и на свирели
Песни нежные играть в тиши ночей –
Я хочу...

Убаюкивать тебя чудесной сказкой,
Унести с тобою в край мечты –
В край порывов и позывов жизни страстной,
В край невиданной и дивной красоты –
Я хочу....

III

Как паук, хочу я рыться вечно
В паутине мыслей и чудес,
Разрывая тьму, царящую извечно,
Открывая ширь и синеву небес...
Из обломков мысли бесконечной
Мир великой правды создавать,
Царство истины святой и человеческой,
Царство счастья светлого ковать.

Петербург. 1910. «Бродяга»

СОЗИДАТЕЛЬ

Твоя рука послушно и спокойно
Кладет печать судеб на белые листы...
И бег времен, несущийся нестройно,
В железные слова заковываешь ты...

Ты разлагаешь все в своем сознание...
И радость, и печаль, и смертный стон людей,
И утра луч, и вечера дыханье...
Ты претворяешь все в нетленный ряд идей.

Своей рукой срывая дерзновенно
Покровы лжи и копоть тленных снов,
Причину и Закон ты ищешь вдохновенно
И только Истине даришь свою любовь.

На цепь идей весь космос разлагая,
И сам себя на ряд идей ты разложил,
И, мир иллюзий безустанно разрушая,
Творишь ты новый мир – бессмертных вечных сил.

Ты все узнал, все взвесил, все проверил.
И власть твоя – закон для мира и рабов...
Одно лишь ты забыл и не измерил:
Улыбку детских грез и юноши любовь.

Пройдут века, растают сновиденья...
Исчезнут сны детей, исчезнут и рабы,
И только лишь твои, Творец, творенья
Переживут века и времена Судьбы.

23 ноября

* * *

Если б был ты царем всей вселенной
И лишился бы царства мгновенно –
Не печалься об этом, мой друг!
Мир – ничто, лишь обманчивый круг.

Если б мир ты себе приобрел
И над ним ты парил, как орел, –
То не радуйся этому, друг!
Мир – ничто, лишь обманчивый круг.

В нем проходят и радость, и горе
И сменяются вечно, как море, –
Так пройди мимо мира и ты –
Мимо сна, мимо лживой мечты!..

Октябрь 1912

ВЕСЕЛЫЕ МАЛЬЧИШКИ^{1*}

Мы мальчишки по возрасту взрослые...
По характеру мы шалуны...
Надоели нам стоны несносные,
Опротивели все болтуны...

Мы плывем по реке неизбежности,
Мы плывем и играем с волной...
Любы ласки нам мира безбрежности,
Любы брызги нам пены морской...

Мы родились игрою случайности
И случайно явились сюда...
Нет для нас ни границ, ни бескрайности
Мы живем, а умрем – не беда!

Октябрь 1912

* * *

Мне весело в мире кружиться без цели^{2*},
Мне любо по миру без смысла гулять...
Люблю я пучины, люблю я и мели,
Люблю я в бесцельности цели искать...

Весной я – разлив и раздолье речное,
Зимой я под саваном снега дремлю...
Никто мне не чужд, а все мне родное...^{3*}
И смерть, и бессмертие равно люблю.

Дитя я от брака случайности с роком,
Извивом капризным явился сюда...
Давно распростился я с смыслом и с Богом,
Живу, пока жив, а умру – не беда!

Октябрь 1912

ИЛАЙЯЛИ^{4*}

Вкруг меня бесконечные дали
Голубым небосводом упали...
– Где ты, где? Отзовись, Илайяли...
Но молчат неподвижные дали...

Я грущу в мировом карнавале –
В этом пошло-веселом курзале^{5*}...
– А гондола моя на канале
Ждет напрасно тебя, Илайяли.

В полусумрачных снах кафедрала,
В металлическом звоне хорала
Я бесплодно искал Илайяли...
Мне ответили: «Мы не видали».

В искрометном капризе бокала,
В переливчатом блеске опала
Мне все чудилась ты, Илайяли...
Но они... и они мне солгали...

Я раскрыл мировые скрижали
С роем звезд на синеющей стали...
Но немые слова не сказали,
Где искать мне тебя, Илайяли.

И живу я среди тихой печали
И все жду, что придет Илайяли...
Но немые безмятежные дали...
Только слышится эхо: «Едва ли!»

Октябрь 1912

В САДУ ЛЮБОВНЫХ МЕНУЭТОВ^{6*}

Я дремлю в саду на острове Калипсо^{7*},
Убаюканный напевами свирели...
Лунным сном горят лампы из оникса^{8*}...
Шелестят про что-то тихо иммортели^{9*}...

Молчаливо дремлет ландыш белолонный...
Вереницею гирлянд скользят наяды^{10*}...
В синей мгле застыли белые колонны...
Менестрели^{11*} распевают серенады...

На пруде мечтает лебедь белоснежный...
Тень маркиза ожидает тень инфанты...
Где-то слышится неясно шепот нежный,
Бьют вдали на башне старые куранты...

Я дремлю в саду любовных менуэтов...
В том саду, куда ушел я от сражений...
Предо мной скользят немые силуэты
Грациозных и влюбленных привидений.

Ноябрь 1912

* * *

Я люблю тебя любовью странною,
Как печаль увядших^{12*} детских грез...
Ты пришла нежданно-негаданно
В мир тоски, невыплаканных слез...

Я не знаю, кто ты и откуда,
Может быть, ты отблеск моих снов,
Извлеченных мною из-под спуда
Пережитых далей и годов...

Может быть, ты бред разлива вешний
Иль истома заводи лесной...
Может быть, ты пыл порыва грешный
Или луч печали неземной.

ОСЕНЬ

Осени стон
Утомленный,
Вечера звон
 Похоронный,
 Тусклая даль...
 Плачет печаль...
Носится ветер бездомный...
Сад мой увял.

Ноябрь 24^{13*}

ПЕСНЯ ВЬЮЖНОГО БЕСА

Закружусь я мятежною вьюгою,
И взметнусь я пластом снеговым,
С старой ведьмой – с моей подругою –
Понесусь я к краям роковым...

Засвистим мы тревогой полночную,
Запугаем до смерти людей,
Занесем все дороги урочные...
Пусть гуляет весь мир без путей!

Усыплю запоздалого странника,
Ведьму старую сброшу с луны,
Успокою на веки изгнанника
И пошлю ему смертные сны.

Околдую все небо я чарами,
Застучу среди ночи в дома,
Заиграю капризно пожарами,
Что не греют, но сводят с ума...

Загуляю гульбой бесшабашною,
Заколдую без снов, наяву.
Эй! Кто хочет со мной в рукопашную –
Выходи! Я любого зову!

Устюг. Январь 1913

В ТИХИЙ ЧАС ЗАКАТА – ГОЛУБЫЕ ДАЛИ...

В тихий час заката – голубые дали,
У реки безмолвной с Вами мы стояли...
Тосковало небо далью золотистой,
И грустили тени радугой цветистой...
В неизбежной грусти, в чаянье разлуки
Тихо пролетали слов закатных звуки.

Но взметнулся ветер трепетным призывом,
Зашуршали листья ласковым отзывом,
Тихо зазвучали нежные признанья,
И проснулась снова радость ожидания,
Радость вечной сказки, трепетных мечтаний,
Нежного томленья, вечных упований.

Пусть желтеют листья в ожиданье ночи!
Я люблю, мне светят они среди ночи.
Не страшна ты, осень! Ты еще далеко!
Ведь еще люблю я, и люблю глубоко.
И не дуй ты, ветер! Ветер безотрадный!
Ведь еще далек час мой – час закатный.
Не разгонишь сказку вечного томленья!
Не растаешь радость сладкого волненья!

В тихий час заката голубые дали...
Над рекой вечерней не было печали...
Звезды полуночи трепетно сияли,
У реки безмолвной с Вами мы стояли!

(4 августа 1913)

* * *

Ну что ж? Не любите – не надо...
Я счастлив тем уже, что сам я Вас люблю...
Пусть будет жизнь полна мучениями ада,
Но имя <Ваше> я всегда благословлю.

* * *

Не купайся в грязной луже^{14*}
И не пей неполный кубок...
Если пить – так пей ты полный,
Полный чистого вина.
Если плавать ты захочешь,
То бросайся смело в волны,
В море синее без дна,
А то будет только хуже,
В грязной луже
Только хуже,
В жизнь играя, ставь ты ставку
Иль на все, иль на ничто,
Если все ты взять не можешь,
Так бери себе ничто.

PRO DOMO MEA^{15*}

О да! Я не поэт...
Я просто странник мира!
Из звучных слов и рифм не создал я кумира,
И Феба Златокудрого в моей божнице нет!
Я вовсе не поэт!

[Приписка:]

Нежно убаюкайте
Малое дитя,
Тихо улюлюкайте,
Трели соловья.

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Е.П.Б.^{16*}

Я шлю Вам в этот миг безгласные страницы
Из строчек и из букв, спокойных и немых...
Не вспыхивают в них весенние зарницы
И пламя не горит порывов молодых...^{17*}

Но, может, между букв духовными очами
Найдете Вы печаль тревожных дум и грез,
Рожденных среди мук бессонными ночами,
Когда душа горит тоской незримых слез...

О, как бы я хотел, чтоб с чистою душою
Забыли Вы про то, что Вас я оскорбил.
Быть может, Вы теперь поверите изгую,
Что Вас он оскорбил лишь тем, что Вас любил^{18*}.

Прошли уже года, растаяли волненья,
Исчезла и тоска не встреченной любви,
Теперь в душе живут иные сновиденья,
И жар иной горит в мятущейся крови.

Как старые цветы, схороненные в книге,
Влекут меня к себе прошедших дней листы,
О, дней моих былых растаявшие миги,
О, сладкий сон любви не встреченной, где ты?^{19*}

* * *

Мои слова текут холодной рекою,
Толпа не уловит в них клятвы и молитв
.....
.....^{20*}

И смертный человек с божественной душою
Не может избежать начертанных путей,
Ему не суждено идти иной тропею.

Мои пути – закон для старцев и детей.
Зачем нам проклинать все то, что неизбежно?
Зачем благословлять все то, что быть должно?
Что будет – тому быть, и звать других мятежно
На бой с самой Судьбой и глупо, и смешно.

Что роком суждено – то будет непреложно,
Вступать же в бой с судьбой – и глупо, и смешно,
А звать на бой Судьбу...

* * *

Сохраните ее от греха!
Ха! Ха! Ха!
Сохраните ее от падения,
От того рокового мгновения,
Когда нет уже больше спасения...
Сохраните ее от греха!
Ха! Ха! Ха!

Если очи ее соблазняют,
Вы их вырвите прочь без пощады...

FATUM

(Песнь торжествующей любви)^{21*}

Наши души велением Рока
Сплетены в неразрывную нить.
Оборваться ей не дано срока,
Суждено без конца ее вить...
Пусть слова твои жестки, как камни...
Пусть уныло звучит: «Никогда».
Разве вспыхнувший взор не сказал мне
Глубоко затаенное: «Да».
Пусть другому себя продала ты,
О, не верь никому! Это ложь...
Покупают лишь тряпки за злато
Да продажную женскую дрожь...
Заковал твое сердце я в латы,
Вместе с ним заковал и свое.
И ключа не найдешь никогда ты,
Ключ утерян на счастье твое.
Так веди же в чертоги, царица!
Ты моя... и ты больше ничья...
Я твой крест, а ты белая жрица
На могиле креста, у ручья...

22 февраля 1914 г.
Вечер. Ночь.

ЗАЧЕМ?

А.Л.

Зачем ненужные Вам строки?
Зачем тревожить их покой?
Они бледны и одиноки,
Как грязь на ризе золотой.
 Зачем ненужные Вам строки?
 Ведь вы в забаве роковой
 Любви своей одни лишь крохи
 На стол мой бросите рукой.
Зачем ненужные Вам строки?
Вас на пиру уж ждет другой.
Мои слова для Вас далеки,
Как отблеск осени глухой.
 Зачем ненужные вам строки?
 Как листья осени зимой,
 Они печальны, одиноки,
 О, не тревожьте их покой...
Пускай ненужные вам строки
Не расцветут в полдневный зной,
Свои признанья и упреки
Я схороню в душе больной.

БЕЗМОЛВНАЯ ТИХАЯ СКАЗКА...

Безмолвная тихая сказка... Безмолвная...
Очи – зеркало мира – глядят.
Жадно глядят и все отражают...
Долго бродил я средь образов жизни.
Буду бродить еще... буду.
Жадно смотрю я в лицо бесконечности...
Лики плывут предо мной...
Лики ужасные, гнойные...
Лики бездушные, лики-машины, лики – молчат
Лики – волшебные звуки... Лики – степные цветки...
Нежные... чистые...
Все отражаю я... все...
И вечно волнуюсь я, все отражая...
Это волнение – ветра ночного дыхание...
Стихший аккорд прозвеневшей тоски и раздумья...
Это волнение – сталью снегов и морозом рожденное...
Снегом холодным рожденное и ... снова родящее сталь...
Это волнение – дикая вьюга, безумный порыв...
Это – удар, разбивающий скалы...
Тихая смерть я и бездна молчанья...
Это волнение – жизнь... Это волнение – смерть...
И Вас отразил я... Лик Ваш сверкнул
И его отражаю я... Кто Вы? – не знаю...
Нет! Знаю...
Вы – отраженный мной лик...
Тихая сказка весеннего бреда...
Нежная песня пастушьей свирели,
Грустно звенящей в закате лучей...
Отблеск ушедшего рая и проблеск весенней зари...
Кто Вы? Не знаю... Нет! Знаю...

* * *

Тихая сказка... безмолвная...
Тонкое кружево нитей золотых...
Скоро ль конец?... Я не знаю...
Лики приходят... лики уходят...
Скоро ль конец?

PRO DOMO SUA^{22*}

В полумгле утерянного рая,
В предрассветном сумраке зари
Лишь костер горит и, догорая,
Тихо шепчет счастью: «Озари».

Бросил я жизнь свою в лотерею
И, быть может, ставку проиграл.
Может быть, увял я и старею,
Но любить любовь я не устал.

И в часы печальных размышлений,
И в часы раздумья и тревог
Предо мной проходит ряд видений
И уходит в сказочный чертог...

Вот и ты – последняя отрада,
В свете тихих, радостных лучей!
У порога близкого Заката
Утоли печаль моих очей!

В мире книг, в том мире, где живу я,
Нет твоей улыбки золотой,
Ни цветов, ни слов, ни поцелуя...
Здесь молчит и царствует покой.

И в часы сомнений я жалею,
Что не взял я многое, что мог...
И тогда твой образ я лелею,
Как звезду лелеет астролог.

25 октября 1914 г.

ШТРИХИ

«Я где-то и когда-то читал: “Как хороши, как свежи были розы”»^{23*}.

Помнишь ли ты из былого что-то похожее по настроению на эту «тургеневскую элегию»?... «Как хороши, как свежи были розы. Как глубоко и сильно тогда чувствовалось, как хороша была мечта, как прекрасны были грезы». Молчаливо и неустанно память роется в клубке былого, развивает его и развертывает одну картину за другой,

Встают образы, стройные, прекрасные, окутанные волшебной дымкой, и тихо шепчут: «Как хороши, как свежи были розы».

Мне чудятся два существа, гармонично звучащие, как настроенная арфа, связанные чувством великой любви и сладким томлением, окруженные солнцем и расцветающей жизнью, и чудятся слова: «Как хороши, как свежи были розы...»

Настоящее уходит в бездну минувшего, теряя плоть и кровь, делаясь мечтой, легкими грезами, и вызывает из груди вздох и сладкую грусть:

«Как хороши, как свежи были розы!»

Будущее становится настоящим и несет новую жизнь, новые формы, новое содержание, несет среди великих минут минуты, когда жизнь течет лениво и вяло, как истомившаяся лошадь, когда приходит в гости – скука, чувства теряют силу и перестают издавать чудные гармоничные аккорды, тогда встают образы былого, нашептывают волшебную сказку, и тихо шепчешь: «Как хороши, как свежи были розы».

Когда же жизнь закипит великим ураганом, бьет фонтаном, когда крепнут мускулы, просыпаются и натягиваются душевные струны и звучат прекрасно и гармонично, когда, великолепным каскадом рассыпаясь, льется великий гимн жизни, страданию и счастью, битве и отдыху, горю и радости, тогда, купаясь в горячих золотых лучах солнца, далеко-далеко несутся слова по пустой вселенной: «Как хороши, как прекрасны лепестки розы».

Красота и мечта воплощаются в реальности, глубоко дышит грудь, могуче работает ум, и движутся кристально-чистые напряженные струны души. А воля зовет жить, жить и жить без конца...

Но настоящее опять уходит в бездну былого, солнце прячется за тучи, серо, пасмурно и тяжело становится кругом, скука и тоска обнимают в своих объятиях, и слышатся слова: «Как хороши, как свежи были розы».

* * *

Луна вся в тумане, молчанье...
Вершины уснувших берез,
Природы осенней дыханье,
Кусты умирающих роз.

На кладбище дальнем могила,
Сосна над убогим холмом,
И все, что душа так любила,
Там вечным покоится сном.

* * *

Из окон зимнего балкона
Я любовался в тишине,
Как дивный пояс Ориона
Сверкал на южной стороне.
Стыдливо звезды трепетали
Какой-то робкой красотой
И точно тихо мне шептали:
«Приди сюда с своей мечтой».
Здесь нет печали, нет страданий,
Земных забот, земных цепей,
Таких мучительных рыданий,
Таких туманящих страстей.
В чертогах разума вселенной
И бесконечности миров
Царит иной закон, нетленный
От века до конца веков:
Любви и вечного блаженства
Высокий, радостный закон.
Здесь все восторги совершенства,
А не души разбитой стон.

* * *

В волшебный мир мечты свободной,
В чертоги изумрудных грез
Я ухожу душой голодной
От жутких дум и тайных слез.

Под шепот ласковых созвучий,
В объятьях рифмы молодой
Я снова, пылкий и могучий,
Ликую буйно всей душой.

Опять я верю женской ласке,
Опять молюсь твоим очам
И за блаженство в царстве сказок
Земных мучений не отдам.

* * *

В полусумраке северной ночи
При таинственном блеске луны
Вспоминаются грустные очи
Нелюбимой, забытой жены.

Колокольчик звучит однотонно,
Тарангас по ухабам стучит,
Темно-синее небо бездонно,
А душа – все болит и болит.

* * *

О, не любовь ему нужна!
Ему нужны бичи и скорпионы.
Удары палача
И пир кровавого меча,
Ему нужны страдания и стоны,
Он жаждет крови и насилия,
И лишь тогда он сделает усилие
Подняться до любви и чтить ее законы!

Ты не дал миру их,
Так я их дам ему...

Устал... (17 мая) 1915

раши сеть .. и снасть адмиак я.. .,
малкия аҗ шибки, аҗ думи, и шелеани,

~~аҗ думи~~ ~~аҗ шелеани~~

Заво мило то март мить иди миль по мья! !
Над а миль аҗ тели миль, иди миль упо мания.

~~Заво мило~~ Хамтар би ва миль я на втки билел..

Успурт кая на миль без видатий мят о мания ..

Кели миль кайт, как свеча а мания ..

Уйти от тревоги пестер миль думи миль ..

Устал.. Но коу никого, никого ..

Кому ошутитурел в биле миль кирванни.

Битаяр от иеканий чля сваяно ..

В мустинто, от миль миль снает каравани
(колеги миль)

Касуратю.. Телмодри чилья, битмод миль.

И вичного кирето о савао я сваяно.

Келарю пра милья, как аҗто миль миль,

Я аҗи-то, аҗи-то миль миль миль миль миль миль миль

УСТАЛ...

Уехали все... и опять одиноко я...
Усталый от жизни, от дум и желаний.
Довольно ломать мне идейные копья!
Подальше от темных, немых упований!

Хотел бы забыть я навеки бывшее...
Уснуть хоть на миг без видений мятёжных...
Неслышно гореть, как свеча аналая...
Уйти от тревоги потерь неизбежных...

Устал... Не хочу ничего, никого...
Хочу опуститься в безмолвье Нирваны^{24*}.
Бежать от исканий ума своего
В пустыню, где мертвые спят караваны.

Напрасно... Бесплодны усилья, бесплодны.
И вечною нитью с собою я связан.
Печатью проклятья, как вечно голодный,
Я кем-то зачем-то навеки помазан.

14 мая 1915



П.А. Сорокин в 1910-х гг.
Рисунок неизвестного художника

IV

ДОПОЛНЕНИЯ



Рисунок П.А. Сорокина, сделанный им во время «путешествия на Удору»
(ГАРФ, ф. 602, оп. 1, ед. хр. 10, л. 32)

ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ НА УДОРУ

19 июня 1911 г. В час дня выехал из Устюга на Яренск. Ехал до Котласа. Душно, жарко. Публике тоже. В 6 был в Котласе. Пересадка на Сольвычегодск. Та же жара. Встретил Геннадия Ивановича. Снимает виды. Публики больше. Наблюдал на пристани зырян. Одна девушка смаковала кончик хвоста рыбы. Показалась дегенераткой, а зыряне – монголами.

Напротив меня сидела девушка с голубыми глазами и с золотыми волосами. Смотрела, и я смотрел. В общей скуке и жаре показалось интересно. Встретил из Палевиц (?) семинариста. Поговорили. Ехал Быстров^{1*}. Неприятная рожа. После долгого ожидания наконец пароход тронулся. Вечер. Тихо. Сидел и читал «Sociologie de l'action»^{2*}. Рядом со мной оказался человек (симпат.) в сером. Показался иностранцем. Так и есть. Во время чтения вижу, что Попова^{3*} с ним болтает и затем что-то пишет. Написала и объясняет, но с трудом.

– Вы, кажется, тоже зырянин? – обратилась она ко мне.

– Да.

Помогите перевести. Вот, рекомендую, венгерский лингвист^{4*}. Поговорили. Оказывается, это венгерский молодой лингвист едет в Зырянцию для изучения зырянского языка. По-русски говорит плохо. По-зырянски – отдельные слова.

– Вот песня.

Читаю: «Шонді-баной, олёмой»^{5*}. Перевожу:

– Олём – жизнь, и оломой – vocativus^{6*} от олём.

Перевел. Он записал.

Слово за слово разговорились. Удивительно симпатичное лицо (голуб. глаза) и симпатичный человек.

– Откуда вы?

– Из Будапешта.

– А куда?

– В Усть-Сысольск.

– Почему же туда?

– А там есть Базов^{7*}.

Объясняю, что Базова, вероятно, нет теперь. И даю ему свою карточку к Цемберу^{8*}, который направил бы его куда следует. Получаю его. Fuchs David

Rafael. Туда придет товарищ, тот уже этнограф. А затем Мезень и Вашка. Даю необходимые советы (билет).

– Вероятно, на Удоре встретимся.

Я в свою очередь показываю ему открытый лист^{9*} Г[еографического] О[бщества].

Он – от общества изучения Монголии.

– Очень рад, что встретились.

Жаков, Налимов^{10*} и др. Рогов^{11*}. Речь о Жакове. Долго до вечера говорили. Сцена насчет языка с попом. Он присоединился тоже.

20 июня. Жара. Спать нельзя. Речи с зырянами. Брак, семья, религиозные верования. Их форма. Знакомые. Купка. Яренск. Сердечное прощание с Fuchs'ом и т.д. С учителями насчет того, что отцы загребли в свои руки все земство.

21 июня. Яренск. Ссылные, мало. Их положение. Хлопоты с документами и т.д.

22 июня. Римья. Скучно.

23 июня. Был в Жешарте. Дорога обратная. Цветы и стихи. Вечером Римья и Павла. Это девушка лет 11–12.

– Ну, что, Павла, давай расскажи и мне...

Стесняется, краснеет, но подходит к столу, садится и скоро начинает: «Важон олісны-вылісны го́зья (В старину жили-были муж с женой)». Тихо и плавно полилась речь, и я с восхищением смотрел на эту маленькую поэтессу с синими глазами, образно и художественно рисовавшую мне причудливые миры с богатырями, лешими, колдуньями и т.д. И она уже забыла всякое стеснение, вся ушла в рисуемый ею мир и играла неподражаемо тех героев, про которых она рассказывала. В избе стояла полная тишина. Все смолкли, и только нежно и звонко лился чистый голосок Павлы. Одна сказка сменялась другой, после сказок пошли песни, и я удивлялся все больше и больше маленькой художнице и богатству ее знаний. До самой ночи лились рассказы и возобновились на другой день. На третий день к вечеру я выехал из Римьи.

24 июня. Римья, и выезжаю на Удору (газеты и земск. библиотеки). Написано до выезда в Римью 15 (почти) страничек. Про «школы» Шергина и Панкратова^{12*}.

24 мая. В 7 часов приехал ямщик, я попрощался с тетей и поехали. Синее небо, речка, ковер цветов – окружали кругом, и я утопал в этой природной роскоши.

– А что, в других странах есть пчелы? Я видел их у члена суда в Яренске.

– Есть. – Рассказываю ему про ульи, про авиацию.

– Вот хорошо-то. Ты все видел, а мы видим только вот это, – отвечает он, указывая на окружающее.

Едем дальше. Вот и Жешарт. Сколько раз я ходил и ездил по этой дороге. Поднимаемся в гору. И я поднимаюсь. Быстро пара лошадей помчала меня по Жешарту. Смотрю: та же печать переходного времени лежит на всем. Рядом со старым неуклюжим домом красуется выкрашенный домик с балконом, с резьбой. Рядом с пожилыми дедами в посконных рубахах стоит молодежь, в пиджаках, шляпе и при часах. Из окон высовываются головы любопытных, некоторые кланяются. Проехали. Снова лес. Тьма уже охватила низы деревьев, а верхушки их еще утопают в золоте заходящего солнца. В удивительно чистом воздухе выделялись контуры деревьев, огорода и хлебов. Желто-зеленая краска поспевающей ржи как-то удивительно гармонировала с бледной синевой неба и с темно-зеленым плащом леса. Быстро мчатся лошади. Ямщик покрякивает. Хороший ямщик. Приезжаю в Гам (описание и история). Оттуда идем с о. Николаем. Солнце уже зашло. Но заря по-прежнему остается на небе. Вот где краски-то и вот где бы яркий материал для художника. Каких только цветов нет! И в какой композиции! Все они, взятые вместе. Откуда раскрываются громаднейшие горизонты – великолепны. Едет Иколо Виниша. Горит костер. Мужик, и девочка лежит.

– Что это такое?

– А это караулят умерших.

– Как же она умерла?

– Нечаянно у соседей, – отвечает маленькая девушка.

Удивительно красивые глаза. И в сумраке «белой ночи» она кажется еще удивительней.

– А ты не боишься?

– Нет.

Удивительная девочка! Надоело ей сидеть, и вот она побежала за телегой. Едем дальше. Горы и горы. То спустимся вниз, то поднимемся наверх. Внизу тебя охватывает сыроватый воздух с каким-то специфическим запахом, вверху – удивительная чистота и прозрачность. То тут, то там мелькает Вычегда. В деревнях уже почти такого не видно. Ямщик-баба правит лихо. Комаров почти нет, шмели, так надоедавшие днем, исчезли. Тихо. Только колокольчик звенит. Мысли уходят куда-то далеко. Охватывает какое-то полудремотное состояние, блаженное и хорошее. Не то спишь, не то нет. Встают образы, заманчивые и манящие, и так хорошо мечтать. В 12 часов ночи приехали в Айкино. Вышел, заказал чаю. Вошел студент. Оказывается, он южанин и приехал сюда на практику.

– Ну, как вы себя здесь чувствуете?

– Понимаете, растерянным. Языка я не знаю, а они плохо говорят.

– Понимать-то они понимают и говорить – говорят. Но пока вы еще не приехали. Поживете – понравится.

– Посмотрю, увижу.

Явился урядник. Зачем? – Не знаю. Оказался знакомым. Пока пили чай, лошади были поданы, и в 1 час я выехал на Удору. Ямщиком оказалась какая-то пожилая баба. Из дальнейшего выяснилось, что она умела больше кричать, чем ямничать. Везде медленно и долго. При выезде встретила фигура мужика.

– Если увидите там лошадь, то возьмите ее, – сказал он плача.

– В чем дело?

– А пьяные мужики напали на меня (он из Кожмудора) и потребовали водки, я не дал, они побили меня и отняли лошадь.

– Беги к уряднику! – сказала баба. И мы поехали дальше.

Яреньга. Просили насчет лесу. Штрафуют за порубку, тогда как лесу много, и вдобавок он мешает земледелию. В деревне той был праздник. Приходится задумываться над такими фактами. Сначала я сидел, но дремота постепенно стала охватывать меня, и я попытался заснуть, свернувшись калачиком. Но, к сожалению, из этого ничего не выходило. И тесно, и тяжело, и трясет страшно, и вдобавок комары не дают покоя. Лезут всюду: и в лицо, и в волосы, и в рот, кусают шею.

Настоящий бич этих мест. Черт бы их побрал. Пока перебрался за волок, они покусали все руки, лицо и шею. Сначала я въезжал в лес с радостью. Давно уж не видел я глухого леса, стосковался по тайге. Но затем одно и то же тянется на протяжении 140 верст и постепенно надоедает. Хочется скорей вырваться на простор, увидеть речку, луг. Меня начинает давить. Дорога тоже однообразна. Все время она то отлого спускается, то снова поднимается. От нечего делать хотелось увидеть хоть медведя.

– Бывают, – отвечает ямщик, – но редко. Всего чаще осенью.

Но вот и «чуб». Попил чайку, подзакусил. Умылся и снова в путь. Ямщик, бледный чахоточный мужик, вез уже гораздо скорее и лучше. Веселее было и на душе. Яреньга. В <...> его сменила молодая девушка. Я сначала не хотел ее брать, но она оказалась лихим ямщиком. Лошади неслись, как птицы, но зато и влетело же моим бокам. Ох! Влетело здорово <...>. Среди общей мрачности леса как-то страшными казались бледно-розовые и бледно-голубые цветы, растущие вдоль дорог. Как роскошь изредка алел цветок шиповника – северные розы.

Яренгская станция прилична, но уже следующая станция ни к черту не годится. На улице – комары, зайдешь – их того больше, и вдобавок почему-то они все жарко натоплены. Скверно! Пьешь чай, и лезут в рот вместе с чаем. Одним словом, благодаря комарам хоть делайся пессимистом. Спать нельзя, душно, музыку поют и кусаются. К концу путешествия у меня вся шея, лицо, уши и руки были искусаны и горели. Беда да и только. Подъезжая к Буткану, я увидел такой закат, какого никогда не видал. Солнце стояло вровень с землей,

и весь низ деревьев горел. Солнце, словно громадный прожектор, светило сквозь стволы деревьев. Издали казалось, что все небо горело. Дорога все спускалась и спускалась. Порой казалось, что кончится лес и там откроется океан. Наконец, в 8 часов вечера я был в Буткане. Маленькая деревушка, глухая. Избы как и везде. Вошел в станцию. Грязно, душно и неудобно. Решил ночевать. Поставили самовар. Вошел хозяин. Я сразу же приступил к делу <...>. Оказался охотником. (Шесть медведей убил. Однажды был в страхе.) Начал рассказывать <...>. Поел простоквашу. Попили чайку. Тут и говорили. Комары. Принесли соломы. Лег и не мог спать. Скверно. В 7 встал и поехал на лодке. Славно и хорошо. Заснул. Приехал в Кослан. Утро. Станция получше. Урядник собрал народ. Поговорили. Священник. Великолепное место. Народ. Погугарили <...>. Фельдшер, писарь и я поехали дальше. (Воспоминания об отпуске. Иконостас, церковь и я.) Народ здоровый, болезней нет. Казенных девок <...>. Пьют.

26) Вечером приехал в <...>. Студент. Переночевал у него <...>. С удовольствием.

27) Выехал в Венденгу. Дождь, слякоть <...> дорога и т.д. Следовательно, загнал лошадь. Комары. В Гам ехал целых три часа. В Венденге был у попа. Вечером на станции собрался народ, и беседовали почти всю ночь. Славный народ!

28) Выехал. Заезжал в Крёстовск<ую> деревню, вырыл труп, срисовал крест^{13*}. Ёртым. Ссылные. Выверка. Правление. Обычай.

29) Ёртым. С утра чай. Церковь, священник, свадьба. Девушки, мужики и тут меня знают. Быт ссылных. Странствия по этапам. За что выселяют. Выезд дальше. Нравственный народ, гостеприимство, красота, грамотность, говорят по-русски, честность и т.д. О. Александр, дьячок. Ст. Плюсса, сев.-зап. ж. д. Место красивое кругом (река Башка). Д. Погорелово. Смотрел свадьбу. Н. М. К.^{14*}

29 вечером выехал дальше. Коздин. Праздник, проводы. Иб. Ночью в Чирк. Оттуда в Важгорт (на лодке, ночью, туман – простудился). Утром в Важгорте.

30) Утро. Священник о. Элодосий. Фисгармония, граммофон. Фотография. Епархиальные Ведомости. Бутырев (купец и коновал). Урядник пьяный. Сухийев – Гомер. Утро. Фотография. Черепанов. Свадьба. Мужик – колдун и пьяный <...> плакали. Фотография девушек. Честность девушек. Кража невест. Залог. Вечер – самоеды. Чум. Общее. Я ожидал не то. Все говорят по-русски. Пиджаки. Грамотность.

31) Довольство. Ярмарка. Староверы и скрытники.

1) Рост староверства. 2-го выехал. Лодка. Дождь. Удивительная честность. Вода бурлит. Берега. Цветы и шиповник на общем серо-мрачном фоне. Старовер-священник. Дороги. Ось сломали. Холодно. Коздин. Конец на лодке. Кормоко.

2 июля. Ертым. Скелет очистили. Все чисто. 3-го около 12 часов выехал из Ертема. Опять тот же надоевший до тошноты дождь, и то же серое небо, и та же грязь. Сидишь в тарантасе и подпрыгиваешь. То тебя бросит вправо, то влево. Комья грязи летят прямо в лицо. Тихо плетутся лошади.

– И рад бы поехать скорее, да нельзя, вишь, дорога-то, – извиняется ямщик.

– Вижу, вижу.

Тихо звенит колокольчик. Голова болтается, словно у манекена, а мысли улетают куда-то далеко. Забываешь на минуту и грязь, и леса, и все. Но опять здоровенный толчок, голова ударяется о накладушку, и действительность снова налицо. И тянутся, и тянутся на сотни верст леса. Везде болото и вода. Водой наполнены все ямы, дорога всюду, и везде бежит она, и едешь скорее по воде, чем посуху. Кругом больше еловые леса, сырые, мрачные, чудовищные. А местами, где повыше, они становятся сосновым бором. Сосны стоят ровные и прямые, и далеко видно между их стволами. Тут же и лиственницы. По краям дороги опять цветы, цветы и цветы. Розовые, голубые, желтые. Словно случайно попали они сюда, распустились и расцвели. Особенно как-то поражают розовые цветы среди выгоревшего бора. Кругом все мрачно, черно, обожжено. Деревья, словно трупы, валяются. И вдруг внизу все алеет от цветов.

3) Приехал в Венденгу. Люди собрались. Славные, интересные (Палкин и Колыванов^{15*}).

– Далеко ли ездили?

– Сказки приготовили. Еду дальше.

Чуть-чуть светлее стало. Дождь перестал. Показался между тучами маленький-маленький кусок синевы.

– Как ни <...>, а радуется.

– А што, погода-то проясняется?

– Да, пора бы уж, а то все поля и луга зальет, беда да и только.

– Лазурь становится яснее.

Но скоро заволакивается тучами. Снова моросит. Опять едем... тихо... грязно.

– Стоп, дальше, видно, не уехать, – говорит ямщик, ос[танавливая] лошадей. Смотрю. Речка разлилась. Мост (примитивный) снесло. Ехать действительно нельзя.

– Что же будем делать? Пешком, что ли?

– Да, видно, пешком придется.

Ну, пешком так пешком, благо багажу немного. Но как перейти? Я в калошах. Снимаю их. Бревен накладываем.

Слышен колокольчик, и подъезжает ямщик. Начинаем менять лошадей. Перевожу. Сажусь верхом и еду. Давно уж не ездил. Довольно комичная картина. Кое-как доехал. Калошу потерял. Дождь идет, заликает очки, а я трясусь. Но снова речка, еще шире. Перейти нет возможности. Останавливаюсь и кричу. Наконец, показывается парень в «бакилах» <...>.

Наряжаюсь в «бакилы». Снимаю пальто и пускаюсь в путь. Благополучно. Самовар. Теперь задача – как ехать дальше. Лошади все на той стороне.

– Я уж и не знаю, – говорит один из ямщиков. – Надо как-то перевезти их сюда.

Долго пьем чай. Они не торопятся.

– Ну и земство! Совершенно на дорогу не смотрит. Тут как хошь. Вон вчера проезжал член Управы и ни слова не сказал. Ходят, болтаются члены, дорожные смотрители, а толку-то што? Тут, наш брат ямщик – как хошь.

Да, они правы. Земство – дельное, но тут налицо неурядица.

И долго тянутся разговоры.

– Ну, как же лошадей-то?

Молчание.

– А ты пешком не пойдешь?

– Да как же пешком в такую-то грязь с пальто да с багажом.

Нет, отказываюсь я. У них своя психология. Напился и ушел. Жду полчаса, ничего не слышно. Выхожу, спрашиваю. Сидят и ничего не думают, мне досадно и смешно.

– Ну, идите же, не век же мне здесь вековать.

Нехотя надевают бакилы. Пошли. Через час с половиной воротились. Перетаскивали-таки лошадей. Чай пьют. Через два часа трогаемся (а в это время я сидел и писал)...

КОЧУЮЩАЯ АМЕРИКА

(Дорожные заметки)

I

Громадная индустриализация и урбанизация Америки ничуть не вытравили в американце тягу выбраться «на лоно природы». Наоборот, они скорее ее усилили. Каждый «конец недели»^{1*}, т.е. от субботы до понедельника, и рабочий, и капиталист стремятся, особенно летом, вырваться из города на простор полей, лесов, озер, моря или гор, смотря по местности. Почти каждая семья имеет здесь свой автомобиль (как в России в былое время почти каждая семья имела самовар). Это делает и легким, и возможным выезд из города на 50–100 миль. Положил корзину с провизией, палатку, удочки и пр. в автомобиль, сел, проехал часа два-три – и ты уже на «лоне природы». Каждую субботу или в канун праздника бесконечная вереница автомобилей – с неизменными удочками и палатками – разбегается по всем дорогам – радиусом из города на простор «природы», особенно к «рыболовным» рекам и озерам. Таким образом удовлетворяется страсть по поездкам на «лоно природы»; обезвреживается крайняя индустриализация и монотонность жизни, освежается и душа, и тело американца. Вместо кабака или подобного «городского» центра американский рабочий отдыхает вне города, и «природа» ему несравненно более доступна, чем рабочему любой европейской страны. Тем более что необъятные просторы Америки, особенно в ее центральной и западной частях, все еще сохраняют обширнейшие пространства, свободные от индустриализации, городов, фабрик и заводов. Вопреки довольно распространенному за границей представлению об американце как об «ультра-горожанине», американец-горожанин любит «природу», видит ее и соприкасается с ней вероятно более, чем европеец-урбанист.

Но эти «конценедельные» путешествия далеко не исчерпывают паломничество американцев на лоно природы. Помимо них огромнейшая часть населения, включая и рабочих, по крайней мере неделю или месяц в течение лета проводит «на лоне природы», часто за несколько сотен или тысяч миль от места постоянного жительства.

С началом каждой весны и «бизнесмен», и «рабочий» начинают планировать свой летний отпуск, или «каникулы». Типичной формой препровождения

отпуска или отдыха является здесь опять-таки то же «кочевье на дикое лоно природы», часто за несколько тысяч миль. Не редкость, особенно для интенсивно работающих «деловых» людей, что они стремятся забраться в наидичайшие уголки Америки или Канады, где редко ступала нога человека, где на сотни верст нет абсолютно никаких признаков «*homo sapiens*» и где дикий лес или горы стоят в их нетронутой девственности.

II

Если даже «потомственный американец» нуждается в «лоне природы» и во временном «опрощении», тем сильнее эта потребность для русского, рожденного и выросшего среди необъятных лесов Севера России.

Интенсивная университетская и научная работа за 10–11 месяцев каждого года обычно изнашивают меня и делают месячный отдых вдали от культуры необходимостью. Если за первые два года моего пребывания в Америке об отдыхе не приходилось думать по причинам экономическим и другим, то последующие три лета месяц или два я привык проводить на «лоне природы» в качестве «американского цыгана». Так же делают многие из моих коллег. Позапрошрое лето я «цыганил» на Севере Америки. Прошлое – кочевал в направлении знаменитого Yellow Stone National Park^{2*} и в нем покрыл пространство около пяти тысяч миль на автомобиле. Это лето я кочую в Colorado, среди его удивительных гор, долин, пропастей, лесов и горных озер. В Yellow Stone Park (который занимает пространство больше 150 кв. миль), помимо его удивительных гейзеров, озер, рек, ущелий, прекрасной рыбной ловли форелей, наиболее интересным для меня, как для социолога, был факт мирного и свободного сожительства людей с медведями (не говоря об оленях, лосях, горных козах и т.д.). Русский читатель должен иметь в виду, что во всех «национальных парках» и «национальных лесах» Америки все животные (дикие) неприкосновенны. Все такие места, занимающие сотни и тысячи кв. миль в Америке, являются по закону местами убежищ для животных. Это, вероятно, одна из причин, почему в таких местах животные не очень боятся и не бегут от человека. Теперь вернемся к медведям Yellow Stone Park'a. Я слышал раньше, что там люди и медведи (вольные и дикие, а не зоологически-парковые) живут бок о бок. Но то, что я видел, далеко превзошло все мои представления о мирной ассоциации людей и медведей.

Мы не проехали и пяти миль после въезда на территорию парка, как увидели большого черного медведя, стоящего на задних лапах на краю дороги, в позе «нищего на паперти». Было что-то поразительно напоминающее эту позу во всем обличье медведя. Останавливаю автомобиль. Медведь подходит за «подаванием». Жена достает несколько кусков сахара. Медведь кладет лапы на мое, а потом и на ее плечо и, как собака, берет сахар из рук. Губы мягкие и влажные. За ними вид-

ны солидные зубы, его «легкие» и «изящные» лапы чувствуются на плечах солидной тяжестью. Но все обстоит благополучно. Получив подаяние, медведь делает два-три шага в сторону, мы садимся в автомобиль и едем. Медведь остается у дороги в позе «нищего на паперти» в ожидании подаяний от других туристов.

С этого момента медведей видим везде. Когда приезжаем на ближайшую «остановку туристов» (Tourist camp – специальные площади, отведенные для палаток и автомобилей туристов) и разбиваем палатку, мы видим, что ряд медведей и медведица с маленькими медвежатами спокойно бродят тут среди палаток, автомобилей и людей, и люди спокойно наблюдают, подают или снимаются, обнявшись с одним из мишек. Ни страха, ни вражды ни с той, ни с другой стороны. Если медведь иногда становится «нахальным», достаточно прикрикнуть на него, как на пса, и он отходит. Все же, как правило, уходя далеко от палатки и автомобиля, рекомендуется не оставлять в них ничего съестного. Пользуясь отсутствием хозяина, медведь, если другие туристы не присмотрят, непременно нарушит «право собственности»: заберется в палатку, если она закрыта, прорвет ее, взломает стекло или крышку автомобиля и полакомится тем, что найдет там. Мы, подобно другим туристам, обычно вешали все съестное в мешке на конец длинной ветки большого дерева: медведь тяжел и достать пищу не может с конца такой ветки.

Живя бок о бок с медведями, естественно, наблюдаешь массу интересных сцен из области их взаимоотношений. Так, в первый же вечер на стоянке мы видели такую замечательную сцену. Среди медведей, бродивших на стоянке, были «бурый» и «черный» медведи. «Бурый» был значительно меньше, чем «черный». Один из туристов дал «бурому» солидную порцию копченой свиной грудинки, «черный» увидел это и полетел за «бурым». «Бурый», спасаясь, с быстротой белки взлетел на высокую сосну, «черный» – за ним. (До этого я не думал, что медведи могут так быстро влезать на дерево.) «Бурый», будучи легче, взобрался почти на самую верхушку сосны, «черный» и в силу своего веса, и потому что «бурый» стратегически был в более выгодном положении и сверху защищался от лап «черного», истошно старался атаковать его снизу. Бой длился полчаса, пока «бурый» не отдал грудинку своему сопернику. Тот, наконец, спустился. «Бурый» сидел на дереве еще 15–20 минут и сошел тоже. Но «черный» увидел его и снова погнался за ним. Тот, спасаясь, забрался под тяжелый стол со скамьями, устроенный для туристов. В течение часа «черный» пытался атаковать его и сбоку, и сверху, но стол со скамейками позволял «бурому» хорошо защищать себя. Через час «черный» ушел.

Такие сцены турист Yellow Stone Park видит часто. Прямо умора иметь дело с молодыми медвежатами. Забавны и интересны. Вроде маленьких щенят. У меня двое из них очистили банку с двумя фунтами сахарного песка.

Помимо медведей, много других животных, в том числе разные виды серн, горных коз и т.д., в изобилии водятся в Yellow Stone Park. Рыбная ловля – озерные форели и речная семга – превосходна. Конечно, вся рыба была бы уже давно выловлена, но правительство Америки специально разводит рыбу, и десятки тысяч рыб из правительственных «рыбных питомников» вливаются в реки и озера парка и таким образом компенсируют то, что вылавливается туристами.

Гейзеры и «серные источники» парка – единственные в мире. Десятки миль покрыты ими. Лагуны, или отверстия, многих гейзеров удивительны по своей сине-зеленой окраске. Многие гейзеры бьют регулярно: один раз каждый час, как делает гейзер «Старый Верный»^{3*}, или раз в определенное число дней или недель. Другие гейзеры бьют иррегулярно. Никто не может предсказать, когда такой гейзер забьет. Некоторые из них не бьют годы и после ряда лет неожиданно «извергаются». Жертвой такой именно иррегулярности пал полгода назад датский журналист. Компания редакторов и журналистов европейских газет посетила Yellow Stone Park и, естественно, осматривала также район гейзеров парка. Датский журналист, к несчастью, оказался вблизи одного из гейзеров, не бившего годы и совершенно неожиданно и с силой взорвавшегося. Огромный столб кипящей воды взлетел и заживо «сварил» несчастного. Немало и других интересных явлений имеется в Yellow Stone Park. Однако я упомянул о нем между прочим. Цель моих заметок не описание этого или иного парка, а просто импрессионистская характеристика кочующей Америки.

III

Если даже «потомственный американец» нуждается в лоне природы и во временном «опрощении», то тем сильнее эта нужда для русского, рожденного и выросшего среди необъятных лесов Севера России. Интенсивная университетская и научная работа за предшествующий год сильно утомила меня. Нужен отдых... Решаю этим летом не учить, а кочевать. Мой коллега, профессор Циммерман^{4*}, решает то же, а посему едем вместе.

Экзамены окончились. Отметки отосланы в канцелярию Университета. Учебный год позади, и... мы свободны. Через два дня выезжаем.

Первым делом привожу в порядок автомобиль. Нужно кое-что подвинтить, починить, подмазать. Здесь каждый автомобильный владелец сам и пассажир, и шофер, и механик. Мой Chrysler^{5*} еще сравнительно новый, и потому три-четыре часа работы приводят его в порядок. Остальное время уходит на покупку всевозможных рыболовных принадлежностей, походной газовой печки, воздушных матрасов, осмотр палатки и ликвидацию текущих дел. Наконец все готово. Завтра утром выезжаем в направлении Черных гор штата Южная Дакота

и Yellow Stone Park'а штата Вайоминг. Туда и обратно это составляет путешествие около 3 500 миль (около 4 000 верст).

...Прекрасное утро. В шесть часов тронулись. Через час за пределами города – на прекрасном шоссе. Курьезно отметить, что в большинстве штатов Америки худые дороги в городах, лучшие – за пределами города. Огромное движение в городах непрерывно «изнашивает» мостовые города и делает их неровными, несмотря на постоянную починку. Движение за пределами города, естественно, меньше. Посему прекрасные «мостовые» или гравийные дороги, изрезывающие Америку во всех направлениях, обычно находятся в несравненно лучшем состоянии, чем городские мостовые. Шоссейные дороги штата Миннесота одни из лучших в Америке. Основные из них – асфальтовые. Широкие – три-четыре автомобиля свободно могут ехать рядом, – ровные, на сотни миль они раскинулись по штату и являются образцом благоустройства в этом отношении. В Америке, как и во всякой стране, где автомобиль стал коренным фактором всей экономической жизни, где без него нельзя, так сказать, и «шагу сделать», дорожный вопрос является одним из самых важных вопросов общественного благоустройства. Мудрено ли поэтому, что дороги в Америке составляют один из самых важных пунктов национального и штатного бюджета. Десятки и сотни миллионов расходуются на сооружение новых дорог, на исправление и поддержание старых. За десять-пятнадцать последних лет, несмотря на огромную территорию Америки, она разрешила задачу и покрыла себя густой сетью прекрасных дорог. Только в бедных, по преимуществу земледельческих штатах, в частности, в Дакоте, Монтане, Вайоминге, развитие дорог находится еще в начальной стадии.

...Едем со скоростью 45–50 миль в час, кое-где быстрее, на поворотах и опасных местах потише. Дороги здесь приспособлены исключительно для автомобилей. Для пешехода они неудобны и неприятны. Для него нет никакой тропиночки, столь типичной и столь милой в наших русских дорогах. Там она вьется параллельно основной дороге. Путник может безопасно и спокойно идти по ней. Здесь такой странник все время должен быть начеку, проезжающие автомобили обдают бензином, пылью или водой, если идет дождь. Словом, удовольствия мало шагать по такой дороге. Да и шагать-то здесь, пожалуй, некому, кроме разве эксцентриков, ради охоты и забавы пытающихся пройти страну от океана к океану. Зато для автомобилистов дорогой предусмотрено все. Перед каждым поворотом, крутым спуском или подъемом и вообще опасным местом за две-три сотни футов соответствующая вывеска предупреждает автомобилиста об этих и подобных явлениях. Это предупреждение типично во многих отношениях для всего уклада американской жизни и психологии. Если бы мне нужно было указать один из основных стержней социальной и политической организации Америки, я бы сказал, что *Америка – это общество, построенное на вере в наличность здравого смысла и личной ответственности его граждан.* Эта предпосылка является

одним из китов, на которых построена вся общественная система Соединенных Штатов. Она служит фундаментом и для американской свободы, и демократии, и других типичных черт американской жизни.

Начнем с мелочей. В большинстве штатов Америки не требуется абсолютно никакого экзамена для владения и управления автомобилем. Человек, никогда не ездивший в автомобиле, может купить его и сесть за руль и поехать. Никаких юридических препятствий для этого нет. С точки зрения «опекающей политической системы» такое положение дел может показаться и опасным, и глупым. «Помилуйте, человек сломит себе шею и передавит массу лиц!» Правильно, <если> мы допустим, что такой человек лишен здравого смысла. Если же он имеет его, а Америка верит, что, за исключением немногих сумасшедших, такой здравый смысл присущ ее гражданам, всякий новичок-автомобилист прежде, чем сесть за руль, подучится как им орудовать и как править автомобилем, и только тогда пустится в «путь-дорогу». Если же, паче чаяния, он этого не сделает, то пусть себе ломает шею и несет уголовную и финансовую ответственность за свои неосторожные поступки. А эта ответственность теперь очень серьезна. Такая комбинация веры в здравый смысл и возложение ответственности позволяет Америке иметь систему свободы в деле управления автомобилем вместо педантической полицейской регламентации в виде всевозможных предварительных экзаменов и тому подобных ограничений свободы.

Другой пример: пересечение дорог с железными дорогами. Даже в городах (а американские железные дороги, как правило, идут по центральным частям городов) часто нет никаких рогаток. Есть только надписи или сигналы, что тут железнодорожное пересечение при пересечении железных дорог с мостовыми. Объяснение – та же вера в здравый смысл и ответственность каждого. Предполагается, что каждый, прежде чем начать пересекать железную дорогу, посмотрит, не идет ли поезд, и, только уверившись, что поезда нет, начнет пересекать полосу рельс. Посему одного предупреждения в виде ли надписи «Стоп. Смотри. Слушай. Железная дорога!»^{6*} или красного вспыхивающего огня с надписью «Опасность! Ж. Д.!» достаточно для людей со здравым смыслом.

Отсюда недалеко до «свобод». Здесь царствует свобода слова и печати. Анархист или коммунист на любом углу улицы, вывесив, однако, американский флаг, в любую минуту может открыть митинг. Полицейский не только не будет «тащить его»^{7*}, но еще будет охранять его от возможных атак. Объяснение то же – вера в здравый разум граждан, в их способность разобраться в «шуйце и деснице»^{8*}. И нужно сказать, в Америке эта «вера в здравый смысл ее граждан» до сих пор была не беспочвенной. Несмотря на отдельные недочеты, она работала и работает недурно. На той же вере зиждется все здание «демократии», выборной системы и политической свободы. Наличие этого здравого смысла в гражданах есть начало и конец всякой демократии. Если он есть – демократия и возможна,

и необходима для страны. Если его нет или недостаточно – авторитарная опека власти под тем или иным названием становится неизбежной для такого общества. Иначе – анархия и распад. С этой точки зрения прямо утопическими кажутся мне те воззрения, которые проповедают возможность и желательность элиминирования всякой «опеки» в России на «второй день» после свержения большевиков. Я очень бы хотел осуществления такой системы стопроцентной свободы в России. И все же я не верю, что это возможно.

После войны и двенадцати лет большевистского владычества^{9*} «нервная система значительной части населения России», особенно его молодого поколения, далеко не в порядке. Она выбита из равновесия, и «здравый смысл» сохранился далеко не у всех. Посему та или иная доля «социально-служебной авторитарности и мудрой опеки власти», из кого бы она ни состояла, представляется неизбежной. Иначе получится некое повторение 1917-го года с его внезапным уничтожением всякой опеки, неограниченной верой в «революционное сознание» и в «народ не может ошибаться», с вытекающей отсюда неограниченной свободой и с ее последствием: неограниченной анархией и разгромом России. Повторять такой опыт едва ли стоит. С уравниванием «нервной системы» и с ростом здравого смысла можно и должно будет постепенно ограничивать «опеку» и расширять «демократическую свободу».

IV

Едем час, другой, третий. Ряд встречных и попутных автомобилей с такими же «кочевниками», как мы, попадаетея чаще и чаще. Время завтракать. Останавливаемся в живописном леске. На газовой кухне за 10–15 минут завтрак готов. Через полчаса катим дальше. Под вечер оставляем позади штат Миннесота и вступаем в штат Дакота. Около 7 часов вечера решаем остановиться на ночь в одном из небольших городов Дакоты. В нем, как и во всех городах, имеется, конечно, «парк для туристов». Такие «парки» обычно за пределами города. В них имеются специально выстроенные помещения для душа, холодного и теплого, для туалета, часто – бассейн для плавания, прачечная, кухня, лавочка, а также кабины и палатки, отдающиеся в наем. В пять-десять минут расставляем палатки, приготавливаем постели, принимаем душ и, освеженные, принимаемся за приготовление и уплетание обеда. Закончив сие дело, идем на боковую...

Следующий день едем по прериям Дакоты. Весьма похожи они на русские степи, тем более что Дакота до сих пор индустриализирована мало. Вдоль дороги, часто на ней, видим диких фазанов, заяц временами перескочит дорогу, изредка попадетсся раздавленная змея, и чаще и чаще – суслики. Подобных «жертв автомобилизма» турист видит фактически по всем дорогам. Разнятся только «жертвы». Дороги Миннесоты усеяны обычно черепашками и зайцами, дороги

Дакоты – главным образом сусликами. Иногда попадетя убитая автомобилем собака, курица, индюк или кошка. Ряд животных, по-видимому, начинают понимать опасность автомобиля и, соответственно, избегать ее, тем не менее масса животных еще не выработала «приспособительного реагирования» и потому гибнет. За день то и дело встречаешь фазанов, иногда целый выводок, посередине дороги. Издали трубишь... и ноль внимания. Сердобольный автомобилист остановит машину, если заметит вовремя, а несердобольный прокатит и оставит после себя раздавленную массу птицы. Да и сердобольный не может останавливаться каждые пять-десять минут из-за фазана, зайца или суслика.

Жарко, особенно когда остановишь машину... Голубое небо да степь. Даже фермы здесь редки. Если бы не встречные автомобили да «бензинные станции» – ни дать ни взять степная Россия. А машина катит и катит и рыщет пространство. Вдруг чувствую, что с шиной что-то неладно. Вероятно, проколота... Останавливаюсь и вижу, что одна из шин, действительно, плоска. Быстро заменяю ее запасной шиной, и катим дальше: вечером почию – завулканизирую проколотую шину.

К вечеру пересекаем поразительно грязную от глины реку Миссури и останавливаемся на ночь в «парке для туристов» столицы Дакоты^{10*}. Как и во всяком подобном парке, вечером здесь вырастает целый город палаток. Утром он исчезнет, а следующим вечером опять вырастет. Утром следующего дня мы добираемся до Черных гор^{11*}. Здесь решаем стоять неделю.

МОЙ СКЛОН АЗАЛИЙ

Мой сад вырос так, как растут растения, – тихо, постепенно и скромно. Его начало было таким, каким является начало большинства садов: его сажали владельцы только что приобретенных домов. В течение двух первых сезонов мы высаживали тюльпаны, одуванчики, розы, сосны и ели, чтобы вокруг дома образовался небольшой сад.

В то время мы не имели понятия о последующих изменениях в нашем маленьком саду. Два обстоятельства, совершенно случайных, стали основной причиной его расширения. Во-первых, у нашего дома был живописный дворик со склоном и холмиками, примыкающими к Мидлсекскому заповеднику^{1*}. Будучи знаком с бесконечными лесами, неисчерпаемыми реками и мирной жизнью в северной России, я понял, что наш маленький садик не ограничится столь малочисленными посадками.

Здесь, как мы думали, у нас была возможность укрыть наш холм в многоцветное одеяние буйных тонов. Вторым случайным фактом была необычайно хорошая коллекция азалий и рододендронов в саду нашего соседа Джона Уилса. Азалии были теми растениями, которые отвечали всем нашим требованиям.

АЗАЛИИ В ТВЕРДОЙ ПОЧВЕ

Через два года мы начали покупать и сажать азалии, рододендроны, лилии, кизилы и глицинии. Каждый год мы очищали часть холма, а азалии и рододендроны различных видов занимали место кустарников. Не стоит говорить, что наш опыт и знания, касающиеся их видов, включая знания об их выносливости и источниках, также выросли.

Программа по расширению потребовала от меня и моей семьи настоящих подвигов. Практически каждую ямку приходилось «выковыривать» в жесткой земле. Всю землю, весь торф и удобрения приходилось поднимать на холм. Нам приходилось проводить бесконечные часы, поливая и опрыскивая растения, для того чтобы они выжили. Я делал почти всю эту работу с помощью моей семьи. Однако мы получали удовольствие от этого «рабского труда». Это огромная ра-



Обложка американского журнала «Садоводство» с фотографией сада Питирима Сорокина

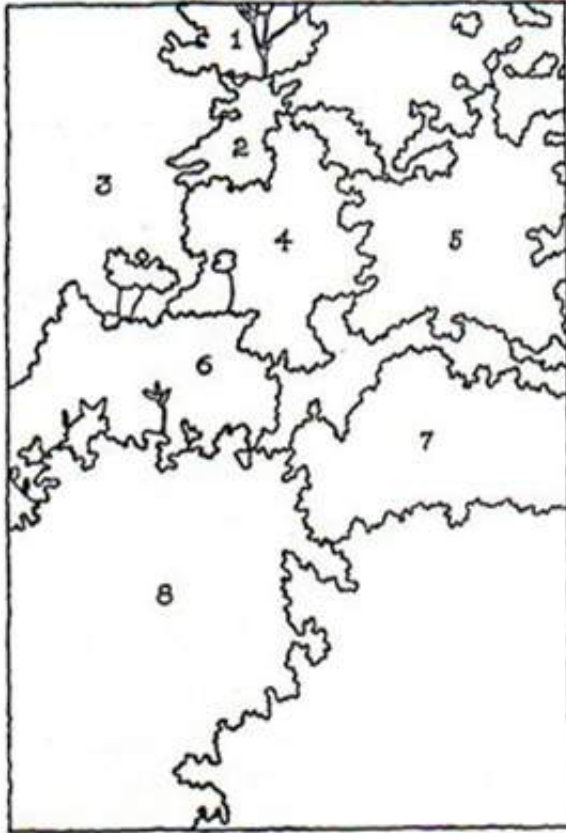
дость – видеть такую неопишемую красоту, которой растения отвечали на нашу борьбу и заботу. С тех пор как на скалистом склоне сажают азалии, корням не хватает почвы даже тогда, когда ее приносят. Тем не менее мой успех подтверждает, что азалии, имеющие волокнистые корни, находящиеся близко к поверхности, будут разрастаться и цвести даже в очень тяжелых условиях. Чтобы помочь образованию почвы, я оставляю все листья, падающие с дубов и деревьев, там, где они приземлились. Таким образом почва улучшается с каждым годом, а растения остаются влажными благодаря этой природной мульче^{2*}.

Когда я высаживаю новые растения, я добавляю в почву торф. Единственное удобрение, которое я также использую, – отстоявшийся навоз. Я подкармливаю растения ранней весной, тогда как зимой они защищены опавшими с деревьев листьями.

Столь усердная работа по саду сняла необходимость любых специальных физических упражнений для поддержания наших тел в хорошей физической форме. Кроме того, наша близость с матерью-землей, безусловно, помогла нам сохранить столь необходимую в нашем мире хаоса гармонию в сознании. Эта близость стимулировала умственную деятельность и была очень конструктивной. В то время, когда наши руки заняты работой, наши умы свободны для обдумывания занимающих их проблем. Многие идеи, развитые мной в моих скромных трудах (многочисленно опубликованных), были рождены в эти часы работы в саду.

Все эти радости приумножили птицы, пчелы и прочая живность, пришедшая на наш склон и поселившаяся там. Еще одной отнюдь не самой маленькой радостью было удовольствие, которое наши посадки каждый год доставляли тысячам посетителей. Все вместе эти награды компенсировали нам все наши труды, расходы и даже те немногие разочарования, с которыми мы столкнулись, приспособив наш склон для азалий. Поэтому я твердо верю, что в нашей урбанизированной и сверхиндустриальной цивилизации садовое хозяйство является одним из самых благородных и эффективных методов умственного и морального воспитания, поддержания хладнокровия и мира в умах и излечения большинства психоневрозов человечества.

Честно говоря, я никогда не считал азалии, рододендроны и остальные цветы, которые я выращивал. Грубо говоря, у нас было около 600 азалий, от 60 до 80 рододендронов, около 40 лилий, не говоря уже о розах и кизилах, плюс значительное количество вечнозеленых.



1. *Lohengrin* 2. *Hinomayo* 3. *Fedora*
4. *Pink Pearl* 5. *Carmen* 6. *Cleopatra*
7. *Mikado* 8. *Azalea ledifolia alba* (*A. mucronatum*).

План «склона азалий»

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Я составил список тех видов азалий и рододендронов, которые можно выращивать в климатических условиях Винчестера в штате Массачусетс. Все растения выносливые и погибают только тогда, когда температура опускается до 15–20 градусов ниже нуля.

Все азалии, так же как и рододендроны, классифицировали ботаники. Для удобства ботаников-любителей, таких же, как я, я поместил их в два отдельных списка.

Таким образом, мой список азалий, хотя он и неполный, предлагает широкое разнообразие ярких оттенков цветов разных видов, самые ранние из которых цветут в конце марта, а самые поздние – в конце июня.

Моя коллекция рододендронов не такая эксклюзивная, как коллекция азалий. Тем не менее в ней содержатся практически все лучшие виды, выносящие наш климат. Эти растения, как и поздние азалии, цветут в конце весны.

РАЗНОВИДНОСТИ АЗАЛИЙ

A. arborescens [азалии древовидные] – очень поздние, выносливые, белые, душистые.

A. mucronulatum [азалии остроконечные] – высокие, бледные розовато-фиолетовые.

A. poukhanense [азалии пукханьские] – красно-фиолетовые, с красными пятнами, душистые

A. schlippenbachii [азалии Шлиппенбаха^{3*}] – весной розовые, с коричневыми прожилками, душистые.

A. tschonoskii [азалии Чоноски^{4*}] – густые, низкорослые, поздние, белые.

Гентские гибриды

Altaclarensis [алтакларенские] – оранжево-желтые.

Bartholo Lazzari [Бартоло Ладзари] – поздние, оранжевые или желтые.

Beaute Celeste [Небесная Красавица] – поздние, оранжево-красные и желтые, душистые.

Bijou de Ghentbrugge [Жемчужина Гента и Брюгге] – высокорослые, поздние, ярко-оранжевые.

Bouquet de Flore [Букет де Флёр] – высокорослые, поздние, яркие нежно-розовые.

Coccinea Speciosa [Кокцилия Прекрасная] – оранжево-красные.

Daviesi [Давиеси] – поздние, кремово-белые с желтыми пятнами.

- Dr. Charles Baumann* [азалии директора Шарля Баумана] – ярко-красные.
Fanny [Фанни] – поздние, фиолетово-красные, с оранжевыми пятнами.
General Trauff [Генерал Трауф] – бледно-розовые с желтыми пятнами.
Gloria Mundi [Глория Мунди] – высокорослые, поздние, с оранжевой каймой.
- Grandeur Triomphante* [Грандер Триумфанте] – фиолетово-красные.
Ignaea Nova [Игнаэ Нова] – высокие, карминные, ярко-оранжевые.
Irene Koster [Ирен Костер] – белые и ярко-розовые, ароматные.
Nancy Waterer [Нэнси Уотерер] – золотисто-желтые, крупные цветы.
Narcissiflora [Нарциссифлора] – поздние, полумахровые, душистые.
Pallas [Паллас] – высокорослые, поздние, ярко-оранжевые, морозоустойчивые.
- Raphael de Smet* [Рафаэль де Смет] – махровые, с белыми краями, оранжево-красные.
Sang de Gentbrugge [Санг де Гентбрюгге] – высокорослые, поздние, оранжево-красные.
Unique [Юник] – высокорослые, поздние, желто-оранжевые.
William III [Виллем III^{5*}] – поздние, оранжево-красные с желтоватыми пятнами.

Курумские азалии^{6*}

- Amoena* [Амоена] – пурпурно-малиновые.
Benigiri [Бенигири] – по сроку цветения – средние, простые красные.
Flame [Флейм] – алые.
Hinodegiri [Хинодегири] – густые, ярко-алые.
Hinomayo [японские Хиномайо] – высокорослые, по сроку цветения – средние, нежно-розовые.
Pink Pearl [Пинк Пёрл] – с крупными цветами, нежно-розовые, морозостойкие.
Snow [Снежные] – белоснежные с зелеными пятнами.
Vesuvius [Везувий] – преимущественно оранжево-красные, темнеющие к центру.
Yayegiri [Яэгири^{7*}] – высокие, вызывающе оранжево-красные.

Из всех вышеперечисленных белых азалий куруме и азалий кемпфера самыми неприхотливыми оказались снежные азалии. Азалии Хиномайо среди других азалий куруме являются наиболее морозостойкими.

Гибридные азалии Кемпфери и Мальватика (Kaempferi-Malvatica)

A. ledifolia alba (micronatum) [азалии шелковистые белые (остроконечные)] – белые, душистые.

A. malvatica [мальватика] – сиреневые.

A. Maxwelli [Максвелл] – яркие, карминово-красные.

Atalanta [Аталанта] – светло-сиреневые.

Betty [Бетти] – оранжево-розовые.

Carmen [Кармен] – в разгар сезона красные, с коричневыми пятнами.

Cleopatra [Клеопатра] – однолетние, радужно-розовые.

Fedora [Федора] – темно-розовые.

Gretchen [Гретхен] – в разгар сезона красно-фиолетовые, с темными пятнами.

John Cairns [Джон Кайрнс] – темно-красные.

Kathleen [Кэтлин] – красно-розовые.

Lohengrin [Лознгрин] – темно-розовые.

Othello [Отелло] – по сроку цветения – средние, простые, ярко-красные.

Salmon Monarch [Салмон Монарх] – плотные, лососевые с темными пятнами.

Азалии Кемпфери являются самыми морозостойкими из выше перечисленных. Бутоны часто опадают у шелковистых азалий и Салмон Монарх. Остальные могут выдерживать холод до 5 градусов ниже нуля.

Гибриды Джозефа Гейбла^{8*}

Campfire [Кемпфайр] – огненно-красные.

Carol [Кэрол] – карликовые, яркие малиново-розовые.

Caroline Gable [Каролина Гейбл] – ярко-розовые.

Elizabeth Gable [Элизабет Гейбл] – поздние, с красной каймой, очень выносливые.

Gable's Flame [Желтые азалии Гейбла] – по сроку цветения – средние, с оранжево-красной каймой.

Herbert [Герберт] – по сроку цветения – средние, с красно-фиолетовой каймой.

La Roche [Ла Рош] – по сроку цветения – средние, пурпурно-красные, морозостойкие.

Louise Gable [Луиза Гейбл] – поздние, плотные, полумахровые, лососево-розовые.

Mary Ann [Мэри Энн] – густоцветные, махровые, розовые, очень выносливые.

Mary Dalton [Мэри Дальтон] – по сроку цветения – средние, простые, красно-оранжевые.

Mildred Mae [Милдред Мэй] – густые, сиреневые, с красными пятнами.

Purple Splendor [Фиолетовое сияние] – с волнистыми краями, темно-фиолетовые, с темными пятнами.

Rosebud [Розовый бутон] – поздние, низкорослые, махровые, розовые.

Rose Greeley [Роуз Грили] – ранние, белые, с зелеными пятнами, душистые.

Springtime [Весенние] – по сроку цветения – средние, красно-фиолетовые с темными пятнами.

Viola [Виола] – высокорослые, по сроку цветения – средние, фиолетовые с красными пятнами.

Моллис-гибриды (Mollis Hybrids)

Aida [Аида] – высокорослые, поздние, махровые, белые, с розовым оттенком.

Alphonse Lavalle [Альфонс Лавалле] – ярко-оранжевые, розоватые.

Anthony Koster [Антония Костер] – высокорослые, простые, красновато-оранжевые.

Bouquet d'Orange [Буке д'Оранж] – простые, красно-оранжевые.

Byron [Байрон] – высокорослые, поздние, махровые, белые, с розовым оттенком.

Chevalier de Reali [Шевалье де Реали] – оранжево-желтые, при увядании – белые.

Comte de Gomer [Конт де Гомер] – высокорослые, простые, светло-красные.

Comte de Papadopoli [Конт де Пападополи^{9*}] – высокорослые, красно-оранжевые.

Comte de Quincy [Конт де Квинси] – высокорослые, простые желтые.

Consul Ceresole [Консул Серезоль^{10*}] – ярко-красные, с оранжевым оттенком.

Frans van der Bom [Франс ван дер Бом] – высокорослые, розово-лососевые.

Frere Orban [Фрер-Орбан^{11*}] – белые с желтыми.

Hortulanus Witte [Гортуланус Витте] – высокорослые, желтовато-оранжевые.

Hugo Hardyzer [Хьюго Хардицер] – ярко-алые.

Hugo Koster [Хьюго Костер] – высокорослые, лососево-красные.

Il Tasso [Иль Тассо] – махровые, красно-оранжевые, с белой каймой.

Koster's Brilliant Red [Костерс Бриллиант Ред] – оранжево-красные.

Lemonora [Лемонора] – абрикосовые, с красным оттенком.

Milton [Мильтон] – поздние махровые белые, с оранжевым пятном.

Minister Thorbecke [Министр Торбеке^{12*}] – темно-оранжевые.

Miss Louisa Hunnewell [Мисс Луиза Ханнеуэлл^{13*}] – крупные желто-оранжевые.

Pink Beauty [Пинк Бьюти] – розовые.

Sunset [Вечерняя Заря] – красно-оранжевые.

W. E. Gumbleton [Уильям Эдвард Гамблетон^{14*}] – желто-оранжевые.

Nicholas Beets [Николас Бетс^{15*}] – высокорослые, желто-оранжевые.

Norma [Норма] – поздние, махровые, красно-оранжевые.

Phidias [Фидий] – махровые, розовые и желтые.

Phoebe [Феб] – махровые, сернисто-желтые.

Praxitile [Пракситель] – махровые, кремово-белые.

Гибриды Вуйка (Vuyk Hybrids)

Beethoven [Бетховен] – темно-розовые.

Haydn [Гайдн] – красно-фиолетовые с коричневыми пятнами.

Mozart [Моцарт] – ярко-розовые.

Princess Juliana [Принцесса Юлиана^{16*}] – с розовой каймой, с глазками цвета лимона.

Schubert [Шуберт] – ярко-розовые.

Wilhelmina Vuyk [Вильгельмина Вуйк] – белые с зеленовато-желтыми пятнами.

Рододендроны разных видов

R. brachycarpum [Р. короткоплодный] – кремово-белые, насыщенно-розовые, с коричневатыми пятнами.

R. catawbiense album [Р. Кэтевбинский альбум] – очень морозостойкие белые, с розовыми бутонами.

R. catawbiense grandiflorum [Р. Кэтевбинский Грандифлорум] – сиреневые.

R. fortunei [Р. Форчуна] – сиреневые или розовые, душистые.

Album Elegans [Альбум Элеганс] – высокорослые, бледно-розовые, при увядании – белые.

America [Америка] – темно-красные.

Atrosanguineum [темно-красные] – самые ранние, ярко-красные.

Bismark [Бисмарк] – белые с красными прожилками.

Blue Peter [Блу Пите] – бледно-лавандовые с более темными пятнами.

Boule de Neige [Буле де Неж; Снежок] – белые, мелкие, довольно ранние.

Caractacus [Карактакус] – пурпурно-малиновые.

Charles Dickens [Чарльз Диккенс] – красные, морозостойкие, медленно растущие.

Countess of Athlone [Графиня Атлонская^{17*}] – сиреневые.

Decatros [Декатрос] – почти белые, мелкие, медленно растущие.

Dr. S. Endtz [Доктор С. Эндц] – малиново-розовые.

Dr. H. C. Dresselhuys [Доктор Дрессельхьюс] – анилиново-красные.

Dr. V. H. Rutgers [Доктор Ратгерс] – огненно-красные.

Edward S. Rand [Эдвард С. Ренд] – красные с желтыми глазками.

F. D. Godman [Ф.Д. Годман^{18*}] – темно-красные.

Gomer Waterer [Гомер Ватерер] – белые, поздние.

Ignatius Sargent [Игнатиус Саржент^{19*}] – светлые, светло-красные.

John Walter [Джон Уолтер^{20*}] – малиновые.

Lady Clermont [Леди Клермонт^{21*}] – розовые, с алыми пятнами.

Lee's Dark Purple [Лиз Дарк Пёрпл] – сиреневые.

Mme. de Bruin [Мадам де Брюин] – вишнево-красные.

Mme. Masson [Мадам Массон] – белые с желтыми пятнами.

Mrs. Chas. Sargent [Миссис Чарльз Саржент^{22*}] – фиолетово-розовые, с желтым пятном.

Mrs. P. den Ouden [Миссис П. ден Оуден] – малиновые.

Parson's Gloriosum [Парсонс Глориозум] – розовые, кустистые.

Parson's Grandiflorum [Парсонс Грандифлорум] – пурпурно-розовые.

Purple Splendour [Пёрпл Сплендор] – ярко-фиолетовые.

Queen Wilhelmina [Королева Вильгельмина^{23*}] – алого цвета, переходящего в розовато-красный.

Roseum Elegans [Розеум Элеганс] – розовые.

Van Weerden Poelman [Ван Верден Пульман] – малиновые.

При умеренном уходе, предполагающем полив в засушливый период и подкормку, большинство из вышеперечисленных сортов морозоустойчивы. Я сам их разводил, чтобы отобрать несколько лучших экземпляров.

КОММЕНТАРИИ

Кое-что из современной беллетристики

Впервые: Огоньки. С.-Петербургские Общеобразовательные курсы. 1907, № 3 (Ноябрь), с. 13–16.

Печатается по первой публикации.

Подпись: *Питирим Александрович Сорокин*.

^{1*} Челкаш – герой одноименного рассказа А.М. Горького (1895). — 41

^{2*} Александр Иванович Коновалов – персонаж рассказа А.М. Горького «Коновалов» (1897), бродяга, покончивший с собой по причине «меланхолии». — 41

^{3*} Действующие лица пьесы А.М. Горького «На дне» (1902). — 41

^{4*} Андрей Ефимыч Рагин – персонаж повести А.П. Чехова «Палата № 6» (1892), главный врач городской больницы.

Большая цитата из повести приведена с некоторыми неточностями (см.: *Чехов А.П. Собрание сочинений* в 12-ти тт. М., 1962, т. 7, с. 143–144); второй цитаты – дословно – в повести нет. — 42

^{5*} «Жизнь Василия Фивейского» – повесть Леонида Андреева (1903). — 42

^{6*} Неточная цитата из рассказа А.М. Горького «Коновалов». См. *Горький М. Собрание сочинений* в 16-ти тт. М., 1979, т. 1, с. 190. — 43

^{7*} «Скучная история» – повесть А.П. Чехова (1889). — 43

^{8*} «Поединок» (1905) – повесть А.И. Куприна. В журнальном тексте статьи фамилия главного героя повести ошибочно набрана как «подпоручик Гололобов». — 43

^{9*} «Гимназисты» (1893) и «Студенты» (1895) – вторая и третья части автобиографической тетралогии Н.Г. Гарина-Михайловского (1852–1906) об Артемии Карташеве. Первая часть тетралогии, повесть «Детство Тёмы», вышла в 1892 г., последняя (оставшаяся незаконченной), повесть «Инженеры» – уже после смерти писателя в 1907 г. — 43

^{10*} Неточная цитата из рассказа А.М. Горького «Бывшие люди» (1897). См.: *Горький М. Собрание сочинений* в 16-ти тт. М., 1979, т. 1, с. 322. — 43

^{11*} Там же, с. 321–322. Сорокин приводит не цитату, а передает общий смысл слов «учителя». — 43

^{12*} Неточная цитата из четвертого акта пьесы А.М. Горького «Мещане» (1902). Татьяна и Цветаева – действующие лица пьесы, обе учительницы, примерно одного возраста (Татьяна

не – 28, а Цветаевой – 25 лет). См.: *Горький М.* Собрание сочинений в 16-ти тт. М., 1979, т. 15, с. 71. — 44

^{13*} Неточно цитируются слова Нила из четвертого акта пьесы «Мещане». У Горького Нил говорит: «Я заставлю ее [жизнь] ответить так, как захочу! Я – не богатырь, а просто – честный, здоровый человек, и все-таки говорю: ничего! Наша возьмет!» (Там же, с. 80–81). — 44

^{14*} «Дачники» (1904) и «Варвары» (1905) – пьесы А.М. Горького, в которых разрабатывается проблема интеллигенции. «Мать» – роман Горького, написанный в 1906 г. — 44

^{15*} «Стена» (1901) – рассказ Л.Н. Андреева; «Некто в сером», «именуемый Он», говорит о жизни человека в пьесе Л. Андреева «Жизнь человека» (1907). — 44

^{16*} «Искарриот», правильно «Иуда Искарриот» (1907) – повесть Л.Н. Андреева. — 44

Все обстоит благополучно...

Впервые: Отклики Кавказа (Армавир). 1910, № 217, 25 июня, с. 2–3.

Печатается по первой публикации.

Подпись: *С. Питирим.*

^{1*} Имеется в виду сообщение, переданное «по телефону от нашего корреспондента» из Петербурга, о получении отчетов Главным военно-судным управлением всех военных судов, а также «о числе смертных казней, приведенных в исполнение в 1909 г.». — 45

^{2*} Имеется в виду сообщение о заявлении испанского премьер-министра Ватикану о недопустимости вмешиваться во внутренние дела Испании; поводом к разногласиям послужил указ о свободе некатолических вероисповеданий (см.: Борьба с клерикализмом в Испании: Ответ Испании Ватикану // Русское слово. 1910, 13 июня, с. 3). — 46

^{3*} В 1910 г. на европейской территории России разразилась эпидемия холеры; в указанном номере помещены корреспонденции из 13 городов, в основном из южных губерний (см.: Там же, с. 4). — 46

^{4*} Имеется в виду заметка «Отцеубийца» из раздела «Судебная хроника» (с.4). Рабочий Николай Репин во время очередной стычки с отцом, требовавшего от него денег «на водку» по случаю дня рождения сына, потеряв терпение от постоянных подобных домогательств, сопровождавшихся угрозами выгнать его и его семью из дома, ранил отца перочинным ножом в руку. Были задеты артерия и вена, и в результате потери крови отец Николая Репина скончался. Присяжные окружного суда Москвы оправдали невольного убийцу. — 46

^{5*} Вероятно, имеется в виду Клавдия Егоровна Запевалова (24 лет), о которой говорится в заметке «Покушение на убийство» (раздел «Дневник происшествий», с. 4), однако героиня заметки «облила себе платье керосином и зажгла его», получив тяжелые ожоги. — 46

^{6*} Имеется в виду сообщение «Пожар Красноборска», в котором говорится, что «заштатный город Красноборск <...> почти весь уничтожен огнем» (Там же, с. 4). — 46

^{7*} В заметке «Перестрелка» речь идет о нападении на лавки купцов и перестрелке, завязавшейся между казаками и разбойниками, в результате которой двое из нападавших и трое защитников порядка были ранены. — 46

^{8*} По сообщению из Ростова-на-Дону, пассажирский пароход «Граф Гюлебан» «вследствие шторма потерпел серьезную аварию» в Азовском море (но не сказано, что он «пошел ко дну»). — 46

На плотях

Впервые: Отклики Кавказа (Армавир). 1910, № 218, 26 июня, с. 2.

Печатается по первой публикации.

Подпись: *С. Питуриим*.

^{1*} В тексте первой публикации: паром. — 49

Депутат на покое

Впервые: Отклики Кавказа (Армавир). 1910, № 254, 10 августа, с. 3.

Печатается по первой публикации.

Подпись: *С. Питуриим*.

Рыт пукалём

Впервые: Архангельские губернские ведомости. 1910, № 203, 22 сентября, с. 2–3.

Печатается по первой публикации.

Подпись: *Питуриим Сорокин*.

^{1*} Персонаж «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло; один из лучших друзей Гайаваты, певец и музыкант. — 54

^{2*} *Шантеклер* – букв.: «певец зари» (от *фр.* chantecler). Образ петуха Шантеклера появился в народных песнях и поговорках романского мира в Средние века; Шантеклер – главный персонаж одноименной пьесы Э. Ростана (1910). — 54

^{3*} *Майбыр* – главный герой одноименного рассказа из сборника К.Ф. Жакова «В хвойных лесах. Рассказы коми морта» (СПб., 1908), сын Парма-Морта и рано умершей Ягани, ненавидимый своей мачехой Читныл; на языке коми слово «майбыр» означает «счастливец», «счастливец». — 55

^{4*} Озеро в пойме р. Вычегды напротив с. Сторожевск; букв.: «Кладбище-озеро». Согласно верхневыхгодскому преданию, во время междоусобицы чуди (собирательное название народов, живших до заселения территории коми-зырянами), населявшей бор, на берегу озера произошло сражение, после которого в него были сброшены трупы. — 57

^{5*} *Пам* – у коми-зырян и коми-пермяков языческий жрец. В тексте первой публикации слово «пам» в первом случае напечатано со строчной, во втором – с прописной буквы. Вряд ли в данном случае имеется в виду Пам – главный легендарный противник Стефана Пермского. — 57

^{6*} *Ен* – один из двух высших богов-демиургов в коми мифологии; как творец хорошей и праведной части мира противостоит своему брату Омолу (или Кулю) – создателю всего плохого и злого. Ен лепит мужчину из глины, а Омоль – женщину. Подробнее см.: *Плесовский Ф.В.* Космогонические мифы коми и удмуртов // *Этнография и фольклор коми.* Сыктывкар, 1972. — 57

На севере

Впервые: *Эхо* (Вологда). 1916, № 470, 22 июня, с. 2–3.

Печатается по первой публикации.

Подпись: *Питирим Сорокин.*

^{1*} До 1924 г. так назывался Московский вокзал в С.-Петербурге. — 59

^{2*} «Золотая рота» – первоначально неофициальное название роты дворцовых гренадер; впоследствии это выражение приобрело переносный (бранный) смысл и стало обозначать представителей городских низов и преступного мира. — 59

^{3*} Вероятнее всего, имеется в виду Александр Николаевич Наумов (1868–1950) – член Госсовета, в 1915–1916 гг. министр земледелия. 1 августа 1915 г. он был назначен членом Верховной следственной комиссии, расследовавшей злоупотребления высших военных чинов при военных поставках. С 1920 г. жил в Крыму, затем в эмиграции, умер во Франции. — 60

^{4*} *Поссибилизм* (от *лат.* *possibilis* – «возможный») – крайне оппортунистическое направление во французском социалистическом движении конца XIX – начала XX в.; в широком смысле – умеренность, осторожность. — 60

Аккорды жизни

Печатается по рукописи, хранящейся в ИРЛИ, ф. 863, ед. хр. 60, лл. 1–18.

Фрагменты, зачеркнутые в рукописи, заключены в фигурные скобки – { }.

Подзаголовок 6-го фрагмента вписан на полях рукописи и заключен в квадратные скобки – [].

Слова, подчеркнутые в рукописи, выделены курсивом.

^{1*} Таково мнение итальянского ученого и криминалиста Чезаре Ломброзо (1835–1909), автора книги «Гениальность и помешательство». В числе гениальных людей, страдавших умопомешательством, Ломброзо называет О. Конта, Шумана, Т. Тассо, Дж. Свифта, И. Ньютона, Ж.-Ж. Руссо, А. Шопенгауэра и многих других. См.: *Ломброзо Ч.* Гениальность и помешательство. М., 1995. — 63

^{2*} Закончилась моя комедия (*итал.*). — 64

^{3*} Закончилась твоя комедия (*итал.*). — 65

^{4*} Имя Гулю на коми языке означает «голубка». — 66

^{5*} Тун – в мифологии коми народа «колдун», «чародей». — 66

^{6*} Майя – в древнеиндийской мифологии способность к перевоплощению, иллюзия, обман; в индийской философии – действительность, понимаемая как греза божества. — 68

^{7*} Ела – на коми языке «молочная река». — 68

^{8*} Истина и справедливость человеческая (*лат.*).

Большая часть этой главы опубликована Сорокиным в 1913 г. в сказке «Грани жизни» (см. наст. изд., с.79–87). — 70

^{9*} Эта фраза (очень популярная в русской публицистике XIX – нач. XX в.) служит символом полицейского произвола и самоуправства. Источник – рассказ русского писателя-народника Г.И. Успенского (1843–1902) «Будка» (1868). В обязанности главного героя этого рассказа, будочника Мымрецова, входило, во-первых, «тащить», во-вторых, «не пуцать»; «тащил он обыкновенно туда, куда решительно не желали попасть, а не пускал туда, куда этого смертельно желали». — 70

^{10*} Любовь (*лат.*). — 71

^{11*} Вакханка – в древнегреческой мифологии – жрица и постоянная спутница бога Диониса, покровителя виноградарства и виноделия, участница «вакханалий». — 72

^{12*} Слова распятого Иисуса Христа: «Отче! Прости им, ибо не знают, что́ делают» (Лк. 23, 34). — 72

^{13*} Красота человеческая (*лат.*). — 73

^{14*} Счастье (*лат.*). — 74

^{15*} Азям – русская старинная верхняя одежда, поначалу употреблявшаяся всеми сословиями, позднее – только крестьянами в праздничные дни; длинный кафтан, сермяжный или из толстого сукна домашнего приготовления, такого же покроя, как обыкновенный крестьянский кафтан. — 76

^{16*} Панагия (*греч.*) – небольшой образ Богоматери (реже Спасителя, Троицы, святых, распятия, библейских сцен), чаще всего округлой формы, который архиереи носят на груди. — 77

Грани жизни

Впервые: Эхо (Вологда). 1913, № 76, 29 ноября, с. 3; № 77, 1 декабря, с. 3; № 79, 6 декабря, с. 3.

Печатается по первой публикации.

Подпись: *Питирим Сорокин.*

^{1*} Цитата из стихотворения Э. Верхарна «Восстание» в переводе В.Я. Брюсова (*Верхарн Э. Избранные стихи. М.-Л., 1929, с.147*). — 79

^{2*} См. выше, прим. 12*. — 81

^{3*} *Мойры* – греческие богини судьбы, которые определяют срок жизни человека; дочери Зевса и Фемиды; иногда их изображали в образе старух. Наиболее известны три из них: Клото (прядет жизненную нить), Лахесис (определяет участь человека), Атропос (перерезает жизненную нить). — 86

На лоне природы

Современные записки. Париж, 1923, № XV (II), с. 262–280.

Печатается по первой публикации.

Подпись: *Питирим Сорокин*.

Впоследствии П.А. Сорокин использовал этот мемуарный очерк при написании 10, 11 и 12 глав книги «Листки из русского дневника» (см.: *Сорокин П.А.* Листки из русского дневника. Социология революции. Сыктывкар, 2016, с.138–152).

^{1*} Чайковский Николай Васильевич (1850–1926) – член ЦК Трудовой народно-социалистической партии, с августа 1918 г. (после высадки англичан в Архангельске) – председатель Верховного управления Северной области, умер в Лондоне. — 89

^{2*} По воспоминаниям В.И. Игнатьева, Сорокин был намечен кандидатом на пост министра Северной области после ожидаемого свержения власти большевиков в Архангельске (См.: Красная книга ВЧК. М., 1990, т. 2, с.109). Но до Архангельска он так и не смог добраться. — 89

^{3*} Кедров Михаил Сергеевич (1878–1941) – начальник особого отдела ВЧК в северных областях. «Казнил людей сотнями и даже тысячами», – сообщает о нем Сорокин (Дальняя дорога. М., 1992, с.109). См. также: *Мельгунов С.П.* Красный террор. М., 1990. — 89

^{4*} Чуют свою погибель (*англ.*). — 90

^{5*} Альфред Брем (Brehm; 1829–1884) – немецкий ученый-зоолог и путешественник, автор знаменитой научно-популярной работы «Жизнь животных».

Жан Анри Фабр (Fabre; 1823–1915) – французский энтомолог и писатель, автор «Жизни насекомых» (СПб., 1911).

Владимир Александрович Вагнер (1849–1934) – русский биолог и психолог, профессор Петербургского (Ленинградского) ун-та (1906–1931), один из организаторов Психоневрологического института в Петербурге, автор книги «Психология животных» (М., 1902). — 94

^{6*} Цитата из поэмы А. Блока «Двенадцать» (1918). — 95

^{7*} Русская верста составляет 1 066,8 метров; таким образом, Сорокину предстояло пройти за 5 часов больше 30 километров, что действительно очень много, но молодой здоровый мужчина до 30 лет (а Сорокину в 1918 г. было 29) при средней скорости 6,9 км/час может справиться с этой задачей. — 95

^{8*} Жирондисты – политическая партия периода Великой французской революции, получившая свое название по департаменту Жиронда, откуда происходили многие деятели партии. Будучи представителями республиканской торгово-промышленной и земледельческой буржуазии, жирондисты находились у власти с 1792 г. до 31 мая – 2 июня 1793 г., когда они были свергнуты в результате народного восстания. — 96

^{9*} Жан Вальжан – главный герой романа В. Гюго «Отверженные». — 96

^{10*} То есть обдумывать проблематику своей будущей «Системы социологии». — 97

^{11*} О судьбе Петра Юрьевича Двужильного, студента и бывшего офицера, одного из организаторов и руководителей антибольшевистского восстания в Великом Устюге, Ю.В. Дойков в написанной им биографии П.А. Сорокина сообщает: «Северо-Двинская губчека была

создана в Великом Устюге 14 августа, через 6 дней после объявления в губернии чрезвычайного положения. Разместилась губчека в помещении бывшего Общественного собрания (угол Торгового переуллка и Успенской улицы) и затем перебралась в особняк купцов братьев Чебаевских у Земляного моста. ЧК не только расстреливала, но и регулярно, для запугивания населения, печатала сообщения о расстрелах в местной газете. Благодаря им можно установить судьбы соратников Сорокина. Так, 4 сентября Северо-Двинская ЧК сообщала:

“...в ночь на 1 сентября в час ночи был расстрелян белогвардеец, организатор восстания в городе Великий Устюг – бывший офицер Петр Юрьевич Двужильный. Двужильный разрабатывал план захвата власти в городе путем организации белой гвардии из офицеров и местного студенчества. <...> План был широко задуман и разработан, но внезапный обыск на даче Запаловых 14 августа предупредил и расстроил весь план <...>. Петр Юрьевич Двужильный был арестован в деревне Конечной Нестеферовской волости в доме гражданина Григория Ивановича Бороздина 30 августа в 12 часов ночи, когда он уже лежал и спал на сеновале...”

По этим опубликованным чекистским данным за сентябрь-ноябрь в Великом Устюге был расстрелян 51 человек...»

Далее приводится выдержка из автобиографической заметки, написанной в начале 1970-х гг. бывшим заведующим Отделом по борьбе с контрреволюцией Северо-Двинской губчека П.И. Жерихиным: «В январе месяце 1918 г. прибыл из Москвы в г. Великий Устюг, где и был назначен начальником отряда Красной гвардии, а позднее в конце мая или в начале июня месяца по распоряжению Северо-Двинского губкома и губисполкома мне была поручена организация Чрезвычайной Комиссии. К середине июня месяца Чрезвычайная Комиссия была организована, где я остался работать в качестве члена Чрезвычайной Комиссии и заведующим отделом по борьбе с контрреволюцией. К тому времени в г. Великом Устюге положение было очень тяжелое, контрреволюция насаждала серьезно, и мне, как зав. отделом, пришлось серьезно поработать. Нам удалось обезглавить местных организаторов правых и левых эсеров и задержать и арестовать их руководителей Петра Зепалова и Двужильного. Зепалов был арестован под Архангельском около фронта, намереваясь перейти фронт. Кроме того, удалось задержать и арестовать бывшего секретаря Керенского – Питирима Александровича Сорокина и бывшего командующего Казанским военным округом генерала Сандецкого и других бывших офицеров. Журавский, Уатт, все они входили в контрреволюционную организацию. Дело Питирима Сорокина на основании телеграммы за подписью В.И. Ленина было направлено в ВЧК г. Москвы в распоряжение т. Дзержинского» (*Дойков Ю.* Питирим Сорокин. Человек вне сезона. Биография. Том 1 (1889–1922). Архангельск, 2008, с. 205, 381). — 97

^{12*} Слово «бест» персидского происхождения, означает место, дающее всякому преследуемому властью право временной неприкосновенности, т.е. недосягаемое, но нескрытое убежище. — 97

^{13*} Влопаться – значит попасть во что-то неприятное, «влипнуть». — 98

^{14*} Цитата из «Немецкой баллады» Козьмы Пруткова (авторство ее принадлежит Вл. Жемчужникову). Отвергнутый Амальей барон Гринвальдус сидит перед ее замком, «сидит, принахмурясь, сидит и молчит». И далее:

Года за годами...
 Бароны воюют,
 Бароны пируют;
 Барон фон Гринвальдус,

Сей доблестный рыцарь,
Все в той же позиции
На камне сидит.

(Русская поэзия XIX века. М., 1974, т. 2, с. 383). — 100

^{15*} Джек Лондон – нередкий и неслучайный гость на страницах книг и статей Питирима Сорокина, недаром еще в России друзья в шутку называли его «русским американцем». Сам же П.А. Сорокин считал, что Мартинов Иденов «немало в нашей рабочей среде» (*Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М., 1994, с. 254*). Произведения Дж. Лондона были очень популярны в России в начале XX в. благодаря переводам и изданиям И.А. Маевского, который к 1918 г. завершил первое издание в 22 томах и выпустил 20 томов второго издания авторизованного собрания сочинений Дж. Лондона. Характерно для русской истории начала прошлого века, что Дж. Лондона читает и скрывающийся в лесах контрреволюционер, и умиравший вождем революции (Н.К. Крупская рассказывала, что она читала больному Ленину понравившийся тому рассказ американского писателя «Любовь к жизни»). Подробнее об этом феномене см.: *Разгуляев Г.А. Американская мечта в России на рубеже XIX–XX-го веков // http://samlib.ru/t/razguljaew_georgij_arkadxewich/amerii.shtml* — 100

^{16*} «Акридами» (род саранчи) и «диким медом» питался в пустыне Иоанн Креститель (Мф. 3, 4). Саранча, по закону Моисееву, считалась чистым животным и принадлежала к разряду пресмыкающихся крылатых, ходящих на четырех ногах (Лев. 11, 21). — 100

^{17*} Выражения из стихотворения А.С. Пушкина «Герой» (1830):

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...

(*Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10-ти тт. М., 1981, т. 2, с.192*). — 102

^{18*} В Великоустюжской тюрьме П.А. Сорокин пробыл с 30 октября по 2 или 3 декабря 1918 г. — 102

^{19*} Имеется в виду Петр Николаевич Зепалов (1892–1918) – ученый-криминолог и социолог, близкий друг П.А. Сорокина; кандидат в Учредительное собрание по списку социал-демократов Вологодской губернии. До октябрьского переворота 1917 г. он был комиссаром губернской юстиции в Великом Устюге; как участник сопротивления большевистской диктатуре, оказался в застенках Губернской Северо-Двинской ЧК в Великом Устюге, где и был расстрелян 4 ноября 1918 г.; П.А. Сорокин посвятил ему одно из своих стихотворений и наряду с М.М. Ковалевским и Е.В. Де-Роберти свою книгу «Система социологии». — 103

Как мы жили...

Впервые: Дни (Берлин). 1922, № 3, 1 ноября, с. 2.

Печатается по тексту первой публикации.

Подпись: *Пит. Сорокин.*

Впоследствии этот очерк лег в основу 17-й главы «Листков из русского дневника». См.: *Сорокин П.А. Листки из русского дневника. Социология революции. Сыктывкар, 2016, с. 179–184.*

^{1*} Орест Данилович Хвольсон (1852–1934) – российский и советский ученый-физик и педагог, член-корреспондент Петербургской академии наук, с 1920 г. – почетный член Российской АН (с 1925 г. – АН СССР). — 104

^{2*} Сергей Федорович Платонов (1860–1933) – русский историк, академик АН СССР (1920–1931), после революции 1917 г. подвергся критике со стороны историков-марксистов, умер в Самаре.

Николай Евгеньевич Введенский (1852–1922) – русский физиолог, ученик И.М. Сеченова, член-корреспондент Петербургской академии наук. — 105

^{3*} Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (1863–1919) – русский историк, член Петербургской академии наук (с 1899 г.). Первый председатель Русского социологического общества им М.М. Ковалевского. После его кончины в 1919 г. Председателем стал акад. Н.И. Кареев.

Николай Николаевич Розин (1871–1919) – русский правовед и общественный и политический деятель, профессор (с 1911 г.) Томского университета.

Иосиф Алексеевич Покровский (1868–1920) – русский юрист, профессор римского и гражданского права.

Вениамин Михайлович Хвостов (1868–1920) – русский правовед и социолог, покончил с собой.

Александр Александрович Иностранцев (1843–1919) – русский геолог, член-корреспондент Петербургской академии наук, покончил с собой вместе с женой. — 106

^{4*} О смерти А.А. Иностранцева Сорокин подробнее рассказывает в «Листках из русского дневника: «Профессор Иностранцев вчера принял цианистый калий. <...> Последние несколько недель они с женой были сильно больны. Наконец, будучи не в состоянии достать продукты или лекарства, будучи не в силах даже позвать на помощь, они покончили с собой. Когда мы вошли в холодную, грязную квартиру, чтобы узнать, чем можно им помочь, мы нашли двух мертвецов, а рядом с постелью геолога – следы цианистого калия» (*Сорокин П.А.* Листки из русского дневника. Социология революции. Сыктывкар, 2016, с.185–186). — 106

Прачечная человеческих душ

Печатается по тексту машинописи и рукописи, хранящейся в ИРЛИ, ф. 863, ед. хр. 59, лл. 1–198.

Архивный вариант романа не имеет названия и в описи зафиксирован по названию первой части. Рукопись начинается словами: «Часть первая “Перед полуднем”... Гл. 1. Питирим Сорокин. Петроград. Петр<оградская> ст<орона> Больш<ой> просп<ект>, д. 13, кв. 8».

Большая часть рукописи написана на бумаге со штемпелем: «Фабрика наследников Сумкина» (фабрика была основана в 1829 г. на северо-востоке Вологодской губернии рядом с городом Лальском купцом Сумкиным; к началу XX в. качество бумаги было оценено не только в России, но и за границей: в 1896 г. на международной выставке в Париже продукция фабрики удостоилась серебряной медалью, а в 1912 г. в Лондоне – золотой медали). Все зачеркнутые в рукописи слова и отрывки, а также вставки, в случае, если они не нарушают смыслового и грамматического строя, приведены в тексте.

Зачеркнутое заключено в фигурные скобки – { } ,

вставки заключены в квадратные скобки – [] ,

коньектуры обозначены угловыми скобками – < > .

Значительно меньшая часть вставок и зачеркнутых фрагментов приведена в примечаниях. Особо следует отметить две большие вставки, приведенные в прим. 21* на с. 472 и 63* на с. 480. Одна из них отчасти повторяет, но отчасти и дополняет текст на странице,

указанной в примечании; другая составляет фрагмент более крупного, но, к сожалению, не сохранившегося отрывка и поэтому не поддается органическому включению в текст.

^{1*} Прототипом банкира Шахматова послужил, возможно, Николай Александрович Шахов, домовладелец и меценат, почетный член совета общества для пособия студентам Московского университета, неизменный и щедрый жертвователь на нужды образования неимущих; брат историка литературы А.А. Шахова (1850–1877). Деятельность Н.А. Шахова, вызывающая «сочувствие,.. симпатии, уважение», отмечена как образец «рекомендуемых» поступков в первой книге П.А. Сорокина «Преступление и кара, подвиг и награда» (Сыктывкар, 2015, с. 78). Был ли Сорокин лично знаком с Шаховым – неизвестно (скорее всего, нет), зато он хорошо знал другого мецената – Я.Г. Долбышева, купца второй гильдии, почетного попечителя Велико-Устюжской гимназии, профинансировавшего издание его первой книги. — 109

^{2*} В первой своей книге П.А. Сорокин писал: «Большинство преступлений есть просто конфликты разнородных шаблонов поведения, а не столкновение “абсолютной несправедливости” с “абсолютной правдой”»... (Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда. Сыктывкар, 2015, с. 149). — 111

^{3*} Свобода, братство, равенство (*фр.*). Обычно: свобода, равенство, братство – см. ниже., прим. 65* на с. 480. — 111

^{4*} Прообразом М.М. Каракозова послужил учитель и наставник Сорокина – историк, социолог и общественный деятель Максим Максимович Ковалевский (1853–1916). — 111

^{5*} Выражение «со щитом или на щите» означает или победу, или почетную смерть. Первоисточник выражения – сочинение древнегреческого историка Плутарха (ок. 45 – ок. 127) «Изречения спартанских женщин», в котором он сообщает: «Однажды спартанка, вручая сыну меч, внушала ему “Или с ним, сын мой, или на нем”» [на древнегреческом: ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς], т.е. или вернись победителем со щитом, или пусть тебя принесут погибшим на щите. У Плутарха это изречение приведено в разделе «Изречения неизвестных спартанок» (16), однако Аристотель приписывает это изречение Горго, жене Леонида. См.: Плутарх. Застольные беседы. Л., 1990, с. 338, 558. — 113

^{6*} Образ князя Воеводского, скорее всего, собирательный. Что касается «профессора философии права», то его прообразом мог послужить князь Евгений Николаевич Трубецкой.

Прообразом его жены Елизаветы Александровны (в девичестве – Мозжухиной) послужила Елена Ивановна Михайлова, с которой у Питирима Сорокина в 1915–1916 гг. был короткий, но бурный роман. Елена Михайлова, архангелогородка, училась, как и Е.П. Баратынская, на Бесстужевских курсах в Петрограде. Сохранилось несколько писем Сорокина к Михайловой, которые находятся ныне в его личном фонде в Москве (ГАРФ, ф. 602). Письма опубликованы Ю.В. Дойковым и датированы им 1915 г. (кроме последнего, которое, вероятно, относится к 1916 г.). Приводим их полностью. Характерно, что в Толковом словаре Д.Н. Ушакова дается следующее толкование слова «мозжить» – *разг.*, о неотвязно ноющей, тупой боли. Голову мозжит. Мозжит в колене.

1

22 января 1915 г.

Хорошая Елена Ивановна. Прошу прощения за свой разговор по телефону. Сознаю, он был сух, даже нарочито сух, и Вы правы, что я злой, но что делать? К сожалению, человек не камень, а потому ему свойственно волноваться, а иногда и слишком. Чем объясняется моя сухость, Вам приблизительно известно. Мне недавно 2–3 вечера было очень грустно –

и скажу правду – даже обидно. Отсюда вывод. Я решил больше у Вас не бывать. Вас не видеть и т.д. Теперь вижу, что это было неумное решение. Прошу прощения и буду рад Вас видеть, если Вы вздумаете и захотите побывать у меня. Чем скорее – тем лучше. Может быть, завтра, то есть в субботу?

Жму руку. Питирим.

2

Москва. Националь-отель. 23 мая 1915 г.

Увы! Дорогая и хорошая Леля. На север мне не пришлось ехать. Волею судеб еду на юг. 21-го выехали из Питера. 22-го прибыли и сегодня, 23 убываем отсюда в Рыбинск... Слава Богу, и то, что я выбрался из Питера, а то последние дни после твоего отъезда я чувствовал куда как неважно. Было грустно, было скучно, работа валилась из рук и один вечер даже заболел и провалился в кровати, хотелось поехать на Север, отдохнуть там, повидать и тебя... Вечером от скуки пошел на открытие общества сближения Англии и России, из-за чего мы и приехали в Москву. Днем же, кроме того, я познакомился с Милюковым и Родичевым. О заседании общества, вероятно, прочтешь в газетах...

Ты, наверное, уже знаешь, что Петю <Зепалова> выпустили? Получила ли мое письмо с виршами? Когда думаешь быть в Устюге? Из многих слов твоих особенно ясно и отчетливо вспоминаются мне твои слова: «Вот ведь какой!» Их ты говоришь тогда, когда рассердишься на кого-нибудь... Тут и милый упрек, и нежность, и огорчение, и какая-то чистая доброта – что их никогда не забудешь и всегда будешь помнить... Милая, милая Леля, я от души благодарен тебе за это и за те светлые минуты, которые мы проводили вместе с тобой. Не знаю, что ждет и что даст будущее, но прошлое никогда не исчезнет, и хотелось, чтобы и впредь оно осталось таким же светлым, ясным, как ясно сегодня синее небо. Хотелось бы, чтобы и в твоей душе оно не вызвало ни теперь, ни в будущем ни одного надрыва, ни упрека... Когда я непостоянный и ветреный человек, пытаюсь разобраться в своем чувстве к тебе, то нахожу какой-то сложный клубок различных чувств, тут и привязанность «старика» к дорогому ребенку, тут и обожание грешником небесной чистоты, есть здесь и нежность очерстевшего сердца к хрупкому цветку и многое еще чего трудно передать словами. Жаль, что мы долго не увидимся... Ну пока кончаю, любимая Леля. Жду от тебя большого и длинного письма. Если не напишешь, то я переью свое горе веревочкой и повешу его на первой осине и буду жить без сердца. Крепко, крепко целую твои милые руки.

Питирим.

3

5 июня 1915 г.

Вчера получил твое письмо, милая и хорошая Елена!

Был очень рад, собирался ответить, но отложил до сегодняшнего вечера. После длинных скитаний из Москвы в Рыбинск, из Рыбинска по Волге в Саратов, оттуда в Харьков мы прибыли в имение М.М. <Ковалевского> и вот уже пятый день живем в нем. Живем хорошо. Тихо и мирно. Втроем – М.М., Юрий <Юрий Павлович Конохов, студент> и я, не считая штата прислуги, рабочих и работниц... Ради разнообразия завтра, может, поедем в театр в Харьков... Одно время я хотел поехать на Север, теперь охота постепенно падает, хоть бы и хотелось повидать тебя, заглянуть тебе в глаза... Кажется, однако, не поеду, М.М., конечно, не задержит меня, но говорит, что ему грустно расставаться со мной как с хорошим другом. Да и мне начинает нравиться здешняя ритмическая жизнь... Эх, милая, дорогая Леля, хорошо вообще жить. Чем дольше я живу, тем больше от удивления хлопаю глазами. Куда еще жизнь занесет и что она преподнесет? Будем жить – увидим... Привет устюжанам.

4

Котлас. 5 августа. [1915 г.]

Дорогая, любимая, очень любимая Леля... но это не важно, а важно и хорошо то, что я тебя люблю. Люблю по-своему, но люблю. Грешен, люблю временами и других. Увы! Мое сердце, умеющее любить многих, но ведь ты знаешь это и знаешь, что в то же время очень тебя люблю. И ты ведь не сердишься на меня за это?.. Мне было грустно, когда ты уехала из Великого Устюга... В субботу пошел в город к тебе, но у сада встретился Борис и на мой вопрос: «Уехала Е.И.?», – услышал, увы, – «Да»... Сегодня выезжаю на Вятку. Думали было ехать на Архангельск... Трудно добыть билеты и решили на Вятку. А хотелось бы повидать сейчас тебя. У тебя были такие красивые глаза в последний вечер... Твой голос – милый из милых. Как ты поживаешь в богоспасаемом Сольвычегодске? И когда думаешь ехать в Питерские края? Приезжай поскорей, а то я буду скучать и брюзжать. Если бы сообщение с Сольвычегодском было получше, ей богу приехал бы на часок повидать тебя, пожить неделю с тобой, посмотреть в твои милые глаза, заглянуть и утонуть. Как бы я хотел крепко, крепко обнять тебя, распустить твои волосы и целовать, целовать... Но «увы»... А потому ставлю точку... Быть может, черкнешь что-нибудь в Питер. Буду рад.

Целую крепко. Твой Питирим.

5

[Почтовая открытка, отправленная из Петрограда по адресу:
Архангельск, Полицейская улица, д. 43]

22 декабря 1915 г.

Милая Елена Ивановна! Как Вы проводите каникулы? Надеюсь, хорошо? У нас оттепель и тошно. Я не вытерпел больше. Через два часа еду в глубь Финляндии дня на три-четыре... С собой не беру ни единой книги. Собираюсь тут спать, гулять и писать чепуху, называемую романом, если будет настроение... 27–26 буду обратно здесь... Если черкнете что, очень обрадуют. Привет всем Вашим и маме. Жму руку. Желая отдохнуть, поправиться и весело провести время.

Питирим Сорокин.

6

27 декабря 1915 г.

Милая Леля! Как уже писал Вам, 22 я уехал в Финляндию, прожил три дня, отдохнул и 26-го возвратился и бесцельно болтаюсь от Понтия к Пилату... Все ли благополучно с Вами. Может, в Архангельске совсем нет бумаги? Или нечем писать?.. Когда думаете выбираться в наши края?.. ждущий горячо Вас, а в худшем случае Вашего письма... Жму руку. Больше не ругаюсь.

Питирим.

7

1 июля 1916 г.

Глубокоуважаемая Елена Ивановна. Позвольте прежде всего поздравить Вас с будущим законным браком и пожелать Вам от души радостной и безмятежной жизни. А затем у меня к Вам просьба. Если случайно сохранились у Вас мои письма, то я очень бы просил Вас вернуть их мне или лично, или почтой, или хотя бы через Зепаловых. Вам они теперь не нужны. А мне хотелось бы еще раз пережить по ним прошлое и затем вместе с тем, что вызвало их, превратить их в прах и пепел... Вы мне писали всего одну открытку и три письма, из коих одно не дошло. Сохранилось только одно письмо. По приезду в Петроград я Вам возвращу его. (Оно там осталось.) Примите уверение в глубоком к Вам уважении и пожелания полного

счастья в Вашем будущем и благодарность за то хорошее, которое Вы дали в прошлом. Искренне уважающий и благодарный Вам Пителирим Сорокин.

(Цит. по: *Дойков Ю.* Пителирим Сорокин: человек вне сезона. Биография. Т. 1 (1889–1922). Архангельск, 2008, с.46–50; см. также: *Дойков Ю.* Елена Михайлова – архангельский адресат Пителирима Сорокина // Важская область. 1993, № 7–12, с. 6–13).

Елена Михайлова в 1916 г. вышла замуж за студента Петроградского университета Сергея Грандилевского. Но дальнейшая ее судьба, пишет Ю.В. Дойков, «сложилась трагически. Она умерла при родах 1 марта 1919 г. в Архангельске. Родившегося мальчика взял на воспитание ее отец, Иван Михайлович Михайлов, преподаватель архангельского педагогического техникума» (*Дойков Ю.* Пителирим Сорокин: человек вне сезона, с. 50). — 116

^{7*} Фамилия Лихачев больше нигде в романе не встречается. — 117

^{8*} Комедия окончена (*итал.*). — 119

^{9*} Если жизнь не удалась тебе, так смерть зато удастся – перефразировано название фельетона Л.Н. Андреева «Если жизнь не удастся тебе, то удастся смерть», впервые опубликованного в 1901 г. в газете «Курьер» (№ 305, 4 ноября) и восходящее к изречению ницшеовского Заратустры: «Иному не удастся жизнь: ядовитый червь гложет ему сердце. Пусть же постарается он, чтобы тем лучше удалась ему смерть» (*Ницше Ф.* Сочинения в 2-х тт. М., 1990, т. 2, с. 52: часть 1: О свободной смерти). — 119

^{10*} *Dixi* (*лат.*) – я сказал. Означает: «я сказал, что нужно было сказать, и уверен в своих аргументах». — 120

^{11*} Именно шесть лет ушло у Сорокина, чтобы пройти путь от студента (в 1909 г. он поступил в Психоневрологический институт) до сдачи магистерских экзаменов в 1915 г. (это и год начала его кратковременного, но, судя по письмам, весьма бурного «романа» с Е. Михайловой). — 120

^{12*} Рядом с названием «Идущий и не устающий» зачеркнуто название «Изгой». — 121

^{13*} Мф. 23, 24: Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. — 122

^{14*} В этих словах содержится прообраз того жизненного кредо, которым чуть позднее, в 1923 г., П.А. Сорокин закончит свою книгу «Листки из русского дневника»: «Что бы ни случилось со мной в будущем, я уверен, что три вещи навсегда останутся убеждениями моего сердца и ума. Жизнь, как бы ни была она тяжела, – это самая прекрасная, удивительная и чудесная вещь в мире. Только посвятив ее служению долгу, можно сделать ее счастливой и тем самым наполнить душу необоримыми силами, чтобы служить идеалам, – таково мое второе убеждение. И, наконец, в-третьих, я убежден, что жестокость, ненависть и несправедливость никогда не были и никогда не будут способны построить на земле Царство Божие» (*Сорокин П.А.* Листки из русского дневника. Социология революции. Сыктывкар, 2016, с. 234–235).

Впервые это свое кредо Сорокин изложил в записи, сделанной в альбом писателя и критика В.Ф. Булгакова (хранящийся в РГАЛИ): «Жить и действовать при всех условиях, стремиться любить людей и мир... Жизнь, даже самая тяжелая – великое благо по сравнению со смертью, а любовь – душа жизни. П. Сорокин, 19.04.1923» (Цит. по: *Дойков Ю.* Пителирим Сорокин в Праге. 1922–1923. Архангельск, 2009, с. 40). — 122

^{15*} Тетка Анисья – реальное историческое лицо. Это старшая сестра матери Пителирима Сорокина Анисья Васильевна Римских, жившая в деревне Римья и взявшая на воспитание младшего сына сестры Прокопия. Ей и ее мужу В.И. Римских Сорокин уделил несколько

теплых страниц в своих воспоминаниях. См.: *Сорокин П.А.* Дальняя дорога. Автобиография. М., 1992, с. 18–23. — 123

^{16*} Старшего брата Питирима Сорокина звали Василием. Он родился в 1885 г., так что в год смерти их матери ему девять или десять лет. — 123

^{17*} Светец – приспособление для укрепления горящей лучины. — 123

^{18*} Мать П.А. Сорокина Пелагея Васильевна умерла 7 марта 1894 г., когда ему было пять лет. С этого момента начинаются его «осознанные воспоминания». См.: *Сорокин П.* Дальняя дорога. Автобиография. М., 1992, с. 11–12. — 124

^{19*} Вертоградарь – то же, что садовник или виноградарь (от *церковно-слав.* вертоград – «сад» (особенно плодовый), «виноградник»). — 124

^{20*} Отец Питирима Сорокина – Александр Прокопьевич (ум. в 1900 г.). В действительности – диплом и нагрудный знак, удостоверяющие, что «Александр Прокопьевич Сорокин – золотых, серебряных и чеканных дел мастер». См.: Там же, с. 17–18. — 125

^{21*} В архивных материалах есть страница рукописного текста с нумерацией для вставки в эту главу. Этот отрывок отчасти повторяет текст на с. 127–128.

«Главным ремеслом были: чеканка иконных риз, чистка, серебрение и золочение церковной утвари и рядом с ними – малярство. Сколько сел было исхожено! Сколько риз нашей работы и до сих пор, поди, красуется в заброшенных сельских церквях! Немало и лиц перевидали мы в наших скитаниях из села в село... Были между ними всякие... И добрые, и злые. И дни выпадали всякие – и радостные и невеселые...

Была работа – все было хорошо...

– Эй, ребята, пора вставать! – Будил нас голос отца.

Вставали и, попив чаю или молока, принимались за чеканку.

...Зимний день... Солнце капризно играет на разужоренных морозом окнах и блестит на вычищенном листе меди... В избе приятно пахнет разогретой смолой, налитой на доску, к которой приклеивалась медь.

На листе видны “накамфаренные” точки, отмечающие лицо, руки и облик святителя... Можно приниматься за чеканку... Вынимаются чеканы, и начинается работа.

– Тук, тили-тим-тим! – стучают три молотка по чеканам. Удары красиво звенят и сливаются друг с другом. Каждый удар – творчество. С каждым ударом яснее и яснее обрисовывается фигура святого на медной доске. Отец отчеканивает фигуру и главные складки одежды, брат – омофор, а я усыпаю его жемчугами и сапфирами...

– И-и-же херувимы, – запекает отец. Трезвый он тихий, благообразный. Или рассказывает что-нибудь, или, работая, поет и непременно божественное.

– Тайно образуяще, – подхватываем мы. Голоса стройно сливаются с ударами, молоток и чеканы аккомпанируют пению, медь блестит, смола так хорошо пахнет, а солнечные зайчики весело прыгают к потолку и стенам избы...

– Трисвятую песнь припевающе, – льются слова...

Радость творчества охватывает нас. Дух Божий носится над нами и светит нам “светом тихим святых славы”.

– Ну, ребяташки, пойдёмте похлебаем щец, – около полдня говорит отец... Встаем и идем обедать». — 126

^{22*} О понимании П.А. Сорокиным «аккордов жизни» см. его одноименный рассказ в наст. томе (с. 79–87). — 127

^{23*} Омофор – нарамник, облачение архиепископа, покрывающее плечи. Символизирует овцу, заблудшую и принесенную добрым пастырем на плечах в дом (Лк. 15; 4, 7), т.е. спасение человеческого рода Иисусом Христом. — 127

^{24*} Слова из «Херувимской песни», которая поется на Литургии и служит подготовкой верующих к великому входу; с точки зрения большинства литургистов, не является молитвой, а описывает действия, невидимо происходящие в данный момент Литургии.

Здесь и чуть далее Сорокин цитирует ее первую часть: Иже Херувимы тайно образуяще и Животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение (Мы, таинственно изображающие Херувимов и воспевающие Животворящей Троице Трисвятую песнь, да оставим ныне всякую житейскую заботу). — 128

^{25*} Начальные слова одного из древнейших христианских песнопений «Свете тихий»: «Свете тихий Святыя славы, безсмертнаго Отца Небеснаго, Святаго Блаженнаго, Иисусе Христе: пришедше на запад солнца, видевшe свет вечерний, поем Отца, Сына, и Святаго Духа, Бога...» — 128

^{26*} Кудель – пучок вычесанного льна, пеньки или шерсти, приготовленный для прядения. — 129

^{27*} Архидьякон Стефан – святой Стефан, первый христианский мученик, привлеченный к суду Синедриона и побитый камнями за проповедь христианства в Иерусалиме ок. 33–36 г. — 129

^{28*} Имеется в виду Георгий Победоносец – христианский святой и великомученик, пострадавший во время гонений при императоре Диоклетиане; в 303 или 304 г. он после восьмидневных тяжких мучений, был обезглавлен.

Одним из самых известных посмертных чудес святого Георгия является убийство копьём змея (дракона), опустошавшего землю одного языческого царя в Бейруте. По преданию, когда выпал жребий отдать на растерзание чудовищу царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил змея копьём, избавив царевну от смерти. Явление святого способствовало обращению местных жителей в христианство. — 129

^{29*} Пахомий Великий (ок. 292 – ок. 346 или 348) – египетский монах, бывший языческий жрец бога Сераписа. Основал первый христианский общежительный монастырь и составил для него первый монастырский устав. В православии почитается как святой в лике преподобных. — 129

^{30*} Молитва из кондака (свертка пергамента, на котором написаны церковные песнопения), читаемая в родительские субботы (субботы, в которые, по установлению церкви, совершается поминовение умерших: суббота мясопустная, троицкая, второй, третьей и четвертой седмиц великого поста). — 130

^{31*} По-видимому, речь идет о Георгии Победоносце пострадавшем при императоре Диоклетиане во время «великого гонения» на христиан, начавшегося в 303 г. и продолжавшегося при его наследниках до 313 г. Согласно житию, святой Георгий родился в III в. в семье христиан в Палестине. Поступив на военную службу, он стал одним из тысяченачальников и любимцем императора Диоклетиана. Но, когда начались гонения на христиан, он, будучи в Никомидии, раздал имущество бедным и перед императором объявил себя христианином, после чего его арестовали и пытали в течение нескольких дней.

В первый день, когда его стали толкать в темницу колыями, одно из них сломалось чудесным образом, словно соломинка. Затем его привязали к столбам, а на грудь положили тяжёлый камень.

На следующий день его подвергли пытке колесом, утыканным ножами и мечами. Диокле-тиан счел его мертвым, но вдруг явился ангел, и Георгий приветствовал его, как это делали воины, тогда император понял, что мученик еще жив. Его сняли с колеса и увидели, что все раны исцелились.

Затем его бросили в яму, где была негашеная известь, но и это не повредило святому.

Через день ему перебили кости на руках и ногах, но наутро они опять стали целыми.

На пятый день его заставили бежать в раскаленных докрасна железных сапогах (или в сапогах с острыми гвоздями внутри). Всю следующую ночь он молился и наутро опять предстал перед императором.

После этого его избили плетью (воловыми жилами) так, что со спины слезла кожа, но он восстал исцеленным.

На седьмой день его принудили выпить две чаши со снадобьями, от содержимого одной из которых он должен был лишиться разума, а от второй – умереть. Но они не повредили ему. Затем он совершил несколько чудес (воскресил умершего и оживил павшего вола), что заставило многих обратиться в христианство. После всех этих пыток Георгия на восьмой день обезглавили. — 130

^{32*} Об этих двух случаях Питирим Сорокин рассказывает и в автобиографии. «Однажды, – пишет он, – крася крутую железную крышу церкви, я неосторожно покрыл краской пространство вокруг себя. Шагнув к неокрашенной поверхности, я заскользил к краю крыши, расположенному метрах в тридцати от земли. Я позвал помощь и всей силой пальцев стал цепляться за едва выступающие стыки железных листов, настеленных на крыше. Эта отчаянная хватка остановила мое скольжение и дала Василию возможность бросить мне веревку. Я вцепился в нее и был вытащен из свежеокрашенного круга. Если бы Василий и веревка не оказались поблизости или он промедлил бы мгновение, прежде чем бросить веревку, моя жизнь тогда бы, вероятно, и закончилась».

В другой раз мы с Василием и еще два помощника поднимали и крепили тяжелые длинные лестницы на колокольню собора в Яренске. Эта операция в общем-то являлась одной из самых опасных фаз работы, особенно в церкви с узкой крутой крышей у основания колокольни или купола, на который должна была быть водружена и накрепко прикреплена к маковке лестница.

Погруженные в это трудное дело, мы не заметили собирающуюся бурю, пока резкие порывы ветра, гром и молнии не захватили нас врасплох. Жестокий шквал сорвал еще не закрепленные лестницы и загнал нас на узкий уступ, открытый всем ветрам разбушевавшейся стихии. Мы отчаянно цеплялись за крепкую веревку, заранее обвязанную вокруг основания колокольни, и вжимались в камни, насколько было возможно. Это спасло нас, и ветру не удалось сдуть меня и Василия вниз. Когда буря прошла, горожане помогли нам слезть с надежного карниза» (*Сорокин П.А. Дальняя дорога*, с. 26–27). — 131

^{33*} По-видимому, это какая-то местная газета типа «Вологодского листка» или «Эха». К сожалению, эту заметку найти пока не удалось. — 132

^{34*} Покров Пресвятой Богородицы – православный праздник, считающийся одним из великих; имеет фиксированную дату празднования – 1 октября по юлианскому календарю (14 октября по новому стилю). — 132

^{35*} Морда – рыболовная снасть, ловушка, имеющая вид двух вставленных один в другой конусов, сплетенных из прутьев. Используется для ловли у самого берега. Известна с глубокой древности. — 135

^{36*} Четьи-Минеи – в православной церкви одна из книг, предназначенных для внебогослужебного чтения, содержащая более или менее пространные жития святых, а также сказания о церковных праздниках и поучения. — 137

^{37*} Коковкины – реальные жители села Римья, находившиеся в дальнем родстве с П.А. Сорокиным. «Старик Коковкин» – это, возможно, Иван Коковкин. Сорокин знал (и называл в своих сочинениях) и других Коковкиных – Василия Николаевича и Федора. А.В. Липский сообщает, что «первый выпуск Гамской школы [в 1904 г.] состоял из пяти человек. Вот их имена в алфавитном порядке, так, как они записаны на первых страницах книги учета выданных свидетельств об окончании учебного заведения: Балин Яков, солдатский сын, Захаров Иван, солдатский сын, Коковкин Федор, крестьянский сын, Матвеев Стефан, крестьянский сын, и Сорокин Питирим, сын мещанина» (*Сорокин П.А. Дальняя дорога*, с. 259). — 137

^{38*} «Бог Саваоф» (1885) – картина В.М. Васнецова. — 137

^{39*} Ин. 11, 25: Я емь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. — 137

^{40*} Радеть – заботиться о ком-либо, проявлять усердие, старание по отношению к чему-либо. — 137

^{41*} Афанасий Затворник (ум. ок. 1176) – инок Киево-Печерского монастыря, православный святой, почитаемый в лике преподобных.

П.А. Сорокин почти полностью приводит «Житие преподобного Афанасия Печерского»: «Сей преподобный Афанасий был иноком в святом монастыре Печерском, проводя святую и Богоугдную жизнь. После долгой болезни, он умер. Братия отерли тело его и положили в пелены, как подобает умершему иноку. Усопший лежал непогребенным два дня по причине некоторого замедления. Ночью игумену было явление, и он слышал голос:

– Человек Божий Афанасий два дня лежит непогребенным, а ты об этом не заботишься.

Как только наступило утро, игумен пришел с братиею к умершему, чтобы совершить его погребение – и вдруг они увидели, что он сидит и плачет. Все пришли в ужас, видя, что он жив, и стали его спрашивать, как он ожил и что видел или слышал. Он же в ответ говорил только одно:

– Спасайтесь!

Но они стали еще больше упрашивать его, желая услышать от него что-нибудь для них полезное. Тогда он сказал им:

– Если вам я скажу, то вы не поверите и не послушаете меня.

Братия же поклялись ему, что они соблюдут всё, что он скажет им. Тогда воскресший сказал им:

– Имейте послушание во всем к игумену, кайтесь каждый час и молитесь Господу Иисусу Христу, и Его Пречистой Матери, и преподобным отцам Антонию и Феодосию, дабы здесь, в этой обители, кончить жизнь свою и удостоиться быть погребенными со святыми отцами в пещере: ибо эти три добродетели выше всех других. И, если кто исполнит все сие, как подобает по чину, блажен будет, только бы не возгордился. О прочем не спрашивайте меня, но умоляю: простите меня.

Сказав это, он пошел в пещеру и, затворив за собою двери, пробыл там безвыходно двенадцать лет. Никогда после того он уже не видал солнца, беспрестанно день и ночь плакал; вкушал лишь немного хлеба и воды, и то только через день, и во всё это время не сказал никому ни одного слова. Когда же приблизилось время кончины Афанасия, он призвал братию и сказал им всё то, что говорил прежде о послушании и покаянии, и почил с миром о Господе, и положен был с честью в той пещере, где подвизался». — 137

^{42*} Феодор Студит (759–826) – византийский церковный деятель и писатель, с 798 г. настоятель Студийского монастыря в Константинополе; в своих сочинениях проповедовал общежительный монастырь, основанный на строгой дисциплине занятых производительным трудом монахов. — 139

^{43*} Согласно житию, Алексей Божий человек родился в знатной римской семье. Его родители были благочестивыми христианами, помогавшими обездоленным и нуждающимся. Для своего сына родители выбрали невесту из знатной фамилии. В ночь после обручения Алексей, оставшийся со своей невестой наедине, отдал ей поясную пряжку и обручальное кольцо, сказав: «Сохрани это, и да будет между тобою и мною Господь, доколе не обновит нас Своей благодатью». После этого он покинул родной дом и отплыл на корабле на Восток.

После прибытия в Лаодикию Сирийскую Алексей пристал к погонщикам мулов и добрался с ними до Эдессы. Здесь Алексей раздал остатки имущества, оделся в лохмотья и стал просить милостыню. В течение последующих семнадцати лет Алексей жил милостыней, питался только хлебом и водой, а все ночи проводил в бдении и молитве. За эти годы святой так изменился внешне, что слуги, посланные его родителями на розыски пропавшего сына и посетившие в том числе Эдессу, подали ему милостыню, но не узнали его.

По истечении семнадцати лет подвижничества молва о святости Алексия широко распространилась по всей Сирии. Более того, эдесскому церковному сторожу сама Пресвятая Богородица указала на Алексия как на святого. От почитаемой чудотворной иконы Богоматери раздался глас, назвавший Алексия человеком Божиим. Так продолжалось несколько ночей подряд. Смущённый оказываемым ему всенародным почтением, Алексей тайно бежал из Эдессы, намереваясь на корабле переправиться в Тарс. Но корабль попал в бурю и через много дней был прибит к итальянским берегам.

Никем не узнанный Алексей вернулся в Рим и пришел в свой родной дом. Его родители не узнали сына, но позволили ему остаться в их доме. Алексей жил в каморке под лестницей, и к нему был приставлен слуга, которому было приказано кормить странника пищей с хозяйского стола. Остальные слуги из зависти исподтишка оскорбляли Алексия, но он принимал оскорбления со смирением. Живя в богатом доме, Алексей продолжал пребывать в непрестанном посте и молитвенном бдении. Наиболее тяжким испытанием для святого было слышать рыдания его матери и невесты, продолжавших его оплакивать. Так прошли еще семнадцать лет.

В 417 г. во время воскресной литургии в соборе св. Павла глас Божий указал молящимся: «Ищите человека Божия, чтобы он помолился о Риме и всем народе его». В следующий четверг тот же глас указал народу: «В доме Евфимиана (отца Алексия) человек Божий, там ищите». Император Гонорий и папа Иннокентий I напрасно спрашивали Евфимиана – он ничего не знал о живущем в его доме праведнике. И лишь тогда приставленный к Алексию слуга рассказал Евфимиану о подвижничестве Алексия.

Евфимиан, поспешно вернувшись в свой дом, не застал Алексия в живых. Лицо усопшего сияло, а в руке у него был некий свиток. Напрасно Евфимиан и домашние пытались изъять свиток из рук святого. Только когда прибывший в дом папа Иннокентий I испросил у святого позволения прочесть свиток, рука Алексия разжалась. Из свитка присутствовавшие узнали о том, кем на самом деле был человек Божий.

Тело Алексия было выставлено для прощания на площади, и при его гробе произошли многочисленные исцеления. Папа и император лично несли тело святого в погребальной процессии и похоронили его в церкви святого Вонифатия на Авентинском холме. — 139

^{44*} Евдокия Илиопольская (ум. ок. 160–170) – раннехристианская святая, почитаемая как преподобномученица. По происхождению была самарянкой, проживала в финикийском городе Гелиополе. Отличалась красотой и, будучи блудницей, заработала огромное состояние.

Была обращена в христианство монахом Германом. Согласно житию, принятию ею крещения предшествовало явление Евдокии архангела Михаила, который вырвал ее из лап сатаны. Став христианкой, Евдокия отдала все свое состояние Гелиопольскому епископу Феодоту, а сама приняла постриг в женском монастыре, расположенном рядом с обителью, в которой жил Герман. После смерти игуменьи монастыря Евдокия, прославившаяся добродетелями и аскетизмом, была избрана ее преемницей. До местных властей дошли слухи, что в монастыре сокрыто огромное сокровище, и местный правитель направил воинов обыскать монастырь. Но воины три дня не могли войти в монастырь, удерживаемые божественной силой, а затем на них напал огромный змей, уничтоживший почти весь отряд. Евдокия же имела видение, что ей суждено пострадать за Христа, поэтому она добровольно отдала себя в руки воинов. Евдокию привели к наместнику Диогену, который был восхищен ее красотой. Но она выразила готовность пострадать за Христа, и тогда наместник велел повесить ее на дереве и четверем воинам жестоко бичевать. Воины взяли её, обнажили до пояса и повесили. Когда ее раздевали, с груди её спала часть Пречистого и Животворящего Тела Господня, взятая ею при выходе из монастыря. Слуги, не зная, что это такое, подняли и принесли наместнику. Протянув руку, он хотел взять ее, и тотчас часть Пречистого Тела Владыки превратилась в огонь, и великий пламень попал на слуг мучителя и повредил левое плечо самому наместнику.

После этого на наместника *«ниспал огонь, как молния, и умертвил его, опалив тело, как головню»*, но по молитве Евдокии он был воскрешен и стал христианином. После этого Евдокия продолжила жить в своем монастыре и претерпела мученическую смерть (усечена мечом) около 160–170 гг. — 139

^{45*} Вот что пишет Питирим Сорокин об отце в своих воспоминаниях: «Отец после смерти мамы начал заливать свое горе водкой, постепенно превращаясь в хронического пьяницу. “Ее смерть подкосила меня, как тростинку”, – жаловался он в подпитии. <...> У меня сложилось два противоположных образа отца: трезвого родителя и горького пьяницы. Будучи трезвым, он был замечательным человеком, отзывчивым и заботливым, дружелюбным со всеми соседями, работающим и честным в труде, терпеливо обучавшим нас ремеслу, нормам морали и грамоте. <...> Этот образ трезвого отца до сих пор сохраняется в моей памяти как теплое и доброе воспоминание.

К сожалению, периоды трезвости, длившиеся неделями и даже месяцами, сменялись полосунами запоя. Иногда его пьянство оканчивалось белой горячкой. <...>

В периоды запоя отец становился подавленным, раздражительным, слезливым, жалея свою “загубленную, как тростинку”, жизнь. Редко, но случалось, что он становился агрессивным в приступе раздражительности. Во время одной из таких вспышек, отец, обозлившись на нас по какой-то причине, схватил подвернувшийся под руку деревянный молоток (киянку) и ударил брата по руке, а меня по лицу. К счастью, удары были несильными. Тем не менее брат несколько дней едва мог шевелить рукой, а моя верхняя губа деформировалась, и след от удара не исчезал много лет. Эта вспышка агрессии случилась, когда мне было десять, а брату Василию – четырнадцать лет. Глубоко обиженные таким из ряда вон выходящим насилием, мы бросили отца на следующий день и начали самостоятельную жизнь бродячих ремесленников. Мы переходили из села в село в одном районе, а отец в это время странствовал в другом. Мы никогда уже не встречались. Примерно через год он умер в селе, довольно далеко от нас. По причине плохих средств сообщения в ту пору, мы узнали о его кончине лишь несколько недель спустя. Упокой, Господи, его душу в царстве небесном! Он умер страшно одиноким – так же, как и жил после смерти матери, совсем один. Несмотря на пьянство, образ доброго, трезвого отца полностью преобладал – и когда мы жили с ним вместе, и поныне этот образ сохраняется в моей памяти. Даже в пьянстве отец не имел ничего общего с фрейдовским типом “отца-тирана”, бесчувственного и жестокого к детям. Исключая

периоды запоя, которые, к счастью, были короче периодов трезвости, наша семья – отец, старший брат и я (младший брат Прокопий жил с моей теткой и ее мужем) – была хорошим, гармоничным коллективом, связанным воедино теплой взаимной любовью, общими радостями и печальми и богоугодным творческим трудом» (*Сорокин П.* Дальняя дорога, с. 16–19). — 141

^{46*} В автобиографии, написанной для американского читателя, Сорокин совсем иначе рассказывает историю своего старшего брата. «Как я сам и многие другие, Василий “заразился” революционными идеями и настроениями в Санкт-Петербурге в 1905–1907 годах. Его подрывная деятельность вскоре была раскрыта царской охранкой (тайной полицией). В конце концов брат был арестован и “в административном порядке”, т.е. без суда и следствия, сослан в Сибирь на долгие годы. Как все политические ссыльные, в начале революции 1917 г. он был освобожден правительством Керенского.

После образования правительства коммунистов Василий участвовал в антибольшевистской деятельности. Осенью 1918 года на архангельско-устюжском фронте во время гражданской войны он был схвачен и расстрелян коммунистическими палачами. Так закончилась его полная приключений, богатая событиями, но не слишком счастливая жизнь» (*Сорокин П.* Дальняя дорога, с. 20). Текст «Предтечи» и недавние архивные находки позволяют усомниться в этой версии. Ю. Дойков обнаружил в Вологодском областном архиве список лиц, содержащихся в Северо-Двинской тюрьме, среди которых значится красноармеец Василий Сорокин, арестованный за кражу и поступивший в тюрьму 5 декабря 1918 г. Утверждать определенно, что это брат Питирима Сорокина, нельзя, однако, как справедливо отмечает Ю. Дойков, «вопрос о судьбе старшего брата П.А. Сорокина – В.А. Сорокине остается открытым» (*Дойков Ю.* Елена Михайлова – архангельский адресат Питирима Сорокина // *Важская область.* 1993, № 7–12, с. 10, 13). — 141

^{47*} Вене (*итал.*) – хорошо. — 143

^{48*} Ср. с позднейшим признанием Сорокина в «Дальней дороге»: «Я точно не помню, как, когда и где я выучился письму, чтению и счету» (*Сорокин П.А.* Дальняя дорога. Автобиография. М., 1992, с. 30). — 143

^{49*} Ср. с позднейшими воспоминаниями Сорокина: «Первым моим учителем была простая крестьянка из Римьи, которая учила нескольких деревенских детей читать, писать и считать в своем доме. Я помню эту “школу” потому, что там я получил мою первую и самую дорогую награду за успехи в учебе. Это была обертка от леденца. До сих пор отчетливо вижу желто-зеленое изображение груши на фантике и вспоминаю ту радостную гордость, с которой принимал награду. Я показал ее тете и дяде и в конце концов прикрепил картинку на стене дома рядом с иконами. Ни один из дипломов, премий и почетных званий, данных мне большими учебными заведениями и научными институтами, не окрыляли меня так сильно, как эта простенькая награда» (*Сорокин П.А.* Дальняя дорога. Автобиография. М., 1992, с. 30). — 145

^{50*} Ордена Российской империи.

Императорский орден Святого равноапостольного князя Владимира (в 4-х степенях) учрежден в честь князя Владимира Крестителя в 1782 г. и являлся до 1917 г. наградой для широкого круга военных в чине от подполковника и чиновников среднего ранга.

Императорский и Царский орден Святого Станислава – учрежден в 1831 г. и был самым младшим по старшинству в иерархии государственных наград, главным образом для отличия чиновников. — 145

^{51*} Надворный советник – гражданский чин VII класса в Табели о рангах в России. Соответствовал чином подполковника в армии, войскового старшины у казаков и капитана второ-

го ранга во флоте. Официальное обращение: «Ваше высокоблагородие». Знаками различия данного чина являлись двухпросветные петлицы, или погоны с тремя звездами.

Статский советник – гражданский (статский) чин V класса в российской Российской Табели о рангах. Соответствовал должности вице-директора департамента, вице-губернатора, председателя казенной палаты и чину бригадира армии и капитан-командора флота. После отмены в 1796 г. армейского звания бригадира занимал промежуточное положение между званиями полковник и генерал-майор. — 145

^{52*} Четьи-Минеи – см. прим. 36* на с. 475.

Гуак и Бова – герои русского фольклора и лубочных сказок XVIII в. — 145

^{53*} Село Гам (в 10 верстах от Жешарта), в котором находилась второклассная школа (школа второй ступени). Сорокин поступил в нее в 1901 г. и закончил в 1904 г. Здание школы сохранилось до наших дней. — 145

^{54*} Иван Семенович Барков (1732–1768) – русский поэт, автор эротических, «срамных од», переводчик Академии наук, ученик М.В. Ломоносова, поэтические произведения которого пародировал. Последние издания его стихов: Девичья игрушка, или Сочинения господина Баркова. М., 1992; Стихотворения. СПб., 2001.

Вот два сравнительно «невинных» образчика его творчества:

Девичья память

Худая память, врут, все будто у седых,
А я скажу: она у девок молодых.
Спросили однаю, при мне то дело было,
– Кто еб тебя теперь? Она на то: – Забыла.

Акростих

Ходила девушка во храм оракул вопрошать,
Узнать, чем можно ей себя от бледности спастъ.
Ей слышится ответ: «К леченью способ весь,
Моя красавица, в начальных словах здесь». — 148

^{55*} «Давид Копперфильд» – автобиографический роман Ч. Диккенса (1849). — 149

^{56*} Начало русской пословицы: «Велика Федора, да дура, а Иван мал, да удал». — 149

^{57*} Прообразом Колыбина послужил Николай Дмитриевич Кондратьев – близкий друг Сорокина, в будущем – ученый-экономист с мировым именем, с которым Сорокин познакомился в 1905 г., когда тот поступил в Хреновскую церковно-учительскую духовную семинарию. — 150

^{58*} После окончания двухклассной церковно-приходской школы в селе Гам П.А. Сорокин в 1906 г. поступил в церковно-учительскую школу в селе Хреново Кинешемского уезда Костромской губернии, из которой (вместе с Н.Д. Кондратьевым) был исключен в 1906 г. за революционную деятельность. — 150

^{59*} То есть партии эсеров, в которую П.А. Сорокин вступил в 1906 г. — 150

^{60*} Сорокин был арестован в декабре 1906 г. и четыре месяца провел в заключении в тюрьме в г. Кинешма. — 150

^{61*} Императорское Общество покровительства животным организовано русскими дворянами в период царствования и при покровительстве императора Александра III. При

императоре Николае II покровительницей Общества была императрица Александра Федоровна. — 151

^{62*} «Все связано цепью необходимости и устроено к лучшему» – основная максима философа Панглоса (а не Кандида) из философской повести Вольтера «Кандид» (*Вольтер. Орлеанская девственница. Магомет. Философские повести. М., 1971, с. 414*). В образе философа Панглоса Вольтер создал пародию на учение Лейбница о «предустановленной гармонии». — 151

^{63*} В черновике рукописи содержится следующий фрагмент текста, зачеркнутый Сорокиным:

«...Фомка с соседом Кузнецовым решили бежать... Больше месяца делали подкоп: разобрали пол, рыли землю, пробивали стену... “Тук, тук” ... глухо раздавалось в часы, когда надзиратели были далеко... Вырытую землю ссыпали под рубашку и выносили в отхожее место. О подкопе знали многие и, как могли, помогали, горланили песни, чтобы заглушить удары, кричали “скоро чай”, когда приближался надзиратель. Подкоп подходил к концу... За день до бегства его открыли, кто-то, должно быть, донес начальству. Кто – я не знаю. Каторжников перевели в другую камеру, усилили надзор. Тюрьма негодовала... О чем-то шушукалась, что-то замышляла. Через несколько дней выяснилось, о чем... Был в тюрьме плюгавенький, маленький арестант Кобычев. Он был парашником... По субботам в тюрьме была баня. В ней арестанты смывали грязь. В ней же они занимались и содомией. Делали это открыто. Обычно с молодыми ребятами. Нередко и с взрослыми, с теми, кого хотели “лишить чести”... Тюрьма – копия государства. Среди ее обитателей есть свои законы, свой суд, своя справедливость и своя лестница наказаний. В воскресенье утром обнаружилось убийство... В чане с горячей водой найден был труп Кобычева. Все тело было покрыто синими пятнами и кровавыми ссадинами. Чем-то тяжелым били его. Лицо было обезображено... Началось следствие. Тюрьма молчала. “Собаке-доносчику – собачья и смерть”, – шептала она... Так и не выяснили, кто был убийцей... Есть своя солидарность и в тюрьме». — 151

^{64*} Неточная цитата из Евангелия от Матфея: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною» (16, 24). Об оставлении отца и матери речь идет в другом месте – Мф. 19, 29. — 153

^{65*} «Экспроприация экспроприаторов», «обобществление орудий производства», «экономика – основной фактор», «борьба классов – закон истории», «нравственность современная – отрывка капитализма» – тезисы и программные требования марксистов и социал-демократов; «Свобода, равенство и братство» – главный лозунг Великой французской революции; «В борьбе обрешь ты право свое», «земля и воля» – девиз и основной лозунг партии эсеров. — 154

^{66*} Согласно «готтентотской морали», разница между добром и злом состоит в следующем: «Добро – это когда я уведу чужих жен и коров, а зло – когда у меня уведут моих». См.: *Соловьев В.С. Сочинения в 2-х тт. М., 1988, т. 2, с. 651 («Три разговора»); т. 1, с. 98–99 («Оправдание добра»)*. После В.С. Соловьева выражение «готтентотская мораль» и ее определение стали расхожими. — 154

^{67*} «Православие, самодержавие, народность» – «формула» самодержавного правления Николая I, выдвинутая министром народного просвещения С.С. Уваровым в 1835 г. — 155

^{68*} Герберт Спенсер (1820–1903) – английский философ и социолог, один из родоначальников эволюционизма, идеи которого пользовались большой популярностью в конце XIX в., основатель органической школы в социологии; идеолог либерализма. Его социологические взгляды являются продолжением социологических воззрений К.-А. Сен-Симона и О. Конта.

Его труд «Социальная статика: изложение социальных законов, обуславливающих счастье человечества» был издан в 1850 г.

«Социальную философию, – пишет Спенсер, – точно так же, как и политическую экономию, можно разделять на статику и динамику – первая обсуждает условия равновесия в совершенном обществе, вторая – силы, посредством которых общество приближается к совершенству. Первая занимается законами, которыми мы должны руководствоваться для достижения совершенного счастья; вторая рассматривает влияния, которые порождают в нас способность следовать этим законам» (*Спенсер Г.* Социальная статика. Киев, 2013, с. 405). — 155

^{69*} Последний, решающий довод (*лат.*). Происхождение выражения – надпись на французских пушках, которая чеканилась на них до 1790 г.: *ultima ratio regis* – последний довод королей. — 156

^{70*} Томас Торквемада (*Torquemada*; 1420–1498) – глава испанской инквизиции, по приговорам которого было сожжено или казнено другими способами несколько тысяч человек. — 156

^{71*} Брамины (брахманы) – представители высшей касты в Древней Индии; шудры – представители низшей касты. — 156

^{72*} Прообразом Барачевского послужил Иван Адамович Боричевский (1886–1941), который в 1915 г. окончил историко-филологический факультет Петроградского университета, в студенческие годы вступил в РСДРП(б), в будущем стал советским историком философии и выступал с критикой П.А. Сорокина. — 157

^{73*} На эту тему П.А. Сорокин написал статью «Современная любовь» (*Северный гусляр*. 1915, № 4; подписана псевдонимом П. Римус). В «современной любви», по мнению Римуса-Сорокина, «резко наблюдается» «совмещение “идеала” и “одеяла”» (*Сорокин П.А.* Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М., 1994, с.265). — 159

^{74*} Пшют – то же, что фат, пошляк. — 159

^{75*} Ключи счастья – название романа Анастасии Вербицкой (1861–1928). — 160

^{76*} Две первые и две последние строки стихотворения М.Ю. Лермонтова «Утес» (1841). Предпоследняя строка цитируется неточно; у Лермонтова: «Он стоит, задумался глубоко» (*Лермонтов М.Ю.* Собрание сочинений в 4-х тт. М., 1957, т. 1, с. 69). — 162

^{77*} Чертова кожа – очень прочная блестящая ткань, обычно черного или белого цвета. — 163

^{78*} Пестрядь – непрочная, легко рвущаяся ткань, которую ткали из очесов хлопка, это была самая дешевая ткань. Соответственно пестрядинная или пестрядевая рубаха – рубашка, сшитая из этой ткани. — 163

^{79*} То есть ученики реальных училищ или реальных гимназий, в которых существенная роль отводилась математическим и естественным наукам. — 165

^{80*} Бальянтрас – шутник, несерьезный человек. — 168

^{81*} Цитата из «Элегии» («Безумных лет угасшее светило...») А.С. Пушкина (1830):

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть – на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

(Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 тт. М., 1981, т. 10, с. 181). — 174

^{82*} Майбыр – метафорическое обозначение удачливого человека на коми языке. — 174

^{83*} Прообразом «своего человека» является Каллистрат Фалалеевич Жаков (1866–1926) – этнограф, философ и писатель, первый зырянин (коми), получивший профессорское звание. Работал преподавателем в Петербургском университете, Психоневрологическом институте, на Общеобразовательных курсах А.С. Черняева, на которые по его протекции в 1907 г. поступил Питирим Сорокин. Подробнее о нем см.: *Сорокин П.* Дальняя дорога, с. 45–46. — 179

^{84*} Черняевские курсы (Санкт-Петербургские общеобразовательные курсы А.С. Черняева), основанные А.С. Черняевым, представляли собой частное среднее учебное заведение, соединявшее в себе особенности классической и реальной школы. К преподаванию на курсах привлекались профессора петербургских вузов, их лекции не очень сильно отличались от лекций для студентов первых двух курсов университета. На курсах Черняева читали лекции такие известные ученые, как В.М. Бехтерев, С.А. Венгеров, Н.Е. Введенский, К.Ф. Жаков, П.Л. Маштаков и др. Именно вечерние Черняевские курсы, которые П.А. Сорокин окончил за два года, не только помогли ему подготовиться к экзаменам за гимназический курс, но и ввели его в научное сообщество, показав новые горизонты развития и самосовершенствования. В разное время на Черняевских курсах обучались: Н.Д. Кондратьев, М.И. Лопухин, Янка Купала, И.И. Садофьев, П.И. Баранов, М.И. Артамонов и многие другие, в будущем – известные политические деятели и люди науки и искусства. — 179

^{85*} Фактически перечислены этапы петербургского периода жизни самого Питирима Сорокина: курсы – Черняевские общеобразовательные курсы (1907–1909); экзамен зрелости – сдача экстерном экзаменов на аттестат зрелости в Велико-Устюжской мужской гимназии (май 1909 г.); университет – поступление в Психоневрологический институт (1909), переход в Санкт-Петербургский университет (1910) и его окончание в 1914 г.; начало профессорской карьеры – сначала приват-доцент (1914), а потом профессор (1916) Психоневрологического института. Хотя никакого «разрыва с учеными руководителями» у Сорокина не было, тем не менее в 1911 г. он отказался от сдачи экзаменов «в знак протеста против самодержавия и подавления академических свобод», и «эта глупость» стоила ему стипендии на следующий год (стипендия была вновь предоставлена ему на третьем и четвертом курсах (см.: *Сорокин П.* Дальняя дорога, с. 62–63). Все остальные события («провал на магистерском экзамене», «одинокая замкнутая жизнь») – художественный вымысел. — 180

^{86*} Жизнеописание (*лат.*). — 180

^{87*} Лазарь – персонаж из притчи о богаче и нищем Лазаре. «Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его [богача] в струпьях. И желал напитаться крошками, падающими со стола богача; и псы приходя лизали струпья его» (Лк. 16; 20–21). — 180

^{88*} Цитата из стихотворения Э. Верхарна «К жизни» в переводе В. Чернова, опубликованном в журнале «Русское богатство» (1909, № 3). — 182

^{89*} Описывая лабораторию Никуличева, Питирим Сорокин, по сути описывал научно-исследовательские лаборатории Психоневрологического института, который в начале XX в. считался самым демократичным высшим учебным заведением. Он был создан по инициативе

В.М. Бехтерева и при поддержке Всероссийского съезда по педагогической психологии, проходившего в 1906 г. Институт открыл свои двери для слушателей в феврале 1908 г. и в глазах широких кругов населения был призван продолжать дело Лесгафта, его «Вольную школу». И то, что отличало его от других учебных заведений (отказ от слишком ранней специализации, возможность сознательного выбора факультета, новые методы научного преподавания и полное отсутствие консервативных академических традиций), привлекло в его стены большое количество молодых юношей и девушек из разных социальных слоев российского общества. В прижизненном юбилейном издании, посвященном 40-летию профессорской деятельности академика Бехтерева, содержится следующая интересная информация: «Благодаря необыкновенной популярности В.М. Бехтерева и его чрезвычайной энергии ему удалось привлечь поток пожертвований на осуществление этой мысли и устроить в черте города на участке площадью до 30 гектаров целый Медицинский Городок, – получивший имя Психоневрологического Института. В десяти громадных корпусах размещались лаборатории, противоалкогольный институт, нервно-хирургический, педологический, анатомический, клиника душевных и нервных болезней, клиника для эпилептиков и др.» (*D-r Z. M. Владимир Михайлович Бехтерев. К 40-летию профессорской деятельности. Л., 1926, с. 8–9.*) — 189

^{90*} Джевонс (Jevons) Уильям Стэнли (1835–1882) – английский экономист, статистик и философ-логик, основоположник математической школы в политической экономии. В 1869 г. построил «логическую машину», похожую на небольшое фортепиано, в котором имелась 21 клавиша; «играя» на клавишах этой машины (т.е. задавая исходные посылки умозаключения), можно было получить правильный вывод. — 189

^{91*} Начальные строки «Народовольческого гимна» неизвестного автора. Основой мелодии послужила песня «Старый капрал» на стихи В. Курочкина. Авторство приписывалось В.В. Берви-Флеровскому, Д.А. Клеменцу, наиболее длительной была атрибуция М.Л. Михайлову, но и она не выдержала критической проверки. Начиная с 1861 г. в течение полувека песня распространялась нелегально в списках; в авторской редакции за подписью М.Л. Михайлов была опубликована лишь в 1907 г. П.Ф. Якубовичем в сборнике «Русская муза». — 194

^{92*} Прототипом Гиршмана, по всей вероятности, выступил Соломон Моисеевич Нонин (1884–1930) – литератор, основатель «Издательства С.М. Нонин», известного больше всего изданиями в серии «Библиотека-копейка». В ГА РФ в личном фонде П.А. Сорокина содержится визитная карточка: «Соломон Моисеевич Нонин. Ред. изд. “Библиотека Копейка”. Жуковского, 22» (Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ), Фонд 602. Сорокин Питирим Александрович, ученый-социолог, публицист, член партии социалистов-революционеров. Оп. 1. Ед. хр. 52. Визитные карточки разных лиц, адресованные Сорокину П.А. Лист 10). — 195

^{93*} Несколько измененные названия книг М.М. Ковалевского: «Экономический рост Европы» (Т. 1–3. М., 1898–1903); «Современный обычай и древний закон. Обычное право осетин в историко-сравнительном освещении» (М., 1886, т. II); «Происхождение современной демократии» (Т. 1–4. М., 1895–1897). — 197

^{94*} Авторство «Брихаспати-сутр» приписывается легендарному древнеиндийскому мудрецу Брихаспати, к учению которого традиция относит истоки чарваки, атеистической и материалистической школы в индийской средневековой философии. — 199

^{95*} В образе «знаменитого историка Востока Календарева» запечатлен Борис Александрович Тураев, русский историк, создатель отечественной школы истории Древнего Востока. — 209

^{96*} Прототипом И.П. Пастухова послужил Иван Петрович Павлов (1849–1936) – русский физиолог, создатель материалистического учения о высшей нервной деятельности, крупнейшей физиологической школы современности. Результаты исследований И.П. Павлова легли в основу разрабатываемого в начале XX в. В.М. Бехтеревым нового научного направления – коллективной рефлексологии. Именно коллективная рефлексология В.М. Бехтерева и в меньшей степени ее американский вариант бихевиоризм, выступили в качестве основных теорий, на которые изначально опирался П.А. Сорокин в своих исследованиях. — 209

^{97*} Джон Стюарт Милль (1806–1873) – английский философ и экономист, позитивист и утилитарист. Благодаря отцу получил в детстве блестящее образование, но все же в целом Сорокин несколько преувеличивает его успехи. В «Автобиографии» Милль пишет: «Я не помню, когда начал изучать греческий язык; могу только предположить, что мне было тогда три года». С 7 лет он начал изучать латынь, а в 13 лет закончил то, что принято называть «учением» (Милль Дж. Ст. Автобиография. История моей жизни и убеждений. М., 2013, с. 5, 9, 27).

Вопреки утверждению Сорокина-Никуличева Милль пишет: «Я никогда не сочинял ничего по-гречески даже прозой и очень мало по-латыни, и это происходило не потому, что отец не признавал пользы такого рода упражнений, доставлявших более близкое знакомство с языками, но прямо потому, что у меня не было на это времени. Заставлял же он меня писать стихи по-английски» (Там же, с. 13). — 213

^{98*} Имеется в виду разговор Алеши и Ивана Карамазовых в «Братьях Карамазовых» Ф.М. Достоевского (кн. V, гл. IV «Бунт»), в ходе которого Иван высказывает мысль, что мировую гармонию честнее не принимать, потому что «не стоит она слезинки хотя бы одного замученного ребенка... Слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу вернуть обратно» (Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30-ти тт. Л., 1976, т. 14, с. 223). — 218

^{99*} Мамона – в Новом Завете обозначение осуждаемой демонической власти собственно-сти, по-арамейски – «богатство», «бог богатства, наживы». — 218

^{100*} Вчувствование (*нем.* Einfühlung) – термин психологии искусства и эстетики, означающий перенесение на предмет вызываемых им чувств и настроений. Понятие «вчувствование» было впервые изложено Ф.Т. Фишером в 1887 г. и стало основным принципом эстетики у Т. Липпса, определявшего его как «объективированное самочувствие». В «философии жизни» В. Дильтея процесс понимания рассматривается как процесс переживания или вчувствования, раскрыть который должна описательная, или «понимающая», психология.

Из «понимающей психологии» понятие «вчувствование» перекочевало в «понимающую социологию» Г. Зиммеля и М. Вебера. В статье «Основные социологические понятия» М. Вебер писал: «Всякая интерпретация, как и наука вообще, стремится к “очевидности”. Очевидность понимания может быть по своему характеру либо рациональной (то есть логической или математической), либо – в качестве результата сопереживания и вчувствования – эмоционально и художественно рецептивной. Рациональная очевидность присуща тому действию, которое может быть полностью доступно интеллектуальному пониманию в своих преднамеренных смысловых связях. Посредством вчувствования очевидность постижения действия достигается в результате полного сопереживания того, что пережито субъектом в определенных эмоциональных связях. Наиболее рационально понятны, т.е. здесь непосредственно и однозначно интеллектуально постигаемы, прежде всего смысловые связи, которые выражены в математических или логических положениях. Мы совершенно отчетливо понимаем, что означает правило $2 \times 2 = 4$, или теорема Пифагора, или строить цепь логических умозаключений в соответствии с «правильными», по нашим представлениям, логическими

законами. Столь же понятны нам действия того, кто, отправляясь от “известных” “опытных данных” и заданной цели, приходит к однозначным (по нашему опыту) выводам в вопросе о выборе необходимых “средств”.

Любое истолкование подобного рационально ориентированного целенаправленного действия обладает – с точки зрения понимания использованных *средств* – высшей степенью очевидности. Если не с такой же полнотой, то все-таки с достаточной ясностью, соответствующей присущей нам потребности в объяснении, мы понимаем такие “заблуждения” (в том числе смешение проблем), которые не чужды нам самим или возникновение которых мы способны посредством вчувствования сопереживать. Напротив, высочайшие “цели” и “ценности”, на которые, как показывает опыт, может быть ориентировано поведение человека, мы часто полностью понять *не* можем, хотя в ряде случаев способны постигнуть его интеллектуально; чем больше эти ценности отличаются от наших собственных, важнейших для нас ценностей, тем труднее нам понять их в сопереживании посредством вчувствования, силою воображения. В зависимости от обстоятельств нам в ряде случаев приходится либо удовлетворяться чисто интеллектуальным истолкованием названных ценностей, либо, если и это оказывается невозможным, просто принять их как данность. Сюда относятся многие высочайшие акты религиозности и милосердия. Аффекты и основанные на них иррациональные реакции мы способны эмоционально сопережить тем интенсивнее, чем более сами им подвержены; если же они значительно превышают по своей интенсивности доступные нам переживания, мы можем понять их смысл посредством вчувствования и рационально выявить их влияние на характер поведения индивида и применяемые им средства» (*Вебер М. Избранные произведения. М., 1990, с. 603–605*). — 219

^{101*} Ratio (*лат.*) – здесь: разум. — 219

^{102*} Академик Ширинский – по-видимому, собирательный образ члена Союза русского народа, черносотенной организации, созданной в 1905 г., или другой монархической организации. Князь А.А. Ширинский-Шихматов (1862–1930), монархист, был обер-прокурором Св. Синода и членом Госсовета, но не был академиком; А.И. Соболевский (1856–1929), был академиком, членом СРН, но был не криминалистом, а лингвистом и историком литературы; П.А. Крушеван (1860–1909) не был ни академиком, ни криминалистом, но был журналистом и одним из самых активных черносотенцев. Образ академика Ширинского вобрал в себя отдельные черты названных выше лиц и, возможно, некоторых других. — 221

^{103*} «Знамя избранных» – «Русское знамя», ежедневная православно-патриотическая газета, центральный печатный орган Союза русского народа. Выходила в Петербурге с ноября 1905 по 1917 г. Редактором газеты с 1906 г. был известный общественный деятель доктор А.И. Дубровин (1855–1921). — 227

^{104*} Благо народа (*лат.*). — 227

^{105*} Обыгрываются названия кадетских газет: «Речь», «Русское слово», «День», «Новое время». — 227

^{106*} Выражение «С одной стороны, нельзя не признаться, с другой стороны, нельзя не сознаться» впервые встречается в 9-й главе сатиры М.Е. Салтыкова-Щедрина «Дневник либерала в Петербурге» (1872), который так образно описал двойственную, трусливую позицию российских либералов. Вероятно, это выражение уже и тогда ходило в устной речи, но крылатым оно стало благодаря Салтыкову-Щедрину. С тех пор эта фраза является символом беспринципности, вечных оговорок, нежелания твердо заявить о своей позиции. — 227

^{107*} Возможно, название газеты представляет собой аллюзию на название художественно-го объединения символистов и выставки их произведений в 1907 г. – «Голубая роза». — 227

^{108*} Этот тезис сформулирован в «Сущности христианства» Л. Фейербаха: «Человек человеку бог». См.: *Фейербах Л.* Избранные философские произведения. М., 1955, т. II, с. 308. — 228

^{109*} Эрнест Сольвеу, Сольве (Solvay; 1838–1922) – бельгийский химик-технолог и промышленник, общественный деятель, филантроп, основатель Института социологии Сольве (1894). — 231

^{110*} Бару – фамилия вымышленная. Президентами США в период, охватываемый романом Сорокина, были Теодор Рузвельт, Уильям Тафт, Вудро Вильсон. Госсекретарями при них были соответственно: Роберт Бэкон, Филандер Нокс, Уильям Брайан. — 231

^{111*} То есть и сила, и хитрость. Ср. у Н.А. Некрасова («Кому на Руси жить хорошо», 4. «Счастливые»):

Не волчий зуб, так лисий хвост, –
Пошли юлить подьячие,
С покупкой поздравлять!
Да не таков Ермил Ильич,
Не молвил слова лишнего,
Копейки не дал им!

(*Некрасов Н.А.* Собрание сочинений в 4-х тт. М., 1979, т. 3, с. 63). — 233

^{112*} О прообразе Барачевского см. прим. 72* на с. 481. Прообразом Пятловского послужил, вероятнее всего, Владимир Владимирович Святловский (1869–1927), экономист и один из организаторов первых российских профсоюзов, профессор по кафедре политэкономии и статистики в Психоневрологическом институте. Он, правда, не был директором банка, но служил в статистическом отделении министерства земледелия, а в 1903 г. стал заведующим статистическим делопроизводством при министерстве финансов. — 233

^{113*} Эндрю Карнеги (1835–1919), американский сталепромышленник; в начале своей карьеры был простым телеграфистом, затем стал одним из самых крупных миллионеров США, основал ряд фондов: фонд Карнеги по усовершенствованию преподавания (1906), фонд Карнеги по борьбе за мир (1910), Институт Карнеги в Вашингтоне (1902), потратив при этом на благотворительность в общей сложности 350 млн долларов. — 236

^{114*} Пахитоска – тонкая сигара из мелкого резаного табака, завернутого в лист маиса. — 236

^{115*} Не только коллеги из академической научной среды выступили в качестве прототипов героев романа, самая известная балерина того времени – Матильда Феликсовна Кшесинская (1872–1971) – послужила одним из прототипов для Кирсановой. На это указывает, в частности, тот факт, что Кшесинская была в свое время любовницей цесаревича Николая (будущего Николая II), а затем великих князей Сергея Михайловича и Андрея Владимировича. Предполагают, что она состояла в связи и с великим князем Дмитрием Павловичем, который в свою очередь дружил с князем Ф. Юсуповым (оба – участники убийства Григория Распутина). — 236

^{116*} Фамилия Шеллапутин – купеческого, а не дворянского происхождения. Однако это фамилия «говорящая»: шеллапут, шалопут – означает «бездельник», «повеса». — 237

^{117*} Клеопатра VII (69–30 гг. до н.э.) – последняя царица Египта (51–30 гг.) из династии Птолемеев; имела любовную связь с Юлием Цезарем и Марком Антонием. По словам римского историка IV в. Аврелия Виктора, «она была так развратна, что часто проституировала,

и обладала такой красотой, что многие мужчины своей смертью платили за обладание ею в течение одной ночи».

Маркиза де Помпадур (1721–1764) – фаворитка французского короля Людовика XV, оказывавшая большое влияние на государственные дела. — 237

^{118*} Но (*фр.*). — 239

^{119*} Спасибо (*фр.*). — 239

^{120*} В полном составе (*лат.*). — 240

^{121*} Цитата из «Евгения Онегина» А.С. Пушкина (глава 8, строфа XLVII). — 247

^{122*} Беатриче Портинари (1265–1290) – «идеальная» возлюбленная Данте, героиня его романа «Новая жизнь». — 247

^{123*} Ср. это письмо Никуличева с последним письмом П.А. Сорокина к Е.И. Михайловой от 1 июля 1916 г. (с. 470–471). — 249

^{124*} Цитата из монолога Фауста в первой части трагедии:

Я философию постиг,
Я стал юристом, стал врачом...
Увы! с усердьем и трудом
И в богословье я проник –
И не умней я стал в конце концов,
Чем прежде был...
Глупец я из глупцов!
Магистр и доктор я – и вот
Тому пошел десятый год;
Учеников туда-сюда
Я за нос провожу всегда.
И вижу всё ж, что не дано нам знанья.

(Гете И.В. Избранное. М., 2001, с.124). – 253

^{125*} Продолжение того же монолога:

Еще ль в тюрьме останусь я?
Нора проклятая моя!
Здесь солнца луч в цветном окне
Едва-едва заметен мне;
На полках книги по стенам
До сводов комнаты моей –
Они лежат и здесь, и там,
Добыча пыли и червей;
Реторт и банок целый ряд
В пыли с приборами стоят
На ветхих полках много лет.
И вот твой мир! И вот твой свет!
Еще ль не ясно, почему
Изныла грудь твоя тоской,
И больно сердцу твоему,
И жизни ты не рад такой?

Живой природы пышный цвет,
Творцом на радость данный нам,
Ты променял на тлен и хлам,
На символ смерти – на скелет!..

(Там же, с.125). — 254

^{126*} Кто философствует, тот выбрал путь плохой,
Как скот голодный, что в степи сухой
Кружит себе, злым духом обойдённый,
А вокруг цветет роскошный луг зелёный!

(Там же, с.166). — 255

^{127*} Цитата из «Элегии» А.С. Пушкина. См. прим. 81* на с. 481–482. — 256

^{128*} Тушить страстей своих пожар
В восторгах чувственных я буду.

(Гете И.В. Избранное. М., 2001, с. 164). — 256

^{129*} Что человечеству дано в его судьбине,
Все испытать, изведать должен он!
Я обниму в своем духовном взоре
Всю высоту его, всю глубину;
Все счастье человечества, все горе –
Все соберу я в грудь свою одну,
До широты его свой кругозор раздвину
И с ним в конце концов я разобьюсь и сгину!

(Там же, с.164). — 256

^{130*} Слегка перефразированные слова из русской народной песни (на слова Д. Садовникова) «Из-за острова на стрежень». В песне поется: «Нас на бабу променял». — 257

^{131*} Анахорет – удалившийся от мира, отшельник; человек, живущий в уединенной и пустынной местности, отказывающийся от всякого общения с другими людьми. — 257

^{132*} Свет небес, Святая Роза (*лат.*) – девиз «рыцаря бедного» из стихотворения А.С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный» (1829). См.: *Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10-ти тт.* М., 1981, т. 2, с.151. — 260

^{133*} «Не искушай меня без нужды» – начальные слова романа М.И. Глинки на слова Е.А. Баратынского. Стихотворение Баратынского называется «Разуверение» (1821). — 264

^{134*} Жантильная (от *фр. gentil* – «симпатичный», «миловидный», «неверный») – жеманная, кокетливая. — 266

^{135*} О Майбыре см. прим. 82* на с. 482. Йома-баба – в фольклоре коми народа злая колдунья, Баба-Яга. — 268

^{136*} Зарод сена – плотно уложенная куча сена продолговатой формы (иногда получаемая объединением нескольких стогов). — 268

^{137*} Знаменитый бас Карякин – это, конечно, Ф.И. Шаляпин (1873–1938), который особенно прославился исполнением «Песни о блохе» М.П. Мусоргского (1879). Песня написана на слова фрагмента поэмы Гете «Фауст» (песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха) в переводе с немецкого на русский язык А.Н. Струговщикова. — 270

Предтеча

Впервые: Ежемесячный журнал. 1917, № 2–4, февраль-апрель, стб. 67–86; № 5–6, май-июнь, стб. 93–104; № 7–10, июль-октябрь, стб. 71–96; № 11–12, ноябрь-декабрь, стб. 11–56.

Печатается по тексту первой публикации.

Подпись: *Н. Чаадаев.*

^{1*} Елена Петровна Баратынская, жена Питирима Сорокина с 1917 г., родилась 10 июля 1894 г. в семье земского врача Петергофского уезда Петра Алексеевича Баратынского и его жены Клавдии Никитичны. Ее отец, П.А. Баратынский, родился в 1862 г., окончил курс медицинских наук в 1887 г., работал земским врачом в селе Копорье Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии, затем – вольнопрактикующим врачом в Санкт-Петербурге и старшим врачом губернской земской больницы Тамбова, имел чин надворного советника. Ю.В. Дойков в своей книге о Питириме Сорокине пишет, что в 1904 г. в Севастополе Е.П. Баратынская окончила с золотой медалью женскую гимназию А.А. Ахновской, что, конечно, не соответствует и не может соответствовать действительности. Поскольку вслед за этим утверждением он приводит свидетельство, выданное Симбирским предводителем дворянства, подтверждающее ее потомственное дворянство и датированное 2 ноября 1904 г., то надо полагать, что в 1904 г. Е.П. Баратынская в гимназию только поступила, а по ее окончании в 1912 г. поступила на физико-математический факультет Бестужевских курсов. В Петербурге она, как и П.А. Сорокин, посещала литературный кружок и философские семинары, которые проводил в своей квартире К.Ф. Жаков. В квартире Жакова они и познакомились.

Начало переписки между П.А.Сорокиным и Е.П. Баратынской относится к 1916 г., когда они еще не были мужем и женой. Приведем отрывки из двух писем.

15 мая. Старая Зиновьевка.

...Пишу тебе уже после того, как устроилась на новом месте. Поселились на самом краю села, рядом с усадьбой, от лугов близко, и помещение удобное. Работу начали, и, как всегда бывает, в самом начале встречается масса затруднений и сложностей. Приходится определять и кое-что, за невозможностью определения, угадывать. Ошибки, конечно, будут, впрочем, думаю, не особенно существенные. Места хорошие, красивые. Река Барыш <в Симбирской губ., приток р. Суры> небольшая, быстрая и, собственно, на реку-то не похожа. Пойма тоже небольшая; после Волги-то и этих бесконечных пространств здесь все покажется маленьким и мизерным. Зато село наше большое, собственно, оно не так уж велико, как центрально. Здесь есть и почта, и волость, и базар, и большая усадьба, которая разбросала свои владения по всему уезду. Мы с сотрудницей устроились независимо от кого <бы> то ни было и даже сами себе обед делаем. Правда, это не особенно весело и удобно, тем более что приходится целый день проводить в лугах; зато и обеды наши примитивны. Сейчас уже начнем очередную работу и будет спешка...

У нас здесь очень холодно, и мы, как французы в Москве, накутываем на себя все, что есть теплого, и все-таки зябнем. Я начинаю думать, что это свойство данной местности, и вера в то, что тепло будет, во мне никак не может ужиться. Правда, люди здесь теплые, а это, пожалуй, лучше. Числах в первых июня придет Шенников, и мы уже все свои сомнения выписываем, приготавливаемся к встрече не столь уж дорогого, как нужного гостя. Ведь начальство наше. Здесь все удивлены, что у нас нет начальства. И, чтобы не уронить свою честь, Шенникова мы произвели в начальство. Вот чем занимаемся!

9 июня.

[...] Вчера только вернулась из странствий. Пришлось поехать на три дня в маршрутное обследование других лугов по Барышу (река, пойму которой изучаем). Путешествовала с Шенниковым. Конечно, маршрутное исследование интереснее стационарного, но слишком с большими неудобствами сопряжено оно; особенно плохо приходится в смысле еды и помещения. В одном селе клопы довели меня до того, что среди ночи пришлось перетаскиваться на улицу, лечь в телегу и спать, хотя было очень холодно, под шумом жующих коров и лошадей. В другом месте из-за дождя не удалось лечь на дворе и пришлось спать в одной комнате с Шенниковым. Правда, мы не раздевались и, кроме того, устроили перегородку из простыни, но все-таки неудобно. Конечно, все странствия сопровождались красноречивыми толпами, и с особым сожалением смотрели на меня бабы, когда узнавали, что я девка и путешествую с «чужой мущиной». Зато знаний прибавляется масса, куда яснее становятся все лугообразующие процессы, и каждое явление, каждая новая формация заставляет внимательно присматриваться к ней и искать причин ее образования. Стационарные занятия по-прежнему много отнимают времени, особенно заметно теперь, так как <за> три дня моего отъезда моя сотрудница, хотя и была здесь, не смогла, конечно, выполнить работу за двоих. Теперь идет спешка. Немного посвободнее будет, и проеду еще в другую сторону верст за 40. Возможно, что в начале июля придется ехать с Шенниковым опять в маршрутное уже на большее время на р. Уссу. Это случится, если приедет к нам помощница. Я бы хотела и променяла бы даже своих не очень свирепых клопов на очень свирепых чужих.

Бракосочетание П.А. Сорокина и Е.П. Баратынской состоялось 26 мая 1917 г. Ее отец, доктор П.А. Баратынский, прислал Сорокину поздравительное письмо:

Многоуважаемый Питирим Александрович.

Под шум клокочущих политических страстей поздравляю Вас по личному делу с вступлением в брак. Вы, как социолог, лучше меня оцениваете значение брачного соединения людей. Этой первоначальной ячейки, из которой строится все государство. В русских обычаях желать новобрачным счастья: счастья согласной любовной жизни, счастья долгой совместной жизни до старости. Всего этого я от души желаю Вам. Я с семьей (жена и мальчик) живем [*четыре слова неразборчивы*] отдыхаем, пробудем здесь до пятнадцатого июля. Лена писала, что Вы на лето остаетесь в Санкт-Петербурге. Сама она обещает в конце августа приехать в Тамбов. Я бы очень хотел и прошу Вас приехать к этому времени к нам в Тамбов. Отдохнуть у нас от Вашей работы. Лене я недавно послал заказное письмо в Зиновьевку. Будьте здоровы. Я и жена шлем Вам душевный привет.

16 июня 1917 г.

Уважающий Вас Петр Баратынский.

Е.П. сразу после свадьбы уехала на летнюю практику заниматься изучением лугов и пойм рек в Тамбовской губернии. Сохранилось более тридцати ее писем к Питириму Сорокину, написанных в 1917 г... Вот отрывки из некоторых ее писем:

9 июня.

Получила твое письмо из Зырянки, т.е., конечно, не письмо, а какую-то открытку. По моему, лучше совсем не писать, чем писать открытки. Хотела было и я отплатить тебе тем же, да не хватило духу.

29 июня.

Ты должен получить от меня по крайней мере пятнадцать писем. Я их писала тебе бесконечно много, и в каждом я тебя зову в Тамбов. Неужели и на такое приглашение у тебя хватит

храбрости отказать. Тогда по праву твоей жены я буду требовать, чтобы муж возвратился ко мне хотя бы на день, имею же я такое право. Нет, серьезно, устраивай так, чтобы побыть немного со мной, мне все равно как, лишь бы с тобой, мой дорогой, милый, хороший. Как ты думаешь на этот счет? Я знаю, как ты думаешь. Ты думаешь, что ты тоже хочешь побыть со мною, но дела прежде всего, и я тебе говорю, что делу я не помешаю.

Целую и люблю мою светлую радость.

Твоя Лена.

1 июля.

Родной мой, хороший мой.

Как я теперь хорошо знаю, как знаю чувство тоски без тебя. Никогда раньше и не думала, что можно до такой степени соскучиться, не верила и не знала [...] Получила твое письмо из Архангельска. Ужасно рада твоему успеху. Рада и тому, что ты пишешь, что соскучился без моих писем в пути [...] Потом, помнишь, ты поцеловал меня в первый раз. [...] Я бы сама тебя не поцеловала первой. [...] И даже еще в прошлом году мне иногда казалось, что нет и во мне, и в тебе временами общего.

7 июля.

Дорогой Питирим, любимый мой.

Я так за тебя беспокоюсь в связи с событиями в Петрограде. Так тревожно и больно [...]. Сегодня отправила тебе срочную телеграмму и жду ответа [...]. Боюсь за тебя ужасно. Жалко, что так много сил, энергии и здоровья тратится в борьбе со всякими подлецами и наглецами [...] У нас здесь все тихо и мирно, не верится, что где-то буря и волнение, никакие отголоски сюда не доходят. Редкие газетные известия волнуют очень немногих здесь, остальным нет дела ни до чего.

16 июля.

Здравствуй, мой дорогой друг.

Получила твою телеграмму от 6 июля и немного успокоилась. [...] Писем от тебя не имею с 27 июня. [...] Если бы я знала, что застаю тебя в Петрограде, то приехала бы к тебе через четыре дня. 20-го кончаю работу, и если получу от тебя письмо с известием, что ты в Петрограде, то поеду к тебе, если же письма не будет, то выезжаю в Тамбов числа 22-го из Симбирска и 25-го буду в Тамбове.

15 августа.

Приехала сегодня в Тамбов. После работ жила на даче около Симбирска, где жили и наши, затем проехала по Волге. Сейчас, что буду делать, ясно не представляю, полагаю, надо позубрить органическую, не знаю, смогу ли дома хорошо заниматься: слишком отвлекают.

22 августа.

Я буду в Петрограде, вероятно, вскоре после 1 сентября. До 1-го меня задерживает всякая домашняя мелочь, а кроме того, и папочка хочет, чтобы я немного пожила дома. [...] Дома живу с удовольствием, немного занимаюсь, вожусь с братом, никуда не хожу и много думаю о тебе и о том, как наладятся наши отношения [...]. Я представляю себе до того ясно сейчас тебя, нашу предстоящую встречу, что сердце замерло, что-то сильное вырвалось наружу, и всю меня наполнило такой радостью, как будто ты уже здесь со мной. Это было, правда, недолго, но скоро, скоро будет и долго, да, мое солнце, да? [...] Чтобы быть в это время ближе к тебе, читаю твою книгу. Не подумай, что эта единственная причина заставляет меня ее читать, нет, я бы не стала этого делать, если бы было неинтересно.

В ожидании приезда жены Сорокин подыскал и снял недалеко от редакции «Воли народа» квартиру, о чем свидетельствует следующий документ:

Договор Е.В. Ивашенцевой и П. Сорокина.

Ивашенцева сдает квартиру своего брата, С.В. Ивашенцева, № 13 д. 4 по Надеждинской улице с 26 августа по 1 июля 1918 года.

Сорокин обязан вносить за квартиру с полной обстановкой за два месяца вперед по 200 рублей в месяц. Прислуге платить по 20 рублей в месяц.

26 августа 1917 г. Подписи.

(Письма Е.П. Баратынской-Сорокиной приведены по изданиям: *Дойков Ю.* Питирим Сорокин. Человек вне сезона. Биография. Том 1 (1889–1922). Архангельск, 2008, с.137–140; *Сорокин П.А.* Преступление и кара, подвиг и награда. М., 2006, с. 18–20).

19 марта 1918 г. после сдачи экзаменов по естественному отделению на физико-математическом отделении Высших женских курсов по решению испытательной комиссии Елена Петровна была удостоена диплома 2-ой степени. В примечании к удостоверению говорилось: «По своим отметкам Елена Петровна Баратынская имеет право на диплом первой степени, каковой ей может быть присужден по представлении сочинения». Остаток 1918 г. она, как и ее муж, посвятила «политике»: по крайней мере с момента лесных «странствий» Питирима Сорокина она неотлучно находилась в Великом Устюге, а затем, после его добровольной сдачи ЧК, выполняя роль «связной» между узником и внешним миром, в немалой степени способствовала благополучному завершению всей этой истории (подробнее об участии Е.П. Сорокиной в деле освобождения мужа см. в статье А.В. Липского «Житие неистового Питирима» // *Сорокин П.А.* Система социологии. М., 1993, т. 1, с. 31–34).

Переехав вслед за мужем в Америку, Е.П. Баратынская стала крупным биологом, специалистом в области цитологии, профессором Американского института биологических наук. Ее некролог см.: *New York Times*. 1975. 5 September, p. 32. — 273

^{2*} См. прим 4* на с. 468 и 96* на с. 484. — 273

^{3*} См. прим. 1* на с. 468. — 273

^{4*} Свобода, братство, равенство (*фр.*). – см. прим. 65* на с. 480. — 279

^{5*} Анфас, в фас (*фр.*). — 280

^{6*} См. прим. 6* на с. 468. — 284

^{7*} См. прим. 8* на с. 471. — 287

^{8*} См. прим. 9* на с. 471. — 287

^{9*} См. прим. 10* на с. 471. — 288

^{10*} Вальс «Прощальный» Ф. Шопена (ор. 69 № 1). — 288

^{11*} См. прим. 18* на с. 472. — 289

^{12*} См. прим. 15* на с. 471–472. — 290

^{13*} См. прим. 19* на с. 472. — 291

^{14*} См. прим. 20* на с. 472. — 291

^{15*} Ярушник – ячный хлеб. — 292

^{16*} См. прим. 16* на с. 472. — 293

^{17*} См. прим. 45* на с. 477–478. — 293

^{18*} См. прим. 27* на с. 473. — 295

^{19*} См. прим. 28* на с. 473. — 295

^{20*} См. прим. 29* на с. 473. — 295

^{21*} См. прим. 25* на с. 473. — 295

^{22*} См. прим. 32* на с. 474. — 296

^{23*} Просвирия – женщина, занимавшаяся выпечкой просвир. — 297

^{24*} Это старинная русская задача, решить которую нужно, не прибегая к алгебре: «Летело стадо гусей, а навстречу им летит один гусь и говорит:

– Здравствуйте, сто гусей!

– Нас не сто гусей, – отвечает ему вожак стада, – если бы нас было столько, сколько теперь, да еще столько, да полстолька, да четверть столька, да еще ты, гусь, с нами, так тогда нас было бы сто гусей.

Сколько было в стаде гусей?»

(*Ответ*: 36). — 297

^{25*} См. прим. 49* на с. 478. «Кондитерская» история (и слава) Ярославля начинается как раз с 1881 г., когда в нем была открыта первая кондитерская фабрика, принадлежавшая купцу Масленникову. — 297

^{26*} См. прим. 53* на с. 479. — 298

^{27*} Выражение из заключительных строк «Посвящения» к «Евгению Онегину»:

Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

(*Пушкин А.С.* Собрание сочинений в 10-ти тт. М., 1981, т. 4, с. 5). — 302

^{28*} См. прим. 1* на с. 462 к «Аккордам жизни». — 303

^{29*} См. прим. 62* на с. 480. — 303

^{30*} Стихотворение написано П.А. Сорокиным; полностью его текст приведен в настоящем издании на с. 418. — 305

^{31*} См. прим. 76* на с. 481. — 306

^{32*} См. прим. 77* на с. 481. — 307

^{33*} См. прим. 78* на с. 481. — 307

^{34*} См. прим. 6* на с. 468–471. — 307

^{35*} См. прим. 74* на с. 481. — 308

^{36*} См. прим. 79* на с. 481. — 309

^{37*} См. прим. 59* на с. 479. — 310

^{38*} См. прим. 80* на с. 481. — 311

^{39*} «Дворянское гнездо» – роман И.С. Тургенева (1859). Главная героиня романа – тоже Лиза (Калитина). — 314

^{40*} См. прим. 86* на с. 482. — 318

^{41*} Цитата из стихотворения Э. Верхарна «Кузнец» в переводе В.Я. Брюсова. — 319

^{42*} Имеется в виду «Декларация прав человека и гражданина» 1789 г., которая начинается словами: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». В качестве «естественных и неотъемлемых прав человека» назывались: свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению. — 319

^{43*} Екклесиаст, Екклесиаст – ветхозаветная книга, авторство которой приписывают царю Соломону, хотя иногда принимают ее название за имя автора. На самом деле «Екклесиаст» по-гречески означает «проповедник». Сорокин приводит цитату неточно; в оригинале мысль эта выражена так: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (1, 9). — 322

^{44*} Аннибалова (Ганнибалова клятва) – клятва никогда не прекращать борьбу с Римом, которую Ганнибала, по легенде, восходящей к его собственным рассказам, еще в детстве перед тем, как взять с собой в поход на римские владения в Испании, заставил дать его отец. В России XIX в. так иносказательно обозначался обет борьбы за освобождение крестьян. — 322

^{45*} См. прим. 87* на с. 482. — 324

^{46*} Акафист – в православии хвалебно-благодарственное пение, посвященное Господу Богу, Богородице, ангелу или (чаще всего) тому или иному святому. — 326

^{47*} Амеба – одноклеточный микроскопический организм; парамеция – инфузория-туфелька, простейший из известных организмов. — 334

^{48*} См. прим. 90* на с. 483. — 334

^{49*} См. прим. 92* на с. 483. — 339

^{50*} См. прим. 93* на с. 483. — 340

^{51*} Верхняя палата – по-видимому, имеется в виду Государственный Совет, в который М.М. Ковалевский (прототип Каракозва) был избран в 1907 г. — 341

^{52*} См. прим. 94* на с. 483. — 341

^{53*} Прообразом Эмиля Фуше является Эмиль Дюркгейм, основатель и редактор «Социологического ежегодника» (1898–1913). — 342

^{54*} См. прим. 110* на с. 486. — 343

^{55*} См. прим. 105* на с. 485. — 348

^{56*} См. прим. 95* на с. 483. — 349

^{57*} См. прим. 102* на с. 485. — 349

^{58*} И.П. Павлов (прообраз Пастухова) стал лауреатом Нобелевской премии в 1904 г. — 349

^{59*} См. прим. 97* на с. 484. — 352

^{60*} См. прим. 36* на с. 475. — 352

^{61*} «Священные книги Востока» (Sacred Books of the East) – монументальная 50-томная серия переводов религиозных писаний Азии на английском языке, выпущенная под редак-

цией Макса Мюллера издательством «Oxford University Press» (1879–1910 гг.), в которую вошли важнейшие священные тексты индуизма, буддизма, даосизма, конфуцианства, зороастризма, джайнизма и ислама. — 354

^{62*} См. прим. 98* на с. 484. — 357

^{63*} См. прим. 99* на с. 484. — 357

^{64*} См. прим. 103* на с. 485. — 365

^{65*} См. прим. 104* на с. 485. — 365

^{66*} См. прим. 106* на с. 485. — 365

^{67*} См. прим. 111* на с. 486. — 370

^{68*} См. прим. 72* на с. 481. — 370

^{69*} См. прим. 112* на с. 486. — 370

^{70*} См. прим. 109* на с. 486. — 373

^{71*} См. прим. 113* на с. 486. — 373

^{72*} См. прим. 114* на с. 486. — 374

^{73*} См. прим. 115* на с. 486. — 374

^{74*} См. прим. 116* на с. 486. — 374

^{75*} См. прим. 120* на с. 487. — 376

^{76*} См. прим. 121* на с. 487. — 382

^{77*} См. прим. 122* на с. 487. — 383

^{78*} На этом текст журнальной публикации обрывается. Продолжение начинается со с. 252 наст. издания. — 387

Паладин далекого Востока

Впервые: Эхо (Вологда). 1913, № 35, 23 августа.

Печатается по первой публикации.

Рукопись стихотворения под названием «Паладин» и без посвящения П.Н. Зепалову – «Рифмованная ерунда», л. 5 об. В рукописи стихотворение датировано: «30 января, 1913».

В рукописи третья строфа читается так:

Бесплодный сор, полынь пустых мечтаний,
Трусливых чаяний, чахоточных надежд –
Сожжет все пламя пурпурных восстаний
И под пожарищем схоронит он невежд...

Причем слово «чахоточных» зачеркнуто, вместо него написано «больных».

^{1*} О П.Н. Зепалове см. прим. 19* на с. 466. — 391

Под шум осеннего ветра

Впервые: Эхо (Вологда). 1913, № 41, 8 сентября, с. 3.

Печатается по тексту первой публикации.

Подпись: *Вадим Вьюгов.*

Рукопись стихотворения без посвящения А.А.Р. – «Рифмованная ерунда», л. 7 об. В рукописи стихотворение датировано: «10 августа 1913». Кроме того, название стихотворения «Под шум осеннего ветра» зачеркнуто и вместо него написано «Осенняя песня».

А.А.Р. – по предположению Ю.В. Дойкова, Анна Регат (Елена Тагер). См.: *Дойков Ю.* Пиритим Сорокин. Человек вне сезона. Биография. Т. 1 (1889–1922). Архангельск, 2008, с.51.

Елена Михайловна Тагер (псевдоним-перевертыш Анна Регат) (1895–1964) – поэт, прозаик, драматург, фольклорист; училась на историко-филологическом факультете Бестужевских курсов, печаталась в «Ежемесячном журнале». Подробнее о ней см.: *Дойков Ю.* Архангельские тени. По архивам ФСБ. Том 1. Архангельск, 2008, с. 239–248 и др.

^{1*} В рукописном варианте: И несбывшихся мечтаний. — 392

Мне не хочется больше читать...

Впервые: Эхо (Вологда). 1913, № 44, 14 сентября, с. 3.

Печатается по тексту первой публикации.

Подпись: *П.А. Сорокин.*

Рукопись стихотворения – «Рифмованная ерунда», л. 8.

^{1*} В рукописи:

Трепетно-улыбчиво
Льется и манит... — 394

Песни мои

Впервые: Эхо (Вологда). 1913, № 44, 14 сентября, суббота, с. 4.

Печатается по тексту первой публикации.

Подпись: *П. Сорокин.*

Рукопись стихотворения без посвящения Н.Д. Кондратьеву – «Рифмованная ерунда», л. 8 об.

В рукописи стихотворение датировано: «Сентябрь 1913».

^{1*} В рукописи: Ярко кудрявьтесь цветами берез... — 395

Не знаю я...

Впервые: Эхо (Вологда). 1913, № 48, 25 сентября.

Печатается по тексту первой публикации.

Подпись: *П. Сорокин.*

Рукопись стихотворения с посвящением А. – «Рифмованная ерунда», л. 8.
В рукописи стихотворение датировано: «20 августа 1913».

Кубок

Впервые: Эхо (Вологда). 1913, № 67, 8 ноября, пятница, с. 2.
Печатается по тексту первой публикации.
Подпись: *В. Вьюгов*.

Рукопись стихотворения – «Рифмованная ерунда», л. 1.
В рукописи стихотворение датировано: «Окт<ябрь> 1912».

Рифмованная ерунда

В архиве П.А. Сорокина в Пушкинском доме (ИРЛИ, ф. 863, оп. 1) сохранились две тетради, озаглавленные автором «Рифмованная ерунда», в которых записаны все известные на сегодня его стихотворения (в том числе и опубликованные). Первая тетрадь включает в себя лл. 1–16, вторая – лл. 17–20. В настоящее издание включены практически все стихотворения из первой тетради, за исключением тех, которые не удалось полностью разобрать (стихотворения «Я один, я ничей» и «Кто-то добрый, хороший мне ландыш прислал», которое написано Сорокиным в 1913 г. во время его заключения в Спасской части), и одного начатого, но явно не законченного наброска, состоящего всего из двух строк («Современная Клеопатра»). Все зачеркивания и вставки, имеющиеся в рукописях, отмечены в комментариях.

Некоторые стихотворения Питирима Сорокина (полностью или в отрывках) уже публиковались в разных изданиях, в том числе и периодических, из которых укажем наиболее существенные: *Панов Л.С.* «Жизнь движется и в Вологде...» Питирим Сорокин в общественной и культурной жизни Вологды. 1911–1917 // Вологда. 1997, вып. 2, с. 181–202; *Василенко В.В.* П.А. Сорокин. Опыт интеллектуальной биографии (1889–1968). Ставрополь, 2005, с. 174–180.

Однако, первое из публикуемых в этом разделе стихотворений Сорокина (и, судя по дате, самое раннее) найдено среди его бумаг, хранящихся в ГАРФ (ф. 602, оп. 1, ед. хр. 3, л. 129об.).

^{1*} В рукописи напротив заглавия имеется надпись: «Торквемада» (подчеркнуто). — 404

^{2*} В рукописи над этим стихотворением надпись: «То же!» По-видимому, это не название стихотворения, а указание на тождество его смысла и настроения с предыдущим стихотворением. — 405

^{3*} Эта строка в рукописи зачеркнута. — 405

^{4*} Илайяли, Илаяли – имя, которое герой автобиографического романа К. Гамсуна «Голлод» придумал для незнакомой ему женщины. «Я стою и смотрю ей в глаза, а сам тут же придумываю имя, хоть никогда его и не слышал – имя, скользкое и волнующее: Илаяли» (*Гамсун К.* Собрание сочинений в 6-ти тт. М., 1991, т. 1, с. 52). А.В. Сергеев в своих комментариях к роману пишет: «Имя Илаяли навеяно Гамсуну творческой фантазией. Гамсун

писал, что “иногда обстоятельства требуют, чтобы имя персонажа характеризовало его уже одним своим фонетическим звучанием”. За экзотическим именем героини, возвышающим ее над повседневностью, скрывается вполне земная, сомнительного поведения женщина. Об источнике происхождения этого имени существуют различные версии. По мнению одних (Р.Н. Неттум), “Иляяли – это либо видоизмененное *Асали* из стихотворения Й.П. Якобсена *К Асали* (1886), либо *Юлэлей* (Eulalie) из стихотворения Э. По *Юлэлей* (1845)”, другие (М. Наг) считают, что оно навеяно Гамсуну персидской надписью “Акхлпк”, о которой упоминается в книге “Духовная жизнь современной Америки”» (Там же, с. 556). — 406

^{5*} Курзал (*нем.* Kursaal) – помещение на курорте, предназначенное для отдыха и проведения культурно-развлекательных мероприятий. В курзале обычно размещаются концертный зал, лекторий, библиотека, помещения для игр, организуются выставки, вечера отдыха, театральные представления, проводятся музыкальные вечера и т.д. — 406

^{6*} Менуэт (*фр.* menuet, от menu – «маленький», «незначительный») – старинный народный французский грациозный танец, названный так вследствие своих мелких шажков на низких полупальцах. При Людовике XIV менуэт стал излюбленным придворным танцем и вошел в моду во всей Европе. — 407

^{7*} Калипсо – в древнегреческой мифологии нимфа острова Огигия на Крайнем западе, куда попал спасшийся Одиссей на обломке корабля и с которой он провел там семь лет. — 407

^{8*} Оникс – минерал коричневого, красно-коричневого, коричнево-желтого цвета с желтоватыми или розоватыми прослоями; один из «Библейских камней», украшавших наперсник Первосвященника, в котором он проводил богослужение. — 407

^{9*} Иммортель – французское слово, означающее «бессмертник»; так называются растения, высушенные цветки и соцветия которых сохраняются почти такими же, какими они были в живом состоянии. — 407

^{10*} Наяды – в греческой мифологии дочери Зевса, нимфы рек, ручьев и озер. — 407

^{11*} Менестрель – профессиональный певец Средневековья (с XII в.) и раннего Возрождения, зарабатывавший пением и игрой на музыкальных инструментах по памяти. — 407

^{12*} Это слово в рукописи зачеркнуто. — 408

^{13*} В рукописи далее неразборчиво и зачеркнуто. — 409

^{14*} Стихотворение использовано в сказке «Грани жизни» (см. наст. изд. с. 86–87). — 413

^{15*} Pro domo mea (*лат.*) – о себе или для себя, в защиту своих дел. — 414

^{16*} Е.П.Б. – Елена Петровна Баратынская, будущая жена П.А. Сорокина. Подробнее о ней см. прим. 1* на с. 489–492; см. также: *Сорокин П.А.* Дальняя дорога. М., 1992, с. 89–90, 274. — 415

^{17*} В рукописи слова «пламя не горит» зачеркнуты, сверху написано: «не цветут цветы». — 415

^{18*} В рукописи эта и предыдущая строки зачеркнуты. — 415

^{19*} Последняя строфа этого стихотворения цитируется в «Прачечной человеческих душ» (см. наст. изд., с. 118). — 415

^{20*} В рукописи эти две строчки написаны неразборчиво, содержат много исправлений и зачеркнуты. — 416

^{21*} *Fatum* (лат.) – судьба; «Песнь торжествующей любви» – рассказ И.С. Тургенева (1881). Стихотворение упоминается и цитируется в «Предтече», где его авторство приписано главной героине романа. См. наст. изд., с. 305. — 418

^{22*} *Pro domo sua* – то же, что *Pro domo mea* (см. прим. 15* на с. 498). — 421

^{23*} Цитата из стихотворения в прозе И.С. Тургенева: (1879): «Где-то, когда-то, давно-давно тому назад я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною... но первый стих остался у меня в памяти...»

Автором стихотворения (написанного в 1834 г.), которого не упоминает ни Тургенев, ни Сорокин, является И.П. Мятлев (1796–1844). Вот его начало:

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодной рукой! — 422

^{24*} Нирвана (букв.: «угасание») – понятие индийской философии, означающее освобождение от страданий и от круга рождений, что является высшей целью всех живых существ. — 429

Дневник путешествия на Удору

Впервые: Питирим Александрович Сорокин (1889–1968). Альбом-каталог из фондов Музея истории просвещения Коми края. Сыктывкар, 2014, с.93–100. Оригинал «Дневника» хранится в ИРЛИ, ф. 863, оп. 1, лл. 1–6.

На основании этих дневниковых записей написан очерк П.А. Сорокина «Пестрое кружево» (см.: *Сорокин П.А. Ранние сочинения: 1910–1914 годы.* Сыктывкар, 2014, с. 123–147).

^{1*} Быстров – лицо неустановленное. — 433

^{2*} «Социология действия» (*фр.*) – книга Е.В. Де Роберти «*Sociologie de l'action. La genese sociale de la raison et les origines rationnelles de l'action*» (Paris: F. Alcan, 1908). — 433

^{3*} Попова – лицо неустановленное. В «Пестром кружеве» она названа «высокой девушкой» (*Сорокин П.А. Ранние сочинения: 1910–1914, с. 132.*) — 433

^{4*} Фокош-Фукс Давид Рафаэль (1884–1977) – венгерский филолог, финно-угровед, автор самого крупного из существующих словарей коми языка (Будапешт, 1959). В 1911 и 1913 гг. он совершил две научные поездки в Коми край, во время которых записал несколько эпических поэм (впоследствии опубликовал на немецком и венгерском языках). Подробнее см.: *Коми эпическая поэзия.* Л., 1991, с.357. — 433

^{5*} Начало древней зырянской песни «О, жизнь! Лицо солнца!». Полный ее текст приведен в статье Сорокина «Современные зыряне». См.: *Сорокин П.А. Ранние сочинения. 1910–1914.* Сыктывкар, 2014, с.243. — 433

^{6*} Звательный падеж (лат.) – один из косвенных падежей, используемый для идентификации объекта, обозначенного существительным, к которому ведется обращение. — 433

^{7*} Базов – житель Усть-Сысольска, знакомый П.А. Сорокина; Паткошов – лицо неустановленное. — 433

^{8*} Цембер Андрей Андреевич (1874–1957) – преподаватель устьсысольского городского училища, краевед, этнограф, фольклорист, составитель «Русско-зырянского словаря» и сборников фольклорных сказок и песен. — 433

^{9*} *Открытый лист* – документ на производство археологических раскопок; в Российской империи выдавался Археологической комиссией; здесь – документ о цели командировки. — 434

^{10*} О К.Ф. Жакове см. прим. 83* на с. 482.

Василий Петрович Налимов (1873–1939) – этнограф, географ и писатель, коми-зырянин по национальности, выходец из крестьян, получивший высшее образование; в 1922–1938 гг. – профессор Московского университета; в 1938 г. был обвинен в шпионаже в пользу Финляндии и умер в изоляторе Сыктывкарской тюрьмы. — 434

^{11*} Николай Абрамович Рогов (1825–1905) – российский непрофессиональный этнограф и филолог, краевед, исследователь коми-пермяцкого языка, автор книги «Пермячко-русский и русско-пермяцкий словарь» (СПб., 1869). — 434

^{12*} Иван Алексеевич Шергин (1866–1930) – коми публицист, писатель-самоучка, автор многочисленных книг, рассказов и очерков о коми народе, издатель журнала «Вестник Севера»; в советские годы неоднократно (в 1918, 1919, 1925, 1929 гг.) подвергался арестам и гонениям за острые статьи в защиту крестьян, умер в заключении на этапе от истощения.

Александр Саввич Панкратов (1872–1922) – писатель-публицист, корреспондент «Русского слова», автор книг «Ищущие Бога. Очерки современных религиозных исканий и настроений» (М., 1911), «Миллионы в земле: Поездка на реку Ухту» (М., 1914) и др. — 434

^{13*} Неясно, как это понимать: «Вырыл труп»? Если здесь нет ошибки публикатора, то, возможно, Сорокин присутствовал при какой-то археологической раскопке (а, может быть, и принимал в ней участие). А вот крест, который он срисовал, довольно знаменит. Это тот самый «крест с живописным изображением Голгофского Креста в часовне, существующей более 300 лет близ деревни Крестовская Яренского уезда» (см.: *Виноградова Е.А.* К истории иконы «Святая Троица Зырянская в Вологде // Вестник церковной истории. 2007, № 4(8), с. 62). В архиве П.А. Сорокина (ГАРФ, ф. 602, оп. 1, ед. хр. 10, л. 32) сохранился сделанный им рисунок этого креста (см. с. 432) с пояснительными записями. Сверху – надпись: «Крестовская», затем следует фраза на церковно-славянском языке: «Поставлен бысть крест 7078 генваря 7 день». Рядом – перевод этой даты на христианское летоисчисление: 7 янв<аря> 1570. Далее следует запись, в которой, по-видимому, конспективно рассказано предание о причинах возведения часовни: «Тут лѳм-пу [на языке коми *лѳмпу* – черемуха. – *В.С.*]. На лѳм-пу явился старику крест. Он отнес его домой. Он опять там. 3 раза. Ну и поставили часовню». Под крестом еще две записи, видимо, для памяти: «Маленький медный крест. Старых икон много». — 437

^{14*} По-видимому, Н.М. Карамзин. С ироничного упоминания его «Писем русского путешественника» начинается очерк «Пестрое кружево» (см. *Сорокин П.А.* Ранние сочинения: 1910–1914, с. 123). — 437

^{15*} Иван Палкин и Василий Кольванов – жители села Вендинга в Удорском районе, респонденты П.А. Сорокина, которых он упоминает в статье «Современные зыряне». См.: *Сорокин П.А. Ранние сочинения. 1910–1914.* Сыктывкар, 2014, с.237. — 438

Кочующая Америка

Впервые: Питирим Сорокин. Грани жизни и творчества (Неизвестный Питирим Сорокин). М., 2009, с.417–426. Рукопись этой незаконченной статьи, написанной на русском языке, хранится в семейном архиве П.А. Сорокина в его доме в Винчестере.

Печатается по тексту первой публикации.

Об этой поездке (наряду с другими своими летними поездками в бытность профессором университета Миннесоты) Сорокин упоминает в «Дальней дороге»: «Один раз на летние каникулы вместе с Циммерманами мы пропутешествовали через Блэк Хилз и Бэд Лэндз в Дакоте до самого Йеллоустоунского парка в Вайоминге, где жили в палатках больше недели, от души насладившись живописным ландшафтом, компанией медведей, пешими прогулками по разным достопримечательностям парка, купанием и рыбной ловлей» (*Сорокин П.А. Дальняя дорога.* М., 1992, с.167).

О датировке поездки и рукописи см. ниже, прим. 9*.

^{1*} То есть суббота и воскресенье – то, что сейчас принято называть «уик-энд» (weekend). — 441

^{2*} Йеллоустонский национальный парк – международный биосферный заповедник, первый в мире национальный парк (основан 1 марта 1872 г.); находится на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо. Парк знаменит многочисленными гейзерами и другими геотермическими объектами, богатой живой природой, живописными ландшафтами. Площадь парка – 898,3 тыс. га. — 442

^{3*} Конусный гейзер «Старый Верный» (Old Faithful) назван так потому, что он с периодичностью примерно в 63 минуты выкидывает струю воды высотой от 30 до 60 метров, содержащую от 14 до 32 тысяч литров воды; стал первым гейзером Йеллоустонского национального парка, который получил имя (в 1870 г.). — 444

^{4*} Карл Циммерман (1897–1983) – американский социолог, друг, коллега и соавтор Питирима Сорокина. — 444

^{5*} Автомобили марки «Крайслер» выпускаются в США с 1924 г. — 444

^{6*} По-английски: «Stop! Look! Listen!», что лучше перевести как «Остановись! Осмотри! Прислушайся!» — 446

^{7*} То есть не будет выполнять одну из двух основных функций российского будочника и полицейского: «тащить и не пущать». См. прим. 9* на с. 463. — 446

^{8*} На старославянском – левая и правая рука. — 446

^{9*} Это указание позволяет датировать очерк 1929-м или 1930-м годом. — 447

^{10*} Город Пирр – столица штата Южная Дакота (находится на берегах реки Миссури). — 448

^{11*} Имеются в виду Блэк-Хилс (Black Hills), «Черные холмы» – горный массив, расположенный в северной части Великих равнин на Среднем Западе США, в юго-западной части штата Южная Дакота и северо-восточной части штата Вайоминг. Самой высокой точкой массива является гора Харни-Пик (2 208 м). — 448

Мой склон азалий

Впервые: Horticulture. America's Authentic Garden Magazine. 1956, vol. XXXIV, № 4 (April), p. 201, 216–218.

Название статьи на английском языке: My Hillside of Azaleas.

Подпись: *Dr. Pitirim A. Sorokin*.

Перевод А. Корнилович, М. Ломоносовой (текст статьи) и В. Сапова (перечень азалий и рододендронов).

За сад, возделанный собственными руками вокруг своего дома, П.А. Сорокин в декабре 1956 г. был удостоен Большой золотой медали Массачусетского общества садового земледелия. Фотография медали воспроизведена в книге: Питирим Александрович Сорокин (1889–1968): альбом-каталог из фондов Музея истории просвещения Коми края. Сыктывкар, 2014 (блок иллюстраций между с. 96 и 97; там же – фотография сада Питирима Сорокина с цветущими азалиями в мае).

Событие это широко освещалось в местной прессе. Так, одна из газет сообщала: «Бостон, 5 декабря. Всемирно известный социолог и писатель д-р Питирим Александрович Сорокин был удостоен сегодня золотой медали за достижения в цветоводстве, которому он посвятил 22 года. Заслуженный профессор социологии Гарвардского университета был награжден Массачусетским обществом садоводов за создание в городе Винчестер скалы-сада, который весной превращается в “пламенеющую массу азалий и рододендронов, растущих на скале, увенчанной каскадом глициний”. “Это, – сообщает источник, – результат 22-летнего труда социолога, находящего в садоводстве духовное наслаждение”. Награда представляет собой одну из нескольких ежегодных наград за выдающиеся сады и насаждения в стране, выделяемых этим обществом, одним из старейших садоводческих обществ в мире» (Enterprise. 1956, December 5). Газетные вырезки с этой и несколькими другими заметками хранятся в Саскачеванском архиве П.А. Сорокина.

Своему саду и многолетнему занятию цветоводством Сорокин уделил несколько строк в «Дальней дороге». «Среди множества перемен в нашей жизни, – пишет здесь Питирим Сорокин, – которые принесло рождение Петра [в 1930 г.], был и переезд из Кэмбриджа в Винчестер. Мне никогда не нравились большие города, и, в частности, по этой причине меня не устраивал Кэмбридж, который разросся до размеров очень большого города. Рождение сына заставило нас подумать о покупке собственного дома. Во время прогулок по Мидлсекскому заповеднику мы посетили Винчестер, и этот маленький “спальный” городок произвел на нас приятное впечатление. Позднее мы нашли в городе дом, построенный для себя архитектором, чей отец был лесопромышленником. Хотя дом был основательно запущен, построил его архитектор очень хорошо, и, что важнее, он прилегал к огромному Мидлсек-

скому заповеднику – около 40 000 акров прекрасных лесов и озер, где часами можно гулять без помех со стороны автомобилей и людских толп. К дому вел короткий переулочек, закончившийся у его ворот.

Эти обстоятельства подвигли нас на покупку дома и переезд туда в феврале 1932 года. Мы заново отделали его и живем в нем вот уже тридцать лет. Холмы и скалы вокруг дома навели меня на мысль самому разбить сад с азалиями, рододендронами, лилиями, розами и глициниями. К моему удивлению, осуществление этого замысла принесло мне золотую медаль Массачусетского садоводческого общества, а мой сад был показан на цветных фото во всю страницу в национальных журналах “Садоводство”, “Дом и сад” и др.

Работа в саду заменяла мне все необходимые физические упражнения, снимала надобность в психиатре, так как сохраняла спокойствие и целостность моей души, давала мне время поразмышлять, когда в голове рождались свежие идеи. Так что я очень рекомендую всем разбивать собственные сады и работать в них как можно больше» (*Сорокин П.А.* Дальняя дорога. М., 1992, с. 183–184).

Своим садом и, соответственно, физическим трудом ученый занимался фактически до конца жизни. Об итогах своей жизни он пишет следующее: «Активная деятельность, описанная мной, не должна создавать ложного впечатления, что я слишком загружен для “ничегонеделания” и рекреационных утех. На самом же деле, всю свою жизнь я был хроническим бездельником и энтузиастом *dolce far niente* [сладостного ничегонеделания]. Это другая сторона даосского изречения: “Ничего не делать лучше, чем делать ничего” [перевод исправлен мною. – *В.С.*]. Почти ежедневно я провожу пару часов после полудня за своими излюбленными занятиями, отдыхая от умственного труда: работаю в саду, стригу траву на лужайке, сражаюсь с зарослями вокруг летнего домика, гуляю, плаваю, ловлю рыбу и лазаю по горам. К ужасу моей жены, я все еще забираюсь на высокие деревья, если нужно обрезать ветви, все еще сам копаю ямы, сажаю и пересаживаю тяжелые кусты, валю большие стволы, разгребаю снег зимой и делаю много другой работы, требующей физических усилий.

Довольно часто я также бездельничаю, созерцая красивые закаты и восходы солнца, море во время штормов или штилей, грозовые сполохи или тихие звездные ночи» (Там же, с. 234–235).

Уместным будет сказать здесь несколько слов об азалиях и рододендронах, составивших славу и гордость сорокинского сада. Азалия (*Azalea*) – это собирательное название некоторых красивоцветущих видов растений из рода Рододендрон (*Rhododendron*). Раньше эти виды выделялись в самостоятельный род семейства вересковых, но сейчас в ботанической науке род Азалия расформирован, и все его виды вошли в род Рододендрон, хотя в садовой классификации азалии продолжают отделять от других рододендронов. Различие между ними состоит в том, что цветки азалий имеют пять тычинок, а рододендронов – десять или более. В переводе с греческого слово «азалия» означает «сухой», а «рододендрон» – «розовое дерево».

Рододендроны распространены главным образом в умеренном поясе Северного полушария, при этом наибольшее разнообразие видов наблюдается в Южном Китае, Гималаях, Японии, Юго-Восточной Азии, а также в Северной Америке, а в Южном полушарии – в Новой Гвинее. Растения сильно отличаются по размерам: некоторые виды достигают высоты 30 м, но есть и стелющиеся кустарники. Размер цветков – от крохотных до имеющих более 20 см в диаметре.

В садоводстве принято описывать азалии (и рододендроны) по окраске и характеру цветов, времени цветения и зимостойкости (или морозоустойчивости), что и делает Сорокин в своей статье.

Цветки азалии бывают самые разные:

- простые (5–6 лепестков и столько же тычинок);
- махровые (имеют разное количество лепестков, некоторые лепестки образованы из тычинок).

Очень разнообразны азалии и по цвету лепестков. В японской – это белые, розовые, сиреневые, красные, красно-желтые; в индийской – розово-красные, желтые, белые, кремовые, с белой каймой или белые с розовой каймой. Встречаются сорта азалий и с двуцветными лепестками. Точно так же порой на одном кустике можно встретить соцветия разного цвета.

По сроку цветения азалии можно разделить на три группы:

- ранние (цветут с ноября по декабрь);
- средние (цветут с конца декабря до февраля);
- поздние (цветут с февраля по май).

И, наконец, следует отметить, что азалия – очень капризное и требовательное растение. Для него важны все условия произрастания: свет, температура, состав почвы, правильный уход и, конечно, любовь, упорство и труд, труд, труд...

^{1*} Официальное название – Middlesex Fells Reservation, что можно перевести как «Заповедник Мидлсекские Сопки» или «Заповедник Мидлсекские Холмы». — 449

^{2*} Мульча (*англ.* mulch) – защитный слой, который кладут на почву в основном для защиты и улучшения ее свойств; иногда – для создания орнаментальных дорожек. — 451

^{3*} Назван в честь Александра Егоровича Шлиппенбаха (р. 1828), морского офицера, собравшего этот вид в 1854 г. в Корею, во время экспедиции на фрегате «Паллада». — 453

^{4*} Вид был описан в 1871 г. российским ботаником Карлом Ивановичем Максимовичем (1827–1891) и назван им в честь японского ботаника Сугавы Тёносукэ (Chōnosuke Sugawa, другой вариант написания – Tschonoski Sukawa, 1842–1925), который был верным помощником Максимовича во время его работы в Японии. — 453

^{5*} Виллем III (1817–1890) – король Нидерландов и великий герцог Люксембургский с 1849 г. — 454

^{6*} Группа сортов, получившая название от наименования местечка Куруме на японском о-ве Кюсю. — 454

^{7*} В японском фольклоре принцесса Яэгири считается матерью легендарного героя Кинтаро («золотого мальчика»). — 454

^{8*} Выведены американским цветоводом и садоводом Джозефом Гейблом (1886–1972) из Пенсильвании. Эти гибридные азалии – результат скрещивания пукханьских азалий с азалиями кемпфери. — 455

^{9*} Венецианское знатное семейство, владельцы старинного Palazzo Papadopoli, построенном в 1550 г. — 456

^{10*} Виктор Серезоль (1830–1892) – швейцарский историк и дипломат, брат пастора и литератора Альфреда Серезоля. В 1859 г. отправился в Венецию, где стал домашним учителем

в патрицианском семействе Пападополи. За свои симпатии к итальянскому освободительному движению дважды изгонялся из города австрийскими властями, но в 1867 г. занял должность консула Швейцарской конфедерации в Венеции и занимал ее до конца жизни. — 456

^{11*} Губерт Жозеф Вальтер Фрер-Орбан (1812–1896) – бельгийский либеральный политический и государственный деятель. — 456

^{12*} Йохан Рудольф Торбеке (1798–1872) – нидерландский государственный деятель, ученый, либерал, один из самых известных голландских политических деятелей XIX в. В течение трех периодов (1849–1853, 1862–1866 и 1871–1872 гг.) возглавлял правительство Нидерландов. — 457

^{13*} Жена массачусетского финансиста, филантропа и ботаника-любителя Хоратио Холлиса Ханнеуэлла (1810–1902). — 457

^{14*} Уильям Эдвард Гамблетон (1840–1911) – выдающийся ирландский садовод. — 457

^{15*} Николас Бетс (1814–1903) – голландский теолог, писатель и поэт; публиковал свои произведения под псевдонимом Гильдебранд. — 457

^{16*} Принцесса Юлиана (Juliana; 1909–2004) – королева Нидерландов в 1948–1980 гг. После ее отречения в пользу дочери Беатрикс до конца жизни носила титул принцессы Нидерландов. В честь королевы Юлианы названа гора в Суринаме, канал на юге Нидерландов, аэропорт на острове Святого Мартина, астероид Юлиана. — 457

^{17*} Принцесса Алиса, графиня Атлонская (*англ.* Princess Alice, Countess of Athlone), при рождении Алиса Мэри Виктория Августа Полин (1883–1981) – член британской королевской семьи. Была самым долгоживущим в свое время членом королевской семьи и последней из внуков королевы Виктории. Алиса стала крестной матерью королевы Нидерландов Беатрикс. — 458

^{18*} Фредерик Дьюкейн Годман (1834–1919) – британский орнитолог, энтомолог и лепидоптеролог (лепидоптерология – раздел энтомологии, изучающий представителей отряда чешуекрылых насекомых, преимущественно бабочек). — 458

^{19*} Игнатиус Саржент – бостонский банкир и железнодорожный магнат, отец ботаника Чарльза Саржента (см. ниже прим. 22*). — 458

^{20*} Джон Уолтер (1738/9–1812) – основатель газеты «The Times». — 458

^{21*} Клер Клермонт (1798–1879) – сестра Мэри Годвин (впоследствии Мэри Шелли), любовница Байрона, родившая от него в 1817 г. девочку, названную Аллегрой, которая скончалась в 1822 г. Леди Клермонт стала прообразом героинь романа Т.Л. Пикока «Аббатство кошмаров» (1818) и повести Г. Джеймса «Бумаги Асперна» (1888). — 458

^{22*} Чарльз Спрэг Сарджент (1841–1927) – американский ботаник, первый директор Арнольд-Арборетума (Ботанического сада имени Арнольда в Гарвардском университете). — 458

^{23*} Вильгельмина (1880–1962) – королева Нидерландов, царствовавшая в 1890–1948 гг.; после отречения носившая титул принцессы Нидерландов. — 458

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- П.А. Сорокин в 1917 г. — с. 1
- Страница библиографии П.А. Сорокина из книги «Sorokin in Review» — с. 8
- Титульный лист журнала «Огоньки» — с. 40
- Первая страница «сказки» «Грани жизни» — с. 78
- Титульный лист журнала «Современные записки» — с. 88
- Н.Д. Кондратьев и П.А. Сорокин (1906–1907 гг.) — с. 136
- Страница машинописи «Прачечной человеческих душ» — с. 138
- Первая научная награда Питирима Сорокина — с. 144
- Питирим Сорокин в группе студентов — с. 164
- К.Ф. Жаков — с. 178
- Психо-неврологический институт в С.-Петербурге — с. 188
- У. Джевонс и его «логическая машина» — с. 190
- Страница рукописи «Прачечной человеческих душ» — с. 198
- Страница рукописи «Прачечной человеческих душ» — с. 208
- Академик И.П. Павлов — с. 210
- Матильда Кшесинская — с. 238
- Первая страница романа «Предтеча» — с. 272
- Е.П. Баратынская. Снимок середины 20-х гг. — с. 274
- Последняя страница «Предтечи» — с. 388
- Автограф стихотворения «Я хотел бы могучего чувства...» — с. 398
- Автограф стихотворения «Устал...» — с. 428
- П.А. Сорокин в 1910 г. Рисунок неизвестного художника — с. 430
- Рисунок П.А. Сорокина, сделанный им во время «путешествия на Удору» — с. 432
- Первая страница рукописи статьи «Кочующая Америка» — с. 440
- Обложка американского журнала «Садоводство» — с. 450
- План «склона азалий» — с. 452

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В.В. Сапов.</i> Питирим Сорокин: писатель, поэт, садовод.....	7
<i>М.В. Ломоносова.</i> Неизвестный Питирим Сорокин: литературные грани творчества	23

I. РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ

Кое-что о современной беллетристике	41
«Все обстоит благополучно»... (Нескладное сказание).....	45
На плотях (Картинка).....	47
Депутат на покое (С натуры)	51
Рыт пукалём.....	54
На севере (Немножко о взяточничестве и хищничестве).....	59
Аккорды жизни (записки одного ненормального человека).....	63
Грани жизни (Сказка)	79
На лоне природы	89
Как мы жили... ..	104

II. НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Прачечная человеческих душ

Часть первая. Перед полднем	109
Глава 1.....	109
Глава 2.....	113
Глава 3.....	115
Глава 4.....	118
Часть вторая. Идущий и не устающий (Записки Никуличева).....	121
Глава 1.....	121
Глава 2.....	125
Глава 3.....	129
Глава 4.....	141
Глава 5.....	143
Глава 6.....	147
Глава 7.....	150
Глава 8.....	159
Глава 9.....	174
Глава 10.....	177

Часть третья. Полдень	184
Глава 1.....	184
Глава 2.....	189
Глава 3.....	193
Глава 4.....	194
Глава 5.....	197
Глава 6.....	200
Глава 7.....	205
Глава 8.....	207
Глава 9.....	226
Глава 10.....	231
Глава 11.....	236
Глава 12.....	239
Глава 13.....	246
Часть четвертая. После полудня	252
Глава 1.....	252
Глава 2.....	257
Глава 3.....	262
Глава 4.....	267
Глава 5.....	269

Предтеча

I. «Только репетитор»	273
1.....	273
2.....	282
3.....	285
II. Идущий и не устающий (Записки Никуличева)	289
«Полдень».....	328
1.....	328
2.....	334
3.....	338
4.....	340
5.....	342
6.....	347
Глава IX.....	365
Глава X.....	369
Глава XI.....	374
Глава XII.....	375
Глава XIII.....	382

III. СТИХОТВОРЕНИЯ

Опубликованные стихотворения

Паладин далекого Востока	391
Под шум осеннего ветра.....	392
«Мне не хочется больше читать...»	394
Песни мои	395
Не знаю я... ..	396
Кубок	397

Неопубликованные стихотворения

(«Рифмованная ерунда»)

«Я хотел бы могучего чувства...»	399
Позывы	400
Созидатель	402
«Если б был ты царем всей вселенной...».....	403
Веселые мальчишки	404
«Мне весело в мире кружиться без цели...»	405
Илайяли	406
В саду любовных менюэтов	407
Я люблю тебя любовью странною	408
Осень	409
Песня вьюжного беса.....	410
В тихий час заката – голубые дали... ..	411
«Ну что ж? Не любите – не надо...»	412
«Не купайся в грязной луже...».....	413
Pro domo mea	414
Надпись на книге	415
«Мои слова текут холодной рекою...»	416
«Сохраните ее от греха!...».....	417
Fatum (Песнь торжествующей любви).....	418
Зачем?	419
Безмолвная тихая сказка... ..	420
Pro domo sua.....	421
Штрихи	422
«Луна вся в тумане, молчанье...».....	423
«Из окон зимнего балкона...»	424
«В волшебный мир мечты свободной...»	425
«В полусумраке северной ночи...»	426
«О, не любовь ему нужна!...».....	427
Устал... ..	429

IV. ДОПОЛНЕНИЯ

Дневник путешествия на Удору.....	433
Кочующая Америка (дорожные впечатления).....	441
Мой склон азалий (Перевод А. Корнилович, М. Ломоносовой и В. Сапова)	449
Комментарии	459
Список иллюстраций	506

ПЛАН-ПРОСПЕКТ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ П.А. СОРОКИНА

- ***Том 1.** Ранние сочинения. 1910–1914
- ***Том 2.** Преступление и кара, подвиг и награда. 1914
- Том 3.** Ранние сочинения. 1915–1918
- Том 4.** Ранние сочинения. 1919–1923
- Том 5.** Система социологии. 1920
- Том 6.** Элементарный учебник общей теории права. 1919
Общедоступный учебник социологии. 1920
Популярные очерки социальной педагогики и политики. 1923
- ***Том 7.** Голод как фактор
- ***Том 8.** Художественные произведения
- ***Том 9.** Листки из русского дневника. Социология революции. 1924
- Том 10.** Социальная мобильность. 1927
- Том 11.** Современные социологические теории. 1928
- Том 12.** Принципы сельской и городской социологии. 1929
- Том 13.** Статьи и рецензии. 1929–1937
- Томы 14–17.** Социальная и культурная динамика. 1937–1941
- Том 18.** Кризис нашего времени. 1941
SOS: Смысл нашего кризиса. 1951
- ***Том 19.** Человек и общество в условиях бедствий. 1942
- Том 20.** Социальная причинность, пространство, время. 1943
- Том 21.** Россия и Соединенные Штаты. 1944
- Том 22.** Общество, культура и личность. 1947
- Том 23.** Социальные философии в век кризиса. 1950
- Том 24.** Причуды и недостатки современной социологии. 1956
- Том 25.** Пути и могущество любви. 1954
- Том 26.** Американская сексуальная революция. 1956
Власть и нравственность. 1959
Основные тенденции нашего времени. 1964
- Том 27.** Дальняя дорога. 1963
Автобиографические статьи и материалы
- Том 28.** Социологические теории современности. 1966
- Том 29.** Неизданные произведения
- Том 30.** Из эпистолярного наследия

Томы, отмеченные звездочкой, вышли в свет

Научное издание

Сорокин Питирим Александрович

ПРАЧЕЧНАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ

Художественные произведения

1907–1923